
3 1761 08821280 8

СОЧИНЕНІЯ

К. Н. БАТЮШКОВА.


B

1815
С. Петербургъ



Константинъ Батюшковъ.

Съ оригинала О. Кипренскаго

Лит. Штадлеръ и Паттинотъ С. П. Б.

СОЧИНЕНІЯ

К. Н. БАТЮШКОВА.



Изданіе пятое

ОБЩЕДОСТУПНОЕ,

съ портретомъ автора.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. С. Балашева, Екатерин. кан., д. 78.
1887.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Предпринятое нами въ 1882 году и законченное въ началѣ текущаго года, новое (по счету четвертое) изданіе сочиненій Константина Николаевича Батюшкова, съ подробною біографіей поэта, написанною Л. Н. Майковымъ, и съ обширными историко-литературными примѣчаніями, составленными имъ же и Вл. Ив. Саитовымъ, — удостоилось вниманія любителей отечественнаго слова. Много сочувственныхъ заявленій получили мы отъ лицъ и учрежденій, коимъ дороги интересы нашей образованности; но вмѣстѣ съ тѣмъ дошли до насъ сѣтованія о томъ, что изданіе наше по своей цѣнности не доступно большинству читателей. Желая почтить еще разъ память близкаго намъ человѣка и притомъ сдѣлать его произведенія общедоступными, мы предприняли настоящее, пятое изданіе его сочиненій, въ одномъ томѣ. Въ это изданіе внесено почти все имъ написанное, за исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ стихотвореній и прозаическихъ статей, большею частью относящихся къ раннему періоду его литературной дѣятельности, а также тѣхъ изъ его писемъ, которыя не имѣютъ общаго интереса. Помѣщенная при настоящемъ изданіи біографія поэта составляетъ извлеченіе изъ сочиненія Л. Н. Майкова о жизни и сочиненіяхъ К. Н. Батюшкова.

Считаемъ долгомъ сердца принести еще разъ Л. Н. Майкову самую искреннюю признательность за его труды по изданію произведеній нашего брата и пользуемся случаемъ, чтобы повторить выраженіе нашей благодарности лицамъ, доставившимъ намъ возможность напечатать полное собраніе сочиненій К. Н. Батюшкова.

Содержаніе.

		СТРАН.
	О жизни и сочиненіяхъ К. Н. Батюшкова	IX

Стихотворенія.

	Къ друзьямъ	1
I.	Элегія (изъ Парни)	3
II.	Пастухъ и соловей (басня)	5
III.	Н. И. Гнѣдичу (Только дружба обѣщаетъ...)	6
IV.	Н. И. Гнѣдичу (Прерву теперь молчанья узы...)	8
V.	Выздоровленіе	10
VI.	Отвѣтъ Н. И. Гнѣдичу	11
VII.	Стихи Е. С. Семеновой	12
VIII.	Тибуллова элегія III-я (изъ III-й книги)	13
IX.	Эпитафія	14
X.	Воспоминанія 1807 года	15
XI.	Къ И. А. Петину	18
XII.	Привидѣніе (изъ Парни)	20
XIII.	Тибуллова элегія X-я изъ I-й книги	22
XIV.	Ложный страхъ (подражаніе Парни)	25
XV.	Отъѣздъ	26
XVI.	Изъ антологіи	27
XVII.	Источникъ (изъ Парни)	28
XVIII.	На смерть Лауры (изъ Петрарки)	29
XIX.	Вечеръ (подражаніе Петраркѣ)	30
XX.	Радость (подражаніе Касти)	32
XXI.	Счастливецъ (подражаніе Касти)	34
XXII.	Отрывокъ изъ элегіи	36
XXIII.	Посланіе графу М. Ю. Велеурскому	38
XXIV.	Сонъ воиновъ (изъ поэмы Парни: Isnel et Aslèga)	40
XXV.	Мадагаскарская пѣсня (изъ Парни)	41
XXVI.	Надпись къ портрету N	42
XXVII.	Мои пенаты (посланіе къ Жуковскому и Вяземскому)	43
XXVIII.	На смерть супруги Ѳ. Ѳ. Кокошкина	53

СТРАН.

XXIX. Дружество (подражаніе Біону) 54
XXX. Къ В. А. Жуковскому . . . . „
XXXI. Отвѣтъ А. И. Тургеневу 57
XXXII. Разлука (Гусаръ на саблю опираясь..) 59
XXXIII. Къ Д. В. Дашкову 62
XXXIV. Переходъ русскихъ войскъ черезъ Нѣманъ 1-го января 1813 года (отрывокъ) 64
XXXV. Плѣнный 66
XXXVI. Тѣнь друга 68
XXXVII. На развалинахъ замка въ Швеціи 70
XXXVIII. Судьба Одиссея (изъ Шиллера) 71
XXXIX. Элегія изъ Тибулла 75
XL. Посланіе къ И. М. Муравьеву-Апостолу 80
XLI. Странствователь и домосѣдъ 83
XLII. Надпись къ портрету графа Эммануила Сенъ-При 95
XLIII. Таврида . . . . „
XLIV. Разлука (Напрасно покидалъ страну моихъ отцовъ..) . . . 96
XLV. Пробужденіе 97
XLVI. Воспоминанія 98
XLVII. Мой геній 101
XLVIII. Послѣдняя весна (подражаніе Мильвуа) 102
XLIX. Надежда 103
L. Къ другу 105
LI. Пѣснь Гаральда Смѣлаго 107
LII. Мщеніе (подражаніе Парни) 109
LIII. Посланіе къ А. И. Тургеневу 111
LIV. Къ цвѣтамъ нашего Горація 113
LV. Къ портрету Жуковскаго 114
LVI. Гезіодъ и Омиръ соперники (изъ Мильвуа) . . . . . . "
LVII. Переходъ черезъ Рейнъ 120
LVIII. Умирающій Тассъ 125
LIX. Вакханка (подражаніе Парни) 132
LX. Мечта 133
LXI. Къ Н. М. Муравьеву 139
LXII. Бесѣдка музъ 141
LXIII. Къ С. С. Уварову 142
LXIII(bis). Подражаніе Аріосту 144
LXIV. Н. М. Карамзину . . . . „
LXV. Посланіе къ А. И. Тургеневу 145
LXVI. Изъ греческой антологіи: I—XIII 147
LXVII. Князю П. И. Шаликову 153
LXVIII. (Изъ Байрона). Есть наслажденіе... 155
LXIX. Ты пробуждаешься... 156
LXX. Надпись для гробницы дочери г-жи Малышевой. 157
LXXI. Подражанія древнимъ: I—VI 158
LXXII. Изреченіе Мельхиседека 160

Сатирическія піесы.

СТРАН.

I. Посланіе къ стихамъ моимъ 161
II. На книгу подъ названіемъ: Смѣсь 163
III. Безрифмина совѣтъ... . . . . „
IV. Мадригалъ новой Сафѣ. 164
V. Мадригалъ Мелинѣ, которая называла себя нимфою . . . . „
VI. Какъ трудно Бибрису... . . . . „
VII. Эпиграмма на переводъ Виргилія 165
VIII. Эпиграмма (Негоденъ ни къ чему...) . . . . „
XI. Видѣніе на берегахъ Леты 166
X. На переводъ Генріады или превращеніе Вольтера 175
XI. Извѣстный откупщикъ Ѳадей... 176
XII. Теперь, сего же дня... . . . . „
XIII. Истинный патріотъ 177
XIV. Совѣтъ эпическому стихотворцу . . . . „
XV. На поэмы Петру Великому . . . . „
XVI. Всегдашній гость... 178
XVII. Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славяноруссовъ. . . . . „
XVIII. Памфилъ забавенъ... 186

Проза.

I. Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи . . . 189
II. Прогулка по Москвѣ. 197
III. Путешествіе въ замокъ Сирей 211
IV. Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева 222
V. Прогулка въ академію художествъ. 238
VI. Нѣчто о поэтѣ и поэзіи 260
VII. Нѣчто о морали, основанной на философіи и религіи . . . 268
VIII. О лучшихъ свойствахъ сердца 281
IX. Аріостъ и Тассъ 287
X. Петрарка 296
XI. О характерѣ Ломоносова 310
XII. Двѣ аллегоріи 315
XIII. Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій 319
XIV. Воспоминаніе о Петинѣ 322
XV. Похвальное слово сну 333
XVI. Вечеръ у Кантемира. . . . . , ... 347
XVII. Рѣчь о вліяніи легкой поэзіи на языкъ. 363
XVIII. Чужое—мое сокровище 373

Избранныя письма.

		СТРАН.
I.	Къ роднымъ (1812—1814)	423
II.	Къ Н. И. Гнѣдичу (1807—1821)	427
III.	Къ А. Н. Оленину (1807—1819)	513
IV.	Къ князю П. А. Вяземскому (1811—1818)	525
V.	Къ В. А. Жуковскому (1810—1819)	546
VI.	Къ Е. Г. Пушкиной (1813—1814)	572
VII.	Къ Д. В. Дашкову (1812—1814)	579
VIII.	Къ Д. П. Сѣверину (1814)	587
IX.	Къ г-жѣ Петиной (1814)	595
X.	Къ А. И. Тургеневу (1814—1819)	597
XI.	Е. Ѳ. Муравьевой (1815—1818)	609
XII.	Къ В. Л. Пушкину (1817)	616
XIII.	Къ С. С. Уварову (1819)	618

Указатель личныхъ именъ въ сочиненіяхъ Батюшкова 623

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ К. Н. БАТЮШКОВА.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18-го мая 1787 года. Онъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода и былъ сынъ помѣщика Новгородской, Вологодской и Ярославской губерній Николая Львовича Батюшкова, служившаго сперва въ военной, а потомъ въ гражданской службѣ. Николай Львовичъ былъ женатъ дважды: Константинъ Николаевичъ былъ послѣднимъ изъ дѣтей его отъ перваго брака—съ Александрою Григорьевною Бердяевою. Единственный ея сынъ, онъ почти не зналъ своей матери: въ послѣдніе годы жизни она находилась въ душевной болѣзни и скончалась въ то время, когда ребенку не было еще и восьми лѣтъ отъ роду.

Дѣтскіе годы свои Константинъ Николаевичъ провелъ въ родовомъ помѣстьѣ своего отца, сельцѣ Даниловскомъ (Устюженскаго уѣзда, Новгородской губерніи), еще въ XVI вѣкѣ пожалованномъ одному изъ его предковъ. Здѣсь онъ получилъ первоначальное образованіе подъ руководствомъ своихъ старшихъ сестеръ. Затѣмъ онъ былъ помѣщенъ въ Петербургѣ въ пансіонъ, содержавшійся Французомъ Ос. И. Жакино. Это былъ опытный педагогъ, умѣвшій внушить своимъ ученикамъ уваженіе къ себѣ и любовь къ образованію. Курсъ учебныхъ предметовъ въ его пансіонѣ былъ довольно разнообразенъ и преподавался большею частью на французскомъ языкѣ. Пробывъ въ пансіонѣ Жакино около четырехъ лѣтъ, Батюшковъ, не извѣстно по какимъ причинамъ, былъ переведенъ въ другой пансіонъ, который содержалъ учитель морскаго корпуса Ив. Ант. Триполи. Въ его заведеніи учебный курсъ былъ едва ли полнѣе, чѣмъ въ пансіонѣ Жакино; за то Батюшковъ и пробылъ здѣсь не болѣе двухъ лѣтъ; въ это время онъ между прочимъ познакомился съ италіанскимъ языкомъ, занятія которымъ не покидалъ и впослѣдствіи.

Еще съ отроческихъ лѣтъ Батюшковъ пополнялъ пробѣлы школьнаго ученія обширнымъ и разнообразнымъ чтеніемъ; въ особенности близко познакомился онъ съ французскою литературой XVII и XVIII вѣковъ.

Батюшковъ оставилъ пансіонъ 16-ти лѣтъ. Его первые шаги на самостоятельномъ жизненномъ поприщѣ были направляемы однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени, родственникомъ и пріятелемъ отца его Михаиломъ Никитичемъ Муравьевымъ, человѣкомъ высокой души и большаго образованія, бывшимъ наставникомъ великаго князя Александра Павловича, а съ его воцареніемъ занявшимъ должность попечителя Московскаго университета и товарища министра народнаго просвѣщенія. Вліяніе Муравьева на Батюшкова выразилось главнымъ образомъ въ томъ, что Константинъ Николаевичъ занялся латинскимъ языкомъ (который не преподавался въ пансіонахъ Жакино и Триполи) и познакомился съ поэзіей классической древности; изъ латинскихъ поэтовъ полюбилъ онъ въ особенности Горація и Тибулла. Въ домѣ Муравьева, гдѣ собирались лучшие писатели того времени, развилась въ Батюшковѣ любовь къ словесности. Но кромѣ того, общеніе съ Муравьевымъ и пребываніе въ его семействѣ воспитали Константина Николаевича и въ нравственномъ отношеніи: онъ вынесъ отсюда твердыя, ясно сознанныя правила честности, благородства и любви къ ближнему.

Служебная карьера Батюшкова также началась при ближайшемъ содѣйствіи его почтеннаго родственника. въ 1802 году Батюшковъ былъ опредѣленъ на службу въ канцелярію Муравьева письмоводителемъ по Московскому университету. Впрочемъ эта служба мало привлекала молодаго человѣка. Его интересы сосредоточивались въ области литературы, чему способствовалъ и составъ его сослуживцевъ, между которыми было нѣсколько молодыхъ писателей, а именно: Ив. П. Пнинъ, Дм. Ив. Языковъ, Н. И. Гнѣдичъ; этотъ послѣдній вскорѣ сталъ близкимъ другомъ Константина Николаевича.

Еще будучи въ пансіонѣ Триполи, Батюшковъ сдѣлалъ переводъ на французскій языкъ слова, произнесеннаго митрополитомъ Платономъ по случаю коронованія императора Александра, и этотъ первый литературный опытъ его былъ тогда же напечатанъ. Къ 1802 году относятся первыя стихотворныя попытки Константина Николаевича; изъ числа ихъ въ элегіи «Мечта» уже обнаруживаются проблески большаго дарованія: юный поэтъ успѣлъ придать своей піесѣ тотъ характеръ меланхоліи, который начиналъ въ то время господствовать въ литературѣ. Элегія эта навсегда

осталась любимымъ произведеніемъ Батюшкова, и онъ неоднократно передѣлывалъ ее; послѣдняя передѣлка относится къ 1817 году, когда талантъ его достигъ уже полнаго развитія. Если элегія «Мечта» отличается меланхолическимъ характеромъ, то другія раннія стихотворенія Батюшкова свидѣтельствуютъ о томъ, что молодая жизнь его текла мирно и пріятно. Мало отдаваясь службѣ, онъ охотнѣе дѣлилъ свое время между литературными занятіями и свѣтскими развлеченіями. Успѣхи словесности возбуждали въ немъ живѣйшій интересъ, и еще въ то время онъ былъ однимъ изъ горячихъ поклонниковъ Озерова, восхищался прозою Карамзина, негодовалъ на литературное старовѣрство Шишкова и посмѣивался надъ бездарными писателями, которымъ покровительствовалъ авторъ книги «О старомъ и новомъ слогѣ». Большое вліяніе на Батюшкова оказало также его сближеніе съ извѣстнымъ любителемъ литературы, искусства и древностей Алексѣемъ Николаевичемъ Оленинымъ; въ его гостепріимномъ домѣ молодой человѣкъ встрѣчался со многими писателями стараго и новаго поколѣнія, а бесѣды съ самимъ хозяиномъ были для него такою же школою изящнаго вкуса, какъ и общеніе съ М. Н. Муравьевымъ.

Въ концѣ 1806 года, по случаю второй нашей войны съ Наполеономъ, былъ объявленъ манифестъ объ ополченіи; Оленинъ принималъ близкое участіе въ образованіи милиціи и взялъ Батюшкова на службу въ свою канцелярію. Но это было для молодаго человѣка только шагомъ для перехода въ военную службу, въ которую онъ рѣшился опредѣлиться, увлекаемый общимъ взрывомъ патріотическаго воодушевленія. 22-го февраля 1807 года онъ былъ назначенъ сотеннымъ начальникомъ въ Петербургскій милиціонный баталіонъ и вслѣдъ затѣмъ выступилъ въ походъ къ прусской границѣ, предупредивъ своего отца трогательнымъ письмомъ о своемъ рѣшеніи стать въ ряды защитниковъ отечества.

Поэтъ нашъ былъ участникомъ въ двухъ сраженіяхъ съ Французами — подъ Гутштадтомъ и подъ Гейльсбергомъ, и въ этой послѣдней битвѣ былъ раненъ въ ногу на вылетъ. Его перевезли въ Ригу, гдѣ онъ нашелъ гостепріимство въ домѣ богатаго негоціанта Мюгеля. Пребываніе здѣсь Батюшкова связано съ однимъ важнымъ обстоятельствомъ его жизни: онъ горячо полюбилъ молодую дѣвушку, дочь своего хозяина, и встрѣтилъ взаимность съ ея стороны; любовь эта однако не увѣнчалась бракомъ, по всей вѣроятности, вслѣдствіе несогласія Николая Львовича, но оставила глубокій слѣдъ въ душѣ поэта.

Батюшковъ рѣшилъ продолжать военную службу и по окончаніи войны: онъ былъ переведенъ въ гвардейскій егерскій полкъ. Въ составѣ этого полка онъ въ 1808 и 1809 годахъ участвовалъ въ войнѣ со Швеціей. Въ крупныхъ военныхъ дѣлахъ онъ однако не былъ и находился только въ славномъ зимнемъ походѣ на Аландскіе острова. Продолжительныя стоянки въ глухихъ городкахъ Финляндіи нагнали уныніе на душу молодаго поэта. Тѣмъ не менѣе пребываніе въ этомъ краю осталось не безъ вліянія на его молодое дарованіе; картины финляндской природы произвели на него сильное впечатлѣніе; онѣ представлялись его фантазіи мрачнымъ фономъ, на которомъ рисовались грандіозныя фигуры Оссіановыхъ героевъ. Результатомъ этихъ впечатлѣній была первая прозаическая статья Константина Николаевича — «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи».

По окончаніи Финляндской кампаніи Батюшковъ получилъ отпускъ и лѣтомъ 1809 года уѣхалъ въ деревню, въ доставшееся ему отъ матери совмѣстно съ сестрами сельцо Хантоново (Череповскаго уѣзда, Новгородской губерніи). Однако, привыкнувъ къ обществу образованныхъ людей столицы, Батюшковъ скоро соскучился въ кругу своихъ провинціальныхъ сосѣдей; онъ былъ добрымъ помѣщикомъ, но хозяйствомъ не занимался и даже не любилъ его. Между тѣмъ воспоминаніе о любви, оставшейся не удовлетворенною, не покидало поэта. Такимъ образомъ, деревенское уединеніе стало для него тягостнымъ. Главнымъ, почти единственнымъ его занятіемъ въ Хантоновѣ была по прежнему литература. Батюшковъ зачитывался Гораціемъ и Тибулломъ, Вольтеромъ и Парни, котораго особенно любилъ. Подъ вліяніемъ этихъ писателей онъ обратился къ такъ-называемой въ старину «легкой поэзіи», къ антологическому роду. Кромѣ того, онъ переводилъ отрывки изъ Тассова «Освобожденнаго Іерусалима» и написалъ шуточное стихотвореніе «Видѣніе на берегахъ Леты», въ которомъ осмѣялъ бездарныхъ писателей старой школы, преимущественно Шишковскаго лагеря. Списокъ этой сатиры, посланный Батюшковымъ къ Гнѣдичу въ Петербургъ, пошелъ здѣсь по рукамъ, и насмѣшки остроумнаго поэта нажили ему много литературныхъ враговъ.

Въ концѣ 1809 года Константинъ Николаевичъ получилъ письмо отъ вдовы М. Н. Муравьева, Екатерины Өедоровны, съ настоятельнымъ приглашеніемъ посѣтить ее въ Москвѣ, куда она переселилась по смерти мужа. Это приглашеніе было слишкомъ соблазнительно для скучавшаго молодаго человѣка, и онъ рѣшился ему послѣдовать.

Въ Москвѣ Батюшковъ встрѣтился со своимъ сослуживцемъ и близкимъ пріятелемъ И. А. Петинымъ, съ которымъ совершилъ Прусскую и Финляндскую кампаніи, и пріобрѣлъ много новыхъ знакомствъ среди людей, жившихъ главнымъ образомъ литературными интересами, а именно: съ Н. М. Карамзинымъ, М. Тр. Каченовскимъ, В. Л. Пушкинымъ, княземъ П. Андр. Вяземскимъ и В. Андр. Жуковскимъ. Тѣсная дружба вскорѣ связала нашего поэта съ двумя послѣдними и уже не прерывалась въ теченіе всей его жизни. Дружба эта окончательно опредѣлила литературныя симпатіи Константина Николаевича, и прежде склонявшіяся на сторону новой литературной школы.

Весною 1810 года Батюшковъ получилъ отставку изъ полка, а на лѣто возвратился въ Хантоново. Здѣсь опять началось для него тоскливое одиночество, едва скрашиваемое краткими періодами поэтическаго вдохновенія. Въ особенности тревожила его мысль объ устройствѣ своей будущности. Ему очень не хотѣлось пожертвовать своею независимостью, а между тѣмъ ограниченность его средствъ, при неумѣньи вести хозяйство и увеличивать доходы съ имѣнья, заставляла его думать о поступленіи снова на службу. Въ этомъ раздумьи прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ.

Въ началѣ 1811 года Батюшковъ снова отправился въ Москву, чтобъ освѣжиться отъ томившихъ его заботъ въ обществѣ тамошнихъ своихъ друзей. На этотъ разъ кругъ его московскихъ знакомыхъ еще болѣе расширился; въ числѣ ихъ самымъ пріятнымъ для нашего поэта было знакомство съ одною умною и образованною дамой, Еленой Григорьевною Пушкиной. Памятникомъ ихъ дружбы остается слѣдующій небольшой отрывокъ, въ которомъ Елена Григорьевна набросала прекрасную его характеристику: «Батюшковъ былъ небольшаго роста; у него были высокія плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющіеся отъ природы, голубые глаза и томный взоръ. Оттѣнокъ меланхоліи во всѣхъ чертахъ его лица соотвѣтствовалъ его блѣдности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физіономіи какое-то неуловимое выраженіе. Онъ обладалъ поэтическимъ воображеніемъ; еще болѣе поэзіи было въ его душѣ. Онъ былъ энтузіастъ всего прекраснаго. Всѣ добродѣтели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиромъ, безкорыстіе и честность — отличительными чертами его характера. Когда онъ говорилъ, черты лица его и движенія оживлялись, вдохновеніе свѣтилось въ его глазахъ. Свободная, изящная и чистая рѣчь придавала большую прелесть его бесѣдѣ. Увлекаясь своимъ воображеніемъ, онъ часто развивалъ софизмы

и, если не всегда успѣвалъ убѣдить, то все же не возбуждалъ раздраженія въ собесѣдникѣ, потому что глубоко прочувствованное увлеченіе всегда извинительно само по себѣ и располагаетъ къ снисхожденію. Я любила его бесѣду и еще болѣе любила его молчаніе. Сколько разъ находила я удовольствіе въ томъ, чтобъ угадывать и мимолетную мысль его, и чувство, наполнявшее его душу въ то время, когда онъ казался погруженнымъ въ молчаніе. Рѣдко ошибалась я въ этихъ случаяхъ. Тайное сочувствіе открывало моему сердцу все то, что происходило въ его душѣ. Это сочувствіе установило между нами короткость съ первыхъ дней нашего знакомства»... Елена Григорьевна сохранила дружбу къ Константину Николаевичу навсегда и имѣла горькое утѣшеніе заботиться о немъ даже въ дни его тяжкой болѣзни, наполнившей собою вторую половину его жизни.

На лѣто 1811 года Константинъ Николаевичъ опять возвратился въ деревню, прожилъ здѣсь до начала слѣдующаго года и наконецъ, въ началѣ 1812, рѣшился ѣхать въ Петербургъ искать счастія. На этотъ разъ попытки молодаго поэта оказались не безплодными: благодаря содѣйствію Ал. Н. Оленина, онъ получилъ мѣсто помощника хранителя манускриптовъ въ Императорской Публичной Библіотекѣ и такимъ образомъ сдѣлался сослуживцемъ такихъ людей, какъ С. С. Уваровъ, Ив. Андр. Крыловъ и старый его пріятель Гнѣдичъ. Переселеніе въ Петербургъ, разумѣется, опять повлекло за собою новыя знакомства: такъ, Батюшковъ познакомился съ извѣстнымъ поэтомъ Ив. Ив. Дмитріевымъ, тогдашнимъ министромъ юстиціи, сблизился съ молодыми поборниками литературныхъ реформъ Карамзина - Дм. Н. Блудовымъ и Дм. В. Дашковымъ, возобновилъ пріятельскія отношенія къ Ал Ив. Тургеневу и т. д. Однако симпатіи поэта по прежнему влекли его къ московскимъ друзьямъ, и онъ велъ дѣятельную переписку съ Жуковскимъ и Вяземскимъ, обмѣниваясь съ ними мыслями и сообщая имъ хронику петербургской литературной жизни. Эти письма Константина Николаевича, точно также, какъ и письма его изъ деревни и Москвы къ Гнѣдичу, чрезвычайно любопытны по откровенному выраженію мнѣній нашего поэта о современной ему словесности; вводя насъ въ интимный кругъ тогдашнихъ литературныхъ дѣятелей, они составляютъ драгоцѣнный матеріалъ для знакомства съ умственнымъ движеніемъ образованнаго русскаго общества въ періодъ борьбы шишковистовъ и карамзинистовъ.

Въ Петербургѣ застали Батюшкова грозныя событія великой борьбы

съ Наполеономъ. Какъ въ 1807 году патріотическое воодушевленіе увлекло его въ военную службу, такъ и теперь онъ не хотѣлъ остаться безучастнымъ зрителемъ наступавшихъ событій. Еще въ іюлѣ мѣсяцѣ 1812 года онъ, по примѣру Жуковскаго и Вяземскаго, порывался вступить въ ряды русскаго войска, но болѣзнь и стѣсненныя матеріальныя обстоятельства помѣшали ему исполнить это намѣреніе. Между тѣмъ онъ получилъ извѣстіе, что жившая въ Москвѣ Ек. Ѳ. Муравьева находится въ тревогѣ по случаю приближенія непріятельской арміи. Батюшковъ поспѣшилъ къ ней на помощь и затѣмъ вмѣстѣ съ нею поѣхалъ въ Нижній-Новгородъ, куда бѣжали многіе Москвичи. Здѣсь, въ обществѣ Карамзина, Ив. М. Муравьева-Апостола и С. Н. Глинки, Батюшкову пришлось прожить до февраля 1813 года; бесѣды съ этими патріотами въ пору тяжкихъ испытаній и пробужденія народнаго духа имѣли рѣшительное вліяніе на образъ мыслей Батюшкова. Прежде онъ былъ космополитомъ и преклонялся предъ блестящею цивилизаціей западной Европы. Варварства, сопровождавшія нашествіе Наполеона, пожаръ Москвы, потрясеніе народнаго благосостоянія и общее воодушевленіе Россіи заставили его подумать о томъ, что не все хорошо, что̀ даетъ намъ Западъ, и что много свѣжихъ, здоровыхъ силъ таится въ русскомъ народѣ, много добра скрывается въ его прошломъ, и что великія судьбы ожидаютъ Россію въ будущемъ. Подъ вліяніемъ такихъ мыслей въ Константинѣ Николаевичѣ еще упорнѣе проявилось желаніе поступить въ военную службу. Генералъ Ал. Н. Бахметевъ, раненый подъ Бородинымъ и пріѣхавшій въ Нижній-Новгородъ для лѣченія, предложилъ поэту занять должность адъютанта при немъ. Батюшковъ, разумѣется, согласился; но болѣзнь Бахметева затянулась: онъ не могъ отправиться въ дѣйствующую армію и потому отпустилъ Константина Николаевича, снабдивъ его рекомендательнымъ письмомъ къ извѣстному генералу Н. Н. Раевскому.

Въ февралѣ 1813 года Батюшковъ прибылъ въ Петербургъ, но только въ іюлѣ могъ отправиться въ слѣдъ за русскою арміей, уже сражавшеюся съ французскими войсками въ Германіи. Въ Дрезденѣ Константинъ Николаевичъ нагналъ Н. Н. Раевскаго, который и зачислилъ его въ свой штабъ. Вскорѣ Батюшковъ пріобрѣлъ его расположеніе, оставался при Раевскомъ въ теченіе всей кампаніи 1813 и 1814 годовъ и неоднократно бывалъ, вмѣстѣ съ нимъ, въ бою; между прочимъ, онъ участвовалъ въ знаменитой битвѣ подъ Лейпцигомъ, въ которой былъ раненъ Раевскій и убитъ одинъ изъ самыхъ близкихъ друзей нашего поэта,

Петинъ. Въ свитѣ своего генерала Батюшковъ вступилъ въ Парижъ 19-го марта 1814 года.

Пребываніе въ Германіи и Франціи оказало большое вліяніе на общее художественное развитіе нашего поэта. Въ Германіи онъ научился цѣнить нѣмецкую литературу въ произведеніяхъ Шиллера. Во Франціи, не смотря на враждебное чувство къ Французамъ, вызванное современными событіями, онъ не могъ не оцѣнить по достоинству высокаго развитія французской культуры. Онъ любовался кипучею жизнью столицы Франціи, посѣщалъ парижскіе театры и музеи, присутствовалъ между прочимъ въ томъ знаменитомъ засѣданіи Французской академіи, гдѣ былъ императоръ Александръ, и гдѣ Вильменъ говорилъ ему привѣтствіе и читалъ при немъ отрывки изъ своего сочиненія о критикѣ. Художественныя сокровища Парижа привлекли къ себѣ особенное вниманіе Батюшкова, тѣмъ болѣе, что въ то время въ Луврѣ сосредоточивались знаменитыя произведенія искусства, не только накопленныя Французскими королями въ теченіе многихъ столѣтій, но и вновь вывезенныя Наполеономъ изъ другихъ столицъ въ качествѣ военной добычи.

Изъ Парижа Батюшковъ черезъ Англію и Швецію возвратился въ Петербургъ лѣтомъ 1814 года. Плодомъ этого путешествія были между прочимъ два извѣстныя его стихотворенія: «Тѣнь друга» и «На развалинахъ замка въ Швеціи» и прозаическая статья «Поѣздка въ замокъ Сирей». Въ Парижѣ онъ написалъ также, по словамъ князя Вяземскаго, «прекрасное четверостишіе, въ которомъ, обращаясь къ императору Александру, говорилъ, что послѣ окончанія славной войны, освободившей Европу, призванъ онъ Провидѣніемъ довершить славу свою и обезсмертить свое царствованіе освобожденіемъ Русскаго народа». Къ сожалѣнію, стихи эти не сохранились. Многочисленныя и прекрасныя письма, которыя Батюшковъ писалъ друзьямъ во время своего пребыванія за границей, свидѣтельствуютъ о томъ высокомъ воодушевленіи, съ которымъ онъ совершалъ славный походъ, и о тѣхъ живыхъ впечатлѣніяхъ, которыя онъ вынесъ изъ своего непосредственнаго соприкосновенія съ зрѣлою образованностью западной Европы въ главныхъ ея центрахъ.

По пріѣздѣ Батюшкова въ Петербургъ, ему представилась возможность принять участіе въ торжественномъ пріемѣ, встрѣтившемъ побѣдоноснаго монарха при его возвращеніи въ отечество. Устройство этого празднества въ Павловскѣ возложено было императрицей Маріей Ѳеодоровной на

Юр. Ал. Нелединскаго-Мелецкаго, а послѣдній поручилъ Батюшкову сочиненіе хоровъ и лирическихъ сценъ, которыя предполагалось исполнить по прибытіи государя въ Павловскъ. Императрица Марія Ѳеодоровна осталась довольна трудами поэта и пожаловала ему брилліантовый перстень, который онъ немедленно отослалъ своей младшей сестрѣ.

Батюшковъ прожилъ въ Петербургѣ около полугода, и эта эпоха была знаменательнымъ временемъ его жизни во многихъ отношеніяхъ. Рѣзкій переломъ, обнаружившійся въ образѣ его мыслей, долженъ былъ отразиться и на его литературной дѣятельности. Онъ желалъ дать своему творчеству болѣе строгій характеръ, въ соотвѣтствіи съ новыми потребностями внутренняго развитія Россіи, которое — думалъ онъ — должно послѣдовать послѣ замиренія Европы. Желая, съ своей стороны, послужить успѣхамъ русскаго просвѣщенія, Батюшковъ принялъ на себя изданіе «Эмиліевыхъ писемъ», одного изъ лучшихъ произведеній столь уважаемаго имъ покойнаго М. Н. Муравьева. Изданію этому онъ предпослалъ характеристику автора, какъ писателя и человѣка, и радовался, что С. С. Уваровъ, тогдашній попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа, предписалъ распространеніе этой книги въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ другой, тогда же написанной статьѣ Батюшкова «Прогулка въ Академію художествъ» мы находимъ замѣчательную оцѣнку тогдашняго состоянія русскаго искусства и горячія пожеланія объ его развитіи. Подобно Оленину, Муравьеву-Апостолу и Уварову, Батюшковъ думалъ, что основою русскаго просвѣщенія должно быть прочное насажденіе гуманнаго, классическаго образованія среди русскаго юношества.

Съ другой стороны, пребываніе Батюшкова въ Петербургѣ въ 1814 году связано съ пробужденіемъ въ сердцѣ нашего поэта серьезнаго чувства къ одной молодой дѣвушкѣ, жившей въ домѣ Олениныхъ, Аннѣ Ѳедоровнѣ Фурманъ, знакомство съ которою относится еще къ періоду до послѣдней кампаніи. Но роковымъ образомъ любовь нашего поэта не встрѣтила желанной взаимности: онъ долженъ былъ отказаться отъ мысли о бракѣ, въ которомъ надѣялся найдти счастіе. тяжкія душевныя страданія Константина Николаевича разрѣшились нервнымъ разстройствомъ, и только по прошествіи мѣсяца, благодаря нѣжному уходу Ек. Ѳ. Муравьевой, онъ поправился и въ концѣ января 1815 года уѣхалъ въ Хантоново.

Кратковременное пребываніе Батюшкова въ деревнѣ, при чемъ онъ посѣтилъ отца, не способствовало его душевному успокоенію. Между

тѣмъ дѣла службы вызвали его изъ Хантонова: онъ долженъ былъ отправиться въ Каменецъ-Подольскъ, къ своему непосредственному начальнику генералу Бахметеву. Жизнь въ Каменцѣ также не могла залѣчить сердечную рану поэта. Какъ мы видимъ изъ прекрасныхъ стихотвореній, написанныхъ имъ въ этотъ періодъ [1]), онъ все еще терзался своимъ горемъ; письма изъ Петербурга только раздражали его напоминаніями о пережитомъ разочарованіи. Спасаясь отъ тяжелыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сладостныхъ воспоминаній, Батюшковъ ушелъ въ себя и искалъ спасенія въ религіозномъ чувствѣ, до тѣхъ поръ дремавшемъ въ глубинѣ его сердца. Это настроеніе духа поэта выразилось въ стихотвореніи «Надежда», въ которомъ міровоззрѣніе Батюшкова сближается съ возвышеннымъ религіознымъ направленіемъ Жуковскаго. Къ счастію, переписка съ этимъ благороднымъ другомъ и его нравственное вліяніе ободрили упавшій духъ Батюшкова и возвратили его къ поэзіи, отъ которой онъ готовъ былъ отказаться вмѣстѣ съ утратой надежды на сочувствіе любимой женщины. Тѣмъ не менѣе, Батюшковъ чувствовалъ себя въ Каменцѣ удаленнымъ отъ всѣхъ людей, близкихъ ему по образу мыслей и интересамъ, и потому рѣшился оставить и этотъ городъ, и самую службу: въ началѣ 1816 года онъ былъ уже въ Москвѣ.

На этотъ разъ, живя въ древней столицѣ, Батюшковъ уже не увлекался свѣтскими удовольствіями и мирно проводилъ время въ кругу немногочисленныхъ друзей. Кромѣ измѣнившагося настроенія поэта, этому способствовало и состояніе его здоровья, заставлявшее его большую часть времени сидѣть дома. Въ апрѣлѣ 1816 года Батюшковъ получилъ, наконецъ, отставку, и въ декабрѣ уѣхалъ въ Хантоново, гдѣ и прожилъ до осени 1817 года. Въ бытность свою въ Москвѣ, и затѣмъ въ деревнѣ, Батюшковъ много занимался литературой. Въ 1816 году имъ написаны двѣ замѣчательныя статьи въ прозѣ: «Вечеръ у Кантемира» и «Рѣчь о легкой поэзіи»; въ первой онъ проводитъ параллель между просвѣщеніемъ западной Европы и Россіи и защищаетъ права своего отечества на самостоятельное духовное развитіе; во второй онъ высказываетъ свой взглядъ на тотъ родъ поэзіи, который составлялъ его лучшую славу, то-есть, на область интимной лирики. Поэтическое творчество Батюшкова въ это время достигло поры полной зрѣлости:

[1]) «Таврида», «Разлука», «Пробужденіе», «Воспоминанія».

къ 1816 и 1817 годамъ относятся, между прочимъ, его превосходныя стихотворенія «Пѣснь Гаральда Смѣлаго», «Гезіодъ и Омиръ соперники» и «Умирающій Тассъ». Піесы эти составляютъ образцы такъ-называемой исторической элегіи, а послѣдняя имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшее отношеніе къ внутренней жизни самого поэта. Батюшковъ издавна любилъ Тасса и въ его несчастной судьбѣ находилъ сходство съ печальными обстоятельствами своей собственной жизни. Влагая въ уста умирающаго Тасса горькія воспоминанія о прошломъ, въ которомъ онъ былъ:

От самой юности игралищемъ людей,

и съ тѣхъ поръ,

добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія,

Батюшковъ высказывалъ свои собственныя сѣтованія на счастіе жизни, въ которомъ онъ обманулся такъ жестоко и вынесъ изъ своего опыта одни горькія разочарованія; такимъ образомъ, умирающій Тассъ является воплощеніемъ усталой души самого нашего поэта, обращающей къ Провидѣнію свои послѣднія упованія.

Еще передъ отъѣздомъ изъ Москвы, Батюшковъ получилъ отъ одного изъ старыхъ своихъ друзей, Гнѣдича, предложеніе издать собраніе своихъ сочиненій. Живя въ деревнѣ, Константинъ Николаевичъ усердно занимался подготовленіемъ матеріаловъ для этого сборника, который Гнѣдичъ печаталъ въ Петербургѣ. «Опыты въ стихахъ и прозѣ» Константина Батюшкова вышли въ свѣтъ осенью 1817 года, и къ этому же времени самъ поэтъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Здѣсь онъ нашелъ въ сборѣ почти всѣхъ своихъ друзей—Жуковскаго, Тургеневыхъ, Блудова, Уварова, Дашкова, и они поспѣшили ввести его въ свой литературный кружокъ «Арзамасъ», членомъ котораго, подъ именемъ Ахилла, Батюшковъ считался еще съ 1815 года. Арзамасцы въ это время готовились къ изданію журнала; ихъ намѣреніе встрѣтило полное сочувствіе со стороны нашего поэта; для задуманнаго изданія была написана Уваровымъ статья «О греческой антологіи», для которой Батюшковъ сдѣлалъ переводъ нѣсколькихъ піесъ; переводы эти составляютъ одно изъ лучшихъ его произведеній. Арзамасскій журналъ однако не состоялся, и статья Уварова, вмѣстѣ со стихами Батюшкова, была издана отдѣльною книжкой только въ 1820 году. Уваровъ въ это время вообще

обнаружилъ большое вниманіе и сочувствіе къ Батюшкову; ему, между прочимъ, принадлежитъ лучшая изъ критическихъ статей, вызванныхъ въ періодической печати появленіемъ сборника сочиненій Батюшкова; она помѣщена въ издававшейся въ 1817 году въ Петербургѣ французской газетѣ Le Conservateur impartial.

Въ числѣ членовъ Арзамаса Батюшковъ нашелъ и молодаго Ал. С. Пушкина: восемнадцатилѣтній юноша, онъ уже тогда выдавался своимъ геніальнымъ дарованіемъ, и Константинъ Николаевичъ одинъ изъ первыхъ оцѣнилъ его; въ свою очередь и Пушкинъ, нерѣдко подражавшій Батюшкову въ своихъ раннихъ стихотвореніяхъ, ставилъ его очень высоко и признавалъ себя его ученикомъ. Много лѣтъ спустя, Ал. С. Пушкинъ, говоря о своемъ стихотвореніи «Муза», выразился слѣдующими знаменательными словами: «Я его люблю: оно отзывается стихами Батюшкова».

Во время своего пребыванія въ Петербургѣ зимою 1817—1818 годовъ Батюшковъ началъ усиленно хлопотать о поступленіи въ дипломатическую службу. Въ іюлѣ 1818 года онъ подалъ составленное Жуковскимъ прошеніе на Высочайшее имя и, поручивъ свою судьбу своимъ друзьямъ, въ особенности Ал. Ив. Тургеневу, самъ тѣмъ временемъ поѣхалъ въ Одессу; путешествіе на югъ Россіи Батюшковъ уже давно собирался совершить, чтобы поправить свое разстроенное здоровье морскими купаньями. Онъ остался доволенъ своею поѣздкой на берега Чернаго моря, которые пробудили въ немъ классическія воспоминанія. Но самыя купанья помогали ему мало, и онъ уже собирался переѣхать въ Крымъ, когда получилъ письмо Ал. Ив. Тургенева, извѣщавшее о его назначеніи на службу въ Неаполь. Батюшковъ поспѣшилъ на сѣверъ, простился съ родными и друзьями и въ ноябрѣ 1818 года уѣхалъ въ Италію.

Пребываніе поэта въ Италіи продолжалось до мая 1821 года, при чемъ Батюшковъ жилъ преимущественно въ Неаполѣ и Римѣ. Какъ видно изъ писемъ Константина Николаевича, повсюду его занимали главнымъ образомъ историческія воспоминанія; онъ съ увлеченіемъ изучалъ древности и художественные памятники Италіи и, какъ самъ говоритъ, «зналъ наизусть всѣ камни Помпеи». Въ Римѣ онъ посѣщалъ кругъ молодыхъ русскихъ художниковъ, посланныхъ въ Италію на счетъ нашей Академіи. Присмотрѣвшись къ ихъ быту, онъ, въ письмѣ къ Оленину, высказалъ даже нѣсколько замѣчаній о томъ, какъ бы лучше устроить въ Римѣ положеніе академическихъ пенсіонеровъ.

Здоровье нашего поэта не поправлялось однако и подъ италіянскимъ небомъ; скука одиночества, отсутствіе извѣстій изъ Россіи, тоска по родинѣ, все это нагоняло на него хандру, отозвавшуюся главнымъ образомъ на его творческихъ способностяхъ. По его собственному сознанію, онъ почувствовалъ, что вовсе не можетъ писать стихи. Ко всему этому присоединились еще непріятности по службѣ, вслѣдствіе которыхъ Батюшковъ оставилъ Неаполь и причислился къ нашей миссіи при папскомъ дворѣ, подъ начальство А. Я. Италинскаго, который принялъ теплое участіе въ судьбѣ поэта. По представленію Италинскаго, въ апрѣлѣ 1821 года Батюшкову было разрѣшено отправиться въ безсрочный отпускъ, которымъ онъ и воспользовался для поѣздки въ Теплицъ на воды.

Уже въ это время въ поступкахъ поэта стала обнаруживаться нѣкоторая странность, предвѣстница тяжелаго недуга, впослѣдствіи окончательно помрачившаго его умъ. Причины этой болѣзни разными лицами объяснялись различно; врачъ, долго пользовавшій Батюшкова, видѣлъ ихъ, съ одной стороны, въ наслѣдственномъ предрасположеніи его къ помѣшательству, съ другой—въ собственномъ душевномъ складѣ поэта, въ которомъ воображеніе рѣшительно господствовало надъ другими душевными способностями.

Осенью 1821 года Батюшковъ въ Дрезденѣ свидѣлся съ Жуковскимъ, который нашелъ его въ удрученномъ состояніи духа и старался ободрить его своими дружескими увѣщаніями. Но попытки эти были тщетны: Батюшковъ дичился людей и говорилъ, что рѣшилъ окончательно бросить поэзію. Жуковскій успѣлъ однако записать съ его словъ стихотвореніе «Изреченіе Мелхиседека», въ которомъ ярко выражается мрачное настроеніе, овладѣвшее душою нашего поэта. Проведя зиму 1821—1822 годовъ въ Дрезденѣ, Батюшковъ возвратился въ Петербургъ и затѣмъ отправился въ Крымъ и на Кавказъ. Онъ провелъ зиму въ Симферополѣ, и тутъ его душевный недугъ окончательно принялъ рѣзкую форму. Съ большими усиліями удалось довезти больнаго до Петербурга и сдать его на попеченіе Ек. Ѳ. Муравьевой. Пріѣхала изъ деревни и сестра поэта, Александра Николаевна, чтобъ ухаживать за больнымъ братомъ. Но Константинъ Николаевичъ не хотѣлъ видѣть близкихъ и въ самыхъ преданныхъ ему людяхъ предполагалъ своихъ враговъ и гонителей. Однажды посѣтилъ его князь Вяземскій и, желая развлечь его, спросилъ: не написалъ ли онъ чего новаго? «Что писать

мнѣ и что говорить о стихахъ моихъ!» отвѣчалъ Батюшковъ. «Я похожъ на человѣка, который не дошелъ до цѣли своей, а несъ онъ на головѣ красивый сосудъ, чѣмъ-то наполненный. Сосудъ сорвался съ головы, упалъ и разбился въ дребезги. Поди, узнай теперь, что̀ въ немъ было».

Въ 1824 году рѣшено было отправить Батюшкова въ Саксонію въ мѣстечко Зонненштейнъ, гдѣ находилось лѣчебное заведеніе для душевнобольныхъ доктора Пиница. Здѣсь Константинъ Николаевичъ пробылъ четыре года. Въ Зонненштейнѣ навѣщали его сестра Александра Николаевна, Ел. Гр. Пушкина и Жуковскій. Но мало по малу выяснилось, что болѣзнь его неизлѣчима. Поэтому больной былъ порученъ попеченіямъ доктора Антона Дитриха, который въ 1828 году доставилъ его въ Москву. Тамъ прожилъ Батюшковъ до 1833 года, когда родные перевезли его въ Вологду, въ семью его племянника Гр. Абр. Гревенса. Съ теченіемъ времени острая форма болѣзни Константина Николаевича миновала: онъ сталъ покоенъ, но полное сознаніе уже не возвращалось къ нему, и до самой смерти своей онъ прожилъ въ отчужденіи отъ того міра высшихъ интересовъ и творчества, для котораго былъ рожденъ. Пенсія, дарованная ему императоромъ Николаемъ, не прекращалась до конца его жизни. Батюшковъ скончался въ Вологдѣ 7-го іюля 1855 года и погребенъ въ Спасо-Прилуцкомъ монастырѣ, въ пяти верстахъ отъ этого города.

Въ заключеніе настоящаго очерка приводимъ характеристику нашего поэта, принадлежащую перу его біографа, Л. Н. Майкова:

«Батюшковъ пережилъ большую часть своихъ сверстниковъ на поприщѣ словесности; но остановленный въ своемъ развитіи тяжкимъ недугомъ, онъ прекратилъ литературную дѣятельность раньше всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ вмѣстѣ началъ ее. Въ тридцатичетырехлѣтній періодъ его душевной болѣзни русская литература совершенно преобразилась; первые дѣйствительные успѣхи того славнаго генія, которому она обязана этимъ переворотомъ, совпадаютъ съ концомъ творческой жизни Батюшкова. Въ этомъ случайномъ совпаденіи есть однако тѣсная внутренняя связь: Батюшковъ былъ ближайшимъ предшественникомъ Пушкина въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Совершенство Пушкинскаго стиха было подготовлено мастерскимъ стихомъ Батюшкова. Скажемъ болѣе: не ровняя дарованія обоихъ поэтовъ, нельзя не признать нѣкоторыхъ общихъ чертъ въ характерѣ ихъ творчества. «Пушкинъ» — говорятъ намъ — внесъ въ наше образованіе начало художественное, начало чис-

той поэзіи... Пушкинъ... впервые въ исторіи нашего умственнаго образованія коснулся того, что̀ составляетъ основу жизни, коснулся индивидуальнаго, личнаго существованія. Русское слово, въ лицѣ Пушкина, нашло путь къ жизни и пріобрѣло способность выражать дѣйствительность въ ея внутреннихъ источникахъ. До него поэзія была дѣломъ школы; послѣ него она стала дѣломъ жизни, ея общественнымъ сознаніемъ». Но еще до Пушкина Жуковскій и Батюшковъ выходили уже на тотъ путь, по которому такъ побѣдоносно прошелъ онъ. Оба они также стремились освободить нашу поэзію отъ вліянія школы, и оба не безъ успѣха. Вспомнимъ, что нѣкоторые мотивы поэзіи Жуковскаго, его романтическій идеализмъ увлекали читателей довольно долго даже и въ Пушкинскій періодъ. Но Жуковскій въ своемъ творчествѣ былъ менѣе самостоятеленъ, чѣмъ Батюшковъ: міросозерцаніе Жуковскаго, очень рано сложившееся, очень опредѣленное въ своемъ содержаніи, слишкомъ отзывалось своимъ происхожденіемъ съ чужой почвы. У Батюшкова нѣтъ такой цѣльности міросозерцанія; въ немъ, въ извѣстную пору, виденъ крутой поворотъ поэтической мысли; но самое это развитіе свидѣтельствуетъ о большей самобытности и большей силѣ его таланта. Батюшковъ, какъ позже Пушкинъ, стремился найдти основу для своего творчества въ дѣйствительности, въ непосредственномъ кругѣ своихъ впечатлѣній. Свойство его таланта было исключительно лирическое, и въ этомъ заключается и слабость его, и сила: слабость — потому, что лирическимъ отношеніемъ къ дѣйствительности не исчерпывается возсозданіе жизни въ поэзіи; сила — потому что въ сферѣ лирики онъ сумѣлъ коснуться самыхъ глубокихъ, самыхъ чувствительныхъ струнъ сердца; сила его таланта сказалась и въ его объективности: поэтъ, раскрывшій намъ тайну своего разочарованія въ элегіяхъ 1815 года и въ «Умирающемъ Тассѣ», могъ въ то же время проникнуться свѣтлымъ міросозерцаніемъ древности и написать «Вакханку» и подражанія греческой антологіи.

«Говорятъ, что поэзія Батюшкова «почти лишена содержанія», и что она «безлична въ смыслѣ народности». Поэтъ нашъ, конечно, не задавался намѣреніемъ развивать въ своихъ стихахъ какіе-нибудь философскіе тезисы; но отрицать присутствіе живой мысли въ его произведеніяхъ не справедливо: если въ піесахъ молодой поры онъ не идетъ далѣе выраженія ходячихъ въ его время понятій гораціанскаго эпикуреизма, то въ стихотвореніяхъ своего зрѣлаго періода изображаетъ стра-

дания своей надломленной жизнью души: обманувшия его мечты о счастіи вызвали его горькое разочарованіе, и это тяжелое душевное состояніе, это сознаніе разлада между идеаломъ и дѣйствительностью, впервые сказалось въ русской поэзіи — въ стихахъ Батюшкова. Въ молодости онъ обнаруживалъ нѣкоторую наклонность къ сатирѣ; но онъ отказался отъ нея, когда талантъ его освободился отъ подражательности, и конечно былъ правъ: сознательно ограничивъ предѣлы своего творчества, онъ создалъ лучшія свои произведенія. Горе художнику, который ищетъ мотивовъ для своихъ произведеній внѣ своей души и своего внутренняго настроенія!

«Упрекъ въ недостаткѣ народности можетъ быть обращенъ къ Батюшкову не въ большей мѣрѣ, чѣмъ къ другимъ современнымъ ему поэтамъ: попытки Жуковскаго затронуть народные мотивы имѣютъ чисто внѣшній характеръ, и можетъ быть, Батюшковъ сознательно воздерживался отъ соблазна ступить на этотъ скользкій путь; русскія бытовыя черты чрезвычайно рѣдки въ его поэзіи; напомнимъ, однако, очень удачный — и смѣлый для своего времени — образъ «калѣки-воина» въ посланіи «Мои Пенаты». За то непосредственное хранилище народности, русскій языкъ, является въ его рукахъ послушнымъ уже орудіемъ: искусство владѣть имъ никому изъ современниковъ, кромѣ Крылова, не было доступно въ такой мѣрѣ, какъ Батюшкову, и только послѣ него доведено было до высшей степени совершенства Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ. Упоминаемъ имя автора «Горя отъ ума» потому, что до него только сказка Батюшкова «Странствователь и домосѣдъ», вмѣстѣ съ баснями Крылова, можетъ быть приведена въ образецъ простой поэтической рѣчи. Другаго характера поэтическій слогъ и языкъ въ элегіяхъ, посланіяхъ и антологическихъ піесахъ Батюшкова — подготовилъ способъ выраженія въ подобныхъ стихотвореніяхъ Пушкина.

«Какъ въ дѣйствительной жизни Батюшковъ обнаружилъ способность только къ поэтическому творчеству, такъ и въ искусствѣ онъ былъ чистымъ художникомъ. Онъ не хотѣлъ знать за собою никакого другаго призванія, а за искусствомъ не признавалъ практическихъ цѣлей, но ясно понималъ его высокое, облагораживающее, и потому полезное значеніе. Сознательность поэтическаго творчества составляетъ его отличительную черту. И въ этомъ отношеніи Батюшковъ стоялъ впереди большинства литературныхъ дѣятелей своего времени и былъ ближе, чѣмъ къ нимъ, къ слѣдующему поколѣнію писателей.

«Такимъ образомъ, и въ разработкѣ внѣшней поэтической формы, и въ дѣлѣ внутренняго развитія поэтическаго творчества, и наконецъ, въ отношеніяхъ поэзіи къ обществу художественная дѣятельность Батюшкова представляетъ счастливые начатки того, что̀ получило полное осуществленіе въ дѣятельности геніальнаго Пушкина; потому-то Пушкинъ и признавалъ такъ открыто свое духовное родство съ Батюшковымъ. Великій преемникъ заслонилъ собою даровитаго предшественника; но Батюшковъ не можетъ быть забытъ въ исторіи русской художественной словесности. При блескѣ солнца меркнетъ блѣдная луна; но въ Божьемъ мірѣ всему есть свой часъ и свое мѣсто».

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Къ друзьямъ.

Вотъ списокъ мой стиховъ,
Который дружеству быть можетъ драгоцѣненъ.
Я добрымъ геніемъ увѣренъ,
Что въ семъ дедалѣ риѳмъ и словъ
Недостаетъ искусства,
Но дружество найдетъ мои въ замѣну чувства,
Исторію моихъ страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежнихъ дней
И легкокрылы наслажденья,—
Какъ въ жизни падалъ, какъ вставалъ,
Какъ вовсе умиралъ для свѣта,
Какъ снова мой челнокъ фортунѣ повѣрялъ...
И словомъ—весь журналъ
Здѣсь дружество найдетъ безпечнаго поэта,
Найдетъ и молвитъ такъ:
«Нашъ другъ былъ часто легковѣренъ,
«Былъ вѣтренъ въ Паѳосѣ, на Пиндѣ былъ чудакъ,

«Но дружбѣ онъ за то всегда остался вѣренъ,
«Стихами никому изъ насъ не докучалъ,
(А на Парнассѣ это чудо!)
«И жилъ такъ точно, какъ писалъ:
«Ни хорошо, ни худо».

1817.

1805.

I.

Элегія.

Изъ Парни.

Какъ счастье медленно приходитъ,
Какъ скоро прочь отъ насъ летитъ!
Блаженъ, за нимъ кто не бѣжитъ,
Но самъ въ себѣ его находитъ!
Въ печальной юности моей
Я былъ счастливъ одну минуту,
За то, увы, и горесть люту
Терпѣлъ отъ рока и людей!
Обманъ надежды намъ пріятенъ,
Пріятенъ намъ хоть и на часъ!
Блаженъ, кому надежды гласъ
Въ самомъ несчастьи сердцу внятенъ!
Но прочь уже теперь бѣжитъ
Мечта, что̀ прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу измѣнила,
И вздохъ за нею въ слѣдъ летитъ!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть невѣрную... Но нѣтъ,

Несносной правды вижу свѣтъ,
И должно мнѣ съ мечтой разстаться!
    На свѣтѣ все я потерялъ,
Цвѣтъ юности моей увялъ:
Любовь, что̀ счастьемъ мнѣ мечталась,
Любовь одна во мнѣ осталась!

1807.

II.

Пастухъ и Соловей.

Басня.

Владиславу Александровичу Озерову.

Любимецъ строгой Мельпомены,
Прости усердный стихъ безвѣстному пѣвцу!
Не лавры къ твоему вѣнцу,
Рукою дерзкою сплетены,
Я въ даръ тебѣ принесъ. Къ чему мой ѳиміамъ
Творцу Димитрія, кому безсмертны музы,
Сложивъ признательности узы,
Открыли славы храмъ?
А храмъ сей затворенъ для всѣхъ зоиловъ строгихъ,
Богатыхъ завистью, талантами убогихъ.
Ахъ, если и теперь они своей рукой
Посмѣютъ къ твоему творенью прикасаться,
А ты, нашъ Эврипидъ, чтобъ позабыть ихъ рой,
Захочешь съ музами разстаться
И болѣ не писать,
Тогда прошу тебя разсказъ мой прочитать.

Пастухъ, задумавшись въ ночи безмолвной мая,
Съ высокаго холма вокругъ себя смотрѣлъ,
Какъ мѣсяцъ въ тишинѣ величествено шелъ,
Лучомъ серебрянымъ долины освѣщая,

Какъ въ рощахъ липовыхъ чуть легкимъ вѣтеркомъ
Листы колеблемы шептали,
И свѣтлые ручьи, почивъ съ природой сномъ,
Едва межъ береговъ струей своей мелькали.
Изъ рощи соловей
Долины оглашалъ гармоніей своей,
И эхо пѣснь его холмамъ передавало.
Все душу пастуха задумчиво плѣняло.
Какъ вдругъ пѣвецъ любви на вѣтвяхъ замолчалъ.
Напрасно нашъ пастухъ просилъ о пѣсняхъ новыхъ.
Печальный соловей вздохнувъ ему сказалъ:
«Не долго въ рощахъ сихъ дубовыхъ
«Я радость воспѣвалъ!
«Пройдетъ и пѣть охота,
«Когда съ сосѣдняго болота
«Лягушки кваканьемъ какъ бы на зло глушатъ:
«Пусть эта тварь поетъ, а соловьи молчатъ!»
«Пой, нѣжный соловей», пастухъ сказалъ Орфею, —
«Для нихъ ушей я не имѣю.
«Ты имъ молчаньемъ пѣть охоту придаешь:
«Кто будетъ слушать ихъ, когда ты запоешь?»

III.

Къ Н. И. Гнѣдичу.

Только дружба обѣщаетъ
Мнѣ безсмертія вѣнокъ;
Онъ примѣтно увядаетъ,
Какъ отъ зноя василекъ.
Мнѣ оставить ли для славы
Скромную стезю забавы?

Путь къ забавамъ проложенъ,
Къ славѣ тѣсенъ и мудренъ!
Мнѣ ль за призракомъ гоняться,
Лавры съ скукой собирать?
Я умѣю наслаждаться,
Какъ ребенокъ, всѣмъ играть
И—счастливъ!.. Досель цвѣтами
Путь ко счастью устилалъ,
Пѣлъ, мечталъ, подъ часъ стихами
Горесть сердца услаждалъ,
Пѣлъ отъ лѣни и досуга,
Муза мнѣ была подруга:
Не былъ ей порабощенъ.
А теперь весна, какъ сонъ
Легкокрылый, изчезаетъ
И собою увлекаетъ
Прелесть пѣсней и мечты.
Нѣжны мирты и цвѣты,
Чѣмъ прелестницы вѣнчали
Юнаго пѣвца, завяли.
Ахъ, уже ли наградитъ
Слава счастія утрату
И ко дней моихъ закату
Какъ нарочно прилетитъ?

1808.

IV.

Н. И. Гнѣдичу.

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего.
Давно ты отъ лѣнивой музы
Давно не слышалъ ничего.
И можно ль пѣть моей цѣвницѣ
Въ пустынѣ дикой и пустой,
Куда никакъ нельзя царицѣ
Поэзіи придти младой!
И мнѣ ли пѣть подъ гнетомъ рока,
Когда меня судьба жестока
Лишила друга и родни?...
Пусть хладныя сердца одни
Средь моря бѣдствій засыпаютъ
И взоръ спокойно обращаютъ
На гробы ближнихъ и друзей.
На смерть, на клевету жестоку,
Ползущу низкою зміей,
Чтобъ рану нанести жестоку
И непорочности самой.
Но мнѣ ль съ чувствительной душой
Быть въ мірѣ золъ спокойной жертвой
И клеветы, и разныхъ бѣдъ?...
Увы, я знаю, что сей свѣтъ

Могилой создань намъ отверстой,
Куда падетъ, сраженъ косой,
И царь съ вѣнчанною главой,
И пастырь, и монахъ, и воинъ!
Ужели я одинъ достоинъ
И вѣчно жить, и быть блаженъ?
Увы, здѣсь всякъ отягощенъ
Ярмомъ печалей и цѣпями,
Которыхъ намъ по смерть руками,
Столь слабыми, нельзя сложить!
Но можно ль ихъ, мой другъ, влачить
Безъ слезъ, не сокрушась душевно?
Скорѣе моремъ льзя безбѣдно
На валкой ладіѣ проплыть,
Когда Борей расширитъ крилья,
Безъ вѣтрилъ, снастей и кормилъ
И къ небу взоръ не обратить.
  Я плачу, другъ мой, здѣсь съ тобою,
А время молніей летитъ.
Ужь мѣсяцъ свѣтлый надо мною
Спокойно въ озеро глядитъ;
Все спитъ подъ кровомъ майской нощи,
Едва ли водопадъ шумитъ,
Безмолвенъ долъ, вздремали рощи,
Въ которыхъ лучъ луны скользитъ
Сквозь вѣтви, на землю склоненны,
И я, Морфеемъ удрученный,
Прерву цѣвницы скорбный гласъ
И, можетъ, въ полуночный часъ
Тебя въ мечтѣ, мой другъ, познаю
И разъ еще облобызаю....

1809.

V.

Выздоровленіе.

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца
Склоняетъ голову и вянетъ,
Такъ я въ болѣзни ждалъ безвременно конца
И думалъ: Парки часъ настанетъ!
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,
Ужъ сердце медленнѣе билось...
Я вянулъ, изчезалъ, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приблизилась, о, жизнь души моей,
И алыхъ устъ твоихъ дыханье,
И слезы пламенемъ сверкающихъ очей,
И поцѣлуевъ сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милыхъ словъ
Меня изъ области печали,
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ
Для сладострастія призвали.
Ты снова жизнь даешь: она—твой даръ благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мнѣ сладокъ будетъ часъ и муки роковой:
Я отъ любви теперь увяну.

VI.

Отвѣтъ Н. И. Гнѣдичу.

Твой другъ тебѣ на вѣкъ отнынѣ
Съ рукою сердце отдаетъ:
Онъ отслужилъ слѣпой богинѣ,
Безплодныхъ матери суетъ.
Увы, мой другъ, я въ дни младые
Цирцеямъ также отслужилъ,
Въ карманы заглянулъ пустые,
Покинулъ миртъ и мечъ сложилъ.
Пускай, кто честолюбьемъ боленъ,
Бросаетъ съ Марсомъ огнь и громъ;
Но я—безвѣстностью доволенъ
Въ Сабинскомъ домикѣ моемъ!
Тамъ глиняны свои пенаты
Подъ сѣнью дружней съединимъ,
Поставимъ брашны не богаты,
А дни мечтой позолотимъ.
И если къ намъ любовь заглянетъ
Въ пріютъ, гдѣ дружбы храмъ святой,
Увы, твой другъ не перестанетъ
Еще ей жертвовать собой!
Какъ гость, весельемъ пресыщенный,
Роскошный покидаетъ пиръ,
Такъ я, любовью упоенный,
Покину равнодушно міръ.

VII.

Стихи Е. С. Семеновой.

E in sì bel corpo più cara venia.
Тассъ, V-я пѣснь Освобожденнаго Іерусалима.

Я видѣлъ красоту, достойную вѣнца,
Дочь добродѣтельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастнаго слѣпца;
Я видѣлъ, я внималъ ея сердечну стону —
И въ рубищѣ простомъ почтенной нищеты
Узналъ богиню красоты.

Я видѣлъ, я позналъ ее въ Моинѣ страстной.
Средь сонма древнихъ бардъ, средь копій и мечей;
Ея гласъ сладостный достигъ души моей,
Ея взоръ пламенный, всегда съ душой согласной.
Я видѣлъ — и позналъ небесныя черты
Богини красоты.

О, дарованіе, одно другимъ вѣнчанно! [1])
Я видѣлъ Ксенію, стенящу предо мной:
Любовь и строгій долгъ владѣютъ вдругъ княжной;
Боренье всѣхъ страстей, въ ней къ ужасу сліянно.
Я видѣлъ, чувствовалъ душевной полнотой —
И счастливъ сей мечтой!

Я видѣлъ... и хвалить не смѣлъ въ восторгѣ страстномъ.
Но нынѣ, истиной священной вдохновенъ,
Скажу: красотъ соборъ въ ней явно съединенъ.
Душа небесная во образѣ прекрасномъ
И сердца добраго всѣ рѣдкія черты,
Безъ коихъ ничего и прелесть красоты.

---

[1]) Дарованіе поэта и актрисы.

VIII.

Тибуллова элегія III-я.

Изъ III-й книги.

Напрасно осыпалъ я жертвенникъ цвѣтами,
Напрасно ѳиміамъ курилъ предъ алтарями,
Напрасно!... Деліи еще съ Тибулломъ нѣтъ!
Безсмертны, слышали вы скромный мой обѣтъ?
Молилъ ли васъ когда о почестяхъ и златѣ,
Желалъ ли обитать во мраморной палатѣ?
Къ чему мнѣ пажитей обширная земля,
Златыми класами вѣнчанныя поля
И стадо кобылицъ, рабами охраненно?...
О бѣдности молилъ, съ тобою раздѣленной,
Молилъ, чтобъ смерть меня застала при тебѣ,
Хоть нища, но съ тобой!... Къ чему желать себѣ
Богатства Азіи или воловъ дебелыхъ!
Ужели болѣе мы дней сочтемъ веселыхъ
Въ садахъ и въ храминахъ, гдѣ дивный рядъ столбовъ
Изсѣченъ хитростью наемныхъ пришлецовъ,
Гдѣ все одинъ порфиръ Тенера и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста,
Луга пространные, гдѣ силою трудовъ
Легла священна тѣнь отъ кедровыхъ лѣсовъ?
Къ чему эритрскія жемчужины безцѣнны
И руна тирскія, багрянцемъ напоенны?
Въ богатствѣ ль счастіе? Въ немъ призракъ, тщетный видъ.
Мудрецъ отъ ларъ своихъ за златомъ не бѣжитъ,
Колѣнъ предъ случаемъ во вѣкъ не преклоняетъ
И въ хижинѣ своей съ фортуной обитаетъ.

И бѣдность, Делія, мнѣ радостна съ тобой!
Тотъ кровъ соломенный, Тибуллу золотой,
Подъ коимъ сопряженъ любовію съ тобою,
Сто кратъ благословенъ!... Но если предо мною
Безсмертные вѣсовъ судьбы не преклонятъ,
Утѣшитъ ли тогда сей Римъ, сей пышный градъ?
Ахъ, нѣтъ! И золото блестящаго Пактола,
И громкой славы шумъ, и самый блескъ престола
Безъ Деліи — ничто, а съ ней и куща — храмъ,
Безвѣстность, нищета завидны небесамъ!

О, дочь Сатурнова, услышь мое моленье,
И ты, любови мать! Когда же Паркъ сужденье,
Когда суровыхъ сестръ противно веретено,
И Деліей владѣть Тибуллу не дано,
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Гдѣ блата топкія и воды Ахерона
Широкой цѣпію вкругъ ада облежатъ,
Гдѣ безпробуднымъ сномъ печальны тѣни спятъ.

IX.

Эпитафія.

Не нужны надписи для камня моего,
Скажите просто здѣсь: онъ былъ и нѣтъ его!

X.

Воспоминанія 1807 года.

Мечты, повсюду вы меня сопровождали
И мрачной жизни путь цвѣтами устилали!
Какъ сладко я мечталъ на Гейльсбергскихъ поляхъ,
Когда весь станъ дремалъ въ покоѣ,
И ратникъ, опершись на копіе стальное,
Въ усталости почилъ! Луна на небесахъ
Во всемъ величіи блистала
И низкій мой шалашъ сквозь вѣтви освѣщала.
Аль свѣтлый чуть струю лѣнивую катилъ
И въ зеркальныхъ водахъ являлъ весь станъ и рощи;
Едва дымился огнь въ часы туманной нощи
Близъ кущи ратника, который сномъ почилъ.
О, Гейльсбергски поля, о, холмы возвышенны,
Гдѣ столько разъ въ ночи, луною освѣщенный,
Я, въ думу погруженъ, о родинѣ мечталъ!
О, Гейльсбергски поля, въ то время я не зналъ,
Что трупы ратниковъ устелютъ ваши нивы,
Что мѣдной челюстью громъ грянетъ съ сихъ холмовъ,
Что я, мечтатель вашъ счастливый,
На смерть летя противъ враговъ,
Рукой закрывъ тяжелу рану,
Едва ли на зарѣ сей жизни не увяну!
И буря дней моихъ изчезла, какъ мечта...
Осталось мрачно вспоминанье....

Между протекшаго есть вѣчная черта:
Насъ сближитъ съ нимъ одно мечтанье.
Да оживлю теперь я въ памяти своей

Сію ужасную минуту,
Когда, болѣзнь вкушая люту
И видя сто смертей,
Боялся умереть не въ родинѣ моей!
Но небо, внявъ моимъ моленіямъ усерднымъ,
Взглянуло окомъ милосердымъ:
Я, Нѣманъ переплывъ, узрѣлъ желанный край
И, землю лобызавъ съ слезами,
Сказалъ: Блаженъ стократъ, кто съ сельскими богами,
Спокойный домосѣдъ, земной вкушаетъ рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
Къ себѣ богиню быстроногу
Въ молитвахъ не зоветъ!
Не слѣпъ ко славѣ онъ любовью,
Не жертвуетъ своимъ спокойствіемъ и кровью,
Могилу зритъ свою и тихо смерти ждетъ.

. . . .

Семейство мирное, уже ль тебя забуду
И дружбѣ и любви неблагодаренъ буду!
Ахъ, мнѣ ли позабыть гостепріимный кровъ,
Въ сѣни домашнихъ гдѣ боговъ
Усердный эскулапъ божественной наукой
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно изцѣлилъ
Меня, борющагось уже съ смертельной мукой!
Ужели я тебя, красавица, забылъ,
Тебя, которую я зрѣлъ передъ собою,
Какъ утѣшителя, какъ ангела добра!
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосудъ мнѣ подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью вѣнчала
Долины, холмы и лѣса.
Я помню утро то, какъ слабою рукою

Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я въ первый разъ узрѣлъ цвѣты и древеса....
Какое счастіе съ весной воскреснуть ясной!
(Въ глазахъ любви еще прелестнѣе весна).
Я, восхищенъ природой красной,
Сказалъ Эмиліи: «Ты видишь, какъ она,
«Расторгнувъ зимній мразъ, съ весною оживаетъ,
«Съ ручьемъ шумитъ въ лугахъ и съ розой разцвѣтаетъ;
«Что бъ было безъ весны?... Подобно такъ и я
«На утрѣ дней моихъ увялъ бы безъ тебя!»
Тутъ, грудь кропя горячими слезами,
Соединивъ уста съ устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.

Увы, изчезло все, какъ прелесть сладка сна!
Куда дѣвалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьмѣ ночной свиданья,
Гдѣ, заключа ее въ объятіяхъ моихъ,
Я не завидывалъ судьбѣ боговъ самихъ!.....
Теперь я, съ нею разлученный,
Считаю скукой дни, цѣпь горестей влачу.
Воспоминанія, лишь вами окриленный,
Къ ней мыслію лечу,
И въ часъ туманной полуночи
Мечтой обвороженны очи,
Какъ призракъ, красоту въ одеждѣ легкой зрятъ,
Ея и станъ, и взглядъ;
Я къ ней объятія въ восторгѣ простираю.....
И тѣнь лишь обнимаю.

1810.

XI.

Къ И. А. Петину.

О, любимецъ бога брани,
Мой товарищъ на войнѣ!
Я платилъ съ тобою дани
Богу славы не одинѣ:
Ты на киверѣ почтенномъ
Лавры съ миртомъ сочеталъ,
Я въ углу уединенномъ
Незабудки собиралъ.
Помнишь ли, питомецъ славы,
Индесальми страшну ночь?
Не люблю такой забавы,
Молвилъ я,— и съ музой прочь!
Между тѣмъ какъ ты штыками
Шведовъ за лѣсъ провожалъ,
Я геройскими руками....
Ужинъ вамъ приготовлялъ.
Счастливъ ты, шалунъ любезный,
И въ Цитерской сторонѣ;
Я же, всюду безполезный —
И въ любви, и на войнѣ,
Время жизни въ скукѣ трачу
За крилатый счастья мигъ,

Ночь зѣваю, утромъ плачу
Объ утратѣ сновъ моихъ.
Тщетны слезы! Мнѣ готова
Цѣпь, сотканна изъ суетъ;
Отъ родительскаго крова
Я опять на морѣ бѣдъ.
Мой челнокъ любовь слѣпая
Правитъ дѣтскою рукой,
Между тѣмъ какъ лѣнь зѣвая
На кормѣ сидитъ со мной.
Можетъ быть, какъ быстра младость
Убѣжитъ отъ насъ бѣгомъ,
Я возьмусь за умъ, да радость
Уживется ли съ умомъ?
Ахъ, почто же мнѣ заранѣ,
Другъ любезный, унывать?
Вся судьба моя въ стаканѣ!
Станемъ пить и воспѣвать:
Счастливъ, счастливъ, кто цвѣтами
Дни любови украшалъ,
Пѣлъ съ безпечными друзьями,
А о счастіи мечталъ!
Счастливъ онъ, и втрое болѣ
Всѣхъ вельможей и царей!
Такъ давай, въ безвѣстной долѣ,
Чужды рабства и цѣпей,
Кое-какъ тянуть жизнь нашу,
Часто съ горемъ пополамъ,
Наливать полнѣе чашу
И смѣяться дуракамъ!

2*

XII.

Привидѣніе.

Посмотрите: въ двадцать лѣтъ
Блѣдность щеки покрываетъ,
Съ утромъ вянетъ жизни цвѣтъ,
Парка дни мои считаетъ
И отсрочки не даетъ!
Что же медлить? Вѣдь Зевеса
Плачъ и стонъ не укротитъ,
Смерти мрачной занавѣса
Упадетъ, и я забытъ!
Я забытъ... Но изъ могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, другъ мой милый,
Какъ мертвецъ, тебя пугать.
Въ часъ полуночныхъ явленій
Я не стану въ видѣ тѣни
То внезапу, то тишкомъ
Съ воплемъ въ твой являться домъ.
Нѣтъ, по смерти, невидимкой
Буду вкругъ тебя летать,
На груди твоей подъ дымкой
Тайны прелести лобзать;
Стану всюду развѣвать
Легкимъ устъ прикосновеньемъ,
Какъ зефира дуновеньемъ,
Отъ каштановыхъ волосъ
Тонкій запахъ свѣжихъ розъ.
Если лилія листами

Ко груди твоей прильнетъ,
Если яркими лучами
Въ камелькѣ огонь блеснетъ,
Если пламень потаенной
По ланитамъ пробѣжалъ,
Если поясъ сокровенной
Развязался и упалъ,—
Улыбнися, другъ безцѣнной,
Это я!.. Когда же ты,
Сномъ закрывъ прелестны очи,
Обнажишь во мракѣ ночи
Розъ и лилій красоты,
Я вздохну, и гласъ мой томной,
Арфы голо́су подобной,
Тихо въ воздухѣ умретъ.
Если жь легкими крылами
Сонъ глаза твои сомкнетъ,
Я невидимо съ мечтами
Стану плавать надъ тобой.
Сонъ твой, Хлоя, будетъ дологъ,
Но когда блеснетъ сквозь пологъ
Лучъ денницы золотой,
Ты проснешься... О, блаженство!
Я увижу совершенство,
Тайны прелести красотъ,
Гдѣ самъ пламенный Эротъ,
Оттѣнилъ рукой своею
Розой дѣвственну лилею.
Все опять въ моихъ глазахъ,
Всѣ покровы исчезаютъ...
Часъ блаженнѣйшій!.... Но, ахъ,
Мертвые не воскресаютъ!

XIII.

Тибуллова элегія X-я изъ I-й книги.

Вольный переводъ.

Кто первый изострилъ желѣзный мечъ и стрѣлы?
Жестокій, онъ изгналъ въ безвѣстные предѣлы
Миръ сладостный и въ адъ открылъ обширный путь!
Но онъ виновенъ ли, что мы на ближнихъ грудь
За золото, за прахъ желѣзо устремляемъ,
А не чудовищей имъ дикихъ поражаемъ?
Когда на пиршествахъ стоялъ сосудъ святой
Изъ буковой коры межъ утвари простой,
И столъ былъ отягченъ избыткомъ сельскихъ брашенъ,
Тогда не знали мы щитовъ и твердыхъ башенъ,
И пастырь близъ овецъ спокойно засыпалъ,
Тогда бы дни мои я радостьми считалъ,
Тогда бъ не чувствовалъ невольно трепетанья
При гласѣ бранныхъ трубъ! О, тщетное мечтанье!
Я съ Марсомъ на войнѣ: быть можетъ, лукъ тугой
Натянутъ на меня пернатою стрѣлой....
О, боги, сей ударъ вы мимо пронесите,
Вы, лары отчески, отъ гибели спасите,
И вы, хранившіе меня въ тѣни своей,
Въ безпечности златой отъ колыбельныхъ дней,
Не постыдитеся, что ликъ боговъ священный,
Изсѣченный изъ пня и пылью покровенный,
Въ жилищѣ праотцевъ уединенъ стоитъ!
Не знали смертные ни злобы, ни обидъ,
Ни клятвъ нарушенныхъ, ни почестей, ни злата,
Когда священный ликъ домашняго пената

Еще скудельный былъ на пепелищѣ ихъ!
Онъ благодатенъ намъ, когда изъ чашъ простыхъ
Мы учинимъ предъ нимъ обильны возліянья,
Иль на чело его, въ знакъ мирнаго вѣнчанья,
Возложимъ мы вѣнки изъ миртовъ и лилей;
Онъ благодатенъ намъ, сей мирный богъ полей,
Когда на празднествахъ, въ дни майскіе веселы,
Съ толпою чадъ своихъ оратай престарѣлый
Опрѣсноки ему священны принесетъ,
А дѣвы красныя — изъ улья чистый медъ.
Спасите жь вы меня, отеческіе боги,
Отъ копій, отъ мечей! Вамъ даръ несу убогій —
Кошницу полную Церериныхъ даровъ,
А въ жертву—сей овенъ, краса моихъ луговъ.
Я самъ, увѣнчанный и въ ризы облеченный,
Явлюсь на утріе предъ вашъ олтарь священный.
Пускай—скажу—въ поляхъ неистовый герой,
Обрызганъ кровію, выигрываетъ бой,
А мнѣ—пусть благости сей буду я достоинъ!—
О подвигахъ своихъ разскажетъ древній воинъ,
Товарищъ юности, и сидя за столомъ,
Мнѣ лагерь начертитъ веселыхъ чашъ виномъ.
Почто же вызывать намъ смерть изъ царства тѣни,
Когда въ подземный домъ вездѣ равны ступени?
Она, какъ тать въ ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится и всюду за тобой
И низведетъ тебя въ тѣ мрачные вертепы,
Гдѣ лаетъ адскій песъ, гдѣ фуріи свирѣпы
И кормчій въ челнокѣ на Стиксовыхъ водахъ.
Тамъ тѣней блѣдный полкъ толпится на брегахъ,
Власы обожжены, и впалы ихъ ланиты!...
Хвала, хвала тебѣ, оратай домовитый!
Твой вечерѣетъ вѣкъ средь счастливой семьи;
Ты самъ въ тѣни дубравъ пасешь стада свои;

Супруга между тѣмъ трапезу учреждаетъ,
Для омовенья ногъ сосуды нагрѣваетъ
Съ кристальною водой. О, боги, еслибъ я
Узрѣлъ еще мои родительски поля!
У свѣтлаго огня, съ подругою младою,
Я бъ юность вспомянулъ за чашей круговою
И были, и дѣла давно протекшихъ дней!
Сынъ неба, свѣтлый Миръ, ты самъ среди полей
Вола дебелаго ярмомъ отягощаешь,
Ты благодать свою на нивы проливаешь
И въ отческій сосудъ, наслѣдіе сыновъ,
Ліешь багряный сокъ изъ Вакховыхъ даровъ!
Въ дни мира острый плугъ и заступъ намъ священны,
А мечъ, кровавый мечъ и шлемы оперенны
Снѣдаетъ ржавчина безмолвно на стѣнахъ.
Оратай изъ лѣсу тамъ ѣдетъ на волахъ
Съ женою и съ дѣтьми, виномъ развеселенный.
Дни мира, вы любви игривой драгоцѣнны!
Подъ знаменемъ ея воюемъ съ красотой.
Ты плачешь, Ливія? Но побѣдитель твой,
Смотри, у ногъ твоихъ колѣна преклоняетъ.
Любовь коварная украдкой подступаетъ,
И вотъ ужъ среди васъ размолвившихъ сидитъ.
Пусть молнія боговъ безщадно поразитъ
Того, кто красоту обидѣлъ на сраженьи!
Но счастливъ, если могъ въ минутномъ изступленьи
Вѣнокъ на волосахъ каштановыхъ измять
И поясъ невзначай у дѣвы развязать!
Счастливъ, три крата счастливъ, когда твои угрозы
Исторгли изъ очей любви безцѣнны слезы!
А ты, взлелѣянный межъ копій и мечей,
Бѣги, кровавый Марсъ, отъ нашихъ алтарей!

XIV.

Ложный страхъ.

Подражаніе Парни.

Помнишь ли, мой другъ безцѣнный,
Какъ съ амурами тишкомъ,
Мракомъ ночи окруженный,
Я къ тебѣ прокрался въ домъ?
Помнишь ли, о, другъ мой нѣжной,
Какъ дрожащая рука
Отъ побѣды неизбѣжной
Защищалась, но слегка?
Слышенъ шумъ: ты испугалась,
Свѣтъ блеснулъ и въ мигъ погасъ,
Ты къ груди моей прижалась,
Чуть дыша... Блаженный часъ!
Ты пугалась, я смѣялся.
«Намъ ли вѣдать, Хлоя, страхъ!
«Гименей за все ручался,
«И Амуры на часахъ.
«Все въ безмолвіи глубокомъ,
«Все почило сладкимъ сномъ,
«Дремлетъ Аргусъ томнымъ окомъ
«Подъ Морфеевымъ крыломъ!»
Рано утреннія розы
Запылали въ небесахъ...
Но любви безцѣнны слезы,
Но улыбка на устахъ,
Томно персей волнованье
Подъ прозрачнымъ полотномъ,

Молча, новое свиданье
Обѣщали вечеркомъ.
Еслибъ Зевсова десница
Мнѣ вручила ночь и день,
Поздно бъ юная денница
Прогоняла черну тѣнь,
Поздно бъ солнце выходило
На восточное крыльцо,
Чуть блеснуло бъ и сокрыло
За лѣсъ рдяное лицо,
Долго бъ тѣни пролежали
Влажной ночи на поляхъ,
Долго бъ смертные вкушали
Сладострастіе въ мечтахъ!
Дружбѣ дамъ я часъ единый,
Вакху часъ и сну другой,
Остальною жъ половиной
Подѣлюсь, мой другъ, съ тобой!

XV.

Отъѣздъ.

Ты хочешь, горсткой онміама
Чтобъ жертвенникъ я твой почтилъ?
Для грацій муза не упряма,
И я имъ лиру посвятилъ.

Я вижу вкругъ тебя толпятся
Вздыхатели—шумливый рой!
Какъ пчелы на цвѣтокъ стремятся,
Иль легки бабочки весной.

И Марсъ, высокій, въ битвахъ смѣлый,
И Селадонъ плаксивый тутъ,
И юноша еще не зрѣлый
Тебѣ сердечну дань несутъ.

Одинъ—я видѣлъ—все вздыхаетъ,
Другой какъ мраморный стоитъ,
Болтунъ сорокой не болтаетъ,
Нахалъ краснѣетъ и молчитъ.

Труды затѣйливой Арашны,
Сотканные въ углу тайкомъ,
Не столь для мухъ игривыхъ страшны,
Какъ твой для насъ волшебный домъ.

Но я одинъ, прелестна Хлоя,
Платить сей дани не хочу
И, осторожности удвоя,
На тройкѣ въ Питеръ улечу.

XVI.

Изъ Антологіи.

Сотъ меда съ молокомъ—
И Маинъ сынъ тебѣ на долго благосклоненъ!
Алкидъ не такъ-то скроменъ:
Дай двѣ ему овцы, дай козу и съ козломъ;
Тогда онъ на овецъ прольетъ благословенье
И въ снѣдь не дастъ волкамъ.
Храню къ богамъ почтенье,

А стада не отдамъ
На жертвоприношенье.
Скажите: что за честь,
Когда не волкъ его, Алкидъ изволитъ съѣсть?

XVII.

Источникъ.

Изъ Парни.

Буря умолкла, и въ ясной лазури
Солнце явилось на западѣ намъ;
Мутный источникъ, слѣдъ яростной бури,
Съ ревомъ и шумомъ бѣжитъ по полямъ.
Зафна, приближься! Для дѣвы невинной
Пальмы подъ тѣнью здѣсь роза цвѣтетъ;
Падая съ камня, источникъ пустынной
Съ ревомъ и съ пѣной сквозь дебри течетъ.

Дебри ты, Зафна, собой озарила,
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ!
Пѣсни любови ты мнѣ повторила,
Вѣтеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ.
Голосъ твой, Зафна, какъ утра дыханье,
Сладостно шепчетъ, несясь по цвѣтамъ.
Тише, источникъ, прерви волнованье,
Съ ревомъ и съ пѣной стремясь по полямъ!

Голосъ твой, Зафна, въ душѣ отозвался;
Вижу улыбку и радость въ очахъ!
Дѣва любви, я къ тебѣ прикасался,
Съ медомъ пилъ розы на влажныхъ устахъ!

Зафна краснѣетъ?.... О, другъ мой невинный,
Тихо прижмися устами къ устамъ!
Будь же ты скроменъ, источникъ пустынный,
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!

Чувствую персей твоихъ волнованье,
Сердца біенье и слезы въ очахъ:
Сладостно дѣвы стыдливой роптанье!
Зафна, о, Зафна, смотри... тамъ въ водахъ
Быстро несется цвѣтокъ розмаринный;
Воды умчались—цвѣточка ужь нѣтъ!
Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустынный,
Съ ревомъ который сквозь дебри течетъ!

Время погубитъ и прелесть, и младость!...
Ты улыбнулась, о дѣва любви,
Чувствуешь въ сердцѣ томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень въ крови!...
Зафна, о, Зафна, тамъ голубь невинный
Съ страстной подругой завидуютъ намъ!
Вздохи любови источникъ пустынный
Съ ревомъ и съ шумомъ умчитъ по полямъ!

XVIII.

На смерть Лауры

Изъ Петрарки, сонетъ: Rotta è l'alta collonna e'l verde lauro.

Колонна гордая, о, лавръ вѣчно зеленый,
Ты палъ, и я на вѣкъ лишенъ твоихъ прохладъ!
Ни тамъ, гдѣ Индъ живетъ, лучами опаленный,
Ни въ хладномъ сѣверѣ для сердца нѣтъ отрадъ!
Все смерть похитила, все алчная пожрала,

Сокровище души, покой и радость съ нимъ!
А ты, земля, во вѣкъ корысть не возвращала,
И мертвый нѣмъ лежитъ подъ камнемъ гробовымъ!
Все тщетно предъ тобой — и власть, и волхвованья...
Таковъ судьбы завѣтъ!... Почто жь мнѣ долѣ жить?
Увы, чтобъ повторять въ часъ полночи рыданья
И слезы вѣчныя на хладный камень лить!
Какъ сладко, жизнь, твое для смертныхъ обольщенье!
Я въ будущемъ мое блаженство основалъ.
Тамъ пристань видѣлъ я, покой и утѣшенье
И все съ Лаурою въ минуту потерялъ!

XIX.

Вечеръ.

Подражаніе Петраркѣ, canzone IV.

Въ тотъ часъ, какъ солнца лучъ потухнетъ за горою,
Склонясь на посохъ свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая отъ бремени годовъ,
Спѣшитъ, спѣшитъ съ полей подъ отдаленный кровъ
И тамъ, пришедъ къ огню, среди лачуги дымной
Вкушаетъ трапезу съ семьей гостепріимной,
Вкушаетъ сладкій сонъ, замѣну горькихъ слезъ!
А я, какъ солнца лучъ потухнетъ средь небесъ,
Одинъ въ изгнаніи, одинъ съ моей тоскою,
Бесѣдую въ ночи съ задумчивой луною!

Когда вечерній лучъ потухнетъ средь морей,
И ночь, угрюмая владычица тѣней,

Сойдетъ съ высокихъ горъ съ отрадной тишиною,
Оратай острый плугъ увозитъ за собою
И, медленной стопой идя подъ отчій кровъ,
Поетъ простую пѣснь въ забвенье всѣхъ трудовъ,
Въ тѣни домашнихъ ларъ, и всюду сынъ послушный
Съ отцомъ и матерью вкушаетъ пиръ радушный.
Онъ счастливъ... Я одинъ тоской усыновленъ,
Грущу и день, и ночь среди безмолвныхъ стѣнъ!

Лишь мѣсяцъ сквозь туманъ багряный ликъ уставитъ
Въ недвижныя моря, пастухъ поля оставитъ,
Простится съ нивами, съ дубравой и ручьемъ
И гибкою лозой стада погонитъ въ домъ.
Игралище вѣтровъ среди пучины пѣнной,
И ты, рыбарь, спѣшишь на брегъ уединенной!
Тамъ, сѣти преклонивъ ко утлой ладіѣ,
(Вотъ все отъ грозныхъ бурь убѣжище твое!)
При блескѣ молніи, при шумѣ непогоды
Заснулъ... И счастливъ ты, угрюмый сынъ природы!

Но се блѣднѣетъ тамъ багряный небосклонъ,
И медленной стопой идутъ волы въ загонъ
Съ холмовъ и пажитей, туманомъ орошенныхъ.
О, пѣснопѣній мать, въ вертепахъ отдаленныхъ,
Въ изгнаньи горестномъ утѣха дней моихъ,
О, лира, возбуди бряцаньемъ струнъ златыхъ
И холмы спящіе, и кипарисны рощи,
Гдѣ я, печали сынъ, среди глубокой нощи,
Объятый трепетомъ, склонился на гранитъ....
И надо мною тѣнь Лауры пролетитъ!

XX.

Радость.

Подражаніе Касти.

Любимца Кипридина
И миртомъ, и розою
Вѣнчайте, о, юноши
И дѣвы стыдливыя!
Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте!
Мнѣ лиру тіисскую
Камены и граціи
Вручили съ улыбкою,
И пѣсни веселію,
Пріятнѣе нектара
И слаще амврозіи,
Что пьютъ небожители,
Въ блаженствѣ безпечные,
Польются со струнъ ея!
Сегодня день радости:
Филлида суровая,
Сквозь слезы стыдливости,
«Люблю» мнѣ промолвила.
Какъ роза, кропимая
Въ часъ утра Авророю,
Съ главой отягченною
Безцѣнными капсями,
Румянѣй становится,

Такъ ты, о, прекрасная,
Съ главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснѣя промолвила:
«Люблю» тихимъ шопотомъ.
Все мнѣ улыбнулося;
Тоска и мученія,
И страхи, и горести
Изчезли, какъ не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему,
Межь бисерныхъ облаковъ,
Цитерскими птицами
Къ Киѳерѣ иль Паѳосу,
Цвѣтами осыпала
Меня и красавицу.
Все мнѣ улыбнулося:
И солнце весеннее,
И рощи кудрявыя,
И воды прозрачныя,
И холмы парнасскіе!
Любимца Кипридина,
Въ любви побѣдителя,
И миртомъ, и розою
Вѣнчайте, о, юноши
И дѣвы стыдливыя!

XXI.

Счастливецъ.

Подражаніе Касти.

Слышишь? Мчится колесница
Тамъ по звонкой мостовой;
Правитъ сильная десница
Коней серебряной браздой.

Ихъ копыта бьютъ о камень,
Искры сыплются струей,
Пышетъ дымъ, и черный пламень
Излетаетъ изъ ноздрей.

Рѣзьбой дивною и златомъ
Колесница вся горитъ:
На коврѣ ея богатомъ
Кто жъ, Лизета, кто сидитъ?

Временщикъ, вельможъ любимецъ,
Что на откупъ городъ взялъ...
Ахъ, давно ли онъ у крылецъ
Пыль смиренно обметалъ!

Вотъ онъ съ нами поравнялся
И едва кивнулъ главой,
Вотъ ужъ молніей промчался,
Пыль оставя за собой.

Добрый путь! Пока лелѣетъ
Въ колыбели счастье васъ!
Поздно ль, рано ль, но приспѣетъ
И невзгоды страшный часъ.

Ахъ, Лизета, льзя ль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему счастливымъ зваться
Съ развращенною душой!

Тамъ, гдѣ хитростью искусства
Розы въ зиму разцвѣли,
Тамъ, гдѣ все плѣняетъ чувства,
Дань морей и дань земли,

Мраморъ дивный изъ Пароса
И кораллы на стѣнахъ,
Тамъ, гдѣ въ роскоши Паѳоса
На узорчатыхъ коврахъ

Счастья шаткаго любимецъ
Съ нимфами забвенье пьетъ,
Тамъ же слезы сей счастливецъ
Отъ людей украдкой льетъ.

Блѣденъ, ночью Крезъ несчастный
Шепчетъ тихо, чтобъ жена
Не вняла сей гласъ ужасный:
«Мнѣ погибель суждена!»

Сердце наше—кладезь мрачной:
Тихъ, покоенъ сверху видъ,
Но спустись ко дну... Ужасно!
Крокодилъ на немъ лежитъ!

Душъ великихъ сладострастье,
Совѣсть, зоркій стражъ сердецъ,
Безъ тебя ничтожно счастье,
Гибель—злато и вѣнецъ!

XXII.

Отрывокъ изъ элегіи.

. . . .

О, пока безцѣнна младость
Не умчалася стрѣлой,
Пей изъ чаши полной радость
И, сливая голосъ свой
Въ часъ вечерній съ тихой лютней,
Славь безпечность и любовь!
А когда въ сѣни пріютней
Мы услышимъ смерти зовъ,
То какъ лозы винограда
Обвиваютъ тонкій вязъ,
Такъ меня, моя отрада,
Обними въ послѣдній часъ!
Такъ лилейными руками
Цѣпью нѣжною обвей,
Съедини уста съ устами,
Душу въ пламени излей!
И тогда тропой безвѣстной,
Долу къ тихимъ берегамъ,
Самъ онъ, богъ любви прелестной,
Проведетъ насъ по цвѣтамъ
Въ тотъ Элизій, гдѣ все таетъ
Чувствомъ нѣги и любви,
Гдѣ любовникъ воскресаетъ
Съ новымъ пламенемъ въ крови,
Гдѣ, любуясь пляской грацій,
Нимфъ, сплетенныхъ въ хороводъ,

Съ Деліей своей Горацій
Гимны радости поетъ.
Тамъ, подъ тѣнью миртовъ зыбкой,
Намъ любовь сплететъ вѣнцы,
И привѣтливой улыбкой
Встрѣтятъ нѣжные пѣвцы.

1811.

XXIII.

Послание графу М. Ю. Вельурскому.

О, ты, владѣющій гитарой трубадура,
Эраты голосомъ и прелестью Амура,
Воспомни, милый графъ, счастливы времена,
Когда насъ юношей—увидѣла Двина,
Когда, отвоевавъ подъ знаменемъ Беллоны,
Подъ знаменемъ любви я началъ воевать
И новый регламентъ и новые законы
Въ глазахъ прелестницы читать!
Заря весны моей! Тебя какъ не бывало!
Но сердце въ той странѣ съ любовью отдыхало,
Гдѣ я узналъ тебя, мой нѣжный трубадуръ!
Обѣтованный край, гдѣ вѣтреный Амуръ
Прелестнымъ личикомъ любезный полъ даруетъ,
Подъ дымкой на груди лилеи образуетъ,
Какими бъ и у насъ гордилась красота,
Вливаетъ томный огнь и въ очи, и въ уста,
А въ сердце юное—любви прямое чувство.
Счастливыя мѣста, гдѣ нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящихъ съ трубками вкругъ угольныхъ огней
За сыромъ выписнымъ, за Гамбургскимъ журналомъ,

Межъ тѣмъ какъ жены ихъ, смѣясь подъ опахаломъ,
«Люблю, люблю тебя!» пришельцу говорятъ
И руку жмутъ ему коварными перстами!
О, мой любезный другъ, отдай, отдай назадъ
Зарю прошедшихъ дней, и съ прежними бѣдами,
Съ любовью и войной!
Или, волшебникъ мой,
Одушеви мое музыкой пѣснопѣнье,
Вдохни огонь любви въ холодныя слова,
Еще отдай стихамъ потерянны права
И камни приводить въ движенье,
И горы, и лѣса!
Тогда я съ сильфами взлечу на небеса
И тихо, какъ призракъ, какъ лучъ отъ неба ясный,
Спущусь на берега пологіе Двины
Съ твоей гитарой сладкогласной,
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь—и нимфы горъ при мѣсячномъ сіяньи,
Какъ тѣни легкія въ прозрачномъ одѣяньи,
Съ сильванами сойдутъ, услышатъ голосъ мой,
Наяды робкія, всплывая надъ водой,
Восплещутъ бѣлыми руками,
И майскій вѣтерокъ, проснувшись на цвѣтахъ,
Въ прохладныхъ рощахъ и садахъ
Повѣетъ тихими крилами.
Съ очей прелестныхъ дѣвъ онъ свѣетъ тонкій сонъ,
Отгонитъ легки сновидѣнья
И тихимъ шопотомъ имъ скажетъ: «Это онъ!
«Вы слышите его знакомы пѣснопѣнья!»

XXIV.

Сонъ воиновъ.

Изъ поэмы Парни: Исндль и Аслега, пѣснь 3-я.

Битва кончилась; ратники пируютъ вокругъ зажженныхъ дубовъ.

...Но вскорѣ пламень потухаетъ,
И гаснетъ пепелъ черныхъ пней,
И томный сонъ отягощаетъ
Лежащихъ воевъ средь полей.
Сомкнулись очи, но призраки
Тревожатъ краткій ихъ покой:
Иный лѣсовъ проходитъ мраки,
Звѣрей голодныхъ слышитъ вой;
Иный на лодкѣ легкой рѣетъ
Среди кипящихъ въ морѣ волнъ,—
Весломъ десница не владѣетъ,
И гибнетъ въ безднѣ бренный челнъ;
Иный мѣста узрѣлъ знакомы,
Мѣста отчизны, милый край,
Ужь слышитъ псовъ домашнихъ лай
И зритъ отцовъ поля и домы
И нѣжныхъ чадъ своихъ... Мечты!
Проснулся въ безднѣ темноты!
Иный чудовище сражаетъ:
Безплодно мечъ его сверкаетъ,
Махнулъ еще—его рука,
Подъята вверхъ, окостенѣла,
Бѣжать хотѣлъ—его нога
Дрожитъ, недвижима, замлѣла;
Встаетъ, и палъ! Иный плывётъ
Поверхъ прозрачныхъ, тихихъ водъ
И пѣнитъ волны подъ рукою;

Волна, усиленна волною,
Клубится, пѣнится горой
И вдругъ обрушилась, клокочетъ;
Несчастный борется съ рѣкой,
Воззвать къ дружинѣ вѣрной хочетъ,
И голосъ замеръ на устахъ!
Другой бѣжитъ на полѣ ратномъ,
Бѣжитъ, глотая пыль и прахъ,
Трикратъ сверкнулъ мечемъ булатнымъ,
И въ воздухѣ недвижимъ мечъ!
Звеня, упали латы съ плечъ,
Копье рамена прободаетъ,
И хлещетъ кровь изъ нихъ рѣкой;
Несчастный раны зажимаетъ
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся онъ и тщетно ищетъ
И ранъ, и вражьяго копья.
Но вѣтръ шумитъ и въ рощѣ свищетъ,
И волны мутнаго ручья
Подошвы скалъ угрюмыхъ роютъ,
Клубятся, пѣнятся и воютъ
Средь дебрей снѣжныхъ и холмовъ...

XXV.

Мадагаскарская пѣсня.

Изъ Парни.

Какъ сладко спать въ прохладной тѣни,
Пока долину зной палитъ,
И вѣтеръ чуть въ древесной сѣни
Дыханьемъ листья шевелитъ!

Приближьтесь, жены, и руками
Сплетяся дружно въ легкій кругъ,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слухъ!

Воспойте пѣсни мнѣ дѣвицы,
Плетущей сѣти для конницъ,
Или какъ, сидя у пшеницы,
Она пугаетъ жадныхъ птицъ.

Какъ ваше пѣнье сердцу внятно,
Какъ нѣгой утомляетъ духъ!
Какъ, жены, издали пріятно
Смотрѣть на вашъ сплетенный кругъ!

Да тихи, медленны и страстны
Тѣлодвиженья будутъ вновь,
Да всюду съ чувствами согласны
Являютъ нѣгу и любовь!

Но вѣтръ вечерній повѣваетъ,
Ужъ свѣтлый мѣсяцъ надъ рѣкой,
И насъ у кущи ожидаетъ
Постель изъ листьевъ и покой.

XXVI.

Надпись къ портрету N.

И тѣломъ, и душой ты на Амура схожа:
Коварна и умна, и столько же пригожа.

XXVII.

Мои пенаты.

Посланіе къ Жуковскому и Вяземскому.

Отечески пенаты,
О, пестуны мои!
Вы златомъ не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Гдѣ васъ на новосельи
Смиренно здѣсь и тамъ
Разставилъ по угламъ,
Гдѣ, странникъ я бездомный,
Всегда въ желаньяхъ скромный,
Сыскалъ себѣ пріютъ.
О, боги, будьте тутъ
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный ѳиміамъ
Поэтъ приноситъ вамъ,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихій жаръ
И сладки пѣснопѣнья,
Богинь Пермесскихъ даръ!
О, лары, уживитесь
Въ обители моей,
Поэту улыбнитесь—
И будетъ счастливъ въ ней!...
Въ сей хижинѣ убогой
Стоитъ передъ окномъ
Столъ ветхой и треногой

Съ изорваннымъ сукномъ.
Въ углу, свидѣтель славы
И суеты мірской,
Виситъ полузаржавый
Мечъ прадѣдовъ тупой;
Здѣсь книги выписныя,
Тамъ жесткая постель,
Все утвари простыя,
Все рухлая скудель.
Скудель!... Но мнѣ дороже,
Чѣмъ бархатное ложе
И вазы богачей!

Отеческіе боги,
Да къ хижинѣ моей
Не сыщетъ въ вѣкъ дороги
Богатство съ суетой,
Съ наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И блѣдны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о, мой убогой
Калѣка и слѣпой,
Идя путемъ-дорогой
Съ смиренною клюкой,
Ты смѣло постучися,
О, воинъ, у меня,
Войди и обсушися
У яркаго огня.
О, старецъ, убѣленный
Годами и трудомъ,
Трикраты уязвленный
На приступѣ штыкомъ,

Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя съ нагайкой,
Что въ жупелъ и въ огни
Леталъ передъ полками,
Какъ вихорь на поляхъ,
И вкругъ его рядами
Враги ложились въ прахъ!...
И ты, моя Лилета,
Въ смиренной уголокъ
Приди подъ вечерокъ
Тайкомъ, переодѣта!
Подъ шляпою мужской
И кудри золотыя,
И очи голубыя,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащъ широкой,
Мечомъ вооружись
И въ полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла; нарядъ военный
Упалъ къ ея ногамъ,
И кудри распущенны
Взвѣваютъ по плечамъ,
И грудь ея открылась
Съ лилейной бѣлизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вотъ съ улыбкой нѣжной
Садится у огня,
Рукою бѣлоснѣжной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Какъ вѣтеръ межь листами,

Мнѣ шепчетъ: «Я твоя,
«Твоя, мой другъ сердечной!»
Блаженъ, въ сѣни безпечной
Кто милою своей,
Подъ кровомъ отъ ненастья,
На ложѣ сладострастья
До утреннихъ лучей
Спокойно обладаетъ,
Спокойно засыпаетъ
Близь друга сладкимъ сномъ!

Уже потухли звѣзды
Въ сіяніи дневномъ,
И пташки теплы гнѣзды,
Что свиты надъ окномъ,
Щебеча покидаютъ
И нѣгу отрясаютъ
Со крылышекъ своихъ;
Зефиръ листы колышетъ,
И все любовью дышетъ
Среди полей моихъ;
Все съ утромъ оживаетъ,
А Лила почиваетъ
На ложѣ изъ цвѣтовъ,
И вѣтеръ тиховѣйной
Съ груди ея лилейной
Сдулъ дымчатый покровъ,
И въ локоны златые
Двѣ розы молодыя
Съ нарциссами вплелись;
Сквозь тонкія преграды
Нога, ища прохлады,
Скользитъ по ложу внизъ...
Я Лилы пью дыханье

На пламенныхъ устахъ,
Какъ розъ благоуханье,
Какъ нектаръ на пирахъ.
Покойся, другъ прелестной,
Въ объятіяхъ моихъ!
Пускай въ странѣ безвѣстной,
Въ тѣни лѣсовъ густыхъ,
Богинею слѣпою
Забытъ я отъ пеленъ,
Но дружбой и тобою
Съ избыткомъ награжденъ!
Мой вѣкъ спокоенъ, ясенъ,
Въ убожествѣ съ тобой
Мнѣ милъ шалашъ простой,
Безъ злата милъ и красенъ
Лишь прелестью твоей!

Безъ злата и честей
Доступенъ добрый геній
Поэзіи святой,
И часто въ мирной сѣни
Бесѣдуетъ со мной.
Небесно вдохновенье,
Порывъ крылатыхъ думъ!
(Когда страстей волненье,
Уснетъ, и свѣтлый умъ,
Летая въ поднебесной,
Земныхъ свободенъ узъ,
Въ Аоніи прелестной
Срѣтаетъ хоры музъ!)
Небесно вдохновенье,
Зачѣмъ летишь стрѣлой
И сердца упоенье
Уносишь за собой?

До розовой денницы
Въ отрадной тишинѣ,
Парнасскія царицы,
Подруги будьте мнѣ!
Пускай веселы тѣни
Любимыхъ мнѣ пѣвцовъ,
Оставя тайны сѣни
Стигійскихъ береговъ
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетятъ на голосъ лирный
Бесѣдовать со мной!
И мертвые съ живыми
Вступили въ хоръ единъ...
Что вижу? Ты предъ ними,
Парнасскій исполинъ [1]),
Пѣвецъ героевъ, славы,
Въ слѣдъ вихрямъ и громамъ,
Нашъ лебедь величавый,
Плывешь по небесамъ!
Въ толпѣ и музъ, и грацій [2]),
То съ лирой, то съ трубой
Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій
Сливаетъ голосъ свой;
Онъ громокъ, быстръ и силенъ,
Какъ Суна средь степей,
И нѣженъ, тихъ, умиленъ,
Какъ вешній соловей.
Фантазіи небесной
Давно любимый сынъ,
То повѣстью прелестной
Плѣняетъ Карамзинъ,

[1]) Ломоносовъ.

[2]) Державинъ.

То мудраго Платона
Описываетъ намъ,
И ужинъ Агатона,
И наслажденья храмъ,
То древню Русь и нравы
Владиміра временъ,
И въ колыбели славы
Рожденіе Славянъ.
За ними сильфъ прекрасной,
Воспитанникъ харитъ,
На цитрѣ сладкогласной
О Душенькѣ бренчитъ [2]):
Мелецкаго съ собою
Улыбкою зоветъ,
И съ нимъ, рука съ рукою,
Гимнъ радости поетъ!
Съ Эротами играя,
Философъ и піитъ,
Близь Федра и Пильпая
Тамъ Дмитріевъ сидитъ;
Бесѣдуя съ звѣрями,
Какъ счастливый дитя,
Парнасскими цвѣтами
Скрылъ истину шутя.
За нимъ въ часы свободы
Поютъ среди пѣвцовъ
Два баловня природы,
Хемницеръ и Крыловъ.
Наставники-піиты,
О, Фебовы жрецы!
Вамъ, вамъ плетутъ хариты
Безсмертные вѣнцы!

[2]) Богдановичъ.

Я вами здѣсь вкушаю
Восторги Піеридъ,
И въ радости взываю:
О, музы, я піитъ!

А вы, смиренной хаты,
О, лары и пенаты,
Отъ зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье,
И нѣгу, и покой!
Фортуна, прочь съ дарами
Блистательныхъ суетъ!
Спокойными очами
Смотрю на твой полетъ:
Я въ пристань отъ ненастья
Челнокъ мой проводилъ,
И васъ, любимцы счастья,
На вѣки позабылъ.
Но вы, любимцы славы,
Наперсники забавы,
Любви и важныхъ музъ,
Безпечные счастливцы,
Философы-лѣнивцы,
Враги придворныхъ узъ,
Друзья мои сердечны,
Придите въ часъ безпечный
Мой домикъ навѣстить,
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Жуковскій добрый мой!
Стрѣлою мчится время,
Веселіе стрѣлой!

Позволь же дружбѣ слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротомъ оживить.
О, Вяземскій, цвѣтами
Друзей твоихъ вѣнчай!
Даръ Вакха передъ нами:
Вотъ кубокъ, наливай!
Питомецъ музъ надежный,
О, Аристипповъ внукъ,
Ты любишь пѣсни нѣжны
И рюмокъ звонъ и стукъ!
Въ часъ нѣги и прохлады
На ужинахъ твоихъ
Ты любишь томны взгляды
Прелестницъ записныхъ
И всѣ заботы славы,
Суетъ и шумъ, и блажь
За быстрый мигъ забавы
Съ поклонами отдашь!
О, дай же ты мнѣ руку,
Товарищъ въ лѣни мой,
И мы потопимъ скуку
Въ сей чашѣ золотой!
Пока бѣжитъ за нами
Богъ времени сѣдой
И губитъ лугъ съ цвѣтами
Безжалостной косой,
Мой другъ, скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ,
Упьемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ;
Сорвемъ цвѣты украдкой

Подъ лезвіемъ косы
И лѣнью жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядутъ,
И насъ въ обитель нощи
Ко прадѣдамъ снесутъ,—
Товарищи любезны,
Не сѣтуйте о насъ!
Къ чему рыданья слезны,
Наемныхъ ликовъ гласъ?
Къ чему сіи куренья
И колокола вой,
И томны псалмопѣнья
Надъ хладною доской?
Къ чему?... Но вы толпами
При мѣсячныхъ лучахъ
Сберитесь и цвѣтами
Усѣйте мирный прахъ,
Иль бросьте на гробницы
Боговъ домашнихъ ликъ,
Двѣ чаши, двѣ цѣвницы
Съ листами повиликъ!
И путникъ угадаетъ
Безъ надписей златыхъ,
Что прахъ тутъ почиваетъ
Счастливцевъ молодыхъ.

XXVIII.

На смерть супруги Ѳ. Ѳ. Кокошкина.

Nell'età sua più bella e più fiorita...
E viva... e bella al ciel salita...
Petrarca.

Нѣтъ подруги нѣжной, нѣтъ прелестной Лилы,
Все осиротѣло!
Плачь, любовь и дружба! Плачь, Гименъ унылый,
Счастье улетѣло!

Дружба, ты всечасно радости цвѣтами
Жизнь ея дарила,
Ты свою богиню съ воплемъ и слезами
Въ землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лозы
Насади вкругъ урны!
Пусть приноситъ юность въ даръ чистѣйши слезы
И цвѣты лазурны!

Все вокругъ уныло! Чуть зефиръ весенній
Памятникъ лобзаетъ;
Здѣсь, въ жилищѣ плача, тихій смерти геній
Розу обрываетъ.

Здѣсь Гименъ прикованъ, блѣдный и безгласный,
Вѣчною тоскою
Гаситъ у гробницы свой свѣтильникъ ясный
Трепетной рукою!

1812.

XXIX

Дружество.

Подражаніе Біону.

Блаженъ, кто друга здѣсь по сердцу обрѣтаетъ,
Кто любитъ и любимъ чувствительной душой!
Тезей на берегахъ Коцита не страдаетъ:
Съ нимъ другъ его души, съ нимъ вѣрный Пириѳой.
Атридовъ сынъ въ цѣпяхъ, но зависти достоинъ:
Съ нимъ другъ его Пиладъ... подъ лезвеемъ мечей.
А ты, младый Ахиллъ, великодушный воинъ,
Безсмертный образецъ героевъ и друзей,
Ты дружбою великъ, ты ей дышалъ одною
И, друга смерть отмстивъ безтрепетной рукою,
Счастливъ... Ты мертвъ упалъ на гибельный трофей!

XXX.

Къ В. А. Жуковскому.

Прости, балладникъ мой,
Бѣлева мирный житель!
Да будетъ Фебъ съ тобой,
Нашъ давній покровитель!

Ты счастливъ средь полей
И въ хижинѣ укромной.
Какъ юный соловей
Въ прохладѣ рощи темной
Съ любовью дни ведетъ,
Гнѣзда не покидая,
Невидимый поетъ,
Невидимо плѣняя
Веселыхъ пастуховъ
И жителей пустынныхъ,—
Такъ ты, краса пѣвцовъ,
Среди забавъ невинныхъ
Въ отчизнѣ золотой
Прелестны гимны пой!
О, пой, любимецъ счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Всѣ блага разсыпая
Обильною рукой,
Тебѣ подноситъ вины
И портеръ выписной,
И сочны апельсины,
И съ трюфлями пирогъ—
Весь Амальтеи рогъ,
Во вѣкъ неистощимый,
На жирный твой обѣдъ!

А мнѣ... покоя нѣтъ!
Смотри: неумолимый
Домашній Гипократъ,
Наперсникъ Парки блѣдной,
Поповъ слуга усердной,

Чумѣ и смерти братъ,
Поклявшися латынью
И практикой своей,
Поитъ меня полынью
И супомъ изъ костей,
Безъ дальняго старанья
До смерти запоитъ,
И къ вамъ писать посланья
Отправитъ за Коцитъ!
Все въ жизни измѣнило,
Что сердцу сладко льстило,
Все, все прошло какъ сонъ:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлонъ!
Я сталъ подобенъ тѣни,
Къ смиренію сердецъ,
Сухъ, блѣденъ, какъ мертвецъ;
Дрожатъ мои колѣни,
Спина дугой къ землѣ,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челѣ;
На вѣкъ изчезла сила
И доблесть прежнихъ лѣтъ.
Увы, мой другъ, и Лила
Меня не узнаетъ!
Вчера съ улыбкой злою
Мнѣ молвила она,
Какъ древле Громобою
Коварный сатана:
«Усопшій, миръ съ тобою!
«Усопшій, миръ съ тобою!»
Ахъ, это ли одно
Мнѣ рокомъ суждено

За древни прегрѣшенья?...
Нѣтъ, новыя мученья,
Достойныя бѣсовъ:
Свои стихотворенья
Читаетъ мнѣ Свистовъ,
И съ нимъ пѣвецъ досужій,
Его покорный бѣсъ,
Какъ онъ, на риѳмы дюжій,
Какъ онъ, головорѣзъ;
Поютъ и напѣваютъ
Съ ночи до бѣла дня,
Читаютъ и читаютъ,
И до смерти меня
Убійцы зачитаютъ!

XXXI.

Отвѣтъ А. И. Тургеневу.

Ты правъ: поэтъ не лжецъ,
Красавицъ воспѣвая.
Но часто нашъ пѣвецъ,
Въ восторгѣ утопая,
Разсудка строгій гласъ
Забудетъ для Армиды;
Для двухъ коварныхъ глазъ,
Подъ знаменемъ Киприды,
Сей новый Донъ-Кишотъ
Проводитъ вѣкъ съ мечтами,
Съ химерами живетъ,
Бесѣдуетъ съ духами,

Съ задумчивой луной
И — міръ смѣшитъ собой!
Для свѣта равнодушенъ,
Для славы и честей,
Одной любви послушенъ,
Онъ дышетъ только ей,
Вездѣ съ своей мечтою,
Въ столицѣ и въ поляхъ,
Съ поникшей головою,
Съ уныніемъ въ очахъ,
Какъ призракъ блѣдный, бродитъ,
Одно твердитъ, поетъ:
«Любовь, любовь зоветъ...»
И риѳмы лишь находитъ!
Такъ вѣрно Аполлонъ
Давно съ любовью въ ссорѣ,
И мститель Купидонъ
Судилъ поэтамъ горе.
Всѣ нимфы строги къ намъ
За наши псалмопѣнья,
Какъ Дафна къ богу пѣнья;
Мы лавръ находимъ тамъ
Иль кипарисъ печали,
Гдѣ счастья розъ искали,
Цвѣтущихъ не для насъ.
Взгляните на Парнассъ:
Любовникъ строгой Лоры
Тамъ съ горести погасъ,
Скалы и дики горы
Его лишь знали гласъ
На берегахъ Воклюзы.
Тамъ Душеньки пѣвецъ,
Любимецъ нѣжный музы
И пламенныхъ сердецъ,

Любилъ, вздыхалъ всечасно,
Вездѣ искалъ мечты,
Но лирой сладкогласной
Не тронулъ красоты.
Лезбосская пѣвица,
Прекрасная въ женахъ,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила въ волнахъ...
И я клянусь глазами,
Которые стихами
Мы взапуски поемъ,
Клянуся Хлоей въ томъ,
Что русскіе поэты
Давно бъ на берегъ Леты
Толпами перешли,
Когда бъ скалу Левкада
Въ болота Петрограда
Судьбы перенесли!

XXXII.

Разлука.

Гусаръ, на саблю опираясь,
Въ глубокой горести стоялъ;
Надолго съ милой разлучаясь,
Вздыхая онъ сказалъ:

«Не плачь, красавица, слезами
«Кручинѣ злой не пособить!

«Клянуся честью и усами
«Любви не измѣнить!

«Любви непобѣдима сила!
«Она—мой вѣрный щитъ въ войнѣ;
«Булатъ въ рукѣ, а въ сердцѣ Лила,—
«Чего страшиться мнѣ?

«Не плачь, красавица, слезами
«Кручинѣ злой не пособить!
«А если измѣню, усами
«Клянусь наказанъ быть!

«Тогда мой вѣрный конь споткнися,
«Летя во вражій станъ стрѣлой;
«Уздечка бранная порвися
«И стремя подъ ногой!

«Пускай булатъ въ рукѣ съ размаха
«Изломится, какъ прутъ гнилой,
«И я, блѣднѣя весь отъ страха,
«Явлюсь передъ тобой!»

Но вѣрный конь не спотыкался
Подъ нашимъ всадникомъ лихимъ,
Булатъ въ бояхъ не изломался,
И честь гусара съ нимъ.

А онъ забылъ любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвалъ въ чужбинѣ счастья розы
Съ красавицей другой.

Но что же сдѣлала пастушка?
Другому сердце отдала.

Любовь красавицамъ—игрушка,
А клятвы ихъ—слова!

Все здѣсь, друзья, измѣной дышетъ,
Теперь нѣтъ вѣрности нигдѣ!
Амуръ смѣясь всѣ клятвы пишетъ
Стрѣлою на водѣ.

1813.

XXXIII.

Къ Д. В. Дашкову.

Мой другъ, я видѣлъ море зла
И неба мстительнаго кары,
Враговъ неистовыхъ дѣла,
Войну и гибельны пожары;
Я видѣлъ сонмы богачей,
Бѣгущихъ въ рубищахъ издранныхъ,
Я видѣлъ блѣдныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанныхъ;
Я на распутьи видѣлъ ихъ,
Какъ, къ персямъ чадъ прижавъ грудныхъ,
Онѣ въ отчаяньи рыдали
И съ новымъ трепетомъ взирали
На небо рдяное кругомъ.
Трикраты съ ужасомъ потомъ
Бродилъ въ Москвѣ опустошенной,
Среди развалинъ и могилъ,
Трикраты прахъ ея священной
Слезами скорби омочилъ.
И тамъ, гдѣ зданья величавы
И башни древнія царей,
Свидѣтели протекшей славы
И новой славы нашихъ дней,

И тамъ, гдѣ съ миромъ почивали
Останки иноковъ святыхъ,
И мимо вѣки протекали,
Святыни не касаясь ихъ,
И тамъ, гдѣ роскоши рукою,
Дней мира и трудовъ плоды,
Предъ златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—
Лишь угли, прахъ и камней горы,
Лишь груды тѣлъ кругомъ рѣки,
Лишь нищихъ блѣдные полки
Вездѣ мои встрѣчали взоры!...
А ты, мой другъ, товарищъ мой,
Велишь мнѣ пѣть любовь и радость,
Безпечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость,
Среди военныхъ непогодъ,
При страшномъ заревѣ столицы,
На голосъ мирныя цѣвницы
Сзывать пастушекъ въ хороводъ,
Мнѣ пѣть коварныя забавы
Армидъ и вѣтреныхъ Цирцей
Среди могилъ моихъ друзей,
Утраченныхъ на полѣ славы!...
Нѣтъ, нѣтъ, талантъ погибни мой
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нѣтъ, нѣтъ, пока на полѣ чести
За древній градъ моихъ отцовъ
Не понесу я въ жертву мести
И жизнь, и къ родинѣ любовь,
Пока съ израненнымъ героемъ,
Кому извѣстенъ къ славѣ путь,

Три раза не поставлю грудь
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ,—
Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ
Всѣ чужды музы и хариты,
Вѣнки, рукой любови свиты,
И радость шумная въ винѣ!

XXXIV.

Переходъ русскихъ войскъ черезъ Нѣманъ 1-го января 1813 года.

Отрывокъ изъ большаго стихотворенія.

Снѣгами погребенъ, угрюмый Нѣманъ спалъ.
Равнину льдистыхъ водъ и берегъ опустѣлый
И на брегу покинутыя села
Туманный мѣсяцъ озарялъ.
Все пусто... Кое-гдѣ на снѣгѣ трупъ чернѣетъ,
И брошенныхъ костровъ огонь дымяся тлѣетъ,
И, хладный какъ мертвецъ,
Одинъ среди дороги,
Сидитъ задумчивый бѣглецъ,
Недвижимъ, смутный взоръ вперивъ на мертвы ноги.

И всюду тишина... И се, въ пустой дали
Сгущенныхъ копій лѣсъ возникнулъ изъ земли!
Онъ движется. Гремятъ щиты, мечи и брони,
И грозно въ сумракѣ ночномъ
Чернѣютъ знамена и ратники, и кони:

Несутъ полки Славянъ погибель за врагомъ,
Достигли Нѣмана и копья водрузили.
Изъ снѣга возрасли безчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Все небо заревомъ багровымъ обложили.
И въ станѣ царь младой
Сидѣлъ между вождями,
И старецъ-вождь предъ нимъ, блестящій сѣдинами
И бранной въ старости красой....

1814.

XXXV.

Плѣнный.

Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ
По бархатнымъ лугамъ,
Гдѣ миртъ душистый разцвѣтаетъ,
Склонясь къ ея водамъ,
Гдѣ на горахъ роскошно зрѣетъ
Янтарный виноградъ,
Златой лимонъ на солнцѣ рдѣетъ,
И яворы шумятъ,

Въ часы вечернія прохлады,
Любуяся рѣкой,
Стоялъ, склоня на Рону взгляды,
Съ глубокою тоской,
Добыча брани, русскій плѣнный,
Придонскихъ честь сыновъ,
Съ полей побѣды похищённый
Одинъ толпой враговъ.

«Шуми» — онъ пѣлъ — «волнами, Рона,
«И жатвы орошай,
«Но плескомъ волнъ роднаго Дона
«Мнѣ шумъ напоминай!

«Я въ праздности теряю время,
«Душою въ людствѣ сиръ;
«Мнѣ жизнь не жизнь безъ славы, бремя,
«И пустъ прекрасный міръ!

«Весна вокругъ живитъ природу,
«Яснѣетъ солнца свѣтъ,
«Все славитъ счастье и свободу,
«Но мнѣ свободы нѣтъ!
«Шуми, шуми волнами, Рона,
«И мнѣ воспоминай
«На берегахъ роднаго Дона
Отчизны милый край!

«Здѣсь прелесть—сельскія дѣвицы,
«Ихъ взоръ огнемъ горитъ
«И сквозь потупленны рѣсницы
«Мнѣ радости сулитъ...
«Какія радости въ чужбинѣ!
«Онѣ въ родныхъ краяхъ,
«Онѣ цвѣтутъ въ моей пустынѣ
И въ дебряхъ, и въ снѣгахъ.

«Отдайте жь мнѣ мою свободу,
«Отдайте край отцовъ,
«Отчизны вьюги, непогоду,
«На родинѣ мой кровъ,
«Покрытый въ зиму яркимъ снѣгомъ!
«Ахъ, дайте мнѣ коня;
«Туда помчитъ онъ быстрымъ бѣгомъ
«И день, и ночь меня,

«На родину, въ сей теремъ древній,
«Гдѣ ждетъ меня краса
«И подъ окномъ, въ часы вечерни,
«Глядитъ на небеса,

«О другѣ тайно помышляетъ
«Иль робкою рукой
«Коня ретиваго ласкаетъ,
«Тебя, соратникъ мой!

«Шуми, шуми волнами, Рона,
«И жатвы орошай,
«Но плескомъ волнъ роднаго Дона
«Мнѣ шумъ напоминай!
«О, вѣтры, съ полночи летите
«Отъ родины моей!
«Вы, звѣзды сѣвера, горите
«Изгнаннику свѣтлѣй!»

Такъ пѣлъ нашъ плѣнникъ одинокой
Въ виду ліонскихъ стѣнъ,
Гдѣ юношѣ судьбой жестокой
Назначенъ долгій плѣнъ.
Онъ пѣлъ... У ногъ сверкала Рона,
Въ ней мѣсяцъ трепеталъ,
И на златыхъ верхахъ Ліона
Лучъ солнца догоралъ.

XXXVI.

Тѣнь друга.

Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit,
Luridaque extinctos effugit umbra rogos.
Propertius.

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона.
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ.
За кораблемъ вилася гальціона,
И тихій гласъ ея пловцевъ увеселялъ.

Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трепетъ парусовъ
И кормчаго на палубѣ взыванье
Ко стражѣ, дремлющей подъ говоромъ валовъ.
Все сладкую задумчивость питало.
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ
И сквозь туманъ и ночи покрывало
Свѣтила сѣвера любезнаго искалъ.
Вся мысль моя была въ воспоминаньѣ
Подъ небомъ сладостнымъ отеческой земли,
Но вѣтровъ шумъ и моря колыханье
На вѣжды томное забвенье навели.
Мечты смѣнялися мечтами
И вдругъ... То былъ ли сонъ?... Предсталъ товарищъ мнѣ.
Погибшій въ роковомъ огнѣ
Завидной смертію надъ Плейсскими струями.
Но видъ не страшенъ былъ; чело
Глубокихъ ранъ не сохраняло,
Какъ утро майское, веселіемъ цвѣло
И все небесное душѣ напоминало.
«Ты ль это, милый другъ, товарищъ лучшихъ дней,
«Ты ль это» — я вскричалъ — «о, воинъ вѣчно милой?
«Не я ли надъ твоей безвременной могилой,
«При страшномъ заревѣ Беллониныхъ огней,
«Не я ли съ вѣрными друзьями
«Мечемъ на деревѣ твой подвигъ начерталъ
«И тѣнь въ небесную отчизну провождалъ
«Съ мольбой, рыданьемъ и слезами?
«Тѣнь незабвеннаго, отвѣтствуй, милый братъ!
«Или протекшее все было сонъ, мечтанье,
«Все, все, и блѣдный трупъ, могила и обрядъ,
«Свершенный дружбою въ твое воспоминанье?
«О, молви слово мнѣ! Пускай знакомый звукъ
«Еще мой жадный слухъ ласкаетъ,

«Пускай рука моя, о, незабвенный другъ,
«Твою съ любовію сжимаетъ!»...
И я летѣлъ къ нему... Но горній духъ изчезъ
Въ бездонной синевѣ безоблачныхъ небесъ,
Какъ дымъ, какъ метеоръ, какъ призракъ полуночи,
И сонъ покинулъ очи.
Все спало вкругъ меня подъ кровомъ тишины,
Стихіи грозныя казалися безмолвны,
При свѣтѣ облакомъ подернутой луны
Чуть вѣялъ вѣтерокъ, едва сверкали волны;
Но сладостный покой бѣжалъ моихъ очей,
И все душа за призракомъ летѣла,
Все гостя горняго остановить хотѣла,
Тебя, о, милый братъ, о, лучшій изъ друзей!

XXXVII.

На развалинахъ замка въ Швеціи.

Уже свѣтило дня на западѣ горитъ
И тихо погрузилось въ волны.
Задумчиво луна сквозь тонкій паръ глядитъ
На хляби и брега безмолвны,
И все въ глубокомъ снѣ поморіе кругомъ.
Лишь изрѣдка рыбарь къ товарищамъ взываетъ,
Лишь эхо гласъ его протяжно повторяетъ
Въ безмолвіи ночномъ.

Я здѣсь, на сихъ скалахъ, висящихъ надъ водой,
Въ священномъ сумракѣ дубравы
Задумчиво брожу и вижу предъ собой

Слѣды протекшихъ лѣтъ и славы:
Обломки, грозный валъ, поросшій злакомъ ровъ,
Столбы и ветхій мостъ съ чугунными цѣпями,
Твердыни мшистыя съ гранитными зубцами
И длинный рядъ гробовъ.

Все тихо. Мертвый сонъ въ обители глухой.
Но здѣсь живетъ воспоминанье,
И путникъ, опершись на камень гробовой,
Вкушаетъ сладкое мечтанье.
Тамъ, тамъ, гдѣ вьется плющъ по лѣстницѣ крутой,
И вѣтръ колышетъ стебль изсохшія полыни,
Гдѣ мѣсяцъ осребрилъ угрюмыя твердыни
Надъ спящею водой,

Тамъ воинъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ,
Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый,
Готовилъ сына въ брань и стрѣлъ пернатыхъ пукъ,
Броню завѣтну, мечъ тяжелый
Онъ юношѣ вручилъ израненой рукой
И громко восклицалъ, подъявъ дрожащи длани:
«Тебѣ онъ обреченъ, о, богъ, властитель брани,
«Всегда и всюду твой!

«А ты, мой сынъ, клянись мечемъ своихъ отцовъ
«И Гелы клятвою кровавой
«На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ
«Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!»
И пылкій юноша мечъ прадѣдовъ лобзалъ
И къ персямъ прижималъ родительскія длани
И въ радости, какъ конь, при звукѣ новой брани,
Кипѣлъ и трепеталъ.

Война, война врагамъ отеческой земли!
Суда на утро возшумѣли,

Запѣнилисъ моря, и быстры корабли
 На крыльяхъ бури полетѣли.
Въ долинахъ Нейстріи раздался браней громъ,
Туманный Альбіонъ изъ края въ край пылаетъ,
И Гела день и ночь въ Валгаллу провождаетъ
 Погибшихъ блѣдный сонмъ.

Ахъ, юноша, спѣши къ отеческимъ брегамъ,
 Назадъ лети съ добычей бранной!
Ужъ вѣетъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ судамъ,
 Герой, побѣдою избранной!
Ужъ скальды пиршество готовятъ на холмахъ,
Зри: дубы въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ,
И вѣстникъ радости отцамъ провозглашаетъ
 Побѣды на моряхъ.

Здѣсь, въ мирной пристани, съ денницей золотой
 Тебя невѣста ожидаетъ,
Къ тебѣ, о, юноша, слезами и мольбой
 Боговъ на милость преклоняетъ.
Но вотъ въ туманѣ тамъ, какъ стая лебедей,
Бѣлѣютъ корабли, несомые волнами...
О, вѣй, попутный вѣтръ, вѣй тихими устами
 Въ вѣтрила кораблей!

Суда у береговъ; на нихъ уже герой
 Съ добычей женъ иноплеменныхъ;
Къ нему спѣшитъ отецъ съ невѣстою младой
 И лики скальдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва на жениха взглянуть украдкой смѣетъ,
Потупя ясный взоръ, краснѣетъ и блѣднѣетъ,
 Какъ мѣсяцъ въ небесахъ...

И тамъ, гдѣ камней рядъ, сѣдымъ одѣтый мхомъ,
 Помостъ обрушенный являетъ,

Повременно сова въ безмолвіи ночномъ
Пустыню крикомъ оглашаетъ.
Тамъ чаши радости стучали по столамъ,
Тамъ храбрые кругомъ съ друзьями ликовали,
Тамъ скальды пѣли брань, и персты ихъ летали
По пламеннымъ струнамъ.

Тамъ пѣли звукъ мечей и свистъ пернатыхъ стрѣлъ,
И трескъ щитовъ, и громъ ударовъ,
Кипящу брань среди опустошенныхъ селъ
И грады въ заревѣ пожаровъ;
Тамъ старцы жадный слухъ склоняли къ пѣснѣ сей,
Сосуды полные въ десницахъ ихъ дрожали,
И гордыя сердца съ восторгомъ вспоминали
О славѣ юныхъ дней...

Но все покрыто здѣсь угрюмой ночи мглой,
Все время въ прахъ преобратило!
Гдѣ прежде скальдъ гремѣлъ на арфѣ золотой,
Тамъ вѣтеръ свищетъ лишь уныло.
Гдѣ храбрый ликовалъ съ дружиною своей,
Гдѣ жертвовалъ виномъ отцу и богу брани,
Тамъ дремлютъ притаясь двѣ трепетныя лани
До утреннихъ лучей.

Гдѣ жь вы, о, сильные, вы, Галловъ бичъ и страхъ,
Земель полнощныхъ исполины,
Роальда спутники, на бренныхъ челнокахъ
Протекши дальнія пучины?
Гдѣ вы, отважныя толпы богатырей,
Вы, дикіе сыны и брани, и свободы,
Возникшіе въ снѣгахъ, средь ужасовъ природы,
Средь копій, средь мечей?

Погибли сильные! Но странникъ въ сихъ мѣстахъ
Не тщетно камни вопрошаетъ

И руны тайныя, преданья на скалахъ
Угрюмой древности читаетъ.
Оратай ближнихъ селъ, склонясь на посохъ свой,
Гласитъ ему: «Смотри, о, сынъ иноплеменный,
«Здѣсь тлѣютъ праотцевъ останки драгоцѣнны,
«Почти ихъ гробъ святой!»

XXXVIII.

Судьба Одиссея.

Изъ Шиллера.

Средь ужасовъ земли и ужасовъ морей
Блуждая, бѣдствуя, искалъ своей Итаки
Богобоязненный страдалецъ Одиссей,
Стопой безтрепетной сходилъ Аида въ мраки.
Харибды яростной, подводной Сциллы стонъ
Не потрясли души высокой.
Казалось, побѣдилъ терпѣньемъ рокъ жестокой
И чашу горести до капли выпилъ онъ;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо соннаго домчали
До милыхъ родины давножеланныхъ скалъ.
Проснулся онъ —и что жъ?... Отчизны не позналъ.

XXXIX.

Элегія изъ Тибулла.

Вольный переводъ.

Месалла, безъ меня ты мчишься по волнамъ
Съ орлами римскими къ восточнымъ берегамъ,
А я, въ Ѳеакіи оставленный друзьями,
Ихъ заклинаю всѣмъ—и дружбой, и богами,
Тибулла не забыть въ далекой сторонѣ!
Здѣсь Парка блѣдная конецъ готовитъ мнѣ,
Здѣсь жизнь мою прерветъ безжалостной рукою...
Неумолимая, нѣтъ матери со мною!
Кто будетъ принимать мой пепелъ отъ костра?
Кто будетъ безъ тебя, о, милая сестра,
За гробомъ слѣдовать въ одеждѣ погребальной
И мѵро изливать надъ урною печальной?
Нѣтъ друга моего, нѣтъ Деліи со мной!
Она и въ самый часъ разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
Въ священномъ ужасѣ безсмертныхъ вопрошала,
И жребій счастливый намъ отрокъ вынималъ.
Что пользы отъ того? Часъ гибельный насталъ,
И снова Делія печальна и уныла,
Слезами полный взоръ невольно обратила
На дальній путь. Я самъ, лишенный скорбью силъ,
«Утѣшься», Деліи сквозь слезы говорилъ,
«Утѣшься», и еще съ невольнымъ трепетаньемъ
Печальную лобзалъ послѣднимъ лобызаньемъ.
Казалось, нѣкій богъ меня остановлялъ:
То воронъ мнѣ бѣду внезапно предвѣщалъ,
То въ день, отцу боговъ Сатурну посвященный,

Я слышалъ громъ глухой за рощей отдаленной.
О, вы, которые умѣете любить,
Страшитеся любовь разлукой прогнѣвить!
Но, Делія, къ чему Изидѣ приношенья,
Сіи въ ночи глухой протяжны пѣснопѣнья
И волхвованье жрицъ, и мѣди звучной стонъ?
Къ чему, о, Делія, въ безбрачномъ ложѣ сонъ
И очищенія священною водою?
Все тщетно, милая! Тибулла нѣтъ съ тобою!
«Богиня грозная, спаси его отъ бѣдъ!»
И снова Делія мастики принесетъ,
Украситъ дивный храмъ весенними цвѣтами
И съ распущенными по вѣтру волосами,
Какъ дѣва чистая, во ткань облечена,
Возсядетъ на помостъ: и звѣзды, и луна,
До восхожденія румяныя Авроры,
Услышатъ гласъ ея и жрицъ фарійскихъ хоры.
Отдай, богиня, мнѣ родимыя поля,
Отдай знакомый шумъ домашняго ручья,
Отдай мнѣ Делію: и вамъ дары богаты
Я въ жертву принесу, о, лары и пенаты!
Зачѣмъ мы не живемъ въ златыя времена?
Тогда безпечныя народовъ племена
Путей среди лѣсовъ и горъ не пролагали
И раломъ никогда полей не раздирали;
Тогда не мчалась ель на легкихъ парусахъ,
Несома вѣтрами въ лазоревыхъ моряхъ,
И кормчій не дерзалъ по хлябямъ разъяреннымъ,
Съ сидонскимъ багрецомъ и съ золотомъ безцѣннымъ,
На утломъ кораблѣ скитаться здѣсь и тамъ:
Дебелый волъ бродилъ свободно по лугамъ,
Топталъ душистый злакъ и спалъ въ тѣни зеленой,
Конь борзый не кропилъ узды кровавой пѣной,
Не зрѣли на поляхъ столбовъ и рубежей,

И кущи сельскія стояли безъ дверей;
Медъ капалъ изъ дубовъ янтарною слезою,
Въ сосуды молоко обильною струею
Лилося изъ сосцовъ, питающихъ овецъ.
О, мирны пастыри, въ невинности сердецъ
Безпечно жившіе среди пустынь безмолвныхъ!
При васъ, на пагубу друзей единокровныхъ,
На наковальнѣ млатъ не исковалъ мечей,
И ратникъ не гремѣлъ оружьемъ средь полей.
О, вѣкъ Юпитеровъ, о, времена несчастны!
Война, вездѣ война и гладъ, и моръ ужасный,
Повсюду рыщетъ смерть—на сушѣ, на водахъ!
Но ты, держащій громъ и молнію въ рукахъ,
Будь мирному пѣвцу Тибуллу благосклоненъ!
Ни словомъ, ни душой я не былъ вѣроломенъ;
Я съ трепетомъ боговъ отчизны обожалъ,
И если мой конецъ безвременный насталъ,
Пусть камень обо мнѣ прохожимъ возвѣщаетъ:
«Тибуллъ, Месаллы другъ, здѣсь съ миромъ почиваетъ».
Единственный мой богъ и сердца властелинъ,
Я былъ твоимъ жрецомъ, Киприды милый сынъ!
До гроба я носилъ твои оковы нѣжны,
И ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны,
Въ Элизій приведешь таинственной стезей,
Туда, гдѣ вѣчный май межъ рощей и полей,
Гдѣ разцвѣтаетъ нардъ и киннамона лозы,
И воздухъ напоенъ благоуханьемъ розы.
Тамъ слышно пѣнье птицъ и шумъ біющихъ водъ.
Тамъ дѣвы юныя, сплетяся въ хороводъ,
Мелькаютъ межъ древесъ, какъ легки привидѣнья.
И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоенья,
Въ объятіяхъ любви неумолимый рокъ,
Тотъ носитъ на челѣ изъ свѣжихъ миртъ вѣнокъ.
А тамъ, внутри земли, во пропастяхъ ужасныхъ,

Жилище вѣчное преступниковъ несчастныхъ,
Тамъ рѣки пламенны сверкаютъ по пескамъ,
Мегера страшная и Тизифона тамъ
Съ челомъ, опутаннымъ шипящими змiями,
Бѣгутъ на дикiй брегъ за блѣдными тѣнями.
Гдѣ скрыться? Адскiй песъ лежитъ у мѣдныхъ вратъ,
Рыкаетъ зѣвъ его... и рой тѣней назадъ!
Богами вверженны во пропасти бездонны,
Ужасный Энкеладъ и Тифiй преогромный
Питаетъ жадныхъ птицъ утробою своей.
Тамъ хищный Иксiонъ, окованный змiей,
На быстромъ колесѣ вертится безконечно,
Тамъ въ жаждѣ пламенной Танталъ безчеловѣчной
Надъ хладною рѣкой сгараетъ и дрожитъ...
Все тщетно! Вспять вода коварная бѣжитъ,
И черпаютъ ее напрасно Данаиды,
Всѣ жертвы вѣчныя карающей Киприды.
Пусть тамъ страдаетъ тотъ, кто рушилъ нашъ покой
И разлучилъ меня, о, Делiя, съ тобой!
Но ты, мнѣ вѣрная, другъ милой и безцѣнной,
И въ мирной хижинѣ, отъ взоровъ сокровенной,
Съ наперсницей любви, съ подругою твоей
На мигъ не покидай домашнихъ алтарей!
При шумѣ зимнихъ вьюгъ, подъ сѣнью безопасной
Подруга въ темну ночь зажжетъ свѣтильникъ ясной
И, тихо веретено кружа въ рукѣ своей,
Разскажетъ повѣсти и были старыхъ дней,
А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы,
Забудешься, мой другъ, и томныя зѣницы
Закроетъ тихiй сонъ, и прялица изъ рукъ
Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ,
Какъ небомъ посланный внезапно добрый генiй.
Бѣги на встрѣчу мнѣ, бѣги изъ мирной сѣни,
Въ прелестной наготѣ явись моимъ очамъ:

Власы развѣянны небрежно по плечамъ,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда жь Аврора намъ, когда сей день блаженный
На розовыхъ коняхъ въ блистаньи принесетъ,
И Делію Тибуллъ въ восторгѣ обойметъ?

1815.

XL.

Посланіе И. М. Муравьеву-Апостолу.

Ты правъ, любимецъ музъ! Отъ первыхъ впечатлѣній,
Отъ первыхъ, свѣжихъ чувствъ заемлетъ силу геній
И имъ въ теченьи дней своихъ не измѣнитъ!
Кто бъ ни былъ—пламенный ораторъ иль піитъ,
Свѣтильникъ мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества нѣмаго подражатель,
Наперсникъ музъ, познавъ отъ колыбельныхъ дней,
Что долженъ быть жрецомъ парнасскихъ алтарей.
Младенецъ счастливый, уже любимецъ Феба,
Онъ съ жадностью взиралъ на свѣтъ лазурный неба,
На зелень, на цвѣты, на зыбку сѣнь древесъ,
На воды быстрыя и полный мрака лѣсъ.
Онъ, къ лону матери прииикнувъ, улыбался,
Когда веселый май цвѣтами убирался,
И жаворонокъ вился надъ зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,
Весь сводъ лазоревый подернетъ облистаньемъ
Ее привѣтствовалъ невнятнымъ лепетаньемъ,
Ее манилъ къ себѣ младенческой рукой.
Что видѣлъ въ юности предъ хижиной родной,
Что видѣлъ, чувствовалъ, какъ новый міра житель,
Того въ душѣ своей до позднихъ дней хранитель.

Желаетъ въ пѣсняхъ музъ потомству передать.
Мы видимъ первыхъ чувствъ волшебную печать
Въ твореньяхъ генія, испытанныхъ вѣками:
Изъ мѣстъ, гдѣ Мантуа красуется лугами,
И Минцій въ камышахъ недвижимый стоитъ,
Отъ милыхъ лиръ своихъ отторженный піитъ,
Въ чертоги Августа судьбой перенесенной,
Жалѣлъ о васъ, ручьи отчизны незабвенной,
О древней хижинѣ, гдѣ юность провождалъ
И Титира свирѣль потомству передалъ.
Но тамъ ли, гдѣ всегда роскошная природа
И раскаленный Ѳебъ съ безоблачнаго свода
Обиліемъ поля счастливыя даритъ,
Таланта колыбель и область Піеридъ?
Нѣтъ, нѣтъ! И въ сѣверѣ любимецъ ихъ не дремлетъ,
Но гласу громкому самой природы внемлетъ,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихій враждебныхъ бой,
Ревущіе со скалъ угрюмыхъ водопады,
Пустыни снѣжныя, льдовъ вѣчныя громады
Иль моря шумнаго необозримый видъ,
Все, все возноситъ умъ, все сердцу говоритъ
Краснорѣчивыми, но тайными словами
И огнь поэзіи питаетъ между нами.
Близъ Колы пасмурной, средь дикихъ рыбарей,
Въ трудахъ воспитанный, уже отъ юныхъ дней
Нашъ Пиндаръ чувствовалъ сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, даръ Бога драгоцѣнный,
Отъ юности въ душѣ небеснаго залогъ,
Которымъ Ѳебовъ жрецъ исполненъ, какъ пророкъ.
Онъ сладко трепеталъ, когда сквозь мракъ тумана
Стремился по зыбямъ холоднымъ океана
Къ необитаемымъ, безплоднымъ островамъ
И мрежи разстилалъ по новымъ берегамъ.

Я вижу мысленно, какъ отрокъ вдохновенной
Стоитъ въ безмолвіи надъ бездной разъяренной
Среди мечтанія и первыхъ сладкихъ думъ,
Прислушивая волнъ однообразный шумъ.
Лице горитъ его, грудь тягостно вздыхаетъ,
И сладкая слеза ланиту орошаетъ,
Слеза, извѣстная таланту одному!
Въ красѣ божественной любимцу своему,
Природа, ты не разъ на сѣверѣ являлась
И въ пламенной душѣ на вѣки начерталась!
Исполненный всегда видѣньемъ первыхъ лѣтъ,
Какъ часто воспѣвалъ восторженный поэтъ
Дрожащій, хладный блескъ полуночной Авроры
И льдяныя, въ моряхъ носимы вѣтромъ горы,
И Уну, спящую средь звонкихъ камышей,
И день, чудесный день, безъ ночи, безъ зарей!
Въ Пальмирѣ сѣвера, въ жилищѣ шумной славы,
Державинъ камскія воспоминалъ дубравы,
Отчизны сладкій дымъ и древній градъ отцовъ.
На тучны пажити приволжскихъ береговъ
Какъ часто Дмитріевъ, расторгнувъ свѣтски узы,
Водилъ насъ по слѣдамъ своей счастливой музы,
Столь чистой, какъ струи царицы свѣтлыхъ водъ,
На коихъ въ первый разъ зрѣлъ солнечный восходъ
Пѣвецъ сибирскаго Пизарра вдохновенный!
Такъ, свыше нѣжною душею одаренный,
Піитъ отъ юности до сребряныхъ власовъ
Лелѣетъ въ памяти страну своихъ отцовъ.
На жизненномъ пути ему даруетъ геній
Неизсякаемый источникъ наслажденій
Въ замѣну счастія и скудныхъ міра благъ:
Съ нимъ муза тайная живетъ во всѣхъ мѣстахъ
И въ мірѣ дивный міръ любимцу созидаетъ.
Пускай свирѣпый рокъ по волѣ имъ играетъ,

Пускай не знаемый, безъ злата и честей,
Съ главой поникшею онъ бродитъ межъ людей,
Пускай Фортуною отъ дѣтства удостоинъ,
Онъ будетъ судія, министръ иль въ полѣ воинъ,
Но музамъ и себѣ нигдѣ не измѣнитъ!
Въ самомъ молчаніи онъ будетъ все піитъ,
Въ самомъ бездѣйствіи онъ съ дѣятельнымъ духомъ,
Все сильно чувствуетъ, все ловитъ взоромъ, слухомъ,
Всѣмъ наслаждается и всюду наконецъ
Готовитъ Фебу дань его грядущій жрецъ.

XLI.

Странствователь и домосѣдъ.

Объѣхавъ свѣтъ кругомъ,
Спокойный домосѣдъ, передъ моимъ каминомъ
Сижу и думаю о томъ,
Какъ трудно быть своихъ привычекъ властелиномъ,
Какъ трудно вѣкъ дожить на родинѣ своей
Тому, кто въ юности изъ края въ край носился,
Все видѣлъ, все узналъ,—и что жь? Изъ-за морей
Ни лучше, ни умнѣй
Подъ кровъ домашній воротился.
Поклонникъ суетнымъ мечтамъ,
Онъ осужденъ искать.... чего—не знаетъ самъ!
О странникѣ такомъ скажу я повѣсть вамъ.

Два брата, Филалетъ и Клитъ, смиренно жили
Въ предмѣстіи Аѳинъ подъ кровлею одной;
Въ довольствѣ? Не скажу, но съ бодрою душой

Встрѣчали день и ночь спокойно проводили,
Затѣмъ что по трудахъ всегда пріятенъ сонъ.
Вдругъ умеръ дядя ихъ, аѳинскій Гарпагонъ,
И братья-бѣдняки — о радость! — получили
Не помню сколько минъ монеты золотой
Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отдѣлки мастерской.
Наслѣдственнымъ добромъ свои насытя взоры,
Такіе завели другъ съ другомъ разговоры:
«Какъ думаешь своей казной расположить?»
Клитъ спрашивалъ у брата.
«А я такъ домъ хочу купить
«И въ немъ тихохонько съ женою вѣкъ прожить
«Подъ сѣнью отчаго пената.
«Землицы уголокъ не будетъ лишній намъ:
«Отъ дѣтства я любилъ ходить за виноградомъ,
«Водиться знаю съ стадомъ,
«И дѣтямъ я мой плугъ въ наслѣдство передамъ.
«А ты какъ думаешь?» «О, я съ тобой несходенъ;
«Я пресмыкаться не способенъ
«Въ толпѣ гражданъ простыхъ.
«И съ помощью наслѣдства,
«Для дальнихъ замысловъ моихъ,
«Благодаря богамъ, теперь имѣю средства!»
«Чего же хочешь ты?» «Я?... Славенъ быть хочу».
«Но чѣмъ?» «Какъ чѣмъ? Умомъ, дѣлами
«И краснорѣчьемъ, и стихами,
«И мало ль чѣмъ еще? Я въ Мемфисъ полечу
«Дѣлиться мудростью съ жрецами:
«Зачѣмъ сей созданъ міръ? Кто правитъ имъ и какъ?
«Гдѣ кончится земля? Гдѣ гордый Нилъ родится?
«Зачѣмъ подъ пеленой сокрытъ Изиды зракъ,
«Зачѣмъ горящій Ѳебъ все къ западу стремится?
«Какое счастье, милый братъ!

«Я буду въ мудрости соперникъ Пиѳагора.
«Въ Аѳинахъ обо мнѣ тогда заговорятъ,
«Въ Аѳинахъ?... Что сказалъ! Отъ Нила до Босфора
«Прославится твой братъ, твой вѣрный Филаретъ!
«Какое счастье! Десять лѣтъ
«Я стану ѣсть траву и нѣмъ какъ рыба буду,
«Но краснорѣчья даръ, конечно, не забуду.
«Ты знаешь, я всегда краснорѣчивъ бывалъ
«И площадь нашу посѣщалъ
«Не даромъ.
«Не стану я моимъ превозноситься даромъ,
«Какъ нашъ Алкивіадъ, ораторъ слабыхъ женъ,
«Или надутый Демосѳенъ,
«Кичася въ пурпурѣ предъ царскими послами.
«Нѣтъ, нѣтъ, я каждаго полезными рѣчами
«На площади градской намѣренъ просвѣщать!
«Ты самъ, оставя плугъ, придешь меня внимать,
«Съ народомъ шумные восторги раздѣляя
«И слезы радости подъ мантіей скрывая,
«Краснорѣчивѣйшимъ изъ Грековъ называть.
«Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
«Когда—повѣришь ли?—Гликерія сама
«На площади, съ толпою,
«Меня провозгласитъ оракуломъ ума,
«Ума и, можетъ быть, любезности. Конечно,
«Любезностью сердечной
«Я буду нравиться и въ сорокъ лѣтъ еще.
«Тогда Аѳиняне забудутъ Демосѳена
«И Кратеса въ плащѣ,
«И бочку шута Діогена,
«Которую—смотри!—онъ катитъ мимо насъ!»
«Прощай же, братецъ, въ добрый часъ!
«Счастливаго пути къ премудрости желаю»,
Клитъ молвилъ краснобаю;

«Я вижу, намъ тебя ничѣмъ не удержать!»
Вздохнулъ, пожалъ плечьми и къ городу опять
Пошелъ домашній быть и домикъ снаряжать.
А Филалетъ? Къ Пирею,
Чтобъ судно тирское застать
И въ Мемфисъ полетѣть съ румяною зарею.
Признаться, онъ вздохнулъ, начавши Одиссею,
Но кто не пожалѣлъ объ отческой землѣ,
Надолго разставаясь съ нею?

Семь дней на кораблѣ
Зѣвая
Проказникъ нашъ сидѣлъ
И на море глядѣлъ,
Отъ скуки самъ съ собой въ полголосъ разсуждая:
«Да гдѣ жь тритоны всѣ? Гдѣ стаи нереидъ?
«Гдѣ скрылися онѣ съ толпой океанидъ?
«Я ни одной не вижу въ морѣ?»
И не увидѣлъ ихъ. Но вѣтеръ свѣжій вскорѣ
Въ Египетъ странника принесъ.
Уже онъ въ Мемфисѣ, въ обители чудесъ,
Уже въ святилище премудрости вступаетъ,
Какъ мумія, сидитъ среди бородъ сѣдыхъ
И десять дней зѣваетъ
За поученьемъ ихъ
О жертвахъ каменной Изидѣ,
Объ Аписѣ-быкѣ иль грозномъ Озиридѣ,
О псахъ Анубиса, о чеснокѣ святомъ,
Усердно славимомъ на Нилѣ,
О кровожадномъ крокодилѣ
И о котѣ больномъ,
«Какія глупости, какое заблужденье!
«Клянуся Поллуксомъ, нѣтъ слушать болѣ силъ!»
Грекъ молвилъ, потерявъ и важность, и терпѣнье,

Съ скамьи, какъ бѣшеный, вскочилъ
И псу священному—о, ужасъ!—наступилъ
На божескую лапу.
Скорѣе въ руки посохъ, шляпу,
Скорѣй изъ Мемфиса бѣжать
Отъ гнѣва старцевъ разъяренныхъ,
Отъ крокодиловъ, псовъ и луковицъ священныхъ
И между Грековъ просвѣщенныхъ
Любезной мудрости искать.
На первомъ кораблѣ онъ полетѣлъ въ Кротону.
Въ Кротонѣ бьетъ челомъ смиренно Агатону,
Мудрѣйшему изъ мудрецовъ,
Жестокому врагу и мяса, и бобовъ
(Ихъ въ гнѣвѣ Пиѳагоръ, его учитель славный,
Проклятьемъ страшнымъ поразилъ,
Затѣмъ что у него желудокъ неисправный
Бобовъ и мяса не варилъ).
«Ты мудрости ко мнѣ, мой сынъ, пришелъ учиться?»
У Грека старецъ вопросилъ
Съ усмѣшкой хитрою. «Итакъ, прошу садиться
«И слушать пѣнье сферъ... Ты слышишь?» «Ничего!»
«А видишь ли въ девятомъ мірѣ
«Духовъ, летающихъ въ эѳирѣ?»
«И менѣе того!»
«Увидишь, попостись ты года три, четыре
«Да лѣтъ съ десятокъ помолчи;
«Тогда, мой сынъ, тогда обнимешь бреннымъ взоромъ
«Всѣ тайной мудрости лучи,
«Обнимешь, я тебѣ клянуся Пиѳагоромъ!»
«Согласенъ, такъ и быть!»
Но Греку шутка ли и день не говорить?
А десять лѣтъ молчать, молчать, да все поститься...
Зачѣмъ? Чтобъ мудрецомъ,
Съ морщинимъ отъ поста и мудрости челомъ,

В Аѳины возвратиться?
«О, нѣтъ!»
Чрезъ сутки возопилъ голодный Филалетъ.
«Юпитеръ далъ мнѣ умъ съ разсудкомъ
«Не для того, чтобъ я ходилъ съ пустымъ желудкомъ:
«Я мудрости такой покорнѣйшій слуга:
«Прощайте жъ навсегда, кротонски берега!»
Сказалъ, и къ Этнѣ путь направилъ —
За дѣломъ: чтобъ на ней узнать, зачѣмъ и какъ
Изношенный башмакъ
Философъ Эмпедоклъ предъ смертью тамъ оставилъ.
Узналъ, и съ вѣстью сей
Онъ — въ Грецію скорѣй,
Съ усталой отъ заботъ и праздности душою.
Повсюду гость среди людей,
Вездѣ за трапезой чужою,
Нашъ странникъ обходилъ
Поля, селенія и грады,
Но счастія не находилъ
Подъ небомъ счастливымъ Эллады.
Спѣша изъ края въ край, онъ игры посѣщалъ,
Забавы, зрѣлища, ристанья
И даже прорицанья
Безъ вѣры вопрошалъ,
Но хижину отцовъ нерѣдко вспоминалъ,
Въ ненастье по лѣсамъ бродя съ своей клюкою,
Какъ червемъ, тайною снѣдаемый тоскою.
Притомъ же кошелекъ
У Грека сталъ легокъ,
А ночью, какъ онъ шелъ черезъ Лаконски горы,
Отбили у него
И остальное воры.
Счастливъ еще, что жизнь не отняли его!
«Но жизнь безъ денегъ что̀? Мученье нестерпимо!»

Такъ думалъ Филалетъ,
Тащась полунагой въ степи необозримой.
Три раза солнца свѣтъ
Смѣнялся мракомъ ночи,
Но странника не зрѣли очи
Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь,
Да горъ въ дали туманной цѣпь,
Илотовъ и воровъ ужасныя жилища.
Что дѣлать въ горѣ, что начать!
Придется умирать
Въ пустынѣ, одному, безъ помощи, безъ пищи.
«Нѣтъ, боги, нѣтъ!»
Терзая грудь, вопилъ несчастный Филалетъ.
«Я знаю, какъ покинуть свѣтъ,
«Не стану голодомъ томиться!»
И межь кустовъ рѣку завидя въ далекѣ,
Онъ бросился къ рѣкѣ—
Топиться!
«Что, что ты дѣлаешь, слѣпецъ?»
Несчастному вскричалъ скептическій мудрецъ,
Памфилъ сѣдобородой,
Который надъ водой, любуяся природой,
Одинъ съ клюкой тихонько брелъ
И, къ счастью, странника нашелъ
На краѣ гибельной напасти.
«Топиться хочешь ты? Согласенъ, но сперва
«Повѣдай мнѣ, твоя спокойна ль голова?
«Разсудокъ ли тебя влечетъ въ рѣку, иль страсти?
«Разсудокъ? Но его что намъ вѣщаетъ гласъ?
«Что жизнь и смерть равны для насъ,
«Равны: такъ не зачѣмъ топиться!
«Дай руку мнѣ, мой сынъ, и не стыдись учиться
«У старца, чѣмъ мудрецъ здѣсь можетъ быть счастливъ!»
Кто жить совѣтуетъ, всегда краснорѣчивъ:

И нашъ герой остался живъ.
Въ разсѣлинахъ скалы, висящей надъ водою,
Въ тѣни привѣтливой смоковницъ и оливъ
Построенъ былъ шалашъ Памфиловой рукою,
Гдѣ старецъ десять лѣтъ
Провелъ въ молчаніи глубокомъ
И въ вѣчность проницалъ своимъ орлинымъ окомъ,
Забывъ людей и свѣтъ.
Вотъ тамъ-то ужинъ иль обѣдъ
Простой, но очень здравый,
Находитъ Филалетъ:
Орѣхи, жолуди и травы,
Большой сосудъ воды, и только. Боже мой,
Какъ сладостно искать для трапезы такой
Въ утѣхахъ мудрости приправы!
Итакъ, въ томъ дива нѣтъ, что съ путникомъ Памфилъ
Объ атараксіи [1]) тотчасъ заговорилъ.
«Все призракъ!» подъ конецъ хозяинъ заключилъ,
«Богатство, честь и власти,
«Болѣзнь и нищета, несчастія и страсти,
«И я, и ты, и цѣлый свѣтъ,
«Все призракъ!» «Сновидѣнье!»
Со вздохомъ повторялъ унылый Филалетъ,
Но глядя на сухой обѣдъ,
Вскричалъ: «Я голоденъ!» «И это заблужденье,
«Все грубыхъ чувствъ обманъ, не сомнѣвайся въ томъ!»
Недѣлю постясь съ брадатымъ мудрецомъ,
Нашъ призракъ-Филалетъ рѣшился изъ пустыни
Отправиться въ Аѳины.
Пора, пора блеснуть на площади умомъ,
Пора съ философомъ разстаться,
Который насъ не даромъ научилъ,

[1]) Душевное спокойствіе.

Какъ жить и въ жизни сомнѣваться!
Услужливый Памфилъ
Монетъ съ десятокъ самъ бродягѣ предложилъ,
Котомкой съ желудьми сушеными ссудилъ
И въ часъ румянаго разсвѣта
Самъ вывелъ по тропамъ излучистымъ Тайгета
На путь аѳинскій Филалета.
Вотъ странникъ нашъ идетъ и день, и ночь одинъ;
Проходитъ Арголиду,
Коринѳъ и Мегариду;
Вотъ Аттика, и вотъ дымъ сладостный Аѳинъ,
Керамикъ съ рощами, предмѣстія начало,
Тамъ воды Иллиса!.. Въ немъ сердце задрожало:
Онъ Грекъ,—то мудрено ль, что родину любилъ,
Что землю цѣловалъ съ горячими слезами,
Въ восторгѣ внѣ себя съ деревьями, съ домами
Заговорилъ!
Я самъ, друзья мои, дань сердца заплатилъ,
Когда волненьями судьбины
Въ отчизну брошенный изъ дальныхъ странъ чужбины.
Увидѣлъ наконецъ адмиралтейскій шпицъ,
Фонтанку, этотъ домъ и столько милыхъ лицъ,
Для сердца моего единственныхъ на свѣтѣ!
Я самъ...
Но дѣло все теперь о Филалетѣ.
Который, опершись на каѳедру, стоитъ
И ждетъ опять денницы
На милой площади аттической столицы.
Замѣтьте, милые друзья,
Что Греки снаряжать тогда войну хотѣли,
Съ какимъ царемъ, не помню я,
Но знаю только то, что риторы гремѣли,
Предвѣстники народныхъ бѣдъ.
Такъ рѣчью ихъ сразить желая, Филалетъ

Всѣхъ раньше на помостъ погибельный взмостился.
И вотъ блеснулъ Авроры свѣтъ,
А съ нимъ и шумъ дневной родился.
Народъ зашевелился:
Въ Аѳинахъ, какъ вездѣ, часъ утра — часъ сует̆ъ.
На площадь побѣжалъ ремесленникъ, поэтъ,
Поденьщикъ, говорунъ, съ товарами купчина,
Софистъ, архонтъ и Фрина,
Съ толпой невольницъ и сиренъ,
И бочку прикатилъ насмѣшникъ Діогенъ.
На площадь всякъ идетъ для дѣла и безъ дѣла.
Нахлынули, вся площадь закипѣла.
Вы помните: бульваръ кипѣлъ въ Парижѣ такъ
Народа праздными толпами,
Когда по немъ леталъ съ нагайкою казакъ
Иль сѣверный Амуръ съ колчаномъ и стрѣлами.
Такъ точно весь народъ толпился и жужжалъ
Передъ ораторскимъ амвономъ.
Знакъ поданъ: начинай! Рой шумный замолчалъ,
И риторъ возвѣстилъ высокопарнымъ тономъ,
Что Аттикѣ война
Погибельна, вредна,
Потомъ велерѣчиво, ясно
По пальцамъ доказалъ, что въ мирѣ быть опасно.
«Что жь дѣлать?» закричалъ съ досадою народъ.
«Что дѣлать?... Сомнѣваться!
«Сомнѣнье мудрости есть самый зрѣлый плодъ.
«Я вамъ совѣтую, граждане, колебаться —
«И не мириться, и не драться».
Народъ всегда нетерпѣливъ.
Сперва нашъ краснобай услышалъ легкій ропотъ,
Шушуканье, а тамъ поближе громкій хохотъ,
А тамъ... Но онъ стоитъ уже ни мертвъ, ни живъ,
Разинувъ ротъ, потупивъ взгляды,

Мертвѣе во сто разъ, чѣмъ мертвецы баллады.
Еще проходитъ мигъ...
«Ну, что же? Продолжай!» Ораторъ все ни слова:
Отъ страха гдѣ языкъ!
За то, какой въ толпѣ поднялся страшный крикъ,
Какая туча тамъ готова!
На каѳедру летитъ градъ яблоковъ и фигъ,
И камни ужь свистятъ надъ жертвой...
И жалкій Филалетъ, избитый, полумертвой,
Съ ступени на ступень въ отчаяньи летитъ
И падаетъ безъ чувствъ подъ вѣрную защиту
Въ объятія отверзты... къ Клиту,
Итакъ, тщеславнаго спасаетъ бѣдный Клитъ,
Простякъ, неграмотный, презрѣнный,
Въ Аѳинахъ дни влачитъ безъ славы осужденный!
Онъ, онъ, прижавъ его къ груди,
Нахальныхъ крикуновъ толкаетъ на пути,
Однимъ грозитъ, у тѣхъ пощады проситъ
И брата своего, какъ старика Эней,
Къ порогу хижины своей
На раменахъ доноситъ.
Какъ брата въ хижинѣ лелѣетъ добрый Клитъ!
Не сводитъ глазъ съ него, съ нимъ сладко говоритъ,
Съ простымъ, но сильнымъ чувствомъ:
Предъ дружбой ничего и Гиппократъ съ искусствомъ!
Въ три дни страдалецъ нашъ оправился и всталъ
И брату кинулся на шею со слезами;
А братъ гостей назвалъ
И жертву воскурилъ предъ отчими богами.
Весь домикъ въ суетахъ! Жена и рой дѣтей
Веселыхъ, рѣзвыхъ и пригожихъ,
Во всемъ на мать свою похожихъ,
На пиршество несутъ для радостныхъ гостей
Простой, но щедрый даръ наслѣдственныхъ полей,

Румяное вино, янтарный медъ Гимета...
И чаша подналась за здравье Филалета!
«Пей, ѣшь и веселись, нежданный сердца гость!»
Всѣ гости за одно съ хозяиномъ вскричали.
И что же? Филалетъ, забывъ народа злость,
Бѣды, проказы и печали,
За чашей круговой опять заговорилъ
Въ восторгѣ о тебѣ, великолѣпный Нилъ!
А дней черезъ пятокъ, не болѣ,
Наскуча видѣть все одно и то же поле,
Все тѣ же лица всякій день,
Нашъ Грекъ—повѣрите ль?—какъ въ клѣткѣ стосковался.
Онъ началъ по лѣсамъ прогуливать ужъ лѣнь,
На горы ближнія взбирался,
Бродилъ всю ночь, весь день шатался,
Потомъ Аѳины сталъ тихонько посѣщать,
На милой площади опять
Зѣвать,
Съ софистами о томъ, объ этомъ толковать;
Потомъ, провѣдавъ онъ отъ старыхъ грамотѣевъ,
Что въ мірѣ есть страна,
Гдѣ вѣчно царствуетъ весна,
За розами побрелъ... въ снѣга Гиперборреевъ.
Напрасно Клитъ съ женой ему кричали вслѣдъ
Съ домашняго порога:
«Братъ милый, воротись, мы просимъ, ради Бога!
«Чего тебѣ искать въ чужбинѣ? Новыхъ бѣдъ,
«Откройся, что̀ тебѣ въ отечествѣ не мило?
«Иль дружество тебя, жестокій, огорчило?
«Останься, милый братъ, останься, Филалетъ!»
Напрасныя слова! Чудакъ не воротился,
Рукой махнулъ и скрылся.

XLII.

Надпись къ портрету графа Эммануила Сенъ-При.

От родины его отторгнула судьбина,
Но лиліямъ отцовъ онъ всюду вѣренъ былъ
И въ нашемъ станѣ воскресилъ
Баярда древній духъ и доблесть Дюгесклина.

XLIII.

Таврида.

Другъ милый, ангелъ мой, сокроемся туда,
Гдѣ волны кроткія Тавриду омываютъ,
И Фебовы лучи съ любовью озаряютъ
Имъ древней Греціи священныя мѣста!
Мы тамъ, отверженные рокомъ,
Равны несчастіемъ, любовію равны,
Подъ небомъ сладостнымъ полуденной страны
Забудемъ слезы лить о жребіи жестокомъ,
Забудемъ имена фортуны и честей.
Въ прохладѣ ясеней, шумящихъ надъ лугами,
Гдѣ кони дикіе стремятся табунами
На шумъ студеныхъ струй, кипящихъ подъ землей,
Гдѣ путникъ съ радостью отъ зноя отдыхаетъ
Подъ говоромъ древесъ, пустынныхъ птицъ и водъ,
Тамъ, тамъ насъ хижина простая ожидаетъ,
Домашній ключъ, цвѣты и сельскій огородъ.

Послѣдніе дары фортуны благосклонной,
Васъ пламенны сердца привѣтствуютъ стократъ!
Вы краше для любви и мраморныхъ палатъ
Пальмиры сѣвера огромной!
Весна ли красная блистаетъ средь полей,
Иль лѣто знойное палитъ изсохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, водолей
Валитъ шумящій дождь, сѣдой туманъ и мраки, —
О, радость, ты со мной встрѣчаешь солнца свѣтъ
И, ложе счастія съ денницей покидая,
Румяна и свѣжа, какъ роза полевая,
Со мною дѣлишь трудъ, заботы и обѣдъ,
Со мной въ часъ вечера, подъ кровомъ тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи
Я вижу, голосъ твой я слышу, и рука
Въ твоей покоится всечасно.
Я съ жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяныхъ устъ, и если хоть слегка
Летающій зефиръ власы твои развѣетъ
И взору обнажитъ снѣгамъ подобну грудь,
Твой другъ не смѣетъ и вздохнуть,
Потупя взоръ, дивится и нѣмѣетъ.

XLIV.

Разлука.

Напрасно покидалъ страну моихъ отцовъ,
Друзей души, блестящія искусства
И въ шумѣ грозныхъ битвъ, подъ тѣнію шатровъ
Старался усыпить встревоженныя чувства!
Ахъ, небо чуждое не лѣчитъ сердца ранъ!

Напрасно я скитался
Изъ края въ край, и грозный океанъ
За мной роптал и волновался!
Напрасно, отъ бреговъ плѣнительныхъ Невы
Отторженный судьбою,
Я снова посѣщалъ развалины Москвы,
Москвы, гдѣ я дышалъ свободою прямою!
Напрасно я спѣшилъ отъ сѣверныхъ степей,
Холоднымъ солнцемъ освѣщенныхъ,
Въ страну, гдѣ Тирасъ бьетъ излучистой струей,
Сверкая между горъ, Церерой позлащенныхъ,
И древнія поитъ народовъ племена!
Напрасно! Всюду мысль преслѣдуетъ одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мнѣ священно,
Которой взоръ одинъ лазоревыхъ очей
Всѣ неба на землѣ блаженства отверзаетъ,
И слово, звукъ одинъ, прелестный звукъ рѣчей
Меня мертвитъ и оживляетъ.

XLV.

Пробужденіе.

Зефиръ послѣдній свѣялъ сонъ
Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами,
Но я не къ счастью пробужденъ
Зефира тихими крилами.
Ни сладость розовыхъ лучей,
Предтечи утренняго Феба,
Ни кроткій блескъ лазури неба.

Ни запахъ, вѣющій съ полей,
Ни быстрый летъ коня ретива
По скату бархатныхъ луговъ
И лай борзыхъ, и звонъ роговъ
Вокругъ пустыннаго залива,
Ничто души не веселитъ,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый умъ не побѣдитъ
Любви — холодными словами.

XLVI.

Воспоминанія.

Я чувствую, мой даръ въ поэзіи погасъ,
И муза пламенникъ небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глазъ.
Туда влечетъ меня осиротѣлый геній,
Въ поля безплодныя, въ непроходимы сѣни,
Гдѣ счастья нѣтъ слѣдовъ,
Ни тайныхъ радостей, неизъяснимыхъ сновъ,
Любимцамъ Фебовымъ отъ юности извѣстныхъ,
Ни дружбы, ни любви, ни пѣсней музъ прелестныхъ,
Которыя всегда душевну скорбь мою,
Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали [1]).
Нѣтъ, нѣтъ, себя не узнаю
Подъ новымъ бременемъ печали!
Какъ странникъ, брошенный на брегъ изъ ярыхъ волнъ,
Встаетъ и съ ужасомъ разбитый видитъ челнъ,

[1]) Лотосъ—растеніе. Смотри Одиссею.

Рукою трепетной онъ мраки вопрошаетъ,
Ногой скользитъ надъ пропастями онъ,
И вѣтеръ буйный развѣваетъ
Моленій гласъ его, рыданія и стонъ,—
На краѣ гибели такъ я зову въ спасенье
Тебя, послѣдняя надежда, утѣшенье,
Тебя, послѣдній сердца другъ,
Средь бурей жизни и недугъ
Хранитель ангелъ мой, оставленный мнѣ Богомъ!
Твой образъ я таилъ въ душѣ моей залогомъ
Всего прекраснаго и благости Творца,
Я съ именемъ твоимъ летѣлъ подъ знамя брани
Искать иль славы, иль конца.
Въ минуты страшныя чистѣйши сердца дани
Тебѣ я приносилъ на Марсовыхъ поляхъ;
И въ мирѣ, и въ войнѣ, во всѣхъ земныхъ краяхъ
Твой образъ слѣдовалъ съ любовію за мною,
Съ печальнымъ странникомъ онъ неразлученъ сталъ...
Какъ часто въ тишинѣ, весь занятый тобою,
Въ лѣсахъ, гдѣ Жувизи [1]) гордится надъ рѣкою,
И Сейна по цвѣтамъ льетъ сребряный кристалъ,
Какъ часто средь толпы и шумной, и безпечной,
Въ столицѣ роскоши, среди прелестныхъ женъ
Я пѣнье забывалъ волшебное сиренъ
И о тебѣ одной мечталъ въ тоскѣ сердечной;
Я имя милое твердилъ
Въ прохладныхъ рощахъ Альбіона
И эхо называть прекрасную училъ
Въ цвѣтущихъ пажитяхъ Ричмона [2]).
Мѣста прелестныя и въ дикости своей,

[1]) Жувизи—замокъ близь Парижа.

[2]) Ричмонъ—прекрасный городокъ въ окрестностяхъ Лондона, напротивъ жилища Попе. Путешественники никогда не забудутъ террасы и плѣнительныхъ видовъ Ричмона.

О, камни Швеціи, пустыни Скандинавовъ,
Обитель древняя и доблести, и нравовъ!
Ты слышала обѣтъ и гласъ любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальнія скалы гранитныхъ береговъ,
И села пахарей, и купци рыбаковъ
Сквозь тонки, утренни туманы
На зеркальныхъ водахъ пустынной Троллетаны [1]).
Исполненный всегда единственно тобой,
Съ какою радостью ступилъ на брегъ отчизны!
«Здѣсь будетъ» — я сказалъ — «душѣ моей покой,
«Конецъ трудамъ, конецъ и страннической жизни».
Ахъ, какъ обманутъ я въ мечтаніи моемъ!
Какъ снова счастье мнѣ коварно измѣнило
Въ любви и дружествѣ, во всемъ,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствіямъ конецъ, печалямъ — никогда!
Въ твоемъ присутствіи страданія и муки
Я сердцемъ новыя позналъ.
Онѣ ужаснѣе разлуки,
Всего ужаснѣе! Я видѣлъ, я читалъ
Въ твоемъ молчаніи, въ прерывномъ разговорѣ,
Въ твоемъ унылымъ взорѣ,
Въ сей тайной горести потупленныхъ очей,
Въ улыбкѣ и въ самой веселости твоей
Слѣды сердечнаго терзанья...
Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ бремя жизнь! Что въ ней безъ упованья
Украсить жребій твой
Любви и дружества прочнѣйшими цвѣтами,
Всѣмъ жертвовать тебѣ, гордиться лишь тобой,

[1]) Троллетана — водопадъ близъ Готенбурга, на западномъ берегу Швеціи.

Блаженствомъ дней твоихъ и милыми очами,
Признательность твою и счастье находить
Въ рѣчахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ взорѣ,
Міръ, славу, суеты протекшія и горе,
Все, все у ногъ твоихъ, какъ тяжкій сонъ, забыть!
Что въ жизни безъ тебя! Что въ ней безъ упованья,
Безъ дружбы, безъ любви—безъ идоловъ моихъ!...
И муза, сѣтуя, безъ нихъ
Свѣтильникъ гаситъ дарованья.

XLVII.

Мой геній.

О, память сердца, ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня въ странѣ плѣняешь дальной!
Я помню голосъ милыхъ словъ,
Я помню очи голубыя,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власовъ;
Моей пастушки несравненной
Я помню весь нарядъ простой,
И образъ милый, незабвенный
Повсюду странствуетъ со мной.
Хранитель геній мой, любовью
Въ утѣху данъ разлукѣ онъ!
Засну ль? Приникнетъ къ изголовью
И усладитъ печальный сонъ.

XLVIII.

Послѣдняя весна.

Подражаніе Мильвуа.

Въ поляхъ блистаетъ май веселый,
Ручей свободно зажурчалъ,
И яркій голосъ Филомелы
Угрюмый боръ очаровалъ.
Все новой жизни пьетъ дыханье.
Пѣвецъ любви, лишь ты унылъ!
Ты смерти вѣрной предвѣщанье
Въ печальномъ сердцѣ заключилъ.
Ты бродишь слабыми стопами
Въ послѣдній разъ среди полей,
Прощаясь съ ними и съ лѣсами
Пустынной родины твоей:
«Простите, рощи и долины,
«Родныя рѣки и поля!
«Весна пришла, и часъ кончины
«Неотразимой вижу я!
«Такъ Эпидавра прорицанье
«Вѣщало мнѣ: въ послѣдній разъ
«Услышишь горлицъ воркованье
«И гальціоны тихій гласъ.
«Зазеленѣютъ гибки лозы,
«Поля одѣнутся въ цвѣты.
«Тамъ первыя увидишь розы,
«И съ ними вдругъ увянешь ты...
«Ужь близокъ часъ... Цвѣточки милы,
«Къ чему такъ рано увядать?
«Закройте памятникъ унылый,

«Гдѣ прахъ мой будетъ истлѣвать;
«Закройте путь къ нему собою
«Отъ взоровъ дружбы навсегда,
«Но если Делія съ тоскою
«Къ нему приближится, тогда
«Исполните благоуханьемъ
«Вокругъ пустынный небосклонъ
«И томнымъ листьевъ трепетаньемъ
«Мой сладко очаруйте сонъ!»
Въ поляхъ цвѣты не увядали,
И гальціоны въ тихій часъ
Стенанья рощи повторяли,
А бѣдный юноша погасъ,
И дружба слезъ не уронила
На прахъ любимца своего,
И Делія не посѣтила
Пустынный памятникъ его.
Лишь пастырь, въ тихій часъ денницы,
Какъ въ поле стадо выгонялъ,
Унылой пѣснью возмущалъ
Молчанье мертвое гробницы.

XLIX.

Надежда.

Мой духъ, довѣренность къ Творцу!
Мужайся, будь въ терпѣньи камень!
Не Онъ ли къ лучшему концу
Меня провелъ сквозь бранный пламень?
На полѣ смерти чья рука
Меня таинственно спасала

И жадный крови мечъ врага,
И градъ свинцовый отражала?
Кто, кто мнѣ силу далъ сносить
Труды и гладъ, и непогоду
И силу въ бѣдствѣ сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто велъ меня отъ юныхъ дней
Къ добру стезею потаенной
И въ бурѣ пламенныхъ страстей
Мой былъ вожатай неизмѣнной?

Онъ, Онъ! Его все даръ благой!
Онъ намъ источникъ чувствъ высокихъ,
Любви къ изящному прямой
И мыслей чистыхъ и глубокихъ!
Все даръ Его, и краше всѣхъ
Даровъ — надежда лучшей жизни!
Когда жь узрю спокойный брегъ,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесныхъ благъ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу въ прахъ
И обновлю существованье?

1816.

L.

Къ другу.

Скажи, мудрецъ младой, что прочно на земли?
Гдѣ постоянно жизни счастье?
Мы область призраковъ обманчивыхъ прошли,
Мы пили чашу сладострастья...

Но гдѣ минутный шумъ веселья и пировъ,
Въ винѣ потопленныя чаши?
Гдѣ мудрость свѣтская сіяющихъ умовъ?
Гдѣ твой фалернъ и розы наши?

Гдѣ домъ твой, счастья домъ?.. Онъ въ бурѣ бѣдъ изчезъ,
И мѣсто поросло крапивой,
Но я узналъ его: я сердца дань принесъ
На прахъ его краснорѣчивой.

На немъ, когда окрестъ замолкнетъ шумъ градской,
И яркій Весперъ засіяетъ
На темномъ сѣверѣ, твой другъ въ тиши ночной
Въ душѣ задумчивость питаетъ.

Отъ самой юности служитель алтарей
Богини нѣги и прохлады,
Отъ пресыщенія, отъ пламенныхъ страстей
Я сердцу въ ней ищу отрады.

Повѣришь ли? Я здѣсь, на ненастѣ храмины стихъ,
Вѣнокъ веселія слагаю
И часто въ горести, въ волненьи чувствъ моихъ,
Потупя взоры, восклицаю:

«Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ,
«Всѣ дни утратами считаемъ,
«На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ
«И что жъ?... ихъ урны обнимаемъ!»

Скажи, давно ли здѣсь, въ кругу твоихъ друзей,
Сіяла Лила красотою?
Благія небеса, казалось, дали ей
Все счастье смертной подъ луною:

Нравъ тихій ангела, даръ слова, тонкій вкусъ,
Любви и очи, и ланиты,
Чело открытое одной изъ важныхъ музъ
И прелесть дѣвственной хариты.

Ты самъ, забывъ и свѣтъ, и тщетный шумъ пировъ,
Ея бесѣдой наслаждался
И въ тихой радости, какъ путникъ средь песковъ,
Прелестнымъ цвѣтомъ любовался.

Цвѣтокъ — увы! — изчезъ, какъ сладкая мечта.
Она въ страданіяхъ почила
И, съ міромъ въ страшный часъ прощаясь на всегда,
На другѣ взоръ остановила.

Но, дружба, можетъ быть, ее забыла ты?
Веселье слезы осушило,
И тѣнь чистѣйшую дыханье клеветы
На лонѣ мира возмутило...

Такъ все здѣсь суетно въ обители суетъ.
Пріязнь и дружество непрочно!

Но гдѣ, скажи, мой другъ, прямой сіяетъ свѣтъ?
Что вѣчно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошалъ я опытность вѣковъ
И Кліи мрачныя скрижали,
Напрасно вопрошалъ всѣхъ міра мудрецовъ:
Они безмолвьемъ отвѣчали.

Какъ въ воздухѣ перо кружится здѣсь и тамъ,
Какъ въ вихрѣ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ
И вѣчно пристани не знаетъ,

Такъ умъ мой посреди сомнѣній погибалъ,
Всѣ жизни прелести затмились,
Мой геній въ горести свѣтильникъ погашалъ,
И музы свѣтлыя сокрылись.

Я съ страхомъ вопросилъ гласъ совѣсти моей....
И мракъ изчезъ, прозрѣли вѣжды,
И вѣра пролила спасительный елей
Въ лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь какъ солнцемъ озаренъ,
Ногой надежною ступаю
И съ ризы странника свергая прахъ и тлѣнъ,
Въ міръ лучшій духомъ возлетаю.

LI.

Пѣснь Гаральда Смѣлаго.

Мы, други, летали по бурнымъ морямъ,
Отъ родины милой летали далеко,
На сушѣ, на морѣ мы бились жестоко,
И море, и суша покорствуетъ намъ!

О, други, какъ сердце у смѣлыхъ кипѣло,
Когда мы, содвинувъ стѣной корабли,
Какъ птицы неслися станицей веселой
Вкругъ пажитей тучныхъ Сиканской земли!...
А дѣва русская Гаральда презираетъ!

О, други, я младость не праздно провелъ!
Съ сынами Дронтгейма вы помните сѣчу?
Какъ вихорь, предъ вами я мчался на встрѣчу
Подъ камни и тучи свистящія стрѣлъ.
Напрасно сдвигались народы, мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Какъ блѣдные класы подъ ливнемъ, упали
И всадникъ, и пѣшій... Владыка, и ты!...
А дѣва русская Гаральда презираетъ!

Насъ было лишь трое на легкомъ челнѣ,
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная въ полдень нависла съ громами,
И Гела зіяла въ соленой волнѣ,
Но волны, напрасно яряся, хлестали.
Я черпалъ ихъ шлемомъ, работалъ весломъ...
Съ Гаральдомъ, о, други, вы страха не знали
И въ мирную пристань влетѣли съ челномъ!...
А дѣва русская Гаральда презираетъ!

Вы, други, видали меня на конѣ.
Вы зрѣли, какъ рушилъ сѣкирой твердыни,
Летая на бурномъ питомцѣ пустыни
Сквозь пепелъ и вьюгу въ пожарномъ огнѣ.
Желѣзомъ я ноги мои окриляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой разсѣкая,
Какъ лебедь отважный, по морю иду!...
А дѣва русская Гаральда презираетъ!

Я въ мирныхъ родился полночи снѣгахъ,
Но рано отбросилъ доспѣхи ловитвы—
Лукъ грозный и лыжи, и въ шумныя битвы
Васъ, други, съ собою умчалъ на судахъ.
Не тщетно за славой летали далеко
Отъ милой отчизны по дикимъ морямъ,
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море, и суша покорствуютъ намъ!...
А дѣва русская Гаральда презираетъ!

LI.

Мщеніе.

Подражаніе Парни.

Невѣрный другъ и вѣчно милый!
Зарю моихъ счастливыхъ дней
И слезы радости, и клятвы легкокрилы,
Все время унесло съ любовію твоей,
И все погибло невозвратно,
Какъ сладкая мечта, какъ утромъ сонъ пріятной!
Но все любовью здѣсь исполнено моей
И клятвы страшныя твои напоминаетъ.
Ихъ помнятъ и лѣса, ихъ помнитъ и ручей,
И эхо томное ихъ часто повторяетъ.
Взгляни, здѣсь въ первый разъ я встрѣтился съ тобой,
Ты здѣсь, подобная лилеѣ бѣлоснѣжной,
Взлелѣянной въ садахъ Авророй и весной,
Подъ сѣнью безмятежной
Цвѣла невинностью близъ матери твоей.

Вотъ здѣсь я въ первый разъ вкусилъ надежды сладость.
Здѣсь жертвы приносилъ у мирныхъ алтарей,
Когда твою грозила младость
Болѣзнь жестокая во цвѣтѣ погубить;
Здѣсь клялся, милый другъ, тебя не пережить,
Но съ новой прелестью ты къ жизни воскресала
И въ первый разъ люблю краснѣяся сказала.
(Тому сей дикій боръ нѣмой свидѣтель былъ).
Твоя рука въ моей то млѣла, то пылала,
И первый поцѣлуй съ душею душу слилъ.
Тамъ взоръ потупленный назначилъ мнѣ свиданье
Въ зеленомъ сумракѣ развѣсистыхъ древесъ,
Гдѣ льется въ воздухѣ сирень благоуханье,
И облако цвѣтовъ скрываетъ сводъ небесъ;
Тамъ ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загремѣлъ надъ нами ярый громъ.
Все небо въ пламени зардѣлося кругомъ
И въ рощѣ сумрачной сверкало.
Напрасно! Ты была въ объятіяхъ моихъ,
И къ новымъ радостямъ ты воскресала въ нихъ!
О, пламенный восторгъ, о, страсти упоенье,
О, сладострастіе, себя, всего забвенье,
Съ ея любовію утрачены на вѣкъ,
Вы будете всегда измѣнницѣ упрекъ!
Воспоминанье ваше,
Отъ времени еще прелестнѣе и краше,
Ея преступное блаженство помрачитъ
И сердцу за меня коварному отмститъ
Неизлѣчимою, жестокою тоскою.
Такъ! Всюду образъ мой увидишь предъ собою
Не въ видѣ прежняго любовника въ цѣпяхъ,
Который съ нѣжностью сквозь слезы упрекаетъ
И жребій съ трепетомъ читаетъ
Въ твоихъ потупленныхъ очахъ;

Нѣтъ, въ лютой ревности, карая преступленье,
Явлюсь, какъ блѣдное въ полуночь привидѣнье,
И всюду слѣдовать я буду за тобой:
Въ безмолвіи лѣсовъ, въ поляхъ уединенныхъ,
Въ веселыхъ пиршествахъ, тобой одушевленныхъ,
Гдѣ юность пылкая и взоръ считаетъ твой.
Въ глазахъ соперника, на ложѣ Гименея
Ты будешь съ ужасомъ о клятвахъ вспоминать,
При имени моемъ блѣднѣя
Невольно трепетать.
Когда жь безвременно съ полей кровавой битвы
Къ Коциту позоветъ меня судьбины гласъ,
Скажу: будь счастлива въ послѣдній жизни часъ,
И тщетны будутъ всѣ любовника молитвы!

LIII.

Посланіе къ А. И. Тургеневу.

О, ты, который средь обѣдовъ,
Среди веселій и забавъ
Сберегъ для дружбы кроткій нравъ,
Для дѣлъ—характеръ честный дѣдовъ!
О, ты, который при дворѣ,
Въ чаду успѣховъ или счастья,
Найти умѣлъ въ одномъ добрѣ
Души прямое сладострастье!
О, ты, который съ похоронъ
На свадьбы часто поспѣваешь,
Но, бѣднаго услыша стонъ,
Ушей не затыкаешь!

Услышь, мой вѣрный доброхотъ,
Поэта смирнаго моленье,
Доставь крупицу отъ щедротъ
Сироткамъ двумъ на прокормленье!
Замолви слова два за нихъ
Краснорѣчивыми устами.
Лишь «дайте имъ!» промолви—въ мигъ
Онѣ очутятся съ сергами.
Но кто онѣ? Скажу точь въ точь
Всю повѣсть ихъ передъ тобою.
Онѣ—вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.
Жилъ нѣкто въ мірѣ семъ Поповъ,
Царя усердный воинъ.
Былъ бѣденъ. Умеръ. Отъ долговъ
Онъ, слѣдственно, спокоенъ.
Но въ мірѣ онъ забылъ жену
Съ груднымъ ребенкомъ и одну
Суму оставилъ имъ въ наслѣдство.
Но здѣсь не все для бѣдныхъ бѣдство!
Имъ добры люди помогли,
Согрѣли, накормили
И, словомъ, какъ могли,
Сиротокъ пріютили.
Прекрасно, славно, спору нѣтъ!
Но... здѣшній свѣтъ
Не рай—мнѣ сказывалъ мой дѣдъ.
Враги нахлынули рѣкою,
Съ землей сравнялася Москва...
И бѣдная вдова
Опять пошла съ клюкою.
А между тѣмъ все дочь растетъ,
И нужды съ нею подрастаютъ.
День за день все идетъ, идетъ,

Недѣли, мѣсяцы мелькаютъ;
Старушка клонится, а дочь
Пышнѣе розы разцвѣтаетъ
И стала грація точь въ точь!
Прелестный взоръ, глаза большіе,
Румянецъ Флоры на щекахъ
И кудри льняно-золотыя
На алебастровыхъ плечахъ.
Что слово молвитъ, то пріятство,
Что ни надѣнетъ, все къ лицу!
Краса—увы!—ея богатство
И все приданое къ вѣнцу,
А крохи нѣтъ насущной хлѣба!
Тургеневъ, другъ нашъ, ради неба,
Прійди на помощь красотѣ,
Несчастію и нищетѣ,
Онѣ предъ образомъ, конечно,
Затеплятъ чистую свѣчу,
За чье здоровье—умолчу:
Ты угадаешь, другъ сердечной!

LIV.

Къ цвѣтамъ нашего Горація.

Ни вьюги, ни морозы
Цвѣтовъ твоихъ не истребятъ.
Богъ лиры, богъ любви и музы мнѣ твердятъ:
Въ саду Горація не увядаютъ розы.

LV.

Къ портрету Жуковскаго.

Подъ знаменемъ Москвы, предъ падшею столицей
Онъ храбрымъ гимны пѣлъ, какъ пламенный Тиртей.
Въ дни мира, новый Грей,
Плѣняетъ насъ задумчивой цѣвницей.

LVI.

Гезіодъ и Омиръ соперники.

Посвящено А. Н. Оленину, любителю древности.

Народы, какъ волны, въ Колхиду текли,
Народы счастливой Эллады.
Тамъ сильный владыка, надъ прахомъ отца
Оконча печальны обряды,
Ристалище славы бойцамъ отверзалъ.
Три раза съ румяной денницей
Бойцы выступали съ бойцами на бой,
Три раза стремили возницы
Коней легконогихъ по звонкимъ полямъ,
И трижды владѣтель Колхиды
Достойнымъ оливны вѣнки раздавалъ.
Но солнце на лоно Өетиды
Склонялось, и новый готовился бой.
Очистите поле, возницы!

Спѣшите, залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы!
Коней отрѣшите отъ тягостныхъ узъ
И въ стойлы прохладны ведите!
Вы, пылью и пòтомъ покрыты бойцы,
При пламени свѣтломъ вздохните!
Внемлите, народы, Эллады сыны,
Высокія пѣсни внемлите!

Пройдя изъ края въ край гостепріимный міръ,
Лѣтами древними и рокомъ удрученный,
Здѣсь пѣсней царь Омиръ
И юный Гезіодъ, Каменамъ драгоцѣнный,
Вступаютъ въ славный бой.
Колебля маслину священною рукой,
Пѣвецъ Аскреи гимнъ высокій начинаетъ
(Онъ съ лирой никогда свой гласъ не сочетаетъ):

Гезіодъ.

Безвѣстный юноша, съ стадами я бродилъ
Подъ тѣнью пальмовой близъ чистой Ипокрены;
Тамъ пастыря нашли прелестныя Камены,
И я въ обитель ихъ священную вступилъ.

Омиръ.

Мнѣ снилось въ юности: орелъ громометатель
Отъ Мелеса меня играючи унесъ
На край земли, на край небесъ,
Вѣщая: «Ты земли и неба обладатель!»

Гезіодъ.

Тамъ лавры хижину простую осѣнятъ,
Въ пустыняхъ процвѣтутъ Темпейскія долины,
Куда вы бросите свой благотворный взглядъ,
О, нѣжны дочери суровой Мнемозины!

Омиръ.

Хвала отцу боговъ! Какъ ясный сводъ небесъ
Надъ царствомъ высится плачевнаго Эреба,
Какъ радостный Олимпъ стоитъ превыше неба,
Такъ выше всѣхъ боговъ властитель ихъ, Зевесъ!

Гезіодъ.

Въ священномъ сумракѣ, въ сіяніи Діаны
Вы, музы, любите сплетаться въ хороводъ
Или, торжественный въ Олимпъ свершая ходъ,
Съ безсмертными вкушать напитокъ Гебы рьяный.

Омиръ.

Не знаетъ смерти онъ, кровь алая тельцовъ
Не брызнетъ подъ ножемъ надъ Зевсовой гробницей,
И кони бурные со звонкой колесницей
Предъ ней не будутъ прахъ крутить до облаковъ.

Гезіодъ.

А мы, всѣ смертные, всѣ паркамъ обреченны,
Увидимъ области подземнаго царя
И рѣки спящія, Тенаромъ заключенны,
Не льющи дань свою въ бездонныя моря.

Омиръ.

Я приближаюся къ метѣ сей неизбѣжной.
Внемли, о, юноша, ты пѣлъ Труды и Дни...
Для старца ветхаго ужъ кончились они!

Гезіодъ.

Сынъ дивный Мелеса! И лебедь бѣлоснѣжный
На синемъ Стримонѣ, провидя страшный часъ,
Не слаще твоего поетъ въ послѣдній разъ!

Твой геній проницалъ въ Олимпъ, и вѣчны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что жь? Въ юдоли сей страдалецъ искони,
Ты рокомъ обреченъ въ печаляхъ кончить дни!
Пѣвецъ божественный, скитаяся какъ нищій,
Въ печальномъ рубищѣ, безъ крова и безъ пищи.
Слѣпецъ всевидящій, ты будешь проклинать
И день, когда на свѣтъ тебя родила мать!

Омиръ.

Твой гласъ подобится амврозіи небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льетъ.
Пѣвецъ, въ устахъ твоихъ поэзіи прелестной
Сладчайшій Ольмія благоухаетъ медъ.
Но, музъ любимый жрецъ, страшись руки злодѣйской,
Страшись любви, страшись Эвбеи береговъ.
Твой близокъ часъ! Увы, тебя Зевесъ Немейской,
Какъ жертву славную, готовитъ для враговъ!

Умолкли. Облако печали
Покрыло очи ихъ. Народъ рукоплескалъ.
Но снова сладкій бой поэты начинали
При шумѣ радостныхъ похвалъ.
Омиръ, возвыся гласъ, воспѣлъ народовъ брани,
Народовъ, гибнущихъ по прихоти царей,
Пріама древняго, съ мольбой несуща дани
Убійцѣ грозному и кровныхъ, и дѣтей,
Мольбу смиренную и быструю Обиду,
Харитъ и легкихъ Оръ, и страшную Эгиду,
Нептуна области, Олимпъ и дикій Адъ.
А юный Гезіодъ, взлелѣянный Парнассомъ,
Съ чудесной прелестью воспѣлъ веселымъ гласомъ
Весну, зеленую сопутницу Гіадъ,
Какъ Фебъ торжественно вселенну обтекаетъ,

Какъ дни и мѣсяцы родятся въ небесахъ,
Какъ нивой золотой Церера награждаетъ
Труды годичные оратая въ поляхъ,
Заботы сладкія при сборѣ винограда.
Тебя, желанный миръ, лелѣятель долинъ,
Благословенныхъ селъ и пастырей, и стада,
Онъ пѣлъ. И слабый царь, Колхиды властелинъ,
Отъ самой юности воспитанный средь мира,
Презрѣлъ высокій гимнъ безсмертнаго Омира
И пальму первенства сопернику вручилъ.
Счастливый Гезіодъ въ награду получилъ
За пѣсни, мирною Каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножникъ позлащенный
И чернаго овна, красу веселыхъ стадъ.
За нимъ, предъ нимъ сыны ахейскіе, какъ волны,
На край ристалища обширнаго спѣшатъ,
Гдѣ побѣдитель самъ, благоговѣнья полный,
При возліяніяхъ овна младую кровь
Довременно богамъ подземнымъ посвящаетъ
И музамъ свѣтлые сосуды предлагаетъ,
Какъ даръ, усердный даръ пѣвца, за ихъ любовь.
До самой старости преслѣдуемый рокомъ,
Но духомъ царь, не рабъ разгнѣванной судьбы,
Омиръ скрывается отъ суетной толпы,
Снѣдая грусть свою въ молчаніи глубокомъ.
Рожденный въ Самосѣ, убогій сирота
Слѣпца изъ края въ край, какъ сынъ усердный, водитъ.
Онъ съ нимъ пристанища въ Элладѣ не находитъ...
И гдѣ найдутъ его талантъ и нищета?

Примѣчаніе

къ элегіи Гезіодъ и Омиръ.

Эта элегія переведена изъ Мильвуа, одного изъ лучшихъ французскихъ стихотворцевъ нашего времени. Онъ скончался въ прошломъ годѣ въ цвѣтущей молодости. Французскія музы долго будутъ оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты нынѣ рѣдки въ отечествѣ Расина.

Многіе писатели утверждали, что Омиръ и Гезіодъ были современники. Нѣкоторые сомнѣваются, а иные и совершенно оспариваютъ это предположеніе. Отецъ Гезіодовъ, какъ видно изъ поэмы Труды и Дни, жилъ въ Кумахъ, откуда онъ перешелъ въ Аскрею, городъ въ Беотіи, у подошвы горы Геликона. Тамъ родился Гезіодъ. Музы—говоритъ онъ въ началѣ Ѳеогоніи—нашли его на Геликонѣ и обрекли себѣ. Онъ самъ упоминаетъ о побѣдѣ своей въ пѣснопѣніи. Архидамій, царь Эвбейскій, умирая завѣщалъ, чтобы въ день смерти его ежегодно совершались погребальныя игры. Дѣти исполнили завѣщаніе родителя, и Гезіодъ былъ побѣдителемъ въ пѣснопѣніи. Плутархъ, въ сочиненіи своемъ: Пиръ семи мудрецовъ, заставляетъ разсказывать Періандра о состязаніи Омира съ Гезіодомъ. Послѣдній остался побѣдителемъ и, въ знакъ благодарности музамъ, посвятилъ имъ треножникъ, полученный въ награду. Жрица дельфійская предвѣщала Гезіоду кончину его; предвѣщаніе сбылось: молодые люди, полагая, что Гезіодъ соблазнилъ сестру ихъ, убили его на берегахъ Эвбеи, посвященныхъ Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить объ Омирѣ. Кто не знаетъ, что первый въ мірѣ поэтъ былъ слѣпъ и нищій?

Намъ музы дорого таланты продаютъ!

1817.

LVII.

Переходъ черезъ Рейнъ.

Межъ тѣмъ какъ воины вдоль идутъ по полямъ,
Завидя вдалекѣ твои, о, Рейнъ, волны,
Мой конь, веселья полный,
Отъ строя отдѣляясь, стремится къ берегамъ,
На крыльяхъ жажды прилетаетъ,
Глотаетъ хладную струю
И грудь усталую въ бою
Желанной влагой обновляетъ.

О, радость, я стою при рейнскихъ водахъ
И, жадные съ холмовъ въ окрестность брося взоры,
Привѣтствую поля и горы,
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ,
И всю страну, обильну славой,
Воспоминаньемъ древнихъ дней,
Гдѣ съ Альповъ вѣчною струей
Ты льешься, Рейнъ величавый!

Свидѣтель древности, событій всѣхъ временъ,
О, Рейнъ, ты поилъ несчетны легіоны,
Мечемъ писавшіе законы
Для гордыхъ Германа кочующихъ племенъ;
Любимецъ счастья, бичъ свободы,

Здѣсь Кесарь бился, побѣждалъ,
И конь его переплывалъ
Твои священны, Рейнъ, воды!

Вѣка мелькнули: міръ крестомъ преображенъ,
Любовь и честь въ душахъ суровыхъ пробудились.
Здѣсь витязи вооружились
Копьемъ за жизнь сиротъ, за честь прелестныхъ женъ;
Тутъ совершались ихъ турниры,
Тутъ бились храбрые, и здѣсь
Не умеръ, мнится, и поднесь
Звукъ сладкой трубадуровъ лиры.

Такъ, здѣсь, подъ тѣнію смоковницъ и дубовъ,
При шумѣ сладостномъ нагорныхъ водопадовъ,
Въ тѣни цвѣтущихъ селъ и градовъ,
Восторгъ живетъ еще средь избранныхъ сыновъ.
Здѣсь все питаетъ вдохновенье:
Простые нравы праотцовъ,
Святая къ родинѣ любовь
И праздной роскоши презрѣнье.

Все, все, и видъ полей, и видъ священныхъ водъ,
Туманной древности и бардамъ современныхъ,
Для чувствъ и мыслей дерзновенныхъ
И силу новую, и крылья придаетъ.
Свободны, горды, полудики,
Природы вѣрные жрецы,
Тевтонски пѣли здѣсь пѣвцы....
И смолкли ихъ волшебны лики.

Ты самъ, родитель водъ, свидѣтель всѣхъ временъ,
Ты самъ, до нашихъ дней, спокойный, величавый,
Съ паденіемъ народной славы
Склонилъ чело, увы, познатъ и стыдъ, и плѣнъ!

Давно ли брегъ твой подъ орлами
Аттилы новаго стеналъ,
И ты уныло протекалъ
Между враждебными полками?

Давно ли земледѣлъ вдоль красныхъ береговъ,
Средь виноградниковъ завѣтныхъ и священныхъ,
Полки встрѣчалъ иноплеменныхъ
И ненавистный взоръ зарейнскихъ сыновъ?
Давно ль они кичася пили
Вино изъ синихъ хрусталей,
И кони ихъ среди полей
И зрѣлыхъ нивъ твоихъ бродили?

И часъ судьбы насталъ! Мы здѣсь, сыны снѣговъ,
Подъ знаменемъ Москвы, съ свободой и съ громами.
Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами,
Отъ струй полуденныхъ, отъ Каспія валовъ,
Отъ волнъ Улеи и Байкала,
Отъ Волги, Дона и Днѣпра,
Отъ града нашего Петра,
Съ вершинъ Кавказа и Урала!

Стеклись, нагрянули за честь твоихъ гражданъ,
За честь твердынь и селъ, и нивъ опустошенныхъ,
И береговъ благословенныхъ,
Гдѣ развѣло въ тиши блаженство Россіянъ,
Гдѣ ангелъ мирный, свѣтозарный
Для странъ полуночи рожденъ
И Провидѣньемъ обреченъ
Царю, отчизнѣ благодарной.

Мы здѣсь, о, Рейнъ, здѣсь! Ты видишь блескъ мечей,
Ты слышишь шумъ полковъ и новыхъ коней ржанье,
Ура побѣды и взыванье

Идущихъ, скачущихъ къ тебѣ богатырей.
Взвивая къ небу прахъ летучій,
По трупамъ вражескимъ летятъ
И вотъ—коней лихихъ поятъ,
Кругомъ заставя долъ зыбучій.

Какой чудесный пиръ для слуха и очей!
Здѣсь пушекъ свѣтла мѣдь сіяетъ за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древніе средь копій и мечей.
Тамъ шлемы воевъ оперенны,
Тяжелой конницы строи
И легкихъ всадниковъ рои,
Въ текучей влагѣ отраженны!

Тамъ слышенъ стукъ сѣкиръ, и палъ угрюмый лѣсъ,
Костры надъ Рейномъ дымятся и пылаютъ,
И чаши радости сверкаютъ,
И клики воиновъ восходятъ до небесъ.
Тамъ ратникъ ратника объемлетъ,
Тамъ точитъ пѣшій штыкъ стальной,
И конный грозною рукой
Крылатый дротикъ свой колеблетъ.

Тамъ всадникъ, опершись на свѣтлу сталь копья,
Задумчивъ и одинъ, на берегѣ высокомъ
Стоитъ и жаднымъ ловитъ окомъ
Рѣки излучистой послѣдніе края.
Быть можетъ, онъ воспоминаетъ
Рѣку своихъ родимыхъ мѣстъ
И на груди свой мѣдный крестъ
Невольно къ сердцу прижимаетъ...

Но тамъ готовится, по манію вождей,
Безкровный жертвенникъ средь гибельныхъ трофеевъ,

И Богу сильныхъ Маккавеевъ
Колѣнопреклоненъ служитель алтарей!
Его шумя пріосѣняетъ
Знаменъ отчизны грозный лѣсъ,
И солнце юное съ небесъ
Алтарь сіяньемъ осыпаетъ.

Всѣ крики бранные умолкли, и въ рядахъ
Благоговѣніе внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь, и ратники чело склонили въ прахъ:
Поютъ Владыкѣ вышней силы,
Тебѣ, Подателю побѣдъ,
Тебѣ, Незаходимый Свѣтъ,
Дымятся мирныя кадилы!

И се подвигнулись: валитъ за строемъ строй,
Какъ море шумное, волнуется все войско,
И эхо вторитъ кликъ геройской,
Досель не слыханный, о, Рейнъ, надъ тобой!
Твой стонетъ брегъ гостепріимной,
И мостъ подъ воями дрожитъ,
И врагъ, завидя ихъ, бѣжитъ,
Отъ глазъ, вдали теряясь дымной!

LVIII.

Умирающій Тассъ.

E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura, o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!
Che più spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol quì restano all'alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia, o giova amore?
Ahi lagrime! ahi dolore!

Torrismondo, tragedia di T. Tasso.

Какое торжество готовитъ древній Римъ?
Куда текутъ народа шумны волны?
Къ чему сихъ ароматъ и мирры сладкій дымъ,
Душистыхъ травъ кругомъ кошницы полны?
До Капитолія отъ Тибровыхъ валовъ,
Надъ стогнами всемірныя столицы,
Къ чему раскинуты средь лавровъ и цвѣтовъ
Безцѣнные ковры и багряницы?
Къ чему сей шумъ, къ чему тимпановъ звукъ и громъ?
Веселья онъ или побѣды вѣстникъ?
Почто съ хоругвіей течетъ въ молитвы домъ
Подъ митрою апостоловъ намѣстникъ?
Кому въ рукѣ его сей зыблется вѣнецъ,
Безцѣнный даръ признательнаго Рима?
Кому тріумфъ?... Тебѣ, божественный пѣвецъ,
Тебѣ сей даръ, пѣвецъ Ерусалима!
И шумъ веселія достигъ до кельи той,

Гдѣ борется съ кончиною Торквато,
Гдѣ надъ божественной страдальца головой
Духъ смерти носится крылатой.
Ни слезы дружества, ни иноковъ мольбы,
Ни почестей столь поздніе награды,
Ничто не укротитъ желѣзныя судьбы,
Не знающей къ великому пощады.
Полуразрушенный, онъ видитъ грозный часъ,
Съ веселіемъ его благословляетъ
И, лебедь сладостный, еще въ послѣдній разъ
Онъ, съ жизнію прощаясь, восклицаетъ:

«Друзья, о, дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ,
«Гдѣ ждетъ пѣвца безвременно кладбище!
«Да встрѣчу взорами холмы твои и дымъ,
«О, древнее квиритовъ пепелище,
«Земля священная героевъ и чудесъ,
«Развалины и прахъ краснорѣчивый!
«Лазурь и пурпуры безоблачныхъ небесъ,
«Вы, тополи, вы, древнія оливы,
«И ты, о, вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племенъ,
«Засѣянный костьми гражданъ вселенной,
«Васъ, васъ привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ стѣнъ
«Безвременной кончинѣ обреченной!
«Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
«И не вступлю при плескахъ въ Капитолій,
«И лавры славные надъ дряхлой головой
«Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли!
«Отъ самой юности игралище людей,
«Младенцемъ былъ уже изгнанникъ.
«Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей
«Скитаяся, какъ бѣдный странникъ,
«Какихъ не испыталъ превратностей судебъ?
«Гдѣ мой челнокъ волнами не носился,

«Гдѣ успокоился? Гдѣ мой насущный хлѣбъ
«Слезами скорби не кропился?
«Сорренто, колыбель моихъ несчастныхъ дней,
«Гдѣ я въ ночи, какъ трепетный Асканій,
«Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей,
«Отъ сладостныхъ объятій и лобзаній!
«Ты помнишь сколько слезъ младенцемъ пролилъ я!
«Увы, съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины,
«Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія!
«Фортуною изрытыя пучины
«Разверзлись подо мной, и громъ не умолкалъ!
«Изъ веси въ весь, изъ странъ въ страну гонимый,
«Я тщетно на земли пристанища искалъ!
«Повсюду—перстъ ея неотразимый,
«Повсюду—молніи, карающи пѣвца!
«Ни въ хижинѣ оратая простова,
«Ни подъ защитою Альфонсова дворца,
«Ни въ тишинѣ безвѣстнѣйшаго крова,
«Ни въ дебряхъ, ни въ горахъ не спасъ главы моей,
«Безславіемъ и славой удрученной,
«Главы изгнанника, отъ колыбельныхъ дней
«Карающей богинѣ обреченной!
«Друзья, но что мою стѣсняетъ страшно грудь?
«Что сердце такъ и ноетъ, и трепещетъ?
«Откуда я? Какой прошелъ ужасный путь,
«И что за мной еще во мракѣ блещетъ?
«Феррара, фуріи и зависти змія!...
«Куда, куда, убійцы дарованья!
«Я въ пристани. Здѣсь Римъ. Здѣсь братья и семья!
«Вотъ слезы ихъ и сладки лобызанья,
«И въ Капитоліѣ—Виргиліевъ вѣнецъ!
«Такъ! Я свершилъ назначенное Фебомъ.
«Отъ первой юности его усердный жрецъ,
«Подъ молніей, подъ разъяреннымъ небомъ

«Я пѣлъ величіе и славу прежнихъ дней,
«И въ узахъ я душой не измѣнился.
«Музъ сладостный восторгъ не гасъ въ душѣ моей,
«И геній мой въ страданьяхъ укрѣпился.
«Онъ жилъ въ странѣ чудесъ, у стѣнъ твоихъ, Сіонъ,
«На берегахъ цвѣтущихъ Іордана!
«Онъ вопрошалъ тебя, мутящійся Кедронъ,
«Васъ, мирныя убѣжища Ливана!
«Предъ нимъ воскресли вы, герои древнихъ дней,
«Въ величіи и въ блескѣ грозной славы!
«Онъ зрѣлъ тебя, Готфредъ, владыко, вождь царей,
«Подъ свистомъ стрѣлъ спокойный, величавый,
«Тебя, младый Ринальдъ, кипящій какъ Ахиллъ,
«Въ любви, въ войнѣ счастливый побѣдитель,
«Онъ зрѣлъ, какъ ты леталъ по трупамъ вражьихъ силъ,
«Какъ огнь, какъ смерть, какъ ангелъ-истребитель...
«И Тартаръ низложенъ сіяющимъ крестомъ!
«О, доблести неслыханной примѣры!
«О, нашихъ праотцевъ, давно почившихъ сномъ,
«Тріумфъ святой, побѣда чистой вѣры!
«Торквато васъ исторгъ изъ пропасти временъ:
«Онъ пѣлъ, и вы не будете забвенны!
«Онъ пѣлъ, ему вѣнецъ безсмертья обреченъ,
«Рукою музъ и славы соплетенный...
«Но поздно! Я стою надъ бездной роковой
«И не вступлю при плескахъ въ Капитолій,
«И лавры славные надъ дряхлой головой
«Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли!»

Умолкъ. Унылый огнь въ очахъ его горѣлъ,
Послѣдній лучъ таланта предъ кончиной,
И умирающій, казалося, хотѣлъ
У Парки взять тріумфа день единой.
Онъ взоромъ все искалъ Капитолійскихъ стѣнъ,

Съ усиліемъ еще приподнимался,
Но, мукой страшною кончины изнуренъ,
Недвижимый на ложѣ оставался.
Свѣтило дневное ужь къ западу текло
И въ заревѣ багряномъ утопало;
Часъ смерти близился, и мрачное чело
Въ послѣдній разъ страдальца просіяло.
Съ улыбкой тихою на западъ онъ глядѣлъ
И, оживленъ вечернею прохладой,
Десницу къ небесамъ внимающимъ воздѣлъ,
Какъ праведникъ съ надеждой и отрадой.

«Смотрите»—онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ—
«Какъ царь свѣтилъ на западѣ пылаетъ!
«Онъ, онъ зоветъ меня къ безоблачнымъ странамъ,
«Гдѣ вѣчное Свѣтило засіяетъ.
«Ужь ангелъ предо мной, вожатай оныхъ мѣстъ,
«Онъ осѣнилъ меня лазурными крилами...
«Приближьте знакъ любви, сей таинственный крестъ,
«Молитеся съ надеждой и слезами!
«Земное гибнетъ все—и слава, и вѣнецъ.
«Искусствъ и музъ творенья величавы...
«Но тамъ все вѣчное, какъ вѣченъ самъ Творецъ,
«Податель намъ вѣнца небренной славы,
«Тамъ все великое, чѣмъ духъ питался мой,
«Чѣмъ я дышалъ отъ самой колыбели!
«О, братья, о, друзьи, не плачьте надо мной!
«Вашъ другъ достигъ давно желанной цѣли:
«Отыдетъ съ миромъ онъ и, вѣрой укрѣпленъ,
«Мучительной кончины не примѣтитъ.
«Тамъ, тамъ—о, счастіе!—средь непорочныхъ женъ,
«Средь ангеловъ Элеонора встрѣтитъ!»

И съ именемъ любви божественный погасъ.
Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали.

День тихо догоралъ, и колокола гласъ
Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.
«Погибъ Торквато нашъ», воскликнулъ съ плачемъ Римъ,
«Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!...»
На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ,
И трауромъ покрылся Капитолій.

Примѣчаніе

къ элегіи Умирающій Тассъ.

Не одна исторія, но живопись и поэзія неоднократно изображали бѣдствія Тасса. Жизнь его, конечно, извѣстна любителямъ словесности. Мы напомнимъ только о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя подали мысль къ этой элегіи.

Т. Тассъ приписалъ свой Іерусалимъ Альфонсу, герцогу Феррарскому: O, magnanimo Alfonso!.. и великодушный покровитель безъ вины, безъ суда заключилъ его въ больницу св. Анны, то-есть, въ домъ сумасшедшихъ. Тамъ его видѣлъ Монтань, путешествовавшій по Италіи въ 1580 году. Странное свиданіе въ такомъ мѣстѣ перваго мудреца временъ новѣйшихъ съ величайшимъ стихотворцемъ!.. Но вотъ что̀ Монтань пишетъ въ Опытахъ: «Я смотрѣлъ на Тасса еще съ большею досадою, нежели съ сожалѣніемъ; онъ пережилъ себя: не узнавалъ ни себя, ни твореній своихъ. Они безъ его вѣдома, но при немъ, но почти въ глазахъ его напечатаны неисправно, безобразно». Тассъ, къ дополненію несчастія, не былъ совершенно сумасшедшій и въ ясныя минуты разсудка чувствовалъ всю горесть своего положенія. Воображеніе, главная пружина его таланта и злополучій, нигдѣ ему не измѣняло. И въ узахъ онъ сочинялъ безпрестанно. Наконецъ, по усильнымъ просьбамъ всей Италіи, почти всей просвѣщенной Европы, Тассъ былъ освобожденъ. (Заключеніе его продолжалось семь лѣтъ, два мѣсяца и нѣсколько дней). Но онъ не долго наслаждался свободою. Мрачныя воспоминанія, нищета, вѣчная зависимость отъ людей жестокихъ, измѣна друзей, несправедливость критиковъ, однимъ словомъ—всѣ горести, всѣ бѣдствія, какими только можетъ быть обремененъ человѣкъ, разрушили его крѣпкое сложеніе и привели его терніями къ ранней могилѣ. Фортуна, коварная до конца, приготовляя послѣдній рѣшительный ударъ, осыпала цвѣтами свою жертву. Папа Климентъ VIII, убѣжденный просьбами кардинала Цинтіо, племянника своего, убѣжденный общенароднымъ голосомъ всей Италіи, назначилъ ему тріумфъ въ Капитоліѣ. «Я вамъ предлагаю вѣнокъ лавровый», сказалъ ему папа,—

«не онъ прославитъ васъ, но вы его!» Со временъ Петрарка, во всѣхъ отношеніяхъ счастливѣйшаго стихотворца Италіи, Римъ не видалъ подобнаго торжества. Жители его, жители окрестныхъ городовъ желали присутствовать при вѣнчаніи Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. Въ апрѣлѣ все было готово; но болѣзнь усилилась. Тассъ велѣлъ перенести себя въ монастырь св. Онуфрія и тамъ, окруженный друзьями и братіей мирной обители, на одрѣ мученія ожидалъ кончины. Къ несчастію, вѣрнѣйшій его пріятель Константини, не былъ при немъ, и умирающій написалъ къ нему сіи строки, въ которыхъ, какъ въ зеркалѣ, видна вся душа пѣвца Іерусалима: «Что скажетъ мой Константини, когда узнаетъ о кончинѣ своего милаго Торквато? Не замедлитъ дойти къ нему эта вѣсть. Я чувствую приближеніе смерти. Никакое лѣкарство не излѣчитъ моей новой болѣзни. Она совокупилась съ другими недугами и, какъ быстрый потокъ, увлекаетъ меня.... Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную! Не хочу упоминать о неблагодарности людей. Фортуна торжествуетъ. Нищимъ я доведенъ ею до гроба въ то время, какъ надѣялся, что слава, пріобрѣтенная на перекоръ врагамъ моимъ, не будетъ для меня совершенно безполезною. Я велѣлъ перенести себя въ монастырь св. Онуфрія не потому единственно, что врачи одобряютъ его воздухъ, но для того, чтобы на семъ возвышенномъ мѣстѣ, въ бесѣдѣ святыхъ отшельниковъ начать мои бесѣды съ Небомъ. Молись Богу за меня, милый другъ, и будь увѣренъ, что я, любя и уважая тебя въ сей жизни и въ будущей—которая есть настоящая—не премину все совершить, чего требуетъ истинная, чистая любовь къ ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости!—Римъ. Св. Онуфрій».

Тассъ умеръ 10-го апрѣля на пятьдесятъ-первомъ году, исполнивъ долгъ христіанскій съ истиннымъ благочестіемъ.

Весь Римъ оплакивалъ его. Кардиналъ Цинтіо былъ неутѣшенъ и желалъ великолѣпіемъ похоронъ вознаградить утрату тріумфа. По его приказанію, говоритъ Жингене въ Исторіи литературы италіанской,—тѣло Тассово было облечено въ римскую тогу, увѣнчано лаврами и выставлено всенародно. Дворъ, оба дома кардиналовъ Альдобрандини и народъ многочисленный провожали его по улицамъ Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще разъ на того, котораго геній прославилъ свое столѣтіе, прославилъ Италію, и который столь дорого купилъ позднія, печальныя почести.

Кардиналъ Цинтіо (или Чинціо) объявилъ Риму, что воздвигнетъ поэту великолѣпную гробницу. Два оратора приготовили надгробныя рѣчи: одну латинскую, другую италіанскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятникъ не былъ воздвигнутъ. Въ обители св. Онуфрія смиренная братія показываютъ и нынѣ путешественнику простой камень съ этой надписью: Torquati Tassi ossa hic jacent. Она краснорѣчива.

Да не оскорбится тѣнь великаго стихотворца, что сынъ угрюмаго сѣвера, обязанный Іерусалиму лучшими, сладостными минутами въ жизни, осмѣлился принесть скудную горсть цвѣтовъ въ ея воспоминаніе!

LIX.

Вакханка.

Подражаніе Парни.

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы текли.
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала.
Я за ней... Она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвѣвали,
Перевитые плющомъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный станъ, кругомъ обвитый
Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
И пылающи ланиты
Розы яркимъ багрецомъ,
И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ,
Все въ неистовой прельщаетъ.
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... Она бѣжала
Легче серны молодой;
Я настигъ: она упала,
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ воплемъ мимо насъ,
И по рощѣ раздавались
«Эвоэ» и нѣги гласъ!

LX.

Мечта.

Подруга нѣжныхъ музъ, посланница небесъ,
Источникъ сладкихъ думъ и сердцу милыхъ слезъ,
Гдѣ ты скрываешься, мечта, моя богиня?
Гдѣ тотъ счастливый край, та мирная пустыня,
Къ которымъ ты стремишь таинственный полетъ?
Иль дебри любишь ты, сихъ грозныхъ скалъ хребетъ,
Гдѣ вѣтръ порывистый и бури шумъ внимаешь?
Иль въ Муромскихъ лѣсахъ задумчиво блуждаешь,
Когда на западѣ зари мерцаетъ лучъ,
И хладная луна выходитъ изъ-за тучъ?
Или, влекомая чудеснымъ обояньемъ
Въ мѣста, гдѣ дышетъ все любви очарованьемъ,
Подъ тѣнью яворовъ ты бродишь по холмамъ,
Студеной пѣною Воклюза орошеннымъ?
Явись, богиня, мнѣ, и съ трепетомъ священнымъ
Коснуся я струнамъ,
Тобой одушевленнымъ!
Явися! Ждетъ тебя задумчивый піитъ,
Въ безмолвіи ночномъ сидящій у лампады!
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца Аонидъ
И горесть сладостна бываетъ:
Онъ въ горести мечтаетъ.
То вдругъ онъ пренесенъ во Сельмскіе лѣса,
Гдѣ вѣтръ шумитъ, реветъ гроза,
Гдѣ тѣнь Оскарова, одѣтая туманомъ,
По небу стелется надъ пѣннымъ океаномъ;
То съ чашей радости въ рукахъ
Онъ съ бардами поетъ—и мѣсяцъ въ облакахъ,

И Кромлы шумный лѣсъ безмолвно имъ внимаетъ,
И эхо по горамъ пѣснь звучну повторяетъ.
Или въ полночный часъ
Онъ слышитъ скальдовъ гласъ
Прерывистый и томный.
Зритъ: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоятъ кругомъ костровъ,
Зажженныхъ въ полѣ брани,
И древній царь пѣвцовъ
Простеръ на арфу длани;
Могилу указавъ, гдѣ вождь героевъ спитъ.
«Чья тѣнь, чья тѣнь»—гласитъ
Въ священномъ изступленьи—
«Тамъ съ дѣвами плыветъ въ туманныхъ облакахъ?
«Се ты, младой Исмель, иноплеменныхъ страхъ,
«Днесь падшій на сраженьи!
«Миръ, миръ тебѣ, герой!
«Твоей сѣкирою стальной
«Пришельцы гордые разбиты,
«Но самъ ты палъ на грудахъ тѣлъ,
«Палъ, витязь знаменитый,
«Подъ тучей вражьихъ стрѣлъ!
«Ты палъ! И надъ тобой посланницы небесны,
«Валкиріи прелестны,
«На бѣлыхъ, какъ снѣга Біарміи, коняхъ,
«Съ златыми копьями въ рукахъ,
«Въ безмолвіи спустились,
«Коснулись до зѣницъ копьемъ своимъ, и вновь
«Глаза твои открылись!
«Течетъ по жиламъ кровь
«Чистѣйшаго эфира,
«И ты, безплотный духъ,
«Въ страны безвѣстны міра
«Летишь стрѣлой... И вдругъ

«Открылись предъ тобой тѣ радужны чертоги,
«Гдѣ уготовали для сонма храбрыхъ боги
Любовь и вѣчный пиръ.
«При шумѣ горнихъ водъ и тихострунныхъ лиръ,
«Среди полянъ и свѣжихъ сѣней,
«Ты будешь поражать тамъ скачущихъ еленей
«И златорогихъ сернъ!»
Склонясь на злачный дернъ,
Съ дружиною младою,
Тамъ снова съ арфой золотою
Въ восторгѣ скальдъ поетъ
О славѣ древнихъ лѣтъ,
Поетъ, и храбрыхъ очи,
Какъ звѣзды тихой ночи,
Утѣхою блестятъ.
Но вечеръ притекаетъ,
Часъ нѣги и прохладъ,
Гласъ скальда замолкаетъ...
Замолкъ, и храбрыхъ сонмъ
Идетъ въ Оденовъ домъ,
Гдѣ дочери Веристы,
Власы свои душисты
Раскинувъ по плечамъ,
Прелестницы младыя,
Всегда полунагія,
На пиршества гостямъ
Обильны яства носятъ
И пить умильно просятъ
Изъ чаши сладкій медъ.
Такъ древній скальдъ поетъ,
Лѣсовъ и дебрей сынъ угрюмый:
Онъ счастливъ, погрузясь о счастьи въ сладки думы!

О, сладкая мечта, о, неба даръ благой!
Средь дебрей каменныхъ, средь ужасовъ природы,

Гдѣ плещутъ о скалы Ботническія воды,
Въ краяхъ изгнанниковъ я счастливъ былъ тобой!
Я счастливъ былъ, когда въ моемъ уединеньи
Надъ кущей рыбаря, въ часъ полночи нѣмой,
Раздастся вѣтровъ свистъ и вой,
И въ кровлю застучитъ и градъ, и дождь осенній.
Тогда на крыліяхъ мечты
Леталъ я въ поднебесной,
Или забывшися на лонѣ красоты,
Я сонъ вкушалъ прелестной,
И, счастливъ на яву, былъ счастливъ и въ мечтахъ!

Волшебница моя, дары твои безцѣнны
И старцу въ лѣта охлажденны,
Съ котомкой нищему и узнику въ цѣпяхъ!
Заклепы страшные съ замками на дверяхъ,
Соломы жесткій пукъ, свѣтъ блѣдный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремныхъ пища,
Сосуды глиняны съ водой,
Все, все украшено тобой!
Кто сердцемъ правъ, того ты въ вѣкъ не покидаешь:
За нимъ во всѣ страны летаешь
И счастіемъ даришь любимца своего.
Пусть міромъ позабытъ! Что нужды для него?
Но съ нимъ задумчивость въ день пасмурный, осенній,
На мирномъ ложѣ сна,
Въ уединенной сѣни
Бесѣдуетъ одна.
О, тайныхъ слезъ неизъяснима сладость!
Что предъ тобой сердецъ холодныхъ радость,
Веселій шумъ и блескъ честей
Тому, кто ничего не ищетъ подъ луною,
Тому, кто сопряженъ душою
Съ могилою давно утраченныхъ друзей?

Кто въ жизни не любилъ,
Кто разъ не забывался,
Любя мечтамъ не предавался
И счастья въ нихъ не находилъ?
Кто въ часъ глубокой ночи,
Когда невольно сонъ смыкаетъ томны очи,
Всю сладость не вкусилъ обманчивой мечты?
Теперь, любовникъ, ты
На ложѣ роскоши съ подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ея покровъ стыдливой,
Теперь блаженствуешь, и счастливъ ты—мечтой!
Ночь сладострастія тебѣ даетъ призраки
И нектаромъ любви кропитъ лѣнивы маки!

Мечтаніе—душа поэтовъ и стиховъ.
И ѣдкость сильная вѣковъ
Не можетъ прелестей лишить Анакреона,
Любовь еще горитъ во пламенныхъ мечтахъ
Любовницы Фаона;
А ты, лежащій на цвѣтахъ
Межъ нимфъ и сельскихъ грацій,
Пѣвецъ веселія, Горацій,
Ты сладостно мечталъ,
Мечталъ среди пировъ и шумныхъ, и веселыхъ
И смерть угрюмую цвѣтами увѣнчалъ!
Какъ часто въ Тибурѣ, въ сихъ рощахъ устарѣлыхъ,
На скатѣ бархатныхъ луговъ,
Въ счастливомъ Тибурѣ, въ твоемъ уединеньи,
Ты ждалъ Глицерію и въ сладостномъ забвеньи,
Томимый нѣгою на ложѣ изъ цвѣтовъ,
При воскуреніи мастикъ благоуханныхъ
При пляскѣ нимфъ вѣнчанныхъ,
Сплетенныхъ въ хороводъ,

При отдаленномъ шумѣ
Въ лугахъ журчащихъ водъ,
Безмолвенъ въ сладкой думѣ,
Мечталъ... и вдругъ мечтой
Восторженъ сладострастной,
У ногъ Гликеріи стыдливой и прекрасной
Побѣду пѣлъ любви
Надъ юностью безпечной
И первый жаръ въ крови,
И первый вздохъ сердечной.
Счастливецъ, воспѣвалъ
Цитерскія забавы,
И всѣ заботы славы
Ты вѣтрамъ отдавалъ!

Ужели въ истинахъ печальныхъ
Угрюмыхъ стоиковъ и скучныхъ мудрецовъ,
Сидящихъ въ платьяхъ погребальныхъ
Между обломковъ и гробовъ,
Найдемъ мы жизни нашей сладость?
Отъ нихъ, я вижу, радость
Летитъ, какъ бабочка отъ терновыхъ кустовъ.
Для нихъ нѣтъ прелести и въ прелестяхъ природы;
Имъ дѣвы не поютъ, сплетяся въ хороводы;
Для нихъ, какъ для слѣпцовъ,
Весна безъ радости, и лѣто безъ цвѣтовъ.
Увы, но съ юностью изчезнутъ и мечтанья,
Изчезнутъ грацій лобызанья,
Надежда измѣнитъ и рой крылатыхъ сновъ!
Увы, тамъ нѣтъ уже цвѣтовъ,
Гдѣ тусклый опытность свѣтильникъ зажигаетъ,
И время старости могилу открываетъ!

Но ты пребудь вѣрна, живи еще со мной!
Ни свѣтъ, ни славы блескъ пустой,

Ничто даровъ твоихъ для сердца не замѣнитъ!
Пусть дорого глупецъ суетъ блистанье цѣнитъ,
Лобзая прахъ златой у мраморныхъ палатъ,
Но я и счастливъ, и богатъ,
Когда снискалъ себѣ свободу и спокойство,
А отъ суетъ ушелъ забвенія тропой!
Пусть будетъ навсегда со мной
Завидное поэтовъ свойство:
Блаженство находить въ убожествѣ мечтой.
Ихъ сердцу малость драгоцѣнна:
Какъ пчелка, медомъ отягченна,
Летаетъ съ травки на цвѣтокъ,
Считая моремъ ручеекъ,
Такъ хижину свою поэтъ дворцомъ считаетъ
И счастливъ!... Онъ мечтаетъ!

LXI.

Къ Н. М. Муравьеву.

Какъ я люблю, товарищъ мой,
Весны роскошной появленье
И въ первый разъ надъ муравой
Веселыхъ жаворонковъ пѣнье!
Но слаще мнѣ среди полей
Увидѣть первые биваки
И ждать безпечно у огней
Съ разсвѣтомъ дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой,
Узрѣть съ нагорныя вершины

Необозримый нашихъ строй
На яркой зелени долины!
Какъ сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гулъ далекій
И погрузиться до утра
Подъ теплой буркой въ сонъ глубокій!
Когда по утреннимъ росамъ
Коней раздастся первый топотъ,
И ружей протяженный грохотъ
Пробудитъ эхо по горамъ,
Какъ весело передъ строями
Летать на ухорскомъ конѣ
И съ первыми въ дыму, въ огнѣ,
Ударить съ крякомъ за врагами!
Какъ весело внимать: «Стрѣлки,
«Впередъ! Сюда, Донцы, гусары!
«Сюда, летучіе полки,
«Башкирцы, горцы и Татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинецъ!
Летайте, ядры и картечи!
Что вы для нихъ, для сихъ сердецъ,
Природой вскормленныхъ для сѣчи?
Колонны сдвинулись какъ лѣсъ,
И вотъ... О, зрѣлище прекрасно!
Идутъ. Безмолвіе ужасно!
Идутъ, ружье на перевѣсъ;
Идутъ... Ура! И все сломили,
Разсѣяли и разгромили.
Ура, ура! И гдѣ же врагъ?...
Бѣжитъ... А мы въ его домахъ —
О, радость храбрыхъ! — киверами
Вино не купленное пьемъ
И подъ побѣдными громами
«Хвалите Господа» поемъ!...

Но ты трепещешь, юный воинъ,
Склонясь на сабли рукоять;
Твой духъ встревоженъ, безпокоенъ,
Онъ рвется лавры пожинать.
Съ Суворовымъ онъ вѣчно бродитъ
Въ поляхъ кровавыя войны
И въ вяломъ мірѣ не находитъ
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся! Съ первыми громами
Къ знаменамъ славы полетишь;
Но тамъ—о, горе—не узришь
Меня, какъ прежде, подъ шатрами!
Забытый шумною молвой,
Сердецъ мучительницей милой,
Я сплю, какъ труженикъ унылой,
Не оживляемый хвалой.

LXII.

Бесѣдка музъ.

Подъ тѣнію черемухи млечной
И золотомъ блистающихъ акацій
Спѣшу возстановить алтарь и музъ, и грацій,
Сопутницъ жизни молодой.

Спѣшу принесть цвѣты и ульевъ сотъ янтарный,
И нѣжны первенцы полей:
Да будетъ сладокъ имъ сей даръ любви моей
И гимнъ поэта благодарный!

Не злата молитъ онъ у жертвенника музъ:
Онѣ съ фортуною не дружны,

Ихъ крѣпче съ бѣдностью заботливый союзъ,
И болѣ въ шалашѣ, чѣмъ въ теремѣ досужны.

Не молитъ славы онъ сіяющихъ даровъ:
Увы, талантъ его ничтоженъ!
Ему отважный путь за стаею орловъ
Какъ пчелкѣ невозможенъ.

Онъ молитъ музъ — душѣ усталой отъ суетъ
Отдать любовь утраченну къ искусствамъ,
Веселость ясную первоначальныхъ лѣтъ
И свѣжесть — вянущимъ безпрестанно чувствамъ.

Пускай заботъ свинцовый грузъ
Въ рѣкѣ забвенія потонетъ,
И время жадное въ сей тайной сѣни музъ
Любимца ихъ не тронетъ.

Пускай и въ сѣдинахъ, но съ бодрою душой,
Безпеченъ, какъ дитя всегда безпечныхъ грацій,
Онъ нѣкогда придетъ вздохнуть въ сѣни густой
Своихъ черемухъ и акацій!

XLIII.

Къ С. С. Уварову.

Среди трудовъ и важныхъ музъ,
Среди учености всемірной
Онъ не утратилъ нѣжный вкусъ;
Еще онъ любитъ голосъ лирной,
Еще въ душѣ его огонь,

И сердце наслажденій проситъ,
И борзый Аполлоновъ конь
Отъ музъ его въ Цитеру носитъ.
Отъ пепла древняго Аѳинъ,
Отъ гордыхъ памятниковъ Рима,
Съ развалинъ Трои и Солима,
Умомъ вселенной гражданинъ,
Онъ любитъ отдыхать съ Эратой
Разнообразной и живой
И часто водитъ насъ съ собой
Въ страны фантазіи крылатой.
Ему легко: онъ награжденъ,
Благословенъ, взлелѣянъ Фебомъ;
Подъ сумрачнымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттикѣ рожденъ.

1818.

LXIII.

Подражаніе Аріосту.

La virginella è simile alla rosa.

Дѣвица юная подобна розѣ нѣжной,
Взлелѣянной весной подъ сѣнію надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастуховъ
Не знаютъ тайнаго сокровища луговъ,
Но вѣтеръ сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

LXIV.

Н. М. Карамзину.

Когда на играхъ Олимпійскихъ,
Въ надеждѣ радостныхъ похвалъ,
Отецъ исторіи читалъ,
Какъ Грекъ разилъ вождей азійскихъ
И силы гордыхъ сокрушилъ,—
Народъ, любитель громкой славы,
Забывъ ристанья и забавы,
Стоялъ и весь вниманье былъ.

Но въ сей толпѣ многонародной
Какъ старца слушалъ Өукидидъ,
Любимый отрокъ Аонидъ,
Надежда крови благородной!
Съ какою жаждой онъ внималъ
Отцевъ дѣянья знамениты
И на горящія ланиты
Какія слезы проливалъ!

И я такъ плакалъ въ восхищеньи,
Когда скрижаль твою читалъ,
И геній твой благословлялъ
Въ глубокомъ, сладкомъ умиленьи.
Пускай талантъ не мой удѣлъ,
Но я для музъ дышалъ не даромъ,
Любилъ прекрасное и съ жаромъ
Твой геній чувствовать умѣлъ.

LXV.

Посланіе къ А. И. Тургеневу.

Есть дача за Невой
Верстъ двадцать отъ столицы,
У Выборгской границы,
Близъ Парголы крутой;
Есть дача или мыза,
Пріютъ для добрыхъ душъ,
Гдѣ добрая Элиза
И съ ней почтенный мужъ.
Съ открытою душою

И съ лаской на устахъ,
За трапезой простою
На бархатныхъ лугахъ,
Безъ дальнаго наряда,
Въ свой маленькій пріютъ
Друзей изъ Петрограда
На праздникъ сельскій ждутъ.
Тамъ мужъ съ супругой нѣжной,
Въ часъ отдыха отъ дѣлъ,
Подъ кровъ свой безмятежной
Музъ къ граціямъ привелъ.
Поэтъ, лѣнтяй, счастливецъ
И тонкій философъ,
Мечтаетъ тамъ Крыловъ
Подъ тѣнію березы
О басенныхъ звѣряхъ
И рветъ парнасски розы
Въ Пріютинскихъ лѣсахъ
И Гнѣдичъ тамъ мечтаетъ
О греческихъ богахъ,
Межъ тѣмъ какъ замѣчаетъ
Кипренскій лица ихъ
И кистію чудесной,
Съ безпечностью прелестной,
Вандиковъ ученикъ,
Въ одинъ крылатый мигъ
Онъ пишетъ ихъ портреты,
Которые отъ Леты
Спасли бы образцовъ,
Когда бы самъ Крыловъ
И Гнѣдичъ сочиняли,
Какъ пишетъ Тяпкловъ
Иль Балдусы писали,
Забывъ и вкусъ, и умъ.

Но мы забудемъ шумъ
И суеты столицы,
Изладимъ колесницы,
Ударимъ по конямъ
И пустимся стрѣлою
Въ Пріютино съ тобою.
Согласенъ?—По рукамъ!

LXVI.

Изъ греческой антологіи.

I.

Изъ Мелеагра Гадарскаго.

Въ обители ничтожества унылой,
О, незабвенная, прими потоки слезъ
И вопль отчаянья надъ хладною могилой,
И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ!
Ахъ, тщетно все! Изъ вѣчной сѣни
Ничѣмъ не призовемъ твоей прискорбной тѣни:
Добычу не отдастъ завистливый Аидъ.
Здѣсь онѣмѣніе, все хладно, все молчитъ;
Надгробный факелъ мой лишь мраки освѣщаетъ...
Что, что вы сдѣлали, властители небесъ?
Скажите: что краса такъ рано погибаетъ?
Но ты, о, мать-земля, съ сей данью горькихъ слезъ
Прими почившую, поблеклый цвѣтъ весенній,
Прими и успокой въ гостепріимной сѣни.

II.

Изъ Асклепіада Самосскаго.

Свидѣтели любви и горести моей,
О, розы юныя, слезами омоченны,
Красуйтеся въ вѣнкахъ надъ хижиной смиренной,
Гдѣ милая таится отъ очей!
Помедлите, вѣнки, еще не увядайте!
Но если явится, пролейте на нее
Все благовоніе свое
И локоны ея слезами напитайте!
Пусть остановится въ раздумьѣ и вздохнетъ...
А вы, цвѣты благоухайте
И милой локоны слезами напитайте!

III.

Изъ Гедила.

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эротъ
За чашей Вакховой Аглаю побѣдили...
О, радость! Здѣсь они сей поясъ разрѣшили,
Стыдливости дѣвической оплотъ.
Вы видите: кругомъ разсѣяны небрежно
Одежды пышныя надменной красоты,
Покровы легкіе изъ дымки бѣлоснѣжной
И обувь стройная, и свѣжія цвѣты;
Здѣсь всѣ развалины роскошнаго убора,
Свидѣтели любви и счастья Никагора!

IV.

Яворъ къ прохожему.

Изъ Антипатра Ѳессалійскаго.

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется.
Какъ любитъ мой полуистлѣвшій пень!
Я нѣкогда ему давалъ отрадну тѣнь;
Завялъ... Но виноградъ со мной не разстается.
Зевеса умоли,
Прохожій, если ты для дружества способенъ,
Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ
И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли!

V.

Нереиды на развалинахъ Коринѳа.

Изъ Антипатра Ѳессалійскаго.

Гдѣ слава, гдѣ краса, источникъ золъ твоихъ?
Гдѣ стогны шумные и граждане счастливы?
Гдѣ зданья пышныя и храмы горделивы,
Мусія, золото, сіяющія въ нихъ?
Увы, погибъ на вѣкъ, Коринѳъ столповѣнчанный.
И самый пепелъ твой развѣянъ по полямъ!
Все пусто: мы одни взываемъ здѣсь къ богамъ.
И стонетъ Алкіонъ одинъ въ дали туманной.

VI.

«Куда красавица»? «За дѣломъ, не узнаешь!»
«Могу ль надѣяться?» «Чего?» «Ты понимаешь!»
«Не время!» «Но взгляни: вотъ золото, считай!»
«Не болѣ? Шутишь? Такъ прощай!»

VII.

Изъ Павла Силенціарія.

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей
Восторги пылкіе и страсти упоенья.
Какъ сладокъ поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладко тайное любови наслажденье!

VIII.

Изъ него же.

Въ Лаисѣ нравится улыбка на устахъ,
Ея плѣнительны для сердца разговоры,
Но мнѣ милѣй ея потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очахъ.
Я въ сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ногъ ея любви всѣ клятвы повторялъ
И съ поцѣлуемъ къ сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекалъ.
Я таялъ, и Лаиса млѣла...
Но вдругъ уныла, поблѣднѣла,
И слезы градомъ изъ очей!
Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей.

«Что сдѣлалось, скажи, что сдѣлалось съ тобою?»
«Спокойся, ничего, безсмертными клянусь!
«Я мыслію была встревожена одною:
«Вы всѣ обманчивы, и я... тебя страшусь!»

IX.

Къ престарѣлой красавицѣ.

Изъ него же.

Тебѣ ль оплакивать утрату юныхъ дней?
Ты въ красотѣ не измѣнилась
И для любви моей
Отъ времени еще прелестнѣе явилась.
Твой другъ не дорожитъ неопытной красой,
Не зрѣлой въ таинствахъ любовнаго искусства:
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой,
И робкій поцѣлуй безъ чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень:
И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,
Текущій съ жизнію въ крови.

X.

Изъ него же.

Увы, глаза потухшіе въ слезахъ,
Ланиты впалыя отъ долгаго страданья
Родятъ въ тебѣ не чувство состраданья—
Жестокую улыбку на устахъ...
Вотъ горькіе плоды любови страстной,

Плоды ужасные мученій безъ отрадъ,
Плоды любви, достойные наградъ,
Не участи, для сердца столь ужасной...
Увы, какъ молнія внезапная небесъ,
Въ насъ страсти жизнь младую пожираютъ
И въ жертву безотрадныхъ слезъ,
Коварныя, на вѣки покидаютъ.
Но ты, прелестная, которой мнѣ любовь
Всего — и юности, и счастія дороже,
Склонись, жестокая!.. И я воскресну вновь,
Какъ былъ или еще бодрѣе и моложе!

XI.

Изъ него же.

Улыбка страстная и взоръ краснорѣчивый,
Въ которыхъ вся душа, какъ въ зеркалѣ, видна,
Сокровища мои... она
Жестокимъ Аргусомъ со мной разлучена!
Но очи страсти прозорливы:
Ревнивецъ злой, страшись любви очей!
Любовь мнѣ таинство быть счастливымъ открыла,
Любовь мнѣ скажетъ путь къ красавицѣ моей:
Любовь тебя читать въ сердцахъ не научила.

XII.

Изъ него же.

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой.
Конецъ боренію, увы, всему конецъ!
Киприда и Эротъ, мучители сердецъ,
Услышьте голосъ мой послѣдній и унылой!

Я вяну, и еще мученія терплю;
Полмертвый, но сгораю;
Я вяну, но еще такъ пламенно люблю
И безъ надежды умираю!
Такъ, жертву обхвативъ кругомъ,
На алтарѣ огонь блѣднѣетъ, умираетъ
И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ,
На пеплѣ погасаетъ.

XIII.

Съ отвагой на челѣ и съ пламенемъ въ крови
Я плылъ, но съ бурей вдругъ предстала смерть ужасна.
О, юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Ввѣряйся челноку, плыви!

LXVII.

Князю П. И. Шаликову.

При полученіи отъ него въ подарокъ книги, имъ переведенной.

Чѣмъ заплачу вамъ, милый князь,
Чѣмъ отдарю почтеннаго поэта?
Стихами? Но давно я съ музой рушилъ связь
И безъ нея кругомъ летаю свѣта,
Съ востока къ западу, отъ сѣвера на югъ—
Не тамъ, гдѣ вы, гдѣ грацій кругъ,
Гдѣ Аполлонъ съ парнасскими сестрами,
Нѣтъ, нѣтъ, въ странѣ иной,

Гдѣ въ вѣкъ не повстрѣчаюсь съ вами:
Въ пыли, въ грязи, на тряской мостовой,
«Въ картузѣ съ козырькомъ, съ небритыми усами»,
Какъ Пушкина герой,
Воспѣтый имъ столь сильными стихами.
Такая жизнь для мыслящаго адъ.
Страданій вамъ моихъ не въ силахъ я изчислить.
Скачи туда, сюда, хоть радъ или не радъ.
Гдѣ жь время чувствовать и мыслить?
Но время, къ счастью, есть любить
Друзей, ихъ славу и успѣхи
И въ дружбѣ находить
Неизъяснимыя для черствыхъ душъ утѣхи.
Вотъ мой удѣлъ, почтенный мой поэтъ:
Оставя отчій край, увижу новый свѣтъ
И небо новое, и незнакомы лица,
Везувій въ пламени и Этны вѣчный дымъ,
Кастратовъ, оперу, фигляровъ, папскій Римъ
И прахъ, священный прахъ всемірныя столицы.
Но гдѣ бъ я ни былъ (такъ я молвлю въ добрый часъ),
Не измѣнюсь, душою тотъ же буду
И умирая не забуду
Москву, отечество, друзей моихъ и васъ!

11-го сентября 1818 года.

1819.

LXVIII.

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ,
И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ,
Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ.
Я ближняго люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ.
Тобою въ чувствахъ оживаю:
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ, не знаю.

Шуми же, ты, шуми, угрюмый океанъ!
Развалины на прахѣ строитъ
Минутный человѣкъ, сей суетный тиранъ,
Но море чѣмъ себѣ присвоитъ?
Трудися, созидай громады кораблей.....

LXIX.

Ты пробуждаешься, о Байя, изъ гробницы
При появленіи Аврориныхъ лучей,
Но не отдастъ тебѣ багряная денница
Сіянія протекшихъ дней,
Не возвратитъ убѣжищей прохлады,
Гдѣ нѣжились рои красотъ,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанутъ синихъ водъ!

1820.

LXX.

Надпись для гробницы дочери г-жи Малышевой.

О, милый гость изъ отческой земли!
Молю тебя, замѣть сей памятникъ безвѣстный:
Здѣсь матерь и отецъ надежду погребли,
Здѣсь я покоюся, младенецъ ихъ прелестный.
Имъ молви отъ меня: Не сѣтуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность:
Не знала жизни я
И знаю вѣчность.

1821.

LXXI.

Подражанія древнимъ.

I.

Безъ смерти жизнь не жизнь, и что она? Сосудъ,
Гдѣ капля меду средь полыни!
Величественъ сей понтъ! Лазурной царь пустыни,
О, солнце, чудно ты среди небесныхъ чудъ!
И на землѣ прекраснаго столь много!
Но все поддѣльное иль втунѣ серебро....
Плачь, смертный, плачь! Твое добро
Въ рукѣ у Немезиды строгой!

II.

Скалы чувствительны къ свирѣли;
Верблюдъ прислушивать умѣетъ пѣснь любви,
Стеня подъ бременемъ; румянѣе крови —
Ты видишь — розы покраснѣли
Въ долинѣ Іемена отъ пѣсней соловья....
А ты, красавица!.... Не постигаю я.

III.

Взгляни: сей кипарисъ, какъ наша степь, безплоденъ,
Но свѣжъ и зеленъ онъ всегда.

Не можешь, гражданинъ, какъ пальма дать плода?
Такъ буди съ кипарисомъ сходенъ:
Какъ онъ уединенъ, осанистъ и свободенъ!

IV.

Когда въ страданіи дѣвица отойдетъ,
И трупъ синѣющій остынетъ,
Напрасно на него любовь и амвру льетъ,
И облакомъ цвѣтовъ окинетъ:
Блѣдна какъ лилія въ лазури васильковъ,
Какъ восковое изваянье.
Нѣтъ радости въ цвѣтахъ для вянущихъ перстовъ,
И суетно благоуханье.

V.

О, смертный, хочешь ли безбѣдно перейти
За море жизни треволненной,—
Не буди гордъ и въ вѣтръ попутный опусти
Свой парусъ, счастіемъ надменный!
Не покидай руля, какъ свиснетъ ярый вѣтръ!
Будь въ счастьи Сципіонъ, въ тревогѣ брани Петръ!

VI.

Ты хочешь меду, сынъ,—такъ жала не страшись!
Вѣнца побѣды—смѣло къ бою!
Ты перловъ жаждешь,—такъ спустись
На дно, гдѣ крокодилъ зіяетъ подъ водою!
Не бойся! Богъ рѣшитъ. Лишь смѣлымъ онъ отецъ,
Лишь смѣлымъ перлы, медъ иль гибель.... иль вѣнецъ.

Шафгаузенъ. 7-го іюня 1821.

LXXII.

Изреченіе Мелхиседека.

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мелхиседекъ?
Рабомъ родится человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
Зачѣмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, изчезъ.

САТИРИЧЕСКІЯ ПІЕСЫ.

1804.

I.

Посланіе къ стихамъ моимъ.

Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères.
Voltaire.

Стихи мои, опять за васъ я принимаюсь!
Съ тѣхъ поръ, какъ съ музами къ несчастью обращаюсь,
Покою ни на часъ... О, мой враждебный рокъ!
Во снѣ и на яву Кастальскій льется токъ!
Но съ страстію писать не я одинъ родился:
Чуть стопы размѣрять кто только научился,
За славою бѣжитъ—и бѣдный рифмотворъ
Въ награду обрѣтетъ не славу, но позоръ.
Куда ни погляжу, вездѣ стихи мараютъ,
Подъ кровлей пѣсенки и оды сочиняютъ.
И бѣдный Стукодѣй, что прежде былъ капралъ,
Не знаю для чего теперь поэтомъ сталъ:
Нѣтъ хлѣба ни куска, а роскошь выхваляетъ
И граціямъ стихи голодный сочиняетъ;
Пьетъ воду, а вино въ стихахъ льетъ черезъ край;
Филису намъ твердитъ: «Филиса, ты мой рай!»
Потомъ, возвысивъ тонъ, героевъ воспѣваетъ:

Въ стихахъ его и самъ Суворовъ умираетъ!
Бѣдняга, удержись, брось, брось писать совсѣмъ!
Не лучше ли тебѣ маршировать съ ружьемъ?
Плаксивинъ на слезахъ съ ума у насъ сошелъ:
Все пишетъ, что друзей на свѣтѣ не нашелъ!
Повѣрю: вѣдь съ людьми нельзя ему ужиться,—
Итакъ, не мудрено, что съ ними онъ бранится.
Безрифминъ говоритъ о милыхъ, о сердцахъ,
Чувствительность души твердитъ въ своихъ стихахъ;
Но книгъ его—увы!—никто не покупаетъ,
Хотя ихъ Глазуновъ въ газетахъ выхваляетъ.
Глупонъ за деньги радъ намъ всякаго бранить,
И даже онъ готовъ поэмой уморить.
Иному въ умъ придетъ, что вкусъ возстановляетъ:
Мы вѣримъ всѣ ему—кругами утверждаетъ!
Другой уже спѣшитъ намъ драму написать,
За коей будемъ мы не плакать, а зѣвать.
А третій наконецъ... Но можно ли помыслить
Всѣ глупости людей въ подробности изчислить?..
Напрасный будетъ трудъ, но въ немъ и пользы нѣтъ:
Сатирою нельзя перемѣнить намъ свѣтъ.
Зачѣмъ съ Глупономъ мнѣ, зачѣмъ всегда браниться?
Онъ также на меня готовъ вооружиться.
Зачѣмъ Безрифмину бумагу не марать?
Всякъ пишетъ для себя: зачѣмъ же не писать?
Дымъ славы, хоть пустой, любезенъ намъ, пріятенъ;
Гласъ разума—увы!—къ несчастію, не внятенъ.
Поэты есть у насъ, есть скучные врали;
Они не въ верхъ летятъ, не къ небу, но къ земли.

Давно я самъ въ себѣ, давно уже признался,
Что въ мирѣ, въ тишинѣ мой вѣкъ бы провождался,
Когда бъ проклятый Фебъ мнѣ не вскружилъ весь умъ;
Я презрилъ бы тогда и славы тщетный шумъ

И жилъ бы такъ, какъ ханъ во славномъ Кашемирѣ,
Не мысля о стихахъ, о музахъ и о лирѣ.
Но нѣтъ... Стихи мои, безъ васъ нельзя мнѣ жить,
И дня безъ риѳмъ, безъ стопъ не можно проводить!
Къ несчастью моему, мнѣ надобно признаться,
Стихи какъ женщины: намъ съ ними ли разстаться?..
Когда не любятъ насъ, хотимъ ихъ презирать,
Но все не престаемъ прекрасныхъ обожать!

1805.

II.

На книгу подъ названіемъ: Смѣсь.

По чести это смѣсь:
Тутъ проза и стихи, и авторская спѣсь.

III.

Безриѳмина совѣтъ:
Безъ жалости все сжечь мое стихотворенье,
Быть такъ! Его жь, друзья, невинное творенье
Своею смертію умретъ.

1809.

IV.

Мадригалъ новой Сафѣ.

Ты—Сафо, я—Фаонъ; объ этомъ и не спорю:
Но, къ моему ты горю,
Пути не знаешь къ морю.

V.

Мадригалъ Мелинѣ, которая называла себя нимфою.

Ты нимфа Іо, нѣтъ сомнѣнья,
Но только... послѣ превращенья!

VI.

Какъ трудно Бибрису со славою ужиться!
Онъ пьетъ, чтобы писать, и пишетъ, чтобъ напиться!

VII.

Эпиграмма на переводъ Виргилія.

Вдали отъ храма музъ и рощей Геликона
Фебъ мстительной рукой сатира задавилъ [1]):
Воскресъ уродъ и отомстилъ:
Друзья, онъ душитъ Аполлона!

VIII.

Эпиграмма.

«Не годенъ ни къ чему Глупницкаго журналъ».
Зоилы дерзкіе, вы ль это говорите?
Неблагодарные, я развѣ не видалъ,
Когда бывало вы табакъ со мной курите,
Когда что завернуть понадобится вамъ,
Журналъ Глупницкаго всегда тутъ пригодится.
Но я васъ накажу: ни нумера не дамъ
Журнала этого, когда вамъ не заснится.

[1]) Всѣмъ извѣстна участь Марсія.

IX.

Видѣніе на берегахъ Леты.

Ma muse sage et discrète
Sait de l'homme d'honneur distinguer le poëte.
Boileau.

Вчера, Бобровымъ утомленный,
Заснулъ и видѣлъ чудный сонъ:
Какъ будто свѣтлый Аполлонъ,
За что не знаю прогнѣвлённый,
Поэтамъ нашимъ смерть изрекъ.
Изрекъ — и всѣ упали мертвы
Невинны Аполлона жертвы.
Иной изъ нихъ окончилъ вѣкъ,
Сидя на чердакѣ высокомъ
Въ издранномъ шлафорѣ широкомъ,
Голоденъ, нагъ и утомленъ
Упрямой риомой къ свѣтлу небу.
Другой, въ Цитеру принесенъ,
Красу умильную, какъ Гебу,
Хотѣлъ въ жару насильно..... пѣть
И пѣлъ безъ чувствъ въ концѣ эклоги.
Вездѣ, о, милосерды боги,
Вездѣ пируетъ алчна смерть,
Косою острой быстро машетъ,
Богату ниву аду пашетъ
И губитъ Фебовыхъ дѣтей,
Какъ вѣтръ осенній злакъ полей.

Межъ тѣмъ въ Элизіи священномъ,
Лавровымъ лѣсомъ осѣненномъ,
Подъ шумомъ Касталійскихъ водъ,

Пѣвцовъ нечаянный приходъ
Узналъ почтенный Ломоносовъ,
Херасковъ, честь и слава Россовъ,
Честолюбивый Фебовъ сынъ,
Насмѣшникъ, грозный бичъ пороковъ,
Замысловатый Сумароковъ
И, Мельпомены другъ, Княжнинъ.
И ты сидѣлъ въ толпѣ избранной,
Стыдливой граціей вѣнчанной,
Пѣвецъ прелестныя мечты,
Между Псишеи легкокрылой
И бога нѣжной красоты!
И ты тамъ былъ, наѣздникъ хилой
Строптива дѣвственницъ сѣдла,
Трудолюбивый какъ пчела,
Отецъ стиховъ Тилемахиды!
И ты, что сотворилъ обиды
Венерѣ дѣвственной, Барковъ!
И ты, о, мой пѣвецъ незлобный,
Хемницеръ, въ басняхъ безподобный!
Всѣ словомъ, коихъ богъ пѣвцовъ
Вѣнчалъ безсмертія лучами,
Сидѣли тамъ оливъ въ тѣни,
Обнявшись съ прежними врагами;
Но спорили еще они
О томъ, о семъ и не безъ шума.
(И въ раѣ—думаю—у насъ
У всякаго своя есть дума,
Разсудокъ свой и вкусъ, и глазъ).
Садились всѣ за пиръ богатый,
Какъ вдругъ Маіинъ сынъ крылатый,
Присланный высшимъ божествомъ,
Сказалъ сидящимъ за столомъ:
«Сюда, на берегъ тихой Леты,

«За мной идутъ толпой поэты.
«Они въ рѣкѣ сей погрузятъ
«Себя и вмѣстѣ юныхъ чадъ.
«Здѣсь опытъ будетъ правосудный!:
«Стихи и проза безразсудны
«Потонутъ въ мигъ.... Такъ Фебъ судилъ!»
Сказалъ Эрмій и силой крилъ
Отъ ада къ небу воспарилъ.

«Ага», фонъ-Визинъ молвилъ братьямъ,
«Здѣсь будетъ встрѣча не по платьямъ,
«Но по заслугамъ и уму».
«Да много ли», въ отвѣтъ ему
Сказалъ смѣяся Сумароковъ,
«Пѣвцовъ найдете безъ пороковъ?
«Поглотитъ Леты всѣхъ струя,
«Поглотитъ всѣхъ, иль я не я!»
«Посмотримъ», продолжалъ въ полгласа
Пѣвецъ, проклятый отъ Парнасса [1]),
«Егда пріидутъ».... Но вотъ они,
Подобно какъ въ осенни дни [2])
Поблекши листвія древесны,
Что буря въ долахъ разнесла,
Такъ тьмамъ симъ не вѣсть числа!
Идутъ толпой въ ущелья тѣсны
Къ рѣкѣ забвенія стиховъ,
Идутъ подъ бременемъ трудовъ;
Безгласны, блѣдны приступаютъ,
Любезныхъ дѣтищей купаютъ....
И болѣе не зрятъ въ волнахъ.
Но тутъ Миносъ, пѣвцамъ на страхъ,
Старикъ угрюмый и курносый,

[1]) Тредьяковскій.
[2]) Смотри VI-ю пѣснь Энеиды.

Чинитъ расправу и вопросы:
«Кто ты? Вѣщай!» «Я тотъ поэтъ,
«По счастью очень плодовитый»,
Былъ тѣни маленькой отвѣтъ,
«Я тотъ, вѣнками розъ увитый,
«Поэтъ, философъ, педагогъ,
«Который задушилъ Виргилья,
«Алкею окоротилъ крилья,
«Я здѣсь: сего бо хощетъ богъ
«И долгъ священныя природы...» [1])
«Кто ты, болтунъ»? «Я Мер-зля-ковъ»....
«Ступай и окунися въ воды!»
«Иду... Во мнѣ вся мерзнетъ кровь...
«Душа всего, душа природы,
«Спаси... спаси меня, любовь!
«Авось!...» «Нѣтъ, нѣтъ, болтунъ несчастный»,
Сказалъ ему Эротъ прекрасный,
Который тутъ съ Псишеей былъ [2]),
«Ступай, пошелъ!...» И нѣтъ педанта!

«Кто ты?» спросилъ допрощикъ тѣнь,
Несущу связку фоліанта.
«Увы, я цѣлу ночь и день
«Писалъ, пишу и вѣчно буду
«Писать все прозой безъ еровъ;
«Невиненъ я. На эту груду
«Смотри: здѣсь тысячи листовъ,
«Священной пылію покрытыхъ,
«Печатью мелкою убитыхъ,
«И нѣтъ ера ни одного.
«Да я».... «Скорѣй купать его!»

[1]) Полустишіе, взятое изъ прекраснаго сочиненія г. Мерзлякова: Тѣнь Кукова, котораго никто не понимаетъ.

[2]) Г. Мерзляковъ продолжилъ, какъ видно, Душеньку. Амуръ въ стихахъ его на сорока страницахъ плачетъ.

Но тутъ явились лица новы
Изъ бѣлокаменной Москвы.
Какія странныя обновы!
Отъ самыхъ ногъ до головы
Обшиты платья ихъ листами,
Гдѣ прозой дѣтской и стихами.
Иной — кладбище, мавзолей,
Другой — журналъ души своей,
Другой — Меланію, Зюльмису,
Глафиру, Хлою, Миликтрису,
Луну, веспера, голубковъ,
Барановъ, кошекъ и котовъ [1])
Воспѣлъ въ стихахъ своихъ унылыхъ
На всякій ладъ для женщинъ милыхъ...
О, вѣкъ желѣзный!... А онѣ
Не только въ явѣ, но во снѣ
Поэтовъ не видали бѣдныхъ.
Изъ этихъ лицъ уныло-блѣдныхъ
Одинъ, причесанный въ тупей,
Поэтъ присяжный, князь вралей,
На судъ явилъ творенья новы.

«Кто ты?» «Увы, я пастушокъ.
«Вздыхатель, завсегда готовый:
«Вотъ мой баранъ и посошокъ,
«Вотъ мой букетъ цвѣтовъ тафтяныхъ,
«Вотъ списокъ всѣхъ красотъ упрямыхъ,
«Которыми дышалъ и жилъ,
«Которымъ я насильно милъ;
«Вотъ мой Амуръ, моя Аглая»... [2])
Сказалъ и, тягостно зѣвая,
Съ просонья въ Лету поскользнулъ.

[1]) Это все, даже и кошки, воспѣты въ Москвѣ. Ссылаюсь на журналы.
[2]) Аглая — вовсе не гранія, а журналъ князя Шаликова.

«Уфъ, я усталъ! Подайте стулъ!
«Позвольте мнѣ, я очень славенъ.
«Безсмертенъ я—пока забавенъ!»
«Кто жь ты?» «Я русскій и поэтъ! [1])
«Бѣгомъ бѣгу, лечу за славой,
«Разсудокъ не имѣю здравой,
«Да русское люблю душой;
«Для Русскихъ правъ мой толкъ кривой».
«Кто жь ты?» «Жанъ-Жакъ я русскій,
«Расинъ и Юнгъ, и Локкъ я русскій;
«Три драмы русскихъ сочинилъ
«Для Русскихъ. Нѣтъ ужь больше силъ
«Писать для Русскихъ драмы слезны;
«Труды мои всѣ безполезны!
«Причина порча нравовъ въ томъ».
Сказалъ—и бухъ въ рѣку потомъ.

Тутъ Сафы русскія печальны,
Какъ бабки наши повивальны,
Несли расплаканныхъ дѣтей.
Одна—прости Богъ эту даму!—
Несла уродливую драму,
Позоръ для ада и мужей,
У коихъ сочиняютъ жены.
«Вотъ мой Густавъ, герой влюбленный!»
«Ага!» судья пѣвицѣ сей.
«Названья этого довольно!
«Сударыня, мнѣ очень больно.
«Что вы, забывъ послѣдній стыдъ.
«Убили драмою Густава.
«Въ рѣку, въ рѣку!»... О, жалкій видъ!
О, тщетная поэтовъ слава!

[1]) Нѣкто въ Москвѣ, а не въ Пекинѣ, издаетъ журналъ для Русскихъ.

Изчезла Сафо! Нѣтъ ея!....
Потомъ, за нею обѣ дамы,
На дамъ живыя эпиграммы,
Хватившись за покровъ ея,
Совсѣмъ имъ не въ приличномъ видѣ
(Скажу пѣвицамъ не къ обидѣ),
Нырнули въ глубь туманныхъ водъ.
«Кто ты?» «Я — виноносный геній!
«Поэмы три да сотню одъ,
«Гдѣ всюду ночь, гдѣ всюду тѣни,
«Гдѣ роща ржуща ружій ржотъ [1]),
«Писалъ съ заказу Глазунова
«Всегда на срокъ.... Что вижу я?
«Здѣсь рѣетъ между водъ ладья,
«А тамъ въ разрывахъ черна крова
«Уранія, душа сихъ сферъ,
«И всѣ титаны ледовиты,
«Прозрачной мантіей покрыты,
«Слезятъ...... Изсякнулъ изувѣръ
«Отъ взора пламенной эгиды!»
Одинъ отецъ Тилемахиды
Слова сіи умѣлъ понять.
На томъ брегу рѣки забвенья
Стояли тѣни въ изумленьи
Отъ рѣчи сей. «Изволь купать
Себя и всѣхъ своихъ уродовъ»,
Сказалъ, не слушая доводовъ,
Угрюмый адскій судія.
«Да всѣхъ поглотитъ васъ струя!»

Но вдругъ на адскій берегъ дикій
Призракъ чудесный и великій

[1]) Стихъ изъ сочиненій г. Боброва.

Въ обширномъ дѣдовскомъ возкѣ
Тихонько тянется къ рѣкѣ.
На мѣсто клячей запряженны
Тамъ люди, въ хомуты вложенны,
И тянутъ кое-какъ гужомъ.
За нимъ, какъ въ осень трутни праздны
Крылатымъ въ воздухѣ полкомъ,
Летятъ толпою тѣни разны
И тамъ, и сямъ. По слову: стой!
Кивнула блѣдна тѣнь главой
И вышла съ кашлемъ изъ повозки.
«Кто ты?» спросилъ ее Миносъ,
«И кто сіи?» На сей вопросъ:
«Мы—академіи поэты росски»,
Сказала тѣнь. «Но кто сіи
«Несчастны, въ клячей превращенны?»
«Сочлены юные мои,
«Любовью къ славѣ воспаленны.
«Они Пожарскаго поютъ
«И топятъ старца Гермогена;
«Ихъ мысль на небеса вперена,
«Слова жь изъ Библіи берутъ.
«Стихи ихъ хоть немножко жестки,
«Но истинно варяго-росски».
«Да кто жь ты самъ?» «Я также членъ,
«Кургановымъ писать ученъ,
«Извѣстенъ сталъ не пустяками,
«Терпѣньемъ, пòтомъ и трудами.
«Я семь зѣло славенофилъ».
Сказалъ и книгу растворилъ.
При словѣ семъ въ блаженной сѣни
Поэтовъ приподнялись тѣни.
Пѣвецъ Любовныя Ѣзды

Ослабилъ взоръ усмѣшкой блудной [1])
И рекъ: «Въ мужѣхъ умомъ не скудной,
«Обрѣтшій рѣдки красоты
«И смыслъ въ моей Деидаміи,
«Се ты, се ты!».... «Слова пустыя!»
Угрюмый судія сказалъ
И въ рѣку путь имъ показалъ.
Къ рѣкѣ всѣ двинулись толпою,
Ныряли всячески въ водахъ;
Тотъ книжку потопилъ въ струяхъ,
Тотъ цѣлу книжицу съ собою.
Одинъ, одинъ славенофилъ,
И то повыбившись изъ силъ,
За всѣхъ трудовъ своихъ громаду,
За твердый умъ и за дѣла
Вкусилъ безсмертія награду.

Тутъ тѣнь къ Миносу подошла
Неряхой и въ нарядѣ странномъ:
Въ широкомъ шлафорѣ издранномъ,
Въ пуху, съ нечесанной главой,
Съ салфеткой, съ книгой подъ рукой.
«Меня въ расплохъ», она сказала,
«Въ обѣдъ нарочно смерть застала.
«Но съ вами я опять готовъ
«Еще хоть сызнова отвѣдать
«Вина и адскихъ пироговъ:
«Теперь же часъ, друзья, обѣдать.
«Я вамъ знакомый, я Крыловъ» [2]).
«Крыловъ, Крыловъ!» въ одно вскричало
Собранье шумное духовъ,
И эхо глухо повторяло

[1]) Блудная усмѣшка истолкована въ Ѣздѣ на островъ любви.
[2]) Крыловъ познакомился съ духами черезъ Почту духовъ.

Подъ сводомъ адскимъ! «Здѣсь Крыловъ!»
«Садись сюда, пріятель милый!
«Здоровъ ли ты?» «И такъ, и сякъ».
«Ну что жь ты дѣлалъ?» «Все пустякъ:
«Тянулъ тихонько вѣкъ унылый,
«Пилъ, сладко ѣлъ, а болѣ спалъ.
«Ну вотъ, Миносъ, мои творенья;
«Съ собой я очень мало взялъ:
«Комедіи, стихотворенья,
Да басни всѣ». «Купай, купай!»
О, чудо!... Всплыли всѣ! И вскорѣ
Крыловъ, забывъ житейско горе,
Пошелъ обѣдать прямо въ рай.

Еще продлилось сновидѣнье,
Но ваше длится ли терпѣнье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно:
Другаго и обидѣть можно,
А Боже упаси того!

1810.

X.

На переводъ Генріады или превращеніе Вольтера.

«Что это!» говорилъ Плутонъ,
«Остановился Флегетонъ,
«Мегера, фуріи и Церберъ онѣмѣли,
«Внимая пѣнью твоему,

«Пѣвецъ безсмертный Габріели?
«Умолкни!... По сему
«Безбожнику въ награду
«Поищемъ страшныхъ мукъ, ужасныхъ даже аду,
«Содѣлаемъ его
«Гнусинѣе самого
«Сизифа злова!»
Сказалъ и превратилъ — о, ужасъ! — въ Ослякова.

XI.

Извѣстный откупщикъ Фаддѣй
Построилъ Богу храмъ... и совѣсть успокоилъ.
И впрямь! На все цѣны удвоилъ:
Далъ Богу мѣдный грошъ, а сотни взялъ рублей
Съ людей.

XII.

Теперь, сего же дня,
Прощай, мой экипажъ и рыжихъ четверня,
Лизета, ужины... Я съ вами распрощался
На вѣкъ для мудрости святой!
«Что сдѣлалось съ тобой?»
Бездѣлка... Проигрался!

XIII.

Истинный патріотъ.

«О, хлѣбъ-соль русская, о, прадѣдъ Филаретъ,
«О, милые остатки,
«Упрямство дѣдушки и ферези прабабки!
«Безъ васъ спасенья нѣтъ,
«А вы, а вы забыты нами!»
Вчера горланилъ Фирсъ съ гостями
И, сидя у меня за лакомымъ столомъ,
Въ восторгѣ пламенномъ, какъ истый витязь русскій,
Съѣлъ соусъ, съѣлъ другой, а тамъ сальмисъ французскій,
А тамъ шампанскаго хлебнулъ съ бутылку онъ,
А тамъ... подвинулъ стулъ и сѣлъ играть въ бостонъ.

XIV.

Совѣтъ эпическому стихотворцу.

Какое хочешь имя дай
Твоей поэмѣ полудикой:
Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ Великій
Ея не называй.

XV.

На поэмы Петру Великому.

Какъ страненъ здѣсь судебъ уставъ!
Пѣвцы Петровыхъ дѣлъ — несчастья жертвы:
Нашъ Пиндаръ кончилъ жизнь, поэмы не скончавъ,
Другіе живы всѣ, но ихъ поэмы мертвы!

1812.

XVI.

Всегдашній гость, мучитель мой,
О, Балдусъ, долго ль мнѣ зѣвать, дремать съ тобой?
Будь крошечку умнѣй, или дай жить въ покоѣ!
Когда жестокій рокъ сведетъ тебя со мной,
Я не одинъ и насъ не двое.

1813.

XVII.

Пѣвецъ въ Бесѣдѣ Славянороссовъ

Эпико-лиро-комико-эпородическій гимнъ.

Пѣвецъ.

Друзья, всѣ гости по домамъ:
От чтенья охмѣлѣли!
Конецъ и прозѣ, и стихамъ—
До будущей недѣли!
Мы здѣсь одни... Что дѣлать? Пить
Вино изъ полной чаши.
Давайте въ запуски хвалить
Славянски оды наши!

Сотрудники.

Мы здѣсь одни... Что дѣлать? Пить и проч.

Пѣвецъ.

Сей кубокъ чадамъ древнихъ лѣтъ!
Вамъ слава, наши дѣды!

Друзья, уже покойныхъ нѣтъ
Пѣвцовъ среди Бесѣды!
Ихъ вирши сгнили въ кладовыхъ
Иль съѣдены мышами,
Иль продаютъ на рынкѣ въ нихъ
Салакушку съ сельдями.
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ:
Мы всѣ для славы дышемъ
Равно здѣсь въ прозѣ и въ стихахъ,
Какъ Тредьяковскій, пишемъ.

Сотрудники.

Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ, и проч.

Пѣвецъ.

Чья тѣнь подъ самымъ потолкомъ
Предъ нашими глазами?
За нимъ, предъ нимъ—о, страхъ!—полкомъ
Поэты со стихами!
Се Тредьяковскій въ парикѣ
Намасленномъ съ кудрями,
Съ Телемахидою въ рукѣ,
Съ Ролленемъ за плечами.
Почто на насъ, о, мужъ сѣдой,
Вперилъ ты страшны очи?
Мы всѣ клялись, клялись тобой
Съ утра до полуночи
Писать какъ ты, тебѣ служить.
Мы всѣ съ разсудкомъ въ ссорѣ,
Для славы будемъ жить и пить,
Намъ по колѣни море!

Сотрудники.

Писать какъ, ты, тебѣ служить, и проч.

Пѣвецъ.

Напьемся пьяны музамъ въ дань,
Какъ пили наши дѣды!
Разсудокъ къ чорту, вкусу брань,
Хвала сынамъ Бесѣды!
Пусть Ломоносовъ былъ уменъ,
А мы еще умнѣе;
За пьянство сталъ умнѣе онъ,
А мы еще пьянѣе.
Для славы будемъ жить и пить,
Врагамъ бѣда и горе!
На что разсудокъ намъ щадить?
Намъ по колѣни море!

Сотрудники.

Для славы будемъ жить и пить, и проч.

Пѣвецъ.

Друзья, большой бокалъ отцовъ
За лавку Глазунова!
Тамъ царство вѣчное стиховъ
Шихматова лихова.
Роднаго крова милый свѣтъ,
Знакомые подвалы,
Златыя игры первыхъ лѣтъ,
Невинны мадригалы,
Что вашу прелесть замѣнитъ?
О, лавка дорогая,
Какое сердце не дрожитъ,
Тебя благословляя!

Сотрудники.

Что вашу прелесть замѣнитъ, и проч.

Пѣвецъ.

Тамъ все знакомо для пѣвцовъ,
Тамъ наши дѣтки милы,
Кладбище милое стиховъ,
Бумажныя могилы,
Тамъ царство тлѣнья и мышей,
Тамъ Николаевъ почтенный,
И древній прахъ календарей,
И прахъ газетъ священный!

Сотрудники.

Тамъ царство тлѣнья и мышей, и проч.

Пѣвецъ.

Да здравствуетъ Бесѣды царь!
Цвѣти, его держава!
Бумажный тронъ твой—нашъ алтарь,
Предъ нимъ обѣтъ нашъ—слава,
Не измѣнимъ: мы отъ отцовъ
Пріяли глупость съ кровью.
Сумбуръ, здѣсь сонмъ твоихъ сыновъ,
Къ тебѣ горимъ любовью!
Нашъ каждый писарь-Славянинъ
Галиматьею дышетъ;
Бѣжитъ предатель сихъ дружинъ,
Кто галлицизмы пишетъ!

Сотрудники.

Нашъ каждый писарь-Славянинъ и проч.

Пѣвецъ.

Тотъ нашъ, кто день и ночь кадитъ
И намъ молебны служитъ!
Пусть публика его бранитъ,
Но онъ о томъ не тужитъ.

За насъ всегда стоитъ горой,
Въ Бесѣдѣ не зѣваетъ...
Прямой сотрудникъ, братъ прямой
И въ брани помогаетъ!

Сотрудники.

За насъ всегда стоитъ горой, и проч.

Пѣвецъ.

Хвала тебѣ, славянофилъ,
О, мужъ неукротимой!
Ты здѣсь разсудокъ побѣдилъ
Рукой неутомимой.
О, сколь съ наморщеннымъ челомъ
Въ Бесѣдѣ онъ прекрасенъ,
Сколь холоденъ передъ столомъ
И критикамъ ужасенъ!
Упрямство въ немъ старинныхъ лѣтъ...
Хвала сѣдому дѣду!
Друзья, онъ, онъ родилъ на свѣтъ
Славянскую Бесѣду!

Сотрудники.

Упрямство въ немъ старинныхъ лѣтъ, и проч.

Пѣвецъ.

Хвала тебѣ, о, дѣдъ сѣдой,
Хвала и многи лѣта!
Одесную пусть сидитъ съ тобой
Осьмое чудо свѣта,
Твой сынъ, наперсникъ и клевретъ,
Шихматовъ безглагольный,
Какъ ты, Славянъ краса и цвѣтъ,
Какъ ты, собой довольный!

Сотрудники.

Твой сынъ, наперсникъ и клевретъ, и проч.

Пѣвецъ.

Хвала тебѣ, о, Шаховской,
Холодныхъ шубъ кропитель,
Отецъ талантовъ, мужъ прямой,
Ежовой покровитель!
Телецъ, упитанный у насъ,
О, ты, болванъ болвановъ,
Хвала тебѣ, хвала сто разъ,
Раздутый Карабановъ!

Сотрудники.

Телецъ, упитанный у насъ, и проч.

Пѣвецъ.

Хвала, читателей тиранъ,
Хвостовъ неистощимый,
Стихи твои какъ барабанъ
Для слуха нестерпимы!
Вездѣ съ стихами, тутъ и тамъ,
Вездѣ ты волкомъ рыщешь,
Пускаешь притчу въ тылъ врагамъ,
Стихами въ уши свищешь.
Лишь за поэму—прочь идутъ,
За оду—засыпаютъ,
Ты за посланье—всѣ бѣгутъ
И уши затыкаютъ.

Сотрудники.

Лишь за поэму—прочь идутъ, и проч.

Пѣвецъ.

Хвала, псаломщикъ нашъ, старикъ,
Захаровъ-преложитель,
Ревешь ты, какъ на волка быкъ,
Луговъ пустынныхъ житель!

Хвала тебѣ, протяжный Львовъ,
Ковачь рѣченій смѣлый,
И Палицынъ, гроза чтецовъ,
Въ Поповкѣ посѣдѣлый!
Хвала, нашъ пасмурный Гервей,
Обруганный Станевичъ,
И съ польской лирою своей,
Халуй Анастасевичъ!

Сотрудники.

Хвала, нашъ пасмурный герой, и проч.

Пѣвецъ.

Друзья, сей ковшъ пивной большой
За здравье Соколова!
Онъ право чтецъ у насъ лихой
И созданъ для Хвостова.
Въ твоихъ устахъ стихи ревутъ,
Какъ волны пѣной плещутъ;
Отъ грома ихъ невольно тутъ
Всѣ барыни трепещутъ.
Хвала, Бесѣды сей дьячокъ,
Безумный Политковскій!
Жуешь, глупишь и вдругъ стишокъ
Родишь славянороссійскій.

Сотрудники.

Хвала, Бесѣды сей дьячокъ, и проч.

Пѣвецъ.

. . . .
. . . .

Ихъ груди каменной хвала,
Хвала скуламъ желѣзнымъ!

Но месть тому, кто насъ бранитъ
И точитъ эпиграммы,
Кто пишетъ такъ, какъ говоритъ,
Кого читаютъ дамы!

Сотрудники.

Но месть тому, кто насъ бранитъ и проч.

Пѣвецъ.

Сей кубокъ мщенью! Други, въ строй,
И мигомъ перья въ длани!
Сразить иль пасть—нашъ роковой
Обѣтъ въ чернильной брани.
Вотще свои, о, Карамзинъ,
Ты издалъ сочиненья:
Я, я на Пиндѣ властелинъ
И жажду лишь отмщенья!

Сотрудники.

Вотще свои, о, Карамзинъ, и проч.

Пѣвецъ.

Нѣтъ логики у насъ въ домахъ,
Грамматикъ не бывало;
Мы Прологъ въ руки—гибни, врагъ,
Съ твоей дружиной вялой!
Отвѣдай, дерзкій, что сильнѣй—
Разсудокъ или мщенье?
Пришлецъ, мы въ родинѣ своей!
За глупыхъ Провидѣнье!

Сотрудники.

Отвѣдай, дерзкій, что сильнѣй и проч.

Пѣвецъ.

Друзья, пропанью сей стаканъ!
Ужь свѣчи погасили.

Пробили зорю въ барабанъ,
Къ заутренѣ звонили,
Пора домой, пора ко сну,
Отъ хмѣля я шатаюсь...

Графъ Хвостовъ.

Дай, басню я прочту одну
И послѣ распрощаюсь.

Всѣ.

Ахъ, нѣтъ, друзья, домой, домой!
Чу, пѣтухи пропѣли!
Прощай, Шишковъ, нашъ дѣтъ сѣдой,
Прощай, мы охмѣлѣли,
Но ты насъ въ путь благослови!
А вы, друзья, лобзанья
Въ завѣтъ и новыя любви,
И новаго свиданья!

1815.

XVIII.

Памфилъ забавенъ за столомъ,
Хоть часто и на зло разсудку;
Веселостью обязанъ онъ желудку,
А памяти—умомъ.

ПРОЗА.

I.

ОТРЫВОКЪ

изъ писемъ русскаго офицера

о Финляндіи.

Я видѣлъ страну, близкую къ полюсу, сосѣднюю Гиперборейскому морю, гдѣ природа бѣдна и угрюма, гдѣ солнце грѣетъ постоянно — только въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, но гдѣ, также какъ въ странахъ, благословенныхъ природою, люди могутъ находить счастіе. Я видѣлъ Финляндію отъ береговъ Кюменя до шумной Улеи въ бурное военное время и спѣшу сообщить тебѣ глубокія впечатлѣнія, оставшіяся въ душѣ моей при видѣ новой земли, дикой, но прелестной и въ дикости своей. Здѣсь повсюду земля кажетъ видъ опустошенія и безплодія, повсюду мрачна и угрюма [1]). Здѣсь лѣто продолжается не болѣе шести недѣль, бури и непогоды царствуютъ въ теченіи девяти мѣсяцевъ, осень ужасная, и самая весна нерѣдко принимаетъ видъ мрачной осени: куда ни обратишь взоры, вездѣ, вездѣ встрѣчаешь или воды, или камни. Здѣсь глубокія, длинныя озера омываютъ волнами утесы гранитные, на которыхъ вѣтеръ съ шумомъ качаетъ сосновыя

[1]) Особенно въ старой Финляндіи.

рощи; тамъ цѣлыя развалины древнихъ гранитныхъ горъ, обрушенныхъ подземнымъ огнемъ или разлитіемъ океана. Въ концѣ апрѣля начинается весна; снѣгъ таетъ поспѣшно, и источники, образованные имъ на горахъ, съ шумомъ и съ пѣною низвергаются въ озера, которыя, посредствомъ явнаго или подземнаго соединенія съ Ботническимъ заливомъ, несутъ ему обильную дань снѣга. Если озеро тихо, то высокіе, пирамидальные утесы, по берегамъ стоящіе, начертываются длинными полосами въ зеркалѣ водъ. На нихъ-то хищныя птицы вьютъ свои гнѣзда и, по древнему преданію Скандинавовъ, въ часы пасмурнаго вечера вызываютъ крикомъ своимъ бурю изъ тайной глубины пещеръ. Вѣтеръ повѣялъ съ сѣвера, и поверхность соннаго озера пробудилась, какъ отъ сна!.. Видишь ли, какъ она пѣнится? Слышишь ли, съ какимъ глухимъ и протяжнымъ шумомъ разбивается о гранитныя, неподвижныя скалы, которыя нѣсколько вѣковъ презираютъ порывъ бурь и ярость волнъ? Сосѣдніе лѣса повторяютъ голосъ бури, и вся природа является въ ужасномъ разстройствѣ. Сіи страшныя явленія напоминаютъ мнѣ мрачную миѳологію Скандинавовъ, которымъ божество являлось почти всегда въ гнѣвѣ, карающимъ слабое человѣчество.

Лѣса финлядскіе непроходимы; они растутъ на камняхъ. Вѣчное безмолвіе, вѣчный мракъ въ нихъ обитаетъ. Деревья, сокрушенныя временемъ или дуновеніемъ бури, заграждаютъ путь предпріимчивому охотнику. Въ сей ужасной и безплодной пустынѣ, въ сихъ пространныхъ вертепахъ путникъ слышитъ только рѣзкій крикъ плотоядной птицы, завыванія волка, ищущаго добычи, паденіе скалы, низвергнутой рукою всесокрушающаго времени, или ревъ источника, образованнаго снѣгомъ, который стрѣлою протекаетъ по каменному дну между скалъ гранитныхъ, быстро превозмогаетъ всѣ препятствія и увлекаетъ въ теченіи своемъ деревья и огромные камни. Вокругъ его пустыня и безмолвіе! Посмотри далѣе: огнь небесный или неутомимая рука пахаря зажгли сей боръ; опаленныя сосны, исторгнутыя изъ утробы земной съ глубокими корнями, обожженныя скалы, дымъ, восходящій

густымъ, чернымъ облакомъ отъ сего огнища, все это образуетъ картину столь дикую, столь мрачную, что путешественникъ невольно содрогается и спѣшитъ отдохнуть взорами или на ближнемъ озерѣ, которое величественно дремлетъ въ отлогихъ берегахъ своихъ, или на зеленой полянѣ, гдѣ волъ жуетъ сочную и густую траву, орошенную водами источника.

Какіе народы населяли въ древности землю сію? Гдѣ признаки ихъ бытія? Гдѣ слѣды ихъ? Время все изгладило, или сіи сыны дикихъ лѣсовъ не ознаменовали себя никакимъ подвигомъ, и исторія, начертавшая малѣйшія событія странъ полуденныхъ и восточныхъ, молчитъ о народахъ Сѣвера. Но существовали народы сіи, угрюмые, непобѣдимые сыны первобытной природы, или изгнанники изъ странъ счастливѣйшихъ [1]): они населяли сіи пещеры, питались млекомъ звѣрей и полагали предѣломъ блаженства удачу на охотѣ или побѣду надъ врагомъ, изъ черепа котораго—страшное воспоминаніе!—пили кровь и славили свое могущество. Когда зима покрывала рѣки льдами, сыпала иней и снѣга, тогда дикія чада лѣсовъ выходили изъ логовищей своихъ и пролагали путь по морямъ Гиперборейскимъ къ новымъ пустынямъ, къ новымъ лѣсамъ. Вооруженные сѣкирою и палицей, они идутъ войною на стада пустынныхъ чудовищъ; ихъ мчатъ быстрые олени; ихъ несутъ лыжи по равнинамъ снѣжнымъ; они сражаются, побѣждаютъ и учреждаютъ кровавую трапезу! Томимые голодомъ, нуждою, исполненные мужества, рѣшимости, презирая равно и смерть, и жизнь, не знаютъ опасности; въ звѣрскомъ изступленіи наполняютъ крикомъ лѣса, и эхо повторяетъ гласъ ихъ въ пространной пустынѣ. Но сіи пустыни, сіи вертепы, сіи непроходимые лѣса въ среднихъ вѣкахъ повторяли голосъ скальда. И здѣсь поэзія разсыпала цвѣты свои: она смягчила нравы, укротила звѣрство и утѣшила страждущее человѣчество своими волшебными пѣснями о богахъ, о герояхъ, о лучшемъ мірѣ и о прекрасной

[1]) Руны, которыя я видѣлъ въ Финляндіи и потомъ въ Швеціи, принадлежатъ къ позднѣйшимъ вѣкамъ. До сихъ поръ историки не могутъ утвердительно сказать, кто были первые обитатели Финляндіи.

будущей жизни. Разныя племена народовъ собрались воедино, составили селенія на берегахъ сего залива. Мало по малу и самая природа приняла другой видъ, не столь суровый и дикій.

Можетъ быть, на сей скалѣ, осѣненной соснами, у подошвы которой дыханіе зефира колеблетъ глубокія воды залива, можетъ быть, на сей скалѣ воздвигнутъ былъ храмъ Одена. Здѣсь поэтъ любитъ мечтать о временахъ протекшихъ и погружаться мыслями въ оные вѣки варварства, великодушія и славы; здѣсь съ удовольствіемъ взираетъ онъ на волны морскія, нѣкогда струимыя кораблями Одена, Артура и Гаральда, на сей мрачный горизонтъ, по которому носились тѣни почившихъ витязей, на сіи камни, остатки сѣдой древности, на коихъ видны таинственные знаки, рукою неизвѣстною начертанные. Здѣсь, погруженный въ сладкую задумчивость,

Въ полночный часъ
Онъ слышитъ скальда гласъ
Прерывистый и томный.
Зритъ: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоятъ кругомъ костровъ,
Зажженныхъ въ полѣ брани;
И древній царь пѣвцовъ
Простеръ на арфу длани.
Могилу указавъ, гдѣ вождь героевъ спитъ:
«Чья тѣнь, чья тѣнь», гласитъ
Въ священномъ изступленьи,
«Тамъ съ дѣвами плыветъ въ туманныхъ облакахъ?
«Се ты, младый Непель, иноплеменныхъ страхъ,
«Со славой падшій на сраженьи!
«Миръ, миръ тебѣ, герой!
«Твоей сѣкирою стальной
«Пришельцы гордые побиты...
«Но ты днесь палъ на грудахъ тѣлъ.
«Отъ тучи вражьихъ стрѣлъ
«Палъ витязь знаменитый!

«И се... ужъ надъ тобой посланницы небесны,
«Валкиріи прелестны,
«На бѣлыхъ, какъ снѣга Біарміи, коняхъ,
«Съ златыми копьями въ рукахъ,
«Въ безмолвіи спустились,
«Коснулись до зѣницъ копьемъ своимъ, и вновь
«Глаза твои открылись;

«Течетъ по жиламъ кровь
«Чистѣйшаго эѳира;
«И ты, безплотный духъ,
«Въ страны безвѣстны міра
«Летишь стрѣлой... и вдругъ
«Открылись предъ тобой тѣ радужны чертоги,
«Гдѣ уготовали для сонма храбрыхъ боги
«Любовь и вѣчный пиръ.

«При шумѣ горнихъ водъ и тихострунныхъ лиръ,
«Среди полянъ и свѣжихъ сѣней
«Ты будешь поражать тамъ скачущихъ еленей
«И златорогихъ сернъ».
Склонясь на злачный дернъ
Съ дружиною младою,
Тамъ снова съ арфою златою
Въ восторгѣ скальдъ поетъ
О славѣ древнихъ лѣтъ.
Поетъ, и храбрыхъ очи,
Какъ звѣзды тихой ночи,
Утѣхою блестятъ.
Но вечеръ притекаетъ,
Часъ нѣги и прохладъ;
Гласъ скальда замолкаетъ.
Замолкъ, и храбрыхъ сонмъ
Идетъ въ Оденовъ домъ,
Гдѣ дочери Веристы,
Власы свои душисты
Раскинувъ по плечамъ,
Прелестницы младыя,
Всегда полунагія,
На пиршества гостямъ
Обильны яствы носятъ
И пить умильно просятъ
Изъ чаши сладкій медъ...

Такимъ образомъ, и въ снѣгахъ, и подъ суровымъ небомъ пламенное воображеніе создавало себѣ новый міръ и украшало его прелестными вымыслами. Сѣверные народы съ избыткомъ одарены воображеніемъ: сама природа, дикая и безплодная, непостоянство стихій и образъ жизни, дѣятельной и уединенной, даютъ ему пищу.

Здѣсь царство зимы. Въ началѣ октября все покрыто снѣгомъ. Едва сосѣдняя скала выказываетъ безплодную вершину;

иней падаетъ въ видѣ густаго облака; деревья, при первомъ утреннемъ морозѣ, блистаютъ радугою, отражая солнечные лучи тысячью пріятныхъ цвѣтовъ. Но солнце, кажется, съ ужасомъ взираетъ на опустошенія зимы: едва явится и уже погружено въ багровый туманъ, предвѣстникъ сильной стужи. Мѣсяцъ въ теченіи всей ночи изливаетъ серебряные лучи свои и образуетъ круги на чистой лазури небесной, по которой изрѣдка пролетаютъ блестящіе метеоры. Ни малѣйшее дуновеніе вѣтра не колеблетъ деревъ, обѣленныхъ инеемъ: они кажутся очарованными въ новомъ своемъ видѣ. Печальное, но пріятное зрѣлище сія необыкновенная тишина и въ воздухѣ, и на землѣ! Повсюду безмолвіе! Робкая лань торопко пробирается въ чащу, отрясая съ роговъ своихъ оледенѣлый иней; стадо тетеревей дремлетъ въ глубокой тишинѣ лѣса, и всякій шагъ странника слышенъ въ снѣжной пустынѣ.

Но и здѣсь природа улыбается (веселою, но краткою улыбкою). Когда снѣга растаяли отъ теплаго лѣтняго вѣтра и яркихъ лучей солнца, когда воды съ шумомъ утекли въ моря, образовавъ въ теченіи своемъ тысячи ручьевъ, тысячи водопадовъ, тогда природа примѣтно выходитъ изъ тягостнаго и продолжительнаго усыпленія. Вдругъ озимыя поля одѣваются зеленымъ бархатомъ, луга — душистыми цвѣтами. Ходъ растительной силы примѣтенъ. Сегодня все мертво, завтра все цвѣтетъ, все благоухаетъ. Народныя басни всегда имѣютъ основаніемъ истину. Древніе Скандинавы полагали, что Оденъ, сей великій чародѣй, чуткимъ ухомъ своимъ слышитъ, какъ весною прозябаютъ травы. Конечно, быстрое, почти невѣроятное ихъ возрастаніе подало поводъ къ сему вымыслу. Лѣтніе дни и ночи здѣсь особенно пріятны. Дню предшествуетъ обильная роса. Солнце, едва почившее за горизонтомъ, является во всемъ великолѣпіи на концѣ озера, позлащеннаго внезапу румяными лучами. Пустынныя птицы радостно сотрясаютъ съ крыльевъ своихъ сонъ и нѣгу; рѣзвыя бѣлки выбѣгаютъ изъ мрачныхъ сосновыхъ лѣсовъ подъ тѣнь березокъ, растущихъ на отлогомъ берегѣ. Все тихо, все

торжественно въ сей первобытной природѣ! Большія рыбы плещутъ среди озера златыми чешуями, между тѣмъ какъ мелкіе жители влажной стихіи играютъ стадами у подошвы скалъ или близъ песчанаго берега. Вечеръ тихъ и прохладенъ. Солнечные лучи медленно умираютъ на гранитныхъ скалахъ, которыхъ цвѣтъ измѣняется безпрестанно. Тысячи насѣкомыхъ (минутные жители сихъ прелестныхъ пустынь) то плаваютъ на поверхности озера, то кружатся надъ камышемъ и наклоненными ивами. Стада дикихъ утокъ и крикливыхъ журавлей летятъ въ сосѣднее болото, и важные лебеди торжественнымъ плаваніемъ привѣтствуютъ вечернее солнце. Оно погружается въ безднѣ Ботническаго залива, и сумракъ, вмѣстѣ съ безмолвіемъ, воцарился въ пустынѣ... Но какой предметъ для кисти живописца—ратный станъ. расположенный на сихъ скалахъ, когда лучи мѣсяца проливаются на утружденныхъ ратниковъ и скользятъ по блестящему металлу ружей, сложенныхъ въ пирамиды! Какой предметъ для живописи и сіи великіе огни, здѣсь и тамъ разкладенные, вокругъ которыхъ воины толпятся въ часы холодной ночи! Этотъ лѣсъ, хранившій безмолвіе, можетъ быть, отъ созданія міра, вдругъ оживляется при внезапномъ пришествіи полковъ. Войско расположилось; все приходитъ въ движеніе: пуки зажженной соломы, переносимые съ одного мѣста на другое, пылающіе костры хвороста, древніе пни и часто цѣлыя деревья, внезапно зажженныя, отъ которыхъ густой дымъ клубится и восходитъ до небесъ, однимъ словомъ, движеніе ратныхъ снарядовъ, ржаніе и топотъ коней, блескъ оружія и смѣшанные голоса воиновъ, и звуки барабана и конной трубы, все это представляетъ зрѣлище новое и разительное! Вскорѣ гласы умолкаютъ, огонь пылающихъ костровъ потухаетъ, ратники почили, и прежнее безмолвіе водворилось; изрѣдка прерываемо оно шумомъ горнаго водопада или протяжными откликами часовыхъ, расположенныхъ на ближнихъ вышинахъ противъ лагеря непріятельскаго; мѣсяцъ, склоняясь къ своему западу, освѣщаетъ уже безмолвный станъ.

Теперь всякій шагъ въ Финляндіи ознаменованъ происшествіями, которыхъ воспоминаніе и сладостно, и прискорбно. Здѣсь мы побѣдили, но цѣлые ряды храбрыхъ легли, и вотъ ихъ могилы! Тамъ упорный непріятель выбитъ изъ укрѣпленій, прогнанъ; но эти уединенные кресты, вдоль песчанаго берега или вдоль дороги водруженные, этотъ рядъ могилъ Русскихъ въ странахъ чуждыхъ, отдаленныхъ отъ родины, кажется, говорятъ мимоидущему воину: и тебя ожидаетъ побѣда—и смерть! Здѣсь на каждомъ шагу встрѣчаемъ мы или оставленную батарею, или древній замокъ съ готическими острыми башнями, которыя возбуждаютъ воспоминаніе о древнихъ рыцаряхъ, или передовый непріятельскій лагерь, или мостъ, недавно выжженный, или опустѣлую деревню. Повсюду слѣды побѣдъ нашихъ или слѣды вѣковъ, давно протекшихъ, пагубные слѣды войны и разрушенія! Иногда лагерь располагается на отлогихъ берегахъ озера, гдѣ до сихъ поръ спокойный рыбакъ бросалъ свои мрежи; иногда видимъ рвы, батареи, укрѣпленія и весь снарядъ воинскій близъ мирной кущи селянина. Разительная противуположность!...

II.

Прогулка по Москвѣ.

Ты желаешь отъ меня описанія Москвы, любезнѣйшій другъ, вещи совершенно невозможной (для меня, разумѣется) по двумъ весьма важнымъ причинамъ. Первое — потому, что я не въ силахъ удовлетворить твоему любопытству за неимѣніемъ достаточныхъ свѣдѣній историческихъ и пр. и пр., которыя необходимо нужны: ибо здѣсь на всякомъ шагу мы встрѣчаемъ памятники вѣковъ протекшихъ, но сіи памятники безмолвны для невѣжды, а я притворяться ученымъ не умѣю. Вторая причина—лѣность, причина весьма важная! Итакъ, мимоходомъ, странствуя изъ дома въ домъ, съ гулянья на гулянье, съ ужина на ужинъ, я напишу нѣсколько замѣчаній о городѣ и о нравахъ жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку, и ты прочтешь оныя съ удовольствіемъ: они напомнятъ тебѣ о добромъ пріятелѣ,

Который посреди разсѣяній столицы
Тихонько замѣчалъ характеры и лицы
Забавныхъ Москвичей;
Который съ годъ зѣвалъ на балахъ богачей,
Зѣвалъ въ концертѣ и въ собраньѣ,
Зѣвалъ на скачкѣ, на гуляньѣ,
Вездѣ равно зѣвалъ,
Но дружбы и тебя нигдѣ не забывалъ.

Теперь, на досугѣ, не хочешь ли со мною прогуляться въ Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждомъ шагу: это—исполинскій городъ, построенный великанами; башня на башнѣ, стѣна на стѣнѣ, дворецъ возлѣ дворца! Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства! Не удивляйся, мой другъ: Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества. Посмотри: здѣсь, противъ зубчатыхъ башенъ древняго Китай-города, стоитъ прелестный домъ самой новѣйшей италіанской архитектуры; въ этотъ монастырь, построенный при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, входитъ какой-то человѣкъ въ длинномъ кафтанѣ, съ окладистою бородою, а тамъ къ булевару кто-то пробирается въ модномъ фракѣ; и я, видя отпечатки древнихъ и новыхъ временъ, воспоминаю прошедшее; сравнивая оное съ настоящимъ, тихонько говорю про себя: Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ.

Войдемъ теперь въ Кремль. Направо, налѣво мы увидимъ величественныя зданія, съ блестящими куполами, съ высокими башнями, и все это обнесено твердою стѣною. Здѣсь все дышетъ древностію, все напоминаетъ о царяхъ, о патріархахъ, о важныхъ происшествіяхъ; здѣсь каждое мѣсто ознаменовано печатью вѣковъ протекшихъ. Здѣсь все противное тому, что̀ мы видимъ на Кузнецкомъ мѣсту, на Тверской, на булеварѣ и пр. Тамъ книжныя французскія лавки, модные магазины, которыхъ уродливыя вывѣски заслоняютъ цѣлые домы, часовые мастера, погреба и, словомъ, всѣ снаряды моды и роскоши. Въ Кремлѣ все тихо, все имѣетъ какой-то важный и спокойный видъ; на Кузнецкомъ мосту все въ движеніи:

Корнеты, чепчики, мужья и сундуки.

А здѣсь одни монахи, богомольцы, должностные люди и нѣсколько часовыхъ. Хочешь ли видѣть единственную картину?

Когда вечернее солнце во всемъ великолѣпіи склоняется за Воробьевы горы, то войди въ Кремль и сядь на высокую деревянную лѣстницу. Вся панорама Москвы за рѣкою! Направо Каменный мостъ, на которомъ безпрестанно волнуются толпы проходящихъ; далѣе—Голицынская больница, прекрасное зданіе дома графини Орловой съ тѣнистыми садами, и наконецъ, Васильевскій огромный замокъ, примыкающій къ Воробьевымъ горамъ, которыя величественно довершаютъ сію картину. Чудесное смѣшеніе зелени съ домами, цвѣтущихъ садовъ съ высокими замками древнихъ бояръ, чудесная противуположность видовъ городскихъ съ сельскими видами. Однимъ словомъ, здѣсь представляется взорамъ картина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной величайшимъ народомъ на пріятнѣйшемъ мѣстѣ. Тотъ, кто, стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смотрѣвъ на исполинскія башни, на древніе монастыри, на величественное Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ Россіи, для того (и я скажу это смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ жалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи; тотъ поѣзжай въ Германію и живи и умирай въ маленькомъ городкѣ, подъ тѣнью приходской колокольни, съ мирными Германцами, которые, углубясь въ мелкіе политическіе расчеты, протянули руки и выи для принятія оковъ гнуснѣйшаго рабства.

Но солнце медленно сокрывается за рощами. Взглянемъ еще на Кремль, котораго золотые куполы и шпицы колоколенъ ярко отражаютъ блистаніе зари вечерней. Шумъ городской замираетъ вмѣстѣ съ замирающимъ днемъ. Кругомъ насъ все тихо; изрѣдка пройдетъ человѣкъ. Здѣсь нищій отдыхаетъ на Красномъ крыльцѣ, положивъ голову на котомку; онъ отдыхаетъ безпечно у подножія палатъ царскихъ, не зная даже, кому онѣ нѣкогда принадлежали; теперь встаетъ и медленно входитъ въ монастырь, гдѣ раздается мрачное пѣніе иноковъ, и гдѣ цѣлыми рядами стоятъ гробы великихъ князей и царей Русскихъ, нѣкогда обитавшихъ въ ближнихъ палатахъ. Печальный образъ

славы человѣческой!... Но мы не станемъ дѣлать восклицаній вмѣстѣ съ модными писателями, которые проводятъ цѣлыя ночи на гробахъ и бѣдное человѣчество пугаютъ привидѣніями, духами, страшнымъ судомъ, а болѣе всего своимъ слогомъ; мы не предадимся мрачнымъ разсужденіямъ о бренности вещей, которыя позволено дѣлать всякому въ нынѣшнемъ вѣкѣ меланхоліи; а пойдемъ потихоньку на Кузнецкій мостъ, гдѣ все въ движеніи, все спѣшитъ, а куда?—посмотримъ.

Эта большая дѣдовская карета, запряженная шестью чалыми тощими клячами, остановилась у дверей модной лавки. Вотъ изъ нея вылѣзаетъ пожилая женщина въ большомъ чепцѣ, мадамъ, конечно француженка, и три молодыя дѣвушки. Онѣ входятъ въ лавку—и мы за ними. «Дайте намъ головныхъ уборовъ, покажите намъ эти шляпки, да по христіанской совѣсти, госпожа мадамъ!» И торговка, окинувъ взорами своихъ гостей, узнаетъ, что они изъ степи, продаетъ имъ лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновеннаго. Старушка сердится и покупаетъ.

Зайдемъ оттуда въ конфектный магазинъ, гдѣ Жидъ или Гасконецъ Гоа продаетъ мороженое и всякія сласти. Здѣсь мы видимъ большое стеченіе московскихъ франтовъ въ лакированныхъ сапогахъ, въ широкихъ англійскихъ фракахъ и въ очкахъ, и безъ очковъ, и растрепанныхъ и причесанныхъ. Этотъ, конечно, Англичанинъ: онъ, разиня ротъ, смотритъ на восковую куклу. Нѣтъ, онъ Русакъ и родился въ Суздалѣ. Ну, такъ этотъ Французъ: онъ картавитъ и говоритъ съ хозяйкой о знакомомъ ей чревовѣщателѣ, который въ прошломъ годѣ забавлялъ весельчаковъ парижскихъ. Нѣтъ, это старый франтъ, который не ѣзжалъ далѣе Макарья и, промотавъ родовое имѣніе, наживаетъ новое картами. Ну, такъ это Нѣмецъ, этотъ блѣдный высокій мужчина, который вошелъ съ прекрасною дамою? Ошибся! И онъ Русскій, а только молодость провелъ въ Германіи. По крайней мѣрѣ жена его иностранка: она на силу говоритъ по русски. Еще разъ ошибся! Она Русская, любезный другъ, ро-

дилась въ приходѣ Неопалимой Купины и кончитъ жизнь свою на святой Руси. Отчего же онѣ всѣ хотятъ прослыть иностранцами, картавятъ и кривляются, отчего?... Я на это буду отвѣчать послѣ, а теперь прошу замѣтить этого пожилого человѣка въ шпорахъ. Онъ изобрѣлъ прошлаго года новыя подковы для своихъ рысаковъ, дрожки о двухъ колесахъ и карету безъ козелъ. Онъ живетъ на конюшнѣ, завтракаетъ съ любимымъ бѣгуномъ и ѣздилъ нарочно въ Лондонъ, чтобъ посовѣтоваться съ извѣстнымъ коноваломъ о болѣзни своей англійской кобылы.

Вздохнемъ, любезный другъ, отъ глубины сердца и скажемъ съ Аріостомъ;

Дурачься, смертныхъ родъ! Въ лунѣ разсудокъ твой.

Теперь мы видимъ передъ собою иностранныя книжныя лавки. Ихъ множество, и ни одной нельзя назвать богатою въ сравненіи съ петербургскими. Книги дороги, хорошихъ мало, древнихъ писателей почти вовсе нѣтъ, но за то есть мадамъ Жанлисъ и мадамъ Севинье, два катихизиса молодыхъ дѣвушекъ и цѣлыя груды французскихъ романовъ: достойное чтеніе тупаго невѣжества, безсмыслія и разврата. Множество книгъ мистическихъ, назидательныхъ, казуистскихъ и пр., писаныхъ разстригами-попами (si-devant soit disant jésuites) на чердакахъ парижскихъ, въ пользу добрыхъ женщинъ. Ихъ безпрестанно раскупаютъ и въ Москвѣ, ибо наши модницы не уступаютъ парижскимъ въ благочестіи и съ жадностію читаютъ глупыя и скучныя проповѣди, лишь бы только онѣ были написаны на языкѣ медоточиваго Фенелона, сладостнаго друга почтенной дѣвицы Гіонъ. Но мы, разговаривая, пришли въ городъ. Какое стеченіе народа, какое разнообразіе! Это совершенный базаръ восточный! Здѣсь мы видимъ Грека, Татарина, Турка въ чалмѣ и въ туфляхъ; тамъ—сухаго Француза въ башмакахъ, искусно перескакивающаго съ камня на камень, тутъ—важнаго Персіанина, тамъ—ямщика, который бранится съ торговкою, здѣсь—бѣднаго селянина, который устремилъ оба глаза на великолѣпный цугъ, между тѣмъ

какъ его товарищъ разсматриваетъ народныя картины и любуется ихъ замысловатыми надписями. Вотъ и цѣлый рядъ русскихъ книжныхъ лавокъ; иныя весьма бѣдны. Кто не бывалъ въ Москвѣ, тотъ не знаетъ, что можно торговать книгами точно такъ, какъ рыбой, мѣхами, овощами и пр., безъ всякихъ свѣдѣній въ словесности; тотъ не знаетъ, что здѣсь есть фабрика переводовъ, фабрика журналовъ и фабрика романовъ, и что книжные торгаши покупаютъ ученый товаръ, то-есть, переводы и сочиненія, на вѣсъ, приговаривая бѣднымъ авторамъ: не качество, а количество, не слогъ, а число листовъ! Я боюсь заглянуть въ лавку, ибо къ стыду нашему думаю, что ни у одного народа нѣтъ и никогда не бывало столь безобразной словесности. Къ счастію, многія книги здѣсь въ Москвѣ родятся и здѣсь умираютъ, или по крайней мѣрѣ на ближайшихъ ярмаркахъ. Теперь мы выходимъ на Тверской булеваръ, который составляетъ часть обширнаго вала. Вотъ жалкое гульбище для обширнаго и многолюднаго города, какова Москва, но стеченіе народа, прекрасныя утра апрѣльскія и тихіе вечера майскіе привлекаютъ сюда толпы праздныхъ жителей. Хорошій тонъ, мода требуютъ пожертвованій: и франтъ, и кокетка, и старая вѣстовщица, и жирный откупщикъ скачутъ въ первомъ часу утра съ дальнихъ концовъ Москвы на Тверской булеваръ. Какіе странные наряды, какія лица! Здѣсь вы видите пріѣзжаго изъ Молдавіи офицера, внука этой придворной ветхой красавицы, наслѣдника этого подагрика, которые не могутъ налюбоваться его пестрымъ мундиромъ и невинными шалостями. Тутъ вы видите провинціальнаго щеголя, который пріѣхалъ перенимать моды и который, кажется пожираетъ глазами счастливца, прискакавшаго на почтовыхъ съ береговъ Секвaны — въ голубыхъ панталонахъ и въ широкомъ безобразномъ фракѣ. Здѣсь красавица ведетъ за собою толпу обожателей; тамъ старая генеральша болтаетъ съ своей сосѣдкою, а возлѣ ихъ — откупщикъ, тяжелый и задумчивый, который твердо увѣренъ въ томъ, что Богъ создалъ одну половину рода человѣческаго для винокуренія, а другую для пьянства, идетъ мед-

ленными шагами съ прекрасною женою и съ карломъ. Университетскій профессоръ въ епанчѣ, которая бы могла сдѣлать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную каѳедру. Шалунъ напѣваетъ водевили и травитъ прохожихъ своимъ пуделемъ, между тѣмъ какъ записной стихотворецъ читаетъ эпиграмму и ожидаетъ похвалы или приглашенія на обѣдъ. Вотъ гулянье, которое я посѣщалъ всякій день, и почти всегда съ новымъ удовольствіемъ. Совершенная свобода ходить взадъ и впередъ съ кѣмъ случится, великое стеченіе людей знакомыхъ и незнакомыхъ имѣли всегда особенную прелесть для лѣнивцевъ, для праздныхъ и для тѣхъ, которые любятъ замѣчать физіономіи. А я изъ числа первыхъ и послѣднихъ. Прибавлю къ этому: на гулянье пріѣзжаютъ одни, чтобъ отдыхать отъ заботъ, другіе— ходить и дышать свѣжимъ воздухомъ; женщины пріѣзжаютъ собирать похвалы, мужчины — удивляться, и лица всѣхъ почти спокойны. Здѣсь страсти засыпаютъ; люди становятся людьми; одно самолюбіе не дремлетъ: оно всегда на часахъ, но и оно имѣетъ здѣсь привлекательный видъ, и оно заставляетъ улыбнуться стараго игрока гораздо привѣтливѣе, нежели за карточнымъ столомъ. Наконецъ, на гуляньи всѣ кажутся счастливыми, и это меня радуетъ какъ ребенка, ибо я никогда не любилъ скучныхъ и заботливыхъ лицъ.

Теперь мы опять вышли на улицу. Взгляни направо, потомъ налѣво и дѣлай самъ замѣчанія, ибо увидишь вдругъ всю Москву со всѣми ея противуположностями.

Вотъ большая карета, которую на силу тянетъ четверня: въ ней чудотворный образъ, передъ нимъ монахъ съ большою свѣчей. Вотъ старинная Москва и остатокъ древняго обряда прародителей!

Посторонись! Этотъ ландо насъ задавитъ: въ немъ сидитъ щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера, все въ послѣднемъ вкусѣ. Вотъ и новая Москва, новѣйшіе обычаи!

Взгляни сюда, счастливецъ! Возлѣ огромныхъ чертоговъ вотъ хижина, жалкая обитель нищеты и болѣзней. Здѣсь цѣлое се-

мейство, изнуренное нуждами, голодомъ и стужей: дѣти полунагія, мать за прялицей, отецъ, старый заслуженный офицеръ въ изорванномъ маіорскомъ камзолѣ, починиваетъ старые башмаки и ветхій плащъ, затѣмъ, чтобъ по утру можно было выйдти на улицу просить у прохожихъ кусокъ хлѣба, а оттуда пробраться къ человѣколюбивому лѣкарю, который посѣщаетъ его больную дочь. Вотъ Москва, большой городъ, жилище роскоши и нищеты!

Но здѣсь предъ нами огромныя палаты съ высокими мраморными столбами, съ большимъ подъѣздомъ. Этотъ домъ открытъ для всякаго, кто можетъ сказать роскошному Амфитріону:

Joignez un peu votre inutilité
A ce fardeau de mon oisiveté.

Хозяинъ цѣлый день зѣваетъ у камина, между тѣмъ какъ вокругъ его все въ движеніи: роговая музыка гремитъ на хорахъ, вся челядь въ галунахъ, и роскошь опрокинула на столъ полный рогъ изобилія. Въ этомъ человѣкѣ всѣ страсти изчезли; его сердце, его умъ и душа износились и обветшали. Самое самолюбіе его оставило. Онъ, конечно, великій философъ, если совершенное равнодушіе посреди образованнаго общества можно назвать мудростію. Онъ окруженъ ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которыхъ онъ презираетъ отъ всей души, но безъ нихъ обойтиться не можетъ. Его тупоуміе невѣроятно. Пользуясь всѣми выгодами знатнаго состоянія, которымъ онъ обязанъ предкамъ своимъ, онъ даже не знаетъ, въ какихъ губерніяхъ находятся его деревни; за то знаетъ по пальцамъ всѣ подробности двора Людовика XIV по запискамъ Сенъ-Симона, перечтетъ всѣхъ любовницъ его и регента, одну послѣ другой, и назоветъ всѣ парижскія улицы. Его домъ можно назвать гостинницей праздности, шума и новостей, посреди которыхъ хозяинъ осужденъ на вѣчную скуку и вѣчное бездѣйствіе. Вотъ слѣдствіе роскоши и праздности въ сей обширнѣйшей изъ столицъ, въ семъ маломъ мірѣ!

Я думаю, что ни одинъ городъ не имѣетъ ниже малѣйшаго сходства съ Москвою. Она являетъ рѣдкія противуположности въ строеніяхъ и нравахъ жителей. Здѣсь роскошь и нищета, изобиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе, постоянство дѣдовскихъ временъ и вѣтреность неимовѣрная, какъ враждебныя стихіи, въ вѣчномъ несогласіи и составляютъ сіе чудное, безобразное, исполинское цѣлое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ: Москва. Но праздность есть нѣчто общее, исключительно принадлежащее сему городу; она болѣе всего примѣтна въ какомъ-то безпокойномъ любопытствѣ жителей, которые безпрестанно ищутъ новаго разсѣянія. Въ Москвѣ отдыхаютъ, въ другихъ городахъ трудятся менѣе или болѣе, и потому-то въ Москвѣ знаютъ скуку со всѣми ея мученіями. Здѣсь хвалятся гостепріимствомъ, но — между нами — что̀ значитъ это слово? Часто — любопытство. Въ другихъ городахъ васъ узнаютъ съ хорошей стороны и приглашаютъ навсегда; въ Москвѣ сперва пригласятъ, а послѣ узнаютъ. Музыка прошлой зимы вскружила всѣмъ головы; вся Москва пѣла: я думаю отъ скуки. Нынѣ вся Москва танцуетъ — отъ скуки. Здѣсь всѣ влюблены или стараются влюбляться: я бьюсь объ закладъ, что это дѣлается отъ скуки. Молодыя женщины играютъ на театрѣ, а старухи ѣздятъ по монастырямъ — отъ скуки, и это всякому извѣстно. Карусель, который стоилъ столько издержекъ, родился отъ скуки. Однимъ словомъ, здѣсь скуку можно назвать великою пружиною: она поясняетъ много странныхъ обстоятельствъ. Для жителей московскихъ необходимо нужны новыя гулянья, новыя праздники, новыя зрѣлища и новыя лица. Здѣсь славная актриса Жоржъ принята была съ восторгомъ и скоро наскучила большому свѣту. Сію холодность къ дарованію издатель Русскаго Вѣстника готовъ приписать къ патріотизму; онъ весьма грубо ошибается.

Москва есть большой провинціальный городъ, единственный, несравненный: ибо что значитъ имя столицы безъ двора? Москва идетъ сама собою къ образованію, ибо на нее почти никакія об-

стоятельства вліянія не имѣютъ. Здѣсь всякій можетъ дурачиться какъ хочетъ, жить и умереть чудакомъ. Самый Лондонъ бѣднѣе Москвы по части нравственныхъ каррикатуръ. Какое обширное поле для комическихъ авторовъ, и какъ они мало чувствуютъ цѣну собственной неистощимой руды! Надобно еще замѣтить, что здѣсь семейственная жизнь, которую можно назвать хранительницею нравовъ, придаетъ какое-то добродушіе и откровенность всѣмъ поступкамъ. Это замѣтилъ мнѣ Англичанинъ-путешественникъ, который называлъ Москву прелестнѣйшимъ городомъ въ мірѣ и прощался съ нею со слезами.

Но время летитъ, и почти часъ обѣда приходитъ. Мы опоздали зайдти въ этотъ домъ, котораго наружность вовсе не привлекательна. Здѣсь большой дворъ, заваленный соромъ и дровами; позади огородъ съ простыми овощами, а подъ домомъ большой подъѣздъ съ перилами, какъ водилось у нашихъ дѣдовъ. Войдя въ домъ, мы могли бы увидать въ прихожей слугъ оборванныхъ, грубыхъ и пьяныхъ, которые отъ утра до ночи играютъ въ карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, на одной стѣнѣ большіе портреты въ ростъ царей Русскихъ, а напротивъ — Юдиѳь, держащая окровавленную голову Олоферна надъ большимъ серебрянымъ блюдомъ, и обнаженная Клеопатра съ большой зміею: чудесныя произведенія кисти домашняго маляра. Сквозь окна мы можемъ видѣть накрытый столъ, на которомъ стоятъ щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Хозяинъ въ тулупѣ, хозяйка въ салопѣ; по правую сторону приходскій попъ, приходскій учитель и шутъ, а по лѣвую — толпа дѣтей, старуха-колдунья, мадамъ и гувернеръ изъ Нѣмцевъ. О, это домъ стараго Москвича, богомольнаго князя, который помнитъ страхъ Божій и воеводство. Пойдемъ далѣе. Вотъ маленькій деревянный домъ, съ палисадникомъ, съ чистымъ дворомъ, обсаженнымъ сиренями, акаціями и цвѣтами. У дверей насъ встрѣчаетъ учтивый слуга не въ богатой ливреѣ, но въ простомъ опрятномъ фракѣ. Мы спрашиваемъ хозяина: Войдите! Комнаты чисты, стѣны расписаны искусной

кистію, а подъ ногами богатые ковры и полъ лакированный. Зеркала, свѣтильники, кресла, диваны, все прелестно и, кажется, отдѣлано самимъ богомъ вкуса. Здѣсь и общество совершенно противно тому, которое мы видѣли въ сосѣднемъ домѣ. Здѣсь обитаетъ привѣтливость, пристойность и людскость. Хозяйка зоветъ насъ къ столу: мы сядемъ гдѣ хотимъ, безъ принужденія, и можетъ быть, развеселенный старымъ виномъ, я скажу, только не въ слухъ:

Налейте мнѣ еще шампанскаго стаканъ:
Я—сердцемъ Славянинъ, желудкомъ галломанъ!

Вотъ ударило шесть часовъ: мы можемъ идти въ театръ. Я скажу тебѣ, что я видѣлъ въ Петербургѣ дурныхъ актеровъ, слышалъ на сценѣ нестройные крики, провинціальное нарѣчіе, видѣлъ кривлянія, подлые жесты и самые дурные навыки; видѣлъ, что актеръ не умѣлъ и не хотѣлъ понимать своей роли, читалъ въ глазахъ его самое глубокое невѣжество; однимъ словомъ, я видѣлъ русскую комедію, русскую трагедію и оперу; видѣлъ и сказалъ: Можетъ ли что быть хуже этого? Теперь, побывавъ въ московскомъ театрѣ, могу смѣло отвѣчать самому себѣ: Можетъ и есть хуже! Здѣсь опера не хороша, комедія еще хуже, а трагедія и еще хуже комедіи. Но французскіе актеры не лучше русскихъ. Я видѣлъ Тезея, которому мнѣ хотѣлось сказать: Братецъ, вычисти мнѣ сапоги! Я бьюсь объ закладъ, что онъ былъ честный артистъ décrotteur и, постепенно переходя изъ состоянія въ состояніе, сдѣлался наконецъ актеромъ вопреки уму и природѣ и теперь весьма спокойно тиранитъ стихи Ивана Расина въ бѣлокаменной Москвѣ. Я видѣлъ Ипполита, сего дикаго Скиѳа, которому въ уста безсмертный авторъ Федры вложилъ прекраснѣйшіе стихи, я видѣлъ сего гордаго Ипполита въ самомъ жалкомъ положеніи: черные его волосы, которые до сихъ поръ, падая по высокому стройному челу, вились кудрями, подобно кудрямъ Аполлона Бельведерскаго, сіи волосы порыжѣли; чистые пламенные глаза его сдѣлались отъ времени свинцовыми. Конечно, нашъ Скиѳъ немного поразвратился. Ноги

и руки жалкимъ образомъ высохли и пожелтѣли. Голосъ звонкій, чистый, голосъ дѣвственника Ипполита, сдѣлался вялъ, тяжелъ и совершенно охрипъ. Однимъ словомъ, Ипполитъ Расиновъ или Эврипидовъ превратился въ бѣднаго Фаржа, Француза, который живетъ на Кузнецкомъ мосту въ магазинѣ духовъ и помадъ.

Занавѣсъ подымается. Ты можешь повѣрить мои замѣчанія или, лучше, не дождавшись конца французской трагедіи, воспользоваться прекраснымъ майскимъ вечеромъ на Прѣснѣ.

Пруды украшаютъ городъ и дѣлаютъ прелестное гулянье. Тамъ собираются тѣ, которые не имѣютъ подмосковныхъ, и гуляютъ до ночи. Посмотри, какъ эти мосты и рѣшетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленымъ лугомъ, не довольно широки. Большое стеченіе экипажей со всѣхъ концовъ обширнаго города, пѣвчіе и роговая музыка дѣлаютъ сіе гульбище однимъ изъ пріятнѣйшихъ. Здѣсь тѣ же люди, что на булеварѣ, но съ большею свободою. Какое множество прелестныхъ женщинъ! Москву по истинѣ можно назвать Цитерою. Посмотри! Этой малюткѣ четырнадцать лѣтъ, и она такъ невинно улыбается! Но вотъ идетъ красавица: ее всѣ знаютъ подъ симъ названіемъ, теперь она первая по городу. За ней толпа, а мужъ, спокойно зѣвая позади, говоритъ о Турецкой войнѣ и о травлѣ медвѣдей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человѣкъ ее поднялъ. Жаль, что этого не видалъ старый болтунъ N...., отставной полковникъ, который промышляетъ новостями. Посторонитесь, посторонитесь! Дайте дорогу кумѣ-болтуньѣ-спорщицѣ, пожилой бригадиршѣ, жарко нарумяненной, набѣленной и закутанной въ черную мантилью. Посторонитесь вы, господа, и вы, молодыя дѣвушки! Она—вашъ Аргусъ неусыпный, ваша совѣсть, все знаетъ, все замѣчаетъ и завтра же поѣдетъ разсказывать по монастырямъ, что такая-то наступила на ногу такому-то, что этотъ поблѣднѣлъ, говоря съ той, а та на канунѣ поссорилась съ мужемъ, потому что сегодня, разговаривая съ его братомъ, разгорѣлась какъ роза... Какой это чудакъ, закутанный въ шубу, въ бархатныхъ сапогахъ и въ собольей шапкѣ? За

нимъ идетъ слуга съ термометромъ. О, это человѣкъ, который болѣе полувѣка какъ все простужается! Замѣтимъ этихъ щеголей; они такъ заняты собою! Одинъ въ цвѣтномъ платочкѣ съ букетомъ цвѣтовъ, съ лорнетомъ, такъ нѣжно улыбается, и въ улыбкѣ его видѣнъ слѣдъ труда. Другой молчитъ, завсегда молчитъ: онъ умѣетъ одѣваться, ерошить волосы, а говорить не мастеръ. Тамъ, вдали на лавкѣ, сидитъ красавица полупоблеклая. Она вздохнула еще разъ... о томъ, что ея мѣсто заступила новая, которая идетъ мимо ея и гордо улыбается. Постой, прелестница! Еще двѣ весны, и ты въ свою очередь будешь сидѣть одна на лавкѣ: ты идешь, и время за тобою... Куда спѣшитъ этотъ пожилой холостякъ? Онъ задыхается отъ жиру, и потъ съ него катится ручьями. Онъ спѣшитъ въ англійскій клубъ пробовать новаго повара и заморскій портеръ. А этотъ гусаръ о чемъ призадумался, опершись на свою саблю? О, причина важная! Вчера онъ былъ одинъ во всей Москвѣ, — теперь явился другой гусаръ, во сто разъ милѣе и любезнѣе: по крайней мѣрѣ такъ говорятъ въ домѣ княгини N., которая по произволенію раздаетъ умъ и любезность—и его бѣднаго забыла! Но кто это болтаетъ палкою въ прудѣ съ большимъ успѣхомъ, ибо на него посмотрѣли двѣ мимоидущія старухи, двѣ столѣтнія Парки? О, не мѣшайте ему! Это тотъ важный, глубокомысленный человѣкъ, который мутилъ въ дѣлахъ государственныхъ и теперь пузыритъ воду. Вотъ два чудака: одинъ изъ нихъ бранитъ погоду, а время очень хорошо; другой бранитъ людей, а люди все тѣ же; и оба бранятъ правительство, которое въ нихъ нужды не имѣетъ и, что всего досаднѣе, не заботится о ихъ рѣчахъ. Оба они недовольные. Они очень жалки! Одинъ имѣетъ сто тысячъ доходу, и желудокъ его варить не можетъ. Другой прожился на фейерверкахъ и называетъ людей неблагодарными за то, что они не собираются въ его садъ, въ глубокую полночь. Но кто этотъ пожилой человѣкъ, высокій и блѣдный, какъ покойный капитанъ Хинъ-Хилла? Старый щеголь, великій мастеръ дѣлать визиты, который на погребеніяхъ и на свадьбахъ является какъ тѣнь.

какъ памятникъ временъ Екатерининскихъ: онъ человѣкъ праздный, говорунъ скучный, ибо лгать не умѣетъ за недостаткомъ воображенія, а молчать не можетъ за недостаткомъ мысленной силы.

Это гульбище имѣетъ великое сходство съ Полями Елисейскими. Здѣсь мы видимъ тѣни великихъ людей, которые, отыгравъ важныя роли въ свѣтѣ, запросто прогуливаются въ Москвѣ. Многіе изъ нихъ пережили свою славу. Eheu, fugaces!..

Но заря потухаетъ. Всѣ разъѣхались. Прости, до будущей прогулки.

III.

Путешествіе въ замокъ Сирей.

Письмо изъ Франціи къ Д. В. Дашкову.

Изъ деревни Болонь, лежащей близъ города Шомона, я поскакалъ верхомъ въ Сонкуръ, гдѣ ожидали меня баронъ де-Дамасъ и г. Писаревъ, съ которыми на канунѣ уговорился я посѣтить замокъ Сирей и поклониться тѣнямъ Вольтера и его пріятельницы. Въ окрестностяхъ Сирея назначены были квартиры нашему отряду; полки тянулись по дорогѣ, и мы ихъ опередили въ ближнемъ селеніи. Сначала погода намъ вовсе не благопріятствовала: холодный и рѣзкій вѣтеръ наносилъ снѣгъ и дождь; наконецъ небо прояснилось, и солнце освѣтило прекрасныя долины, рощи и горы. Мы проѣхали чрезъ мѣстечко Виньори, гдѣ замѣтили развалины весьма древняго замка на высокомъ утесѣ, который господствуетъ надъ селеніемъ и близъ лежащими долинами:

Ein bethürmtes Schloss, voll Majestät,
Auf des Berges Felsenstirn erhöht!

«Кому принадлежитъ этотъ замокъ?» спросилъ я у старика, сидящаго на порогѣ сельскаго домика, тѣсно примыкающаго къ развалинамъ. «Какой-то старой дворянкѣ», отвѣчалъ онъ, приподнявъ красный колпакъ, старый, изношенный, и который, конечно, игралъ большую ролю въ бурные годы революціи. Это замѣчаніе я сдѣлалъ мимоходомъ и продолжалъ вопросы. «Когда

14*

построенъ замокъ?» «Во время Шампанскихъ графовъ, сказывалъ мнѣ покойный дѣдъ [1]). Храбрые рыцари искали здѣсь убѣжища отъ народныхъ возмущеній и укрѣпили замокъ башнями, рвами, палисадами. Время и революція все разрушили. Здѣсь не одна была революція, господинъ офицеръ, не одна революція! Я на вѣку моемъ пережилъ одну; тяжелыя времена... не лучше нынѣшнихъ! Посадили дерево вольности... я самъ имѣлъ честь садить его вотъ тамъ, на зеленомъ лугу... Разорили храмы Божіи... У меня рука не подымалась на злое!.. Но чѣмъ же это все кончилось? Дерево срубили, и надписи на паперти церковной: вольность, братство или смерть мѣломъ забѣлили. Чего я не насмотрѣлся въ жизни? И непріятелей на родинѣ моей увидѣлъ, и съ офицеромъ казачьимъ теперь разговариваю! Чудеса, по совѣсти чудеса!» «Ты разорился отъ войны, добрый старичекъ?» «Много пострадалъ, а бѣдные сосѣди еще болѣе. Мы всѣ желаемъ мира». «О, мы знаемъ это, но императоръ вашъ не желаетъ». «Прямой Корсиканецъ! Знаете ли, что онъ объявилъ намъ?» Здѣсь старикъ покачалъ головою, посмотрѣлъ на меня пристально и, конечно отъ робости, заикнулся. «Говори, говори!» «Охотно, если прикажете. Императоръ»—это было сказано важнымъ и торжественнымъ голосомъ—«императоръ объявилъ намъ, что онъ не хочетъ

[1]) Французы и теперь мало заботятся о древнихъ памятникахъ. Развалины, временемъ сдѣланныя, ничего въ сравненіи съ опустошеніями революціи: бурныя времена прошли, но невѣжество или корыстолюбіе самое варварское пережили и революцію. Одинъ путешественникъ, который недавно объѣхалъ всю полуденную Францію, увѣрялъ меня, что цѣлые замки продаются на своз, и такимъ образомъ вдругъ уничтожаются драгоцѣнные историческіе памятники. Напрасно правительство хотѣло остановить сіи святотатства; ничто не помогало, ибо для нынѣшнихъ Французовъ ничего нѣтъ ни священнаго, ни святаго — кромѣ денегъ, разумѣется. Какая разница съ Нѣмцами! Въ Германіи вы узнаете отъ крестьянина множество историческихъ подробностей о малѣйшемъ остаткѣ древняго замка или готической церкви. Всѣ рейнскія развалины описаны съ возможною исторической точностію учеными путешественниками и художниками, и сіи описанія вы нерѣдко увидите въ хижинѣ рыбака или земледѣльца. Притомъ же Нѣмцы издавна любятъ все сохранять, а Французы—разрушать: вѣрный знакъ, съ одной стороны, добраго сердца, уваженія къ законамъ, къ правамъ и обычаямъ предковъ, а съ другой стороны—легкомыслія, суетности и жестокаго презрѣнія ко всему, что не можетъ насытить корыстолюбія, отца пороковъ.

трактовать о мирѣ съ плѣнными, ибо онъ почитаетъ васъ въ плѣну. Онъ нарочно завелъ васъ сюда, чтобы истребить до послѣдняго человѣка: это была военная хитрость, понимаете ли?... военная хитрость, не что иное... Но вы смѣетесь... И намъ это смѣшно показалось, такъ смѣшно, что мы префекта, пріѣхавшаго сюда съ этимъ объявленіемъ, камнями и грязью закидали. Il s'en souviendra! Но вамъ пора догонять товарищей. Добрый путь, господинъ офицеръ!»

Размышляя о странномъ характерѣ Французовъ, которые смѣются и плачутъ, рѣжутъ ближнихъ, какъ разбойники, и даютъ себя рѣзать, какъ агнцы, я догналъ моихъ товарищей.

Часъ отъ часу дорога становилась пріятнѣе: холмы, одѣтые виноградникомъ и плодоносными деревьями, между коими мелькали пріятные сельскіе домики, напоминали намъ Саксонію, благословенныя долины Дрездена, мѣста очаровательныя! Разговаривая съ товарищами и любуясь красотою видовъ, мы непримѣтно проѣхали нѣсколько миль; каждый замокъ, каждое мѣстечко мы принимали за Сирей и смѣялись своей ошибкѣ. Наконецъ, поворотя вправо съ большой дороги, вдоль по рѣчкѣ Блезъ, мы увидѣли жилище славной нимфы Сирейской, которой одно имя рождаетъ столько пріятныхъ воспоминаній...

Во ста шагахъ отъ селенія возвышается замокъ на высокомъ уступѣ; кругомъ рощи и кустарники. Все просто, но природа все украсила.

Къ замку примыкаетъ англійскій садъ и нѣсколько тѣнистыхъ аллей, къ которымъ никогда не прикасались ножницы, даже въ тѣ времена, когда безжалостный Ленотръ остригалъ боскеты версальскіе, когда послѣдній провинціальный дворянинъ разсаживалъ по шнуру смиренныя акаціи и овощи въ своемъ огородѣ. Вольтеръ, говоря о замкѣ Сирейскомъ, описывая красоты его окрестностей—кажется, въ письмѣ къ королю Прусскому,—прибавляетъ:

Trop d'art me révolte et m'ennuie:
J'aime mieux ces vastes forêts!

Эти лѣса и нынѣ украшаютъ Сирей своею дикостію. Замокъ сохранилъ древнюю наружность; можно отличить новыя пристройки и балконы. Они принадлежатъ къ Вольтерову времени. На крутой кровлѣ (à la mansarde) я замѣтилъ нѣкоторыя украшенія и высокія продолговатыя трубы, обложенныя лѣпными изображеніями, похожія на трубы замка Pont-sur-Seine, принадлежащаго Летиціи, матери Наполеона. Мы вошли въ Сирей и удивились обширнымъ заламъ, убраннымъ въ новѣйшемъ вкусѣ. Наружность того не обѣщала.

Замокъ принадлежитъ г-жѣ де-Семіанъ, женщинѣ весьма умной, нѣкогда прекрасной. Онъ былъ разграбленъ въ революцію, и послѣ того времени все строеніе возобновлено [1]). Къ сожалѣнію, мы нашли мало слѣдовъ прежней обладательницы и ея славнаго друга, который, какъ говоритъ Лебрюнъ, утомилъ стогласную Славу.

Въ столовой нѣсколько картинъ, изображающихъ звѣрей и охоту. Эта живопись, довольно пріятная, существовала уже при маркизѣ, и мы смотрѣли на нее съ большимъ удовольствіемъ. Пройдя нѣсколько покоевъ, въ правомъ флигелѣ замка намъ отворили дверь въ залу Вольтерову.

Здѣсь мы нашли большой мраморный каминъ, тотъ самый, который согрѣвалъ Вольтера, нѣсколько новыхъ мебелей: клависинъ, маленькій органъ и два комода. Окны до полу. Двѣ круглыя стеклянныя двери въ садъ; одна изъ нихъ украшена надписями, на камнѣ высѣченными. На фронтонѣ мы прочитали Виргиліевъ стихъ: Deus nobis haec otia fecit, изъ первой эклоги; на косякѣ нѣсколько стиховъ изъ Попе, котораго Вольтеръ всегда любилъ, и наконецъ:

Asile des beaux-arts, solitude où mon coeur
Est toujours occupé dans une paix profonde,
C'est vous qui donnez le bonheur
Que promettait en vain le monde —

[1]) По отступленіи Русскихъ Сирей былъ снова разграбленъ Французами за то именно, что русскіе варвары его пощадили.

стихи, написанные Вольтеромъ въ счастливую минуту наслажденія душевнаго, въ глазахъ божественной Эмиліи, единственной женщины, которую онъ любилъ наравнѣ со славою, которой онъ былъ обязанъ всѣмъ, и которая достойно гордилась дружбою творца Заиры [1]). Изъ оконъ сей залы видны ближшія деревни и два ряда холмовъ, заключающихъ прелестную долину, по которой извивается рѣчка Блезъ. Въ глубокомъ молчаніи и я, и товарищи долго любовались пріятнымъ видомъ отдаленныхъ горъ, на которыхъ потухали лучи вечерняго солнца. Можетъ быть, совершенная тишина, царствующая вокругъ замка, печальное спокойствіе зимняго вечера, зелень, кое-гдѣ одѣтая снѣгомъ, высокія сосны и древніе кедры, осѣняющіе балконъ густыми, наклоненными вѣтвями и едва колеблемые дыханіемъ вечерняго вѣтра, наконецъ сладкія воспоминанія о жителяхъ Сирея, которыхъ имена принадлежатъ исторіи, которыхъ имена отъ дѣтства намъ были драгоцѣнны, погрузили насъ въ тихую задумчивость.

«Здѣсь фернейскій мудрецъ»—такъ воскликнулъ г. Р-нъ, житель Сирея, прервавъ наше молчаніе,—«здѣсь славнѣйшій мужъ своего вѣка, чудесный, единственный, который, какъ говорятъ, вырѣзывалъ на мѣди для потомства [2]), который все зналъ, все сказалъ [3]), который имѣлъ доброе, рѣдкое сердце, умъ гибкій, обширный, блестящій, способный на все, и наконецъ, характеръ вовсе не сообразный ни съ умомъ его, ни съ сердцемъ,—здѣсь онъ жилъ, сей Протей ума человѣческаго; здѣсь во цвѣтѣ лѣтъ своихъ наслаждался онъ уединеніемъ и свободою, которымъ зналъ цѣну, и долго не покидалъ ихъ для коронованной сирены, для

[1]) Напрасно мы искали въ саду мраморнаго Амура, который нѣкогда стоялъ подъ балкономъ, съ надписью изъ Антологіи: Qui, que tu sois, voici ton maître, и пр., которую перевелъ г. Дмитріевъ:

Кто бъ ни былъ ты, пади предъ нимъ:
Былъ, есть иль будетъ онъ владыкою твоимъ!

[2]) Qui gravait pour la postérité—выраженіе Паллисота, если не ошибаюсь.

[3]) Qui a tout dit: Шатобріанъ, говоря о Вольтерѣ.

рукоплесканій и для прихожей г-жи Помпадуръ. Странный человѣкъ! Онъ многое предвидѣлъ, многое предсказалъ въ политикѣ; но могъ ли онъ предвидѣть, что, нѣсколько десятковъ лѣтъ спустя, вы придете въ замокъ Эмиліи съ оружіемъ въ рукахъ, съ толпою жителей береговъ Волги и людей, піющихъ воды сибирскія, и что тамъ, гдѣ маркиза прекрасною рукою поливала макъ, розы и лилеи, кормила голубей ячменемъ, вотъ у этой самой голубятни, что тамъ, гдѣ она любила отдыхать подъ тѣнью древнихъ кедровъ, у входа въ Заирину аллею [1]), гдѣ Вольтеръ у ногъ ея въ восторгѣ читалъ первые стихи безсмертной трагедіи и искалъ похвалъ и одобренія въ голубыхъ глазахъ своей Ураніи, въ божественной ея улыбкѣ, — тамъ, милостивые государи, тамъ вы разставите часовыхъ съ ужасными усами, гренадеръ и казаковъ, которые приводятъ въ трепетъ всю Францію?...»

Мы засмѣялись словамъ г. Р-на, и онъ продолжалъ, понизивъ немного свой голосъ:

«Здѣсь долгое время былъ счастливъ Вольтеръ въ объятіяхъ музъ и попечительной дружбы. Тамъ, гдѣ я обитаю, земной рай, писалъ онъ къ пріятелю своему Теріо. Не мудрено! Представьте себѣ лучшее общество, ученѣйшихъ людей во Франціи, придворныхъ, остроумныхъ поэтовъ, такихъ, напримѣръ, какъ Сенъ-Ламберъ, который умѣлъ соединять любезность съ глубокими свѣдѣніями, философію съ людскостію, и въ кругу такихъ людей маркизу, которая умѣла все одушевить своимъ присутствіемъ, всему давала неизъяснимую прелесть, — и вы будете имѣть понятіе о земномъ раѣ Вольтера. Она—чудо во Франціи, говорилъ Вольтеръ [2]). Умъ необыкновенный, лице прекрасное, душа ангела, откровенность ребенка и ученость глубокая, все было очаровательно въ этой волшебницѣ! Она, вопреки г-жѣ

[1]) И до сихъ поръ одна аллея называется Заириною. Тамъ сочинялъ Вольтеръ свою трагедію.

[2]) «Madame du Châtelet sera comptée au rang des choses qu'il faut voir en France, parmi celles, qu'on y regrettera toujours», писалъ Вольтеръ къ Кейзерлингу.

Жанлисъ, вопреки журналисту Жоффруа и всѣмъ врагамъ философіи, была достойна и пламенной любви Сенъ-Ламбера, и дружбы Вольтера, и славы вѣка своего. Здѣсь маркиза кончила жизнь свою на лонѣ дружества. Всѣ жители плакали о ней, какъ о нѣжной, попечительной матери. У бѣдныхъ память въ сердцѣ: они еще благословляли прахъ ея, когда литераторы наши начали возмущать его спокойствіе клеветами и постыднымъ ругательствомъ. Но Вольтеръ былъ неутѣшенъ. Вы помните его письмо, въ которомъ онъ изъ Баръ-Сюръ-Оба увѣдомляетъ о болѣзни и потомъ о смерти маркизы. Безпорядокъ этого письма доказывалъ его глубокую горесть. И могъ ли онъ не сожалѣть объ утратѣ единственной женщины, о которой и вы, иностранцы, непріятели, говорите съ любовію, съ уваженіемъ?»

Нашъ учтивый путеводитель продолжалъ бы болѣе рѣчь свою, если бы не позвали къ обѣду.

Столовая была украшена русскими знаменами... Но мы утѣшили пугливыя тѣни Сирейской нимфы и ея друга, прочитавъ нѣсколько стиховъ изъ Альзиры.

Такимъ образомъ примирились мы съ пенатами замка, и съ нѣкоторою гордостію, простительною воинамъ, въ тѣхъ покояхъ, гдѣ Вольтеръ написалъ лучшіе свои стихи, мы читали съ восхищеніемъ оды пѣвца Фелицы и безсмертнаго Ломоносова, въ которыхъ вдохновенные лирики славятъ чудесное величіе Россіи, любовь къ отечеству сыновъ ея и славу меча русскаго.

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière.

Отъ сѣвера теперь сіяетъ свѣтъ наукъ.

Обѣдъ продолжался долго. Вечеръ засталъ насъ, какъ героевъ древняго Омера, съ чашею въ рукахъ и въ сладкихъ разговорахъ, основанныхъ на откровенности сердечной, извѣстныхъ болѣе добродушнымъ воинамъ, нежели вамъ, жителямъ столицы и блестящаго большаго свѣта.

Но мы еще воспользовались сумерками: обошли нижнее жилье замка, гдѣ живетъ г-жа де-Семіанъ; осмотрѣли ея библіотеку,

прекрасный и строгій выборъ лучшихъ писателей, составляющихъ любимое чтеніе сей умной женщины, достойной племянницы г-жи дю-Шатле: любезность, умъ и красота наслѣдственны въ этомъ семействѣ. Есть другая библіотека въ нижнемъ этажѣ; она, кажется, предоставлена гостямъ. Древнее собраніе книгъ, важное по многимъ отношеніямъ, совершенно расхищено въ революцію. Вольтеровыхъ книгъ и не было въ замкѣ со времени его отъѣзда: по смерти маркизы онъ увезъ съ собою книги, ему принадлежавшія, и нѣкоторыя рукописи. «Надобно ѣхать въ Ферней», говорилъ г. Р-нъ; — «тамъ, можетъ быть, находятся сіи драгоцѣнности». «Надобно ѣхать въ Петербургъ», замѣтилъ справедливо г. Писаревъ, — «въ Эрмитажѣ и рукописи, и библіотека фернейская».

Стужа увеличилась съ наступленіемъ ночи. Въ Вольтеровой галлереѣ мы развели большой огонь, который не могъ насъ согрѣть совершенно. Передъ нами на столѣ лежали всѣ Вольтеровы сочиненія, и мы читали съ большимъ удовольствіемъ нѣкоторыя мѣста его переписки, въ которыхъ онъ говоритъ о г-жѣ дю-Шатле. Въ шумѣ военномъ пріятно отдохнуть мыслями на предметѣ, столь любви достойномъ. Глубокая ночь застала насъ въ разговорахъ о протекшемъ вѣкѣ, о великой Екатеринѣ, лучшемъ его украшеніи, о ссорѣ короля Прусскаго съ своимъ камергеромъ и пр., у того самаго камина, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Вольтеръ сочинялъ свои посланія къ славнымъ современникамъ и тѣ безсмертные стихи, для которыхъ единственно проститъ его памяти справедливо раздраженное потомство. Г. Писаревъ былъ въ восхищеніи. Наконецъ, надобно было разстаться и думать о постелѣ. Мнѣ отвели комнату въ верхнемъ жильѣ, весьма покойную, но гдѣ съ трудомъ можно было развести огонь. Старый ключникъ объявилъ мнѣ, что въ этомъ покоѣ обыкновенно живетъ г. Монтескіу, родственникъ хозяйки, весьма умный и благосклонный человѣкъ, и что онъ, ключникъ, радуется тому что, мнѣ досталась его спальня. «Vous avez l'air d'un bon enfant, mon officier», продолжалъ онъ, дружелюбно ударивъ меня

по плечу. Прекрасно; но отъ его учтивостей комната мнѣ не показалась теплѣе. Во всю ночь я раскладывалъ огонь, проклиналъ французскіе камины и только на разсвѣтѣ заснулъ желѣзнымъ сномъ, позабывъ и Вольтера, и маркизу, и войну, и всю Францію.

Проснувшись довольно поздно, подхожу къ окну и съ горестью смотрю на окресность, покрытую снѣгомъ.

Я не могу изъяснить того чувства, съ которымъ, стоя у окна, высчитывалъ я всѣ перемѣны, случившіяся въ замкѣ. Сердце мое сжалось. Все, что было пріятно моимъ взорамъ на канунѣ, и луга, и рощи, и рѣчка, близъ текущая по долинѣ между веселыхъ холмовъ, украшенныхъ садами, виноградникомъ и сельскими хижинами, все нахмурилось, все уныло. Вѣтеръ шумитъ въ кедровой рощѣ, въ темной аллеѣ Заириной и клубитъ сухіе листья вокругъ цвѣтниковъ, истоптанныхъ лошадьми и обезображенныхъ снѣгомъ и грязью. Въ замкѣ, напротивъ того, тишина глубокая. Въ каминѣ пылаютъ два дубовые корня и приглашаютъ меня къ огню. На столѣ лежатъ письма Вольтеровы, изъ сего замка писанныя. Въ нихъ все напоминаетъ о временахъ прошедшихъ, о людяхъ, которые всѣ изчезли съ лица земнаго съ своими страстями, съ предразсудками, съ надеждами и съ печалями, неразлучными спутницами бѣднаго человѣчества. Къ чему столько шуму, столько безпокойства? Къ чему эта жажда славы и почестей? спрашиваю себя, и страшусь найдти отвѣтъ въ собственномъ моемъ сердцѣ.

На другой день.

Въ вечеру я простился съ товарищами, какъ будто предчувствуя, что ихъ долго, долго не увижу. Печаленъ.

Come navigante
Ch'a detto a dolci amici addio.

На дворѣ ожидалъ меня казакъ съ верховою лошадью. «Поздно мы пустились въ путь!» сказалъ онъ, какъ мертвецъ въ

балладѣ. «Что нужды?» отвѣчалъ я,—«дорога извѣстна». Притомъ же...

Вотъ и мѣсяцъ величавой
Всталъ надъ тихою дубравой.

Топотъ конскихъ ногъ раздался по мостовой обширнаго двора. Мы удалились отъ замка... Между тѣмъ ночь становилась темнѣе и темнѣе. Съ трудомъ находили мы дорогу, пробирались по высокимъ горамъ дремучимъ лѣсомъ въ виду древняго замка Виньори, гдѣ Австрійцы расположились биваками, посреди лошадей и высокихъ фуръ, въ различныхъ положеніяхъ, достойныхъ кисти Орловскаго. Одни спокойно спали на соломѣ, которая начинала загораться; другіе распѣвали тирольскія и богемскія пѣсни вокругъ пылающаго пня, который осыпалъ ихъ искрами при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра; другіе оборачивали вертелъ съ большою частью барана, въ ожиданіи товарищей, которые толпились вокругъ маркитанта, разливающаго имъ вино и водку. Одѣяніе и лица ихъ еще страшнѣе казались, освѣщенныя пламенемъ бивака, и напоминали мнѣ Валленштейновъ лагерь, описанный Шиллеромъ, или сбировъ Сальватора Розы. Изъ Виньори мы поворотили вправо по дорогѣ, проложенной по лѣсу. Поднялась страшная буря: конь мой отъ страху останавливался, ибо вдали раздавался вой волковъ, на который собаки въ ближнихъ селеніяхъ отвѣчали протяжнымъ лаемъ...

Вотъ, скажете вы,—прекрасное предисловіе къ рыцарскому похожденію! Бога ради, сбейся съ пути своего, избавь какую-нибудь красавицу отъ разбойниковъ или заѣзжай въ древній замокъ. Хозяинъ его, старый дворянинъ, роялистъ, если тебѣ угодно, приметъ тебя какъ странника, угоститъ въ залѣ трубадуровъ, украшенной фамильными гербами, ржавыми панцырями, мечами и шлемами; хозяйка осыплетъ тебя ласками, станетъ разспрашивать о родинѣ твоей, будетъ выхвалять дочь свою, прелестную, томную Агнесу, которая, потупя глаза, покраснѣетъ какъ роза, а за десертомъ, въ угожденіе родителямъ, запоетъ древній романсъ о древнемъ рыцарѣ, который въ бурную ночь нашелъ пристанище

у невѣрныхъ... и проч. и проч. и проч. Напрасно, милый другъ! Со мной ничего подобнаго не случилось. Не стану слѣдовать похвальной привычкѣ путешественниковъ, не стану украшать истину вымыслами, а скажу просто, что, не желая ночевать на дорогѣ съ волками, я пришпорилъ моего коня и благополучно возвратился въ деревню Болонь, откуда пишу эти строки въ сладостной надеждѣ, что онѣ напомнятъ вамъ о странствующемъ пріятелѣ. Сказанъ походъ; вдали слышны выстрѣлы. Простите!

26-го февраля 1814 года.

IV.

Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу

о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева.

Перечитывая снова рукописи и сочиненія М. Н. Муравьева (изданныя по его кончинѣ. Москва. 1810), я осмѣлился сдѣлать нѣсколько замѣчаній. Двѣ причины были моимъ побужденіемъ. Вамъ будетъ пріятно, м. г., бесѣдовать со мною о незабвенномъ мужѣ, котораго утрата была столь горестна для сердца вашего. Все тѣснѣе и тѣснѣе связывало васъ съ покойнымъ вашимъ родственникомъ. Самая дружба питалась, возвеличивалась взаимною любовію къ музамъ, единственнымъ утѣшительницамъ сей бурной жизни. Она украсила дни цвѣтущей молодости вашей и позднимъ лѣтамъ приготовила сладостныя воспоминанія. Конечно, каждый стихъ, каждое слово Виргилія напоминаетъ вамъ о незабвенномъ другѣ вашемъ, ибо съ нимъ вы читали древнихъ, съ нимъ наслаждались прекрасными вымыслами чувствительнаго поэта Мантуи, глубокимъ смысломъ и гармоніей Горація, величественными картинами Тасса, Мильтона и неизъяснимою прелестью стенаній Петрарка, однимъ словомъ —всѣми сокровищами древней и новѣйшей словесности.

Вторую причину, побудившую меня говорить о сочиненіяхъ г. Муравьева, могу смѣло отнести на счетъ пользы обществен-

ной. Въ 1810 году г. Карамзинъ взялъ на себя пріятный трудъ быть издателемъ оныхъ, не смотря на важныя свои занятія по части исторіи, ибо онъ любилъ въ покойномъ авторѣ не одно искусство писать, соединенное съ обширною ученостію, но душу, прекрасную его душу. Говоря о писателѣ въ краткомъ предисловіи, онъ заключаетъ слѣдующими словами: «Страсть его къ ученію равнялась въ немъ только со страстію къ добродѣтели». Прекрасныя слова, и совершенно справедливыя! Кто зналъ сего мужа въ гражданской и семейственной его жизни, тотъ могъ легко угадывать самыя тайныя помышленія его души. Они клонились къ пользѣ общественной, къ любви изящнаго во всѣхъ родахъ и особенно къ успѣхамъ отечественной словесности. Онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ; онъ любилъ добродѣтель, какъ пламенный ея любовникъ, и всегда, во всѣхъ случаяхъ жизни, остался вѣренъ своей благородной страсти.

Послѣ долгаго отсутствія возвращаясь въ отчизну и съ новымъ удовольствіемъ принимаясь за русскія книги, я искалъ во всѣхъ журналахъ выгоднаго или строгаго приговора сочиненіямъ г. Муравьева. Четыре года прошло со времени ихъ изданія въ свѣтъ, и никто, ни одинъ изъ журналистовъ не упоминаетъ объ нихъ [1]). Чему приписать сіе молчаніе? Лѣни гг. редакторовъ и холодности читателей къ книгамъ полезнымъ, которыхъ появленіе столь рѣдко на горизонтѣ нашей словесности. Нѣкоторые изъ гг. журналистовъ нашихъ поставляютъ себѣ долгомъ говорить только о томъ, что подѣйствовало на чернь нашей публики. Они захвалятъ по одному предубѣжденію юный, возникающій талантъ или въ одномъ словѣ напишутъ ему страшный и несправедливый приговоръ. Ихъ лѣность сбираетъ плоды съ одного невѣжества.

[1]) Въ прошломъ 1813 году г. Гнѣдичъ упомянулъ о сочиненіяхъ г. Муравьева, говоря о лучшихъ нашихъ прозаическихъ писателяхъ въ Разсужденіи о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности. Мы съ удовольствіемъ услышали, что е. пр. г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа предписалъ чтеніе сочиненій г. Муравьева въ училищахъ сего округа.

Къ несчастію, они во многомъ похожи на нашихъ актеровъ, которые, играя для партера, забываютъ, что въ ложахъ присутствуютъ строгіе судьи искусства.

Я пропущу другую причину хладнокровія и малаго любопытства нашей публики къ отечественнымъ книгамъ. Онѣ происходятъ отъ исключительной любви къ французской словесности, и эта любовь неизлѣчима. Она выдержала всѣ возможныя испытанія и времени, и политическихъ обстоятельствъ. Все было сказано на сей счетъ; всѣ укоризны, всѣ насмѣшки Таліи и людей просвѣщенныхъ остались безъ пользы, безъ вниманія [1]). Но я твердо увѣренъ, что есть благоразумные читатели, которые, желая находить въ чтеніи пріятность, соединенную съ пользою, и будучи недовольны нашею литературою, столь бѣдною въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, часто съ горестію прибѣгаютъ къ иностранной. Такого рода люди—ихъ число ограничено—радуются появленію хорошей книги и перечитываютъ ее съ удовольствіемъ. Для нихъ я спѣшу сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія на сочиненія г. Муравьева вообще и напомянуть имъ о собственномъ ихъ богатствѣ.

Собраніе сихъ сочиненій (изданныхъ въ Москвѣ 1810) составлено изъ отдѣльныхъ піесъ, которыя, какъ говоритъ г. Ка-

[1]) Бурный и славный 1812 годъ миновался, и любовь къ отечеству, страсть благородная, не ослѣпляетъ насъ на счетъ французской словесности. Просвѣщенный Россіянинъ будетъ всегда уважать писателей Лудовикова вѣка: не сѣверъ есть родина Омаровъ. Наши воины, спасители Европы отъ новаго Аттилы, потушили пламенникъ брани въ отечествѣ Расина и Мольера и на другой день по вступленіи въ Парижъ, къ общему удивленію его жителей, рукоплескали величественнымъ стихамъ французской Мельпомены на собственномъ ея театрѣ. Но исключительная страсть къ какой-либо словесности можетъ быть вредна успѣхамъ просвѣщенія. Истина неоспоримая, которую г. Уваровъ, въ письмѣ къ г. Капнисту, изложилъ столь блестящимъ образомъ: «Безъ основательныхъ познаній и долговременныхъ трудовъ въ древней словесности», говоритъ почтенный защитникъ Омера и экзаметровъ, — «ни какая новѣйшая существовать не можетъ; безъ тѣснаго знакомства съ другими новѣйшими мы не въ состояніи обнять все поле человѣческаго ума, обширное и блистательное поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны бы умирать и всѣ ненависти гаснуть».

рамзинъ, были написаны авторомъ для чтенія великихъ князей. Онъ имѣлъ счастіе преподавать имъ наставленія въ россійскомъ языкѣ, въ нравственности и словесности [1]).

Желая начертать въ юной памяти историческія лица знаменитыхъ мужей, а особливо великихъ князей и царей Русскихъ, авторъ, подобно Фонтенелю, заставляетъ разговаривать ихъ тѣни въ царствѣ мертвыхъ. Но французскій писатель гонялся единственно за остроуміемъ: дѣйствующія лица въ его разговорахъ разрѣшаютъ какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется намъ, любуются сами тѣмъ, что̀ сказали. Подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко древніе герои преображаются въ придворныхъ Лудовикова времени и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ не достаетъ парика, манжетъ и красныхъ каблуковъ, чтобы шаркать въ королевской передней, какъ замѣчаетъ Вольтеръ — не помню въ которомъ мѣстѣ. Здѣсь совершенно тому противное: всякое лицо говоритъ приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомитъ насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ, съ Гораціемъ и пр. Онъ, какъ Фонтенель, разрѣшаетъ въ маленькой драмѣ своей какую-нибудь истину или политическую, или нравственную, но жертвуетъ ей ничтожными выгодами остроумія и, если смѣю сказать, скрывается за дѣйствующее лицо. Напримѣръ, желая сказать, что истинное богопочитаніе не разлучно съ человѣколюбіемъ, онъ заставляетъ разговаривать Игоря и Ольгу, которая была жестокою по добродѣтели и дѣйствовала по ложнымъ понятіямъ воспитанія и народныхъ нравовъ. Въ другомъ разговорѣ онъ выводитъ на сцену Карла Великаго и Владиміра, имѣя въ виду слѣдующее предложеніе: «Слава добрыхъ государей никогда не погибаетъ, и безпристрастный гласъ исторіи, отдѣляя отъ нихъ нѣкоторыя легкія несовершенства человѣчества, представляетъ добродѣтели ихъ для подражанія потомству». И такъ далѣе.

[1]) Нынѣ благополучно царствующему государю императору и цесаревичу великому князю Константину Павловичу.

Сіи разговоры и Письма обитателя предмѣстія могутъ замѣнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей. Въ нихъ моральныя истины изложены съ такою ясностію, съ такимъ добродушіемъ, облечены въ столь пріятныя формы слога, что самая разборчивая критика увѣнчаетъ ихъ похвалами. Насъ лучше удостовѣрятъ примѣры. Возьмемъ ихъ на удачу изъ Писемъ. Сочинитель, удаленный отъ городскаго шума, въ пріятномъ сельскомъ убѣжищѣ, на берегахъ свѣтлаго ручья, по которымъ разбросано нѣсколько кустовъ орѣшника, пишетъ къ своему пріятелю о различныхъ предметахъ, его окружающихъ, веселится сельскими картинами, мирнымъ счастіемъ полей и человѣкомъ, обитающимъ посреди чудесъ первобытной природы. Часто облако задумчивости осѣняетъ его душу; часто углубляется онъ въ самого себя и извлекаетъ истины, всегда утѣшительныя, изъ собственнаго своего сердца. Тихая, простая, но веселая философія, неразлучная подруга прекрасной, образованной души, исполненной любви и доброжелательства ко всему человѣчеству, съ неизъяснимой прелестью дышетъ въ сихъ письмахъ. «Никакое непріятное воспоминаніе не отравляетъ моего уединенія»—(здѣсь видна вся душа автора). «Чувствую сердце мое способнымъ къ добродѣтели. Оно біется съ сладостною чувствительностію при единомъ помышленіи о какомъ-нибудь дѣлѣ благотворительности и великодушія. Имѣю благородную надежду, что, будучи поставленъ между добродѣтели и несчастія, изберу лучше смерть, нежели злодѣйство. И кто въ свѣтѣ счастливѣе смертнаго, который справедливымъ образомъ можетъ чтить самого себя?» Прекрасныя, золотыя строки! Кто, кто не желалъ бы написать ихъ въ изліяніи сердечномъ? — Потомъ, описавъ сладостныя занятія любителя музъ въ тихомъ кабинетѣ, нашъ авторъ прибавляетъ: «И послѣ того есть еще люди, которые ищутъ благополучія въ разсѣяніяхъ, въ многолюдствѣ, далеко отъ домашнихъ боговъ своихъ!.. Какое счастіе отереть слезы невинно страждущаго, оказать услугу маломощному, облегчить зависимость подчиненныхъ? Но что я скажу о дружбѣ? Чувство-

вать себя въ другомъ, разумѣть другъ друга столь искренно, столь скоро, при единомъ словѣ, при единомъ взорѣ? Кто называетъ дружбу, называетъ добродѣтель». Сіи строки, и многія другія, напоминаютъ намъ Монтаня, тамъ, гдѣ онъ, предаваясь счастливому изліянію своего сердца, говорилъ о незабвенномъ своемъ Лабоесѣ» [1]).

Тонъ иныхъ писемъ важнѣе, но нравственная цѣль всегда одинакова. Признаюсь вамъ, м. г., я не могу удержаться отъ удовольствія выписывать; притомъ это единственный и лучшій способъ показать красоты сочиненія и дать ясное понятіе объ авторѣ. «Тихій вечеръ оканчивалъ знойный день. Солнце, величественнѣе и медленнѣе на концѣ пути своего, покоилося за мгновеніе передъ закатомъ на крайнихъ горахъ горизонта, а я прогуливался на крутомъ берегу Волги съ добродѣтельнымъ другомъ юности моей, кроткимъ моимъ наставникомъ... Власы главы его бѣлѣли уже отъ хлада старости; весна жизни моей не разцвѣла еще совершенно. Мы касалися оба противуположныхъ крайностей вѣка. Но дружба его и опытность сокращали разстояніе, которое раздѣляло насъ, и часто, позабываяся, мнилъ я видѣть въ немъ старшаго и благоразумнѣйшаго товарища. Будучи важнѣе обыкновеннаго въ тотъ вечеръ, онъ говорилъ мнѣ: «Сынъ мой!» (симъ именемъ любви одолженъ я былъ нѣжности сердца его и послушанію моего). «Озирая холмы сіи, одѣваемые небесною лазурью, поля, жатвы и напояющія ихъ струи, не чувствуешь ли въ сердцѣ благополучія? Чудеса природы не довольны ли для счастія человѣка? Но одно худое дѣло, котораго сознаніе оскорбляетъ сердце, можетъ разрушить прелесть наслажденія. Великолѣпіе и вся красота природы вкушаются только невиннымъ сердцемъ... Одно счастіе — добродѣтель, одно несчастіе — порокъ. И всѣ вечера твои будутъ такъ тихи, ясны, какъ нынѣшній. Спокойная совѣсть творитъ и природу спокойною». Слова его глубоко проникли въ душу мою, и я повергся съ умиленіемъ въ объятія старца».

[1]) Si on me presse de dire, pourquoi je l'aimais je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: parceque c'était lui, parceque c'était moi (Монтань).

Другіе отрывки принадлежатъ къ высшему роду словесности. Между ими повѣсть Оскольдъ, въ которой авторъ изображаетъ походъ сѣверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотами. Здѣсь мы видимъ толпы дикихъ воиновъ, которыхъ какъ будто невидимая сила влечетъ къ роскошной столицѣ Восточной имперіи. Мы переносимся во времена глубокой древности, въ степи и дремучіе лѣса полуобитаемой Россіи, то на бурныя волны Варяжскаго моря, покрытыя судами отважныхъ плавателей, то въ непроходимыя снѣжныя пустыни Біарміи, освѣщенныя холоднымъ солнцемъ, то въ роскошное царство Михаила, гдѣ «игры, удивительныя ристалища занимаютъ ежедневно праздность безчисленнаго народа... Счастливъ, кто видѣлъ все сіе единожды въ жизни! Сладостное воспоминаніе распространится на остальное теченіе дней его и облегчитъ ему бремя ненавистной старости». Авторъ съ обыкновеннымъ искусствомъ говоритъ о Труворѣ и Синеусѣ, сохраняя всю приличность историческую, выводитъ честолюбиваго Вадима, котораго «взоры изображаютъ... столько же упрековъ Новгородцамъ, сколько строгости воинской», и возбуждаетъ въ памяти нашей цѣпь великихъ отечественныхъ воспоминаній. Сила изобрѣтенія блистаетъ въ изчисленіи Оскольдовыхъ ратниковъ. Они отличены рѣзкими чертами одинъ отъ другаго: они живутъ, дѣйствуютъ передъ вами: «Но кто можетъ назвать имена безчисленнаго воинства? Таковы тучи пернатыхъ, наполняющихъ воздухъ крикомъ, когда, почувствовавъ приходъ зимы, оставляютъ крутые берега Русскаго моря, не помятуя любви и прекрасныхъ дней, коими тамъ насладились онѣ лѣтомъ; удивленный путешественникъ забываетъ дорогу свою, на нихъ взирая, и унываетъ въ сердцѣ, видя себя оставляемаго свирѣпости мразовъ и буйныхъ вѣтровъ». Вы видите предъ полками сонмъ вдохновенныхъ скальдовъ съ златыми арфами: «Нетерпѣливый, бодрый отличается между ими юный Славянинъ, который на влажныхъ берегахъ моря и на краю земли почувствовалъ вдохновеніе скальда, оставилъ сѣти и парусы, способы скуднаго пропитанія,... и воспѣлъ соотчичамъ своимъ неслыханныя пѣсни

о браняхъ и герояхъ». Этотъ юный скальдъ напоминаетъ намъ Ломоносова. Конечно, его имѣлъ въ виду нашъ авторъ, и здѣсь, сохраня всю приличность разсказа, представилъ намъ въ блистательномъ видѣ отца русскаго стихотворства, сего чудеснаго мужа, котораго не только дарованія поэтическія, неимовѣрные успѣхи и труды въ искусствахъ и наукахъ, но самая жизнь, исполненная поэзіи,—если смѣю употребить сіе выраженіе—заслуживаетъ вниманія позднѣйшаго потомства! [1])

Искусство, неразлучное съ глубокимъ познаніемъ исторіи, болѣе всего блистаетъ въ описаніи нравовъ сѣверныхъ племенъ. Авторъ Оскольда краткими словами умѣетъ возбудить вниманіе читателя и перенести его на сцену тогдашняго міра, который знакомъ ему, какъ Омеру древняя Троада. Замѣтимъ еще, что эпоха, избранная имъ для поэтическаго повѣствованія, соединяетъ всѣ возможныя выгоды и доказываетъ его вѣрный вкусъ и обширныя свѣдѣнія. Дѣйствіе происходитъ въ Россіи во времена отдаленныя, которыя поэту столь удобно украшать вымыслами и цвѣтами творческаго воображенія. Оскольдъ, товарищъ Руриковъ, поклоняется Одену, сему кровавому божеству Скандинавовъ, которыхъ и жизнь, и суевѣрія ознаменованы были мрачною поэзіею. Спутники Оскольдовы имѣютъ, или могутъ имѣть, свои преданія, какъ Славяне имѣютъ свою вѣру, и отъ сего рождается пріятное разнообразіе, истинная принадлежность эпопеи. Въ нѣкоторомъ отдаленіи мы видимъ Царьградъ, жилище роскоши и нѣги, колыбель христіанской религіи, куда кочующіе народы Сѣвера вторгались съ мечемъ и пламенемъ для похищенія земныхъ сокровищъ и нерѣдко возвращались съ святымъ знаменіемъ вѣры въ свои непостоянныя становища. Туда устремлены воины Оскольда и любопытство читателя... Къ сожалѣнію, сія повѣсть не кончена: она есть начало большаго творенія, которое, безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду нашъ авторъ; но государственныя занятія отклонили его отъ словесности. При концѣ жизни своей

[1]) Мы приглашаемъ прочитать въ Опытахъ исторіи, словесности и нравоученія г. Муравьева прекрасную статью о заслугахъ Ломоносова въ наукахъ.

онъ рѣдко бесѣдовалъ съ музами, удѣляя нѣсколько свободныхъ минутъ на чтеніе древнихъ въ подлинникѣ, и особенно греческихъ историковъ, ему отъ дѣтства любезныхъ.

Историческіе отрывки г. Муравьева заслуживаютъ особенное вниманіе, и мы смѣло увѣрить можемъ, опираясь на мнѣніе ученѣйшихъ мужей по этой части, что на русскомъ языкѣ едва ли находится что-нибудь подобное Краткому начертанію россійской исторіи, напечатанному въ первый разъ въ 1810 году, и статьямъ подъ названіемъ: Разсѣянныя черты изъ землеописанія россійскаго и Соединеніе удѣльныхъ княженій въ единое государство. Онѣ начертаны перомъ ученаго, политика и философа. Вотъ рѣдкое явленіе въ нашей словесности, ибо наши писатели не всегда соединяли въ себѣ качества, потребныя историку — философію и критику. Мы надѣемся, что ученые люди, занимающіеся отечественною исторіею, сообщать читающей публикѣ свои замѣчанія о сихъ безцѣнныхъ отрывкахъ, а наставники включать ихъ въ малое число книгъ, посвященныхъ чтенію юношества. Исторія наша, исторія народа, совершенно отличнаго отъ другихъ по гражданскому положенію, по правамъ и обычаямъ, исторія народа, сильнаго и воинственнаго отъ самой его колыбели и нынѣ удивившаго неимовѣрными подвигами всю Европу, должна быть любимымъ нашимъ чтеніемъ отъ самаго дѣтства. «Мы ходимъ», говоритъ краснорѣчивый авторъ землеописанія русскаго, — «мы ходимъ по землѣ, обагренной кровію предковъ нашихъ и прославленной отважными предпріятіями и подвигами князей и полководцевъ, которые только для того осѣнены глубокою нощію забвенія, что не имѣли достойныхъ провозвѣстниковъ славы своей. Да настанетъ нѣкогда время пристрастія къ отечественнымъ происшествіямъ, ко своимъ героямъ, ко правамъ и добродѣтелямъ, которыя суть природныя произрастенія нашего отечества» [1]).

[1]) Любители исторіи и словесности ожидаютъ съ нетерпѣніемъ полной исторіи русской того писателя, который показалъ намъ истинные образцы русской прозы и въ трудолюбивомъ молчаніи болѣе десяти лѣтъ приготовляетъ своему

Мы должны упомянуть о философическихъ и нравственныхъ произведеніяхъ нашего автора. Здѣсь болѣе, нежели гдѣ-нибудь, видна его душа и горячія впечатлѣнія его сердца. Къ нему можно примѣнить то, что Шиллеръ сказалъ о Матиссонѣ: «Тѣсное обращеніе съ природою и съ классическими образцами напитало его духъ, очистило его вкусъ и сохранило его нравственную грацію; пламенная и чистѣйшая любовь къ человѣчеству одушевляетъ его произведенія, и всѣ явленія природы отражаются въ душѣ его со всѣми оттѣнками, какъ въ тихомъ зеркалѣ воды». Здѣсь находимъ мы самого автора, вступаемъ съ нимъ въ тѣсное знакомство. Искусство человѣческое можетъ всему подражать, кромѣ движеній добраго сердца. Вотъ истинная оригинальность нашего автора! Онъ часто, какъ будто противъ воли своей, обнажаетъ прекрасную душу и рѣдкую чувствительность, и болѣе всего въ отрывкѣ подъ названіемъ: Просвѣщеніе и роскошь, гдѣ, описывая странный характеръ Руссо, онъ готовъ съ нимъ предаться сладостной мечтательности; въ статьѣ о Блаженствѣ, гдѣ онъ, опредѣляя счастіе, увлекается своимъ воображеніемъ и отдыхаетъ въ тишинѣ сельской, на лонѣ природы, ему всегда любезной. Вы можете читать его во всякое время—и въ шумѣ дѣятельной жизни, и въ тишинѣ уединенія; его слова подобны словамъ стараго друга, который, въ откровенности сердечной, говоря о себѣ, напоминаетъ вамъ собственную вашу жизнь, ваши страсти, печали, надежды и наслажденія. Онъ сообщаетъ вамъ тишину и ясность своей души и оставляетъ въ памяти продолжительное воспоминаніе своей бесѣды. Однимъ словомъ, самое бремя печалей и заботъ—я занимаю его выраженіе—отпадаетъ по его утѣшительному гласу.

Въ Забавахъ воображенія, говоря о томъ государственномъ человѣкѣ, который первый въ Россіи ознаменовалъ дни свои покровительствомъ отечественныхъ музъ, котораго имя должно быть драгоцѣнно позднему потомству, ибо перейдетъ къ

отечеству новое удовольствіе, новую славу. Его твореніе будетъ имѣть непосредственное вліяніе на умы и болѣе всего на словесность.

нему съ именами Ломоносова и Державина, говоря о Шуваловѣ, сочинитель продолжаетъ: «Пріятно вспоминать государственнаго человѣка, который былъ чувствителенъ къ прелестямъ письменъ и художествъ и посреди сіянія знатности и попеченій правленія удостоивалъ взорами своими просвѣщеніе, какъ любимецъ Августовъ, или Кольбертъ, давалъ покровительство изящнымъ умамъ или призывалъ дарованія изъ другихъ земель». Конечно, иныя черты можно примѣнить къ нашему автору, котораго память столь любезна и художникамъ, и ученымъ. Онъ посѣщалъ ихъ кабинеты, ихъ мастерскія; они искали въ немъ покровителя и часто находили попечительнаго друга. Имя его и до сихъ поръ почтенные члены Московскаго университета произносятъ со слезами живѣйшей благодарности. Незабвенное имя для сердецъ благородныхъ! Оно напоминаетъ отечеству всѣ гражданскія добродѣтели.

«Все то, что способствуетъ къ доставленію вкусу болѣе тонкости и разборчивости», прибавляетъ сочинитель въ статьѣ о З а б а в а х ъ в о о б р а ж е н і я, изъ которой я выписываю сіи строки,— «все то, что̀ приводитъ въ совершенство чувствованіе красоты въ искусствахъ или письменахъ, отводитъ насъ въ то же самое время отъ грубыхъ излишествъ страстей, отъ неистовыхъ воспаленій гнѣва, жестокости, корыстолюбія и прочихъ подлыхъ наслажденій. Кто восхищается красотами поэмы или расположеніемъ картины, не въ состояніи полагать благополучія своего въ несчастіи другихъ, въ шумныхъ сборищахъ безпутства или въ исканіи подлой корысти. Нѣжное сердце и просвѣщенный разумъ услаждаются возвышенными чувствованіями дружбы, великодушія и благотворительности». Давно сказано было, что слогъ есть зеркало души, и относительно къ нашему автору это совершенно справедливо. Слогъ его можно уподобить слогу Фенелона. Та же чистота и точность выраженій, стройность мыслей, то же сердечное, убѣдительное краснорѣчіе. Образованный въ училищѣ древнихъ, его слогъ сохранилъ на себѣ ихъ печать неизгладимую— простоту, важность и приличіе..

Я не сдѣлаю ни одного замѣчанія на погрѣшности. Пускай другіе ищутъ ошибокъ грамматическихъ, галлицизмовъ и пр.

Мы предоставимъ себѣ сладостное удовольствіе хвалить то, что̀ достойно похвалъ и самой разборчивой критики, которая въ словесности нашей болѣе приноситъ пользы, указывая на красоты, нежели порицая недостатки ядовитымъ перомъ своимъ, и часто несправедливымъ.

Вамъ извѣстно, м. г., что я многимъ обязанъ покойному автору; но благодарность меня не ослѣпляетъ. Я опирался на судъ людей просвѣщенныхъ, знатоковъ въ нашей словесности, отдавая должную справедливость тому, что̀ заслуживаетъ похвалы, и назову себя совершенно счастливымъ, если могъ быть хотя слабымъ, но вѣрнымъ отголоскомъ ихъ мыслей и сужденій о томъ человѣкѣ, котораго память будетъ мнѣ драгоцѣнна до позднихъ дней жизни и украситъ ихъ горестнымъ и вмѣстѣ сладкимъ воспоминаніемъ протекшаго.

Долгомъ поставляю упомянуть здѣсь о стихотворныхъ его произведеніяхъ. Многія изъ нихъ напечатаны были безъ имени сочинителя въ разныхъ журналахъ, и въ послѣдній разъ въ Собраніи русскихъ стихотвореній, изданныхъ г. Жуковскимъ, который взялъ на себя трудъ, пересмотрѣвъ нѣсколько рукописей автора, приготовить ихъ для печати, особенно то, что̀ не входило въ планъ книги, изданной въ Москвѣ въ 1810 году. Конечно, любители словесности ожидаютъ съ нетерпѣніемъ третьей части сочиненій г. Муравьева, которая будетъ состоять изъ его стихотвореній. Желательно, м. г., чтобы вы сдѣлали нѣсколько замѣчаній на жизнь автора: она любопытна не только для любителя словесности, но и для каждаго друга добродѣтели. Истинному патріоту пріятно узнать нѣкоторыя обстоятельства жизни гражданина, принесшаго пользу отечеству безпрерывными трудами и перомъ своимъ: мы будемъ помнить сыновъ Россіи, прославившихъ отечество на полѣ брани: исторія вписываетъ уже имена ихъ въ свои скрижали; но должны ли мы забывать и тѣхъ согражданъ, которые, употребя всю жизнь свою для пользы ца-

ней, отличились гражданскими добродѣтелями и рѣдкими талантами? Древніе, чувствительные ко всему прекрасному, ко всему полезному, имѣли два вѣнца: одинъ для воина, другой для гражданина. Плутархъ, описывая жизнь великихъ полководцевъ, царей и законодателей, помѣстилъ между ими Гезіода и Пиндара. Мы желаемъ отъ всей души, чтобъ вы исполнили надежду нашу. Замѣчанія ваши на жизнь г. Муравьева могутъ служить предисловіемъ къ третьей части полнаго собранія его сочиненій.

Стихотворенія г. Муравьева, безъ сомнѣнія, будутъ стоять на ряду съ лучшими его произведеніями въ прозѣ. Въ нихъ то же достоинство: философія, которой источникъ чувствительное и доброе сердце; выборъ мыслей, образованныхъ прилежнымъ чтеніемъ древнихъ; стройность и чистота слога. Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ посланія къ покойному И. П. Тургеневу, достойному пріятелю автора, котораго онъ любилъ и уважалъ отъ самой юности. Наклонности и страсти друзей были одинаковы: добродѣтель и пламенная любовь къ музамъ. Онѣ запечатлѣли ихъ священный союзъ, который могла разрушить единая смерть. Посмотримъ, какъ авторъ, описывая въ своемъ посланіи дѣятельнаго мудреца, добраго отца семейства, истиннаго патріота, любителя порядка и счастія ближнихъ, описываетъ себя и друга своего:

Любовью истины, любовью красоты
Исполненъ духъ его, украшены мечты.
Искусства, васъ къ себѣ онъ въ помощь призываетъ,
Отъ зависти себя онъ въ вашу сѣнь скрываетъ!
Безъ гордости великъ и важенъ безъ чиновъ,
На пользу общую всегда, вездѣ готовъ,
Онъ свято чтитъ родства священные союзы,
И чтобъ свободнымъ быть, пріемлетъ легки узы:
Внимательный супругъ и любящій отецъ,
Онъ властью облеченъ по выбору сердецъ,
Счастливъ, что можетъ быть семейства благодѣтель:
Что нужды—домъ тому иль цѣлый міръ свидѣтель!
Таковъ Эмилій Павлъ, равно достоинъ хвалъ,
Какъ жилъ въ семьѣ своей, иль какъ при Каннахъ палъ.

Прекрасное начертаніе добродѣтельнаго и дѣятельнаго мудреца! Прекрасный и счастливый примѣръ! - Далѣе продолжаетъ поэтъ:

Служить отечеству — верховный душъ обѣтъ.
Нашъ долгъ — туда спѣшить, куда оно зоветъ.
Но если въ множествѣ ревнителей ко славѣ
Мнѣ должно уступить, уже ли буду въ правѣ
Пренебреженною заслугой досаждать?
Мнѣ только что — служить, отчизнѣ — награждать.
Изъ трехъ сотъ праздныхъ мѣстъ спартанскаго совѣта
Народъ ни на одно не избралъ Педарета.
«Хвала богамъ», сказалъ, «народа не виня,
«Есть триста человѣкъ достойнѣе меня».

Здѣсь каждая мысль можетъ служить правиломъ честному гражданину. И какая утѣшительная мудрость, какое сладостное изліяніе чистой и праведной души! Скажемъ болѣе съ однимъ изъ лучшихъ нашихъ писателей: Счастливъ тотъ, кто могъ жить, какъ писалъ, и писать, какъ жилъ!

Полезнымъ можно быть, не бывши знаменитымъ;
Срѣтаютъ счастіе и по тропинкамъ скрытымъ.
Сей старецъ, коего Виргилій воспѣвалъ,
Что близъ Тарента макъ и розы поливалъ
И, въ позднюю ночь подъ кровъ склоняяся домашній,
Столы обременялъ не купленными брашны,
Онъ счастье въ хижинѣ, конечно, находилъ
И пышныхъ богачей душой превосходилъ!

Тотъ истинно свободенъ, куда бы онъ ни былъ брошенъ Фортуною, куда бы онъ ни былъ поставленъ людьми—управлять ими или повиноваться, сіять въ вѣнцѣ или скрывать себя въ пустынѣ; тотъ истинно счастливъ, говоритъ нашъ поэтъ вслѣдъ за Горацiемъ,—

Кто счастья въ крайностяхъ всегда съ собою сходенъ,
Въ сіяніи не гордъ, въ упадкѣ не унылъ,
Въ себѣ самомъ свое достоинство сокрылъ;
Владыка чувствъ своихъ, ихъ бури усмиряетъ
И скуку житія ученьемъ украшаетъ.

Въ другомъ посланіи, въ которомъ авторъ болѣе предается игрѣ своего воображенія, мы находимъ блестящее изображеніе Вольтера,

Сего чудеснаго, столѣтняго шалбера,
По превосходству мудреца,
Который говорилъ прекрасными стихами,
Къ которому стихи въ уста входили сами...

Въ его привѣтствіяхъ не видѣнъ трудъ пѣвца—
Учтивость тонкаго маркиза!
Замѣтьте, что маркизъ не могъ воспѣть бы Гиза,
Не могъ бы начертать шестидесяти лѣтъ
Въ Китаѣ страшнаго Чингиза,
Потомъ унизить свой трагическій полетъ
Къ маркизу де-Вильетъ
И во власахъ сѣдыхъ бренчать еще на лирѣ
Младыя шалости иль растворять въ сатирѣ
Свой лицемѣрный слогъ,
Иль философствовать съ величествомъ о мірѣ,
О Міроздателѣ,—Вольтеръ все это могъ!
И славну старость велъ онъ съ завистью у ногъ
Превыше хвалъ и порицаній.
Въ Парижѣ сколько восклицаній,
Когда явился онъ къ принятію вѣнца!
Великіе умы, красавицы, вельможи,
Придворныхъ легкій рой изъ королевской ложи
Плескали долго въ честь безсмертнаго творца;
За ними вся толпа плескала безъ конца.
Такой-то нравится намъ въ обществѣ творецъ,
Который изжилъ бы во свѣтѣ лѣта юны
И сдѣлался мудрецъ
Волненьями фортуны,
Открывшими ему излучины сердецъ.

Къ несчастію, говоритъ поэтъ,—трудно быть свѣтскимъ человѣкомъ и писателемъ. Одно вредитъ другому:

Условья общества—для мыслящаго цѣпи!
А тотъ, кто въ обществѣ свой выдержалъ искусъ,
Зѣваетъ въ обхожденьи музъ.
Въ наукѣ нравиться учу я основанья,
Но, старый ученикъ, не знаю ни аза,
И не задремлется со мной лоза,
Которой общество чинитъ увѣщеванья.
Межъ тѣмъ замедлены успѣхи дарованья,
Что льстился въ юности имѣть.
Замедлены?.. Я выражаюсь мало!
Ихъ уничтожено въ душѣ моей начало;
Прелестна лѣнь поставила мнѣ сѣть,
Изъ коей я не выду.
Не бывъ Ринальдомъ, я нашелъ свою Армиду
И въ лѣни сладостной забылъ искусство пѣть.
Поэтомъ трудно быть, а легче офицеромъ:
Съ Доратомъ я успѣлъ сравниться въ томъ,
Что онъ, какъ я, былъ мушкетеромъ.

Часто въ стихахъ нашего поэта видна сладкая задумчивость, истинный признакъ чувствительной и нѣжной души; часто, подобно Тибуллу и Горацію, сожалѣетъ онъ объ утратѣ юности, объ утратѣ пламенныхъ восторговъ любви и безпредѣльныхъ желаній юнаго сердца, исполненнаго жизни и силы. Въ стихотвореніи подъ названіемъ К ъ М у з ѣ, обращаясь къ тайной подругѣ души своей, онъ дѣлаетъ нѣжные упреки:

Ты утро дней моихъ прилежнѣй посѣщала:
Почто жь печальная распространилась мгла
И ясный полдень мой своей покрыла тѣнью?
Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу
И въ пѣсняхъ не прейду къ другому поколѣнью,
Или я весь умру?

Нѣтъ, мы надѣемся, что сердце человѣческое безсмертно. Всѣ пламенные отпечатки его въ счастливыхъ стихахъ поэта побѣждаютъ и самое время. Музы сохранятъ въ своей памяти пѣсни своего любимца, и имя его перейдетъ къ другому поколѣнію съ именами, съ священными именами мужей добродѣтельныхъ. Музы, взирая на преждевременную его могилу, восклицаютъ съ поэтомъ Мантуи:

...Manibus date lilia plenis
Purpureos spargam flores...

С.-Петербургъ. 1814 г.

V.

Прогулка въ академію художествъ.

Письмо стараго московскаго жителя къ пріятелю въ деревню его Н.

Ты требуешь отъ меня, мой старый другъ, продолженіе моихъ прогулокъ по Петербургу. Повинуюсь тебѣ.

На этотъ разъ я буду говорить объ академіи художествъ, которая, послѣ двадцатилѣтняго нашего отсутствія изъ Петербурга, столько перемѣнилась...

«Говори, говори объ академіи художествъ!»— такъ воскликнешь ты, начиная чтеніе моего болтливаго письма. — «Мы издавна любили живопись и скульптуру, и въ твоемъ маленькомъ домикѣ на Прѣснѣ (котораго теперь и слѣдовъ не осталось!) мы часто заводили жаркіе споры о головѣ Аполлона Бельведерскаго, о мизинцѣ Гебы славнаго Кановы, о конѣ Петра Великаго, о кисти Рафаеля, Корреджіо, даже самого Сальватора Розы, Мурилло, Конпеля и пр. Такъ, я во многомъ съ тобой соглашался, а ты ни въ чемъ со мною, а еще менѣе съ добрымъ живописцемъ Ализовымъ, съ товарищемъ славнаго Лосенкова, который часто смѣшилъ и сердилъ насъ своимъ упрямствомъ и добродушіемъ. Мы спорили; время летѣло въ пріятныхъ разговорахъ. (Счастливое, невозвратное время! Пожаръ Москвы поглотилъ и домикъ твой со всѣми дурными картинами и эстампами, которыя ты

покупалъ за безцѣнокъ у торгашей на аукціонахъ, а въ Нѣмецкой слободѣ—у отставныхъ стряпчихъ; онъ поглотилъ маленькую Венеру, въ которой ты находилъ нѣчто божественное, и бюстъ Вольтеровъ съ отбитымъ носомъ, и маленькаго Амура съ факеломъ, и бронзоваго фавна, котораго Ализовъ открылъ... будто бы на развалинахъ какой-то бани близъ Неаполя, и которымъ онъ приводилъ въ восхищеніе и тебя, и меня, и всѣхъ знатоковъ нашего квартала. Пожаръ, немилосердый пожаръ поглотилъ даже акаціеву бесѣдку съ красивыми скамейками, съ дубовымъ столомъ, на которомъ мы, разливая чай, любовались прелестными видами: Москвой-рѣкою, которая извивается по лугу вокругъ стѣнъ и высокихъ башенъ Дѣвичьяго монастыря, Васильевскимъ, Воробьевыми горами съ тѣнистыми рощами и закатомъ вечерняго солнца. Пожаръ поглотилъ наше убѣжище. Но въ памяти моей осталось воспоминаніе твоей любви къ изящнымъ художествамъ и охоты спорить, которая, конечно, укротилась отъ времени, а болѣе всего отъ политическихъ обстоятельствъ. Итакъ, говори объ академіи художествъ, о произведеніяхъ нашихъ артистовъ: я буду слушать съ удовольствіемъ. Всякая новость изъ столицы пріятна пустыннику, который и на старости лѣтъ еще пламенно любитъ отечество, успѣхи и славу согражданъ».

Вотъ что ты скажешь, развернувъ мое письмо. Я начну мой разсказъ сначала, какъ начинаетъ обыкновенно болтливая старость. Слушай!

Вчерашній день по утру, сидя у окна моего съ Винкельманомъ въ рукѣ, я предался сладостному мечтанію, въ которомъ тебѣ не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянувъ на Неву, покрытую судами, взглянувъ на великолѣпную набережную, на которую, благодаря привычкѣ, жители петербургскіе смотрятъ холоднымъ окомъ, любуясь безчисленнымъ народомъ, который волновался подъ моими окнами, симъ чудеснымъ смѣшеніемъ всѣхъ націй, въ которомъ я отличалъ Англичанъ и Азіатцовъ, Французовъ и Калмыковъ, Русскихъ и Финновъ, я сдѣлалъ себѣ

слѣдующій вопросъ: что̀ было на этомъ мѣстѣ до построенія Петербурга? Можетъ быть, сосновая роща, сырой, дремучій боръ или топкое болото, поросшее мхомъ и брусникою; ближе къ берегу — лачуга рыбака, кругомъ которой развѣшены были мрежи, невода и весь грубый снарядъ скуднаго промысла. Сюда, можетъ быть, съ трудомъ пробирался охотникъ, какой-нибудь длинновласый Финнъ

За ланью быстрой и рогатой,
Прицѣлясь къ ней стрѣлой пернатой.

Здѣсь все было безмолвно. Рѣдко человѣческій голосъ пробуждалъ молчаніе пустыни дикой, мрачной; а нынѣ?.. Я взглянулъ невольно на Троицкій мостъ, потомъ на хижину великаго монарха, къ которой по справедливости можно примѣнить извѣстный стихъ:

Souvent un faible gland recèle un chêne immense!

И воображеніе мое представило мнѣ Петра, который въ первый разъ обозрѣвалъ берега дикой Невы, нынѣ столь прекрасные! Изъ крѣпости Нюсканцъ еще гремѣли шведскія пушки; устье Невы еще было покрыто непріятелемъ, и частые ружейные выстрѣлы раздавались по болотнымъ берегамъ, когда великая мысль родилась въ умѣ великаго человѣка. «Здѣсь будетъ городъ», сказалъ онъ,— «чудо свѣта. Сюда призову всѣ художества, всѣ искусства. Здѣсь художества, искусства, гражданскія установленія и законы побѣдятъ самую природу». Сказалъ — и Петербургъ возникъ изъ дикаго болота.

Съ какимъ удовольствіемъ я воображалъ себѣ монарха, обозрѣвающаго начальныя работы: здѣсь валъ крѣпости, тамъ магазины, фабрики, адмиралтейство. Въ ожиданіи обѣдни въ праздничный день или въ день торжества побѣды, государь часто сиживалъ на новомъ валѣ съ планомъ города въ рукахъ, противъ крѣпостныхъ воротъ, украшенныхъ изваяніемъ апостола Петра изъ грубаго дерева. Именемъ святаго долженъ былъ называться городъ, и на жестяной доскѣ, прибитой подъ его изваяніемъ, изображался славный въ лѣтописяхъ міра 1703 годъ

римскими цифрами. На ближнемъ бастіонѣ развѣвался желтый флагъ съ большимъ чернымъ орломъ, который заключалъ въ когтяхъ своихъ четыре моря, подвластныя Россіи. Здѣсь толпились вокругъ монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; межъ ними, простой рожденіемъ, великій умомъ, любимецъ царскій Меншиковъ, великодушный Долгорукій, храбрый и дѣятельный Шереметевъ и вся фаланга героевъ, которые создали съ Петромъ величіе Русскаго царства....

Такимъ образомъ, погруженный въ мое мечтаніе, я не примѣтилъ, что двери комнаты отворились, и сынъ моего стараго пріятеля Н., молодой, весьма искусный художникъ, привѣтствовалъ меня съ добрымъ утромъ. «Я пришелъ нарочно за вами», сказалъ онъ;—«сегодня академія художествъ открыта для любопытныхъ, и я готовъ быть вашимъ путеводителемъ, вашимъ чичероне, если угодно! Вы увидите много хорошаго, полюбуетесь нѣкоторыми произведеніями русскаго рѣзца и кисти; о другихъ теперь ни слова. Посмотрите», продолжалъ онъ, открывая окно, — «какое прекрасное время! Весь городъ гуляетъ, и мы съ толпой гуляющихъ непримѣтнымъ образомъ пройдемъ въ академію».

«Съ удовольствіемъ», отвѣчалъ я молодому человѣку; — «около двадцати лѣтъ я не видалъ академіи, и какъ здѣсь все идетъ исполинскими шагами къ совершенству, то надѣюсь, что и художества приведутъ меня въ пріятное изумленіе. Вотъ мой мой посохъ, моя шляпа! Пойдемъ!»

И въ самомъ дѣлѣ время было прекрасное: ни малѣйшій вѣтерокъ не струилъ поверхности величественной, первой рѣки въ мірѣ, и я привѣтствовалъ мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тѣнисты острова.

Великолѣпныя зданія, позлащенныя утреннимъ солнцемъ, ярко отражались въ чистомъ зеркалѣ Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой городъ, какая рѣка!»

«Единственный городъ!» повторилъ молодой человѣкъ. — «Сколько предметовъ для кисти художника! Умѣй только выбирать. И какъ жаль, что мои товарищи мало пользуются собственнымъ богатствомъ; живописцы перспективы охотнѣе пишутъ виды изъ Италіи и другихъ земель, нежели сіи очаровательные предметы. Я часто съ горестію смотрѣлъ, какъ въ трескучіе морозы они трудятся надъ пламеннымъ небомъ Неаполя, тиранятъ свое воображеніе и часто — взоры наши. Пейзажъ долженъ быть портретъ. Если онъ не совершенно похожъ на природу, то что̀ въ немъ? Надобно разстаться съ Петербургомъ», продолжалъ онъ, — «надобно разстаться на нѣкоторое время, надобно видѣть древнія столицы: ветхій Парижъ, закопченный Лондонъ, чтобъ почувствовать цѣну Петербурга. Смотрите, какое единство, какъ всѣ части отвѣчаютъ цѣлому, какая красота зданій, какой вкусъ, и въ цѣломъ какое разнообразіе, происходящее отъ смѣшенія воды со зданіями! Взгляните на рѣшетку Лѣтняго сада, которая отражается зеленью высокихъ липъ, вязовъ и дубовъ! Какая легкость и стройность въ ея рисункѣ! Я видѣлъ славную рѣшетку Тюльерійскаго замка, отягченную, раздавленную, такъ сказать, украшеніями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна въ сравненіи съ этой».

Энтузіазмъ, съ которымъ говорилъ молодой художникъ, мнѣ весьма понравился. Я пожалъ у него руку и сказалъ ему: «Изъ тебя будетъ художникъ!» Не знаю, понялъ ли онъ мои пророческія слова, но, посмотрѣвъ на меня съ улыбкою удовольствія, продолжалъ: «Взгляните теперь на набережную, на сіи огромные дворцы — одинъ другаго величественнѣе, на сіи домы — одинъ другаго красивѣе! Посмотрите на Васильевскій островъ, образующій треугольникъ, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, съ прекрасными спусками и лѣстницами къ водѣ. Какъ величественна и красива эта часть

города! Вотъ произведеніе, достойное покойнаго Томона, сего неутомимаго иностранца, который посвятилъ намъ свои дарованія и столько способствовалъ къ украшенію сѣверной Пальмиры. Теперь отъ биржи съ какимъ удовольствіемъ взоръ мой слѣдуетъ вдоль береговъ и теряется въ туманномъ отдаленіи между двухъ набережныхъ, единственныхъ въ мірѣ!»

«Такъ, мой другъ», воскликнулъ я, — «сколько чудесъ мы видимъ передъ собою, и чудесъ, созданныхъ въ столь короткое время, въ столѣтіе, въ одно столѣтіе! Хвала и честь великому основателю сего города, хвала и честь его преемникамъ, которые довершили едва начатое имъ—среди войнъ, внутреннихъ и внѣшнихъ раздоровъ! Хвала и честь Александру, который болѣе всѣхъ, въ теченіе своего царствованія, украсилъ столицу Сѣвера! И въ какія времена? Когда бремя и участь цѣлой Европы лежали на его сердцѣ, когда врагъ поглощалъ землю Русскую, когда мечъ и пламень безумца пожиралъ то, что̀ созидали вѣки!»

Разговаривая такимъ образомъ, мы подходили къ адмиралтейству. Помню, скажешь ты,—помню эту безобразную длинную фабрику, окружешую подъемными мостами, рвами глубокими, но не чистыми, завалешными досками и бревнами. Остановись, почтенный мой пріятель! Кто не былъ двадцать лѣтъ въ Петербургѣ, тотъ его, конечно, не узнаетъ. Тотъ увидитъ новый городъ, новыхъ людей, новые обычаи, новые нравы. Вотъ что̀ я повторяю тебѣ ежедневно въ моихъ запискахъ. И здѣсь то же превращеніе. Адмиралтейство, перестроенное Захаровымъ, превратилось въ прекрасное зданіе и составляетъ теперь украшеніе города. Прихотливые знатоки недовольны старымъ шпицомъ, который не соотвѣтствуетъ, по словамъ ихъ, новой колоннадѣ, но за то колоннада и новые павильоны или отдѣльные флигели прелестны. Вокругъ сего зданія расположенъ сей прекрасный бульваръ, обсаженный липами, которыя всѣ принялись и защищаютъ отъ солнечныхъ лучей. Прелестное, единственное гульбище, съ котораго можно видѣть все, что̀ Петербургъ имѣетъ величе-

ственнаго и прекраснаго: Неву, Зимній дворецъ, великолѣпные домы Дворцовой площади, образующей полукружіе, Невскій проспектъ, Исакіевскую площадь, конногвардейскій манежъ, который напоминаетъ Партенонъ, прелестное строеніе г. Гваренги, сенатъ, монументъ Петра I и снова Неву съ ея набережными.

Я хотѣлъ отдохнуть, и мы сѣли на одну изъ лавокъ бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульваръ—гуляющими. Между тѣмъ какъ я разсматривалъ знакомыя и незнакомыя лица, нѣкто, человѣкъ пожилой и хворой, присѣлъ на лавку возлѣ меня. Черты его мнѣ были знакомы, но время изгладило изъ моей памяти его имя. Знакомый незнакомецъ глядѣлъ на меня пристально, минуту, двѣ, три... и наконецъ я узналъ въ немъ Старожилова. «Какъ ты перемѣнился!» воскликнули мы оба, глядя пристально други на друга. «Какъ все перемѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ я тебя видѣлъ здѣсь!» прибавилъ Старожиловъ съ тяжелымъ вздохомъ, отъ котораго морщины на его лбу сдѣлались еще глубже. Я не стану тебѣ говорить о вопросахъ, которые мы дѣлали въ запуски другъ другу: можешь ихъ легко угадать; скажу только, что нашъ старый знакомый, узнавъ намѣреніе наше посѣтить академію, взглянулъ на часы и сказалъ мнѣ: «Теперь еще рано; къ тремъ часамъ я могу поспѣть въ клубъ, гдѣ я долженъ пробовать новое вино и сказать мое мнѣніе на счетъ важнаго постановленія въ клубѣ, о которомъ я размышлялъ цѣлое утро». Важность, съ которою онъ говорилъ, заставила насъ улыбнуться. Къ счастію, Старожиловъ того не примѣтилъ и продолжалъ: «Прогулка мнѣ будетъ полезна, ибо сегодня солнце грѣетъ, какъ лѣтомъ. Я побреду съ вами въ академію вовсе не изъ любопытства; тамъ ничего хорошаго нѣтъ. Я давно недоволенъ нашими художниками во всѣхъ родахъ, но мнѣ нужно разсѣяніе, единственно разсѣяніе!» прибавилъ онъ, кашляя безпрестанно.

Между тѣмъ какъ мы идемъ медленными шагами въ академію, соображаясь съ походкою подагрика, я скажу тебѣ мимоходомъ, что Старожиловъ, котораго мы знали въ молодости

нашей столь блестящаго, столь веселаго, столь разсѣяннаго, нынѣ сдѣлался брюзгою, недовольнымъ, однимъ словомъ—совершеннымъ образцомъ стараго холостаго человѣка. Ты помнишь, что въ молодости онъ имѣлъ живой умъ, нѣкоторыя познанія и большой навыкъ въ свѣтѣ. Нынѣ цвѣтъ ума его завялъ, прежняя живость изчезла, познанія, не усовершенныя безпрестанными трудами, изгладились или превратились въ закоренѣлые предразсудки, и все остроуміе его погибло, какъ блестящій фейерверкъ. Конечно, разсудокъ забылъ шепнуть ему: «Старайся быть полезенъ обществу! Недѣятельная жизнь, говоритъ мудрецъ херонейскій, – разслабляетъ тѣло и душу. Стоячая вода гніетъ; способности человѣка въ бездѣйствіи увядаютъ, и за молодостію невидимо крадется время:

Прійдутъ, прійдутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанутъ граціи трепать!

Тогда общество справедливою холодностію отмститъ тебѣ за то, что ты былъ его безплоднымъ членомъ».

Старожиловъ, прожившій вертопрахомъ до нѣкотораго времени, проснулся въ сорокъ лѣтъ старикомъ, съ подагрою, съ полуразстроеннымъ имѣніемъ, безъ друга, безъ привязанностей сердечныхъ, которыя составляютъ и мученіе, и сладость жизни; онъ проснулся съ душевною пустотою, которая превратилась въ эгоизмъ и мелочное самолюбіе. Ему все наскучило, онъ всѣмъ недоволенъ: въ его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедіи Княжнина, по его мнѣнію, лучше трагедій Озерова; басни Сумарокова предпочитаетъ онъ баснямъ Крылова, игру Сахаровой—игрѣ Семеновой и такъ далѣе. «Какъ скучна нынѣшняя жизнь!» говоритъ онъ; и этому повѣрить можно. Зачѣмъ, спрашиваю я,—зачѣмъ постоянно десять лѣтъ является онъ въ клубѣ? Чтобы слушать, изобрѣтать или распускать городскія вѣсти или газетныя тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобѣдать и заснуть за чашкою кофе, при стукѣ шаровъ и при единообразномъ счетѣ

маркера, который, насчитавъ 48, ненавистнымъ числомъ напоминаетъ ему его лѣта. Сонный садится онъ въ карету и едва просыпается въ театрѣ при первомъ ударѣ смычка.

Разговаривая съ нимъ о старинѣ, которую я выхвалялъ изъ снисхожденія, мы приближались къ академіи.

Я долго любовался симъ зданіемъ, достойнымъ Екатерины, покровительницы наукъ и художествъ. Здѣсь на каждомъ шагу просвѣщенный патріотъ долженъ благословлять память монархини, которая не столько завоеваніями, сколько полезными заведеніями, заслуживаетъ отъ признательнаго потомства имя великой и мудрой. Сколько полезныхъ людей пріобрѣло общество чрезъ академію художествъ! Рѣдкое заведеніе у насъ въ Россіи принесло столько пользы. По чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому слѣдуетъ съ давняго времени начальство, и достойному выбору вельможъ дѣятельныхъ и просвѣщенныхъ на мѣсто президентское. Я старъ уже; но при мысли о полезномъ дѣлѣ или учрежденіи для общества чувствую, что сердце мое бьется живѣе, какъ у юноши, который не утратилъ еще прелестной способности чувствовать красоту истинно полезнаго и предается первому движенію благородной души своей. Вступая на лѣстницу, я готовъ былъ хвалить съ жаромъ монархиню и нѣкоторыхъ вельможъ, покровителей отечественныхъ музъ; но докучный Старожиловъ воскликнулъ, съ трудомъ переводя духъ и отдыхая на первыхъ ступеняхъ: «Боже мой, какая крутая лѣстница, и какъ она узка, и какъ безобразна! И къ чему эта Венера съ амазонками? Я никогда не былъ охотникъ до гипсовъ; лучше ничего или все: вотъ мое правило. Здѣсь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведеніе нашихъ художниковъ», и пр. и пр.

Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критическаго замѣчанія, и мы остановились весьма кстати у двухъ превеликихъ сатировъ, называемыхъ Теламонами или Атлантами (мужескія каріатиды). «Вотъ украшеніе довольно странное», замѣтилъ молодой художникъ, — «и которое новѣйшіе художники

употребляли часто не кстати, а болѣе всего въ Парижѣ. Женскія каріатиды еще безобразнѣе мужескихъ. Можно ли видѣть безъ отвращенія прекрасную женщину, страдающую подъ тягостнымъ бременемъ и съ необыкновеннымъ усиліемъ во всѣхъ членахъ и мускулахъ поддерживающую цѣлое зданіе или огромную часть онаго? Одно жестокое сердце можетъ любить такого рода изображенія, и за тѣмъ-то, можетъ быть, французскіе артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили каріатиды вездѣ, гдѣ только можно было. Въ нѣкоторыхъ его замкахъ каждую дверь поддерживаютъ двѣ страдалицы. Въ самомъ музеумѣ ихъ множество. Здѣсь же сіи каріатиды приличны, ибо могутъ служить образцами любопытнымъ молодымъ художникамъ».

Мы вошли въ ротонду, установленную гипсовыми слѣпками съ антиковъ. «Вотъ консулъ Бальбусъ!» сказалъ мнѣ нашъ путникъ, указывая на большаго всадника.—«Подлинникъ статуи найденъ въ Геркуланумѣ».

«Но эта лошадь вовсе не красива», замѣтилъ Старожиловъ молодому артисту, качая головою.

«Вы правы», отвѣчалъ онъ.—«конь не весьма статенъ, коротокъ, высокъ на ногахъ, шея толстая, голова съ выпуклыми щеками, поворотъ ушей непріятный. То же самое замѣтите въ другой залѣ у славнаго коня Марка Аврелія. Художники новѣйшіе съ бо̀льшимъ искусствомъ изображаютъ коней. У насъ передъ глазами Фальконетово произведеніе, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смѣло поставленный, что одинъ иностранецъ, пораженный смѣлостію мысли, сказалъ мнѣ, указывая на коня Фальконетова: онъ скачетъ, какъ Россія! Но я не смѣю мыслить вслухъ о конѣ Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали нѣкоторые упрямые любители древности. Вы себѣ представить не можете, что̀ теряетъ въ ихъ мнѣніи молодой художникъ, свободно мыслящій о нѣкоторыхъ условныхъ красотахъ въ изящныхъ художествахъ... Пойдемте далѣе».

Мы вошли въ другую залу, гдѣ находятся слѣпки съ неподражаемыхъ произведеній рѣзца у Грековъ и Римлянъ: прекрас-

ное наслѣдіе древности, драгоцѣнные остатки, которые яснѣе всѣхъ историковъ свидѣтельствуютъ о просвѣщеніи древнихъ; въ нихъ-то искусство есть, такъ сказать, отголосокъ глубокихъ познаній природы, страстей и человѣческаго сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразіе! Здѣсь вы видите Геркулеса Фарнезскаго, образецъ силы душевной и тѣлесной. Вотъ умирающій боецъ или варваръ, вотъ комическій поэтъ и безподобный фавнъ! Здѣсь прекрасныя группы: Лаокоонъ съ дѣтьми — драматическое твореніе рѣзца неизвѣстнаго! Вотъ Арія и Петусъ, и семейство несчастной Ніобы! Здѣсь вы видите Венеру, образецъ всего красивѣйшаго, однимъ словомъ — Венеру Медицисъ. Вотъ цѣлый рядъ колоссальныхъ бюстовъ Юпитера Олимпійскаго,

Кто манiемъ бровей колеблетъ неба сводъ,

Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И наконецъ—я спрашиваю себя—отъ чего сердце мое забилось сильнѣе?

Наполнилъ грудь восторгъ священный,
Благоговѣйный обнялъ страхъ,
Пріятный ужасъ потаенный
Течетъ во всѣхъ моихъ костяхъ;
Въ весельи сердце утопаетъ,
Какъ будто Бога ощущаетъ,
Присутствующаго со мной!..
Я вижу, вижу Аполлона
Въ тотъ мигъ, какъ онъ сразилъ Пиѳона
Божественной своей стрѣлой!
Зубчата молнія сверкаетъ,
Звенитъ въ рукѣ спущенный лукъ—
Ужасная змія зіяетъ
И въ мигъ свой испускаетъ духъ.

Вотъ сей божественный Аполлонъ, прекрасный богъ стихотворцевъ! Взирая на сіе чудесное произведеніе искусства, я вспоминаю слова Винкельмана: «Я забываю вселенную», говоритъ онъ,—«взирая на Аполлона; я самъ принимаю благороднѣйшую осанку, чтобы достойнѣе созерцать его». Имѣя столь прекраснаго бога покровителемъ, мудрено ли—спрашиваю васъ—мудрено ли, что одинъ изъ нашихъ поэтовъ воскликнулъ однажды въ припадкѣ піитической гордости:

Я съ возвышенною вездѣ хожу главой!

«Вотъ наши сокровища!» сказалъ художникъ Н., указывая на Аполлона и другіе антики.—«Вотъ источникъ нашихъ дарованій, нашихъ познаній, истинное богатство нашей академіи, богатство, на которомъ основаны всѣ успѣхи бывшихъ, нынѣшнихъ и будущихъ воспитанниковъ! Отнимите у насъ это драгоцѣнное собраніе и скажите, какіе бы мы сдѣлали успѣхи въ живописи и въ ваяніи? Надобно желать, чтобъ оно еще было удвоено, утроено. Здѣсь многаго недостаетъ; но то, что̀ есть, прекрасно: ибо слѣпки вѣрны и могутъ удовлетворить самаго строгаго наблюдателя древности».

Пройдя двѣ небольшія залы, мы увидѣли толпу зрителей передъ большою картиною. Вотъ новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтеннаго академика возбуждаетъ твое любопытство... Итакъ, я перескажу отъ слова до слова сужденіе о его новой картинѣ, то-есть, то, что̀ я слушалъ въ глубокомъ молчаніи.

«Подойдемте поближе», сказалъ Старожиловъ, надѣвая съ комическою важностію очки свои.—«Я немного наслышался объ этомъ художникѣ».

Художникъ изобразилъ истязаніе Христа въ темницѣ. Четыре фигуры выше человѣческаго роста: главная изъ нихъ, Спаситель, передъ каменнымъ столпомъ, съ связанными назадъ руками, и три мучителя, изъ которыхъ одинъ прикрѣпляетъ веревку къ столпу, другой снимаетъ ризы, покрывающія Искупителя, и въ одной рукѣ держитъ пукъ розогъ; третій воинъ, кажется, дѣлаетъ упреки Божественному Страдальцу; но рѣшительно опредѣлить намѣреніе артиста весьма трудно, хотя онъ и старался дать сильное выраженіе лицу воина—можетъ быть, для противуположности съ фигурою Христа.

«Посмотрите», сказалъ намъ молодой художникъ,—«какъ туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокій вздохъ готовъ вырваться изъ подъятой груди его».

«Но лицо не соотвѣтствуетъ красотѣ всего тѣла», возразилъ Старожиловъ;—«признайтесь сами, что глаза его слишкомъ велики; въ нихъ нѣтъ ничего божественнаго».

«Я съ вами не совсѣмъ согласенъ: положеніе головы прекрасно, и въ лицѣ вы видите сильное выраженіе страданія, горести и покорности волѣ Отца Небеснаго».

«Къ сожалѣнію, эта фигура напоминаетъ изображеніе Христа у другихъ живописцевъ, и я напрасно ищу во всей картинѣ оригинальности, чего-то новаго, необыкновеннаго, однимъ словомъ — своей мысли, а не чужой».

«Вы правы, хотя не совершенно: этотъ предметъ былъ написанъ нѣсколько разъ. Но какая въ томъ нужда? Рубенсъ и Пуссенъ каждый писали его по своему, и если картина Егорова уступаетъ Пуссеневой, то конечно, выше картины Рубенсовой...»

«Какъ, что нужды? Пуссенъ и Рубенсъ писали истязаніе Христово: тѣмъ я строже буду суду судить художника, тѣмъ я буду прихотливѣе. Еслибъ какой-нибудь, впрочемъ и весьма искусный живописецъ вздумалъ написать картину Преображенія, я сказалъ бы ему: конечно, вы не видали картины Рафаелевой? Еслибъ поэтъ вздумалъ написать намъ Ифигенію въ Авлидѣ, я сказалъ бы ему: ее написалъ Расинъ прежде тебя, и такъ далѣе».

«Но признайтесь, по крайней мѣрѣ, что мучитель, прикрѣпляющій веревку, которою связаны руки Христа, написанъ прекрасно, правильно и можетъ назваться образцомъ рисунка. Онъ ясно доказываетъ, сколько г. Егоровъ силенъ въ рисункѣ, сколько ему извѣстна ему анатомія человѣческаго тѣла. Вотъ оригинальность нашего живописца!»

«Это все справедливо; но къ чему усиліе сего человѣка? Чтобы затянуть узелъ? Я вижу, что живописецъ хотѣлъ написать академическую фигуру и написалъ ее прекрасно; но я не однѣхъ побѣжденныхъ трудностей ищу въ картинѣ. Я ищу въ ней болѣе: я ищу въ ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтобъ она сдѣлала на меня сильное впечатлѣніе, чтобъ она оставила въ сердцѣ моемъ продолжительное воспоминаніе, подобно прекрасному драматическому представленію, если изображаетъ предметъ важный, трогательный. Къ тому же согласитесь, что другой мучитель поставленъ дурно. А воинъ?... Онъ вовсе лишній, онъ ни

на кого не глядитъ, хотя глаза его отверзты необыкновеннымъ образомъ... Къ чему—спрашиваю васъ—на римскомъ воинѣ шлемъ съ змѣемъ, и почему въ темницѣ Христовой лежитъ желѣзная рукавица? Ихъ начали употреблять десять вѣковъ или болѣе послѣ Рождества Христова; не значитъ ли это»...

«Конечно такъ!» сказалъ Старожилову какой-то незнакомецъ, который долго вслушивался въ разговоръ (мы приняли его за художника),—«конечно такъ! Если художники наши будутъ болѣе читать и разсматривать прилежнѣе книги, въ которыхъ представлены обряды, одежды и вооруженіе древнихъ, то подобныхъ анахронизмовъ дѣлать не будутъ».

«Но признайтесь, государь мой, признайтесь, отложа всякое пристрастіе, что это картина обѣщаетъ дальнѣйшіе успѣхи. Если обстоятельства, которыя часто не благопріятствовали нашимъ артистамъ, если обстоятельства позволятъ ея живописцу заниматься постоянно сочиненіемъ большихъ картинъ, то можно ожидать, что онъ, утвердясь въ выборѣ, въ употребленіи и согласованіи красокъ и познакомясь со многими механическими пріемами (тайны, которыя долженъ угадывать художникъ въ живописномъ дѣлѣ), при твердой, правильной и красивой его рисовкѣ, при изобрѣтательномъ и благоразумномъ дарованіи, со временемъ не уступитъ лучшимъ живописцамъ италіанской, французской и испанской школы».

Будучи отъ природы снисходительнѣе и любя наслаждаться всѣмъ прекраснымъ, я съ большимъ удовольствіемъ смотрѣлъ на картину г. Егорова и сказалъ мысленно: «Вотъ художникъ, который приноситъ честь академіи, и которымъ мы, Русскіе, можемъ справедливо гордиться».

Въ слѣдующихъ комнатахъ продолжались выставки, и по большей части молодыхъ воспитанниковъ академіи. Я смотрѣлъ съ любопытствомъ на ландшафтъ, изображающій видъ окрестностей Шафгаузена и хижину, въ которой государь императоръ съ великою княгинею Екатериною Павловною угощены новымъ Филемономъ и Бавкидою. Вдали видно паденіе

Рейна, не весьма удачно написанное. Въ той же самой комнатѣ проектъ на соборную церковь и два проекта для монумента изъ отнятыхъ у непріятеля пушекъ: оба не соотвѣтствуютъ прекрасной и высокой мысли. Вотъ празднованіе Пасхи въ Парижѣ Александромъ и его побѣдоносными войсками. Какой предметъ для патріота! Съ какимъ чистѣйшимъ удовольствіемъ смотрѣлъ я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно; но я замѣтилъ, что цвѣтъ неба и облаковъ холоденъ и тяжелъ.

Множество зрителей всякаго званія толпились передъ большою картиною, изображающею Христа съ учениками и блудницею. Одни хвалили съ жаромъ, другіе осуждали. De gustibus non est disputandum! «Видно, что живописецъ», сказалъ намъ молодой нашъ путеводитель,—«живописецъ, скупой на искусство и вкусъ, не пощадилъ полотна, розовой и голубой краски».

«И времени», прибавилъ Старожиловъ.

«Вы видите здѣсь и другую картину: Венеру розовую на голубомъ полѣ, съ голубками и съ Купидономъ—неудачное подражаніе Тиціану или китайскимъ картинамъ безъ тѣней; Венеру, которая не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ Венерою Омера, Овидія или Лукреція, но живымъ образомъ напоминаетъ намъ какую-нибудь богиню изъ шуточной поэмы Майкова или изъ Энеиды, вывороченной на изнанку. Вы видите тамъ, на другой стѣнѣ, тріумфъ государя, на подобіе Рубенса. Теперь взгляните на этого больнаго старика съ факеломъ, подражаніе Жирару де-ла Потте, и признайтесь, что эти живописцы въ своемъ подражаніи оригинальны. Они-то могутъ назваться со временемъ основателями новой италіанской школы, la scuola Pietroborghese, и затмить своею чудесною кистію славу своихъ соотечественниковъ, славу Рафаеля, Кореджіо, Тиціана, Альбана и проч.».

Пускай глаза наши, ослѣпленные яркими красками сихъ живописей, на которыхъ Ньютонъ могъ бы открыть всѣ преломленія луча солнечнаго, пускай глаза наши отдохнутъ на произведеніи

г. Есакова. Вотъ его рѣзные камни: одинъ изображаетъ Геркулеса, бросающаго Іоласа въ море, другой—Кіевлянина, переплывшаго Днѣпръ. Большая твердость въ рисункѣ! Пожелаемъ искусному художнику болѣе навыка, безъ котораго нѣтъ легкости и свободы въ отдѣлкѣ мелкихъ частей. Смѣлости у него довольно, а знаній?.. «Вѣкъ живи, вѣкъ учись», сказалъ Старожиловъ. — «Согласитесь однакоже», шепнулъ онъ молодому художнику, — «согласитесь, что, кромѣ картины Егорова, мы ничего еще не видѣли совершеннаго или близкаго къ совершенству».

«Можетъ быть!» отвѣчалъ онъ;—«но прошу васъ взглянуть на рисунокъ Уткина. Этотъ превосходный рисунокъ, какъ вы видите, изображаетъ святую фамилію съ Гвидо Рени. Другой рисунокъ — портретъ князя Александра Борисовича Куракина и съ него гравированный портретъ сего вельможи».

«Вотъ истинное искусство!» сказалъ Старожиловъ, измѣняя своему прекрасному правилу: Nil admirari. — «Г. Уткинъ, извѣстный и уважаемый въ Парижѣ, можетъ стать на ряду съ лучшими граверами въ Европѣ. Конечно, и въ отечествѣ своемъ найдетъ онъ людей просвѣщенныхъ, достойныхъ цѣнителей его рѣдкаго таланта!»

Но съ какимъ удовольствіемъ смотрѣли мы на портреты г. Кипренскаго, любимаго живописца нашей публики! Правильная и необыкновенная пріятность въ его рисункѣ, свѣжесть, согласіе и живость красокъ, все доказываетъ его дарованіе, умъ и вкусъ нѣжный, образованный [1]).

[1]) Въ собраніи портретовъ г. Кипренскаго, по важности предмета и по отдѣлкѣ, занимаютъ первое мѣсто два портрета великихъ князей Николая Павловича и Михаила Павловича; голова старика съ сѣдою бородою, или образецъ для апостольской головы; имъ же гравированный портретъ и весьма схожій славнаго актера Дмитревскаго, и рисованный чернымъ карандашемъ—Фигнера славнаго соглядатая нашей арміи, о которомъ можно сказать, что Тассъ говорилъ о Вафринѣ:

. . . per dritto sentier tra regie porte
Trapassa, ed or dimanda, ed or risponde.
A dimande a risposte astute e pronte
Accoppia baldanzosa audace fronte.

Старожиловъ, къ удивленію нашему, плѣнился мастерскою его кистью и, открывъ въ своей памяти два италіанскіе стиха, сказалъ ихъ съ необыкновенною живостію:

Manca il parlar: di vivo altro non chiedi:
Nè manca questo ancor, s'a gli occhi credi.

«Видите ли», продолжалъ онъ, — «видите ли, какъ образуются наши живописцы? Скажите, чтобъ былъ г. Кипренскій, еслибъ онъ не ѣздилъ въ Парижъ, если бы»...

«Онъ не былъ еще въ Парижѣ, ни въ Римѣ», отвѣчалъ ему художникъ.

«Это удивительно, удивительно!» повторилъ Старожиловъ.

«Почему? Развѣ нѣтъ образцовъ и здѣсь для портретнаго живописца? Развѣ Эрмитажъ закрытъ для любопытнаго, а особенно для художника? Развѣ не позволяется художнику списывать тамъ портреты съ Вандика, пейзажисту учиться надъ богатымъ собраніемъ картинъ единственныхъ въ своемъ родѣ?

Di qua di là sollecito s'aggira
Per le vie, per le piazze e per le tende.
I guerrier' i destrier' l'arme rimira;
L'arti e gli ordini osserva, e i nomi apprende.
Nè di ciò pago, a maggior' cose aspira:
Spia gli occulti disegni, e parte intende.
Tanto s'avvolge, e così destro e piano...

То-есть: „Прямымъ путемъ проходитъ чрезъ врата царскія. Дѣлаетъ вопросы, даетъ отвѣты; хитрымъ вопросамъ и быстрымъ отвѣтамъ соотвѣтствуетъ его смѣлое и гордое чело. Туда и сюда проходитъ торопливыми шагами, чрезъ пути и площади между шатровъ непріятельскихъ. Осматривая ряды воиновъ, коней и оружіе, замѣчаетъ порядокъ, искусство воиновъ; познаетъ ихъ имена. Сего не довольно: онъ стремится къ высшей цѣли: проникаетъ въ тайные замыслы и хитрыя намѣренія враговъ“.

Нашъ Фигнеръ старцемъ въ станъ враговъ
Идетъ во муракѣ ночи:
Какъ тѣнь, прокрался вкругъ шатровъ:
Все зрѣли быстры очи.
И станъ еще въ глубокомъ снѣ,
День свѣтлый не проглянулъ,
А онъ — ужъ витязь на конѣ,
Уже съ дружиной грянулъ...

Жуковскій.

Или вы думаете, что нуженъ непремѣнно воздухъ римскій для артиста, для любителя древности, что ему нужно долговременное пребываніе въ Парижѣ? Въ Парижѣ! Согласенъ! Но сколько дарованій погибло въ этой столицѣ? Разсѣяніе, всѣ прелести свѣта не только препятствовали развитію дарованія, но губили его на вѣки».

«Вотъ московскіе виды», сказалъ молодой художникъ, указывая на картины, изображающія Каменный мостъ, Кремль и пр. съ большою истиною и искусствомъ.

Какія воспоминанія для московскаго жителя! Разсматривая живопись, я погрузился въ сладостное мечтаніе и готовъ былъ воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, въ долинахъ Хаонейскихъ, гдѣ все чудеснымъ образомъ напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи, луга и источники родины незабвенной [1]); я готовъ былъ сказать моимъ товарищамъ:

Что матушки Москвы и краше, и милѣе?

Но Старожиловъ разсѣялъ воспоминаніе о древней бѣлокаменной столицѣ громкимъ и безпрерывнымъ смѣхомъ, разсматривая чудесныя мозаики, въ той же комнатѣ выставленныя. Я взглянулъ на нихъ съ негодованіемъ, пожалъ плечами и пошелъ въ другую комнату, гдѣ ожидалъ насъ портретъ покойнаго графа А. С. Строганова, писанный г. Варнекомъ. Вокругъ него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смѣлось кисти; отдѣлку платья, бѣлаго глазета и весь рисунокъ картины; другіе, напротивъ того, утверждали, что краски вообще тусклы, отдѣлка груба, нетщательна и пр. и пр. и пр.; а я восхищался удивительнымъ сходствомъ лица.

«Такъ, это онъ, точно онъ!» сказалъ какой-то пожилой человѣкъ нашему путеводителю. —«Эта прекрасная картина г. Вар-

[1]) Procedo, et parvam Troiam, simulataque magnis
Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum.
Adgnosco Scacaeque amplector limina portae, и пр.

Aeneid. liber III

нека возбуждаетъ въ моей памяти тысячу горестныхъ и сладкихъ воспоминаній! Она живо представляетъ лицо покойнаго графа, сего просвѣщеннаго покровителя и друга наукъ и художествъ, вельможу, котораго мы будемъ всегда оплакивать, какъ дѣти — нѣжнаго и попечительнаго отца. Полезные совѣты, лестное одобреніе знатока, рѣдкое добродушіе, истинный признакъ великой и прекрасной души, желаніе быть полезнымъ каждому изъ насъ, пламенная, но просвѣщенная любовь къ отечеству, любовь ко всему, что̀ можетъ возвысить его славу и сіяніе, вотъ чѣмъ отличился почтенный президентъ нашей академіи, вотъ что̀ мы будемъ воспоминать со слезами вѣчной признательности, и что̀ искусная кисть г. Варнека столь живо напоминаетъ всѣмъ академикамъ, которые имѣли счастіе пользоваться покровительствомъ любезнѣйшаго и добрѣйшаго изъ людей! Черты, незабвенныя черты нашего мецената будутъ намъ всегда драгоцѣнны!

Художникъ говорилъ съ большимъ жаромъ, и слезы навернулись на его глазахъ. Я былъ внѣ себя отъ радости, ибо я раздѣлялъ вполнѣ его чувства. Самъ Старожиловъ былъ тронутъ и долго стоялъ въ молчаніи предъ почтеннымъ ликомъ почтеннаго старца, престарѣлаго Нестора искусствъ, истиннаго образца людей государственныхъ, вельможи, который доказалъ краснорѣчивымъ примѣромъ цѣлой жизни, что высшій санъ заимствуетъ прочное сіяніе не отъ богатства и почестей наружныхъ, но отъ истиннаго, неотъемлемаго достоинства души, ума и сердца.

Долго сладкое впечатлѣніе оставалось въ моей душѣ, и я, занятый разговоромъ почтеннаго художника, прошелъ безъ вниманія мимо нѣкоторыхъ картинъ, ученической работы, иностранцевъ, которые на сей разъ какъ будто нарочно согласились уступить безспорно преимущество нашимъ художникамъ, выставя безобразныя и уродливыя произведенія своей кисти. Мы остановились у подножія Актеона (изобрѣтенія г. Мартоса), большой статуи, отлитой для графа Н. П. Румянцева г. Екимовымъ: прекрасное произведеніе русскихъ художниковъ! «Замѣтьте, сказалъ намъ услужливый путеводитель нашъ,— «замѣтьте», что литейное

искусство сдѣлало большой шагъ въ Россіи подъ руководствомъ г. Екимова» [1]).

Картина г. Куртеля «Спартанецъ при Ѳермопилахъ» привлекла наше вниманіе. Прекрасный юноша, сразившійся за свободу Греціи, умираетъ одинъ, безъ помощи, безъ друга, въ мѣстахъ пустынныхъ. Кровавый долгъ Спартѣ отданъ, оружіе избито, кровь пролита ручьями изъ ранъ глубокихъ и смертельныхъ, и послѣднія минуты убѣгающей жизни принадлежатъ ему: послѣдніе взоры, исполненные страданія и любви, устремлены на медальонъ, изображающій черты ему любезныя. «Вотъ прекрасная мысль», сказалъ я моимъ товарищамъ,—«и выраженная мастерскою кистію». Но они замѣтили, и справедливо, что въ фигурѣ нѣтъ ни соразмѣрности, ни согласія. «Это туловище небольшаго фавна, приставленное къ ногамъ Боргезскаго борца», сказалъ молодой художникъ;—«конечно, много истины въ выраженіи лица и мертвенности другихъ членовъ; но признаюсь вамъ, я неохотно смотрю на подобныя сему изображенія. И можно ли смотрѣть спокойно на картины Давида и школы, имъ образованной, которая напоминаетъ намъ одни ужасы революціи: терзаніе умирающихъ насильственною смертію, оцѣпенѣніе глазъ, трепещущія, поблѣднѣлыя уста, глубокія раны, судороги, однимъ словомъ—ужасную побѣду смерти надъ жизнію? Согласенъ съ вами, что это представлено съ большою живостію; но эта самая истина отвратительна, какъ нѣкоторыя истины, изъ природы почерпнутыя, которыя не могутъ быть приняты въ картинѣ, въ статуѣ, въ поэмѣ и на театрѣ».

Разговаривая такимъ образомъ, мы оставили академію. Если мое письмо не наскучило пустыннику, то я сообщу тебѣ продол-

[1]) Отлитая г. Екимовымъ фигура Актеона, по разобраніи формы, не была ни опилена, ни отчеканена; но отлитіе оной такъ совершенно, что по отбитіи путцевъ, чрезъ которые течетъ въ форму растопленный металлъ, осталось только всю фигуру пройти пескомъ, для того чтобъ ей дать общій цвѣтъ. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всѣхъ частяхъ отлитіе колоссальныхъ статуй для Казанскаго собора, также конченныхъ безъ чеканки!

ленie нашей прогулки и разговора о художествахъ. Прости до первой почты.

NN.

P. S. На третiй день моей прогулки въ академiю я кончилъ мое письмо къ тебѣ и готовъ былъ его запечатать, какъ вдругъ мнѣ пришла на умъ слѣдующая мысль: Если кто-нибудь прочитаетъ то, что̀ я сообщалъ прiятелю въ откровенной бесѣдѣ?... «Что нужды», отвѣчалъ молодой художникъ Н.. которому я прочиталъ мое письмо,—«что нужды? Развѣ вы обидѣли кого-нибудь изъ художниковъ, достойныхъ уваженiя? Выставя картину для глазъ цѣлаго города, развѣ художникъ не подвергаетъ себя похвалѣ и критикѣ добровольно? Одинъ маляръ гнѣвается за сужденie знатока или любителя; истинный талантъ не страшится критики; напротивъ того, онъ любитъ ее, онъ уважаетъ ее, какъ истинную, единственную путеводительницу къ совершенству. Знаете ли, что убиваетъ дарованie, особливо если оно досталось въ удѣлъ человѣку безъ твердаго характера? Хладнокровie общества: оно ужаснѣе всего! Какiя сокровища могутъ замѣнить лестное одобренie людей чувствительныхъ къ прелестямъ искусствъ! Одинъ богатый невѣжда заказалъ картину моему прiятелю; картина была написана, и художникъ получилъ кучу золота... Повѣрите ли, онъ былъ въ отчаянiи. Ты недоволенъ платою? спросилъ я.—О нѣтъ, я награжденъ слишкомъ щедро!—Что же огорчаетъ тебя?—Ахъ, любезный другъ, моя картина досталась невѣждѣ и сгнiетъ въ его кабинетѣ: что мнѣ въ золотѣ безъ славы! — Въ Парижѣ художники знаютъ свою выгоду. Они живутъ въ тѣсной связи съ писателями, которые за нихъ сражаются съ журналистами, съ знатоками и любителями и проливаютъ за нихъ источники чернилъ. Двѣ, три недѣли, часто мѣсяцъ занимаютъ они публику послѣ перваго выставленiя картинъ». «Это все справедливо; но я могъ ошибаться». «Что нужды, если безъ намѣренiя!» «Но я употребилъ въ моемъ письмѣ новыя выраженiя, напримѣръ: механическiй прiемъ (въ живописномъ дѣлѣ), желая изъяснить то, что̀ Французы называютъ

le faire, и боюсь»... «Пускай другіе переведутъ лучше, исправнѣе; у насъ еще не было своего Менгса, который открылъ бы намъ тайны своего искусства и къ искусству живописи присоединилъ другое, столь же трудное, искусство изъяснять свои мысли. У насъ не было Винкельмана... Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочитаетъ!» повторялъ художникъ съ хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебѣ, любезный другъ, я боюсь огорчить нашихъ художниковъ, которые нерѣдко до того простираютъ ревность къ своей славѣ, что малѣйшую критику, самую умѣренную, самую осторожную, почитаютъ личнымъ оскорбленіемъ.

VI.

НѢЧТО О ПОЭТѢ

И ПОЭЗІИ

Поэзія, сей пламень небесный, который менѣе или болѣе входитъ въ составъ души человѣческой, сіе сочетаніе воображенія, чувствительности, мечтательности, поэзія нерѣдко составляетъ и муку, и услажденіе людей, единственно для нея созданныхъ. «Вдохновеніемъ генія тревожится поэтъ», сказалъ извѣстный стихотворецъ. Это совершенно справедливо. Есть минуты дѣятельной чувствительности; ихъ испытали люди съ истиннымъ дарованіемъ; ихъ-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и болѣе всѣхъ поэту, — ибо онѣ рѣдки, преходящи и зависятъ часто отъ здоровья, отъ времени, отъ вліянія внѣшнихъ предметовъ, которыми по произволу мы управлять не въ силахъ. Но въ минуту вдохновенія, въ сладостную минуту очарованія поэтическаго, я никогда не взялъ бы пера моего, если бы нашелъ сердце способное чувствовать вполнѣ то, что̀ я чувствую, если бы могъ передать ему всѣ тайныя помышленія, всю свѣжесть моего мечтанія и заставить въ немъ трепетать тѣ же струны, которыя издали голосъ въ моемъ сердцѣ. Гдѣ сыскать сердце, готовое раздѣлять съ нами всѣ чувства и ощущенія наши? Нѣтъ его съ нами, и мы прибѣгаемъ къ искусству вы-

ражать мысли свои—въ сладостной надеждѣ, что есть на землѣ сердца добрыя, умы образованные, для которыхъ сильное и благородное чувство, счастливое выраженіе, прекрасный стихъ и страница живой, краснорѣчивой прозы суть сокровища истинныя... «Они не могутъ читать въ моемъ сердцѣ, но прочитаютъ книгу мою», говорилъ Монтань, и въ самыя бурныя времена Франціи, при звукѣ оружія, при заревѣ костровъ, зажженныхъ суевѣріемъ, писалъ Опыты свои и, бесѣдуя съ добрыми сердцами всѣхъ вѣковъ, забывалъ недостойныхъ современниковъ.

Нѣкто сравнивалъ душу поэта въ минуту вдохновенія съ растопленнымъ въ горнилѣ металломъ: въ сильномъ и постоянномъ пламени онъ долго остается въ первобытномъ положеніи, долго недвижимъ; но раскаленный рдѣется, закипаетъ и клокочетъ, снятый съ огня—въ одну минуту успокоивается и упадаетъ. Вотъ прекрасное изображеніе поэта, котораго вся жизнь должна приготовлять нѣсколько плодотворныхъ минутъ; всѣ предметы, всѣ чувства, все зримое и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сіи ясныя минуты дѣятельности, въ которыя столь легко изображать всю исторію нашихъ впечатлѣній, чувствъ и страстей. Плодотворная минута поэзіи, ты быстро изчезаешь, но оставляешь вѣчные слѣды у людей, владѣющихъ языкомъ боговъ!

Люди, счастливо рожденные, которыхъ природа щедро надѣлила памятію, воображеніемъ, огненнымъ сердцемъ и великимъ разсудкомъ, умѣющимъ давать вѣрное направленіе и памяти, и воображенію,—сіи люди, имѣютъ, безъ сомнѣнія, даръ выражаться, прелестный даръ, лучшее достояніе человѣка, ибо посредствомъ его онъ оставляетъ вѣрнѣйшіе слѣды въ обществѣ и имѣетъ на него сильное вліяніе. Безъ него не было бы ничего продолжительнаго, вѣрнаго, опредѣленнаго, и то, что̀ мы называемъ безсмертіемъ на землѣ, не могло бы существовать. Вѣки мелькаютъ, памятники рукъ человѣческихъ разрушаются, изустныя преданія измѣняются, изчезаютъ; но Омеръ и книги священныя говорятъ о протекшемъ. На нихъ основана опытность

человѣческая. Вѣчные кладези, откуда мы почерпаемъ истины утѣшительныя или печальныя, что̀ даетъ вамъ сію прочность? Искусство письма и другое, важнѣйшее, искусство выраженія.

Сей даръ выражать и чувства, и мысли свои давно подчиненъ строгой наукѣ. Онъ подлежитъ постояннымъ правиламъ, проистекшимъ отъ опытности и наблюденія. Но самое изученіе правилъ, безпрестанное и упорное наблюденіе изящныхъ образцовъ, недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, всѣ тайныя помышленія, всѣ пристрастія клонились къ одному предмету, и сей предметъ долженъ быть искусство: поэзія — осмѣлюсь сказать — требуетъ всего человѣка.

Я желаю — пускай назовутъ страннымъ мое желаніе! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образъ жизни, піитическую піитику, однимъ словомъ — чтобы сдѣлали науку изъ жизни стихотворца. Эта наука была бы для многихъ едва ли не полезнѣе всѣхъ Аристотелевыхъ правилъ, по которымъ научаемся избѣгать ошибокъ, но какъ творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи какъ пишешь, и пиши какъ живешь; talis hominibus fuit oratio, qualis vita. Иначе всѣ отголоски лиры твоей будутъ фальшивы. Къ чему произвела тебя природа? Что̀ вложила въ сердце твое? Чѣмъ плѣняется воображеніе — часто противъ воли твоей? При чтеніи какого писателя трепеталъ твой геній съ неизъяснимою радостію, и гласъ, громкій гласъ твоей піитической совѣсти восклицалъ: Проснись, и ты поэтъ! При чтеніи творцовъ эпическихъ? Итакъ, удались отъ общества, окружи себя природою: въ тишинѣ сельской, посреди грубыхъ, не испорченныхъ нравовъ читай исторію временъ протекшихъ, поучайся въ печальныхъ лѣтописяхъ міра, узнавай человѣка и страсти его, но исполнись любви и благоволенія ко всему человѣчеству: да будутъ мысли твои важны и величественны, движенія души твоей нѣжны и страстны, но всегда покорены разсудку, спокойному властелину ихъ. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать, обѣ фортуны: подобно Тассу — любить и страдать всѣмъ сердцемъ, подобно Камоэнсу — сражаться за отечество, обтекать всѣ страны.

вопрошать всѣ народы дикіе и просвѣщенные, вопрошать всѣ памятники искусства, всю природу, которая говоритъ всегда краснорѣчиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаніями; однимъ словомъ—надобно, забывъ всѣ ничтожныя выгоды жизни и самолюбія, пожертвовать всѣмъ славѣ и тогда только погрузиться (не съ дерзостію кичливаго ума, но съ рѣшимостію человѣка, носящаго въ груди своей внутреннее сознаніе собственной силы), тогда только погрузиться въ бурное и пространное море эпопеи...

Жить въ обществѣ, носить на себѣ тяжелое ярмо должностей, часто ничтожныхъ и суетныхъ, и хотѣть согласовать выгоды самолюбія съ желаніемъ славы есть требованіе истинно суетное. Что образъ жизни дѣйствуетъ сильно и постоянно на талантъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнія. Примѣръ тому—Французы: ихъ словесность, столь богатая во всѣхъ родахъ, не имѣетъ ни эпопеи, ни исторіи. Ихъ писатели по большей части жили посреди шумнаго города, посреди всѣхъ обольщеній двора и праздности, а исторія и эпопея требуютъ вниманія постояннаго и сей важности, и сей душевной силы, которую общество, не только что отнимаетъ у человѣка разсѣяннаго, но уничтожаетъ совершенно. «Хотите ли быть краснорѣчивыми писателями?» говоритъ краснорѣчивая женщина нашего времени,—«будьте добродѣтельны и свободны, почитайте предметъ любви вашей, ищите безсмертія въ любви, Божества въ природѣ; освятите душу, какъ освящаютъ храмъ, и ангелъ возвышенныхъ мыслей предстанетъ вамъ во всемъ величіи!» Прелестныя строки, исполненныя истины, васъ разсѣянные умы или не поймутъ, или прочитаютъ съ гордымъ презрѣніемъ.

Взглянемъ на жизнь нѣкоторыхъ стихотворцевъ, которыхъ имена столь любезны сердцу нашему. Горацій, Катуллъ и Овидій такъ жили, какъ писали. Тибуллъ не обманывалъ ни себя, ни другихъ, говоря покровителю своему Мессалѣ, что его не обрадуютъ ни тріумфы, ни пышный Римъ, но спокойствіе полей, здоровый воздухъ лѣсовъ, мягкіе луга, родимый ручеекъ и эта

хижина съ простымъ соломеннымъ кровомъ, ветхая хижина, въ которой Делія ожидаетъ его съ распущенными власами по высокой груди. Петрарка точно стоялъ опершись на скалу Воклюзскую, погруженный въ глубокую задумчивость, когда вылетали изъ устъ его гармоническіе стихи:

> sott' un gran sasso
> In una chiusa valle, ond' esce Sorga,
> Si sta: nè chi lo scorga
> V'è, se no Amor, che mai nol lascia un passo;
> E l'immagine d'una che lo strugge.

Счастливый Шолье мечталъ подъ ветхими и тѣнистыми древами Фонтенейскаго убѣжища; тамъ сожалѣлъ онъ объ утратѣ юности, объ утратѣ невѣрныхъ наслажденій любви. Богдановичъ жилъ въ мірѣ фантазіи, имъ созданномъ, когда рука его рисовала плѣнительное изображеніе Душеньки [1]. Державинъ на дикихъ берегахъ Суны, орошенный кипящею ея пѣною, воспѣвалъ водопадъ и Бога въ пророческомъ изступленіи. И въ наши времена, болѣе обильныя славою, нежели благопріятныя музамъ, Жуковскій, оторванный Беллоною отъ милыхъ полей своихъ, Жуковскій, одаренный пламеннымъ воображеніемъ и рѣдкою способностію передавать другимъ глубокія ощущенія души сильной и благородной, въ станѣ воиновъ, при громѣ пушекъ, при заревѣ пылающей столицы писалъ вдохновенные стихи, исполненные огня, движенія и силы.

Если образъ жизни имѣетъ столь сильное вліяніе на произведеніе поэта, то воспитаніе дѣйствуетъ на него еще сильнѣе. Ничто не можетъ изгладить изъ памяти сердца нашего первыхъ, сладостныхъ впечатлѣній юности. Время украшаетъ ихъ и даетъ имъ восхитительную прелесть. Въ среднемъ возрастѣ зримые предметы слабо врѣзываются въ памяти, и душа, утомленная

[1]) Богдановичъ жилъ въ совершенномъ уединеніи. У него были два товарища, достойные добродушнаго Лафонтена: котъ и пѣтухъ. Объ нихъ онъ говорилъ, какъ о друзьяхъ своихъ, разсказывалъ чудеса, безпокоился объ ихъ здоровьѣ и долго оплакивалъ ихъ кончину.

ощущеніями, пренебрегаетъ ими: ее занимаютъ однѣ страсти. Въ преклонныхъ лѣтахъ человѣкъ не пріобрѣтаетъ, и послѣднимъ его сокровищемъ остается то единственно, чѣмъ онъ запасъ себя въ молодости. Такимъ образомъ природа соединяетъ вечеръ съ утромъ жизни, какъ вечерняя заря сливается съ утреннею въ долгіе дни лѣта подъ нашимъ сѣвернымъ небомъ.

Если первыя впечатлѣнія столь сильны въ сердцѣ каждаго человѣка, если не изглаживаются во все теченіе его жизни, то тѣмъ болѣе они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свѣжесть въ душѣ писателя, одареннаго глубокою чувствительностію:

> Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтски лѣты,
> Забавы, рѣзвости, различные предметы,
> Которые тогда увеселяли насъ!

Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великихъ писателей, то безъ сомнѣнія, могли бы найти въ ихъ твореніяхъ слѣды первыхъ, всегда сильныхъ ощущеній. Сердце имѣетъ свою особенную память. Руссо помнилъ начало пѣсни, которую ему напѣвала его добродушная тетка. Молодой Аріостъ, въ бытность свою во Флоренціи, влюбился въ прелестную женщину; онъ часто посѣщалъ ее, цѣлые часы въ глубокомъ безмолвіи просиживалъ, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурнымъ шелкомъ; впечатлѣніе прелестныхъ рукъ навсегда осталось въ памяти любовника, и столь сильно, что впослѣдствіи времени, разсказывая битву Мандрикара съ злополучнымъ Сербиномъ, онъ сравниваетъ алую кровь, текущую изъ глубокой раны юноши, съ пурпурными начертаніями, которыя вышивала по серебру бѣлоснѣжная рука незабвенной Флорентинки. Нѣжныя сердца помнятъ тѣ мѣста въ Виргиліи, гдѣ поэтъ говоритъ о своей милой Мантуѣ: стихи римскаго Омера исполнены воспоминаній о юности; они исполнены сихъ глубокихъ, неизгладимыхъ впечатлѣній, которыя погружаютъ читателя въ сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.

Климатъ, видъ неба, воды и земли, все дѣйствуетъ на душу поэта, отверзтую для впечатлѣній. Мы видимъ въ пѣсняхъ сѣверныхъ скальдовъ и эрскихъ бардовъ нѣчто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо сѣвера, и туманы морскіе, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и въ ужасахъ. Мы видимъ неизгладимый отпечатокъ климата въ стихотворцахъ полуденныхъ — нѣкоторую нѣгу, роскошь воображенія, свѣжесть чувствъ и ясность мыслей, напоминающія и небо, и всю благотворную природу странъ южныхъ, гдѣ человѣкъ наслаждается двойною жизнію въ сравненіи съ нами, гдѣ все питаетъ и нѣжитъ его чувства, гдѣ все говоритъ его воображенію. Напрасно уроженецъ Сициліи или Неаполя желалъ бы состязаться въ пѣсняхъ своихъ съ бардомъ Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу сѣвера; напрасно сѣверный поэтъ желалъ бы изображать роскошныя долины, прохладныя пещеры, плодоносныя рощи, тихіе заливы и небо Сициліи, высокое, прозрачное и вѣчно ясное. Одинъ Тассъ, рожденный подъ раскаленнымъ солнцемъ Неаполя, могъ описать столь вѣрными и свѣжими красками ужасную засуху, гибельную для крестовыхъ воиновъ. По сему описанію, говоритъ ученый Женгене, можно узнать полуденнаго жителя, который неоднократно подвергался смертному вліянію вѣтровъ африканскихъ, неоднократно изнемогалъ подъ бременемъ зноя. У насъ Ломоносовъ, рожденный на берегу шумнаго моря, воспитанный въ трудахъ промысла, сопряженнаго съ опасностію, сей удивительный человѣкъ, въ первыхъ лѣтахъ юношества былъ сильно пораженъ явленіями природы: солнцемъ, которое въ должайшіе дни лѣта, дошедъ до края горизонта, снова возстаетъ и снова течетъ по тверди небесной; сѣвернымъ сіяніемъ, которое въ полуночномъ краю замѣняетъ солнце и проливаетъ холодный и дрожащій свѣтъ на природу, спящую подъ глубокими снѣгами; Ломоносовъ съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ описываетъ сіи явленія природы, величественныя и прекрасныя, и повторяетъ ихъ въ великолѣпныхъ стихахъ своихъ:

Закрылись крайніе пучиною лѣса,
Лишь съ моремъ видны вкругъ сліяны небеса...
. . . Сквозь воздухъ въ югѣ чистый
Открылись два холма и берега лѣсисты.
Межь ними кораблямъ въ заливъ отверзся входъ,
Убѣжище пловцамъ отъ безпокойныхъ водъ,
Гдѣ въ мокрыхъ берегахъ крутясь печальна Уна
Медлительно течетъ въ объятія Нептуна...
Достигло дневное до полночи свѣтило,
Но въ глубинѣ лица горящаго не скрыло;
Какъ пламенна гора, казалось межь валовъ
И простирало блескъ багровый изъ-за льдовъ.
Среди пречудныя при ясномъ солнцѣ ночи
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ въ очи.

Мы не остановимся на красотѣ стиховъ. Здѣсь всѣ выраженія великолѣпны: горящее лицо солнца, противуположное хладнымъ водамъ океана, солнце, остановившееся на горизонтѣ и, подобно пламенной горѣ, простирающее блескъ изъ-за льдовъ, суть первоклассныя красоты описательной поэзіи. Два послѣдніе стиха, заключающіе картину, восхитительны:

Среди пречудныя при ясномъ солнцѣ ночи
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ въ очи.

Но мы замѣтимъ, что поэтъ не могъ бы написать ихъ, если бы онъ не былъ свидѣтелемъ сего чудеснаго явленія, которое поразило огненное воображеніе вдохновеннаго отрока и оставило въ немъ глубокое, неизгладимое впечатлѣніе.

VII.

НѢЧТО О МОРАЛИ,

основанной на философіи и религіи.

Есть необыкновенная эпоха въ жизни: иные ранѣе, другіе позже испытали мученіе и сладость, ей особенно свойственныя. Я хочу говорить о томъ времени, въ которое человѣкъ посредствомъ опыта и страстей получаетъ новое нравственное существованіе, когда, разодравъ завѣсу сомнѣній, онъ открываетъ новое поприще, становится на новый рубежъ, озираетъ съ него протекшее и будущее, сравниваетъ одно съ другимъ и рѣшается протекать остальное поприще жизни съ свѣтильникомъ вѣры или мудрости, оставляя за собою предразсудки легкомыслія, суетныя надежды и толпу блестящихъ призраковъ юности.

Скоро и невозвратно изчезаетъ юность, это время, въ которое человѣкъ, по счастливому выраженію Кантемира, еще новый житель міра сего, съ любопытствомъ обращаетъ взоры на природу, на общество и требуетъ однихъ сильныхъ ощущеній; онъ съ жаждою пьетъ тогда въ источникѣ жизни, и ничто не можетъ утолить сей жажды: нѣтъ границы наслажденіямъ, нѣтъ мѣры требованіямъ души, новой, исполненной силы и не ослабленной ни опытностію, ни трудами жизни. Тогда все дѣлается страстію, и самое чтеніе. Счастливъ тотъ, кто найдетъ

наставника опытнаго въ оное опасное время, наставника, коего попечительная рука отклонитъ отъ порочнаго и суетнаго; счастливъ тотъ еще болѣе, кого сердце спасаетъ отъ заблужденій разсудка, ибо въ юности сердце есть лучшая порука за разсудокъ. Одна опытность даетъ разсудку и силу, и дѣятельность. Во время юности и огненныхъ страстей каждая книга увлекаетъ, каждая система принимается за истину, и читатель, не руководимый разумомъ, подобно гражданину въ бурныя времена безначалія, переходитъ то на одну, то на другую сторону. Сомнѣніе не существуетъ и не можетъ существовать, ибо оно уже есть слѣдствіе сравненія, для котораго нужны понятія, цѣлый запасъ воспоминаній. Тѣ моралисты, которые говорятъ сердцу, одному сердцу, тѣ политики, которые нападаютъ софизмами на всѣ предразсудки безъ изъятія и поражаютъ зло стрѣлами сатиры или палицею желѣзнаго человѣка [1]), не взирая ни на лица, ни на условія и законы общества, суть самые опаснѣйшіе. Блескъ остроумія изчезаетъ; одно убѣдительное краснорѣчіе страстей, или возбуждающее ихъ, оставляетъ въ сердцѣ сіи глубокіе слѣды, часто неизгладимые [2]).

Но время чтенія изчезаетъ, ибо пресыщенное любопытство утомляется. За симъ слѣдуетъ непосредственная эпоха сомнѣній. Сомнѣніе мучительно; оно есть необыкновенное состояніе души и продолжительно не бываетъ. Надобно рѣшиться мыслящему человѣку принять свѣтильникъ мудрости (той или другой школы); надобно запастись мудростію человѣческою или небесными утѣшеніями—ибо онъ видитъ, онъ чувствуетъ, что для самой ограниченной дѣятельности въ обществѣ надлежитъ имѣть нѣсколько постоянныхъ нравственныхъ истинъ въ опору своей слабости. Къ несчастію,—или къ счастію, можетъ быть, ибо кто извѣдалъ

[1]) Смотри мечтанія Мерсье подъ названіемъ: L'An 2440.

[2]) Вотъ почему чтеніе Вольтера менѣе развратило умовъ, нежели пламенныя мечтанія и блестящіе софизмы Руссо: одинъ говоритъ безпрестанно уму, другой — сердцу; одинъ угождаетъ суетности и скоро утомляетъ остроуміемъ, другой никогда не можетъ наскучить, ибо всегда плѣняетъ, всегда убѣждаетъ или трогаетъ: онъ во сто разъ опаснѣе.

всѣ пути Промысла? — мы живемъ въ печальномъ вѣкѣ, въ которомъ человѣческая мудрость недостаточна для обыкновеннаго круга дѣятельности самаго простаго гражданина; ибо какая мудрость можетъ утѣшить несчастнаго въ сіи плачевныя времена, и какое благородное сердце, чувствительное и доброе, станетъ довольствоваться сухими правилами философіи или захочетъ искать грубыхъ земныхъ наслажденій посреди ужасныхъ развалинъ столицъ, посреди развалинъ, еще ужаснѣйшихъ, всеобщаго порядка и посреди страданій всего человѣчества, во всемъ просвѣщенномъ мірѣ? Какая мудрость въ силахъ дать постоянныя мысли гражданину, когда зло торжествуетъ надъ невинностію и правотою? Какъ мудрости не обмануться въ своихъ математическихъ расчетахъ (ибо всякая мудрость человѣческая основана на расчетахъ), когда всѣ ея замыслы сами себя уничтожаютъ? Къ чему прибѣгаетъ умъ, требующій опоры? По какимъ постояннымъ правиламъ или расколамъ древней или новой философіи, по какой системѣ расположитъ свои поступки, связанные столь тѣсно съ ходомъ идей политическихъ превратныхъ и шаткихъ? И что̀ успокоитъ его? Какіе свѣтскіе моралисты внушатъ сію надежду, сіе мужество и постоянство для настоящаго времени столь печальнаго, для будущаго столь грознаго? — Ни одинъ, смѣло отвѣчаю, — ибо вся мудрость человѣческая принадлежитъ вѣку, обстоятельствамъ. Она подобна тѣмъ нѣжнымъ растеніямъ, которыя прозябаютъ, цвѣтутъ и украшаются плодами подъ природнымъ небомъ, но въ землѣ чуждой; окруженныя несвойственными растеніями, при вѣяніи малѣйшаго вѣтерка, скудѣютъ листьями и вянутъ безпрестанно. Слабость человѣческая не изцѣлима вопреки стоикамъ, и всѣ произведенія ума его носятъ отпечатокъ оной. Признаемся, что смертному нужна мораль, основанная на небесномъ Откровеніи, ибо она единственно можетъ быть полезна во всѣ времена и при всѣхъ случаяхъ: она есть щитъ и копье добраго человѣка, которые не ржавѣютъ отъ времени.

И къ чему всѣ опыты мудрости человѣческой? Къ чему со-

вѣты и наблюденія зоркаго разума? Достаточны ли они для человѣчества вообще, и для человѣка частно, во время его странствованія по бурному морю жизни? Къ чему, напримѣръ, сельскому жителю вся мудрость и опытность Дюкло? Къ чему тонкія замѣчанія Ларошфуко, котораго книга, по словамъ и самихъ свѣтскихъ людей, сушитъ сердце? Къ чему всѣ эти истины, основанныя на ложныхъ понятіяхъ? Ибо для мудрецовъ сихъ и дружба, и любовь, и чувство сына къ отцу, и нѣжнѣйшее чувство матери къ своему рожденію, однимъ словомъ—благодарность, безкорыстіе и все, что̀ человѣчество имѣетъ драгоцѣннаго, прекраснаго, великаго, всѣ позывы великой души, всѣ невольныя движенія и тайныя пожертвованія благороднаго сердца, все есть слѣдствіе корысти.

Другіе свѣтскіе моралисты повторяли однѣ и тѣ же мысли или (напримѣръ, Гельвецій) давали имъ обширнѣйшее распространеніе, но вѣчно ложное [1]). Они опечалили человѣчество, они ограбили его, сіи дерзкіе и суетные умы, ибо что говорили они?—Будь счастливъ по нашимъ правиламъ.—Согласенъ, слѣдую имъ слѣпо; но я все недоволенъ ни судьбою, ни сердцемъ своимъ. Что же мнѣ остается?—Терпѣніе, отвѣчали они, и отсылали насъ къ стоикамъ.

Вотъ въ чемъ совершенно заключается вся нравственная теорія новѣйшихъ мечтателей, которую опровергъ другой мечтатель [2]), отступникъ отъ вѣры, отступникъ отъ философіи. Ни слова въ утѣшеніе, ибо гдѣ обрѣсти его?—Въ совѣсти! кричали они.—Согласенъ; но кто утѣшитъ эту мать, прижавшую къ груди своей трепетнаго младенца, бѣгущую изъ столицы, объятой пламенемъ? Кто утѣшитъ этого отца, супруга, который подъ развалинами дома своего оставляетъ все, что̀ имѣлъ, и дѣтей, и жену, и всѣ блага жизни, всѣ надежды свои? Здѣсь совѣсть

[1]) Число понятій моральныхъ и политическихъ, говоритъ Ансильонъ,—весьма ограничено; вообще мало понятій въ обращеніи. Каждое поколѣніе выбиваетъ монету или, лучше сказать, перемѣняетъ только штемпель, а металлъ все тотъ же.
[2]) Руссо.

будетъ существо отрицательное. Она будетъ спокойна у невиннаго страдальца, но слезы его прольются на прахъ разрушеннаго счастія; взоры его обратятся къ небу; тамъ найдетъ онъ отвѣтъ на вопросы отчаяннаго сердца, или оно погибнетъ: здѣсь нѣтъ середины.

Стоическая система ложна, ибо мораль ея основана на одномъ умствованіи, на одномъ отрицаніи; она ложна потому, что безпрестанно враждуетъ съ нѣжнѣйшими обязанностями семейственными, которыя основаны на любви, на благоволеніи. Пусть будетъ она лучшая изъ древнѣйшихъ системъ, ибо она внушаетъ человѣку твердость, мужество, постоянство, безъ которыхъ нѣтъ добродѣтели, ибо она указуетъ смертному высокую цѣль и Бога на концѣ поприща жизни, проведенной въ правдѣ, въ трудахъ, въ отрицаніи самого себя, но сердцу она ничего не сказываетъ. Всѣ моральныя истины должны менѣе или болѣе къ нему относиться, какъ радіусы къ своему центру, ибо сердце есть источникъ страстей, пружина моральнаго движенія. Умъ долженъ имъ управлять; но и самый умъ (у людей счастливо рожденныхъ) любитъ отдавать ему отчетъ, и сей отчетъ ума сердцу есть то, что̀ мы осмѣлимся назвать лучшимъ и нѣжнѣйшимъ цвѣтомъ совѣсти [1]).

Есть другой родъ моралистовъ: они принадлежатъ къ школѣ Эпикуровой. (Новѣйшіе тѣ, которые не руководствовались истинами Откровенія и повторяли только сказанія древнихъ) [2]). Фран-

[1]) Вотъ въ чемъ заключали все ученіе стоики: «Есть Богъ, слѣдственно, Онъ создалъ человѣка. Онъ создалъ его для себя, создалъ таковымъ, чтобы онъ содѣлался правосуднымъ и счастливымъ на землѣ; слѣдственно, человѣкъ можетъ познать истину и можетъ посредствомъ мудрости своей возвыситься до Бога, который есть верховное благо». Мы приглашаемъ прочитать опроверженіе Монтаня системы Эпиктетовой и Паскалево опроверженіе Монтаня и Эпиктета: христіанскій мудрецъ сравниваетъ обѣ системы, заставляетъ бороться Монтаня съ Эпиктетомъ и обоихъ поражаетъ необоримыми доводами.

[2]) Во всемъ, говоритъ Монтань (если не ошибаюсь), – мы влечемся по слѣдамъ древнихъ, какъ малыя дѣти за школьнымъ учителемъ на гуляньѣ. Въ недавнемъ времени въ Германіи воскресили всю мечтательную философію Платона подъ другимъ именемъ.

цузскіе писатели осьмагонадесять вѣка большею частію расположили мораль свою по ученію сего мудреца; они желали распространить ея вліяніе на всѣ состоянія, на всѣ случаи жизни, могущіе постигнуть человѣка въ обществѣ. Система Эпикурова заключается въ слѣдующемъ предложеніи: «Человѣкъ не можетъ возвыситься до Существа Верховнаго; его наклонности безпрестанно противурѣчатъ закону: онъ влечется невольно къ видимымъ благамъ и ищетъ въ нихъ благополучія, даже въ вещахъ самыхъ гнуснѣйшихъ. Итакъ, все не вѣрно: истинное благо подлежитъ сомнѣнію, и это ведетъ насъ къ познанію, что не можно имѣть постояннаго правила для нравовъ, ни точности въ наукахъ». Монтань, великій защитникъ сего, представляетъ намъ стоическую добродѣтель въ видѣ ужаснаго пугалища, а свою науку называетъ игривою, чистосердечною, простою и проч. Слѣдуя тому, что̀ ей нравится, говоритъ онъ,—играетъ она небрежно съ дурными и счастливыми случайностями жизни, покоится сладостно на лонѣ праздности, откуда показываетъ людямъ путь къ истинному на землѣ благополучію. Невѣдѣніе и нелюбопытство, восклицаетъ онъ, — вотъ два мягкія изголовья для головы счастливо образованной!

Убѣжденная въ сей истинѣ, толпа философовъ эпикурейцевъ, отъ Монтаня до самыхъ бурныхъ дней революціи, повторяла человѣку: Наслаждайся! Вся природа — твоя: она предлагаетъ тебѣ всѣ сладости свои, всѣ упоенія уму, сердцу, воображенію, чувствамъ; все, кромѣ надежды будущаго, все—твое, минутное, но вѣрное!

Но гдѣ же сіи сладости, сіи наслажденія безпрерывныя, сіи дни безоблачные, сіи часы и минуты, сотканные усердною Паркою изъ нѣжнѣйшаго шелка, изъ злата и розъ сладострастія? Гдѣ они, спрашиваетъ сластолюбивый въ тинѣ страстей своихъ?—Гдѣ и что такое эти наслажденія, убѣгающія, обманчивыя, непостоянныя, отравленныя слабостію души и тѣла, помраченныя воспоминаніемъ или грустнымъ предвидѣніемъ будущаго? Къ чему

ведутъ эти суетныя познанія ума, науки и опытность, трудомъ пріобрѣтенныя?

Нѣтъ отвѣта, и не можетъ быть!

Заглянемъ въ самое сердце человѣка просвѣщеннаго и счастливаго по понятіямъ міра. Напримѣръ, кто былъ просвѣщеннѣе и счастливѣе Горація, и кто страдалъ подобно ему? Природа лелѣяла его, какъ любимое дитя свое. Мы знаемъ его жизнь. Судьба, испытавшая его въ юности, осыпала всѣми дарами и славы, и богатства въ зрѣлыя лѣта. Дружество Августа и Мецената, наслажденія роскошнаго двора, общее уваженіе къ великому таланту, здоровье не измѣняющее, друзья, любезные сердцу и уму и въ вѣрности подобные благосклонной фортунѣ, прелестныя женщины, готовыя увѣнчать миртами любимца монархова и музъ и—что всего лучше — мудрость, удовлетворительная для всѣхъ случайностей счастія, мудрость, которая открыла золотую середину во всѣхъ вещахъ, истинный философскій камень: чего бы не доставало? Но счастливецъ, при всѣхъ дарахъ фортуны, при всей философіи, скучалъ, ибо сердце человѣческое имѣетъ нѣкоторый избытокъ чувствъ, который не рѣдко бываетъ источникомъ живѣйшихъ терзаній. Наслажденіе насъ съѣдаетъ, говоритъ Монтань, — сердце скоро пресыщается. «Юноша, наливающій фалернское, дай горькаго!» восклицаетъ Катуллъ, увѣнчанный розами, пресыщенный на пиршествѣ:

Minister vetuli puer Falerni
Inger mi calices amariores.

Такъ создано сердце человѣческое, и не безъ причины: въ самомъ высочайшемъ блаженствѣ, у источника наслажденій оно обрѣтаетъ горечь. И это испыталъ Горацій. Нигдѣ не могъ онъ найти спокойствія: ни въ влажномъ Тибурѣ, ни въ цвѣтущемъ убѣжищѣ Мецената, ни въ градѣ, ни въ объятіяхъ любовницы, ни въ самыхъ наслажденіяхъ ума и той философіи, которую украсилъ онъ неувядаемыми цвѣтами своего воображенія, — ибо если науки и поэзія услаждаютъ нѣсколько часовъ въ жизни, то не оставляютъ ли онѣ въ душѣ какой-то пустоты, которая охла-

ждаетъ насъ къ видимымъ предметамъ и набрасываетъ на природу и общество печальную тѣнь? [1])

Гдѣ же истинное блаженство? Увидимъ далѣе.

Мы испытали, что эпикурейцы не обрѣли его за чашею наслажденія, ни стоики въ безстрастіи и въ непреклонной суровости нравовъ (ибо человѣкъ созданъ любить). Никто не нашелъ блаженства: ни умный, ни сильный, ни богатый въ чертогахъ, ни бѣдный въ хижинѣ своей, ибо и тотъ, кто блистаетъ въ пурпурѣ, и тотъ, кто таилъ всю жизнь свою въ убогомъ шалашѣ, говоритъ Горацій,—не могутъ назваться счастливыми.

Гдѣ же это совершенное благополучіе, котораго требуетъ сердце, какъ тѣло—пищи? Оно нигдѣ не находится вполнѣ, отвѣчаетъ опытность всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. Человѣкъ есть странникъ на землѣ, говоритъ святый мужъ; — чужды ему грады, чужды веси, чужды нивы и дубравы: гробъ—его жилище во вѣкъ. Вотъ почему всѣ системы и древнихъ, и новѣйшихъ недостаточны! Онѣ ведутъ человѣка къ блаженству земнымъ путемъ и никогда не доводятъ; систематики забываютъ, что человѣкъ, сей царь. лишенный вѣнца, брошенъ сюда не для счастія минутнаго; онѣ забываютъ о его высокомъ назначеніи, о которомъ вѣра, одна святая вѣра ему напоминаетъ. Она подаетъ ему руку въ самыхъ пропастяхъ, изрытыхъ страстями или неприязненнымъ рокомъ; она изводитъ его невредимо изъ треволненій жизни и никогда не обманываетъ, ибо она переноситъ въ вѣчность всѣ надежды и все блаженство человѣка. Лучшіе изъ

[1]) «Въ Египтѣ я зналъ жреца, который, истощивъ всю жизнь свою на познаніе начала и конца вещей міра сего, сказалъ мнѣ съ глубокимъ вздохомъ: «Горе тому, кто захочетъ снять покрывало съ лица природы: горе тому, для кого уже не существуетъ то очарованіе, которое предразсудки и нужды навели на предметы міра! Вскорѣ душа его, поблеклая и томная, въ самой жизни найдетъ ничтожество, ужаснѣйшее изъ всѣхъ наказаній»... При сихъ словахъ слезы навернулись на глазахъ, и онъ сокрылся въ густотѣ лѣса». **Путешествіе младшаго Анахарсиса.**

Это тягостное состояніе души нерѣдко бываетъ извѣстно людямъ добрымъ и образованнымъ. Что избавитъ ихъ отъ сего мученія? -Религія.

древнѣйшихъ писателей приближались къ симъ вѣчнымъ истинамъ, которыя Святое Откровеніе явило намъ въ полномъ сіяніи.

И горе тому, кто отвращаетъ взоры свои! Собственное сердце его накажетъ: чѣмъ оно чувствительнѣе, чѣмъ благороднѣе, тѣмъ болѣе и сильнѣе будутъ его терзанія, ибо ни дары счастія, ни блескъ славы, ни любовь, ни дружество, ничто не удовлетворитъ его вполнѣ. Въ новѣйшія времена Руссо, одаренный великимъ геніемъ, тому явный и краснорѣчивый примѣръ. Онъ нигдѣ не обрѣталъ благополучія, ибо всю жизнь искалъ его не тамъ, гдѣ надлежало. Слава учинилась ему бременемъ, люди и общество— ненавистными, ибо онъ оскорбилъ ихъ неограниченною гордостію. Любовь земная не могла насытить его жаднаго сердца; самая дружба его терзала. Оскорбленный, растерзанный всѣми страстями, онъ покидалъ общество, требовалъ счастія въ объятіяхъ природы, вопрошалъ безмолвные лѣса, скитался при шумѣ клубящихся водопадовъ, въ часы румянаго утра и прохладнаго вечера, но не могъ успокоить своего сердца. Въ обществѣ напрасно облекается онъ въ мантію стоиковъ, напрасно подражаетъ имъ въ твердости: собственное сердце ему измѣняетъ. Одна религія могла утѣшить и успокоить страдальца; онъ зналъ, онъ чувствовалъ эту истину и, жертва неизлѣчимой гордости, отклонялъ безпрестанно главу свою отъ легкаго и спасительнаго ярма. Краснорѣчивый защитникъ истины (когда истина не противорѣчила его страстямъ), пламенный обожатель и жрецъ добродѣтели, посреди величайшихъ заблужденій своихъ какъ часто измѣнялъ онъ и добродѣтели, и истинѣ! Кто соорудилъ имъ великолѣпнѣйшіе алтари, и кто оскорбилъ ихъ болѣе въ теченіи жизни своей и дѣломъ, и словомъ? Кто заблуждался болѣе въ лабиринтѣ жизни, неся свѣтильникъ мудрости человѣческой въ рукѣ своей? Ибо свѣтильникъ сей недостаточенъ; одинъ лучъ вѣры, слабый лучъ, но постоянный, показываетъ намъ вѣрнѣе путь къ истинной цѣли, нежели полное сіяніе ума и воображенія.

Покланяться добродѣтели и измѣнять ей, быть почитателемъ истины и не обрѣтать ея — вотъ плачевный удѣлъ нравственности,

которая не опирается на якорь вѣры. Одно заблужденіе рождаетъ другое. Руссо началъ софизмами, кончилъ ужасною книгою; онъ пожелалъ оправдаться передъ людьми, какъ передъ Богомъ, со всею искренностію человѣка глубоко растроганнаго, но гордаго въ самомъ униженіи, тогда, когда надлежало исповѣдывать тайны единому Верховному Существу, не съ гордостію мудреца, который укоряетъ природу въ своихъ слабостяхъ, но съ смиреніемъ христіанина. Одинъ Богъ можетъ требовать отъ насъ подобной исповѣди; люди не достойны оной. И что же? Оправдывая себя, онъ оскорбилъ и дружество, и любовь, и родство и все, что̀ человѣчество имѣетъ священнаго, завѣтнаго для души благородной; онъ оскорбилъ тѣни своихъ друзей, давно забытыхъ согражданами, оскорбилъ ихъ самымъ несправедливымъ приговоромъ по невѣдѣнію, ибо истина на землѣ одному Богу извѣстна. Кто требовалъ у него сихъ признаній, сей страшной повѣсти цѣлой жизни? Не люди, а гордость его. Какое право имѣлъ онъ повѣдать міру о слабостяхъ женщины, которой дружество, столь нѣжное, столь безкорыстное, усладило юность и успокоило тревожимое сердце мечтателя? Такъ человѣкъ, рожденный для добродѣтели, учинилъ страшное преступленіе, неслыханное доселѣ, и это преступленіе родила мудрость человѣческая!... Десятилѣтній отрокъ, который помнитъ свой катихизисъ, можетъ уличить его въ этомъ преступленіи. Боже великій, что̀ же такое умъ человѣческій въ полной силѣ, въ совершенномъ сіяніи, исполненный опытности и науки? Что̀ такое всѣ наши познанія, опытность и самыя правила нравственности безъ вѣры, безъ сего путеводителя и зоркаго, и строгаго, и снисходительнаго? [1])

[1]) Безъ смѣха и жалости нельзя читать признаній женевскаго мечтателя. Я не стану выписывать тѣхъ мѣстъ изъ книги его, которыя могутъ оскорбить нравственность самую свѣтскую, самую снисходительную: ихъ множество. Но одно мѣсто меня забавляетъ болѣе другихъ, когда я воображаю себѣ защитника правъ человѣчества и философіи, столь лакомаго въ молодости своей. У г. Мабли, въ Ліонѣ, если не ошибаюсь, исправляя должность учителя и наставника, онъ любилъ отдыхать въ своей комнатѣ и пить вино, заѣдая пирожками: тутъ нѣтъ еще большаго зла; но вино было краденое... Дѣло сдѣлано! говоритъ философъ — malheu-

Вѣра и нравственность, на ней основанная, всего нужнѣе писателю. Закаленныя въ ея свѣтильникѣ, мысли его становятся постояннѣе, важнѣе, сильнѣе, краснорѣчіе убѣдительнѣе; воображеніе при свѣтѣ ея не заблуждается въ лабиринтѣ созданія; любовь и нѣжное благоволеніе къ человѣчеству дадутъ прелесть его малѣйшему выраженію, и писатель поддержитъ достоинство человѣка на высочайшей степени. Какое бы поприще онъ ни протекалъ съ своею музою, онъ не унизитъ ея, не оскорбитъ ея стыдливости и въ памяти людей оставитъ пріятныя воспоминанія, благословенія и слезы благодарности: лучшая награда таланту.

Невѣріе само себя разрушаетъ, говоритъ краснорѣчивый Квинтиліанъ нашихъ временъ, который зналъ всю слабость гордыхъ вольнодумцевъ, ибо онъ всю молодость свою провелъ въ станѣ непріятельскомъ. — Одна вѣра созидаетъ мораль незыблимую. Священное Писаніе, продолжаетъ онъ, — есть хранилище всѣхъ истинъ и разрѣшаетъ всѣ затрудненія. Вѣра имѣетъ ключь отъ сего хранилища, замкнутаго для коварнаго любопытства; вѣра обрѣтаетъ въ немъ свѣтъ спасительный. Невѣріе приноситъ въ него собственные мраки, которые бываютъ тѣмъ густѣе, чѣмъ они произвольнѣе. Чтобъ быть выше другихъ людей, оно становится на высоты, окруженныя пропастями. Оттуда взоръ его, смутный и блуждающій, смѣшиваетъ всѣ предметы. Невѣріе мыслитъ обладать орлинымъ окомъ и ничего не различаетъ. Не случалось ли вамъ путешествовать при первыхъ лучахъ денницы путемъ, проложеннымъ по высокимъ горамъ, когда пары, отъ земли восходящіе, простираютъ со всѣхъ сторонъ туманную за-

rellement je n'ai jamais pu boire sans manger., mais aussi quand j'avais une fois ma chère petite brioche, et que, bien enfermé dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond d'une armoire, quelles bonnes petites buvettes je faisais là tout seul, en lisant quelques pages de roman!» Можно ли удержаться отъ смѣха? Гдѣ тутъ достоинство человѣка и мудреца? О слогѣ ни слова. Въ такомъ случаѣ слогъ есть вѣрное выраженіе души. И этотъ человѣкъ имѣлъ столько любезныхъ качествъ, столько небесныхъ дарованій! И этотъ человѣкъ чувствовалъ всю прелесть религіи и благодѣтельное вліяніе оной на общество и на человѣка частнаго! Чего недоставало ему? Постояннаго убѣжденія, менѣе гордости и страстей, болѣе разсудительности и смиренія.

вѣсу, скрывающую горизонтъ, гдѣ изображается множество мечтательныхъ предметовъ, отъ смѣшенія свѣта со тьмою происходящихъ? По мѣрѣ того, какъ вы сходите съ высотъ, сіе облако земное рѣдѣетъ, разсѣвается; вы проникаете чрезъ него и находите на себѣ малые слѣды влаги, скоро изсыхающей. Тогда открывается и расширяется предъ вами необъемлемый горизонтъ: вы видите близъ лежащія горы, жатвы и стада, ихъ покрывающія, селенія человѣческія и холмы, надъ ними возвышенные; вся природа вамъ отдана снова: вотъ эмблема невѣрія и вѣры. Сойдите съ сихъ высотъ невѣрія, гдѣ вы ходите около пропастей неизмѣримыхъ, гдѣ взоръ вашъ встрѣчаетъ одни призраки; сойдите, говорю вамъ; призванные и поддержанные смиренной вѣрою, идите прямо къ симъ облакамъ, обманчивымъ, восходящимъ отъ земли (они скрываютъ отъ васъ истину и являютъ одни обманчивые образы); сойдите и пройдите сквозь сію ничтожную преграду паровъ и призраковъ; она уступитъ вамъ безъ сопротивленія; она изчезнетъ, и ваши взоры обрѣтутъ необъемлемую перспективу истинъ, всѣ утѣшенія сего земнаго жилища и горѣ лазурь небесную.

Но для насъ изчезли всѣ призраки мудрости человѣческой. Къ счастію нашему мы живемъ въ такія времена, въ которыя невозможно колебаться человѣку мыслящему; стоитъ только взглянуть на происшествія міра и потомъ углубиться въ собственное сердце, чтобы твердо убѣдиться во всѣхъ истинахъ вѣры. Весь запасъ остроумія, всѣ доводы ума, логики и учености книжной истощены передъ нами; мы видѣли зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали. Счастливые обитатели обширнѣйшаго края, мы не участвовали въ заблужденіяхъ племенъ просвѣщенныхъ: мы издали взирали на громы и молніи невѣрія, раздробляющіе и тронъ царя, и алтарь истиннаго Бога; мы взирали съ ужасомъ на плоды нечестиваго вольнодумства, на вольность, водрузившую свое знамя посреди окровавленныхъ труповъ, на человѣчество униженное и оскорбленное въ священнѣйшихъ правахъ своихъ; съ ужасомъ и съ горестію мы взирали на успѣхи

нечестивыхъ легіоновъ, на Москву, дымящуюся въ развалинахъ своихъ; но мы не теряли надежды на Бога, и оиміамъ усердія курился нетщетно въ кадильницѣ вѣры, и слезы, и моленія нетщетно проливалися передъ Небомъ: мы восторжествовали. Оборотъ единственный, безпримѣрный въ лѣтописяхъ міра! Легіоны непобѣдимыхъ затрепетали въ свою очередь. Копье и сабля, окропленныя святою водою на берегахъ тихаго Дона, засверкали въ обители нечестія, въ виду храмовъ разсудка, братства и вольности, безбожіемъ сооруженныхъ, и знамя Москвы, вѣры и чести водружено на мѣстѣ величайшаго преступленія противъ Бога и человѣчества! [1])

Faut-il encore, faut-il vous rapeller le cours
Des prodiges sans nombre accomplis en nos jours?

Должно ли приводить на память послѣднія чудеса, новыя покушенія злобы и невѣрія и сіяющее торжество невинности, человѣколюбія и религіи? Сколько уроковъ уму! Сердце въ нихъ нужды не имѣетъ.

Съ зарею наступающаго мира, котораго мы видимъ сладостное мерцаніе на горизонтѣ политическомъ, просвѣщеніе сдѣлаетъ новые шаги въ отечествѣ нашемъ: снова процвѣтутъ промышленность, искусства и науки, и всѣ сладостныя надежды сбудутся: у насъ, можетъ быть, родятся философы, политики и моралисты и, подобно свѣтильникамъ эдинбургскимъ, долгомъ поставятъ основать ученіе на истинахъ Евангелія, кроткихъ, постоянныхъ и незыблемыхъ, достойныхъ великаго народа, населяющаго страну необозримую, достойныхъ великаго человѣка, имъ управляющаго!

Нѣтъ въ мірѣ царства такъ пространна,
Гдѣ бъ можно столь добра творить [2]).

---

[1]) Назадъ тому нѣсколько лѣтъ Шатобріанъ сказалъ: «Храбрость безъ вѣры ничтожна»; — посмотримъ, чтò сдѣлаютъ наши вольнодумцы противъ козаковъ грубыхъ, не просвѣщенныхъ, но сильныхъ вѣрою къ Богу?»... Всѣ журналисты вступались за честь оскорбленной великой націи (la grande nation), но предсказаніе сбылось.

[2]) Державинъ.

VIII.

О лучшихъ свойствахъ сердца.

Масьё, воспитанникъ Сикаровъ, на вопросъ: что̀ есть благодарность, отвѣчалъ: память сердца. Прекрасный отвѣтъ, который еще болѣе дѣлаетъ чести сердцу, нежели уму глухонѣмаго философа. Эта память сердца есть лучшая добродѣтель человѣка и не столь рѣдка, какъ полагаютъ нѣкоторые строгіе наблюдатели. Человѣкъ добръ по природѣ, кричалъ женевскій мизантропъ, и клеветалъ общество, слѣдственно, клеветалъ человѣка, ибо онъ созданъ жить въ обществѣ, какъ муравей, какъ пчела: всѣ его добродѣтели относительны къ ближнему и отвлеченно отъ онаго существовать не могутъ, какъ рука, отдѣленная отъ тѣла. Человѣкъ есть созданіе злое, говорятъ другіе моралисты, и приводятъ множество свидѣтельствъ о развратѣ и злобѣ сердца нашего; но я не вѣрю имъ и не могу вѣрить, чтобы общество походило на скопище свирѣпыхъ звѣрей. Живутъ ли тигры вмѣстѣ, строятъ ли города? Нѣтъ! Ясное доказательство, что злоба не связываетъ, но разлучаетъ. Кто живетъ въ обществѣ? Не злобныя созданія: голуби, муравей, бобръ, умный слонъ, и каждое изъ сихъ созданій имѣетъ какое-нибудь к а ч е с т в о, которое украшаетъ человѣка и есть одно изъ незыблемыхъ основаній общежительности.

Первый нашъ долгъ--благодарность къ Творцу. Но для исполненія его надобно начать съ людей. Провидѣнію угодно

было связать чрезъ общество всѣ наши отношенія къ Небу. Быть виновникомъ бытія не есть достоинство передъ Богомъ и людьми; но принять младенца изъ рукъ матери въ минуту его рожденія, отъ колыбели до зрѣлыхъ лѣтъ служить ему защитою и опорою, передать ему въ наслѣдіе имя, званіе, сокровища, землю, праотцами воздѣланную, — вотъ обязанность отца. Благодарность есть обязанность дѣтей. На подобныхъ взаимныхъ обязанностяхъ основано все благосостояніе общества. Всѣ основанія его суть добро, и чѣмъ болѣе добра, тѣмъ тверже его основаніе, ибо одно добро имѣетъ здѣсь прочность и постоянность. Зло есть насильственное состояніе. Подъ шумомъ ли бури, или при сладостномъ сіяніи солнца зрѣютъ нивы? Какъ сила плодородія имѣетъ свое основаніе въ теплотѣ, такъ сила гражданственности основана на добрѣ.

Многіе умы наблюдали человѣка въ одномъ тѣсномъ кругу, въ которомъ дѣйствовали сами. Ларошфуко, остроумнѣйшій изъ писателей остроумнаго вѣка, основалъ мораль свою на подобныхъ наблюденіяхъ. Но я спрашиваю: если бы натуроиспытатель глядѣлъ на муравья во время его странствованія за былинкою или за зерномъ, наблюдалъ его ссоры съ товарищами, а забылъ заглянуть въ огромное гнѣздо, гдѣ все имѣетъ видъ порядка, стройности, гдѣ всѣ части относятся совершенно одна къ другой и составляютъ прекрасное цѣлое, то какое произнесъ бы онъ сужденіе о трудолюбивомъ насѣкомомъ? Вотъ что̀ сдѣлалъ Ларошфуко, говоря о человѣкѣ и наблюдая за нимъ въ прихожей Тюльерійскаго замка. Но прихожая не есть вселенная, и человѣкъ придворный не есть лучшій изъ людей.

Впрочемъ, меня никто не увѣритъ, чтобы чувство благодарности было слѣдствіемъ нашего эгоизма, и я не могу постигнуть добродѣтели, основанной на исключительной любви къ самому себѣ. Напротивъ того, добродѣтель есть пожертвованіе добровольное какой-нибудь выгоды, она есть отреченіе отъ самаго себя. Есть добродѣтели, уму принадлежащія, другія — сердцу; благодарность, лучшая изъ нашихъ добродѣтелей или, вѣрнѣе,

отголосокъ многихъ душевныхъ качествъ, принадлежитъ сердцу. «Ты мнѣ сдѣлалъ добро, слѣдовательно, я тебя люблю». Такъ говоритъ благородное сердце. Эгоистъ иначе: «Ты мнѣ сдѣлалъ добро; но будешь ли мнѣ дѣлать добро и впредь? Добро, тобою сдѣланное, не требуетъ ли пожертвованій съ моей стороны?» Вотъ слова эгоиста; они совершенно противны благодарности, которая тѣмъ прелестнѣе, тѣмъ святѣе, чѣмъ менѣе разсуждаетъ, чѣмъ менѣе торгуется съ пользою личною и болѣе предается одному сердечному движенію.

Сердца, одаренныя глубокою или раздражительною чувствительностію, часто не знаютъ средины; для нихъ все есть зло или добро: видятъ совершенный порядокъ въ обществѣ, или отсутствіе онаго, скорѣе—послѣднее. Чувствительный человѣкъ, страдавшій въ теченіе всей жизни, дѣлается наконецъ мизантропомъ и убѣгаетъ въ дремучіе лѣса отъ взоровъ людей неблагодарныхъ. Тамъ возноситъ онъ клеветы на все человѣчество, оскорбившее его сердце, и въ гнѣвѣ своемъ забываетъ, что онъ самъ есть человѣкъ, то-есть, созданіе слабое, доброе, злое и неразсудительное, лучь Божества, заключенный въ прахѣ, существо, порабощенное всѣмъ стихіямъ, всѣмъ измѣненіямъ нравственнымъ и физическимъ. Но пусть мизантропъ приведетъ себѣ на память всю жизнь свою отъ колыбельныхъ дней до той страшной эпохи, когда сердце его воскликнуло въ гнѣвѣ: «Человѣкъ золъ, и люди подобны тиграмъ!» Пусть приведетъ онъ на память и младенчество, и юношество, и зрѣлый возрастъ, въ которомъ воля и разсудокъ начинали заглушать голосъ страстей! Пусть онъ спроситъ себя: «Или я не нашелъ добрыхъ и честныхъ людей въ теченіе цѣлой жизни, или я лучше и добрѣе всѣхъ людей, имѣю всѣ добродѣтели и всѣ качества, и чуждъ страстей, и чуждъ всего низкаго и порочнаго?»—«Нѣтъ», скажетъ ему разсудокъ и опытъ,—«и ты человѣкъ, и ты заплатилъ человѣчеству дань пороковъ, слабости и страстей; ты не ангелъ, ты и не чудовище».

Опытъ и разсудокъ показываютъ намъ рѣдкія добродѣтели, и часто въ сердцѣ порочномъ наблюдатель чудесъ нравственныхъ съ неизъяснимою радостію открываетъ яркіе лучи душевной доблести: великодушіе, состраданіе, презрѣніе къ корысти и тысячу прелестныхъ качествъ, которыя примиряютъ его съ порочнымъ и съ Небомъ, создавшимъ человѣка не для однихъ преступленій.

Кто изъ насъ, отложа всѣ предразсудки и всѣ предубѣжденія, не сосчитаетъ нѣсколько примѣрныхъ людей, утѣшившихъ собою человѣчество? Не станемъ искать героевъ добродѣтели въ исторіи; поищемъ ихъ вокругъ себя, и найдемъ, конечно! Курцій бросился въ пропасть, но Римъ на него смотрѣлъ. Леонидъ обрекаетъ себя смерти, но все отечество (и какое отечество? Спарта!) объ немъ въ страхѣ и надеждѣ. Долгорукій раздираетъ роковую бумагу въ присутствіи разгнѣваннаго монарха; но онъ совершаетъ подвигъ свой въ сенатѣ, окруженный великими людьми, достойными его и перваго владыки въ мірѣ. Прекрасные подвиги, достойные подражанія и слезъ удивленія, недокупныхъ, сладостныхъ, божественныхъ слезъ! Теперь спрашиваю: если мы удивляемся великимъ дѣламъ на великомъ поприщѣ, если вѣруемъ добродѣтели, твердости душевной, безкорыстію въ великихъ обстоятельствахъ, то почему не вѣровать имъ въ малыхъ? Добродѣтель подъ спудомъ не есть ли добродѣтель? Бѣдный, который дѣлится послѣдними крохами съ нищимъ, сестра милосердія, въ душной больницѣ стоящая съ сосудомъ врачеванія при ложѣ врага ея отечества, смѣлый и человѣколюбивый врачъ, испытующій свое искусство и терпѣніе въ дальней хижинѣ дровосѣка, безъ свидѣтелей своего добраго дѣла, кромѣ одного въ небесахъ и другаго въ груди своей,— всѣ эти люди, обреченные забвенію, не суть ли добродѣтельные люди? И тотъ, кто безпристрастною рукою начертываетъ имена ихъ въ книгѣ судебъ, не напишетъ ли ихъ на ряду съ именами Говарда, Ласъ-Казаса, Еропкина и другихъ людей, которыхъ добродѣтель и человѣчество называютъ своими. Монтань замѣ-

тилъ справедливо, что лучшіе подвиги храбрости теряются въ неизвѣстности; одинъ похищаетъ знамя: имя его гремитъ въ рядахъ, но сотни неустрашимыхъ погибли передъ нимъ и кругомъ его... Перенесите сей порядокъ въ міръ нравственный. Ласъ-Казасъ спасаетъ любезныхъ своихъ Американцевъ отъ рабства: онъ безсмертенъ; бѣдный миссіонеръ въ снѣгахъ канадскихъ бродитъ изъ шалаша въ шалашъ, изъ степи въ степь; окруженный смертію, проповѣдуетъ Бога и утѣшаетъ страждущихъ: какихъ? семью дикаго или изгнанника, живущаго на неизвѣстномъ берегу безъимянной рѣки или озера: сей смиренный воинъ Христа не есть ли великій человѣкъ въ полномъ нравственномъ смыслѣ?.. Но къ чему намъ переноситься въ дальнія страны? Здѣсь, кругомъ насъ, кто не испыталъ, что есть добрые люди, что въ обществѣ есть добродѣтели рѣдкія посреди страстей, посреди разврата и роскоши: одно злое сердце можетъ въ нихъ сомнѣваться, одно жестокое сердце не находило сердецъ нѣжныхъ.

И въ странахъ отдаленныхъ, и въ дебряхъ, незнакомыхъ взорамъ человѣка, родятся цвѣты: на дикихъ берегахъ Амура, среди мховъ и болотъ выходитъ прелестный цвѣтокъ, до сихъ поръ неизвѣстный любопытному испытателю природы; медленно распускается онъ подъ кроткимъ вѣяніемъ лѣтняго вѣтерка; наконецъ, украшеніе пустыни, цвѣтокъ увядаетъ,

Въ пустынномъ воздухѣ теряя запахъ свой!

Но сѣмена его, падая на землю, разцвѣтаютъ съ первою весною въ новой красотѣ, въ новомъ убранствѣ. Вотъ истинная эмблема сей добродѣтели, неизвѣстной человѣкамъ, но не потерянной для человѣчества, ибо ничто доброе здѣсь не теряется, подобно какъ ни одна былинка въ природѣ: все имѣетъ свою цѣль, свое назначеніе, все принадлежитъ къ вѣчному и пространному чертежу и входитъ въ составъ цѣлаго въ нравственномъ мірѣ. Въ роскошномъ Парижѣ, въ многолюдномъ Лондонѣ и Пекинѣ та же самая сумма или то же количество добра и

зла по мѣрѣ пространства, какое и въ юртахъ кочующихъ народовъ Сибири или въ землянкахъ Лапландцевъ. Добродѣтельный старецъ (Мальзербъ) защищаетъ монарха, покинутаго друзьями, родственниками, дворянствомъ, цѣлымъ народомъ; онъ защищаетъ его подъ лезвеемъ мечей, при проклятіи озлобленныхъ тирановъ, но въ виду вселенной и, такъ сказать, въ присутствіи потомства. Въ ту же самую минуту—сдѣлаемъ сіе предположеніе—Лапландецъ пробѣгаетъ на лыжахъ необъятное пространство въ трескучій морозъ, посреди ужасной вьюги: зачѣмъ? Чтобы принести нѣсколько пищи бѣдному семейству друга своего, утѣшить больную вдовицу и спасти отъ явной смерти груднаго младенца. Мальзербъ и Лапландецъ равны передъ Тѣмъ, Кто ихъ создалъ, равны передъ лицомъ добродѣтели и правосудія небеснаго: оба жертвуютъ жизнію для добраго дѣла.

IX.

Аріостъ и Тассъ.

Ученіе италіянскаго языка имѣетъ особенную прелесть. Языкъ гибкій, звучный, сладостный, языкъ, воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сициліи, среди бурь политическихъ и потомъ при блестящемъ дворѣ Медицисовъ, языкъ, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными,—этотъ языкъ сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и всѣ формы. Онъ имѣетъ характеръ, отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчій и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухіе или дикіе звуки, медленность въ выговорѣ и нѣчто принадлежащее Сѣверу.

Великіе писатели образуютъ языкъ; они даютъ ему нѣкоторое направленіе, они оставляютъ на немъ неизгладимую печать своего генія; но обратно, языкъ имѣетъ вліяніе на писателей. Трудность выражать свободно нѣкоторыя дѣйствія природы, всѣ оттѣнки ея, всѣ измѣненія, останавливаетъ нерѣдко перо искусное и опытное. Аріостъ, напримѣръ, выражается свободно, описываетъ вѣрно все, что̀ ни видитъ (а взоръ сего чудеснаго Протея обнимаетъ все мірозданіе); онъ описываетъ сельскую природу съ удивительною точностію, благовонные луга и рощи, прохладные ключи и пещеры полуденной Франціи, лѣса,

гдѣ Медоръ, утомленный нѣгою, почиваетъ на сладостномъ лонѣ Анжелики, роскошные чертоги Альцины, гдѣ волшебница сіяетъ между нимфами (si come è bello il sol più d'ogni stella!); все живетъ, все дышетъ подъ его перомъ. Переходя изъ тона въ тонъ, отъ картины къ картинѣ, онъ изображаетъ звукъ оружія, трескъ щитовъ, свистъ пращей, преломленіе копій, нетерпѣливость коней, жаждущихъ боя, единоборство рыцарей и неимовѣрные подвиги мужества и храбрости или брань стихій и природу, всегда прелестную, даже въ самыхъ ужасахъ (bello è l'orrore)! Онъ разсказываетъ, и разсказъ его имѣетъ живость необыкновенную. Всѣ выраженія его вѣрны и съ строгою точностію прозы передаютъ читателю блестящія мысли поэта. Онъ шутитъ, и шутки его, легкія, веселыя, игривыя и часто незлобныя, растворены аттическимъ остроуміемъ. Часто онъ предается движенію души своей и удивляетъ васъ, какъ ораторъ, порывами и силою мужественнаго краснорѣчія. Онъ трогаетъ, убѣждаетъ, онъ невольно исторгаетъ у васъ слезы; самъ плачетъ съ вами и смѣется надъ вами и надъ собою, или увлекаетъ васъ въ міръ неизвѣстный, созданный его музою, заставляетъ странствовать изъ края въ край, подниматься на воздухъ; онъ вступаетъ съ вами въ царство луны, гдѣ находитъ все утраченное подъ луною и все, что мы видимъ на земноводномъ шарѣ, но все въ новомъ, премѣнномъ видѣ; снова спускается на землю и снова описываетъ знакомыя страны и человѣка, и страсти его. Вы безъ малѣйшаго усилія слѣдуете за чародѣемъ, вы удивляетесь поэту и въ сладостномъ восторгѣ восклицаете: Какой умъ, какое дарованіе! А я прибавлю: Какой языкъ!

Такъ, одинъ языкъ италіянскій (изъ новѣйшихъ—разумѣется), столь обильный, столь живой и гибкій, столь свободный въ словосочиненіи, въ выговорѣ, въ ходѣ своемъ, одинъ онъ въ состояніи былъ выражать всѣ игривыя мечты и вымыслы Аріоста, и какъ еще? въ тѣснѣйшихъ узахъ стихотворства (Аріостъ писалъ октавами). Но перенесите этого чародѣя въ другой вѣкъ,

менѣе свободный въ мысляхъ [1]), болѣе порабощенный правиламъ сочиненія, основаннымъ на опытности и размышленіи, дайте ему языкъ сѣвернаго народа, какой заблагоразсудите, англійскій или нѣмецкій, напримѣръ, и я твердо увѣренъ, что пѣвецъ Орланда не въ силахъ будетъ изображать природу такъ, какъ онъ постигалъ ее и какъ описалъ въ своей поэмѣ, ибо—еще повторю—поэма его заключаетъ въ себѣ все видимое твореніе и всѣ страсти человѣческія: это—Иліада и Одиссея, однимъ словомъ—природа, порабощенная жезлу волшебника Аріоста [2]).

Но счастливому языку Италіи, богатѣйшему наслѣднику древняго латинскаго, упрекаютъ въ излишней изнѣженности? Этотъ упрекъ совершенно несправедливъ и доказываетъ одно невѣжество; знатоки могутъ указать на множество мѣстъ въ Тассѣ, въ Аріостѣ, въ самомъ нѣжномъ поэтѣ Валлакіузскомъ и въ другихъ писателяхъ, менѣе или болѣе славныхъ, множество стиховъ, въ которыхъ сильныя и величественныя мысли выражены въ звукахъ сильныхъ и совершенно сообразныхъ съ оными, гдѣ языкъ есть прямое выраженіе души мужественной, исполненной любви къ отечеству и свободѣ. Не одно «Chiama gli abitator» найдете въ Тассѣ; множество другихъ мѣстъ доказываютъ силу поэта и языка. Сколько описаній битвъ въ поэмѣ Торквато! И мы смѣло сказать можемъ, что сіи картины не уступаютъ или рѣдко ниже картинъ Виргилія. Онѣ часто напоминаютъ намъ самого Омера...

[1]) Аріостъ писалъ, что хотѣлъ, противъ папъ. Онъ смѣялся надъ подложной хартіей, которою императоръ Константинъ уступаетъ викарію св. Петра Римъ и потомственное правленіе, и книга его напечатана въ Римѣ con licenzia de superiori.

[2]) Напрасно будутъ мнѣ указывать на англійскихъ и нѣмецкихъ писателей, подражавшихъ Аріосту. Я отдаю полную справедливость Виланду, остроумному поэту и зиждителю новаго языка въ своемъ отечествѣ; но скажу, и должно со мною согласиться, что въ Оберонѣ менѣе вещей, нежели въ Орландѣ; языкъ не столь полонъ и заставляетъ всегда чего-нибудь желать; поэтъ не договариваетъ, и весьма часто. Позвольте сдѣлать слѣдующій вопросъ: если бы Виландъ писалъ въ Италіи во время Аріоста, то какой видъ получила бы его поэма? Языкъ у стихотворца то же, что крылья у птицы, что матеріалъ у ваятеля, что краски у живописца.

Посмотрите на это ужасное послѣдствіе войны, на груды блѣдныхъ тѣлъ, по которымъ бѣгутъ изступленные воины, преслѣдуя матерей, прижавшихъ трепетныхъ младенцевъ къ персямъ своимъ:

Ogni cosa di strage era già pieno:
Vedeansi in mucchj e in monti i corpi avvolti.
Là i feriti su i morti; e qui giacièno
Sotto morti insepolti egri sepolti.
Fuggian premendo i pargoletti al seno
Le meste madri co' capelli sciolti.
E'l predator di spoglie e di rapine
Carco, stringea le vergini nel crine.

«Всѣ мѣста преисполнились убійствомъ. Груды и горы убіенныхъ! Тамъ раненые на мертвыхъ, здѣсь мертвыми завалены раненые; прижавъ къ персямъ младенцевъ, убѣгаютъ отчаянныя матери съ раскиданными власами, и хищникъ, отягченный ограбленными сокровищами, хватаетъ за власы дѣвъ устрашенныхъ».

Желаете ли видѣть поле сраженія, покрытое нетерпѣливыми воинами,—картину единственную, величественную! Солнце проливаетъ лучи свои на долину; все сіяетъ: и оружіе разноцвѣтное, и стальные доспѣхи, и шлемы, и щиты, и знамена. Слова поэта имѣютъ нѣчто блестящее, торжественное, и мы невольно восклицаемъ съ нимъ: bello in sì bella vista anco è l'orrore.

Grande e mirabil cosa era il vedere
Quando quel campo e questo a fronte venne:
Come spiegate in ordine le schiere,
Di mover già, già d'assalire accenne.
Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere,
E ventolar su i gran cimer' le penne:
Abiti, fregi, imprese, arme e colori,
D'oro e di ferro al sol lampi e folgori.

Sembra d'alberi densi alta foresta
L'un campo e l'altro: di tant'aste abbonda.
Son tesi gli archi, e son le lance in resta:
Vibransi i dardi, e rotasi ogni fionda.
Ogni cavallo in guerra anco s'appresta:
Gli odj e'l furor del suo signor seconda:
Raspa, batte, nitrisce, e si raggira;
Gonfia le nari, e fumo e foco spira.

Bello in sì bella vista anco è l'orrore!

«Открылось великолѣпное и удивительное зрѣлище, когда оба войска выстроились одно противъ другаго, когда развернулись въ порядкѣ полчища, двигаться и нападать готовыя! Распущенныя по вѣтру знамена волнуются; на высокихъ гребняхъ шлемовъ перья колеблются; испещренныя одежды, вензели и цвѣты оружій, злато и сталь яркимъ блескомъ и сіяніемъ лучи солнечные отражаютъ.

«Въ густой и высокой лѣсъ сомкнулись копья: столь многочисленно и то, и другое воинство! Натянуты луки, обращены копья, сверкаютъ дротики, пращи крутятся; самый конь жаждетъ кровавой битвы: онъ раздѣляетъ ненависть и гнѣвъ ожесточеннаго всадника, онъ роетъ землю, бьетъ копытами, ржетъ, крутится, раздуваетъ ноздри и дымомъ и пламенемъ пышетъ».

Но битва закипѣла, часъ отъ часу становится сильнѣе и сильнѣе. Въ сраженіи есть минуты рѣшительныя: я на опытѣ знаю, что онѣ не столь ужасны. Побѣдитель преслѣдуетъ, побѣжденный убѣгаетъ; и тотъ, и другой увлекаются примѣромъ товарищей своихъ, и тотъ, и другой заняты собою. Но минута ужасная есть та, когда оба войска, послѣ продолжительнаго и упорнаго сопротивленія, истощивъ всѣ усилія храбрости и искусства воинскаго, ожидаютъ рѣшительнаго конца—побѣды или пораженія, когда всѣ гласы, всѣ громы сольются во едино и составятъ нѣчто мрачное, неопредѣленное и безпрестанно возрастающее. Эту минуту поэтъ описываетъ съ необыкновенною вѣрностію:

Così si combatteva: e 'n dubbia lance
Col timor le speranze eran sospese.
Pien tutto il campo è di spezzate lance,
Di rotti scudi et di troncato arnese:
Di spade ai petti, a le squarciate pance
Altre confitte, altre per terre stese:
Di corpi altri supini, altri co' volti,
Quasi mordendo il suolo, al suol rivolti.

Giace il cavallo al suo signore appresso:
Giace il compagno appo il compagno estinto:
Giace il nemico appo il nemico; e spesso
Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto.

Non v'è silenzio, e non v'è grido espresso:
Ma odi un non so che roco e indistinto:
Fremiti di furor, mormori d'ira:
Gemiti di chi langue e di chi spira.

L'arme, che già sì liete in vista foro,
Faceano or mostra spaventosa e mesta.
Perduti ha i lampi il ferro, e i raggi l'oro,
Nulla vaghezza ai bei color' più resta.
Quanto apparia d'adorno e di decoro
Ne' cimieri e ne' fregi, or si calpesta.
La polve ingombra ciò ch'al sangue avanza:
Tanto i campi mutata avean sembianza [1]).

«Такъ ратовало воинство съ равнымъ страхомъ и надеждою. Все поле завалено преломленными копьями, разбитыми щитами и доспѣхами. Мечи вонзилися въ грудь, въ прободенные панцыри; иные по землѣ разметаны. Здѣсь трупы, ницъ поверженные въ прахѣ, тамъ трупы, лицомъ обращенные къ солнцу.

«Лежитъ конь близъ всадника, лежитъ товарищъ близъ бездыханнаго товарища, лежитъ врагъ близъ врага своего, и часто мертвый на живомъ, побѣдитель на побѣжденномъ. Нѣтъ молчанія, нѣтъ криковъ явственныхъ, но слышится нѣчто мрачное, глухое — клики отчаянія, гласы гнѣва, воздыханія страждущихъ, вопли умирающихъ.

«Оружіе, дотолѣ пріятное взорамъ, являетъ зрѣлище ужасное и плачевное. Утратила блескъ и лучи свои гладкая сталь. Утратили красоту свою разноцвѣтные доспѣхи. Богатые шлемы, прекрасныя латы въ прахѣ ногами попраны. Все покрыто пылью и кровью: столь ужасно премѣнилось воинство!» [2])

[1]) Въ сихъ трехъ октавахъ безсмертный Тассъ превзошелъ себя. Здѣсь полная картина. Ничего лишняго, ничего натянутаго, сверхъестественнаго.

Non v'e silenzio, non v'è grido espresso,

и три слѣдующіе стиха живописны. Въ послѣдней октавѣ стихотворецъ повторяетъ всѣ подробности и кончитъ какъ мастеръ:

Tanto i campi mutata avean sembianza.

[2]) Сія картина поля сраженія напоминаетъ намъ прекрасные стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тѣла:
Иной съ размаху мечъ занесъ на сопостата,

Мы не можемъ останавливаться на всѣхъ красотахъ Освобожденнаго Іерусалима: ихъ множество! Прелестный эпизодъ Эрминіи, смерть Клоринды, Армидины сады и единоборство Танкреда съ Аргантомъ, кто читалъ васъ безъ восхищенія? Вы останетесь незабвенными для сердецъ чувствительныхъ и для любителей всего прекраснаго! Но въ поэмѣ Тассовой есть красоты другаго рода, и на нихъ должно обратить вниманіе поэту и критику. Описаніе нравовъ народныхъ и обрядовъ вѣры есть лучшая принадлежность эпопеи. Тассъ отличился въ ономъ. Съ какимъ искусствомъ изображалъ онъ нравы рыцарей, ихъ великодушіе, смиреніе въ побѣдѣ, неимовѣрную храбрость и набожность! Съ какимъ искусствомъ приводитъ онъ крестовыхъ воиновъ къ стѣнамъ Іерусалима! Они горятъ нетерпѣніемъ увидѣть священные верхи Града Господня. Издали воинство привѣтствуетъ его безпрерывными восклицаніями, подобно мореплавателямъ, открывшимъ желанный берегъ. Но вскорѣ священный страхъ и уныніе смѣняютъ радость: никто безъ ужаса и сокрушенія не дерзаетъ взглянуть на священное мѣсто, гдѣ Сынъ Божій искупилъ человѣчество страданіемъ и вольною смертію. Главы и ноги начальниковъ обнажены, все воинство послѣдуетъ ихъ примѣру, и гордое чело рыцарей смиряется предъ Тѣмъ, Кто располагаетъ по волѣ и побѣдою, и лаврами, и славою земною, и царствомъ неба. Такого рода красоты, суровыя и важныя, почерпнуты въ нашей религіи: древніе ничего не оставили намъ подобнаго. Всѣ обряды вѣры, всѣ страшныя таинства обогатили Тассову поэму.—Ринальдо вырывается изъ объятій Армиды; войско встрѣчаетъ его съ радостными восклица-

Но прежде прободенъ, удара не скончалъ.
Иной, забывъ врага, прельщался блескомъ злата,
Но мертвый на корысть желанную упалъ.
Иной, отъ сильнаго удара убѣгая,
Стремглавъ на низъ слетѣлъ и стонетъ подъ конемъ;
Иной пронзенъ угасъ, противника пронзая:
Иной врага повергъ и умеръ самъ на немъ.

Замѣтимъ мимоходомъ для стихотворцевъ, какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они поставлены на своемъ мѣстѣ.

ніями. Юный витязь бесѣдуетъ снова съ товарищами о войнѣ, о чудесахъ очарованнаго лѣса, которыя онъ одинъ можетъ разрушить; но простой отшельникъ Петръ совѣтуетъ рыцарю исповѣдью очиститься отъ заблужденій юности прежде, нежели онъ приступитъ къ совершенію великаго подвига. «Сколько ты обязанъ Всевышнему!» говоритъ онъ.—«Его рука спасла тебя; она спасла заблуждшую овцу и причислила ее къ своему стаду. Но ты покрытъ еще тиною міра, и самыя воды Нила, Гангеса и океана не могутъ очистить тебя: одна благодать совершитъ сіе». Онъ умолкъ, и сынъ прелестной Софіи, сей гордый и нетерпѣливый юноша, повергается къ стопамъ смиреннаго отшельника, исповѣдуетъ ему прегрѣшенія юности своей и, очищенный отъ оныхъ, идетъ безтрепетно въ лѣса, исполненные очарованій волшебника Исмена. Годофредъ, желая осадить городъ, приготовляетъ махины, стѣнобитныя орудія; но строгій Петръ является въ шатеръ къ военачальнику. «Ты приготовляешь земныя орудія», говоритъ онъ набожному повелителю,—«а не начинаешь, откол҃ надлежитъ. Начало всего на небѣ. Умоляй ангеловъ и полки святыхъ, подай примѣръ набожности войску!» И на утро отшельникъ развѣваетъ страшное знамя, въ самомъ раю почитаемое; за нимъ слѣдуетъ ликъ медленнымъ шагомъ; священнослужители и воины (соединившіе въ рукѣ своей кадильницу съ мечемъ), Гвильемъ и Адимаръ заключаютъ шествіе лика; за ними Годофредъ, начальники и войско обезоруженное. Не слышно звуковъ трубы и гласовъ бранныхъ, но гласы молитвы и смиренія:

> Te Genitor, te Figlio eguale al Padre,
> E te, che d'ambo uniti amando spiri,
> E te d' uomo, e di Dio Vergine Madre
> Invocano propizia ai lor desiri, и пр. и пр.

Такъ шествуетъ поющее воинство, и гласы его повторяютъ глубокія долины, высокіе холмы и эхо пустынь отдаленныхъ. Кажется, другой ликъ проходитъ въ лѣсахъ, доселѣ безмолвныхъ, и явственно великія имена Маріи и Христа воспѣваетъ.

Между тѣмъ со стѣнъ города взираютъ въ безмолвіи удивленные поклонники Могаммеда на обряды чуждые, на велелѣпіе чудесное и пѣніе божественное. Вскорѣ гласы проклятій и хуленій невѣрныхъ наполняютъ воздухъ: горы, долины и потоки пустынные ихъ съ ужасомъ повторяютъ.

Такимъ образомъ великій стихотворецъ умѣлъ противупоставить обряды, нравы и религіи двухъ враждебныхъ народовъ и изъ садовъ Армидиныхъ, отъ сельскаго убѣжища Эрминіи перенестись въ станъ христіанскій, гдѣ все дышетъ благочестіемъ, набожностію и смиреніемъ. Самый языкъ его измѣняется. Въ чертогахъ Армиды онъ сладостенъ, нѣженъ, изобиленъ; здѣсь онъ мужественъ, величественъ и даже суровъ.

Тѣ, которые упрекаютъ Италіянцевъ въ излишней изнѣженности, конечно забываютъ трехъ поэтовъ: Альфьери — душею Римлянина, Данта—зиждителя языка италіянскаго, и Петрарка, который нѣжность, сладость и постоянное согласіе умѣлъ сочетать съ силою и краткостію.

X.

Петрарка.

S'amor non è, che dunque è quel ch'i sento?

Что же я чувствую, если и это не любовь?

Вотъ что̀ говоритъ Петрарка, котораго одно имя напоминаетъ Лауру, любовь и славу. Онъ заслужилъ славу трудами постоянными и пользою, которую принесъ всему человѣчеству, какъ ученый прилежный, неутомимый; онъ первый возстановилъ ученіе латинскаго языка; онъ первый занимался критическимъ разборомъ древнихъ рукописей, какъ истинный знатокъ и любитель всего изящнаго. Не по однѣмъ заслугамъ въ учености имя Петрарки сіяетъ въ исторіи италіянской; онъ участвовалъ въ распряхъ народныхъ, былъ употребленъ въ важнѣйшихъ переговорахъ и посольствахъ, осыпанъ милостями императора Римскаго, и наконецъ, отъ Роберта, короля Неаполитанскаго, названъ и другомъ, и величайшимъ геніемъ. Замѣтьте, что Робертъ былъ ученѣйшій мужъ своего времени и предпочиталъ (это собственныя его слова) науки и дарованія самой діадемѣ. Наконецъ, Петрарка сдѣлался безсмертенъ стихами, которыхъ онъ самъ не уважалъ [1]), стихами, писанными на языкѣ италіянскомъ или на-

[1]) Въ этомъ неуважении къ стихамъ своимъ Богдановичъ много сходствовалъ съ Петраркомъ. Онъ часто говаривалъ Муравьеву: «Стихи мои, которые вамъ такъ нравятся, умрутъ со мною; но моя Русская Исторія переживетъ меня. Стихи мнѣ не много стоили труда; надъ Исторіей я много пролилъ поту; на ней-то основана моя слава.» Петрарка и Богдановичъ обманулись!

родномъ нарѣчіи. Итакъ, славы никто не оспариваетъ у Петрарки; но многіе сомнѣвалися въ любви его къ Лаурѣ. Многіе французскіе писатели утверждали, что Лаура никогда не существовала, что Петрарка воспѣвалъ одинъ призракъ, красоту, созданную его воображеніемъ, какъ создана была Дульцинея Сервантовымъ героемъ.

Италіянскіе критики, ревнители славы божественнаго Петрарки, утвердили существованіе Лауры; они входили въ малѣйшія подробности ея жизни и на каждый стихъ Петрарки написали цѣлыя страницы толкованій. Сія дань учености дарованію покажется инымъ излишнею, другимъ—смѣшною; но мы должны признаться, что только въ тѣхъ земляхъ, гдѣ умѣютъ такимъ образомъ уважать отличныя дарованія, родятся великіе авторы. Любители поэзіи и чувствительные люди, которые по движеніямъ собственнаго сердца, пламеннаго и возвышеннаго, угадываютъ сердце поэта и истину его выраженій, не будутъ сомнѣваться въ любви Петрарки къ Лаурѣ: каждый стихъ, каждое слово носитъ неизгладимую печать любви.

Любовь способна принимать всѣ виды. Она имѣетъ свой собственный характеръ въ Анакреонѣ, Ѳеокритѣ, Катуллѣ, Проперціѣ, Овидіѣ, Тибуллѣ и въ другихъ древнихъ поэтахъ. Одинъ сладострастенъ, другой нѣженъ и такъ далѣе. Петрарка, подобно имъ, испыталъ всѣ мученія любви и самую ревность; но наслажденія его были духовныя. Для него Лаура была нѣчто невещественное, чистѣйшій духъ, излившійся изъ нѣдръ Божества и облекшійся въ прелести земныя. Древніе стихотворцы были идолопоклонники; они не имѣли и не могли имѣть сихъ возвышенныхъ и отвлеченныхъ понятій о чистотѣ душевной, о непорочности, о надеждѣ увидѣться въ лучшемъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ничего земнаго, переходящаго, низкаго. Они наслаждались и воспѣвали свои наслажденія; они страдали и описывали ревность, тоску въ разлукѣ или надежду близкаго свиданія. Слезы горести или восторга, нѣкоторые обряды идолопоклонства, очарованія какой-нибудь волшебницы (любовь всегда суевѣрна), воспоминанія о

золотомъ вѣкѣ и вѣчныя сожалѣнія о юности, улетающей какъ призракъ, какъ сонъ, — вотъ изъ чего были составлены любовныя поэмы древнихъ, вотъ почему въ ихъ твореніяхъ мы видимъ болѣе движенія и лучшее развитіе страстей, однимъ словомъ — болѣе драматической жизни, нежели въ одахъ Петрарки, но не болѣе истины.

Тибуллъ, задумчивый и нѣжный Тибуллъ, любилъ напоминать о смерти своей Деліи и Немезидѣ. «Ты будешь плакать надъ умирающимъ Тибулломъ; я сожму руку твою хладѣющею рукою, о, Делія!...»

Te spectem, suprema mihi cum venerit hora,
Te teneam moriens, deficiente manu...

И сіи слова драгоцѣнны для сердецъ чувствительныхъ! По послѣ смерти всему конецъ для поэта; самый Элизій не есть вѣрное жилище. Каждый поэтъ передѣлывалъ его по своему и переносилъ туда грубыя земныя наслажденія. Петрарка напротивъ того: онъ надѣется увидѣть Лауру въ лонѣ Божества, посреди ангеловъ и святыхъ, ибо Лаура его есть ангелъ непорочности; самая смерть ея — торжество жизни надъ смертію. «Она погасла какъ лампада», говоритъ стихотворецъ; — «смерть не обезобразила ея прелестей. Нѣтъ, не смертная блѣдность покрыла ея лицо: бѣлизна его подобилась снѣгу, медленно падающему на прекрасный холмъ въ безвѣтренную погоду. Она почила, какъ человѣкъ по совершеніи великихъ трудовъ: и это называютъ смертію слѣпые человѣки!»

Петрарка девять лѣтъ оплакивалъ кончину Лауры. Смерть красавицы не истребила его страсти; напротивъ того, она дала новую пищу его слезамъ, новые цвѣты его дарованію: гимны поэта сдѣлались божественными. Никакая земная мысль не помрачала его печали. Горесть его была вѣчная, горесть христіанина и любовника. Онъ жилъ въ небесахъ: тамъ былъ его умъ, его сердце, всѣ воспоминанія; тамъ была его Лаура! Стихи Петрарки, сіи гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой языкъ, ибо ни одинъ языкъ не можетъ

выразить постоянной сладости тосканскаго и особенной сладости музы Петрарковой. Но я желаю оправдать поэта, котораго часто критика, отдавая впрочемъ похвалу гармоніи стиховъ его, ставитъ наравнѣ съ обыкновенными писателями по части изобрѣтенія и мыслей. Въ прозѣ остаются однѣ мысли.

«Изчезла твоя слава, міръ неблагодарный, и ты сего не видишь, не чувствуешь! Ты не достойна была знать ее, земля неблагодарная! Ты не достойна быть попираема ея священными стопами! Прекрасная душа ея преселилась на небо. Но я, несчастный, я не могу любить безъ нея ни смертной жизни, ни самого себя! Лаура, тебя призываю со слезами! Слезы—послѣднее мое утѣшеніе; онѣ меня подкрѣпляютъ въ горести. Увы, въ землю превратились ея прелести! Онѣ были здѣсь залогомъ красоты небесной и наслажденій райскихъ. Тамъ ея невидимый образъ, здѣсь покрывало, затемнявшее его сіяніе. Она облечется снова и на вѣки въ красоту небесную, которая безъ сравненія превосходитъ земную. Ея образъ является мнѣ одному (ибо кто могъ обожать ее, какъ я?), онъ является и прелестнѣе, и свѣтлѣе. Божественный образъ, ея милое имя, которое отзывается столь сладостно въ моемъ сердцѣ, вы—единственныя опоры слабой жизни моей... Но когда минутное заблужденіе изчезаетъ, когда я вспомню, что лишился надежды моей въ самомъ цвѣтѣ и сіяніи, — любовь, ты знаешь, что со мною тогда бываетъ, знаетъ и она, та, которая приближилась къ божественной истинѣ!.. Я страдаю, а она изъ жилища вѣчной жизни съ гордою улыбкою презрѣнія взираетъ на земное одѣяніе свое, здѣсь оставленное. Она о тебѣ одномъ вздыхаетъ и умоляетъ тебя не затмить сіянія славы ея, тобою на землѣ распространеннаго; да будетъ гласъ твоихъ пѣсней еще звучнѣе, еще сладостнѣе, если сладостны и драгоцѣнны были очи ея твоему сердцу!»

Древность ничего не можетъ представить намъ подобнаго. Горесть Петрарки услаждается мыслію о безсмертіи души, строгою мыслію, которая одна въ силахъ искоренить страсти земныя; но поэзія не теряетъ своихъ красокъ. Стихотворецъ умѣлъ

сочетать землю и небо; онъ заставилъ Лауру заботиться о славѣ земной, единственномъ сокровищѣ, которое осталось въ рукахъ ея друга, осиротѣлаго на землѣ. Иначе плачетъ надъ урною любовницы древній поэтъ; иначе Овидій сѣтуетъ о кончинѣ Тибулла: ибо всѣ понятія древнихъ о душѣ, о безсмертіи были неопредѣленны. Петрарка, пораженный ужасною вѣстію о кончинѣ Лауры, написалъ нѣсколько строкъ на заглавномъ листѣ Виргилія, который весь наполненъ былъ его замѣчаніями, ибо Петрарка читалъ Виргилія и училъ наизусть безпрестанно. Сія рукопись, драгоцѣнный остатокъ двухъ великихъ людей, хранилась въ Амброзіанской библіотекѣ, а нынѣ, если не ошибаюсь, находится въ Парижѣ. Простота немногихъ строкъ, начертанныхъ въ глубокой горести, прелестна и стоитъ лучшаго гимна. Изъ нихъ-то можно видѣть, что Петрарка не сочинялъ свою страсть, и что стихи его были только слабымъ воспоминаніемъ того, что̀ онъ чувствовалъ. Вотъ сіи строки:

«Лаура, славная по качествамъ души своей и столь долго мною прославляемая, предстала въ первый разъ моимъ глазамъ въ началѣ моего юношескаго возраста, въ 1327 году 6-го апрѣля, въ церкви св. Клары въ Авиньонѣ, въ первомъ часу по полудни. И въ томъ же самомъ городѣ, въ томъ же мѣсяцѣ, 6-го числа, въ первомъ часу, 1348 года, сія небесная лампада потухла, когда я находился въ Веронѣ, не вѣдая ничего о моемъ несчастіи. Въ Пармѣ узналъ я эту плачевную новость чрезъ письмо друга моего Лудовика, того же года, въ маѣ, по утру. Ея чистѣйшее, ея прелестное тѣло было положено, въ самый день ея смерти, въ церкви кармелитовъ. Я увѣренъ, что ея душа возвратилась на небо, откуда она пришла такъ, какъ Сципіонова, по словамъ Сенеки» [1]).

[1]) Пріятель мой г. Н., родомъ Швейцарецъ, разсказывалъ мнѣ любопытный анекдотъ о Вернѣ (Vernes de Genève), сочинителѣ извѣстнаго Путешествія по Франціи. Чувствительный Вернъ (я называю его чувствительнымъ потому, что онъ во всю жизнь старался прослыть чувствительнымъ любовникомъ и писателемъ) Вернъ лишился жены, прелестной и молодой, которую онъ обожалъ, какъ любовницу. Нельзя описать его отчаянія! Съ трудомъ оторвали его отъ хладнаго

Петрарка любилъ, но онъ чувствовалъ всю суетность своей страсти и съ нею боролся не однажды. Любовь къ Лаурѣ и любовь къ славѣ подъ конецъ жизни его слились въ одно. Любовь къ славѣ, по словамъ одного русскаго писателя, есть послѣдняя страсть, занимающая великую душу. Поэмы: Тріумфъ любви,—непорочности,—смерти,—Божества, въ которыхъ и самый снисходительный критикъ найдетъ множество несообразностей и оскорбленій вкуса, заключаютъ однакоже въ себѣ неувядаемыя красоты слога, выраженія и особенно мыслей. Въ нихъ-то стихотворецъ описываетъ всѣ мученія любви, которой міръ, какъ тирану, приноситъ безпрестанныя жертвы. «Я знаю», говоритъ онъ,—«какъ непостоянна и перемѣнчива жизнь любовниковъ. Они — то робки, то предпріимчивы. Немного радостей награждаютъ ихъ за безпрерывныя мученія. Знаю ихъ нравы,

трупа, обезображеннаго смертію. Но Вернъ не хотѣлъ видѣть друзей своихъ, не хотѣлъ слышать обыкновенныхъ утѣшеній, раздражающихъ раны сердечныя; онъ заперся въ своемъ кабинетѣ и цѣлыя сутки провелъ въ глубокомъ уединеніи. Долго его дожидались. Родственники и друзья начали безпокоиться. Сперва одинъ, потомъ другой постучался у дверей: нѣтъ отвѣта; проходитъ часъ, другой, третій: двери не отворяются. Въ страхѣ рѣшились ихъ выломать. Но что же? Двери отворились, и вдовецъ, блѣдный, растрепанный, съ красными глазами отъ слезъ—или отъ письма, можете разсудить сами,—вышелъ на встрѣчу толпѣ въ одной рукѣ держа перо, а въ другой цѣлую тетрадь исписанной бумаги. Друзья удивились, и еще болѣе, когда поэтъ сѣлъ спокойно на стулъ и плачевнымъ голосомъ прочиталъ плачевную элегію на смерть супруги.

Свѣтскіе люди полагаютъ, и не безъ основанія, что страсти у писателей въ головѣ, а не въ сердцѣ. Не всегда, конечно. Петрарка, чувствительный до излишества, писалъ отъ избытка чувствъ сердечныхъ; но эта глубокая чувствительность, источникъ дарованій, нерѣдко бываетъ источникомъ мученій. Сколько тому примѣровъ! Мольеръ, сей знатокъ страсти и сердца человѣческаго, походилъ на своего Мизантропа вѣчною угрюмостію въ обществѣ; онъ страдалъ безпрестанно за себя и за другихъ. Расинъ былъ жертвою своего сердца, тронутаго народнымъ несчастіемъ и потомъ немилостію короля. Тассъ, какъ страдалецъ, скитался изъ края въ край, не находилъ себѣ пристанища; повсюду носилъ свои страданія, всѣхъ подозрѣвалъ и ненавидѣлъ жизнь свою, какъ бремя. Тассъ, жестокій примѣръ благодѣяній и гнѣва фортуны, сохранилъ сердце и воображеніе, но утратилъ разсудокъ. И въ наши времена русская Мельпомена оплакиваетъ еще своего любимца, столь ужасно отторженнаго отъ Парнасса, отъ всего человѣчества! Есть люди, которые завидуютъ дарованію! Великое дарованіе и великое страданіе—почти одно и то же.

ихъ воздыханія, ихъ пѣсни, прерывные разговоры, внезапное молчаніе, краткій смѣхъ и вѣчныя слезы. Любовь подобна сладкому меду, распущенному въ соку полынномъ» [1]). Сію послѣднюю мысль Тассъ повторилъ въ своей поэмѣ. Пѣвецъ Іерусалима испыталъ всѣ мученія любви.

Во времена Петрарковы, столь смежныя съ временами рыцарства, любовь не утратила еще своего владычества надъ людьми всѣхъ состояній. Во Франціи, отъ короля до простаго воина, каждый имѣлъ свою даму. «Ma dame et saint Dénis!» восклицали французскіе рыцари въ пылу сраженій и совершали неимовѣрные подвиги. Рыцарь сиръ де-Флеранжъ, водружая знамя на стѣнѣ крѣпости, взятой приступомъ, кричалъ своимъ товарищамъ: «Ахъ, если бы видѣла красавица своего рыцаря!» Трубадуры воспѣвали красоту; за ними и всѣ поэты (не исключая важнаго и мрачнаго Данте, остроумнаго и веселаго Боккачіо), всѣ прославляли своихъ красавицъ, и имена ихъ остались въ памяти музъ. Исторія Парнасса италіянскаго есть исторія любви. Въ одномъ изъ своихъ Тріумфовъ Петрарка изчисляетъ великихъ мужей древнихъ и новѣйшихъ, которые всѣ учинились жертвами страсти. Конечно, здравый вкусъ негодуетъ на сочетаніе именъ Давида и Соломона съ именами Тибулла и Проперція; но нѣкоторыя мѣста сей поэмы имѣютъ особенную прелесть, а болѣе всего тѣ, въ которыхъ стихотворецъ изчисляетъ своихъ друзей въ плѣну у суроваго бога:

«Я увидѣлъ Виргилія», говоритъ онъ,—«съ нимъ Овидія, Катулла и Проперція, которые всѣ столь пламенно воспѣвали любовь, и наконецъ, нѣжнаго Тибулла. Юная Гречанка (Сафо) шествовала рядомъ съ возвышенными пѣвцами, воспѣвая сладкіе гимны. Бросивъ взоры на окрестныя мѣста, я увидѣлъ на цвѣтущей зеленой долинѣ толпу, разсуждающую о любви. Вотъ Данте съ Беатриксою! Вотъ Сельважіа съ Чино! и пр. и пр....

[1]) Гордый и пламенный Альфіери называетъ Петрарку учителемъ любви и поэзіи, maestro in amare ed in poesia.

Но теперь я не могу сокрыть моей горести: я увидѣлъ друзей моихъ, и посреди ихъ Томаса, украшеніе Болоніи, Томаса, котораго прахъ истлѣваетъ на землѣ Мессинской. О, минутныя радости, горестная жизнь, кто отнялъ у меня такъ рано мое сокровище, моего друга, безъ котораго я не могъ дышать? Гдѣ онъ теперь находится?... Прежде онъ былъ со мною неразлученъ... Жизнь смертныхъ, горестная жизнь, ты не что иное, какъ сонъ больнаго страдальца, пустая басня романа! Уклонясь въ сторону отъ прямаго пути, я встрѣтилъ моего Сократа и Лелія. Съ ними желалъ бы я долѣе шествовать. Какая чета друзей! Ни проза, ни стихи мои не могутъ ихъ достойно прославить; ихъ нагая добродѣтель и безъ пѣсней музъ заслуживаетъ почтеніе міра. Съ ними я похитилъ слишкомъ рано славный лавръ, который доселѣ украшаетъ мою главу, въ воспоминаніе той, которую обожаю!» Лавръ (lauro) напоминаетъ имя Лауры и потому былъ вдвое драгоцѣненъ сердцу поэта. По смерти славнаго Колонны и Лауры стихотворецъ воскликнулъ:

Rotta è l'alta colonna e'l verde lauro!

Мы замѣтили уже, что неумѣренная любовь къ славѣ равнялась или спорила съ любовію къ Лаурѣ въ пламенной душѣ Петрарки. Одна чистѣйшая набожность и возвышенныя мысли о безсмертіи души могли уменьшать ихъ силу, и то временно, но искоренить совершенно не имѣли власти. Съ какимъ чистосердечнымъ сокрушеніемъ описываетъ онъ борьбу религіи съ любовію къ славѣ! Въ каждомъ словѣ видѣнъ христіанинъ, который знаетъ, что ничто земное ему принадлежать не можетъ, что всѣ труды и усилія человѣка напрасны, что слава земная изчезаетъ, какъ слѣдъ облака на небѣ: знаетъ твердо, убѣжденъ въ сей истинѣ и все не престаетъ жертвовать своей страсти! «Мой умъ занятъ сладкою и горестною мыслію», говоритъ онъ,—«мыслію, которая меня утруждаетъ и исполняетъ надеждою мятежное сердце. Когда воображу себѣ сіяніе славы, то не чувствую ни хлада зимы, ни лучей солнечныхъ, забываю страшную

блѣдность моего чела и самые недуги. Напрасно желаю умертвить сію мысль; она снова и сильнѣе рождается въ моемъ сердцѣ. Она встрѣтила меня въ пеленахъ младенчества, день ото дня со мною возрастала, и страшусь, чтобы со мною не заключилась въ могилѣ. Но къ чему послужатъ мнѣ сіи льстивыя желанія, когда моя душа отдѣлится отъ бреннаго тѣла, послѣ кончины моей, если и вся вселенная будетъ обо мнѣ говорить?.. Суета, суета! Одинъ мигъ разрушаетъ всѣ труды наши. Такъ, я желалъ бы обнять истину и забыть на вѣки суетную тѣнь славы!»

И самый слогъ Петрарки сообразно съ предметами измѣняется: важность мыслей въ Тріумфѣ смерти и Божества даютъ слогу особенную силу, возвышенность и краткость. Часто два или три слова заключаютъ въ себѣ мысль или глубокое чувство. Ода, въ которой поэтъ обращается къ Ріензи (такъ полагаетъ Вольтеръ, а другіе критики утверждаютъ, что сія ода писана не къ Ріензи, а къ Колоннѣ), сія ода, въ которой онъ умоляетъ народнаго трибуна священными именами Сципіоновъ и Брутовъ расторгнуть оковы Рима и поставить его на древнюю степень сіянія и славы, напоминаетъ намъ прекрасныя оды Горація. Она исполнена древняго вкуса и того величія, которое Италіянцы, чувствительные ко всему изящному, называютъ grandioso въ поэзіи, въ ваяніи, въ живописи, во всѣхъ искусствахъ. Римъ былъ страстію Петрарки. Онъ не могъ простить папѣ перенесенія трона въ Авиньонъ, и вотъ въ какихъ словахъ изливаетъ свое негодованіе передъ защитникомъ правъ народныхъ, вотъ какимъ образомъ взываетъ къ воскресителю столицы міра:

«Сіи древнія стѣны, предъ коими міръ благоговѣетъ, и смертные страшатся, когда обращаютъ вспять взоры на давно минувшіе вѣки, сіи камни надгробные, подъ коими истлѣваетъ прахъ великихъ людей, славныхъ даже до разрушенія міра, всѣ сіи развалины древняго величія надѣются воскреснуть тобою. О, великіе Сципіоны, о, вѣрный Брутъ, съ какою радостію по-

знаете вы благодѣяніе новаго героя! Съ какимъ веселіемъ и ты, Фабрицій, узнаешь вѣсть сію! Ты скажешь: мой Римъ еще будетъ прекрасенъ!»

Надежды Петрарки не сбылись. Но любители изящной поэзіи знаютъ наизусть прекрасные стихи любовника Лауры, обожателя древняго Рима и древней свободы. Ни любовь, ни мелкія выгоды самолюбія, ни опасность говорить истину въ смутные времена междоусобія, ничто не могло ослабить въ немъ любви къ Риму, къ древнему отечеству добродѣтелей и музъ, ему драгоцѣнныхъ, ибо ничто не могло потушить любви къ изящному и къ истинѣ въ его сердцѣ. Узнавъ неистовые поступки Ріензи, съ чистосердечною гордостію, достойною лучшихъ временъ Рима, Петрарка писалъ къ нему: «Я хотѣлъ прославить тебя; страшись теперь, чтобы я не превратилъ моей похвалы въ жестокую сатиру!» Но всѣ угрозы и совѣты Петрарки были напрасны. Свобода, дарованная Риму исступленнымъ трибуномъ, походила на свободу Робеспіерову: началась убійствами, кончилась тиранствомъ.

Всѣ знаютъ, что Петрарка воспользовался пѣснями сициліанскихъ поэтовъ и трубадуровъ счастливаго Прованса, которые много заняли у Мавровъ, народа образованнаго, гостепріимнаго, учтиваго, ученаго и одареннаго самымъ блестящимъ воображеніемъ. Отъ нихъ онъ заимствовалъ игру словъ, изысканныя выраженія, отвлеченныя мысли и наконецъ излишнее употребленіе аллегоріи; но сіи самые недостатки даютъ какую-то особенную оригинальность его сонетамъ и прелесть чудесную его неподражаемымъ одамъ, которыя ни на какой языкъ перевести не возможно. «Слога нельзя присвоить», говоритъ Бюффонъ, сей исполинъ въ искусствѣ писать,—и особенно слога Петрарки. Любовь къ цвѣтамъ господствовала на востокѣ. До сихъ поръ арабскіе и персидскіе стихотворцы безпрестанно сравниваютъ красоту съ цвѣтами и цвѣты съ красотою. Цвѣты играютъ большую ролю у любовниковъ на востокѣ. Раждающаяся любовь, ревность, надежда, одним словомъ—вся суетная и прелестная

исторія любви изъясняется посредствомъ цвѣтовъ. Трубадуры также любили воспѣвать цвѣты, а за ними и Петрарка. Желаете ли видѣть, какимъ образомъ онъ воспользовался цвѣтами? Еще разъ повторяю: я удерживаю одну тѣнь слога живаго, исполненнаго нѣги, гармоніи и этого сердечнаго изліянія, которое только можно чувствовать, а не описывать. Кстати о цвѣтахъ: слогъ Петрарки можно сравнить съ симъ чувствительнымъ цвѣткомъ, который вянетъ отъ прикосновенія.

«Если глаза мои остановятся на розахъ бѣлыхъ и пурпуровыхъ, собранныхъ въ золотомъ сосудѣ рукою прелестной дѣвицы, тогда мнѣ кажется, что вижу лицо той, которая всѣ чудеса природы собою затмѣваетъ. Я вижу бѣлокурые локоны ея, по лилейной шеѣ развѣянные, бѣлизно и самое молоко затмѣвающей; я вижу сіи ланиты, сладостнымъ и тихимъ румянцемъ горящія! Но когда легкое дыханіе зефира начинаетъ колебать на долинѣ цвѣточки желтые и бѣлые, тогда воспоминаю невольно и мѣсто, и первый день, въ который увидѣлъ Лауру съ развѣянными власами по воздуху, и воспоминаю съ горестію начало моей пламенной страсти».

Такимъ образомъ цвѣтокъ въ полѣ, закатъ солнца, водопадъ, шумящій въ уединенной рощѣ, малѣйшее обстоятельство въ природѣ напоминали Петраркѣ красоту, вѣчно любезную его сердцу. Путешествіе стихотворца чрезъ лѣса Арденскіе или чрезъ Альпы, прогулка Лауры въ лодкѣ по озеру или обряды набожности, ею совершенные при наступленіи какого-нибудь праздества, все служило поводомъ къ сонету или новой одѣ; ни одно чувство, ни одно духовное наслажденіе, ни одно огорченіе не было утрачено для музъ. Сіе смѣшеніе глубокой чувствительности и набожности чистосердечной съ тонкимъ познаніемъ свѣта и людей, съ обширными свѣдѣніями въ исторіи народовъ, сіи слѣды и воспоминанія классическихъ красотъ древнихъ авторовъ, разсѣянные посреди блестящихъ и романическихъ вымысловъ сицилійскихъ поэтовъ, наконецъ, сей очаровательный языкъ тосканскій, исполненный величія, сладости и гармоніи неизъяснимой,

сіе счастливое сочетаніе любви, религіи, учености, философіи, глубокомыслія и суетности любовника, все это вмѣстѣ въ стихахъ Петрарки представляетъ чтеніе усладительное и совершенно новое для любителя словесности. Надобно предаться своему сердцу, любить изящное, любить тишину души, возвышенныя мысли и чувства, однимъ словомъ—любить сладостный языкъ музъ, чтобы чувствовать вполнѣ красоту сихъ волшебныхъ пѣсней, которыя предали потомству имена Петрарки и Лауры. Мы знали людей, которые смотрѣли холодными глазами на Аполлона Бельведерскаго; мы знали людей, которые никогда не трепетали отъ восхищенія при чтеніи стиховъ Державина, и мы не удивляемся, что есть писатели, для которыхъ слагатель мадригаловъ Доратъ и Петрарка—одно и то же. Часто умные люди отказывали ему въ уваженіи. Умъ нерѣдко бываетъ тупой судія произведеній сердца. Но для тѣхъ, которые любили хотя одинъ разъ въ жизни, стоитъ только назвать Петрарку: они знаютъ ему цѣну и чувствуютъ вполнѣ прелесть поэзіи, которая не разъ отзывалась въ ихъ сердцѣ: il cantar che nell'anima si sente.

Примѣчаніе.

Я сдѣлалъ открытіе въ италіянской словесности, къ которому меня не руководствовали иностранные писатели, по крайней мѣрѣ тѣ, кои мнѣ болѣе извѣстны. Я нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Петрарки въ Освобожденномъ Іерусалимѣ. Такого рода похищенія доказываютъ уваженіе и любовь Тасса къ Петраркѣ. Мудрено ли? Петрарка былъ его предшественникомъ; онъ и Данте открыли новое поле словесности своимъ соотечественникамъ: безпрестанное чтеніе сихъ образцовъ, особенно пѣвца Лауры, столь близкаго сердцу чувствительнаго пѣвца Танкреда и Эрминіи, это чтеніе врѣзало въ памяти его многіе стихи и выраженія, которые онъ невольнымъ образомъ повторялъ въ своей поэмѣ.

Кто не знаетъ прелестной оды: Chiare, fresche e dolci acque, которой Вольтеръ подражалъ столь удачно, и неподражаемаго эпизода Эрминіи въ VII-й пѣснѣ Освобожденнаго Іерусалима? Нѣтъ сомнѣнія, что Тассъ имѣлъ въ памяти стихи Петрарки, которые можно назвать сокровищемъ италіянской поэзіи. Любовникъ Лауры обращается къ Тріадѣ, источнику окрестностей Авиньона [1]), котораго воды прохлаждали красавицу. На благовонныхъ берегахъ его, освященныхъ нѣкогда присутствіемъ единственной для него женщины (che sola a me par donna), онъ желаетъ, чтобы покоились его остатки. «Можетъ быть», говоритъ онъ, — «можетъ быть, тамъ гдѣ увидѣла меня въ благословенный день перваго свиданія, тамъ любопытный взоръ ея будетъ меня искать снова, и увы, прахъ одинъ найдетъ, прахъ, между камней разсѣянный», и пр. Отъ сихъ унылыхъ мыслей поэтъ переходитъ снова къ роскошному описанію Лауры, оставляющей студеныя воды источника; облако цвѣтовъ разсыпалось на красавицу: ed ella si sedea umile in tanta gloria. Древность не производила ничего подобнаго. Самое рожденіе Венеры изъ пѣны морской и шествіе ея на землю, которая затрепетала отъ сладострастія, почувствовавъ прикосновеніе богини, не столько плѣняетъ воображеніе.

Но перейдемъ къ Тассу. У него Эрминія, нашедъ убѣжище у пастырей, оплакиваетъ вѣчную разлуку съ Танкредомъ. Дочь царей, покрытая рубищемъ, но и въ рубищѣ прелестная и величественная, начертываетъ имя Танкреда на корѣ древнихъ дубовъ и вязовъ и съ нимъ всю печальную повѣсть любви своей; сто разъ перечитываетъ ее и, проливая слезы, обращается къ рощамъ, нѣмымъ свидѣтелямъ ея тоски: «Сокройте, сокройте въ себѣ мою тайну, дружественныя рощи! Можетъ быть, вѣрный любовникъ, когда-нибудь привлеченный прохладою тѣней вашихъ, съ сожалѣніемъ прочитаетъ мои печальныя приключенія и, тронутый до глубины сердца, скажетъ: счастіе и любовь неблаго-

[1]) А не къ Воклюзѣ, какъ полагали нѣкоторые писатели.

дарностію воздали за толикія страданія и за примѣрную вѣрность! Можетъ быть—если небо внимаетъ благосклонно усерднѣйшимъ моленіямъ смертныхъ—можетъ быть, въ сіи пустыни зайдетъ случайно и тотъ, который ко мнѣ столько равнодушенъ и, обращая взоры на то мѣсто, гдѣ будутъ покоиться мои бренные остатки, позднія слезы прольетъ въ награду за мои страданія и вѣрность».

Теперь увидимъ похищенія. Въ одѣ, которая начинается: Nella stagion che' l ciel rapido inchina etc., Петрарка описываетъ пастушку, которая при закатѣ солнца спѣшитъ въ сельское убѣжище и тамъ забываетъ усталость:

La noia e' l mal della passata vita.

Тассъ въ III-й пѣсни Іерусалима, воспѣвая торжественное пришествіе крестовыхъ воиновъ къ священному граду, сравниваетъ ихъ съ мореплавателями, которые, открывъ желанный берегъ, послѣ бурь и трудовъ забываютъ опасности минувшія:

La noia e' l mal della passata vita.

Въ сонетѣ: Zefiro torna e'l bel tempo rimena etc. Петрарка говоритъ, что весна все оживляетъ, поля улыбаются, небо свѣтлѣетъ; Зевесъ съ радостію взираетъ на Киприду, милую дочь свою; воздухъ, вода и земля дышутъ любовью:

Ogni animal d'amar si riconsiglia.

И у Тасса мы находимъ этотъ стихъ въ садахъ Армиды:

Raddopian le colombe i baci loro,
Ogni animal d'amar si riconsiglia.

Есть и другія похищенія; но я не могу ихъ теперь привести на память.

XI.

О характерѣ Ломоносова.

«По слогу можно узнать человѣка», сказалъ Бюффонъ; характеръ писателя весь въ его твореніяхъ. Это съ одной стороны справедливо. Безъ сомнѣнія, по стихамъ и прозѣ Ломоносова мы можемъ заключить, что онъ имѣлъ возвышенную душу, ясный и проницательный умъ, характеръ необыкновенно предпріимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу болѣе — наблюдателю-философу пріятно было бы узнать нѣкоторыя подробности частной жизни великаго человѣка, познакомиться съ нимъ, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслажденія, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человѣка. «Разумъ, услаждающійся величественными понятіями всеобщаго порядка и согласія, не можетъ быть соединенъ съ сердцемъ хладнымъ», говорилъ о Ломоносовѣ писатель, котораго имя равно любезно музамъ и добродѣтели. Сія истина утверждена жизнью Ломоносова. Воображеніе и сердце часто увлекали его въ молодости: они были источниками его наслажденій и мученій, неизвѣстныхъ, неизъяснимыхъ обыкновеннымъ людямъ. Конечно, не одна страсть къ ученію, которая не могла еще вполнѣ овладѣть душою отрока, воспитаннаго среди болотъ холмогорскихъ, не одна сія страсть, столь благородная и безкорыстная, принудила его оставить родину. Семейственныя

огорченія и нѣкоторое тайное безпокойство души было къ тому важнѣйшимъ побужденіемъ. Но сіе безпокойство, сіе тусклое желаніе чего-то новаго и лучшаго, сія предпріимчивость, удивительная въ столь нѣжномъ возрастѣ, не означали ли великую душу и нѣчто необыкновенное?

Пламенное рвеніе къ ученію, неутомимая жажда познаній, постоянство въ преодолѣніи преградъ, поставленныхъ непріязненнымъ рокомъ, дерзость въ предпріятіяхъ, увѣнчанная сіяющимъ успѣхомъ, всѣ сіи качества соединены были съ сильными страстями, съ пламеннымъ сердцемъ или, лучше сказать, проистекали изъ оныхъ, и потому должно ли удивляться, что Ломоносовъ въ молодости своей пожертвовалъ всѣми выгодами любви? Въ Марбургѣ онъ женился тайно на дочери бѣднаго ремесленника, и въ скоромъ времени обстоятельства принудили его разлучиться съ супругою. Музы любятъ провождать любимцевъ своихъ по тернистой тропѣ несчастія въ храмъ славы и успѣховъ. Бѣдствія не всегда убиваютъ талантъ: напротивъ того, они пробуждаютъ въ душѣ множество прекрасныхъ свойствъ и знакомятъ ее съ собственными силами. Ломоносовъ, гонимый судьбою, скитался по Германіи, переходилъ изъ земли въ землю, безъ пристанища, часто безъ насущнаго хлѣба; онъ боролся со всѣми нуждами и горестями и никогда, нигдѣ не преступилъ законовъ чести, никогда не забывалъ оставленной супруги. Съ какою чувствительностью, возвратясь въ Петербургъ, прочиталъ онъ письмо ея и воскликнулъ предъ посланнымъ отъ г. Бестужева: «Боже мой, могу ли ее оставить!» Слезы прерывали безпрестанно слова его. Сладостно видѣть наблюдателю человѣчества соединеніе столь глубокой чувствительности съ умомъ обширнымъ, вѣрнымъ и прозорливымъ! Чувствительность и сильное, пламенное воображеніе часто владѣли нашимъ поэтомъ, конечно, противъ воли его. На возвратномъ пути изъ Амстердама по морю Ломоносовъ, сидя на палубѣ, при шумѣ волнъ погружался въ сладкую задумчивость. Открытое море, шумъ вѣтра и безпрерывное колебаніе корабля напоминали ему первыя лѣта юно-

сти, проведенныя среди непостоянной стихіи; они напоминали приморскую его родину и все, что̀ ни есть сладостнаго для сердца нѣжнаго и добраго. Исполненному воспоминаній, однажды во снѣ ему привидѣлась страшная буря на волнахъ Ледовитаго моря, кораблекрушеніе и хладный трупъ отца его, выброшенный на тотъ самый островъ, куда Ломоносовъ въ молодости своей приставалъ съ нимъ для совершенія рыбной ловли. Онъ въ ужасѣ проснулся. Напрасно призываетъ на помощь разсудокъ свой, напрасно желаетъ развѣять мрачные слѣды сновидѣнія: мечта остается въ глубинѣ сердца, и ничто не въ силахъ изгладить ее. Снова засыпаетъ и снова видитъ шумное море, необитаемый островъ и блѣдный трупъ родителя. Такъ мы нерѣдко увѣряемся опытомъ, что Провидѣніе влагаетъ въ насъ какія-то тайныя мысли, какое-то неизъяснимое предчувствіе будущихъ злополучій, и событіе часто подтверждаетъ предсказаніе таинственнаго сна — къ удивленію, къ смиренію слабаго и гордаго разсудка. Ломоносовъ это испыталъ въ жизни своей. Отецъ его погибъ въ волнахъ, и тѣло его найдено рыбаками на томъ необитаемомъ островѣ, который назначилъ имъ печальный сынъ по внушенію пророческаго сновидѣнія.

По краткой біографіи, напечатанной при сочиненіяхъ Ломоносова, мы тѣснѣе знакомимся съ поэтомъ, когда онъ покидаетъ родину свою. Самое юношество необыкновеннаго человѣка любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоцѣнны. Конечно, Ломоносовъ въ откровенной бесѣдѣ ближнихъ и друзей любилъ разсказывать имъ первыя свои печали и наслажденія: съ какимъ восхищеніемъ онъ пѣвалъ на клиросѣ священныя пѣсни и пожиралъ духовныя книги, съ какимъ усиліемъ онъ промыслилъ славенскую грамматику и ариѳметику—врата учености своей, какъ сердце его унывало, покидая отца, родину, ближнихъ, какъ трепетало отъ радости, вступая въ обширную Москву. Къ сожалѣнію, немного подробностей дошло до насъ, и почти всѣ изчезли съ холодными слушателями. Однѣ великія души чувствуютъ всю важность дружескихъ повѣреній знаменитаго

человѣка, ихъ современника. Ломоносовъ—нѣтъ сомнѣнія—казался обыкновеннымъ человѣкомъ въ кругу пріятелей своихъ, людей весьма обыкновенныхъ. И могъ ли Тредіаковскій съ братіею быть цѣнителемъ величайшаго ума своего времени, цѣнителемъ Ломоносова?

Но, къ счастію нашему, Россія имѣла въ молодомъ вельможѣ покровителя дарованій. Мы забудемъ со временемъ однофамильца Шувалова, который писалъ остроумные стихи на французскомъ языкѣ, который удивлялъ Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученыхъ и неученыхъ Парижанъ любезностію, веселостію и учтивостію, достойною временъ Лудовика XIV; но того Шувалова, который покровительствовалъ Ломоносова, никогда не забудемъ. Имя его навсегда останется драгоцѣнно музамъ отечественнымъ. Онъ былъ все для нашего лирика: дѣятельный и просвѣщенный покровитель, попечительный другъ, часто снисходительный и всегда постоянный. Безъ него Ломоносовъ не могъ бы предпринять сихъ великихъ трудовъ, требующихъ издержекъ и безпрестанныхъ пособій. Скажемъ болѣе: какъ ученый, какъ стихотворецъ, Ломоносовъ обязанъ ему всѣмъ, даже постоянствомъ въ любви ко славѣ. Прозорливый Шуваловъ въ уроженцѣ Холмогоръ угадалъ великаго человѣка; счастливый поэтъ нашелъ въ вельможѣ истинный патріотизмъ, обширныя свѣдѣнія, вкусъ образованный и, что всего лучше, благородную, дѣятельную душу. Однимъ словомъ (рѣдкое явленіе!), вельможа и поэтъ понимали другъ друга. Письма Ломоносова къ Шувалову суть безцѣнный памятникъ словесности русской: въ нихъ видѣнъ и стихотворецъ, и покровитель его. Они заключаютъ въ себѣ множество любопытныхъ подробностей, анекдотовъ и, наконецъ, извѣстіе о кончинѣ профессора Рихмана, достойнаго товарища Ломоносова. Рихманъ умеръ прекрасною смертію [1]), и Ломоносовъ съ убѣдительнымъ, сердечнымъ краснорѣчіемъ ходатайствуетъ за осиротѣвшее семейство, страшась, чтобы сей случай не былъ протолко-

[1]) Это собственное выраженіе Ломоносова.

ванъ противу наукъ, вѣчно ему любезныхъ. Часто въ письмахъ своихъ онъ жалуется на Тредіаковскаго и Сумарокова. Если сіи строки доказываютъ печальную истину, что дарованія во всѣ времена, даже при самой колыбели словесности, имѣютъ враговъ и завистниковъ, то онѣ же, къ радости нашей, открываютъ прекрасную душу великаго писателя: «Никакого не желаю мщенія», говоритъ онъ,—«но способовъ продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалятъ меня своею хулою, называя мои изображенія надутыми; нападая на меня, они нападаютъ на древнихъ»... До послѣдней минуты жизни своей Ломоносовъ не измѣнилъ себѣ, и прелестная мысль о славѣ его не покидала. На одрѣ мученій и смерти Рафаэль соболѣзновалъ о не доконченныхъ картинахъ, нашъ сѣверный геній—о не совершенныхъ трудахъ своихъ. «Я умираю», говорилъ онъ Штелину,—«я умираю, пріятель! На смерть взираю равнодушно. Сожалѣю о томъ, чего не успѣлъ довершить для пользы наукъ, для славы отечества и академіи нашей. Къ сожалѣнію вижу, что благія мои намѣренія изчезнутъ вмѣстѣ со мною»...

Тѣнь великаго стихотворца утѣшилась. Труды его не потеряны. Имя его безсмертно.

XII.

Двѣ Аллегоріи.

I.

Еслибъ достатокъ позволялъ мнѣ исполнять по волѣ всѣ мои прихоти, то я побѣжалъ бы къ художнику N. съ полнымъ кошелькомъ и предложилъ ему двѣ мысли для двухъ картинъ. Вообще аллегоріи холодны, особливо тѣ, которыми живописцы хотятъ изобразить историческія происшествія; но мои будутъ говорить разсудку, потому что онѣ ясны и точны; онѣ будутъ говорить воображенію и сердцу, если художникъ выразитъ то, что̀ я теперь мыслю и чувствую.

— Напишите, сказалъ бы я живописцу (который до сихъ поръ не написалъ ничего оригинальнаго, а только рабски подражалъ Рафаелю, но который можетъ изобрѣтать, ибо имѣетъ умъ, сердце и воображеніе), — напишите мнѣ генія и фортуну, обрѣзывающую у него крылья.

Х. А, я васъ понимаю! (Немного подумавъ). Вы хотите изобразить жестокую побѣду несчастія надъ талантомъ, генія живописи...

Я. Я не назначаю именно какого генія; отъ васъ зависитъ выборъ — генія поэзіи, генія войны, генія философіи, науки или художества, какого вамъ угодно; только генія пламеннаго, пылкаго, наполненнаго гордости и себяпознанія, котораго крылья

неутомимы, котораго взоръ орлиный проницаетъ, объемлетъ природу, ему подчиненную, котораго сердце утопаетъ въ сладострастіи чистѣйшемъ и неизъяснимомъ для простаго смертнаго при одномъ помышленіи о добродѣтели, при одномъ именованіи славы и безсмертія.

Х. (Съ радостію взявъ мѣлъ, подбѣгаетъ къ грунтованному холсту). Я васъ понимаю, очень понимаю.

Я. Я увѣренъ, что художникъ N. меня пойметъ, когда дѣло идетъ о славѣ.

Х. (Взявъ меня за руку и краснѣя при каждомъ словѣ). Вы не повѣрите, какъ я люблю славу: стыдно признаться; но вы хотите (чертитъ мѣломъ абрисъ фигуры), вы хотите. .

Я. Генія. Чтобъ изобразить живо, какъ я его чувствую, прочитайте жизнь Ломоносова, этого рыбака, который, по словамъ другаго поэта, изъ простой хижины шагнулъ въ академію; прочитайте жизнь Петра Великаго, который самъ себя создалъ и потомъ Россію; прочитайте жизнь чудеснаго Суворова, котораго душу, сердце и умъ природа отлила въ особенной формѣ и потомъ изломала ее въ дребезги. Взгляните, если угодно, на творенія вашего Рафаеля, въ памяти котораго помѣщалась вся природа! Напитавши воображеніе идеаломъ величія во всѣхъ родахъ, пишите смѣло: вашъ геній будетъ геній, а не фигура академическая. Теперь вообразите себѣ, что онъ борется съ враждебнымъ рокомъ; запутайте его ноги въ сѣтяхъ несчастія, брошенныхъ коварною рукою фортуны; пусть слѣпая и жестокая богиня обрѣзываетъ у него крылья съ такимъ же хладнокровіемъ, какъ Лахезиса прерываетъ нить жизни героя или лучшаго изъ смертныхъ—Сократа или Моро, Ласъ-Казаса или Еропкина, благодѣтеля Москвы.

Х. Я разумѣю. Фортуну изображу, какъ обыкновенно, съ повязкою на глазахъ, съ колесомъ подъ ногами.

Я. Это ваше дѣло! Теперь замѣтьте, что побѣжденный геній потушаетъ свой пламенникъ. Нѣтъ крыльевъ, нѣтъ и пламенника!

Х. Справедливо.

Я. Но за то, нѣтъ слезъ въ очахъ, ни малѣйшихъ упрековъ въ устахъ божественнаго. Чувство негодованія, и—если можно слить другое чувство, совершенно тому противное, — сожалѣніе объ утраченной славѣ, которая съ ужасомъ направляетъ полетъ свой, куда перстъ фортуны ей указываетъ.

Х. Геній мой будетъ походить на Аполлона Дельфійскаго...

Я. Если бы Аполлонъ промахнулся, мѣтя въ чудовище, то выраженіе лица его могло бы имѣть нѣкоторое сходство съ лицомъ несчастнаго генія, у котораго фортуна обрѣзала крылья.

Х. (Задумавшись и потомъ съ глубокимъ вздохомъ). Я васъ понялъ совершенно: художникъ не всегда былъ баловнемъ фортуны. Мы всѣ, дѣти Аполлоновы, менѣе или болѣе боролись съ несчастіемъ. Многіе побѣдили его, многіе утратили свои крылья въ жестокой борьбѣ, и пламенникъ таланта потухъ самъ собою. Вы будете довольны картиною. Теперь же стану ее компоновать. Простите.

II.

Я. Картина ваша прелестна! Для васъ геній не потушилъ своего пламенника, когда вы изображали его божественное лицо.

Х. Я доволенъ. Но спросите у меня, какъ я страдалъ! Сколько печальныхъ мыслей бродило въ головѣ моей, когда я изображалъ генія, потушившаго пламенникъ свой, и лицо этой неумолимой, безразсудной фортуны, которая, исполняя долгъ свой, такъ спокойна, ибо не вѣдаетъ, что̀ творитъ: она съ повязкою на глазахъ. Вѣрите ли, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли объ участи художниковъ, которые въ отечествѣ своемъ не находятъ пропитанія...

Я. (Разсматривая картину). Прекрасно! Но знаете ли, что можно воскресить вашего генія?

Х. (Съ радостію). Воскресить?

Я. Выслушайте меня: я шелъ однажды въ дикомъ лѣсу и потерялъ дорогу. Выхожу на свѣтъ, вижу пещеру, осѣненную густыми вѣтвями, и въ этой пещерѣ. . вашего генія.

Х. Моего генія?

Я. Онъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости, оперпись на одну руку. Потухшій свѣтильникъ лежалъ у ногъ, а кругомъ—обрѣзанныя крылья, которыя развѣвалъ пустынный вѣтеръ, съ шумомъ пролетающій въ пещерѣ. Я ужаснулся.

Х. Далѣе...

Я. Глубокій вздохъ вырвался изъ груди страдальца; онъ взглянулъ на потухшій пламенникъ, и мнѣ показалось, что слезы его падали на холодный помостъ пещеры.

Х. Слезы, одному дарованію извѣстныя! Такъ плакалъ умирающій Рафаель! Далѣе...

Я. Вдругъ вся пещера освѣтилась необыкновеннымъ сіяніемъ. Вступаютъ два божества— любовь и слава; за ними влечется окованная фортуна.

Х. Опять эта слѣпая колдунья!

Я. Вы ошибаетесь. Любовь оковала ее, сдернула повязку съ очей и привела въ пещеру, гдѣ страдалъ бѣдный геній.

Х. Я воображаю удивленіе фортуны, которая въ первый разъ въ жизни разглядѣла глупость, сдѣланную въ слѣпотѣ.

Я. Слава отдаетъ свои крылья генію; любовь зажигаетъ его пламенникъ: геній попщаетъ изумленной фортунѣ и въ лучахъ торжественнаго сіянія воспаряетъ медленно къ небу.

Х. Вотъ картина!

Я. Вы угадали. Берите животворную кисть вашу.

Х. Я напишу эту картину. Эта работа облегчитъ мое сердце... Такъ! Надобно, непремѣнно надобно воскресить бѣднаго генія!

XIII.

Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій.

Добрый человѣкъ можетъ быть счастливъ воспоминаніемъ протекшаго. Въ молодости мы все переносимъ въ будущее время; въ нѣкоторыя лѣта начинаемъ оглядываться. Часто предметъ маловажный—камень, ручей, лошадь, на свободѣ гуляющая по лугамъ, отдаленный голосъ человѣка или звонъ почтоваго колокольчика, шумъ вѣтра, запахъ цвѣтка полеваго, видъ облаковъ и неба, однимъ словомъ—все, даже бездѣлка, пробуждаютъ во мнѣ множество пріятнѣйшихъ воспоминаній. Я весь погружаюсь въ протекшее, и сердце мое отдыхаетъ отъ заботъ. Я чувствую облегченіе отъ бремени настоящаго, которое какъ свинецъ лежитъ на сердцѣ.

Здѣсь, въ Каменцѣ, я вижу развалины замка и укрѣпленій турецкихъ, польскихъ и русскихъ; прогуливаюсь по ветхимъ бастіонамъ и замѣчаю ихъ живописныя стороны. Виды развалинъ старой крѣпости и новыхъ укрѣпленій прелестны. Это большія башни, остроконечныя, полуразрушенныя, поросшія мохомъ и полынью, весьма высокою въ полуденныхъ краяхъ; укрѣпленія, раскаты, окруженные или, вѣрнѣе сказать, опоясанные быстрою рѣкою, которая въ иныхъ мѣстахъ образуетъ красивые водопады и шумомъ и сверканіемъ волнъ смягчаетъ угрюмость воин-

скую и однообразіе крѣпостнаго строенія. Здѣсь шумитъ мельница; тамъ бродъ, по которому пробирается великое стадо; немного подалѣе источникъ, падающій съ каменной крутизны; вокругъ его множество дѣтей и женщинъ съ коромыслами, и толпы Евреевъ, наклоненныхъ на бѣлыя трости въ самомъ живописномъ положеніи. За рѣкою ряды домовъ съ цвѣтущими садами: веселая картина изобилія, промышленности, жизни общественной, въ противуположность къ хладнымъ развалинамъ Однимъ словомъ, множество живыхъ картинъ на маломъ пространствѣ, картинъ, напоминающихъ свѣжіе ландшафты Рунсдаля, отдыхи (haltes) Вовермана, своенравныя черты Салватора Розы и величественные вымыслы самого Пуссеня. Цѣлые часы я стою, облокотясь на зубцы башенные, и взоры мои съ неизъяснимою радостью скользятъ по крутизнѣ каменной стѣны или бродятъ по волнамъ кипящаго Смотрича. Нѣсколько разъ стѣны сіи переходили изъ рукъ въ руки. Турки брали ихъ у Поляковъ, Поляки у Турокъ, и наконецъ, Русскіе отбили ихъ у гордыхъ республиканцевъ. Повсюду древніе слѣды войны и времени. Тамъ ядро оторвало край стѣны, здѣсь врѣзалось въ камни и заросло плющемъ. Укрѣпленія сіи часто были осаждаемы смѣлымъ и безпокойнымъ Хмельницкимъ, который, въ смутныя времена республики, внезапно являлся въ Подоліи, разорялъ цвѣтущія села и плодоносные берега древняго Тираса, осаждалъ Каменецъ, грозилъ Варшавѣ и изчезалъ, какъ призракъ. На дальнихъ холмахъ, за рѣкою, стояло его войско, усиленное толпами Татаръ Сколько воспоминаній историческихъ!.. Правда! Но «мое воображеніе хозяинъ въ домѣ», какъ говоритъ Монтань. Я забываю невольно и вождей польскихъ, и гетмана, окруженнаго мурзами, и переношусь въ Богемію, въ Теплицъ, къ развалинамъ Бергшлосса и Гайерсберга, около которыхъ стоялъ нашъ лагерь послѣ Кульмской побѣды.

Одно воспоминаніе рождаетъ другое, какъ въ потокѣ одна струя рождаетъ другую Весь лагерь воскресаетъ въ моемъ воображеніи, и тысячи мелкихъ обстоятельствъ оживляютъ мое

воображеніе. Сердце мое утопаетъ въ удовольствіи: я сижу въ шалашѣ моего Петина, у подошвы высокой горы, увѣнчанной развалинами рыцарскаго замка. Мы одни. Разговоры наши откровенны; сердца на устахъ; глаза не могутъ насмотрѣться другъ на друга послѣ долгой разлуки. Опасность, изъ которой мы исторгались невредимы, шумъ, движеніе и дѣятельность военной жизни, видъ войска и снарядовъ военныхъ, простое угощеніе и гостепріимство въ ставкѣ пріятеля, товарища моей юности, бутылка богемскаго вина на барабанѣ, нѣсколько плодовъ и кусокъ черстваго хлѣба, parca mensa, умѣренная трапеза, но приправленная ласкою, все это вмѣстѣ веселило насъ какъ дѣтей. Мы говорили о Москвѣ, о нашихъ надеждахъ, о путешествіи на Кавказъ и мало ли о чемъ еще! Время пролетало въ разговорахъ, и мѣсяцъ, выходя изъ-за горъ, отдѣляющихъ Богемію отъ долины дрезденской, заставалъ насъ, безпечныхъ и счастливыхъ, посреди сердечныхъ изліяній откровеннѣйшей дружбы, дружбы, которой одно воспоминаніе мнѣ драгоцѣннѣе и честей, и славы.

Вотъ что̀ рождаютъ во мнѣ башни и развалины Каменца: сладкія воспоминанія о лучшихъ временахъ жизни! Пріятель мой уснулъ геройскимъ сномъ на кровавыхъ поляхъ Лейпцига. Время изгладило его изъ памяти холодныхъ товарищей, но дружество и благодарность запечатлѣли его образъ въ душѣ моей. Я ношу сей образъ въ душѣ, какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставлю ея знамени. Мы увидимся въ лучшемъ мірѣ; здѣсь мнѣ осталось одно воспоминаніе о другѣ, воспоминаніе, прелестный цвѣтъ посреди пустыней, могилъ и развалинъ жизни.

XIV.

Воспоминаніе о Петинѣ.

Уваровъ написалъ посланіе «о выгодахъ умереть въ молодости». Предметъ обильный въ красивыхъ и возвышенныхъ чувствахъ! Конечно, утро жизни, молодость есть лучшій періодъ нашего странствованія по землѣ. Напрасно краснорѣчивый Римлянинъ желаетъ защитить старость, — всѣ цвѣты краснорѣчія его вянутъ при одномъ воззрѣніи на дряхлаго человѣка: опираясь на клюки свои, старость дрожитъ надъ могилою и страшится измѣрить взоромъ ея неприступные мраки. Опытность должна бы отучать отъ жизни, но въ нѣкоторыя лѣта мы видимъ тому противное. Одна религія можетъ согрѣть сердце старика и отучить его отъ жизни — тягостной, бѣдной, но милой до послѣдняго дыханія. «Это есть благо Провидѣнія», говорятъ нѣкоторые философы. Можетъ быть; но за то великія движенія души, глубокія чувствованія, божественныя пожертвованія самимъ собою, сильныя страсти и возвышенныя мысли принадлежатъ молодости, дѣятельность—зрѣлымъ лѣтамъ, старости—однѣ воспоминанія и любовь къ жизни. И чтò теряетъ юноша, умирая на зарѣ своей, подобно цвѣту, который видѣлъ одно восхожденіе солнца и увянулъ прежде, нежели оно потухло? Чтò теряемъ мы, умирая въ полнотѣ жизни на полѣ чести, славы, въ виду тысячи людей, раздѣляющихъ съ нами опасность? Нѣсколько

наслажденій краткихъ, но за то лишаемся съ ними и терзаній честолюбія, и сей опытности, которая встрѣчаетъ насъ на срединѣ пути, подобно страшному призраку. Мы умираемъ, но за то память о насъ долго живетъ въ сердцѣ друзей, не помраченная ни однимъ облакомъ, чистая, свѣтлая, какъ розовое утро майскаго дня.

Такими разсужденіями я желаю утѣшить себя объ утратѣ И. А. Петина, погибшаго на 26-мъ году жизни на поляхъ Лейпцига. Но при одномъ имени сего любезнаго человѣка всѣ раны сердца моего растворяются, ибо тѣсно была связана его жизнь съ моею. Тысячи воспоминаній смутныхъ и горестныхъ тѣснятся въ сердцѣ и облегчаютъ его. Сердце мое съ нѣкотораго времени любитъ питаться одними воспоминаніями.

Въ 1807 году мы оставили оба столицу и пошли въ походъ. Я вѣрю симпатіи, ибо опытъ научилъ вѣрить неизъяснимымъ таинствамъ сердца. Души наши были сродны. Одни пристрастія, однѣ наклонности, та же пылкость и та же безпечность, которыя составляли мой характеръ въ первомъ періодѣ молодости, плѣняли меня въ моемъ товарищѣ. Привычка быть вмѣстѣ, переносить труды и безпокойства воинскія, раздѣлять опасности и удовольствія стѣснили нашъ союзъ. Часто и кошелекъ, и шалашъ, и мысли, и надежды у насъ были общія.

Тысячи прелестныхъ качествъ составляли сію прекрасную душу, которая вся блистала въ глазахъ молодаго Петина. Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка безпечности, которая изчезаетъ съ лѣтами и съ печальнымъ познаніемъ людей, всѣ плѣнительныя качества наружности и внутренняго человѣка достались въ удѣлъ моему другу. Умъ его былъ украшенъ познаніями и способенъ къ наукѣ и разсужденію, умъ зрѣлаго человѣка и сердце счастливаго ребенка: вотъ въ двухъ словахъ его изображеніе.

Онъ воспитывался въ Московскомъ университетскомъ пансіонѣ и потомъ въ пажескомъ корпусѣ, и въ обоихъ училищахъ отличался рѣдкимъ прилежаніемъ и примѣрнымъ поведеніемъ;

матери ставили его въ примѣръ дѣтямъ своимъ, и наставники хвалились имъ, какъ лучшимъ плодомъ своихъ попеченій. Нѣсколько басенъ, написанныхъ имъ въ ребячествѣ, и переводовъ изъ книгъ математическихъ показывали рѣдкую гибкость ума, способнаго на многое; словесность требуетъ воображенія, науки — вниманія и точности. Вотъ что̀ онъ принесъ въ гвардейскій егерскій полкъ, и къ этому — еще лучшее сокровище, доброе сердце, рѣдкое сердце, которое ему пріобрѣло и сохранило любовь товарищей. Оно, по собственному его признанію, спасало его въ бурѣ страстей и посреди обольщеній свѣта. Ни опытность, ни горестное познаніе людей, ничто не могло изгладить первыхъ даровъ природы. Но сія доброта сердечная въ послѣдствіи времени соединилась съ размышленіемъ и сдѣлалась общею разсудку и сердцу: рѣдкое качество въ столь нѣжномъ возрастѣ. Вотъ доказательство: Мы были ранены въ 1807 году, я — сперва, онъ — послѣ, и увидѣлись въ Юрбургѣ. Не стану описывать моей радости. Меня поймутъ только тѣ, которые бились подъ однимъ знаменемъ, въ одномъ ряду, и испытали всѣ случайности военныя. Въ тѣсной лачугѣ, на берегахъ Нѣмана, безъ денегъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ, я лежалъ на соломѣ и глядѣлъ на Петина, которому перевязывали рану. Кругомъ хижины толпились раненые солдаты, пришедшіе съ полей несчастнаго Фридланда, и съ ними множество плѣнныхъ. Подъ вечеръ двери хижины отворились, и къ намъ вошло нѣсколько Французовъ, съ страшными усами, въ медвѣжьихъ шапкахъ и съ гордымъ видомъ побѣдителей.

Петинъ былъ въ отсутствіи, и мы пригласили плѣнныхъ раздѣлить съ нами кусокъ гнилаго хлѣба и нѣсколько капель водки; одинъ изъ моихъ товарищей подѣлился съ ними деньгами и изъ двухъ червонцевъ отдалъ одинъ (истинное сокровище въ такомъ положеніи). Французы осыпали насъ ласками и фразами — по обыкновенію, и Петинъ вошелъ въ комнату въ ту самую минуту, когда наши болтливые плѣнные изливали свое краснорѣчіе. Посудите о нашемъ удивленіи, когда на мѣсто привѣтствія, они-

раясь на одинъ костыль, другимъ указалъ онъ двери нашимъ гостямъ: «Извольте идти вонъ», продолжалъ онъ,—«здѣсь нѣтъ мѣста и Русскимъ: вы это видите сами». Они вышли не прекословя, но я и товарищи мои приступили къ Петину съ упреками за нарушеніе гостепріимства. «Гостепріимства», повторялъ онъ, краснѣя отъ досады,—«гостепріимства!» «Какъ!» вскричалъ я, приподнимаясь съ моего одра,—«ты еще смѣешь издѣваться надъ нами?» «Имѣю право смѣяться надъ вашею безразсудною жестокостію». «Жестокостію? Но не ты ли былъ жестокъ въ эту минуту?» «Увидимъ. Но сперва отвѣчайте на мои вопросы! Были вы на Нѣманѣ у переправы?» «Нѣтъ». «Итакъ, вы не могли видѣть того, что̀ тамъ происходитъ?» «Нѣтъ! Но что̀ имѣетъ Нѣманъ общаго съ твоимъ поступкомъ?» «Много, очень много. Весь берегъ покрытъ ранеными; множество Русскихъ валяется на сыромъ песку, на дождѣ, многіе товарищи умираютъ безъ помощи, ибо всѣ дома наполнены; итакъ, не лучше ли призвать сюда воиновъ, которые изувѣчены съ нами въ однихъ рядахъ? Не лучше ли накормить Русскаго, который умираетъ съ голоду, нежели угощать этихъ ненавистныхъ самохваловъ? спрашиваю васъ. Что̀ же вы молчите?»

Вотъ другой случай, который еще разительнѣе изображаетъ его. По окончаніи Шведской войны мы были въ Москвѣ (1810). Петинъ лѣчился отъ жестокихъ ранъ и свободное время посвящалъ удовольствіямъ общества, котораго прелесть военные люди чувствуютъ живѣе другихъ. Но одинъ вечеръ мы просидѣли у камина въ сихъ сладкихъ разговорахъ, которымъ откровенность и веселость даютъ чудесную прелесть. Къ ночи мы вздумали ѣхать на балъ и ужинать въ собраніи. Проѣзжая мимо Кузнецкаго моста, пристяжная оторвалась, и между тѣмъ какъ ямщикъ заботился около упряжки, къ намъ подошелъ нищій, ужасный плодъ войны, въ лохмотьяхъ, на костыляхъ. «Пріятель», сказалъ мнѣ Петинъ,—«мы намѣревались ужинать въ собраніи; но лучше отдадимъ серебро наше этому бѣдняку и возвратимся домой, гдѣ найдемъ простой ужинъ и каминъ». Сказано—сдѣлано

Это бездѣлка, если хотите, но ее не надобно презирать. «Отъ малаго пожертвованія до большаго одинъ шагъ», скажетъ наблюдатель сердца. Это бездѣлка, согласенъ; но молодой человѣкъ, который умѣетъ пожертвовать удовольствіемъ другому чистѣйшему, есть герой въ моральномъ смыслѣ. Меня поймутъ благородныя души.

Возвратимся къ военной жизни. Въ 1808 году одинъ баталіонъ гвардейскихъ егерей былъ отряженъ въ Финляндію. Близъ озера Саймы, въ окрестностяхъ Куопіо, онъ встрѣтилъ непріятеля. Стычки продолжались безпрестанно, и Петинъ, имѣвшій подъ начальствомъ роту, отличался безпрестанно; день проходилъ въ дракѣ, а вечеръ посвящалъ онъ на сочиненіе своего военнаго журнала: полезная привычка для офицера, который любитъ свою должность и желаетъ себя усовершенствовать. Полковникъ Потемкинъ, командовавшій баталіономъ, уважалъ молодаго офицера, и самые блестящіе и опаснѣйшіе посты доставались ему въ удѣлъ, какъ лучшее награжденіе. Къ несчастію, другіе ротные командиры получили георгіевскіе кресты, а Петинъ былъ обойденъ. Всѣ офицеры единодушно сожалѣли и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петинъ, болѣе чувствительный къ лестному уваженію товарищей, нежели къ неудачѣ своей, говорилъ имъ съ рѣдкимъ своимъ добродушіемъ: «Друзья, этотъ крестъ не уйдетъ отъ офицера, который имѣетъ счастіе служить съ вами: я его завоюю; но заслужить ваше уваженіе и пріязнь— вотъ чего желаетъ мое сердце, и оно радуется, видя ваши ласки и сожалѣнія».

Мы подвинулись впередъ. Подъ Иденсальми Шведы напали въ полночь на наши биваки, и Петинъ, съ ротой егерей, очистилъ лѣсъ, прогналъ непріятеля и покрылъ себя славою. Его вынесли на плащѣ, жестоко раненаго въ ногу. Генералъ Тучковъ осыпалъ его похвалами, и молодой человѣкъ забылъ и болѣзнь, и опасность. Радость блистала въ глазахъ его, и надежда увидѣться съ матерью придавала силы. Мы разстались и только черезъ годъ увидѣлись въ Москвѣ.

Съ какимъ удовольствіемъ я обнялъ моего друга! Съ какимъ удовольствіемъ просиживали мы цѣлые вечера и не видѣли, какъ улетало время! Посвятивъ себя военной жизни, Петинъ и въ мирное время не выпускалъ изъ рукъ военныхъ книгъ, и я часто заставалъ его за картою въ глубокомъ размышленіи. Откровенный съ пріятелемъ наединѣ, застѣнчивый какъ дѣвица въ обществѣ, онъ питалъ въ груди своей честолюбіе благородной души, желаніе быть отличнымъ офицеромъ и полезнымъ членомъ сословія храбрыхъ, но часто, по излишней скромности своей, таилъ свои занятія и хотѣлъ казаться разсѣяннымъ. Казалось, что его прекрасная душа страшилась обнаружить свое преимущество передъ товарищами. Но намъ извѣстно, что посреди разсѣянія, мирныхъ трудовъ военнаго ремесла и баловъ онъ любилъ удѣлять нѣсколько часовъ наукѣ, требующей самаго постояшаго вниманія, и обогащалъ Военный Журналъ, издаваемый покойнымъ полковникомъ Рахмановымъ (пламеннымъ любовникомъ математики), прекрасными переводами по части артиллеріи, егерскихъ эволюцій и практики полевой. Словесность не была забыта, и однажды — этотъ день никогда не выдетъ изъ моей памяти — онъ пришелъ ко мнѣ съ свиткомъ бумагъ. «Опять математика?» спросилъ я улыбаясь. «О, нѣтъ!» отвѣчалъ онъ, краснѣя болѣе и болѣе, — «это... стихи, прочитай ихъ и скажи мнѣ твое мнѣніе». Стихи были писаны въ молодости и весьма слабы, но въ нихъ примѣтны были смыслъ, ясность въ выраженіи и языкъ довольно правильный. Я сказалъ, что̀ думалъ, безъ прикрасы, и добрый Петинъ прижалъ меня къ сердцу. Человѣкъ, который не обидится подобнымъ приговоромъ, есть добрый человѣкъ; я скажу болѣе: въ немъ, конечно, тлѣется искра дарованія, ибо что̀ ни говорите, сердце есть источникъ дарованія; по крайней мѣрѣ оно дастъ сію прелесть уму и воображенію, которая намъ всего болѣе нравится въ произведеніяхъ искусства.

Два года спустя, я получилъ отъ него письмо изъ арміи, съ поля Бородинскаго, на канунѣ битвы. Мы находились въ не-

изъяснимомъ страхѣ въ Москвѣ, и я удивился спокойствію душевному, которое являлось въ каждой строкѣ письма, начертаннаго на барабанѣ въ роковую минуту. Въ немъ описаны были всѣ движенія войска, позиція непріятеля и пр. со всею возможною точностію: о самыхъ важнѣйшихъ дѣлахъ Петинъ, свидѣтель ихъ, говорилъ хладнокровно, какъ о дѣлахъ обыкновенныхъ. Такъ долженъ писать истинно военный человѣкъ, созданный для сего званія природою и образованный размышленіемъ; все вниманіе его должно устремляться на ратное дѣло, и всѣ побочныя горести и заботы должны быть подавлены силою души. На концѣ письма я замѣтилъ нѣсколько строкъ, изъ которыхъ видно было его нетерпѣніе сразиться съ врагомъ, впрочемъ ни одного выраженія ненависти. (Счастливый другъ, ты пролилъ кровь свою на полѣ Бородинскомъ, на полѣ славы и въ виду Москвы тебѣ любезной, а я не раздѣлилъ съ тобою этой чести! Въ первый разъ я позавидовалъ тебѣ, милый товарищъ, въ первый разъ съ чувствомъ глубокаго прискорбія и зависти смотрѣлъ я на почтенную рану твою! [1]). Долго я страшился за него, ибо рана была опасна; но молодость, искусство лѣкаря и, что̀ всего цѣлебнѣе – попечительность нѣжной матери, которая имѣла счастіе ходить за раненымъ сыномъ своимъ въ собственномъ его помѣстьѣ, избавили его отъ смерти или продолжительнаго страданія. Но Русскіе уже были за Нѣманомъ, и нетерпѣливый Петинъ, едва вставшій съ постели, вырвался изъ объятій матери своей и поспѣшилъ въ Богемію по призванію строгаго долга чести и, можетъ быть, честолюбія, которое часъ отъ часу болѣе усиливалось въ его душѣ, чуждой только низкихъ пристрастій. Напрасно благословенія матери сопровождали сына, опору и надежду преклонныхъ лѣтъ; напрасно прижимала его къ горячему сердцу; простымъ языкомъ чувства — гласъ матери всегда краснорѣчивъ и силенъ — повторяла она: «Другъ мой, сынъ мой, скажи мнѣ, зачѣмъ ты такъ добръ и уменъ? Зачѣмъ

[1]) Въ Владимирѣ, во время бѣгства изъ Москвы.

не оскорбишь меня чѣмъ-нибудь и не отучишь меня любить тебя такъ горячо, такъ сильно?»

На высотахъ Кульма я снова обнялъ его посреди стана военнаго послѣ побѣды. Нѣсколько часовъ мы провели наединѣ, и я замѣтилъ, что сердце его не было спокойно. Ни шумъ и дѣятельность военной жизни, ни блестящая побѣда при Кульмѣ, гдѣ каждое мѣсто напоминало воинамъ цѣль свѣжихъ подвиговъ и чудесъ храбрости, и гдѣ Петинъ (уже полковникъ) участвовалъ съ баталіономъ егерей, ни обѣщаніе новой награды и надежды расширить поприще честей, ничто не могло разсѣять его тоски душевной. Конечно, воспоминаніе о матери, оставленной въ слезахъ, и три тяжелыя раны, ослабившія его здоровье, имѣли вліяніе на его душу. Или Провидѣніе, котораго пути неисповѣдимы, посылаетъ сіе уныніе и смутное предчувствіе, какъ вѣстникъ страшнаго событія или близкой кончины, затѣмъ чтобы сердца, ему любезныя, пріуготовлялись къ таинствамъ новой жизни или укрѣпились глубокимъ размышленіемъ къ новой побѣдѣ надъ судьбою или собственными страстями? Часто мы просиживали на высотахъ Шлоссберга посреди романическихъ развалинъ и любовались необозримымъ лагеремъ, который разстилался подъ нашими ногами отъ башенъ Теплица вдоль по необозримой долинѣ, огражденной лѣсистыми, неприступными утесами Богеміи. Вечернее солнце и звѣзды ночи заставали въ сладкой задумчивости или въ сихъ откровеннѣйшихъ изліяніяхъ два сердца, сродныя и способныя чувствовать другъ друга, но опредѣленныя на вѣчную разлуку. Часто мы бродили по лагерю рука въ руку посреди пушекъ, пирамидъ ружей и биваковъ и веселились разнообразіемъ войскъ, столь различныхъ и одеждою, и языкомъ, и рожденіемъ, но соединенныхъ нуждою побѣдить. Никогда лагерь не являлъ подобнаго зрѣлища, и никогда сіи краткія минуты наслажденія чистѣйшаго посреди заботъ и опасностей, какъ будто вырванныя изъ рукъ скупой судьбины, не выйдутъ изъ моей памяти. И окрестности Дрездена и Теплица, и живописныя горы Богеміи, и побѣда при Кульмѣ, и подвиги нашихъ Спартанцевъ

сливаются въ душѣ моей съ воспоминаніемъ о незабвенномъ товарищѣ.

Въ Альтенбургѣ, на походѣ, онъ навѣстилъ меня и, прощаясь, крѣпко сжималъ мою руку. Слабость раненой ноги его была такъ сильна, что онъ съ трудомъ могъ опираться на стремя и, садясь на лошадь, упалъ. «Дурной знакъ для офицера», сказалъ онъ смѣясь отъ добраго сердца. Онъ удалился, и съ тѣхъ поръ я его не видалъ. 4-го октября началась ужасная битва подъ Лейпцигомъ. Я находился при генералѣ Раевскомъ и съ утра въ жестокомъ огнѣ, но сердце мое было спокойно на счетъ моего Петина: я зналъ, что гвардія еще не вступила въ дѣло. Въ четвертомъ часу, на томъ пунктѣ, гдѣ гренадеры желѣзною грудью удержали стремленіе цѣлой арміи непріятельской, генералъ былъ раненъ пулею въ грудь и, оборотясь ко мнѣ, велѣлъ привести лѣкаря. Я поскакалъ къ резервамъ, которые начинали двигаться вправо, по направленію къ деревнѣ Госсѣ, и встрѣтилъ гвардейскихъ егерей, но къ несчастію не могъ видѣть Петина: онъ былъ въ головѣ всей колонны, въ дальнемъ разстояніи, а мнѣ время было дорого. На другой день по утру, на разсвѣтѣ, генералъ поручилъ мнѣ объѣхать поле сраженія тамъ, гдѣ была атака гвардейскихъ гусаровъ, и отыскивать тѣло его брата, котораго мы полагали убитымъ. Съ другимъ товарищемъ я поѣхалъ по дорогѣ къ Аугейну, гдѣ мы остановились, въ первый день битвы, для исполненія печальнаго долга. Какое-то непонятное, мрачное предчувствіе стѣсняло мое сердце; мы встрѣчали множество раненыхъ, и въ числѣ ихъ гвардейскихъ егерей. Первый мой вопросъ о Петинѣ; отвѣтъ меня ужаснулъ: полковникъ раненъ подъ деревнею — это еще лучшее изъ худшаго! Другой егерь меня успокоилъ (по крайней мѣрѣ я старался успокоиться его словами), увѣривъ, что полковникъ его живъ, что онъ видѣлъ его сію минуту въ лагерѣ и проч., но раненый офицеръ, который встрѣтился немного далѣе, сказалъ мнѣ, что храбрый Петинъ убитъ и похороненъ въ ближнемъ селѣ, котораго видна колокольня изъ-за лѣсу: нельзя было сомнѣваться болѣе.

Этотъ день почти до самой ночи я провелъ на полѣ сраженія, объѣзжая его съ одного конца до другаго и разсматривая окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полился дождь рѣками; все усугубляло мрачность ужаснѣйшаго зрѣлища, котораго одно воспоминаніе утомляетъ душу, зрѣлища свѣжаго поля битвы, заваленнаго трупами людей, коней, разбитыми ящиками и проч. Въ глазахъ моихъ безпрестанно мелькала колокольня, гдѣ покоилось тѣло лучшаго изъ людей, и сердце мое исполнилось горестію несказанною, которую ни одна слеза не облегчила. Проѣзжая черезъ деревню Госсу, я остановилъ лошадь и спросилъ у егеря, обезображеннаго страшными ранами: «Гдѣ былъ убитъ вашъ полковникъ?» «За этимъ рвомъ, тамъ, гдѣ столько мертвыхъ». Я съ ужасомъ удалился отъ роковаго мѣста.

На третій день по взятіи Лейпцига я проѣзжалъ по дорогѣ, ведущей къ мѣстечку Ротѣ, и встрѣтилъ вѣрнаго слугу моего пріятеля, который возвращался въ Россію съ его верховыми лошадьми: несчастный вѣстникъ величайшаго злополучія для сердца матери. Онъ привелъ меня на могилу добраго господина. Я видѣлъ сію могилу, изъ свѣжей земли насыпанную; я стоялъ на ней въ глубокой горести и облегчилъ сердце мое слезами. Въ ней сокрыто было на вѣки лучшее сокровище моей жизни— дружество. Я просилъ, умолялъ почтеннаго и престарѣлаго священника того селенія сохранить бренный памятникъ, простой деревянный крестъ, съ начертаніемъ имени храбраго юноши, въ ожиданіи прочнѣйшаго—изъ мрамора или гранита. Нѣсколько могилъ окружали могилу Петина. Священныя могилы храбрыхъ товарищей на полѣ битвы и неразлучныхъ въ утробѣ земной до страшнаго и радостнаго дня воскресенія! Я оставилъ сіи бренные остатки въ глубокомъ уныніи и, при громѣ отдаленныхъ выстрѣловъ, воскликнулъ отъ глубины сердца съ поэтомъ, который сильно чувствуетъ и сильно выражаетъ горесть:

Уже не придутъ въ сонмъ друзей,
Не станутъ въ ратномъ строѣ!

Ужъ для врага ихъ грозный ликъ
Не будетъ вѣстникъ мщенья,
И не помчитъ ихъ мощный кликъ
Дружину въ пылъ сраженья!
Ихъ празденъ мечъ, безмолвенъ щитъ,
Ихъ ратники унылы,
И сиръ могучихъ конь стоитъ
Близъ тихой ихъ могилы!

Конечно, сіяющая слава не была бы призракомъ для душъ благородныхъ, если бы она не доставалась иногда въ удѣлъ порочнымъ и недостойнымъ. Часто слѣпая судьба раздаетъ ее по своему произволу и добродѣтель и лучшія качества души обрекаетъ на вѣчное забвеніе. Имя молодаго Петина изгладится изъ памяти людей. Ни однимъ блестящимъ подвигомъ онъ не ознаменовалъ теченія своей краткой жизни, но за то ни одно воспоминаніе не оскорбитъ его памяти. Исполняя свой долгъ, былъ онъ добрымъ сыномъ, вѣрнымъ другомъ, неустрашимымъ воиномъ: этого мало для земнаго безсмертія. Конечно, есть другая жизнь за предѣломъ земли и другое правосудіе; тамъ только ничто доброе не погибнетъ: есть безсмертіе на небѣ!

Каменецъ. Ноября 9-го.

XV.

Похвальное слово сну.

Письмо къ редактору Вѣстника Европы.

Пускай утверждаютъ, что хотятъ, прихотливые люди и строгіе умы, а я утверждаю, м. г., что науки и словесность у насъ въ самомъ блистательномъ состояніи. Укажу вамъ на книгопродавцевъ. Посмотрите, какъ они разживаются: то домикъ выстроятъ, то купятъ деревеньку. Чѣмъ же?—Торговлею.—Какою?—Книжною. Слѣдственно, у насъ пишутъ, у насъ читаютъ, и изъ одного слѣдствія къ другому я могу вывести, что словесность русская въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Вотъ что̀ хотѣлъ я доказать, и что̀ вы знаете безъ моихъ доказательствъ, ибо вы, м. г., наблюдаете постоянно ходъ нашихъ успѣховъ, какъ астрономъ наблюдаетъ теченіе любимой планеты. Вы замѣтили, конечно, что мы заняли всѣ пути къ славѣ и многія матеріи изчерпали до дна, такъ что нашимъ потомкамъ надобно будетъ умирать отъ жажды. Простите мнѣ это выраженіе и сосчитайте со мною эпическія поэмы, въ честь Петра Великаго написанныя. Считайте отъ Ломоносова до Сладковскаго и далѣе, отъ кедра до ѵссоповъ, и замѣтьте, что всѣ поэмы исполнены красотъ, что въ нихъ все было сказано, кромѣ того только, что Ломоносовъ намѣревался сказать и не успѣлъ, но это сущая бездѣлка! Теперь прошу взглянуть на обширную область Таліи и наконецъ Мельпомены, которая безпрестанно обогащается новыми пріобрѣтеніями и скоро

истощитъ всю священную древность отъ сотворенія міра. У Французовъ одна Аталія; у насъ, благодаря усердію писателей, не одна трагедія переноситъ насъ въ землю Іудейскую. Я ни слова не скажу о Россійскомъ Θеатрѣ, на которомъ основана слава нашихъ праотцевъ, о журналахъ, романахъ и пр., изданныхъ назадъ тому двадцать лѣтъ и болѣе; ихъ мало читаютъ; но время доказало, что они безсмертны: они уцѣлѣли въ пожарѣ столицы. «Добро не горитъ, не тонетъ», говоритъ пословица. Сердце мое дрожитъ отъ радости, когда я начинаю исчислять на досугѣ всѣ наши сокровища. Тогда я похожу на антикварія, который, не дѣлая никакого употребленія изъ своего золота, любуется имъ и говоритъ: «Вотъ червонецъ, вотъ рубль, вотъ старинная монета такого-то года, при такомъ-то царѣ! Кто ее отливалъ? Изъ какого рудника это золото? Кто употреблялъ эту монету?» А я говорю: «Вотъ трагедія 1793 года! Кто ее писалъ? Кто читалъ ее?» Творца не мудрено отыскать по творенію, но читателей найдти не легко: мы еще не любимъ отечественнаго. Что нужды мнѣ до другихъ! Я день и ночь роюсь въ моихъ книгахъ; разставляю ихъ по порядку хронологическому и горжусь моимъ богатствомъ. Чего у насъ нѣтъ? Боже мой! Найдите хотя одинъ предметъ, одну отрасль ума человѣческаго, которую бы мы не обработали по своему? Поэзія море, и поле краснорѣчія необозримое! Загляните только въ журналы, но безъ предубѣжденія, и вы найдете сокровища! Здѣсь похвальное слово такому-то, тамъ надгробное слово такому-то; здѣсь привѣтствіе, тамъ благодарный гласъ общества: и все то благо, все добро! Всѣ герои, всѣ полководцы, всѣ писатели увѣнчаны пальмами краснорѣчія и шагаютъ торжественно въ храмъ безсмертія. Мы не ограничили себя великими людьми; мы хвалили даже блохъ [1]) и будемъ хвалить все, что̀ пресмыкается и ползаетъ въ царствѣ животныхъ. Итакъ, мудрено ли, что какому-то чудаку вздумалось написать похвальное слово сну? Случай мнѣ доставилъ ис-

1) Смотри Вѣстникъ Европы 1810 года.

правный списокъ и вовсе не похожій на тотъ, который напечатанъ въ вашемъ Вѣстникѣ. Если вы найдете, что читатели ваши не заснутъ надъ этимъ панегирикомъ, то покорнѣйше прошу напечатать его въ журналѣ и сохранить для потомства, которое, конечно, благодарнѣе современниковъ, завистливыхъ, строгихъ и вовсе не способныхъ цѣнить дарованія. Это не мои слова, м. г., а моего пріятеля Н. Н., который пишетъ стихи и прозу, но только не печатаетъ ихъ въ вашемъ журналѣ и потому вамъ неизвѣстенъ.

Имѣю честь быть и проч.

Предисловіе.

Въ 18... году, лѣтъ нѣсколько до нашествія просвѣщенныхъ и ученыхъ Вандаловъ на Москву, жилъ на Прѣсненскихъ прудахъ нѣкто N. N., оригиналъ весьма отличный отъ другихъ оригиналовъ московскихъ. Всю жизнь провелъ онъ лежа въ совершенномъ бездѣйствіи тѣлесномъ и, сколько возможно было, душевномъ. Умъ его, хотя и образованный воспитаніемъ и прилежнымъ чтеніемъ, не хотѣлъ или не въ состояніи былъ побѣдить упрямую натуру. Имѣя большой достатокъ при счастливыхъ обстоятельствахъ (которыя единственно могутъ сохранить въ полнотѣ характеръ человѣка), онъ не имѣлъ нужды покоряться условіямъ общества и требованіямъ должностей. Онъ дѣлалъ, что̀ хотѣлъ, а хотѣлъ одного спокойствія. Великій Конде говаривалъ: «Если бы я былъ царемъ моей постели, то никогда бы съ нея не вставалъ». Нашъ оригиналъ былъ совершенный царь своей постели. Цѣлый день онъ лежалъ то на одномъ боку, то на другомъ и всю ночь лежалъ. Рѣдко, очень рѣдко мы видѣли его сидящаго у окна съ длинною турецкою трубкою, въ татарскомъ или китайскомъ шлафрокѣ, и то когда онъ занимался домашними дѣлами. Два чтеца попеременно читали ему книги, ибо лѣнь не позволяла заниматься самому чтеніемъ, но лѣнь не мѣшала дѣлать добро. Онъ сыпалъ золото нищимъ и, подъ непроницаемою корою безстрастнаго спокойствія, таилъ горячее сердце. Въ уеди-

ненькомъ кварталѣ города онъ воспитывалъ на свой счетъ двѣнадцать бѣдныхъ дѣвушекъ, кормилъ и одѣвалъ нѣсколько заслуженныхъ воиновъ и — странное дѣло! — не лѣнился посѣщать ихъ по воскреснымъ днямъ. «Отъ этого лучше спится», говаривалъ онъ тѣмъ, которые выхваляли его благотворительность. Равнодушный ко всему, онъ слушалъ спокойно самыя важнѣйшія новости, но при разсказѣ о несчастномъ семействѣ, о страданіи человѣчества вдругъ оживлялся, какъ разбитый параличемъ — отъ прикосновенія электрическаго прутика. Впрочемъ, онъ былъ самый безстрастный автоматъ: никого не обижалъ, ни съ кѣмъ не заводилъ тяжбы, ни надъ кѣмъ не смѣялся, никому не противурѣчилъ, не имѣлъ никакихъ страстей: страсть его была лѣнь. Скучалъ ли онъ? Утвердительно отрицать не могу, но заключаю, что скука ему была извѣстна, и вотъ по какому обстоятельству. Однажды онъ послалъ за мною. «Садись или ложись на диванъ», сказалъ онъ, указывая на турецкую постель; — «я намѣренъ ѣхать въ деревню и воспользоваться первымъ весеннимъ воздухомъ. Снѣгъ растаялъ, и стукъ по мостовой каретъ и дрожекъ начинаетъ меня безпокоить. Но въ деревнѣ нельзя быть безъ общества; сосѣди мои люди дѣятельные; съ ними надобно говорить, ѣздить на охоту, заводить тяжбы, мирить, ссорить и пр. и пр... О, это меня разстроитъ совершенно! Двери на крюкъ сосѣдямъ! Съ кѣмъ же я буду убивать время? Съ такими друзьями, какъ ты, напримѣръ!» Я привсталъ и хотѣлъ благодарить за учтивость; но лѣнивецъ мой замахалъ обѣими руками и продолжалъ: «Я знаю въ Москвѣ человѣкъ до шести людей, пріятныхъ въ обществѣ и совершенно праздныхъ. Двое изъ нихъ могутъ назваться по справедливости добрыми людьми. Лѣность не позволяетъ другимъ пускаться на злыя дѣла, и это хорошо! Мы пригласимъ ихъ къ себѣ. Но теперь надобны женщины: вотъ истинное затрудненіе! Безъ женщинъ общество мужчинъ скоро наскучитъ... А гдѣ найдти женщинъ лѣнивыхъ?» «Боже мой, какъ не найдти!» вскричалъ я. «То-есть, лѣнивыхъ по моему образу мыслей», возразилъ N. N., покачавъ головою и насупя брови; —

«ихъ языкъ вѣчно дѣятеленъ, въ вѣчномъ движеніи; это ртуть, это бѣлка на привязи у колеса, это маятникъ, который...» (лѣность или доброта сердца не дозволили кончить сравненія). «Но такъ и быть», продолжалъ лѣнтяй съ глубокимъ вздохомъ,—«я согласенъ пригласить вдову пріятеля моего генерала А. съ двумя дочерьми, добрыми и любезными дѣвушками. Дружба меня сдѣлаетъ снисходительнымъ. Толстая жена откупщика нашего Ж. съ племянницею, лѣнивая Софья, ея дородная сестра, не будутъ лишнія. Впрочемъ мы не наскучимъ другъ другу: свобода все украситъ. Общество мое пусть называютъ, какъ хотятъ, московскіе насмѣшники; но оно будетъ пріятно мнѣ и гостямъ. Возьми же листъ бумаги, милый другъ, и пиши учрежденіе общества лѣнивыхъ». Я взялъ перо и бумагу и написалъ подъ диктатурою нашего лѣнтяя условія, подъ коими всѣ члены согласились подписать свои имена, и мы на канунѣ 1-го мая отправились въ подмосковную...

Въ шестидесяти верстахъ отъ города, на концѣ густаго сосноваго лѣса, котораго спокойствіе ничто не можетъ нарушить, стоитъ большой господскій домъ архитектуры изрядной. Къ нему примыкаетъ озеро, усѣянное островами. Вдали синѣетъ колокольня уѣзднаго городка и нѣсколько деревень. Кажется, что все было пожертвовано тишинѣ въ сей мирной обители: всѣ службы, начиная съ кухни до конюшни, расположены въ нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой и закрыты рощицами. Передъ окнами большія плакущія ивы, березы и цвѣтники, засѣянные китайскимъ макомъ. Здѣсь все посвящено лѣни, все питаетъ ее, все приглашаетъ ко сну: подъ каждымъ старинным деревомъ дерновая скамья, въ каждой бесѣдкѣ канапе или постель съ большими занавѣсами и со всѣми предосторожностями отъ комаровъ и мошекъ, а на дверяхъ надпись изъ нашего Пиндара-Анакреона:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ
Диванѣ мягкомъ, отдохни;
Въ семъ тонкомъ пологу, перловомъ,

И въ зеркалахъ вокругъ, усни;
Вздремли послѣ стола немножко:
Пріятно часикъ похрапѣть;
Златой кузнечикъ, сѣра мошка
Сюда не могутъ залетѣть!

Ни крикъ пѣтуховъ, ни стукъ топора, ни топотъ, ни конское ржаніе, ничто не нарушаетъ глубокаго молчанія. Кромѣ ручья, журчащаго подъ навѣсомъ берега, кромѣ озера, которое ласкаетъ тихимъ плесканіемъ пологіе берега свои, вы ничего не слышите. Сія тишина бываетъ прервана или очарована роговою музыкою, которая при закатѣ солнца провожаетъ умирающій день и нѣжными, сладостными и протяженными звуками приготовляетъ сладкое усыпленіе и веселыя мечты хозяину помѣстья. Но это рѣдко случается, ибо онъ боится безпокоить своихъ музыкантовъ. У него нѣтъ ни одного дѣятельнаго или суетливаго человѣка: все подчинено какимъ-то правиламъ особеннаго порядка; одинъ поваръ имѣетъ право разнообразить наслажденія эпикурейца. Я не стану описывать его дома. Каждый угадаетъ, что онъ покоенъ, тепелъ и не слишкомъ свѣтелъ, ибо архитекторомъ располагалъ по своей волѣ прихотливый хозяинъ. Но одна зала достойна вашего замѣчанія. Ея большія полуовальныя окна осѣнены со всѣхъ сторонъ густыми вѣтвями вязовъ и липъ, которые въ іюнѣ наполняютъ бальзамическимъ испареніемъ своихъ цвѣтовъ окрестный воздухъ. Всѣ стѣны обширной залы украшены картинами. Двѣ—изображаютъ идилліи изъ золотаго вѣка, другія — рожденіе Морфея, его пещеру и владычество его надъ небомъ и землею. Здѣсь видите смерть въ видѣ усыпленнаго генія, тамъ—Эрминію, отдыхающую у пастуховъ, спящаго Эндиміона, который, кажется, весь осребренъ сіяніемъ влюбленной Діаны и во снѣ вкушаетъ сладости, неизъяснимыя языкомъ смертнаго. Здѣсь вы видите мальчика, уснувшаго на краю колодца: фортуна поддерживаетъ его рукою, но такъ осторожно, что, кажется, боится разбудить безпечнаго: прелестное изображеніе счастливцевъ и баловней слѣпой богини, которые забываются на краю своей гибели! Наконецъ, на колоннадѣ, украшающей предверіе

залы, вы читаете имена знаменитыхъ лѣнивцевъ—Лукулла, Сарданапала, Анакреона, Лафонтена, Шоліо, Лафара; тутъ же имена русскихъ стихотворцевъ и имя того, который пишетъ прелестныя басни и комедіи и необоримую лѣность свою умѣетъ украшать прочнѣйшими цвѣтами поэзіи и философіи.

Въ этой залѣ открыто первое засѣданіе общества лѣнивыхъ; нѣсколько словъ было сказано хозяиномъ, поданъ имъ знакъ, и одинъ изъ членовъ, ораторъ лѣнивыхъ, произнесъ похвальное слово сну.

Похвальное слово сну.

Пока еще сладостный сонъ не сомкнулъ рѣсницъ вашихъ, и полуоткрытые глаза могутъ взирать на оратора, лежащаго на мягкомъ пуховикѣ посреди храмины, посвященной лѣности, почтенные слушатели и прекрасныя слушательницы, преклоните ухо ваше къ словамъ моимъ! Не грозныя битвы, не шумъ воинскій, не гибельные подвиги героевъ, обрызганныхъ кровію, подвиги, клонящіеся къ отнятію сна у бѣдныхъ человѣковъ, нѣтъ, я хочу выхвалять способность спать, — и ежели душа есть источникъ прекрасныхъ мыслей, то повѣрьте, что рѣчь моя, истекающая изъ оной, должна вамъ нравиться, ибо душа моя исполнена любовію къ благодарному богу лѣсовъ Киммерійскихъ.

(Громкія рукоплесканія раздались въ залѣ. Ораторъ покраснѣлъ отъ радости. Женщины шептали между собою и поглядывали на него съ усмѣшкою. Хозяинъ закричалъ: «вниманіе, вниманіе!» какъ членъ парламента, требующій вниманія посреди шумнаго народа, когда Фоксъ и Питтъ разсуждали о войнѣ или мирѣ. Все умолкло, и ораторъ продолжалъ):

Вы улыбаетесь, слушатели, вы отдѣляете медленно головы свои отъ мягкихъ подушекъ, чтобы не пропустить ни одного слова краснорѣчиваго витіи,—и я, ободренный симъ геройскимъ подвигомъ, смѣло вступаю въ обширное море краснорѣчія, бурное море, въ которомъ погибла слава многихъ новѣйшихъ и древнихъ говоруновъ.

Кто не спитъ, слушатели, кто не вкушаетъ сладости сна? Злодѣй, преступникъ; ибо и невинный, приговоренный къ смерти, и несчастный страдалецъ подъ бременемъ бѣдности и зла, и они смыкаютъ вѣжды свои, омоченныя слезами, и они усыпляютъ свои горести. Сладостное усыпленіе, истинный даръ небесъ, оставшійся на днѣ сосуда неосторожной Пандоры, ты вмѣстѣ съ надеждою, твоею сестрою, украшаешь жизнь волшебными мечтами!... Ахъ, сонъ есть свидѣтель и порука совѣсти нашей! Сонъ, надежда и добрая совѣсть, какъ три Хариты, неразлучны: они суть братья и сестры одного семейства. Бросьте взоръ свой на сего спящаго младенца! (Здѣсь ораторъ указалъ на картину). Это ангелъ, который покоится на лонѣ невинности; розы горятъ на ланитахъ малютки, уста его улыбаются... Они ищутъ, кажется, поцѣлуевъ матери; дыханіе ихъ легко и сладостно, какъ дыханіе утренняго вѣтерка, посѣтившаго благоуханную розу. Спи же, малютка, пока страсти и люди, ненавистники сна, не лишили тебя способности спать, и пока фортуна поддерживаетъ тебя благодѣтельною рукою на краю зіяющей бездны!

Взгляните на сонъ благотворительнаго смертнаго: онъ тихъ и спокоенъ, какъ ночь весенняя. (Ораторъ взглянулъ на хозяина, который съ трудомъ могъ сокрыть сладкія слезы на глазахъ). Душа его, которой ничто не препятствуетъ излиться наружу, дышетъ на его устахъ, на ясномъ челѣ его, даже на опущенныхъ рѣсницахъ. Сердце его утопаетъ въ веселіи, пульсъ его ударяетъ тихо и ровно: онъ счастливъ, онъ совершенно благополученъ, ибо онъ учинилъ доброе дѣло, ибо сонъ напоминаетъ ему несчастнаго, котораго онъ извлекъ изъ пропасти, съ которымъ плакалъ наединѣ. Кажется, ангелъ-хранитель присутствуетъ у ложа праведника и отгоняетъ благовонными крилами мечты и призраки. Кажется, сама надежда сыплетъ на него цвѣты свои обильною рукою, и онъ—сказать ли горькую истину?—онъ просыпается едва ли столько счастливъ, ибо первый взоръ его часто, очень часто встрѣчаетъ неблагодарнаго! Что нужды? Онъ уже наслаждался во снѣ!

(Мы замѣтимъ, что хозяинъ, вздохнувъ очень горестно, прошепталъ между прочимъ: «Друзья мои, я жалѣю отъ искренняго сердца о томъ, кто не заснулъ послѣ добраго дѣла»).

Взгляните теперь на оратая, который засыпаетъ на жесткомъ ложѣ; взгляните на поденщика, который, окончивъ трудъ свой, бросается на голый камень и съ ношею плечъ своихъ слагаетъ все бремя душевное; взгляните на ратника, утружденнаго походомъ, дождемъ, холодомъ: онъ нѣсколько дней сражался со стихіями и со смертію; кровь и потъ лились ручьями, голодъ изнурялъ его; но онъ заснулъ,—и все забыто, и онъ счастливѣе сатрапа, засыпающаго тонкимъ сномъ на персяхъ восточной одалиски. Скажите мнѣ теперь, что̀ награждаетъ страдальцевъ сихъ за труды, потъ и раны? Конечно, не скупыя награды царей и вельможъ, но сонъ, благодѣтель человѣковъ!

Кто изъ насъ не любилъ, и кто не спалъ вопреки любви своей?

(Послѣ этого вопроса краткое молчаніе. Одна изъ молодыхъ дѣвушекъ потупила черные глаза, другая покраснѣла. Старая вдова А. открыла табакерку и поднесла ее съ ласковою улыбкою хозяину, устремивъ на него страстные взоры, которые, казалось, дѣлали слѣдующій вопросъ: «И ты любилъ меня въ молодости, другъ мой, но любовь не лишала тебя сна; не правда ли?» Ораторъ продолжалъ).

Сладостенъ сонъ любовника; онъ видитъ бархатные луга, орошенные ручьями, сады Армидины, царство луны и сильфовъ; всѣ предметы и всѣ мѣста украшены присутствіемъ его возлюбленной. Вездѣ она съ нимъ ходитъ рука съ рукою, вездѣ неразлучна—и въ хижинѣ, и въ палатахъ, и въ обществѣ, и въ пустынѣ. Сонъ и самыя печали услаждаетъ. Любовница тебѣ измѣнила или новая Галатея невнимательна къ твоимъ пѣснямъ; цѣломудренна какъ Цинтія, или какъ Зиновія, едва-едва склоняетъ къ тебѣ суровые взоры?.. Утѣшься, печальный страдалецъ! Я не стану тебѣ совѣтовать вооружаться терпѣніемъ стоика или потоплять любовь свою въ чашѣ вина [1]), или забыть вѣроломную.

[1]) Ou bien buvez, c'est un parti fort sage.—Voltaire.

Но кто не отнималъ у тебя сна. Никто не лишалъ тебя способности усыплять сердце твое посредствомъ сладостныхъ мечтаній? Спи же, любовникъ, спи отъ вечера до утра, отъ утра до вечера, и къ наказанію твоей каменной Лауры, ты вѣрно когда-нибудь проснешься съ прежнимъ спокойствіемъ, съ прежнимъ равнодушіемъ; ибо сонъ, успокоивая страсти, истребляетъ даже ихъ вредное начало. Что есть сердце наше? Море. Удержи дыханіе вѣтровъ,—и оно спокойно.

(«Море — сердце — дыханіе вѣтровъ — спокойно!» повторяли слушатели, и громкія рукоплесканія раздались въ залѣ).

Природа, благая мать смертныхъ! Ты начинаешь наказывать преступника, оскорбителя правъ твоихъ, прежде законовъ человѣческихъ. Взгляните на юношу, который въ первый разъ нарушилъ священные законы нравственности: взоръ его пасмуренъ, нетерпѣливъ; онъ ищетъ чего-то, ибо убѣгаетъ самого себя, сего внутренняго полубога, котораго мы носимъ въ груди своей; онъ ищетъ разсѣянія въ шумномъ свѣтѣ, въ опасныхъ удовольствіяхъ, и горе ему, если новыя преступленія изгладятъ слѣды первыхъ! Но если, ведомый рукою совѣсти, онъ скроется на минуту отъ взоровъ человѣческихъ и тамъ, въ безмолвномъ уединеніи, предастся размышленію, то слезы—вѣстники добраго сердца—слезы раскаянія омочатъ его ланиты, душа его успокоится, прояснѣетъ, подобно мутной водѣ, яснѣющей отъ времени въ чистомъ сосудѣ; душа его придетъ въ лучшее состояніе, и сонъ, награда великаго, добраго дѣла, сонъ заключитъ его въ мягкія объятія; ибо сонъ, вопреки всѣмъ наблюдателямъ страстей человѣческихъ, идетъ непосредственно за первымъ раскаяніемъ: явная премудрость попечительнаго Промысла, который врачуетъ язвы сердца нашего посредствомъ благотворнаго усыпленія!

Но теперь, какія ужасныя картины представляются взорамъ нашимъ! Преступникъ, преступникъ закоренѣлый въ злодѣяніяхъ! Гласъ оскорбленной природы, подобно грому, раздался въ его сердцѣ, и гласъ сей былъ ужасенъ: Злодѣй, ты не будешь

спать! Вотъ приговоръ тиранамъ, сластолюбцамъ, рушителямъ спокойствія общественнаго! Повторимъ сильныя слова латинскаго стихотворца: «Ужели страшный ревъ быка Фаларидова, ужели мечъ, прицѣпленный къ златому крову и висящій надъ главою вѣнчаннаго тирана, страшнѣе, ужаснѣе грызеній совѣсти того несчастнаго, который блѣднѣя говоритъ, и столь тихо, что жена, лежащая съ нимъ на одномъ ложѣ, слышать не можетъ: я бѣгу, бѣгу къ погибели?» Знали ли сонъ Діонисій Сиракузскій и тѣ изверги природы, тѣ ряды вѣнчанныхъ злодѣевъ Рима, которыхъ, какъ говоритъ Расинъ, одно имя есть ужасная обида ужасному тирану? Вкушалъ ли сонъ и тотъ счастливый злодѣй Британіи (Кромвель), котораго жизнь была загадка, который, подобно древнему тирану, укрывался каждый день въ новомъ убѣжищѣ? Между тѣмъ какъ герой Сѣвера, сей великій мужъ, котораго жизнь достойна пера Плутархова, ибо малѣйшее его дѣяніе есть подвигъ ума, между тѣмъ, говорю я, какъ Суворовъ спалъ на плащѣ подъ открытымъ небомъ, въ виду огней непріятельскихъ и на канунѣ рѣшительнаго сраженія!

Итакъ, почтенные слушатели, способность спать во всякое время есть признакъ великой души. (Надобно замѣтить, что это весьма понравилось собранію лѣнивыхъ). Древность, неисчерпаемый источникъ истины и басень, древность, хранилище опытности, развертываетъ передъ нами свои хартіи. Примѣры обильны и убѣдительны. Александръ на канунѣ ужасной битвы съ Даріемъ засыпаетъ въ вечеру; Парменіонъ принужденъ его будить, ибо знамена персскія блистали уже вблизи стана греческаго. Катонъ имѣлъ привычку засыпать при наступленіи опасности, ибо ничто не могло поколебать великаго духа героя стоиковъ: Mediis tempestatibus placidus! Августъ спитъ мертвымъ сномъ во время упорнаго морскаго сраженія, происходившаго у береговъ цвѣтущей Сициліи. Марій—и что всего чудеснѣе—Марій засыпаетъ подъ деревомъ во время послѣдней битвы съ Силлою, и тогда только сонъ покидаетъ неустрашимаго вождя, когда сонмы непріятелей обратили въ бѣгство его воинство. Гибельный сонъ,

но не менѣе того славный! Мудрый Эпименидъ, если вѣрить историкамъ (когда не вѣрить имъ, то вѣрить ли кому?) проспалъ 57 лѣтъ сряду; и я вамъ клянусь Геродотомъ, отцемъ лѣтописцевъ, что есть народы на сѣверѣ, которые спятъ въ теченіи шести зимнихъ мѣсяцевъ, подобно суркамъ, не просыпаясь. Ученые отыскали, что сіи народы обитали въ Россіи, и это не подлежитъ теперь никакому сомнѣнію, по крайней мѣрѣ въ обществѣ нашемъ.

Изъ всего мною сказаннаго ясно извлекается слѣдующее заключеніе: Сонъ есть признакъ великаго духа и доброй души. Доброй души — ибо сонливый человѣкъ не способенъ дѣлать зла, которое требуетъ великихъ усилій, безпокойства и безпрестанной дѣятельности. Посмотрите, какъ говоритъ о безпечномъ снѣ Лафонтенъ, жертвовавшій ему половиною жизни своей, и котораго добродушіе вошло въ пословицу:

Je ne dormirai point sous de riches lambris:
Mais voit-on que le somme en perde de son prix?
En est-il moins profond, et moins plein de délices?
Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices.

Но почему сонъ есть стихія лучшихъ поэтовъ? Отчего они предаются ему до излишества, забываютъ все — и славу, и потомство, и золотое правило древности, которое говоритъ именно, что праздность безъ науки — смерть, otium sine litteris mors est? Вопросъ важный, достойный вниманія мудрецовъ, и котораго я рѣшить не смѣю, боясь вооружить противъ себя неусыпныхъ, но усыпительныхъ писателей, которые — о, святотатство! — и самое божество ночи [1]) оскорбляютъ кропаніемъ стиховъ. Знаю только, что поэты всегда прославляли сладость сна; подобно нѣжнымъ дѣтямъ, ласкающимъ добраго родителя, они давали ему множество пріятныхъ названій: сонъ утѣшитель смертныхъ, отрадный, тихій, сладостный и пр. Начиная отъ Омера, всѣ они, всѣ до одного, описывали менѣе или болѣе, хуже или

[1]) У древнихъ ночь была старѣйшимъ всѣхъ божествомъ.

лучше сіе успокоеніе души и тѣла. Тибуллъ, котораго вся жизнь была одно сладостное мечтаніе безъ пробужденій—простите мнѣ это выраженіе—Тибуллъ не въ одномъ мѣстѣ выхваляетъ сонъ. Я всегда съ живымъ удовольствіемъ привожу на память стихи его:

. . . подъ тѣнію древесной отдыхаю,
Которая меня прохладою даритъ.
Сквозь солнце иногда дождь мелкой чуть шумитъ:
Я, слушая его, по малу погружаюсь
Въ забвеніе и сномъ пріятнымъ наслаждаюсь.

Дмитріевъ.

Какая истинная любовъ къ наслажденіямъ тихимъ, какая любовь ко сну!... Далѣе:

Иль въ мрачну, бурну ночь въ объятіяхъ драгой
Не слышу и грозы, гремящей надо мной!
Вотъ сердца моего желанья и утѣхи!

Дмитріевъ.

Первые два стиха показываютъ мастера наслаждаться; послѣдній принадлежитъ къ малому числу стиховъ, написанныхъ отъ души.

Ахъ, почтенное сословіе сонныхъ! Если бы я не боялся траты времени, которое можно посвятить съ такою пользою на сонъ...

(И въ самомъ дѣлѣ ораторъ началъ замѣчать нѣкоторую наклонность ко сну въ своихъ благосклонныхъ слушателяхъ. Лучшія, краснорѣчивыя слова имѣютъ странное дѣйствіе на лѣнивыхъ духомъ, дѣйствіе, подобное журчанію ручейка: сперва нравятся, а потомъ клонятъ ко сну).

Еслибъ томные глаза ваши не показывали, что онъ вамъ становится нужнѣе краснорѣчивѣйшаго панегирика (этотъ второй членъ длиннаго періода былъ прерванъ сперва зѣваніемъ слушателей, а потомъ и самого оратора, который однакожъ сдѣлалъ геройское усиліе и продолжалъ),—то вѣрно бъ я предложилъ вамъ убѣдительное сравненіе двухъ народовъ: одного воинственнаго, другаго мирнаго, одного провождающаго дни и ночи на стражѣ съ копьемъ въ рукахъ, другаго изгнавшаго

изъ предѣловъ своихъ все, что клонится къ нарушенію сна: и пѣтуховъ, вѣстниковъ утра, и шумныя художества, и снаряды воинственные. Я сдѣлалъ бы сравненіе Спартанцевъ со счастливыми Сибаритами, и сравненіе мое клонилось бы въ пользу послѣднихъ. Я доказалъ бы, что нѣтъ счастія въ дѣятельности народной, и чрезъ то открылъ бы неисповѣдимыя истины и новое поле политикамъ, поле вовсе неизвѣстное.

(При словѣ политика хозяинъ началъ зѣвать такъ сильно, что ораторъ съ трудомъ кончилъ).

Но я вижу, что Морфей сыплетъ на васъ зернистый макъ свой! Я ощущаю и самъ тайное присутствіе бога Киммерийскаго. Крилѣ его сотрясаютъ благовонную росу на любимцевъ... Перстъ его смыкаетъ уста мои... языкъ коснѣетъ... и я... засыпаю.

Любитель сна Дормидонъ Тихинъ.

XVI.

Вечеръ у Кантемира.

Антіохъ Кантемиръ, посланникъ русскій при дворѣ Людовика XV, предпочиталъ уединеніе шуму и разсѣянію блестящаго двора. Свободное время отъ должности онъ посвящалъ наукамъ и поэзіи. Въ мирномъ кабинетѣ, окруженный любимыми книгами, онъ часто восклицалъ, перечитывая Плутарха, Горація и Виргилія: «Счастливъ—кто, довольствуясь малымъ, свободенъ чуждъ зависти и предразсудковъ, имѣетъ совѣсть чистую и провождаетъ время съ вами, наставники человѣчества, мудрецы всѣхъ вѣковъ и народовъ:

. . . съ вами Греки и Латины...
Изслѣдую всѣхъ вещей дѣйства и причины».

Умъ его имѣлъ свойства, рѣдко соединяемыя: основательность, точность и воображеніе. Часто, углубленный въ изчисленія алгебраическія, Кантемиръ искалъ истину и, подобно мудрецу Сиракузъ, забывалъ міръ, людей и общество, безпрестанно измѣняющееся. Онъ занимался науками не для того, чтобы щеголять знаніями въ суетномъ кругу ученыхъ женщинъ или академиковъ; нѣтъ, онъ любилъ науки для наукъ, поэзію для поэзіи: рѣдкое качество, истинный признакъ великаго ума и прекрасной, сильной души! Въ Парижѣ, гдѣ самолюбіе знатнаго человѣка можетъ собирать безпрестанно похвалы и привѣтствія за

малѣйшій успѣхъ въ словесности, гдѣ нѣсколько небрежныхъ стиховъ, иностранцемъ написанныхъ, даютъ право гражданства въ республикѣ словесности. Кантемиръ писалъ русскіе стихи. И въ какое время? Когда языкъ нашъ едва становился способнымъ выражать мысли просвѣщеннаго человѣка. Бросьте на островъ необитаемый математика и стихотворца, говорилъ Даламберъ,—первый будетъ проводить линіи и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюденіями; второй перестанетъ сочинять стихи, ибо не кому хвалить ихъ; слѣдственно, поэзія и поэтъ—заключаетъ разсудительный философъ—питаются суетностью. Парижъ былъ сей необитаемый островъ для Кантемира. Кто понималъ его? Кто восхищался его русскими стихами? Въ самой Россіи, гдѣ общество, науки и словесность были еще въ пеленахъ, онъ, нѣтъ сомнѣнія, находилъ мало цѣнителей своего таланта. Душею и умомъ выше времени и обстоятельствъ, онъ писалъ стихи, онъ поправлялъ ихъ безпрестанно, желая достигнуть возможнаго совершенства, и казалось, завѣщалъ благодарному потомству и книгу, и славу свою. Талантъ питается хвалою, но истинный, великій талантъ, и безъ нея не умираетъ. Поэтъ можетъ быть суетнымъ, равно какъ и ученый; но истинный поэтъ, истинный любитель всего прекраснаго не можетъ существовать безъ дѣятельности, и то, что было сказано нашимъ Катулломъ о нашемъ Бавіѣ:

Съ послѣднимъ вздохомъ онъ издастъ послѣдній стихъ,

почти то же можно сказать о великомъ стихотворцѣ. На одрѣ смерти Сервантесъ не покидалъ пера своего. Камоенсъ писалъ Лузіаду посреди племенъ дикихъ. Тассъ, несчастный Тассъ, въ ужасномъ заключеніи бесѣдовалъ съ музами. Державинъ, за часъ предъ смертію, хладѣющими перстами извлекалъ звуки изъ безсмертной лиры своей. Сихъ ли людей обвинимъ въ суетности?..

Но возвратимся къ Кантемиру.

Однажды по вечеру Монтескьё и аббатъ В., извѣстный остроуменъ, навѣстили нашего стихотворца. Онъ бесѣдовалъ съ

своею музою и не примѣтилъ входящихъ друзей, которые имѣли къ нему свободный доступъ. Нѣсколько минутъ Кантемиръ перечитывалъ начало посланія своего къ князю Никитѣ Трубецкому, и всегда съ новымъ жаромъ и удовольствіемъ. При чтеніи, спокойное и даже холодное лицо Кантемира, примѣтнымъ образомъ измѣнялось: глаза его сверкали какъ молнія, щеки разгорѣлись, и рука его ударяла такту по отверзтой предъ нимъ книгѣ. Монтескьё взглянулъ на аббата, кивнулъ ему головою и намѣревался удалиться. Они не хотѣли безпокоить министра, полагая, что онъ занятъ важнымъ государственнымъ дѣломъ. Кантемиръ услышалъ за собою шорохъ, оглянулся и бросился обнимать не ожидаемыхъ гостей.

«Мы вамъ помѣшали: мы пришли не въ пору».

«Ни мало!»

«Вы читали важныя бумаги?»

«Я забавлялся: перечитывалъ стихи моего сочиненія».

«Но какіе? Мы ни слова не поняли».

«Русскіе!»

«Русскіе стихи», восклицалъ аббатъ, пожимая плечами отъ удивленія,—«русскіе стихи! Это любопытно».

Кантемиръ.

Слабое подражаніе Горацію, Ювеналу и Персію. Вы знаете мою страсть къ древнимъ писателямъ: она завлекла меня далеко. Не въ силахъ будучи сравниться съ древними поэтами Рима, я влачусь за ними, какъ рабъ за господиномъ или какъ страстный любовникъ за гордою красавицею. Вы никогда не писали стиховъ, г. президентъ, и не знаете сего мученія и удовольствія, которое называютъ метроманіею?

Монтескье.

Ваша правда! Я не писалъ стиховъ, но люблю стихи, когда нахожу въ нихъ столько же мыслей, сколько словъ, когда они

ясны, сильны, выразительны, однимъ словомъ — хороши, какъ проза. Я всегда уважалъ сатиры и посланія Горація: онѣ знакомятъ насъ съ Римомъ, со нравами, съ образомъ жизни переродившихся потомковъ Брутовъ, Коріолановъ и Сципіоновъ. Ювенала перечитываю съ удовольствіемъ: прямой Римлянинъ душою! Онъ то же въ стихахъ, что̀ Тацитъ въ прозѣ. Я люблю творенія сихъ поэтовъ, какъ памятники языка, образованнаго цѣлыми вѣками славы народной, языка мужественнаго, обильнаго, выразительнаго, почтеннаго родителя языковъ новѣйшихъ.

Аббатъ В.

И г. президентъ, конечно, сожалѣетъ, что вы пишете русскіе стихи. Зная совершенно языкъ латинскій и нашъ французскій, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете насъ удовольствія читать ваши прелестныя произведенія.

Монтескье.

Сожалѣю и удивляюсь, какъ можно писать—скажу болѣе—какъ можно мыслить на языкѣ не образованномъ? Вы пишете по русски, а вашъ языкъ и нація еще въ пеленахъ.

Кантемиръ.

Справедливо! Русскій языкъ въ младенчествѣ, но онъ богатъ, выразителенъ, какъ языкъ латинскій, и со временемъ будетъ точенъ и ясенъ, какъ языкъ остроумнаго Фонтенеля и глубокомысленнаго Монтескьё. Теперь я принужденъ бороться съ величайшими трудностями, принужденъ изобрѣтать безпрестанно новые слова, выраженія и обороты, которые, безъ сомнѣнія, обветшаютъ черезъ нѣсколько годовъ. Переводя Міры Фонтенелевы, я создавалъ новыя слова: академія Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищалъ путь для моихъ послѣдователей.

Аббатъ В.

Но скажите, Бога ради, какъ же вы могли присвоить всѣ тонкія выраженія и обороты перваго щеголя языка французскаго, нашего семидесятилѣтняго Фонтенеля?

Кантемиръ.

Какъ умѣлъ! Я слѣдовалъ рабски по слѣдамъ его. Переводъ мой слабъ, грубъ, невѣренъ. Скиѳы заставили плѣннаго Грека изваять Венеру и обѣщали ему свободу. Грекъ былъ дурной ваятель; въ Скиѳіи не было ни паросскаго мрамора, ни хорошихъ рѣзцовъ; за неимѣніемъ ихъ, соотечественникъ Праксителевъ употребилъ грубый гранитъ, молотъ, простую пилу и создалъ нѣчто похожее на Венеру, слѣдуя заочно образцу, столь славному не только въ Греціи, но даже въ земляхъ варваровъ. Скиѳы были довольны, ибо не знали божественнаго подлинника, и поклонялись новой богинѣ съ дѣтскимъ усердіемъ. Скиѳы — мои соотечественники, Праксителева статуя – книга безсмертнаго Фонтенеля, а я—сей Грекъ, неискусный ваятель.

Аббатъ В.

О, вы слишкомъ скромны, почтенный князь!

Кантемиръ.

Не довольствуясь опытомъ моимъ надъ Фонтенелемъ, я принялся за Персидскія письма.

Аббатъ В.

Персидскія письма по русски!

Монтескье.

Могъ ли я ожидать, что первое, слабое произведеніе моего пера отниметъ у васъ столько драгоцѣннаго времени?

Аббатъ В.

Теперь Гиперборейцы узнаютъ, какъ вѣтрены и малодушны обитатели береговъ Сейны.

Кантемиръ.

И какъ остроумны.

Аббатъ В.

Я давно на вечерахъ г-жи Жофренъ, которая васъ превозноситъ, но въ душѣ своей ненавидитъ, давно предсказывалъ вашу славу, г. Монтескьё!

Въ землѣ своей никто пророкомъ не бывалъ,—

но мое пророчество сбылось, какъ видите. Легко быть можетъ, что въ эту самую минуту на берегахъ Ледовитаго моря, на берегахъ Лены или Оби, въ пустыняхъ Татаріи читаютъ ваши остроумныя письма, и имя Монтескьё гремитъ въ становищахъ Калмыковъ и Самоѣдовъ.

Монтескье.

Читаютъ Персидскія письма при свѣтѣ лампады, налитой рыбьимъ жиромъ...

Аббатъ В.

Или при свѣтѣ сѣвернаго сіянія... Конечно, странно, чудесно! А мы говоримъ съ такимъ пренебреженіемъ о великой Московіи!

Кантемиръ.

Калмыки и Самоѣды не читаютъ философическихъ книгъ и, конечно, долго читать не будутъ. Но въ Москвѣ многолюдной въ рождающейся столицѣ Петра, въ монастыряхъ Малой и Великой Россіи есть люди просвѣщенные и мыслящіе, которые умѣютъ наслаждаться прекрасными произведеніями музъ.

Монтескье.

Число такихъ людей должно быть весьма ограничено. До сихъ поръ я думалъ и думаю, что климатъ вашъ суровый и непостоянный, земля по большей части безплодная, покрытая въ зиму глубокими снѣгами, малое населеніе, трудность сообщеній,

образъ правленія почти азіятскій, закоренѣлые предразсудки и рабство, утвержденные вѣками навыка, все это вмѣстѣ надолго замедлитъ ходъ ума и просвѣщенія. Власть климата есть первая изъ властей.

Аббатъ В.

Я съ вами согласенъ и полагаю, что всѣ усилія исполинскаго царя, все, что̀ онъ ни сотворилъ желѣзною рукою, все разрушится, упадетъ, изчезнетъ. Природа, обычаи древніе, суевѣріе неизцѣлимое варварство возьмутъ верхъ надъ просвѣщеніемъ слабымъ и неосновательнымъ, и вся полудикая Московія снова будетъ дикою Московіею, и вѣчный туманъ забвенія покроетъ дѣла и жизнь преемниковъ Петра Великаго.

Кантемиръ.

Я осмѣлюсь спорить съ великимъ творцомъ книги О существѣ законовъ и съ вами, любезный аббатъ. Россія пробудилась отъ глубокаго сна, подобно баснословному Эпимениду. Заря, освѣтившая нашу землю, предвѣщаетъ прекрасное утро, великолѣпный полдень и ясный вечеръ: вотъ мое пророчество!

Аббатъ В.

Но это не заря - сѣверное сіяніе. Блеску много, но безъ свѣта и безъ теплоты.

Монтескье.

Остроумный аббатъ сказалъ великую истину. Положимъ — трудное предположеніе, едва ли сбыточное дѣло! положимъ, что правительство откроетъ всѣ пути къ просвѣщенію, что будетъ безпрестанно призывать иностранцевъ для воспитанія юношества, построитъ теплые домы для училищъ и изъ сихъ парниковъ и теплицъ просвѣщенія соберетъ нѣсколько незрѣлыхъ и несочныхъ плодовъ; положимъ, что правительство образуетъ военныхъ людей, довольно искусныхъ, нѣсколько мореходцевъ, небольшое число артиллеристовъ, инженеровъ и проч. Но ска-

жите: можетъ ли правительство вдохнуть вкусъ къ изящному, къ наукамъ отвлеченнымъ, умозрительнымъ? Какая сила измѣнитъ климатъ? Кто можетъ вамъ даровать новое небо, новый воздухъ, новую землю?

Аббатъ В.

И новое солнце! Какъ можно сѣять науки тамъ, гдѣ осенью серпъ земледѣльца пожинаетъ рѣдкіе класы на браздахъ, потомъ его орошенныхъ, гдѣ зимою отъ холоду чугунъ распадается, и топоръ жидкости рубитъ?

Caeduntque securibus humida vina!

Монтескье.

Холодный воздухъ сжимаетъ желѣзо: какъ же не дѣйствовать ему на человѣка? Онъ сжимаетъ его фибры, онъ даетъ имъ силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душѣ; она внушаетъ ей храбрость въ опасности, рѣшительность, бодрость, крѣпкую надежду на себя, она есть тайная пружина многихъ прекрасныхъ свойствъ характера; но она же лишаетъ чувствительности, необходимой для наукъ и искуствъ. Теплота, напротивъ того, расширяя тончайшую плену кожи, раскрываетъ оконечности нервовъ и сообщаетъ имъ чудесную раздражительность. Въ земляхъ холодныхъ наружная кожа столь сильно сжата воздухомъ, что нервы, такъ сказать, лишены жизни и рѣдко, очень рѣдко сообщаютъ слабыя ощущенія свои мозгу. Вы знаете, что отъ безчисленнаго количества слабыхъ ощущеній зависятъ воображеніе, вкусъ, чувствительность и живость. Надобно содрать кожу съ Гиперборейца, чтобъ заставить его что-нибудь почувствовать [1]).

Аббатъ В.

Что можете отвѣчать на это? Вы станете защищать соотечественниковъ вашихъ, какъ министръ, и на сильные, неотрази-

[1]) Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment (?).

мые силлогизмы президента отвѣчать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

Кантемиръ.

Я родился въ Константинополѣ. Праотцы мои происходятъ отъ древней фамиліи, нѣкогда обладавшей престоломъ Восточной имперіи. Слѣдственно, во мнѣ играетъ еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вѣчно зеленыя оливы странъ полуденныхъ. Въ молодости я странствовалъ съ отцомъ моимъ, неразлучнымъ сопутникомъ, искреннимъ другомъ Петра Великаго, и видѣлъ обширныя долины Россіи отъ Днѣпра до Кавказа, отъ Каспійскаго моря до береговъ величественной Москвы. Я знаю Россію и обитателей ея. Хижина земледѣльца и теремъ боярина мнѣ равно извѣстны. Руководимый наставленіями отца моего, просвѣщеннѣйшаго человѣка въ Европѣ, съ раннихъ лѣтъ воспитанный въ училищѣ философіи и опытности, будучи обязанъ по званію моему имѣть безпрестанныя и тѣсныя сношенія съ иностранцами всѣхъ націй, я не могъ сохранить предразсудковъ варварскихъ и привыкъ смотрѣть на новое отечество мое окомъ безпристрастнаго наблюдателя. Въ Версали, въ кабинетѣ короля вашего, въ присутствіи министровъ, я — представитель великаго народа и всемогущей его монархини, но здѣсь, въ обществѣ дружескомъ съ великимъ геніемъ Европы, поставляю обязанностію говорить откровенно, и вы, г. аббатъ, скорѣе обличите Кантемира въ невѣжествѣ, нежели въ пристрастіи или нечистосердечіи. Вотъ мой отвѣтъ: Вы знаете, что̀ Петръ сдѣлалъ для Россіи: онъ создалъ людей... Нѣтъ, онъ развилъ въ нихъ всѣ способности душевныя, онъ вылѣчилъ ихъ отъ болѣзни невѣжества, и Русскіе, подъ руководствомъ великаго человѣка, доказали въ короткое время, что таланты свойственны человѣчеству. Не прошло пятнадцати лѣтъ, и великій монархъ наслаждался уже плодами знаній своихъ сподвижниковъ: всѣ вспомогательныя науки военнаго дѣла процвѣли внезапно въ государствѣ его. Мы громами побѣдъ возвѣстили Европѣ, что

имѣемъ артиллерію, флотъ, инженеровъ, ученыхъ, даже опытныхъ мореходцевъ. Чего же хотите отъ насъ въ столь короткое время? Успѣховъ ума, успѣховъ въ наукахъ отвлеченныхъ, въ изящныхъ искусствахъ, въ краснорѣчіи, въ поэзіи? Дайте намъ время, продлите благопріятныя обстоятельства, и вы не откажете намъ въ лучшихъ способностяхъ ума. Вы говорите, что власть климата есть первая изъ властей. Не спорю: климатъ имѣетъ вліяніе на жителей; но это вліяніе—какъ вы сами замѣтили въ безсмертной книгѣ своей — это вліяніе бываетъ уменьшено или ограничено образомъ правленія, правами, общежитіемъ. Самый климатъ Россіи разнообразенъ. Иностранцы, говоря о нашемъ отечествѣ, полагаютъ вообще, что Московія покрыта вѣчными снѣгами, населена дикими. Они забываютъ неизмѣримое пространство Россіи; они забываютъ, что въ то время, когда житель влажныхъ береговъ Бѣлаго моря ходитъ за куницею на быстрыхъ лыжахъ своихъ, счастливый обитатель устьевъ Волги собираетъ пшеницу и благодатное просо. Самый сѣверъ не столь ужасенъ взорамъ путешественника, ибо онъ даетъ все потребное воздѣлывателю полей. Плугъ есть основаніе общества, истинный узелъ гражданства, опора законовъ, а гдѣ, въ какой странѣ Россіи не оставляетъ онъ благодѣтельныхъ слѣдовъ своихъ? Съ успѣхами людкости и просвѣщенія сѣверъ безпрестанно измѣняется и, если смѣю сказать, прирастаетъ къ просвѣщенной Европѣ. Скажите: когда Тацитъ описывалъ Германцевъ, думалъ ли тогда Тацитъ, что въ дикихъ лѣсахъ ея возникнутъ города великолѣпные, что въ древней Панноніи и Норикѣ родятся свѣтильники ума человѣческаго? Нѣтъ, конечно! Но Петръ Великій, заключивъ судьбу полуміра въ рукѣ своей, утѣшалъ себя великою мыслію, что на берегахъ Невы древо наукъ будетъ процвѣтать подъ сѣнію его державы и рано или поздно, но дастъ новые плоды, и человѣчество обогатится ими. Вы, г. Монтескьё, наблюдаете безпрестанно міръ политическій; на развалинахъ протекшихъ вѣковъ, на прахѣ гордаго Рима и прелестной Греціи вы постигли причины настоящихъ явленій, научились пророче-

ствовать о будущемъ. Вы знаете, что съ успѣхами просвѣщенія измѣняются явнымъ и непримѣтнымъ образомъ всѣ формы правленія; вы замѣтили сіи измѣненія въ землѣ Русской. Время все разрушаетъ и созидаетъ, портитъ и совершенствуетъ. Можетъ быть, чрезъ два или три столѣтія, можетъ быть, и ранѣе, благія небеса даруютъ намъ генія, который постигнетъ вполнѣ великую мысль Петра, и обширнѣйшая земля въ мірѣ, по творческому гласу его, учинится хранилищемъ законовъ, свободы, на нихъ основанной, нравовъ, дающихъ постоянство законовъ, однимъ словомъ—хранилищемъ просвѣщенія. Лестныя надежды, вы сбудетесь, конечно! Благодѣтель семейства моего, благодѣтель Россіи почиваетъ во гробѣ; но духъ его, сей дѣятельный, сей великій духъ, не покидаетъ страны, ему любезной: онъ всюду присутствуетъ, все оживляетъ, всему даетъ душу и новую жизнь, и новую силу; онъ, кажется мнѣ, безпрестанно вѣщаетъ Россіи: иди впередъ, не останавливайся на поприщѣ, мною отверзтомъ, и достигнешь великой цѣли, мною назначенной!

Монтескье.

Но искусства? Могутъ ли они процвѣтать въ туманахъ Невы или подъ суровымъ небомъ московскимъ?

Аббатъ В.

Искусства... Ахъ, имъ-то нуженъ прозрачный воздухъ и яркое солнце Рима, древней Эллады или умѣренный климатъ нашей Франціи!

Кантемиръ.

Полуденныя страны были родиною искусствъ; но сіи прелестныя дѣти воображенія были часто вытѣсняемы изъ родины своей варварствомъ, суевѣріемъ, желѣзомъ завоевателей и, какъ быстрыя волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любятъ свое древнее отечество, а еще болѣе многолюдные города, роскошь, нравы изнѣженные. Но поэзія свойственна всему человѣчеству: тамъ, гдѣ человѣкъ дышетъ возду-

хомъ, питается плодами земли, тамъ, гдѣ онъ существуетъ, тамъ же онъ наслаждается и чувствуетъ добро или зло, любитъ и ненавидитъ, укоряетъ и ласкаетъ, веселится и страдаетъ. Сердце человѣческое есть лучшій источникъ поэзіи.

Аббатъ В.

Такъ! Но оно — признайтесь — не столь чувствительно на сѣверѣ?

Монтескье.

Я видѣлъ оперу въ Англіи и въ Италіи. Отъ музыки, которую Англичане слушаютъ спокойно, Италіянцы бываютъ внѣ себя и прыгаютъ, какъ Пиоія на пророческомъ треножникѣ.

Кантемиръ.

Что доказываетъ это? — Что чувствительность народовъ южныхъ раздражительнѣе, сообщительнѣе, но едва ли столь глубока, столь сильна, какъ чувствительность народовъ сѣверныхъ. Въ бытность мою въ Лондонѣ ученый Шотландецъ NN показывалъ мнѣ пѣсни его горныхъ соотечественниковъ: онѣ напоминаютъ древняго Омира и силою мыслей, глубиною чувствъ превосходятъ многія произведенія музы италіянской.

Аббатъ В.

Невѣроятно!

Кантемиръ.

Мы, Русскіе, имѣемъ народныя пѣсни: въ нихъ дышетъ нѣжность, краснорѣчіе сердца, въ нихъ видна сія задумчивость тихая и глубокая, которая даетъ неизъяснимую прелесть и самымъ грубымъ произведеніямъ сѣверной музы.

Аббатъ В.

Чудесно, по чести невѣроятно!

Кантемиръ.

Скажите: если грубыя дѣти сѣвера умѣютъ чувствовать и изъясняться столь живо и пріятно, то чего нельзя ожидать намъ, отъ людей образованныхъ?

Аббатъ В.

Но, почтенный защитникъ сѣвера, вы знаете, что народныя пѣсни—лепетаніе младенцевъ!

Кантемиръ.

Младенцевъ, которые со временемъ возмужаютъ! Какъ знать? Можетъ быть, на дикихъ берегахъ Камы или величественной Волги возникнутъ великіе умы, рѣдкіе таланты. Что скажете, г. президентъ, что скажете, услыша, что при льдахъ Сѣвернаго моря, между полудикихъ, родился великій геній, что онъ прошелъ исполинскими шагами все поле наукъ, какъ философъ, какъ ораторъ и поэтъ, преобразовалъ языкъ свой и оставилъ по себѣ вѣчные памятники? Это одно предположеніе, но дѣло возможное. Что скажете, если...

Аббатъ В.

Но къ чему сіи гипотезы? Легче повѣрю, что Русскіе взяли приступомъ Парижъ и уничтожили всѣ крѣпости, Вобаномъ построенныя! Впрочемъ для чудесъ нѣтъ законовъ, говорилъ мнѣ Фонтенель съ значительною усмѣшкою, прочитавъ въ первый разъ свое глубокомысленное разсужденіе объ оракулахъ. Всѣ надежды ваши, можетъ быть, и сбудутся, или вы найдете ихъ въ царствѣ луны, съ утраченными надеждами Астольфа. Но простите моему чистосердечію... Признаюсь, я до сихъ поръ смотрю на васъ съ удивленіемъ и не могу постигнуть, какъ можно въ Парижѣ, на землѣ Расина и Корнеля, писать русскіе стихи.

Кантемиръ.

Это напоминаетъ: какъ можно быть Персіяниномъ.

Монтескье.

Вы хотѣли поразить насъ собственнымъ нашимъ оружіемъ. Но позвольте сдѣлать одно замѣчаніе. Вы подражаете Горацію и Ювеналу, слѣдовательно, пишете сатиры, сатиры на нравы, которые еще не установились. Горацій и Ювеналъ осмѣивали

пороки народа развратнаго, но достигнаго высокой степени просвѣщенія; остроумный и всегда разсудительный Буало писалъ при дворѣ великаго короля въ самую блестящую эпоху монархіи Французской. Теперь общество въ Россіи должно представлять ужасный хаосъ, грубое сліяніе всего порочнаго, смѣшеніе закоренѣлыхъ предразсудковъ, невѣжества, древняго варварства, татарскихъ обычаевъ съ нѣкоторымъ блескомъ роскоши азіятской, съ нѣкоторыми искрами просвѣщенія европейскаго! Какая тутъ пища для поэта сатирическаго? Могутъ ли проникнуть тонкія стрѣлы эпиграммы сквозь тройную броню невѣжества и уязвить сердце, окаменѣлое въ порокахъ, закаленное въ невѣжествѣ? И что̀ значатъ сіи стрѣлы въ землѣ, гдѣ женщины, хранительницы нравовъ, едва начинаютъ освобождаться изъ-подъ ига мужей своихъ, въ землѣ, гдѣ общественное мнѣніе еще шатается, еще не установилось и не можетъ наказывать своимъ приговоромъ того, что̀ не подлежитъ суду законовъ? Однимъ словомъ, какъ можно смѣяся говорить истину властелинамъ или рабамъ? Первымъ—опасно, другимъ—безполезно.

Кантемиръ.

Пользуясь покровительствомъ монарховъ и вельможъ, занимающихъ первыя степени въ государствѣ, я безъ страха говорилъ истину, и мои сатиры принесли нѣкоторую пользу. Петръ Великій, преобразуя Россію, старался преобразовать и нравы. Новое поприще открылось наблюдателю человѣчества и страстей его: мы увидѣли въ древней Москвѣ чудесное смѣшеніе старины съ новизною, двѣ стихіи въ безпрестанной борьбѣ одна съ другою. Новые обычаи, новыя платья, новый родъ жизни, новый языкъ не могли еще измѣнить древнихъ людей, изгладить древній характеръ: иные бояра, надѣвая парикъ и новое платье, оставались съ прежними предразсудками, съ древнимъ упрямствомъ и тѣмъ казались еще страннѣе; другіе, отложа бороду и длинный кафтанъ праотеческій, съ платьемъ европейскимъ надѣвали всѣ пороки, всѣ слабости вашихъ соотечественниковъ, но вашей любез-

ности и людкости занять не умѣли. Частыя перемѣны при дворѣ возводили на высокія степени государственныя людей низкихъ и недостойныхъ: они являлись и изчезали; временщикъ смѣнялъ временщика, толпа льстецовъ—другую толпу. Гордость и низость, суевѣріе и кощунство, лицемѣріе и явный развратъ, скупость и расточительность неимовѣрная, однимъ словомъ—страсти, по всему противуположныя, сливались чудеснымъ образомъ и представляли новое зрѣлище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью и съ Гораціемъ въ рукахъ могъ отыскивать счастливую средину вещей. Я старался изловить нѣкоторыя черты сихъ временъ; скажу болѣе: я старался явить порокъ во всей наготѣ своей и намекнуть соотечественникамъ истинный путь честности, благихъ нравовъ и добродѣтели. Ученый Ѳеофанъ, архимандритъ Кроликъ—оба достойные пастыри,—Никита Трубецкій и другіе вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смѣлое, чистосердечное. Я первый осмѣлился писать такъ, какъ говорятъ; я первый изгналъ изъ языка нашего грубыя слова славянскія, чужестранныя, несвойственныя языку русскому, и открылъ новую дорогу для грядущихъ талантовъ. Сатиры мои будутъ имѣть нѣкоторую цѣну для потомковъ нашихъ, подобно древнимъ картинамъ первыхъ живописцевъ, предшественниковъ Рафаеля; въ нихъ они найдутъ изображеніе вѣрное нравовъ и языка русскаго въ славномъ періодѣ для Россіи—отъ временъ Петра до царствованія счастливой, обожаемой нами Елизаветы, и имя мое—простите мнѣ авторское самолюбіе!—будетъ уважаемо въ Россіи болѣе потому, что я первый осмѣлился говорить языкомъ музъ и философіи, нежели потому, что занималъ важное мѣсто при дворѣ вашемъ.

Аббатъ В.

Прекрасно! Вы говорите, какъ истинный философъ.

Монтескье.

Мы желали бы видѣть ваши сатиры на французскомъ языкѣ. Отчасти я согласенъ съ вами; картина нравовъ народа почти по-

ваго всегда любопытна. Но... вотъ и аббатъ Гуаско, вашъ пріятель...

«Вы очень кстати навѣстили насъ!» сказалъ Кантемиръ, обнимая аббата.—«Вы перевели мои сатиры на французскій языкъ: прочитайте что-нибудь въ угожденіе г. президенту; а у васъ, господа, прошу терпѣнія и снисхожденія».

Чтеніе и разговоръ продолжались долго, даже за полночь. Наконецъ Монтескьё и аббатъ В. откланялись министру и разстались... довольны ли имъ—не знаю. Знаю только, что Кантемиръ, шевеля гаснувшіе уголья въ каминѣ, сказалъ аббату Гуаско: «Признайся, любезный другъ, Монтескьё—умный человѣкъ, великій писатель, но..»

«Но говоритъ о Россіи какъ невѣжда», прибавилъ аббатъ Гуаско.

Скромный Кантемиръ улыбнулся, пожелалъ доброй ночи аббату, и они разстались.

XVII.

РѢЧЬ

о вліяніи легкой поэзіи на языкъ

въ Обществѣ любителей русской словесности въ Москвѣ.

Избраніе меня въ сочлены ваши есть новое свидѣтельство, мм. гг., вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарованіе, вы награждаете слабые труды и малѣйшіе успѣхи, ибо имѣете въ виду важную цѣль—будущее богатство языка, столь тѣсно сопряженное съ образованностію гражданскою, съ просвѣщеніемъ и, слѣдственно, съ благоденствіемъ страны славнѣйшей и обширнѣйшей въ мірѣ. По заслугамъ моимъ я не имѣю права засѣдать съ вами; но если усердіе къ словесности есть достоинство, то по пламенному желанію усовершенствованія языка нашего, единственно по любви моей къ поэзіи, я могу смѣло сказать, что выборъ вашъ соотвѣтствуетъ цѣли общества. Занятія мои были маловажны, но безпрерывны. Они были предъ вами краснорѣчивыми свидѣтелями моего усердія и доставили мнѣ счастіе засѣдать въ древнѣйшемъ святилищѣ музъ отечественныхъ, которое возрождается изъ пепла вмѣстѣ съ столицею царства Русскаго и со временемъ будетъ достойно ея древняго величія.

Обозрѣвая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человѣческаго, драгоцѣнныя сокровища краснорѣчія и стихотворства, я съ горестію познаю и чувствую

слабость силъ и маловажность занятій моихъ, но утѣшаюсь мыслію, что успѣхи и въ малѣйшей отрасли словесности могутъ быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искусство, лирическая поэзія, исторія, краснорѣчіе духовное и гражданское требуютъ великихъ усилій ума, высокаго и пламеннаго воображенія. Счастливы тѣ, которые похищаютъ пальму первенства въ сихъ родахъ: имена ихъ становятся безсмертными, ибо счастливыя произведенія творческаго ума не принадлежатъ одному народу исключительно, но дѣлаются достояніемъ всего человѣчества. Особенно великія произведенія музъ имѣютъ вліяніе на языкъ новый и не обработанный. Ломоносовъ — тому явный примѣръ. Онъ преобразовалъ языкъ нашъ, созидая образцы во всѣхъ родахъ. Онъ то же учинилъ на трудномъ поприщѣ словесности, что̀ Петръ Великій на поприщѣ гражданскомъ. Петръ Великій пробудилъ народъ, усыпленный въ оковахъ невѣжества: онъ создалъ для него законы, силу военную и славу. Ломоносовъ пробудилъ языкъ усыпленнаго народа; онъ создалъ ему краснорѣчіе и стихотворство, онъ испыталъ его силу во всѣхъ родахъ и приготовилъ для грядущихъ талантовъ вѣрныя орудія къ успѣхамъ. Онъ возвелъ въ свое время языкъ русскій до возможной степени совершенства, возможной—говорю—ибо языкъ идетъ всегда наравнѣ съ успѣхами оружія и славы народной, съ просвѣщеніемъ, съ нуждами общества, съ гражданскою образованностію и людкостію. Но Ломоносовъ, сей исполинъ въ наукахъ и въ искусствѣ писать, испытуя русскій языкъ въ важныхъ родахъ, желалъ обогатить его нѣжнѣйшими выраженіями Анакреоновой музы. Сей великій образователь нашей словесности зналъ и чувствовалъ, что языкъ просвѣщеннаго народа долженъ удовлетворять всѣмъ его требованіямъ и состоять не изъ однихъ высокопарныхъ словъ и выраженій. Онъ зналъ, что у всѣхъ народовъ, и древнихъ и новѣйшихъ, легкая поэзія, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имѣла отличное мѣсто на Парнассѣ и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омеромъ и тремя трагиками,

велерѣчіемъ историковъ своихъ, убѣдительнымъ и стремительнымъ краснорѣчіемъ Демосѳена; но Біонъ, Мосхъ, Симонидъ, Ѳеокритъ, мудрецъ Ѳеосскій и пламенная Сафо были увѣнчаны современниками. Римляне, побѣдители Грековъ оружіемъ, не талантомъ, подражали имъ во всѣхъ родахъ: Цицеронъ, Виргилій, Горацій, Титъ Ливій и другіе состязались съ Греками. Важные Римляне, потомки суровыхъ Коріолановъ, внимали имъ съ удивленіемъ, но эротическую музу Катулла, Тибулла и Проперція не отвергали. По возрожденіи музъ, Петрарка, одинъ изъ ученѣйшихъ мужей своего вѣка, свѣтильникъ богословіи и политики, одинъ изъ первыхъ создателей славы возраждающейся Италіи изъ развалинъ классическаго Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровымъ Дантомъ, довершилъ образованіе великолѣпнаго нарѣчія тосканскаго, подражая Тибуллу, Овидію и поэзіи Мавровъ, странной, но исполненной воображенія. Маро, царедворецъ Франциска I, извѣстный по эротическимъ стихотвореніямъ, былъ одинъ изъ первыхъ образователей языка французскаго, котораго владычество, почти пагубное, распространилось на всѣ народы, не достигшіе высокой степени просвѣщенія. Въ Англіи Валлеръ, пѣвецъ Захариссы, въ Германіи Гагедорнъ и другіе писатели, предшественники творца Мессіады и великаго Шиллера, спѣшили жертвовать граціямъ и говорить языкомъ страсти и любви, любимѣйшимъ языкомъ музъ, по словамъ глубокомысленнаго Монтаня. У насъ преемникъ лиры Ломоносова Державинъ, котораго одно имя истинный талантъ произноситъ съ благоговѣніемъ, Державинъ, вдохновенный пѣвецъ высокихъ истинъ, и въ зиму дней своихъ любилъ отдыхать со старцемъ Ѳеосскимъ. По слѣдамъ сихъ поэтовъ множество писателей отличились въ этомъ родѣ, по видимому, столь легкомъ, но въ самомъ дѣлѣ имѣющемъ великія трудности и преткновенія, особенно у насъ, ибо языкъ русскій, громкій, сильный и выразительный, сохранилъ еще нѣкоторую суровость и упрямство, несовершенно изчезающія даже подъ перомъ опытнаго таланта, поддержаннаго наукою и терпѣніемъ.

Главныя достоинства стихотворнаго слога суть движеніе, сила, ясность. Въ большихъ родахъ читатель, увлеченный описаніемъ страстей, ослѣплённый живѣйшими красками поэзіи, можетъ забыть недостатки и неровности слога и съ жадностію внимаетъ вдохновенному поэту или дѣйствующему лицу, имъ созданному. Во время представленія какой холодный зритель будетъ искать ошибокъ въ слогѣ, когда Полиникъ, лишенный вѣнца и внутренняго спокойствія въ слезахъ, въ отчаяніи, бросается къ стопамъ разгнѣваннаго Эдипа? Но сіи ошибки, поучительныя для дарованія, замѣчаетъ просвѣщенный критикъ въ тишинѣ своей учебной храмины: каждое слово, каждое выраженіе онъ взвѣшиваетъ на вѣсахъ строгаго вкуса, отвергаетъ слабое, ложно блестящее, невѣрное и научаетъ наслаждаться истинно прекраснымъ. Въ легкомъ родѣ поэзіи читатель требуетъ возможнаго совершенства, чистоты выраженія, стройности въ слогѣ, гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ и сохраненія строжайшаго приличія во всѣхъ отношеніяхъ; онъ тотчасъ дѣлается строгимъ судьею, ибо вниманіе его ничѣмъ сильно не развлекается; красивость въ слогѣ здѣсь нужна необходимо и ничѣмъ замѣниться не можетъ. Она есть тайна, извѣстная одному дарованію и особенно постоянному напряженію вниманія къ одному предмету, ибо поэзія и въ малыхъ родахъ есть искусство трудное, требующее всей жизни и всѣхъ усилій душевныхъ; надобно родиться для поэзіи; этого мало: родясь, надобно сдѣлаться поэтомъ въ какомъ бы то ни было родѣ.

Такъ-называемый эротическій и вообще легкій родъ поэзіи воспріялъ у насъ начало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ изчислять всѣхъ видовъ, раздѣленій и измѣненій легкой поэзіи, которая менѣе или болѣе принадлежитъ къ важнымъ родамъ; но замѣтимъ, что на поприщѣ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ нравственномъ мірѣ, ничто прекрасное не теряется, приноситъ со временемъ пользу и дѣйствуетъ непосредственно на весь составъ языка.

Стихотворная повѣсть Богдановича, первый и прелестный цвѣтокъ легкой поэзіи на языкѣ нашемъ, ознаменованный истиннымъ и великимъ талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія оживилась не увядающими цвѣтами выраженія; басни его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побѣждалъ его; басни Хемницера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумные, счастливые стихи превратились въ пословицы; стихотворенія Карамзина, исполненныя чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; гораціанскія оды Капниста; вдохновенныя страстію пѣсни Нелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мерзлякова; баллады Жуковскаго, сіяющія воображеніемъ, часто своенравнымъ, но всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, напитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ, посланія князя Долгорукова, исполненныя живости; нѣкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новѣйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ [1]), — всѣ сіи блестящія произведенія дарованія и остроумія менѣе или болѣе приближались къ желаемому совершенству, и всѣ—нѣтъ сомнѣнія—принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Такъ свѣтлые ручьи, текущіе разными излучинами по одному постоянному наклоненію, соединяясь въ долинѣ, образуютъ глубокія и обширныя озера; благодѣтельныя воды сіи не изсякаютъ отъ времени; напротивъ того, онѣ возрастаютъ и увеличиваются съ вѣками и вѣчно существуютъ для блага земли, ими орошаемой!

Въ первомъ періодѣ словесности нашей, со временъ Ломоносова, у насъ много написано въ легкомъ родѣ, но малое число стиховъ спаслось отъ общаго забвенія. Главною тому причиною можно положить не одинъ недостатокъ таланта или измѣ-

[1]) Смотри примѣчаніе А

ненie языка, но измѣненie самаго общества, бо̀льшую его образованность и, можетъ быть, большее просвѣщенie, требующiя отъ языка и писателей бо̀льшаго знанiя свѣта и сохраненiя его приличiй, ибо сей родъ словесности безпрестанно напоминаетъ объ обществѣ: онъ образованъ изъ его явленiй, странностей, предразсудковъ и долженъ быть яснымъ и вѣрнымъ его зеркаломъ. Бо̀льшая часть писателей, мною названныхъ, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина вѣка, столь благопрiятнаго наукамъ и словесности; тамъ заимствовали они эту людкость и вѣжливость, это благородство, которыхъ отпечатокъ мы видимъ въ ихъ творенiяхъ; въ лучшемъ обществѣ научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять всѣ условiя и отношенiя свѣтскiя и говорить ясно, легко и прiятно. Этого мало: всѣ сiи писатели обогатились мыслями въ прилежномъ чтенiи иностранныхъ авторовъ, иные — древнихъ, другiе — новѣйшихъ, и запаслись обильною жатвою словъ въ нашихъ старинныхъ книгахъ. Всѣ сiи писатели имѣютъ истинный талантъ, испытанный временемъ, истинную любовь къ лучшему, благороднѣйшему изъ искусствъ, къ поэзiи, и уважаютъ — смѣю утвердительно сказать — боготворятъ свое искусство, какъ лучшее достоянie человѣка образованнаго, истинный даръ Неба, который доставляетъ намъ чистѣйшiя наслажденiя посреди заботъ и тернiй жизни, который даетъ намъ то, что̀ мы называемъ безсмертiемъ на землѣ, мечту, прелестную для душъ возвышенныхъ!

Всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго. Въ словесности всѣ роды приносятъ пользу языку и образованности. Одно невѣжественное упрямство любитъ и старается ограничить наслажденiя ума. Истинная, просвѣщенная любовь къ искусствамъ снисходительна и, такъ сказать, жадна къ новымъ духовнымъ наслажденiямъ. Она ничѣмъ не ограничивается, ничего не желаетъ исключить и никакой отрасли словесности не презираетъ. Шекспиръ и Расинъ, драма и комедiя, древнiй экзаметръ и ямбъ, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Арiоста и Клопштока, столь различные по изобрѣтенiю

и формамъ, ей равно извѣстны, равно драгоцѣнны. Она съ любопытствомъ замѣчаетъ успѣхи языка во всѣхъ родахъ, ничего не чуждается, кромѣ того, что можетъ вредить правамъ, успѣхамъ просвѣщенія и здравому вкусу (я беру сіе слово въ обширномъ значеніи). Она съ удовольствіемъ замѣчаетъ дарованіе въ толпѣ писателей и готова ему подать полезные совѣты; она, какъ говоритъ поэтъ, готова обнять

Въ отважномъ мальчикѣ грядущаго поэта!

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастіе, никакіе предразсудки ей не извѣстны. Польза языка, слава отечества — вотъ благородная ея цѣль! Вы, мм. гг., являете прекрасный примѣръ, созывая дарованія со всѣхъ сторонъ безъ лицепріятія, безъ пристрастія. Вы говорите каждому изъ нихъ: Несите, несите свои сокровища въ обитель музъ, отверзтую каждому таланту, каждому успѣху; совершите прекрасное, великое, святое дѣло, обогатите, образуйте языкъ славнѣйшаго народа, населяющаго почти половину міра; поравняйте славу языка его со славою военною, успѣхи ума съ успѣхами оружія! Важныя музы подаютъ здѣсь дружественно руку младшимъ сестрамъ своимъ, и алтарь вкуса обогащается ихъ взаимными дарами.

И когда удобнѣе совершить желаемый подвигъ, въ какомъ мѣстѣ приличнѣе? Въ Москвѣ, столь краснорѣчивой и въ развалинахъ своихъ, близъ полей, ознаменованныхъ неслыханными доселѣ побѣдами, въ древнемъ отечествѣ славы и новаго величія народнаго!

Такъ! Съ давняго времени все благопріятствовало дарованію въ университетѣ Московскомъ, въ старшемъ святилищѣ музъ отечественныхъ. Здѣсь пламенный ихъ любитель съ радостію созерцаетъ слѣды просвѣщенныхъ и дѣятельныхъ покровителей. Имя Шувалова, перваго мецената русскаго, сливается здѣсь съ громкимъ именемъ Ломоносова. Между знаменитыми покровителями наукъ мы обрѣтаемъ Хераскова: творецъ Россіяды посѣщалъ сіи мирныя убѣжища; онъ покровительствовалъ сему разсаднику наукъ, онъ первый ободрялъ возникающій талантъ и

славу писателя соединилъ съ другою славою, не менѣе лестною для души благородной, не менѣе прочною, со славою покровителя наукъ. Муравьевъ, какъ человѣкъ государственный, какъ попечитель, принималъ живѣйшее участіе въ успѣхахъ университета, которому въ молодости былъ обязанъ своимъ образованіемъ [1]). Подъ руководствомъ славнѣйшихъ профессоровъ московскихъ, въ нѣдрахъ своего отечества онъ пріобрѣлъ сіи обширныя свѣдѣнія во всѣхъ отрасляхъ ума человѣческаго, которымъ нерѣдко удивлялись ученые иностранцы; за благодѣянія наставниковъ онъ платилъ благодѣяніями сему святилищу наукъ; имя его будетъ любезно сердцамъ добрымъ и чувствительнымъ, имя его напоминаетъ всѣ заслуги, всѣ добродѣтели. Ученость обширную, утвержденную на прочномъ основаніи, на знаніи языковъ древнихъ, рѣдкое искусство писать онъ умѣлъ соединить съ искреннею кротостію, съ снисходительностію, великому уму и добрѣйшему сердцу свойственною. Казалось, въ его видѣ посѣтилъ землю одинъ изъ сихъ геніевъ, изъ сихъ свѣтильниковъ философіи, которые нерѣдко рождались подъ счастливымъ небомъ Аттики, для разлитія практической и умозрительной мудрости, для утѣшенія и назиданія человѣчества краснорѣчивымъ словомъ и краснорѣчивѣйшимъ примѣромъ. Вы наслаждались его бесѣдою; вы читали въ глазахъ его живое участіе, которое онъ принималъ въ успѣхахъ и славѣ вашей; вы знаете всѣ заслуги сего рѣдкаго человѣка и... простите мнѣ нѣсколько словъ, въ его воспоминаніе чистѣйшею благодарностію исторгнутыхъ: я ему обязанъ моимъ образованіемъ и счастіемъ засѣдать съ вами, которое умѣю цѣнить, которымъ умѣю гордиться!

И этотъ человѣкъ столь рано похищенъ смертію съ поприща наукъ и добродѣтели! И онъ не былъ свидѣтелемъ великихъ подвиговъ боготворимаго имъ монарха и славы народной! Онъ не будетъ свидѣтелемъ новыхъ успѣховъ словесности въ счастливѣйшія времена для наукъ и просвѣщенія, ибо никогда, ни въ какое время обстоятельства не были имъ столько благопріятны.

[1]) Смотри примѣчаніе В.

Храмъ Януса закрытъ рукою побѣды, неразлучной сопутницы монарха. Великая душа его услаждается успѣхами ума въ странѣ, ввѣренной ему Святымъ Провидѣніемъ, и каждый трудъ, каждый полезный подвигъ щедро имъ награждается. Въ недавнемъ времени въ лицѣ славнаго писателя онъ ободрилъ всѣ отечественные таланты, и нѣтъ сомнѣнія, что всѣ благородныя сердца, всѣ патріоты съ признательностію благословляютъ руку, которая столь щедро награждаетъ полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, извѣстнаго и въ странахъ отдаленныхъ, и которымъ должно гордиться отечество. Правительство благодѣтельное и прозорливое, пользуясь счастливѣйшими обстоятельствами— тишиною внѣшнею и внутреннею государства, отверзаетъ снова всѣ пути къ просвѣщенію. Подъ его руководствомъ процвѣтутъ науки, художества и словесность, коснѣющія посреди шума военнаго; процвѣтутъ всѣ отрасли, всѣ способности ума человѣческаго, которыя только въ неразрывномъ и тѣсномъ союзѣ ведутъ народы къ истинному благоденствію и славу его дѣлаютъ прочною, незыблемою. Самая поэзія, которая питается ученіемъ, возрастаетъ и мужаетъ наравнѣ съ образованіемъ общества, поэзія принесетъ зрѣлые плоды и доставитъ новыя наслажденія душамъ возвышеннымъ, рожденнымъ любить и чувствовать изящное. Общество приметъ живѣйшее участіе въ успѣхахъ ума, и тогда имя писателя, ученаго и отличнаго стихотворца не будетъ дико для слуха; оно будетъ возбуждать въ умахъ всѣ понятія о славѣ отечества, о достоинствѣ полезнаго гражданина. Въ ожиданіи сего счастливаго времени мы совершимъ все, что̀ въ силахъ совершить. Дѣятельное покровительство блюстителей просвѣщенія, которымъ сіе общество обязано существованіемъ; рвеніе, съ которымъ мы приступаемъ къ важнѣйшимъ трудамъ въ словесности; безпристрастіе, которое мы желаемъ сохранить посреди разногласныхъ мнѣній, еще не просвѣщенныхъ здравою критикою, все обѣщаетъ намъ вѣрные успѣхи, и мы достигнемъ, по крайней мѣрѣ приближимся къ желаемой цѣли, одушевленные именами пользы и славы, руководимые безпристрастіемъ и критикою.

Примѣчанія.

a) Похвала или порицаніе частнаго человѣка не есть приговоръ общественнаго вкуса. Исчисляя стихотворцевъ, отличившихся въ легкомъ родѣ поэзіи, я старался сообразоваться со вкусомъ общественнымъ. Можетъ быть, я во многомъ и ошибся, но мнѣніе мое сказалъ чистосердечно, и читатель скорѣе обличитъ меня въ невѣжествѣ, нежели въ пристрастіи. Надобно имѣть нѣкоторую смѣлость, чтобы порицать дурное въ словесности: но едва ли не потребно еще болѣе храбрости тому, кто вздумаетъ хвалить то, что̀ истинно достойно похвалы.

b) Добро никогда не теряется, особливо добро, сдѣланное музамъ: онѣ чувствительны и благодарны. Онѣ записали въ скрижали славы имена Шувалова, графа Строгонова и графа Н. П. Румянцева, который и понынѣ удостоиваетъ ихъ своего покровительства. Какое доброе сердце не замѣтитъ съ чистѣйшею радостію, что онѣ осыпали цвѣтами гробницу Муравьева? Ученый Рихтеръ, почтенный сочинитель Исторіи медицины въ Россіи, въ прекрасной рѣчи своей, говоренной имъ въ Московской медико-хирургической академіи, и г. Мерзляковъ, извѣстный профессоръ Московскаго университета, въ предисловіи къ Виргиліевымъ Эклогамъ, упоминали о немъ съ чувствомъ, съ жаромъ. Нѣкоторые стихотворцы, изъ числа ихъ г. Воейковъ въ посланіи къ Эмилію и г. Буринскій, слишкомъ рано похищенный смертію съ поприща словесности, говорили о немъ въ стихахъ своихъ. Послѣдній, оплакавъ кончину храбраго генерала Глѣбова, продолжаетъ:

О, Провидѣніе, роптать я не дерзаю,
Но — слабый — не могу не плакать предъ тобой!...
Тамъ въ славѣ, въ счастіи злодѣя созерцаю —
Здѣсь вянетъ, какъ трава, мужъ кроткій и благой!
Слезъ горестныхъ потокъ еще не осушился,
Еще мы.. Злобный рокъ на вѣки насъ лишилъ
Того, кто счастіемъ Парнасса веселился.

. . . . ,

Гдѣ ты, о, Муравьевъ, прямое украшенье,
Парнасса русскаго любитель, нѣжный другъ?
Увы, зачѣмъ среди стези благотворенья,
Какъ въ добродѣтеляхъ мужалъ твой кроткій духъ,
Ты рано похищенъ отъ нашихъ ожиданій?
Гдѣ страсть твоя къ добру, сей душъ избранныхъ даръ?
Гдѣ рано собранно сокровище познаній?
Гдѣ, гдѣ усердія въ груди горѣвшій жаръ
Служить отечеству, сіяя средь немногихъ,
Прямыхъ его сыновъ, творившихъ честь ему?
Любезность разума и прелесть нравовъ кроткихъ,
Изчезло все!... Увы, честь праху твоему!

XVIII.

Чужое—мое сокровище [1]).

1817.

Деревня—лѣтомъ.

Во множествѣ старѣйшинъ ставай, и аще кто премудръ тому прилѣпися: всяку повѣсть божественную восхощи слышати, и притчи разума да не убѣжатъ тебѣ! Аще узриши разумна, утренюй къ нему, и степени дверей его да третъ нога твоя.

Іисуса сына Сирахова.

Іюля 20 1817 г.

Сію минуту узнаю о смерти графа Павла Александровича Строгонова. Я съ нимъ провелъ десять мѣсяцевъ въ снѣгахъ финляндскихъ. Потомъ онъ не переставалъ меня любить: никогда не забуду его снисхожденій. Покойся съ миромъ, человѣкъ тихій и кроткій!

---

[1]) Подъ такимъ заглавіемъ сохранилась записная книжка К. Н. Батюшкова, въ которую онъ, въ 1817 году, вносилъ выписки изъ того, что̀ читалъ, и свои замѣтки по поводу прочитаннаго, а также нѣкоторыя свои мысли и воспоминанія. Въ настоящемъ изданіи напечатаны всѣ эти замѣтки, но простыя выписки не помѣщены. На оборотѣ верхней доски переплета записной книжки написано:

Что писать въ прозѣ.

Опытъ объ открытіи Исландіи. Буле. Поэма Скандинавы Монброна. **Писаревъ.**

О сочиненіи Радищева.

Когда васъ нѣтъ (грацій), храня музыка дремлетъ,
И живопись нахмуренъ видъ пріемлетъ,
А гордая архитектура—грузъ.
Поэзія души не восхищаетъ,
И танцы всѣ—лишь шарканье ногой.

Княжнинъ

Надобно, чтобы въ душѣ моей никогда не погасла прекрасная страсть къ прекрасному, которое столь привлекательно въ искусствахъ и въ словесности; но не должно пресытиться имъ. Всему есть мѣра. Творенія Расина, Тасса, Виргилія, Аріоста плѣнительны для новой души: счастливъ—кто умѣетъ плакать, кто можетъ проливать слезы удивленія въ тридцать лѣтъ. Горацій просилъ, чтобы Зевесъ прекратилъ его жизнь, когда онъ учинится безчувственъ ко звукамъ лѣръ. Я очень его понимаю молитву....

Я нашелъ въ Россіядѣ мѣсто, которое мнѣ очень понравилось; не помню, было ли оно замѣчено Мерзляковымъ. Іоаннъ (пѣснь VIII-я) на походѣ, утомленный зноемъ и зрѣлищемъ гибнущихъ воиновъ, засыпаетъ. Правда, стихи иные вялы, все растянуто; но въ этихъ растянутыхъ членахъ узнаешь поэта:

И нощь кругомъ его простерла черны тѣни;
На перси томную склоняетъ царь главу
И зритъ во смутномъ снѣ, какъ будто на яву:
Мечтается ему, что мракъ густой рѣдѣетъ,
Что облакъ огненный, сходя на землю, рдѣетъ,
Сокрылись звѣзды вдругъ, затмилася луна,
И всюду страшная простерлась тишина.
Багрово облако къ герою приближалось;
Упало передъ нимъ и вскорѣ разбѣжалось....
Видѣнье чудное исходитъ изъ него:
Серпомъ луна видна среди чела его,

Что-нибудь объ искусствахъ, напримѣръ, опытъ о русскомъ ландшафтѣ. Смотри Геслера о ландшафтѣ, Гиршфельда и проч. О баталіяхъ. О рисункѣ карандашемъ и проч.

О войнѣ и баталіяхъ относительно къ живописи и поэзіи.

Что-нибудь о нѣмецкой литературѣ. По крайней мѣрѣ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что я прочиталъ.

Въ десницѣ держитъ мечъ, простертый къ оборонѣ
Онъ видится сидящъ на пламенномъ драконѣ;
Великій свитокъ онъ въ другой рукѣ держалъ.....

За симъ нѣсколько стиховъ столь вялыхъ, столь плоскихъ, что я не имѣю духа переписать. Наконецъ, заговорилъ Магометъ или видѣніе. Рѣчь его вообще достойна эпопеи и напоминаетъ замашку самого Тасса:

«О царь! . . . .
«Печали вкругъ тебя сливаются какъ море,
«И ты въ чужой землѣ погибнешь съ войскомъ вскорѣ,
«Погаснетъ счастіе и слава здѣсь твоя.
«Тебя забылъ твой Богъ, могу избавить я!
«Могу, когда свой мракъ отъ сердца ты отгонишь,
«Забывъ отечество, ко мнѣ главу преклонишь.
«Такимъ ли Іоаннъ владѣньемъ дорожитъ,
«Гдѣ мракъ шесть мѣсяцевъ и снѣгъ въ поляхъ лежитъ,
«Гдѣ солнце косвенно лучами землю грѣетъ,
«Гдѣ сладкихъ нѣтъ плодовъ, гдѣ тернъ единый зрѣетъ,
«Гдѣ царствуетъ во всей свирѣпости Борей!
«Страна твоя—не тронъ, темница для царей.
«Отъ снѣжныхъ водъ и горъ, отъ сей всегдашней ночи
«На полдень обрати къ зарѣ вечерней очи,
«Къ востоку устреми вниманіе и взоръ:
«Тамъ первый встрѣтится твоимъ очамъ Босфоръ,
«Тамъ гордые стоятъ моихъ любимцевъ троны,
«Дающихъ греческимъ невольникамъ законы;
«Тобою чтимые угасли алтари:
«Познай и мочь мою, и власть, и силу зри!
«Съ священнымъ трепетомъ тобой гробница чтима
«Подъ стражею моей лежитъ въ стѣнахъ Салима;
«И Газа древняя, Азоръ, и Аскалонъ,
«Геѳана, Виѳлеемъ, Іорданъ и Ахаронъ
«Передъ лицемъ моимъ колѣна преклонили.
«Мои рабы твой крестъ, Давидовъ градъ плѣнили;
«Не страхомъ волю ихъ, я волей побѣдилъ:
«Ихъ мысли, ихъ сердца, ихъ чувства усладилъ.
«Я отдалъ веси имъ, исполнены прохлады,
«Гдѣ вкусные плоды, гдѣ сладки винограды,
«Гдѣ воздухъ и земля рождаютъ ѳиміамъ.
«Вода родитъ жемчугъ, пески златые тамъ;
«Тамъ чистое сребро, тамъ бисеры безцѣнны;
«Поля стадами тамъ и жатвой покровенны.
«Полсвѣта я моимъ любимцамъ отдѣлилъ:
«Богатый отдалъ Ормъ и многоводный Нилъ.
«И поднебесную вершину Арбарима,

«Отколѣ Ханаанъ и Палестина зрима,
«Божественный Сіонъ, израильтянскій градъ,
«И млекоточный Тигръ, и сладостный Евфратъ:
«Тѣ воды, что̀ эдемъ цвѣтущій напояли,
«Гдѣ солнечны лучи впервые возсіяли.
«Въ вечерней жители и въ западной странѣ
«Меня пророкомъ чтутъ, приносятъ жертвы мнѣ!
«Склонись и ты, склонись! Я жизнь твою прославлю,
«Печали отжену и миръ съ тобой поставлю;
«Я вѣтры тихіе на полнощь обращу,
«Стихіи на тебя возставши укрощу,
«Украшу твой вѣнецъ, вручу тебѣ державы...
. . . .
«Послѣдуй, царь, за мной, дай руку мнѣ твою». . .

Царь поднялъ мечъ, и видѣніе изчезло... Херасковъ прибавляетъ: «Безбожіе то было!» и потомъ: «Целена ввергнула въ подобный страхъ Енея!» Вотъ какъ онъ самъ все, что̀ ни создастъ въ счастливую минуту, разрушитъ! Но рѣчь Магометова по истинѣ прекрасна, краснорѣчива! Власть, которую онъ предлагаетъ несчастному царю, имена южныхъ городовъ и областей, это все достойно эпопеи. Впрочемъ—замѣчу про себя—я не знаю скучнѣе и холоднѣе поэмы. Она вяла, утомительна; въ слогѣ видѣнъ и недостатокъ мыслей, чувствъ, и вездѣ какая-то дрожь. А планъ... стыдно и говорить о немъ!

Изъ комментарій на Энеиду, переводъ Делиля.

«On a souvent dit que depuis l'invention de la poudre, depuis que les hommes ne se pressent plus corps à corps sur un champ de bataille, les tableaux de la guerre fournissent moins de descriptions à la poésie. Cette assertion restera sans réponse jusqu'à ce qu'un poète de génie se soit lui-même trouvé sur un champ de bataille, et qu'il ait entendu les coups redoublés de la mousqueterie et les éclatantes détonations du canon. Quoi de plus imposant, en effet, que ces lignes immenses, hérissées d'armes brillantes, qui se meuvent à la fois, que la fumée couvre tout à coup, et que des feux pareils à ceux de la foudre éclairent par

intervalles? Ajoutez-y le sifflement des balles, celui du boulet meurtrier, qui frappe la terre et prend un nouvel essor; les éclats de l'obus, qui porte au loin ses ravages; la marche imposante de la bombe enflammée qui descend jusqu'aux entrailles de la terre, et dont les éclats, semblables à l'éruption d'un volcan, soulèvent les plus vastes édifices».

А я скажу рѣшительно, что (кромѣ нравовъ) сраженія новѣйшія живописнѣе древнихъ, и потому болѣе способны къ поэзіи. У насъ же есть казаки, которые могутъ играть великую ролю: у нихъ сабля и пика. У насъ Башкиры, Черкесы, Татары; у насъ Поляки, Нѣмцы. У насъ... у насъ... у насъ...

* *
*

Надобно писать: непоколебимый, а не неколебимый, такъ какъ пишутъ непотресаемый, а не нетресаемый.

Шуваловъ, меценатъ Ломоносова, назывался Иваномъ Ивановичемъ. Шуваловъ поэтъ—Андрей Петровичъ.

Добрая Лисица

Крылова.

Стрѣлокъ весной малиновку убилъ.
Ужъ пусть бы кончилось на ней несчастье злое!
Но нѣтъ, за ней должны еще погибнуть трое:
Онъ бѣдныхъ трехъ ея птенцовъ осиротилъ.
Едва изъ скорлупы, безъ смыслу и безъ силъ,
Малютки терпятъ голодъ
И холодъ
И пискомъ жалобнымъ зовутъ напрасно мать.
«Какъ можно не страдать,
«Такое горе видя!»
Лисица птицамъ говоритъ,
На камушкѣ противъ гнѣзда сиротокъ сидя,—
«Не киньте, милые, безъ помощи дѣтей,
«Хотя по зернышку бѣдняжкамъ вы снесите,
«Хоть по соломенкѣ къ ихъ гнѣздышку приткните,

«Вы этимъ жизнь ихъ сохраните;
«Что дѣла добраго святѣй!
«Кукушка, посмотри, вѣдь ты и такъ линяешь;
«Не лучше ль дать себя немного ощипать
«И перьемъ бы твоимъ постельку ихъ устлать.
«Вѣдь попусту жъ его ты растеряешь!
«Ты, жаворонокъ, чѣмъ по верхамъ
«Тебѣ кувыркаться, кружиться,
«Ты бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамъ,
«Чтобъ съ сиротами подѣлиться.
«Ты, горленка, твои птенцы ужь подросли,
«Промыслить кормъ они и сами бы могли;
«Такъ ты бы съ своего гнѣзда слетѣла,
«Да вмѣсто матери къ малюткамъ сѣла,
«А дѣтокъ бы твоихъ пусть Богъ
«Берегъ.
«Ты бъ, ласточка, ловила мошекъ
«Полакомить безродныхъ крошекъ;
«А ты бы, милый соловей,
«Когда птеняточекъ ко сну потянетъ,
«Межъ тѣмъ какъ съ гнѣздышкомъ зефиръ качать ихъ станетъ,
«Ты бъ прибаюкивалъ ихъ пѣсенкой своей.
«Такою нѣжностью, я твердо вѣрю,
«Вы бъ замѣнили имъ ихъ горькую потерю.
«Послушайте меня: докажемъ, что въ лѣсахъ
«Есть добрыя сердца, и что...» При сихъ словахъ,
Малютки бѣдныя всѣ трое,
Не могши съ голоду сидѣть въ покоѣ,
Попадали къ лисѣ на низъ.
Что жъ кумушка? Тотчасъ ихъ съѣла
И поученья не допѣла.
Читатель, не дивись:
Кто добръ по истинѣ, не распложая слова,
Въ молчаньи тотъ добро творитъ;
А кто про доброту лишь въ уши всѣмъ жужжитъ,
Тотъ часто только добръ на счетъ другаго,
За тѣмъ, что въ этомъ нѣтъ убытку никакого.
На дѣлѣ же почти такіе люди всѣ
Сродни моей лисѣ.

Безъ сомнѣнія, эта одна изъ лучшихъ басенъ Крылова. Изобрѣтеніе, разсказъ, слогъ, здѣсь все прелестно. Краснорѣчіе лисы убѣдительно, и послѣдняя черта — chef-d'oeuvre: «И поученья не допѣла!»

Симонидъ.

Сокращено изъ Анахарсиса.

Симонидъ, сынъ Леопрепеса, родился въ Цеосѣ. Онъ заслужилъ уваженіе царей, мудрецовъ и великихъ людей своего времени. Изъ сего числа былъ Гиппархій Аѳинскій, Павзаній, царь Лакедемонскій, гордящійся побѣдами надъ Персами, Алевій, царь Ѳессаліи, Гіеронъ, въ началѣ тиранъ Сиракузы, потомъ отецъ подданныхъ своихъ, и наконецъ, Ѳемистоклъ, хотя не царь родомъ, но побѣдившій сильнѣйшаго изъ царей.

Греческіе владѣльцы любили окружать тронъ свой талантами во всѣхъ родахъ. Имъ нравились острыя слова: Симонидовы и до сихъ поръ славны.

За столомъ Павзанія находился Симонидъ. Царь требуетъ у него философическаго изреченія. «Помни, что ты человѣкъ», говоритъ ему Симонидъ. Павзаній не нашелъ ничего остраго въ семъ отвѣтѣ. Но въ злополучіи, его постигшемъ, онъ позналъ всю истину его, истину ужасную, о которой цари очень рѣдко памятуютъ.

Симонидъ былъ поэтъ-философъ. Счастливое сліяніе сихъ свойствъ сдѣлало полезными его дарованія и мудрость его любезною. Слогъ его, исполненный сладости, простъ, плавенъ и по мастерскому составленію словъ удивителенъ. Онъ воспѣвалъ похвалу богамъ, побѣды Грековъ надъ Персами, тріумфы бойцовъ на ристалищѣ. Стихами описывалъ царствованія Камбиза и Дарія, испыталъ силы свои во всѣхъ родахъ поэзіи и отличился особенно въ элегіаческой и въ жалобныхъ пѣсняхъ. Никто лучше его не владѣлъ искусствомъ, прелестнымъ и возвышеннымъ искусствомъ исторгать слезы; никто лучше его не описывалъ положенія несчастія, жалость пробуждающія. Не его слышимъ — слезы и стенанія злополучія, семейство, оплакивающее потерю отца или сына. То видимъ Данаю, нѣжную мать, борющуюся съ младенцемъ противъ волнъ разъяренныхъ: бездны зіяютъ окрестъ несчастной, и ужасъ смерти въ сердцѣ ея. То видимъ

Ахилла, исходящаго изъ пыльной гробницы: онъ предвѣщаетъ Грекамъ, оставляющимъ берега Иліи, злополучія, небомъ и морями уготованныя.

«Ces tableaux, que Simonide a remplis de passion et de mouvement, sont autant de bienfaits pour les hommes; car c'est leur rendre un grand service, que d'arracher de leurs yeux ces larmes précieuses qu'ils versent avec tant de plaisir, et de nourrir dans leur coeur ces sentiments de compassion destinés par la nature à les rapprocher les uns des autres, et les seuls en effet qui puissent unir des malheureux».

Характеръ человѣка имѣетъ вліяніе на его мнѣнія, и потому философія Симонида была тихая и скромная. Система оной, судя по сочиненіямъ его и нѣкоторымъ правиламъ, заключалась въ слѣдующихъ изрѣченіяхъ: «Не станемъ измѣрять глубину Верховнаго Существа: довольствуемся знаніемъ, что все исполняется по его волѣ: онъ одинъ истинно добродѣтеленъ. Люди имѣютъ слабый лучъ добродѣтели, и то отъ благости его. Да не хвалятся совершенствомъ, котораго имъ не достигнуть. Добродѣтель витаетъ посреди скалъ неприступныхъ. Трудами, безпрестанными усиліями человѣки приближаются къ оной, но вскорѣ тысячи случаевъ разнородныхъ увлекаютъ ихъ въ зіяющую бездну. Итакъ, жизнь ихъ есть сліяніе зла съ добромъ. Трудно быть часто добродѣтельнымъ; не возможно быть таковымъ вѣчно. Станемъ съ радостію хвалить прекрасныя дѣянія; отклонимъ очи отъ дѣяній недостойныхъ, или потому, что преступный намъ дорогъ, или потому, что мы должны быть снисходительны къ человѣку. Зачѣмъ порицать его? Вспомнимъ, что онъ весь — слабость, что судьбы назначили ему явиться на землѣ на одну минуту, а въ лонѣ ея вѣчно. Время летитъ: тысячи вѣковъ въ сравненіи съ вѣчностію малая точка, или малѣйшая часть малѣйшей точки. Употребимъ же сіи летящія минуты въ пользу; станемъ наслаждаться благами; первыя изъ нихъ суть здравіе, красота и богатства, честно стяжанныя. Изъ нихъ-то скромнаго употребленія пускай рождается сіе малое наслажденіе (voluptas),

безъ коего и жизнь, и почести, и самая вѣчность не могутъ льстить нашимъ желаніямъ».

Симонидъ нерѣдко во зло употреблялъ свои правила и помрачилъ себя гнуснымъ корыстолюбіемъ. Умеръ въ глубокой старости. Греки хвалили его за блескъ, который онъ придалъ празднествамъ острова Цеоса, за то, что прибавилъ восьмую струну къ лирѣ, за то, что изобрѣлъ способъ искусственной памяти. Но слава его основана на томъ, что онъ давалъ полезные совѣты царямъ: онъ былъ орудіемъ благоденствія Сициліи, исторгнувъ Гіерона изъ заблужденій его; онъ заставилъ его жить въ покоѣ съ сосѣдями, съ подданными, съ самимъ собою.

Séneque.

«On se rassemble autour du riche, comme au bord d'un lac, pour y puiser et le troubler. N'allez donc pas juger un homme heureux pour avoir une cour nombreuse...

«Il faut une grande âme pour juger les grandes choses, sans quoi nous leur attribuerons un vice qui vient de nous. Les objets les plus droits, baissés vers la surface de l'eau, renvoient à l'oeil une image courbe et qui parait brisée...

. . . . «Le malheur n' écrase qu'un seul; et la crainte, les autres. L'idée d'être exposé à de pareils malheurs produit le même effet que si on les eût éprouvés. Tous les esprits sont alarmés des maux soudains qui arrivent aux autres. Si les oiseaux sont effrayés par le son même d'une fronde vuide, nous tressaillons comme eux au seul bruit des événemens dont nous ne sentons pas les coups.

«Tant que la vertu vous restera, vous ne sentirez pas les pertes que vous aurez éprouvées».

Вообще стоики полагали, что нечувствительность, совершенное безстрастіе есть высочайшая степень добродѣтели. Епиктетъ говоритъ: «Если ты любишь глиняный горшокъ, такъ повторяй же себѣ: я люблю глиняный горшокъ. Онъ сломаться можетъ, а ты не долженъ сокрушаться. Ты любишь сына или жену,—

такъ повторяй себѣ: я люблю существа смертныя. Они могутъ умереть, но ты не долженъ плакать о нихъ. Если ты видишь, что кто-нибудь плачетъ о потерѣ сына, не полагай его несчастливымъ. Не откажись, однако, плакать съ нимъ, если это необходимо нужно, но берегись, чтобы жалость твоя притворная не перешла въ душу твою и ея не возмутила». Маркъ Аврелій, сей вѣчанный стоикъ, говоритъ и болѣе того: «Не плачь съ тѣми, которые плачутъ, и ничѣмъ не трогайся». Это совершенно противно словамъ нашего Божественнаго Учителя.

Стоики желали сосредоточить человѣка въ себѣ, отторгнуть его отъ общества: это разрушаетъ истинные законы добродѣтели, которые учатъ насъ помогать другъ другу, сострадать. Безстрастіе можетъ быть полезно человѣку частно; но оно есть родъ нѣкотораго преступленія въ обществѣ.

* *
*

Платонова система по Сенекѣ.

Je vais suivre le six classes d'êtres, suivant Platon. La première n'en contient qu'un, et cet être n'est perceptible ni à la vue, ni au toucher, ni à aucun de nos sens; il n'est qu'intelligible, parce qu'il n'existe qu'en abstraction. Ainsi l'homme abstrait ne frappe point la vue; mais il la frappe s'il est individualisé, comme Cicéron et Caton. L'animal abstrait ne se voit pas non plus, mais se conçoit; les individus sont visibles, comme tel cheval, tel chien, etc.

Существо втораго разряда (classe) превосходитъ всѣ другія существа: оно есть лучшее существо, высшее. Названіе поэта, общее всѣмъ стихотворцамъ, означаетъ только одного: когда говорятъ поэтъ у Грековъ, то они понимаютъ подъ симъ названіемъ одного Гомера. Сіе лучшее, сіе верховное существо есть Богъ, величайшее, сильнѣйшее изъ всѣхъ существъ.

Третій классъ заключаетъ тѣ существа, которыя имѣютъ свойственное имъ только существованіе; они безчисленны, но незримы. Кто же они? Собственныя творенія Платона; онъ на-

зываетъ ихъ идеями безсмертными, незыблемыми, нетлѣнными; онѣ суть образы всѣхъ тѣлъ. И вотъ дефиниція имъ: Идея, слѣдуя Платону, есть архетипъ вѣчный всѣхъ твореній натуры. Примѣръ: я хочу писать съ тебя портретъ; ты—образецъ, модель; у тебя заимствую черты, которыя перейдутъ въ мое дѣло (ouvrage). Итакъ, сіе лицо, которое я разсматриваю, созерцаю, которое управляетъ моею кистью, котораго я стараюсь схватить сходство, есть то, что̀ Платонъ называетъ идеею. Натура переполнена подобныхъ образовъ, по коимъ она образуетъ всѣ свои творенія.

Въ четвертомъ классѣ эидосъ. Удвойте вниманіе ваше, восклицаетъ Сенека;—если матерія слишкомъ отвлеченною вамъ покажется, то не вините меня, а Платона: тонкія мысли всегда трудны. Вы помните: я употребилъ сравненіе съ живописцемъ. Онъ смотрѣлъ на Виргилія, желая списать съ него портретъ; итакъ, Виргиліево лицо было идея, то-есть, модель, образецъ картины. Черты, переведенныя имъ или похищенныя отъ лица, суть эидосъ. Теперь, спрашиваю: какая разница между идеею и эидосомъ? Первая есть образецъ, второй—то, что̀ переходитъ отъ образца въ копію. Артистъ подражаетъ первой и самъ творитъ другое. Статуя имѣетъ черты, ей свойственныя: вотъ эидосъ. Модель имѣетъ физіогномію, которая руководствовала рѣзцомъ ваятеля: вотъ идея. Другая отлика: эидосъ—въ твореніи, идея—внѣ творенія; она—даже предшественница онаго.

Въ пятомъ классѣ существа, имѣющія только обыкновенное (грубое) существованіе. Мы принадлежимъ къ оному и звѣри, и всѣ тѣла.

Шестый составленъ изъ существъ, имѣющихъ одну тѣнь существованія, какъ напримѣръ, время, пустота. Все, что̀ мы видимъ, осязаемъ, не имѣетъ собственнаго существованія. Безпрестанныя истеченія, втеченія измѣняютъ, увеличиваютъ или уменьшаютъ оное. Кто подобенъ себѣ въ старости? На утро уже не тотъ, что̀ былъ вчера. Тѣла наши суть рѣки протекающія. Время бѣжитъ, и съ нимъ всѣ тѣла, подлежащія нашимъ

чувствамъ. Все измѣняется, ничто не постоянно. Я говорю: все измѣняется, и говоря это, самъ измѣняюсь. (NB. Не знаю, есть ли это въ Платонѣ, но этотъ оборотъ Сенеки очень живъ и живописенъ). И вотъ почему справедливо сказалъ Гераклитъ, что два раза не купаемся въ одной рѣкѣ: ей остается одно имя, вода прежняя утекла. Это измѣненіе чувствительнѣе въ рѣкѣ, нежели въ человѣкѣ; но потокъ, насъ увлекающій, не менѣе сего быстръ, и я не могу понять глупости нашей, взирая, съ какимъ пристрастіемъ мы любимъ наше тѣло преходящее, когда каждая минута есть смерть нашего первобытнаго состоянія. Весь міръ измѣняется, перерождается, и пр. и пр. и пр.

Къ чему это, къ чему сіи тонкости? восклицаетъ Сенека.— Это увеселеніе практическаго философа. Но, продолжаетъ онъ,— изъ сего увеселенія можно извлечь пользу. Идеи Платоновы могутъ насъ утвердить въ добродѣтели, укротить страсти, ибо онѣ открываютъ намъ великую истину, что всѣ предметы, возбуждающіе, увеселяющіе наши страсти, не имѣютъ существованія. Это образы легкіе, не твердые, не постоянные, и мы желаемъ обладать оными! Слабыя, ломкія существа, мы дышимъ одну минуту; итакъ, употребимъ ее на возвышеніе къ вѣчности, къ предметамъ величественнымъ. Станемъ созерцать сіи формы всѣхъ вещей, сіи формы, летающія въ пространствѣ. (NB. Ничего опять не понимаю, а чувствую только, что это прекрасно). Посреди ихъ Богъ, существо благое, которое спасаетъ міръ отъ разрушенія, міръ — увы! — не вѣчный и пр. Богъ спасаетъ міръ отъ разрушенія; мы должны спасать отъ онаго наше тѣло. Какъ? Укрощеніемъ страстей и пр. Платонъ— примѣръ намъ: онъ достигъ до глубокой старости, побѣждая страсти, укрощая гнѣвъ, ненависть, любовь и пр.

* *
*

Мое.

Я замѣтилъ, что посреди великихъ чувствъ дружбы и любви имѣются какія-то искры эгоизма, которыя рано или поздно раз-

горяются и дружбу и любовь пожираютъ. Одна добродѣтель, но твердая и постоянная и дѣятельная, можетъ погасить ихъ.

Сенека, разъѣзжая въ дурной повозкѣ въ окрестностяхъ пышнаго Рима, краснѣлъ, когда встрѣчалъ богатыхъ людей. «Кто краснѣетъ отъ худой повозки», воскликнулъ онъ,—«будетъ гордиться богатою колесницею!» Avis au lecteur, à celui plutôt qui vient de transcrire le passage de Sénèque.

У Сенеки было несчетное множество костяныхъ столовъ: посудите о его богатствѣ; вѣрить ли похвалѣ его бѣдности? Лагарпъ на него жестоко нападаетъ, а изъ комментаторовъ Юстъ-Липсій. Справлюсь съ ними. Но Лагарпу нельзя во всемъ вѣрить: онъ человѣкъ пристрастный. Дидеротъ пожаловалъ Сенеку въ Сократы,—то какъ не бранить его Лагарпу?

Чѣмъ болѣе читаю Сенеку, тѣмъ болѣе нахожу, что онъ похожъ на Шатобріана: Шатобріанъ—Сенека въ христіанствѣ по слогу, по душѣ, не смѣю сказать по поведенію.

Петербургская жизнь.

Квартира	500
Дрова, освѣщеніе и чай	500
Трое людей.	500
Кушанье	1000
Платье	1000
Экипажъ въ разныя времена	1000
Издержки непредвидѣнныя	1000
	5500

Если устрою дѣла мои, какъ желается, то могу имѣть до семи тысячь. О. милая независимость! Но когда, какъ? Всѣ силы употреблю. Будь мнѣ благопріятно, Провидѣніе!

Мая 3-го 1817.

Болѣзнь моя не миновала, а немного затихла. Кругомъ мрачное молчаніе, домъ пусть, дождикъ накрапываетъ, въ саду

скукою. Что дѣлать? Все прочиталъ, что было, даже Вѣстникъ Европы. Давай вспоминать старину. Давай писать на бѣло impromptu безъ самолюбія, и посмотримъ что выльется; писать такъ скоро, какъ говоришь, безъ претензій, какъ мало авторовъ пишутъ, ибо самолюбіе всегда за полу дергаетъ и на мѣсто перваго слова заставляетъ ставить другое. Но Монтань писалъ, какъ на умъ приходило ему. Вѣрю. Но Монтань — человѣкъ истинно необыкновенный. Я сравниваю его умъ съ запруженнымъ источникомъ: поднимите шлюзу, и вода хлынетъ и течетъ безпрестанно, пѣнясь, кипя, течетъ всегда чистая, всегда здоровая — отъ чего? Отъ того, что резервуаръ былъ обиленъ. Съ маленькимъ умомъ, съ вялымъ и небыстрымъ, каковъ мой, писать прямо на бѣло очень трудно, но сегодня я въ духѣ и хочу сдѣлать tour de force. Перо немного разсѣетъ тоску мою. Итакъ... Но вотъ ужъ я и въ тупикъ сталъ. Съ чего начать? О чемъ писать? Отдавать себѣ отчетъ въ протекшемъ, описывать настоящее и планы будущаго. Но это — признаться — очень скучно. Говорить о протекшемъ хорошо на старости, и то великимъ людямъ или богатымъ передъ наслѣдниками, которые изъ снисхожденія слушаютъ:

On en vaut mieux quand on est écouté.

Что говорить о настоящемъ! Оно едва ли существуетъ. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно съ нѣкотораго времени! Итакъ, пиши о чемъ-нибудь; разсуждай! Разсуждать нѣсколько разъ пробовалъ, но мнѣ что-то все не удается: для меня, говорятъ добрые люди, — разсуждать все равно, что иному умничать. Это больно. Отъ чего я не могу разсуждать?

Первый резонъ: малъ ростомъ.

2-й » не довольно дороденъ.

3-й » разсѣянъ.

4-й » слишкомъ снисходителенъ.

5-й » ничего не знаю съ корня, а одни вершки, даже и въ поэзіи, хотя цѣлый вѣкъ блѣднѣю надъ риомами.

6-й резонъ: не чиновенъ, не знатенъ, не богатъ.
7-й » не женатъ.
8-й » не умѣю играть въ бостонъ и въ вистъ.
9-й » ни въ шахъ и матъ.
10-й »
11-й » Послѣ придумаю остальные резоны, по которымъ разсудокъ заставляетъ меня смиряться. Но писать надобно. Мнѣ очень скучно безъ пера. Пробовалъ рисовать — не рисуется; писать вензеля—теперь ни въ кого не влюбленъ; что же дѣлать, научите добрые люди, а говорить не съ кѣмъ. Не знаю, какъ помочь горю. Давай подумаю. Кстати, вспомпнаю чужія слова—Вольтера, помнится: et voilà comme on écrit l'histoire! Я вспомнилъ ихъ машинально, почему не знаю, а эти слова заставляютъ меня вспомнить о томъ, чему я бывалъ свидѣтелемъ въ жизни моей, и что̀ видѣлъ послѣ въ описаніи. Какая разница, Боже мой, какая! Et voilà comme on écrit l'histoire!

Простой ратникъ, я видѣлъ паденіе Москвы, видѣлъ войну 1812, 13 и 14, видѣлъ и читалъ газеты и современныя исторіи. Сколько лжи! И вотъ тому примѣръ въ Сѣверной Почтѣ.

Мы были въ Эльзасѣ. Раевскій командовалъ тогда гренадерами. Призываетъ меня вечеромъ кой о чемъ поболтать у камина. Войско было тогда въ совершенномъ бездѣйствіи, и время, какъ свинецъ, лежало у генерала на сердцѣ. Онъ курилъ очень много по обыкновенію, читалъ журналы, гладилъ свою американскую собачку — животное самое гнусное, не тѣмъ бы вспомянуть его, и которое мы, адъютанты, исподтишка били и ласкали въ присутствіи генерала, что̀ очень не похвально, скажете вы; но что же дѣлать? Примѣръ подавали свыше—другіе генералы, находившіеся подъ начальствомъ Раевскаго. Мало по малу всѣ разошлись, и я остался одинъ. «Садись!» Сѣлъ. «Хочешь курить?» «Очень благодаренъ». Я изъ гордости не позволялъ себѣ никакой вольности при его высокопревосходительствѣ. «Ну, такъ давай говорить!» «Извольте». Слово за слово, разговоръ сдѣлался любопытенъ. Раевскій очень уменъ и удивительно

искренень, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Онъ же меня любилъ (въ это время), и слова лились рѣкою. Всѣмъ доставалось: Silis a cela de bon, c'est que quand il frappe, il assomme. Онъ вовсе не ученъ, но что̀ знаетъ, то знаетъ. Умъ его лѣнивъ, но въ минуты дѣятельности ясенъ, остеръ. Онъ засыпаетъ и просыпается. Но дѣло теперь о томъ, что̀ онъ мнѣ говорилъ. Кампанія 1812 года была предметомъ нашего болтанья.

«Изъ меня сдѣлали Римлянина, милый Батюшковъ», сказалъ онъ мнѣ. — «изъ Милорадовича — великаго человѣка, изъ Витгенштейна — спасителя отечества, изъ Кутузова—Фабія. Я не Римлянинъ, но за то и эти господа—не великія птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь всѣмъ движетъ государь. Провидѣніе спасало отечество. Европу спасаетъ государь, или Провидѣніе его внушаетъ. Пріѣхалъ царь—всѣ великіе люди изчезли. Онъ былъ въ Петербургѣ—и карлы выросли. Сколько небылицъ напечатали эти карлы! Про меня сказали, что я подъ Дашковкой принесъ на жертву дѣтей моихъ. «Помню», отвѣчалъ я,—«въ Петербургѣ васъ до небесъ превозносили». «За то, чего я не сдѣлалъ, а за истинныя мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вотъ слава, вотъ плоды трудовъ!» «Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взявъ за руку дѣтей вашихъ и знамя, пошли на мостъ, повторяя: впередъ, ребята; я и дѣти мои откроемъ вамъ путь ко славѣ, или что-то тому подобное». Раевскій засмѣялся. «Я такъ никогда не говорю витіевато, ты самъ знаешь. Правда, я былъ впереди. Солдаты пятились, я ободрялъ ихъ. Со мною были адъютанты, ординарцы. По лѣвую сторону всѣхъ перебило и переранило, на мнѣ остановилась картечь. Но дѣтей моихъ не было въ эту минуту. Младшій сынъ сбиралъ въ лѣсу ягоды (онъ былъ тогда сущій ребенокъ, и пуля ему прострѣлила панталоны); вотъ и все тутъ, весь анекдотъ сочиненъ въ Петербургѣ. Твой пріятель (Жуковскій) воспѣлъ въ стихахъ. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобнымъ случаемъ, и я пожалованъ Римляниномъ. Et voila comme on écrit l'histoire!»

Вотъ что̀ мнѣ говорилъ Раевскій.

Но охотникамъ до анекдотовъ я могу разсказать другой, не менѣе любопытный, и который доказываетъ его присутствіе ума и обнажаетъ его душу. Онъ мнѣ не сдѣлалъ никакого добра, но хвалить его мнѣ пріятно, хвалить какъ истиннаго героя, и я съ удовольствіемъ теперь, въ тишинѣ сельскаго кабинета, воспоминаю старину. Подъ Лейпцигомъ мы бились (4-го числа) у краснаго дома. Направо, налѣво все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевскій стоялъ въ цѣпи мраченъ, безмолвенъ. Дѣло шло не весьма хорошо. Я видѣлъ неудовольствіе на лицѣ его, безпокойства ни малаго. Въ опасности онъ истинный герой, онъ прелестенъ. Глаза его разгорятся, какъ угли, и благородная осанка его по истинѣ сдѣлается величественною. Писаревъ леталъ, какъ вихорь, на конѣ по грудамъ тѣлъ, точно по грудамъ, и Раевскій мнѣ говорилъ: «Онъ молодецъ». Французы усиливались, мы слабѣли, но ни шагу впередъ, ни шагу назадъ. Минута ужасная. Я замѣтилъ измѣненіе въ лицѣ генерала и подумалъ: «Видно, дѣло идетъ дурно». Онъ, оборотясь ко мнѣ, сказалъ очень тихо, такъ что я едва услышалъ: «Батюшковъ, посмотри, что у меня», взялъ меня за руку (мы были верхами) и руку мою положилъ себѣ подъ плащъ, потомъ подъ мундиръ. Въ торопяхъ я не могъ догадаться, чего онъ хочетъ. Наконецъ, и свою руку освободя отъ поводокъ, положилъ за пазуху, вынялъ ее и очень хладнокровно поглядѣлъ на капли крови. Я ахнулъ, поблѣднѣлъ. Онъ сказалъ мнѣ довольно сухо: «Молчи!» Еще минута, еще другая, пули летали безпрестанно; наконецъ, Раевскій, наклонясь ко мнѣ, прошепталъ: «Отъѣдемъ нѣсколько шаговъ: я раненъ жестоко». Отъѣхали. «Скачи за лѣкаремъ!» Поскакалъ. Нашли двоихъ. Одинъ рѣшился ѣхать подъ пули, другой воротился. Но я не нашелъ генерала тамъ, гдѣ его оставилъ. Казакъ указалъ мнѣ на деревню никою, проговоря: «Онъ тамъ ожидаетъ васъ». Мы прилетѣли. Раевскій сходилъ съ лошади, окруженный двумя или тремя офицерами—помнится—Давыдовымъ и Медемомъ, храб-

рѣйшими и лучшими изъ товарищей. На лицѣ его видна блѣдность и страданіе, но безпокойство не о себѣ, о гренадерахъ. Онъ все поглядывалъ за вороты на огни непріятельскіе и наши. Мы раздѣли его; сняли плащъ, мундиръ, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, какъ обыкновенно водится при такихъ случаяхъ. Кровь меня пугала, ибо мѣсто было весьма важно; я сказалъ это на ухо хирургу. «Ничего, ничего», отвѣчалъ Раевскій, который, не смотря на свою глухоту, вслушался въ разговоръ нашъ, и потомъ, оборотясь ко мнѣ,—«чего бояться, господинъ поэтъ» (онъ такъ называлъ меня въ шутку, когда былъ веселъ):

«Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie,
«Il a dans les combats coulé pour la patrie».

И это онъ сказалъ съ необыкновенною живостью. Издраная его рубашка, ручьи крови, лѣкарь, перевязывающій рану, офицеры, которые суетились вокругъ тяжко раненаго генерала, лучшаго, можетъ быть, изъ всей арміи, безпрестанная пальба и дымъ орудій, важность минуты, однимъ словомъ—всѣ обстоятельства придавали интересъ этимъ стихамъ.

Вотъ анекдотъ. Онъ стоитъ тяжелой прозы Сѣверной Почты: «Ребята, впередъ» и проч. За истину его я ручаюсь. Я былъ свидѣтелемъ, Давыдовъ, Медемъ и лѣкарь Витгенштейновой главной квартиры. Онъ тѣмъ болѣе важенъ, сей анекдотъ, что про Раевскаго набрать немного. Онъ молчаливъ, скроменъ отчасти, скрытъ, недовѣрчивъ, знаетъ людей, но уважаемъ ими. Онъ, однимъ словомъ, во всемъ контрастъ Милорадовичу и, кажется, находитъ удовольствіе не походить на него ни въ чемъ. У него есть большія слабости и великія военныя качества. Слишкомъ одиннадцать мѣсяцевъ я былъ при немъ не отлученъ, спалъ и ѣлъ при немъ; я его знаю совершенно, болѣе нежели онъ меня, и здѣсь, про себя, съ удовольствіемъ отдаю ему справедливость, не угожденіемъ, но признательностію исторгнутою. Раевскій славный воинъ и иногда хорошій человѣкъ, иногда очень странный.

Вотъ что я намаралъ не хѣря. Слава Богу! Часокъ пролетѣлъ такъ что я его и не примѣтилъ. Я могу писать скоро, безъ поправокъ, и буду писать все, что придетъ на умъ, пока лѣнь не выдернетъ пера изъ руки.

8-го мая.

Я предполагалъ — случилось иначе — что нынѣшнею весною могу предпринять путешествіе для моего здоровья по Россіи: въ половинѣ апрѣля быть въ Москвѣ, закупить все нужное, книги, вещи, экипажъ, провести три недѣли посреди шума городскаго, посовѣтоваться съ лѣкарями и въ первыхъ числахъ мая отправиться на Кавказъ, пробыть тамъ два курса, а на осень въ Тавриду, конецъ сентября, октябрь и ноябрь весь пробыть на берегахъ Чернаго моря, въ счастливѣйшей странѣ, и потомъ черезъ Кіевъ, къ Новому году, воротиться въ Москву. Но вѣтры унесли мои желанія!

Въ молодости мы полагаемъ, что люди или добры, или злы: они бѣлы или черны. Вступая въ среднія лѣта, открываемъ людей ни совершенно черныхъ, ни совершенно бѣлыхъ; Монтань бы сказалъ: сѣрыхъ. Но за то истинная опытность должна научить снисхожденію, безъ котораго нѣтъ ни одной общественной добродѣтели: надобно жить съ сѣрыми или жить въ Діогеновой бочкѣ.

Для того чтобы писать хорошо въ стихахъ—въ какомъ бы то ни было родѣ, писать разнообразно, слогомъ сильнымъ и пріятнымъ, съ мыслями незаемными, съ чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испыталъ на себѣ, что этотъ способъ мнѣ удавался; рано или поздно писанное въ прозѣ пригодится: «Она—питательница стиха», сказалъ Альфьери, если память мнѣ не измѣнила. Кстати о памяти; моя такъ упряма, своенравна, что я прихожу часто въ отчаяніе. Учу стихи наизусть и ничего затвердить не могъ: одни италіянскіе врѣзываются въ моей памяти. Отъ чего? Не отъ того ли, что они угождаютъ слуху болѣе другихъ.

Я прежде мало писалъ отъ лѣни, теперь отъ болѣзни, и миръ ушамъ! Сенъ-Ламберъ совѣтуетъ экзаменовать себя по истеченіи нѣкотораго времени: прекрасный способъ, лучшее средство уничтожить нѣкоторую часть своего самолюбія! Самый ученѣйшій человѣкъ безъ книгъ, безъ пособій знаетъ мало и не твердо. Знаніе профессоровъ науки есть знаніе или искусство пользоваться чужими свѣдѣніями.

Въ прекрасныхъ садахъ Швенцина, и потомъ въ трактирѣ мѣстномъ, я видѣлъ въ первый разъ Ланского и Ушакова. Генералы оба, и оба убиты въ 1814 году подъ Лаономъ, если не ошибаюсь. Блюхера видѣлъ въ первый разъ во Франкфуртѣ на Майнѣ, потомъ въ сраженіи подъ Бріенномъ, Клейста — въ Богеміи и подъ Лейпцигомъ часто, Цитена — въ Полендорфѣ часто, Шварценберга — вездѣ. Славнаго Воронцова я видѣлъ въ окрестностяхъ Парижа.

«Быть весьма умнымъ, весьма свѣдущимъ, не въ нашей состоитъ волѣ; быть же героемъ въ дѣлѣ зависитъ отъ каждаго. Кто же не захочетъ быть героемъ?» Такъ говоритъ Воронцовъ въ приказѣ 12-й дивизіи 1815. Но я здѣсь въ тишинѣ думаю, и конечно, не ошибаюсь, что эти слова можно приложить и къ дарованію—вотъ какъ: не въ нашей волѣ имѣть дарованія, часто не въ нашей волѣ развить и тѣ, которыя намъ дала природа, но быть честными въ нашей волѣ: ergo! Но быть добрымъ въ нашей волѣ: ergo! Но быть снисходительнымъ, великодушнымъ, постояннымъ въ нашей волѣ: ergo!

Карамзинъ мнѣ говорилъ однажды: «Человѣкъ созданъ трудиться, работать и наслаждаться. Онъ всѣхъ тварей живучѣе, онъ все перенести можетъ. Для него нѣтъ совершеннаго лишенія, совершеннаго бѣдствія: я по крайней мѣрѣ не знаю... кромѣ безславія», прибавилъ онъ, подумавъ немного.

Можетъ быть, лучшій призракъ мудрости есть кротость, «тихій нравъ въ крови», какъ говоритъ Державинъ.

Славу Богу, еще можно жить и наслаждаться жизнію: прогулка въ полѣ не скучна; это я сегодня съ радостію испыталъ.

Съ какой стороны ни разсматривай человѣка и себя въ обществѣ, найдешь, что снисхожденіе должно быть первою добродѣтелію. Снисхожденіе въ рѣчахъ, въ поступкахъ, въ мысляхъ, оно-то даетъ эту прелесть доброты, которая едва ли не любезнѣе всего на свѣтѣ. Наморщить лобъ и взять Ювеналову дубину не такъ-то трудно, но шутить съ жизнію, какъ Горацій, вотъ истинный камень философіи. Снисхожденіе должно имѣть границы: брань пороку, прощеніе слабости! Разсудокъ отличитъ порокъ отъ слабости. Надобно быть снисходительнымъ и къ себѣ: сдѣлалъ дурно сегодня, не унывай—теперь упалъ, завтра встанешь. Не валяйся только въ грязи. Мемнонъ хотѣлъ быть совершенно добродѣтельнымъ и очутился безъ глаза. Александръ убилъ Клита и загладилъ преступленіе свое великими дѣлами. Несчастія, болѣзни часто лишаютъ насъ снисхожденія или благоволенія, но должно стараться вырвать ихъ изъ рукъ несчастія и вѣчно таить въ сердцѣ.

Paul et Virginie.

«Paul lui disait: «Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand, du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce vallon, tu me parais au milieu de nos vergers, comme un bouton de rose... Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver: quelque chose de toi que je ne puis dire, reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe ou tu t'assieds... Dis-moi par quel charme tu as pu m'enchanter? Est-ce par ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté!... Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt; tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce rayon de miel, je l'ai pris pour toi au haut d'un rocher. Mais auparavant repose-toi sur mon sein, et je serai délassé»...

«Virginie lui répondait: «O, mon frère, les rayons du soleil au matin, au haut de ces rochers, me donnent moins de joie que ta présence... Tu me demandes pourquoi tu m'aimes; mais tout ce qui a été élevé ensemble, s'aime. Vois nos oiseaux: élevés dans les mêmes nids, ils s'aiment comme nous: ils sont toujours ensemble comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à un autre; de même, quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte.... j'en répète les paroles au fond de ce vallon... Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs; mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive pas de mal! Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des fruits et des fleurs? N'en avons nous pas assez dans le jardin! Comme te voila fatigué! Tu es tout en nage». Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues, et elle lui donnait plusieurs baisers»...

* *
*

«Il est certain», говоритъ Шатобріанъ,— «que le charme de Paul et Virginie consiste en une certaine morale mélancolique, qui brille dans l'ouvrage, et qu'on pourrait comparer à cet éclat uniforme que la lune répand sur une solitude parée de fleurs... Cette églogue n'est si touchante, que parce qu'elle représente deux familles chrétiennes exilées, vivant sous les yeux du Seigneur, entre sa parole dans la Bible et ses ouvrages dans le désert. Joignez-y l'indigence et ces infortunes de l'âme dont la religion est le seul remède, et vous aurez tout le sujet du poëme. Les personnages sont aussi simples que l'intrigue: ce sont deux beaux enfants, dont on aperçoit le berceau et la tombe, deux fidèles esclaves et deux pieuses maitresses. Ces honnêtes gens ont un historien digne de leur vie: un vieillard demeuré seul dans la montagne, et qui survit à ce qu'il aima, raconte à un voyageur les malheurs de ses amis, sur les débris de leurs cabanes...

* *
*

Въ 1814 г., въ бытность мою въ Парижѣ, я жилъ у Д. и сдѣлался боленъ. Послалъ въ ближайшую библіотеку за книгами. Приносятъ Paul et Virginie, которую я читалъ уже нѣсколько разъ, читалъ и заливался слезами, и какія слезы! Самыя пріятнѣйшія, чистѣйшія! Послѣ шума военнаго, послѣ ядеръ и грома, послѣ страшнаго зрѣлища разрушенія и, наконецъ, послѣ всей роскоши и прелести новаго Вавилона, которыя я успѣлъ уже вкусить до пресыщенія, чтеніе этой книги облегчило мое сердце и примирило съ міромъ. Авторъ оной, Bernardin de St.-Pierre, умеръ не задолго передъ нами. Онъ много странствовалъ, служилъ въ Россіи офицеромъ и, видно, былъ несчастливъ. Мечтатель, подобный Руссо. Его философія — бредъ, въ которомъ сіяетъ воображеніе и всегда видно доброе и чувствительное сердце.

Выслушайте меня, Бога ради! Я намекну вамъ только, какимъ образомъ можно составить книгу пріятную и полезную. Удивляюсь, что ни одинъ изъ нашихъ литераторовъ не принялся за подобный трудъ. Вотъ планъ en grand:

Говорить объ одной русской словесности, не начиная съ Лединыхъ яицъ, не излагая новыхъ теорій, но говорить просто, какъ можно пріятнѣе и яснѣе для людей свѣтскихъ, и предполагая, что читатели имѣютъ обширныя свѣдѣнія въ иностранной литературѣ, но своей собственной не знаютъ; показать имъ ея рожденіе, ходъ, сходство и разницу ея отъ другихъ литературъ, всѣ эпохи ея и, наконецъ, довести до временъ нашихъ. Дайте форму, какую вздумаете, но вотъ изложеніе матеріи:

1) О славенскомъ языкѣ. Опять не начинать отъ Сима, Хама и Іафета, а съ Библіи, которую мы, по привычкѣ, зовемъ славенскою. О русскомъ языкѣ.

2) О языкѣ во времена нѣкоторыхъ князей и царей. Вліяніе (пагубное) Татаръ.

3) О языкѣ во времена Петра I. Проповѣдники. Переводы иностранныхъ книгъ по именному указу.

4) Тредьяковской и его товарищи. Путешественники и ученые.

5) и 6). Кантемиръ — статья интересная. Академія наукъ. Ученые иностранцы. Борьба старыхъ нравовъ съ новыми, стараго языка съ новымъ. Вліяніе искусствъ, наукъ, роскоши, двора и женщинъ на языкъ и литературу.

7) Ломоносовъ.

8) Сумароковъ.

9) Современные имъ писатели.

10) Фонъ-Визинъ. Образованіе прозы.

11) Голтинъ. Елагинъ, историки, переводчики.

12) Обозрѣніе журналовъ. Вліяніе ихъ. Участіе Екатерины въ изданіи Собесѣдника. Придворный театръ. Господствованіе французской словесности и вольтеріанизмъ. Желаніе воскресить старинный языкъ русскій. Несообразности.

13) Петровъ. Майковъ.

14) Державинъ:

Онъ памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный.

15) Подражатели его. Взглядъ на словесность вообще. Успѣхи. Недостатки.

16) Богдановичъ. Вліяніе его.

17) Херасковъ. Проза его и стихи.

18) Карамзинъ. Ходъ его. Вліяніе на языкъ вообще.

19) Дмитріевъ. Характеръ его дарованія, красивость и точность. Онъ то же дѣлаетъ у насъ, что̀ Буало или Попе у себя.

20) Подражатели ихъ.

21) Княжнинъ. Взглядъ на театръ вообще. Княжнина комедія и трагедія. Можетъ быть, климатъ и конституція не позволяютъ намъ имѣть своего національнаго театра.

22) Озеровъ.

23) Хемницеръ. Крыловъ. Жуковскій.

24) Муравьевъ. Книги его изданы недавно; онъ первый говорилъ о морали. Онъ выше своего времени и духомъ, и свѣдѣніями.

25) Бобровъ. Мерзляковъ. Востоковъ. Воейковъ. Переводы Кострова и Гнѣдича. Пушкинъ. Вяземскій. Сумароковъ, Панкратій. Нелединскій. Взглядъ на изданіе Жуковскаго и потомъ Кавелина. Замѣчаніе на письма Й. М. изъ Нижняго.

26) Шишковъ. Его мнѣнія. Онъ правъ, онъ виноватъ. Его противники: Макаровъ, Дашковъ, Никольской.

27) Обозрѣніе словесности съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ Вѣстникъ. Труды Каченовскаго.

28) Статьи интересныя о нѣкоторыхъ писателяхъ, какъ-то: Радищевъ, Пнинъ, Беницкій, Колычевъ.

Словесность надлежитъ раздѣлить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонъ-Визина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до временъ нашихъ. Сіи эпохи должны быть ясными точками. Потомъ, не должно изъ виду упускать дѣйствіе иностранныхъ языковъ на нашъ языкъ. Переводы ученыхъ съ греческаго и латинскаго. Что̀ заняли мы у Французовъ, и какое дѣйствіе имѣли переводы романовъ Вольтера и проч.

Новикова труды. Вліяніе новорожденной нѣмецкой словесности и отчасти англійской. Въ чемъ мы успѣли? Почему лирическій родъ процвѣталъ и долженъ погаснуть? Что̀ всего свойственнѣе Русскимъ? Богатство и бѣдность языка. Можетъ ли процвѣтать языкъ безъ философіи и почему можетъ, но не долго? Вліяніе церковнаго языка на гражданскій и гражданскаго на духовное краснорѣчіе. Всѣ сіи вопросы требуютъ яснаго разрѣшенія и должны быть размѣщены по приличнымъ мѣстамъ.

Должно представить картину нравовъ при Петрѣ, Елисаветѣ и Екатеринѣ: до Ломоносова, при немъ, при Державинѣ, при Карамзинѣ. Пустословить на каѳедрѣ по слѣдамъ Баттё и Буттервека легко, но какая польза? Здѣсь надобно говорить дѣло просто, свободно, пріятно.

Мысли о литературѣ.

«Tout vouloir est d'un fou», сказалъ Вольтеръ, который самъ погрѣшилъ, желая успѣть во всѣхъ родахъ словесности: границы есть уму, и даже величайшему. Можетъ ли одинъ человѣкъ написать басни Лафонтеновы, Шекспирова Отелло, Мольерова Мизантропа и д'Аламбертово предисловіе къ Энциклопедіи? Нѣтъ, конечно. Зачѣмъ же Вольтеръ... но Богъ съ нимъ!

Не надобно любителю изящнаго отставать отъ словесности. Тѣ, которые не читали Виланда, Гёте, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенскихъ старухъ, которыя не знаютъ, что мы взяли Парижъ, и что Москва сожжена — до сихъ поръ сомнѣваются. Не надобно вдаваться въ другую крайность. Не надобно безпрестанно сломиться изъ одной литературы въ другую или заниматься одною древностію. И тѣ, и другіе шалѣютъ, какъ говоритъ мой чистосердечный Кантемиръ о сытомъ и мотѣ. Есть середина.

Какая пучина! Англичане, Нѣмцы, Италіянцы, Португальцы, Гишпанцы, Французы, восточные, полуденные народы и вѣчные древніе! Кто обниметъ все творенія ума человѣческаго и зачѣмъ? Крыловъ ничего не читаетъ, кромѣ Всемірнаго Путешественника, расходной книги и календаря, а его будутъ читать и внуки наши. Талантъ не любопытенъ; умъ жаденъ къ новости, но что̀ въ умѣ безъ таланта, скажите, Бога ради! И талантъ есть умъ, правда, но умъ сосредоточенный.

Каждый языкъ имѣетъ свое словотеченіе, свою гармонію, и странно бы было Русскому или Италіянцу, или Англичанину писать для французскаго уха, и на оборотъ. Гармонія, мужественная гармонія не всегда прибѣгаетъ къ плавности. Я не знаю плавнѣе этихъ стиховъ:

> На свѣтлоголубомъ эѳирѣ
> Златая плавала луна и пр.

и оды Соловей Державина. Но какая гармонія въ Водопадѣ и въ одѣ на смерть Мещерскаго:

> Глаголъ временъ, металла звонъ!

Данте—великій поэтъ: онъ говоритъ памяти, уху, глазамъ, разсудку, воображенію, сердцу. Есть писатели, у которыхъ слогъ теменъ; у иныхъ мутенъ: мутенъ, когда слова не на мѣстѣ; теменъ, когда слова не выражаютъ мысли, или мысли не ясны отъ недостатка точности и натуральной логики. Можно быть глубокомысленнымъ и не темнымъ, и должно быть яснымъ, всегда яснымъ для людей образованныхъ и для великихъ душъ.

Ученость сушитъ умъ, разсѣяніе—сердце.

Театральныя издержки въ Греціи были столь велики, что представленіе одной трагедіи Софокла и Эврипида стоило государству болѣе, нежели война съ Персами, говоритъ Плутархъ. Мы платимъ актерамъ по двѣсти, по триста рублей, лучшему тысячи двѣ въ годъ. Наши декораціи не стоятъ ничего. За то... у насъ и трагики, и комики, и зрители!

Какъ надлежитъ писать исторію?

Изъ Лукіана сокращено.

Александръ кинулъ въ Гидаспъ исторію Аристовула, который приписывалъ ему чудесныя дѣянія. «Я изъ милости», прибавилъ завоеватель,—«не велю его самого бросить въ воду!»

Нѣкоторые историки думаютъ понравиться государю униженіемъ его непріятелей: но Ахиллесъ не былъ бы столь великъ безъ Гектора. Другіе нападаютъ на народоправителя непріятельскаго, какъ будто его хотятъ низложить перомъ своимъ. Иный наполняетъ свою исторію маленькими подробностями и словами военнаго искусства, какъ воинъ или работникъ, который нѣкогда трудился въ лагерѣ; иный истощаетъ свое краснорѣчіе на описаніе одѣянія или оружія генерала или какого-нибудь лѣса. Но если надлежитъ описывать великіе подвиги, то мы не находимъ словъ: ищемъ чудеснаго, неслыханныхъ ранъ, смертей и проч. Иный употребляетъ прекрасныя и величественныя фразы, на подобіе поэтовъ, и вдругъ падаетъ, начиная употреблять низкія

выраженія. Это человѣкъ, у котораго на правой ногѣ богатый полусапогъ, а на лѣвой сандаліе. Другой описываетъ тщательно и пространно малыя вещи и слегка великія.

Вотъ главные пороки, и вотъ главныя его хорошія свойства: Два главнѣйшія суть: здравый смыслъ въ дѣлахъ свѣтскихъ и пріятное выраженіе. Первое есть даръ неба, другое пріобрѣсть можно безпрестаннымъ чтеніемъ древнихъ и безпрестанными трудами.

Надобно историку видѣть армію, воиновъ въ боевомъ порядкѣ, знать, что есть крыло, фронтъ, баталіоны, воинскія орудія и пр., и чтобы онъ не во всемъ на чужіе глаза полагался. Но болѣе всего онъ долженъ быть свободенъ: ни страшиться, ни надѣяться; неприступенъ къ подаркамъ и наградамъ, никому не снисходителенъ; судія справедливый и равнодушный, безъ отечества и безъ властелина. Пусть повѣствуетъ онъ о вещахъ, какъ онѣ были безъ прикрасъ и нарядовъ, ибо онъ не поэтъ, а разсказчикъ, и потому... за свое повѣствованіе, нравится ли оно или не нравится. Однимъ словомъ, онъ долженъ жертвовать одной истинѣ и не имѣть передъ глазами надежды въ жизни сей, но желать пріобрѣсть уваженіе всего потомства. Да подражаетъ онъ сему зодчему египетскаго Фара, который начерталъ на алебастрѣ имя царя, поручившаго ему дѣло, а ниже, на камнѣ, свое имя. Онъ зналъ, что алебастръ не устоитъ отъ времени, а имя его будетъ вѣчно существовать на камнѣ.

Александръ повторялъ: «О, почто не могу я возвратиться на землю черезъ триста или четыреста лѣтъ, чтобы услышать, что обо мнѣ говорятъ!»

Не должно бѣгать за пышнымъ слогомъ. Пускай смыслъ будетъ тѣсно замкнутъ въ словахъ, чтобы смыслъ и дѣльность были повсюду, но чтобы выраженіе было ясно и подобно разговору людей образованныхъ. Историкъ долженъ имѣть въ умѣ своемъ одну свободу и истину; въ слогѣ его ясность и точность должны быть главною цѣлью. Короче, его должны всѣ понимать, et que les savans le louent. Онъ заслужитъ сіи похвалы,

если будетъ употреблять выраженія ни слишкомъ изысканныя, ни черезъ чуръ обыкновенныя.

Онъ долженъ имѣть въ мысляхъ нѣчто свойственное поэту, особенно, когда случится ему описывать битвы, войска, другъ на друга устремленныя, корабли, готовые къ бою. Тогда-то нужно ему сіе дыханіе поэтическое, дабы вздуть паруса и заволновать море... Но все-таки его выраженіе не должно возноситься отъ земли, не бѣгать за гармоніей и не драть ушей!...

Надобно осторожно избирать матеріалы, заимствовать ихъ у писателей чуждыхъ ненависти или раболѣпствія. Сдѣлавъ обильный запасъ матеріаловъ хорошихъ, надобно все сшить и составить курсъ историческій, но сухой и строгій, сначала одну основу, потомъ мало по малу наводить тѣло и краски. Надобно, чтобы историкъ, подобно Юпитеру Гомерову, обращалъ взоры повсюду и зналъ, что̀ дѣлается и въ своей сторонѣ, и въ непріятельской. Онъ долженъ быть подобенъ зеркалу чистому и безъ пятенъ, которое принимаетъ предметы, какъ они суть, которое только что искренно изображаетъ присутственное, sans se mettre en peine de quelle nature est ce qu'il dit, mais de quelle manière il le doit dire.

Повѣствованіе его не должно быть разшито. Вещи должны не только что слѣдовать одна за другою, но тѣсно быть сплочены между собой. Надобно имѣть искусство не растягивать описанія; примѣръ тому Гомеръ: онъ могъ бы намъ представить прекрасныя, и великодушно прошелъ мимо ихъ. Но не думай, чтобы Ѳукидидъ былъ растянутъ въ описаніи язвы: подумай о важности того, что̀ онъ описываетъ! Онъ убѣгаетъ вещей, но вещи сами ложатся подъ перо.

Ломоносовъ.

Вотъ прекрасное мѣсто изъ Слова его о химіи. Онъ говоритъ, что «математики по нѣкоторымъ извѣстнымъ количествамъ неизвѣстныхъ дознаются» и проч. Подобно и химики, по нѣко-

торымъ признакамъ угадываютъ другіе и проч. «Когда отъ любви безпокоящійся женихъ желаетъ познать прямо склонность своей къ себѣ невѣсты, тогда, разговаривая съ нею, примѣчаетъ въ лицѣ перемѣны цвѣту, очей обращеніе и рѣчей порядокъ. Наблюдаетъ ея дружества, обходительства и увеселенія; выспрашиваетъ рабынь, которыя ей при возбужденіи, при нарядахъ, при выѣздахъ и при домашнихъ упражненіяхъ служатъ, и такъ по всему тому точно увѣряется о подлинномъ сердца ея состояніи. Равнымъ образомъ прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояніе первоначальныхъ частицъ, тѣла составляющихъ, долженъ высматривать всѣ оныхъ свойства и перемѣны, а особливо тѣ, которыя показываетъ ближайшая ея служительница и наперсница и въ самые внутренніе чертоги входъ имѣющая — химія: и когда она раздѣленныя и разсѣянныя частицы изъ растворовъ въ твердыя части соединяетъ и показываетъ разныя въ нихъ фигуры, выспрашиваетъ у осторожной и догадливой геометріи; когда твердыя тѣла на жидкія, жидкія на твердыя перемѣняетъ и разныхъ родовъ матеріи раздѣляетъ и соединяетъ; совѣтовать съ точною и замысловатою механикою: и когда чрезъ слитіе жидкихъ матерій разные цвѣты производитъ, вывѣдывать чрезъ проницательную оптику».

Здѣсь удивляюсь, первое, красотѣ и точности сравненія, второе — порядку всѣхъ мыслей и потому всѣхъ членовъ періода, третіе — точности и приличію эпитетовъ: все показываетъ, что Ломоносовъ писалъ отъ избытка познаній. Въ самомъ изобиліи словъ онъ сохраняетъ какую-то особенную строгую точность въ языкѣ совершенно новомъ. Каждый эпитетъ есть плодъ размышленій или отголосокъ мыслей: догадливая геометрія, точная и замысловатая механика, проницательная оптика. Но вотъ другое мѣсто: здѣсь надобно удивляться изобилію языка. Какая рѣка обширная краснорѣчія!

«Изслѣдованію первоначальныхъ частицъ, тѣла составляющихъ, слѣдуетъ изысканіе причинъ взаимнаго союза, которымъ

онѣ въ составленіи тѣлъ сопрягаются, и отъ котораго вся разность твердости и жидкости, жестокости и мягкости, гибкости и ломкости происходитъ. Все сіе чрезъ что̀ способнѣе испытать можно, какъ чрезъ химію? Она только едина то въ огнѣ ихъ умягчаетъ и паки скрѣпляетъ; то, раздѣливъ, на воздухъ поднимаетъ и обратно изъ него собираетъ; то водою разводитъ и, въ ней же сгустивъ, крѣпко соединяетъ; то, въ ѣдкихъ водкахъ растворяя, твердую матерію въ жидкую, жидкую въ пыль и пыль въ каменную твердость обращаетъ».

Подражатели Ломоносова полагаютъ, что его краснорѣчіе заключается въ долготѣ періодовъ, въ изобиліи словъ и въ знаніи языка славенскаго. Нѣтъ, оно проистекаетъ изъ души, напитанной чтеніемъ древнихъ, безпрестаннымъ размышленіемъ о наукахъ и созерцаніемъ чудесъ природы, его первой наставницы. Да здраствуетъ нашъ Михайло, рыбакъ холмогорскій! Es lebe hoch!

Слово о химіи, по моему мнѣнію, есть лучшее его произведеніе во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ кончилъ его прекрасно, живымъ ораторскимъ движеніемъ обращаясь къ Петру:

«Блаженны тѣ очи, которыя божественнаго сего мужа на земли видѣли! Блаженны и треблаженны тѣ, которые потъ и кровь свою съ нимъ, за него и за отечество проливали, и которыхъ онъ за вѣрную службу въ главу и въ очи цѣловалъ помазанными своими устами!»

Описаніе землетрясеній удивительно въ Словѣ о рожденіи металловъ:

«Страшное и насильственное оное въ натурѣ явленіе показывается четырьми образы. Первое, когда дрожитъ земля частыми и мелкими ударами и трещатъ стѣны зданій, но безъ великой опасности. Второе, когда надувшись встаетъ къ верху и обратно перпендикулярнымъ движеніемъ опускается. Зданія для одинакаго положенія нарочито безопасны. Третіе, поверхности земной на подобіе волнъ колебаніе бываетъ весьма бѣдственно; ибо отворенныя хляби на зыблющіяся зданія и на блѣднѣю-

щихъ людей зіяютъ и часто пожираютъ. Наконецъ, четвертое, когда по горизонтальной плоскости вся трясенія сила устремляется; тогда земля изъ подстроеній якобы похищается, и оныя подобно какъ на воздухѣ висящія оставляетъ и, разрушивъ союзъ оплотовъ, опровергаетъ. Разныя сіи земли трясенія не всегда по одному раздѣльно бываютъ; но дрожаніе съ сильными стрѣляніями часто соединяется. Между тѣмъ предваряютъ и въ то жъ время бываютъ подземныя стенанія, урчанія, иногда человѣческому крику и оружному треску подобныя звучанія. Протекаютъ изъ нѣдра земли источники и новыя воды, рѣкамъ подобныя; дымъ, пепелъ, пламень, совокупно слѣдуя, умножаютъ ужасъ смертныхъ».

Ораторъ заключаетъ Слово похвалою Россіи и Елисаветы: здѣсь истощаетъ всю сладость языка и можетъ по истинѣ называться льстецомъ слуха. Онъ нарочно собираетъ всѣ пріятные образы и звуки: «И по славныхъ надъ сопостатами твоими побѣдахъ, разливиій по земной поверхности воды и тѣми ужасный внутрь ея огонь обуздавиій строитель міра укротитъ пламень войны дождемъ благодати и міръ свой умиритъ твоимъ мироискательнымъ воинствомъ».

Онъ съ намѣреніемъ, описавъ бури природы, кончилъ рѣчь свою тихо, плавно и торжественно, какъ искусный музыкантъ великолѣпную сонату.

René.

Je recherchai surtout dans mes voyages les artistes et ces hommes divins qui chantent les dieux sur la lyre et la félicité des peuples qui honorent les loix, la religion et les tombeaux... Leur vie est à la fois naïve et sublime: ils célèbrent les dieux avec une bouche d'or, et sont les plus simples des hommes; ils causent comme des immortels ou comme de petits enfants; ils expliquent les lois de l'univers et ne peuvent comprendre les affaires les plus

innocentes de la vie; ils ont des idées merveilleuses de la mort, et meurent sans s'en apercevoir, comme des nouveau-nés».

Это все можно приложить къ Державину, къ сему великому генію, все отъ слова до слова.

Недавно я имѣлъ случай познакомиться съ страннымъ человѣкомъ, какихъ много! Вотъ нѣкоторыя черты его характера и жизни.

Ему около тридцати лѣтъ. Онъ то здоровъ, очень здоровъ, то боленъ, при смерти боленъ. Сегодня безпеченъ, вѣтренъ какъ дитя; посмотришь завтра—ударился въ мысли, въ религію и сталъ мрачнѣе инока. Лицо у него точно доброе, какъ сердце, но столь же непостоянно. Онъ тонокъ, сухъ, блѣденъ, какъ полотно. Онъ перенесъ три войны и на бивакахъ былъ здоровъ, въ покоѣ—умиралъ! Въ походѣ онъ никогда не унывалъ и всегда готовъ былъ жертвовать жизнію съ чудесною безпечностію, которой самъ удивлялся; въ мирѣ для него все тягостно, и малѣйшая обязанность, какого бы рода ни было, есть свинцовое бремя. Когда долгъ призываетъ къ чему-нибудь, онъ исполняетъ великодушно, точно такъ, какъ въ болѣзни принимаетъ ревень, не поморщившись. Но что̀ въ этомъ хорошаго? Къ чему служитъ это? Онъ мало вещей или обязанностей считаетъ за долгъ, ибо его маленькая голова любитъ философствовать, но такъ криво, такъ косо, что это вредитъ ему безпрестанно. Онъ служилъ въ военной службѣ и въ гражданской: въ первой очень усердно и очень неудачно; во второй удачно и очень не усердно. Обѣ службы ему надоѣли, ибо, по истинѣ, онъ не охотникъ до чиновъ и крестовъ. А плакалъ, когда его обошли чиномъ и не дали креста. Какъ растолкуютъ это? Онъ вспыльчивъ какъ собака и кротокъ какъ овечка. Въ немъ два человѣка: одинъ—добръ, простъ, веселъ, услужливъ, богобоязливъ, откровененъ до излишества, щедръ, трезвъ, милъ; другой человѣкъ—не думайте, чтобы я увеличивалъ его дурныя качества, право нѣтъ, и вы увидите сами почему—другой чело-

вѣлъ злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но рѣдко, мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный въ любви и честолюбивый во всѣхъ родахъ честолюбія. Этотъ человѣкъ, то-есть, черный, прямой уродъ. Оба человѣка живутъ въ одномъ тѣлѣ. Какъ это? Не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурнаго человѣка, а посмотришь въ глаза, такъ найдешь добраго: надобно только смотрѣть пристально и долго. За это единственно я люблю его! Горе, кто знаетъ его съ профили! Послушайте далѣе: Онъ имѣетъ нѣкоторые таланты и не имѣетъ никакого. Ни въ чемъ не успѣлъ, а пишетъ очень часто. Умъ его очень длиненъ и очень узокъ. Терпѣніе его, отъ болѣзни ли, или отъ другой причины, очень слабо; вниманіе разсѣянно, память вялая и притуплена чтеніемъ: посудите сами, какъ успѣть ему въ чемъ-нибудь? Въ обществѣ онъ иногда очень милъ, иногда очень нравился какимъ-то особеннымъ маneромъ, тогда, какъ приносилъ въ него доброту сердечную, безпечность и снисходительность къ людямъ; но какъ сталъ приносить самолюбіе, уваженіе къ себѣ, упрямство и душу усталую, то всѣ увидѣли въ немъ человѣка моего съ профили. Онъ иногда удивительно краснорѣчивъ: умѣетъ войти, сказать; иногда тупъ, косноязыченъ, застѣнчивъ. Онъ жилъ въ адѣ; онъ былъ на Олимпѣ. Это примѣтно въ немъ. Онъ благословенъ, онъ проклятъ какимъ-то геніемъ. Три дни думаетъ о добрѣ, желаетъ сдѣлать доброе дѣло — вдругъ недостанетъ терпѣнія, на четвертый онъ сдѣлается золъ, неблагодаренъ: тогда не смотрите на профиль его! Онъ умѣетъ говорить очень колко; пишетъ иногда очень остро на счетъ ближняго, но тотъ человѣкъ, то-есть, добрый, любитъ людей и горестно плачетъ надъ эпиграммами чернаго человѣка. Бѣлый человѣкъ спасаетъ чернаго слезами передъ Творцомъ, слезами живаго раскаянія и добрыми поступками передъ людьми. Дурной человѣкъ все портитъ и всему мѣшаетъ: онъ надменнѣе сатаны, а бѣлый не уступаетъ въ добротѣ ангелу-хранителю. Какимъ

страннымъ образомъ здѣсь два составляютъ одно, зло такъ тѣсно связано съ добромъ и отличено столь рѣзкими чертами? Откуда этотъ человѣкъ, или эти человѣки, бѣлый и черный, составляющій нашего знакомца? Но продолжимъ его изображеніе.

Онъ—который изъ нихъ, бѣлый или черный?—онъ или они оба любятъ славу. Черный все любитъ, даже готовъ стать на колѣни и Христа ради просить, чтобы его похвалили: такъ онъ суетенъ; другой, напротивъ того, любитъ славу, какъ любилъ ее Ломоносовъ, и удивляется чорному нахалу. У бѣлаго совѣсть чувствительна, у другаго—мѣдный лобъ. Бѣлый обожаетъ друзей и готовъ для нихъ въ огонь; черный не дастъ и ногтей обстричь для дружества, такъ онъ любитъ себя пламенно. Но въ дружествѣ, когда дѣло идетъ о дружествѣ, черному нѣтъ мѣста: бѣлый на стражѣ! Въ любви... но не кончимъ изображеніе, оно и гнусно, и прелестно! Все, что̀ ни скажешь хорошаго на счетъ бѣлаго, черный припишетъ себѣ. Заключимъ: эти два человѣка, или сей одинъ человѣкъ, живетъ теперь въ деревнѣ и пишетъ свой портретъ перомъ по бумагѣ. Пожелаемъ ему добраго аппетита: онъ идетъ обѣдать.

Это я! Догадались ли теперь?

Что есть интереснаго въ Tito Lucrezio Caro.

Libro primo.

Niuna cosa generarsi del Nulla; ma tutte esser fatte da principi certi.—Niuna cosa annientarsi; ma esservi alcuni corpi eterni, ne' quali tutte si dissolvono.—Perciò non doversi negare i primi corpi, per non poterli vedere; essendovi nelle cose molti altri corpi, li quali parimente vedersi non possono.—Oltre i corpi esser nelle cose il Vacuo.—Niente altro esser nella Natura delle cose, che il vacuo, ed i corpi; tutt'altro esser congiunto a loro, o pur loro evento.—Que' corpi, che sono principi delle cose, esser solidi, ed eterni.—Aver errato Eraclito, e quelli, che pensarono il foco essere il solo principio di tutte le cose: come pur quelli, che stimarono

qualunque degli Elementi esser la materia del tutto. — Non meno ingannarsi coloro, che credono, come Empedocle, generarsi tutte le cose di più elementi, o di tutti. — Non poter consistere le cose di parti consimili secondo l'opinione d'Anassagora. — Essere in tutte le parti spazio infinito: e moversi sempre in esso corpi infiniti. — Non darsi mezzo del tutto, al quale inclinino tutte le cose, come alcuni credettero.

Libro 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.... I primi corpi moversi con grandissima celerità. — Tutti i corpi per sua natura discendere... — I primi corpi esser privi d'ogni colore. — I primi corpi esser privi di tutte l'altre qualità sensibili. — Questo Mondo, e simili altri, nello spazio infinito essere stati generati, non dagli Dei, ma dal concorso casuale de' primi corpi, e dover perire: e quindi essere già vecchio questo Mondo.

3. L'Animo esser parte certa dell' uomo. — L'Animo, e l'Anima formare di se medesimi una natura. L'Animo però essere il dominante. — L'Animo, e l'Anima esser di natura corporea... — La natura dell'Animo non essere semplice, ma costare di quattro diverse nature... — Il Corpo, e l'Animo esser talmente congiunti, che uno non possa sussistere, nè sentire senza l'altro... — E nativo, e mortale esser l'Animo. — La morte non appartener punto a noi, e non doversi temere.

4. Fisica, &&&... In che modo e d'onde sia causato il sonno: e de' sogni.

5. Quelli, che credono, che la Terra, il Mare, il Cielo la Luna, il Sole, e le altre parti del Mondo siano mortali, non credere, che gli Dei siano mortali; poichè tali cose non son Dei... — Il Mondo non essere stato dagli Dei creato per gli Uomini. — Che il Mondo sia nato, e che sia per morire... — Il Sole, la Luna e le altre Stelle esser di quella grandezza, che ci pajono... — Essere stati creati dalla Terra recente molti mostri, il quali non poterono crescere: Ed essere periti molti generi d'Animali... — La vita de' primi Uomini essere stata a primo asprissima, ed ingrata di tutte le cose: ma poi esser divenuta a poco a poco più molle...

6. Del Tuono.—Del Folgore, &&&... De i Fuochi d'Etna.—Della Peste degli Ateniesi.

Интересно сравнить Лукреція съ Сенекою, тамъ гдѣ онъ объясняетъ понятія его вѣка о физикѣ и морали, сходство и несходство обѣихъ системъ, и заключить чтеніе Цицерономъ, который пользовался всѣми свѣдѣніями и жилъ въ обѣихъ школахъ.

Grandeur et décadence des Romains.

Монтескье.

«Ce qui gâte presque toutes les affaires, c'est qu'ordinerement ceux qui les entreprennent, outre la réussite principale, cherchent encore de certains petits succès particuliers, qui flattent leur amour-propre, et les rendent contens d'eux».

Важная истина, которую можно приложить къ дѣламъ государя и послѣдняго человѣка въ имперіи. Тѣ, которые любятъ жаловаться на свои неудачи, должны затвердить сіи строки. Но кто бы подумалъ, что Цицеронъ грѣшилъ противъ сего правила! Цицеронъ!

«Je crois que si Caton s'était réservé pour la république, il aurait donné aux choses tout un autre tour. Cicéron, avec des parties admirables pour un second rôle, était incapable du premier: il avait un beau génie, mais une ame souvent commune. L'accessoire, chez Cicéron, c'était la vertu; chez Caton, c'était la gloire. Cicéron se voyait toujours le premier; Caton s'oubliait toujours: celui-ci voulait sauver la république pour elle-même, celui-là pour s'en venter. Je pourrais continuer le paralèlle, en disant que, quand Caton prévoyait, Cicéron craignait: que là où Caton espérait, Cicéron se confiait; que le premier voyait toujours les choses de sang-froid, l'autre à travers cent petites passions».

Вотъ интересная статья:

«Voici, en un mot, l'histoire des Romains» qui eurent une suite continuelle de prospérités &...

«Ils vainquirent tous les peuples par leurs maximes: mais lorsqu'ils y furent parvenus, leur république ne put subsister; il fallut changer de gouvernement: et des maximes contraires aux premières, employées dans ce gouvernement nouveau, firent tomber leur grandeur.

«Ce n'est pas la fortune que domine le monde: on peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite non interrompue de revers lorspu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent, ou la précipitent; tous les accidens sont soumis à ces causes; et, si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire, une cause particulière, a ruiné un état, il y avait une cause générale qui faisait que cet état devait périr par une seule bataille: en un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidens particuliers».

Вотъ что Монтескье пишетъ о своихъ соотечественникахъ. Здѣсь надобно замѣтить двѣ вещи. Первое—чистосердечіе, съ какимъ онъ говоритъ о нихъ, второе—точность, которую онъ сохраняетъ, выписывая слова Никиты (Nicétas), историка греческаго. Эта грубость слога очень оригинальна посреди слога высокаго:

«Au travers des invectives d'Andronic Comnène contre nous, on voit dans le fond que, chez une nation étrangère, nous ne nous contraignons point, et que nous avions pour lors les défauts qu'on nous reproche aujourd'hui. Un comte français alla se mettre sur le trône de l'empereur: le comte Baudouin le tira par le bras, et lui dit: «Vous devez savoir que quand on est dans un pays, il en faut suivre les usages». «Vraiment, voilà un beau paysan, répondit-il, de s'asseoir ici, tandis que tant de capitaines sont debout!»

Сенъ-Ламберъ (или Ларошефуко) рѣшительно сказалъ, что мы вылѣчиваемся отъ всѣхъ недостатковъ, если имѣемъ на то добрую волю, но слабость характера неизлѣчима. Полно, вѣ-

рить ли этому? Вниманіе есть удивительный рычагъ въ морали. Оно дѣлаетъ чудеса. Вниманіе можетъ даровать нѣкоторое послѣдованіе, нѣкоторый порядокъ въ поступкахъ нашихъ, нѣкоторое равновѣсіе мыслямъ и дѣламъ, и мы уже вылѣчены отъ половины слабости. Часто лучшія свойства сердца называются слабостію людьми непрозорливыми. Съ перваго взгляду Сократъ казался слабымъ человѣкомъ; его Ксантиппа дѣлала изъ него что̀ хотѣла и проливала на его священную голову помои изъ окна своего. «Послѣ бури бываетъ дождь», повторялъ мудрецъ, отряхая съ себя воду. Но какую надобно имѣть твердость души, чтобы сказать сіи слова безъ гнѣва, съ кротостію и съ этою ироніею, исполненною человѣколюбія, съ этою усмѣшкою, которой Сократъ далъ имя свое! Отъ слабаго человѣка требуется вдвое добродѣтели. Ибо, какъ говоритъ сѣдой Державинъ,—

Какъ бѣдный часовой, тотъ жалокъ,
Который вѣчно на часахъ!

Слабому человѣку необходимо надобно держать въ уздѣ не только порочныя страсти, но даже самыя благороднѣйшія. Одинъ поступокъ твердости даетъ силу учинить другой подобный. Ничто не даетъ такой силы уму, сердцу, душѣ, какъ безпрестанная честность. Честность есть прямая линія: она ближе къ истинѣ, нежели кривыя. Какъ легко развратиться въ обществѣ, но за то какая честь выдержать всѣ его отравы и прелести, не покидая копья! Великая душа находитъ, отверзаетъ себѣ повсюду славное и въ безвѣстности поприще: нѣтъ такого мѣста, гдѣ бы не можно было воевать съ собою и одерживать побѣды надъ самимъ собою. Повинуемся судьбѣ не слѣпой, а зрячей, ибо она есть не что иное, какъ воля Творца нашего. Онъ проститъ слабость нашу: въ Немъ сила наша, а не въ самомъ человѣкѣ, какъ говорятъ стоики.

Въ арміи встрѣчаешь много карикатуръ, но подобной Кроссару не всякому удастся встрѣтить.

Мы дрались подъ Гайерсбергомъ, въ горахъ у Теплица. Раевскій стоялъ въ дефилеѣ; пули свистали. Является къ намъ офицеръ въ свитскомъ мундирѣ, весь въ крестахъ, и въ петлицѣ Марія-Терезія. Конь его въ поту, у него самого пѣна у рта, и потъ съ него градомъ сыплется, глаза горятъ, какъ угли, и толстая нагайка гуляетъ безпрестанно съ праваго плеча на лѣвое. «Bonjour, mon général!» «Ah, bonjour, Crossard!» И слово за слово, вижу—мой Кроссаръ вынимаетъ толстую тетрадь. Отгадайте что? Планъ будущей кампаніи, проектъ, бредъ, однимъ словомъ. Онъ хочетъ читать ее, толковать—гдѣ? Подъ пулями, въ горячемъ дѣлѣ. Раевскій оттолкнулъ его и отворотился. Но Кроссаръ любилъ Раевскаго, какъ любовникъ. Гдѣ генералъ дерется, тамъ и Кроссаръ съ нагайкой и совѣтами. Подъ Лейпцигомъ онъ насъ не покидалъ. Дѣло было ужасное, и Кроссаръ утопалъ въ удовольствіи. Онъ вертѣлся, какъ бѣлка на колесѣ, около генерала. Лошадь его упрямилась. Подъѣзжаетъ ко мнѣ: «Camarade, rendez-moi un service éclatant». «Что вамъ угодно?» «Rossez mon cheval, je vous prie. Là! Bon! Encore un coup, mais frappez fort». Я и товарищи сѣкли его лошадь безъ жалости подъ пулями и картечью; всадникъ на ней прыгалъ безпрестанно, въ пыли, въ поту, въ треугольной шляпѣ оборванной, и красный, какъ ракъ. Онъ, Австріецъ, въ 1812 году перебѣжалъ къ намъ. Онъ бросилъ перчатку Наполеону. Онъ дышетъ только въ войнѣ, любовникъ пламенный пуль и выстрѣловъ.

Сенека.

Слава есть тѣнь добродѣтели. Она слѣдуетъ за нею, даже противъ воли ея; но подобно какъ тѣнь то предшествуетъ тѣламъ, то за ними слѣдуетъ, такъ и слава иногда идетъ передъ нами открыто, иногда по стопамъ нашимъ, и если зависть принуждаетъ ее скрыться, то она является въ свое время и болѣе, и величественнѣе...

Сколько людей, получившихъ извѣстность по смерти своей, и которыхъ слава выросла, такъ сказать, изъ могилы! Вы видите, съ какимъ уваженіемъ говорятъ объ Эпикурѣ и ученые, и невѣжды, и что̀ же? Онъ былъ неизвѣстенъ въ Аѳинахъ и жилъ въ окрестностяхъ столицы аттической, какъ простой гражданинъ. Переживъ Метродора, онъ говоритъ въ письмѣ, вспоминая о дружбѣ, соединявшей его съ симъ мудрецомъ, что между наслажденій жизни долженъ считать и то, что Эпикуръ и Метродоръ жили въ неизвѣстности, что даже имена ихъ не были знакомы Греціи.

«C'est être né pour peu de monde, que de regarder, comme tout son siecle, le peuple qui vit en même temps que nous. Il surviendra des milliers d'années et de peuples; c'est vers eux qu'il faut étendre vos regards...

«L'hypocrisie sert peu; la teinte légère d'un enduit extérieur n'en impose qu'à peu de gens. La vérité, de quelque côté qu'on la regarde, est toujours la même. La fausseté n'a pas de consistance; le mensonge est transparent; avec de l'attention on peut voir au travers».

* *
*

М о и.

Читаю Сенеку. Онъ очень остроумно называетъ Эпикура, проповѣдующаго науку сладострастія, мужчиною въ женскомъ платьѣ. Не можно ли сказать то же о Сенекѣ, угодникѣ Нерона, но на оборотъ? Впрочемъ, читая его письма, можно съ нимъ примириться; можно рѣшительно сказать, что онъ имѣлъ великую, прекрасную душу и умъ необыкновенно проницательный. Онъ обнималъ всѣ свѣдѣнія современниковъ, и книга его, какъ исторія ума человѣческаго во времена Нерона, весьма интересна. Онъ удивительный мастеръ завострить мысль самую обыкновенную и въ этомъ похожъ болѣе на новѣйшаго писателя, нежели на древняго. Я и въ переводахъ вижу, что Цицеронъ никогда не прибѣгалъ къ симъ побочнымъ средствамъ.

Какъ же разница межъ нимъ и Сенекою должна быть чувствительна для тѣхъ, которые имѣютъ счастіе читать въ подлинникѣ обоихъ авторовъ!

«Apprenez ici un mot de Mecène, une vérité que la torture des grandeurs arracha de sa bouche. La hauteur même nous expose à la foudre. Ce passage est tiré du livre intitulé Prométhee, il veut dire: attonita habet summa. Y-a-t'il grandeur au monde qui autorise une telle ivresse de style! Sans doute, Mecène avait du génie: il eut servi de modèle à nos orateurs, si la prosperité ne lui eût ôté sa force, et, pour ainsi dire, sa virilité. Tel sera votre sort, si vous ne pliez dès-a-présent les voiles, pour regagner le rivage moins tard que lui.. Dans le monde, vous aurez des convives choisis par un nomenclateur dans la foule qui vous fait la cour. Quelle folie de chercher des amis dans un vestibule, de les éprouver dans un festin! Le plus grand malheur du riche, est de se croire aimé des gens qu'il n'aime pas: assiégé de ses biens, préoccupé de leur excéllence, il regarde les bienfaits comme un moyen sûr d'acquérir des amis. Souvent on haït à proportion qu'on reçoit: prêtez une petite somme, vous aurez un débiteur; une plus grande vous fait un ennemi. Quoi, les bienfaits n'engendrent pas l'amitié? Ils le peuvent, si le discernement les dirige, si on les place au lieu de semer» (Traduction de Lagrange).

Но вотъ мѣсто прелестное изъ главы: «объ истинной славѣ философа»: «Vous voulez de la célébrité! L'étude ne vous en laissera pas manquer. Ecoutez Epicure: il écrivait à Idoménée: il voulait rappeler d'une vie de parade, à la gloire solide et vraie, ce ministre d'un despote inflexible, alors occupé des plus grandes affaires: «Si la gloire vous touche, lui dit-il, mes lettres vous feront plus connaître que tous ces biens que vous recherchez, et qu'on recherche en vous». N'a-t-il pas dit la vérité? Qui connaîtrait maintenant cet Idoménée, si Epicure n'eût conservé son nom dans ces lettres? Ces grands, ces satrapes, ce roi même dont l'éclat rejaillissait sur Idoménée, nous sont tous inconnus, un oubli profond a effacé jusqu'à leurs moindres traces. Les Epîtres de Cicé-

ron ne laisseront point périr la mémoire d'Atticus: en vaint il aurait eu pour gendre Agrippa, pour descendans Tibère et Brutus. Parmi ces noms illustres le sien ne serait pas cité, si le prince des orateurs ne l'eût mis en évidence. Ainsi le torrent des siècles viendra fondre sur nos têtes: quelques génies surnageront, sans doute, mais l'oubli finira par les engloutir tôt ou tard; au moins auparavant ils auront su se débattre et se soutenir quelque tems». Что̀ Сенека прибавляетъ потомъ. прекрасно: это вырвалось изъ сердца. Пророчество своей собственной славы въ устахъ великаго человѣка не оскорбительно; напротивъ того, оно есть новое свидѣтельство, новое доказательство любви его къ славѣ, то-есть. къ тому. что̀ ни есть лучшаго, чистѣйшаго, изящнѣйшаго. величественнаго. божественнаго на земномъ шарѣ. «La promesse d'Epicure à Idoménée, j'ose la faire à mon cher Lucilius. J'ai aussi quelques droits sur les races futures, je puis sauver quelques noms avec le mien, et partager avec un ami mon immortalité. Virgile a promis et assuré une gloire immortelle à deux heros. «Heureux, dit-il, tous deux, si mes vers ont quelque pouvoir, jamais le temps n'effacera votre mémoire, tant que les descendans d'Enée occuperont l'inébranlable rocher du Capitole; tant que Rome conservera son empire» &&&:

Fortunati ambo....

Тассъ подражалъ этому движенію.

У Гнѣдича есть прекрасное и самое рѣдкое качество: онъ съ ребяческимъ простодушіемъ любитъ искать красоты въ томъ, что̀ читаетъ; это самый лучшій способъ съ пользою читать, обогащать себя, наслаждаться. Онъ мало читаетъ, но хорошо. И горе тому, кто раскрываетъ книгу съ тѣмъ, чтобы хватать погрѣшности, прятать ихъ и при случаѣ закричать: «Поймалъ! Смотрите! Какова глупость!» Простодушіе и снисхожденіе есть признакъ головы, образованной для искусствъ. И впрямь, мало такихъ произведеній пера, живописи. искусствъ вообще, въ которыхъ бы ничего занять было не возможно; иногда погрѣш-

ности самыя наставительны. Съ одной стороны, и ученикъ опрокинетъ однимъ махомъ руки всѣ зданія Шекспира и Державина; съ другой стороны, основанія ихъ вѣчны. Станемъ наслаждаться прекраснымъ, болѣе хвалить и менѣе осуждать! Слова Спасителя о нищихъ духомъ, наслѣдующихъ царствомъ небеснымъ, можно примѣнить и къ области словесности.

Вспоминаю: Дмитріевъ разсказывалъ мнѣ слѣдующій анекдотъ о Державинѣ, который очень любопытенъ для наблюдателя. Когда вышелъ Анахарсисъ Бартелеми, то Державинъ просилъ неотступно Дмитріева и Петрова («Агатонъ» Карамзина) достать ему эту книгу. Промыслили нѣмецкій переводъ. Державинъ его продержалъ день, два, три, недѣлю и болѣе. «Прочитали ли вы?» «Нѣтъ еще». Приходятъ черезъ мѣсяцъ, требуютъ книгу. «Возьмите, вотъ она!» И впрямъ, она лежала на столѣ, но вся въ пыли, въ пудрѣ. «Какъ понравился вамъ Анахарсисъ? Я чаю, вы въ восхищеніи», спрашивали Дмитріевъ и Петровъ. «Я, виноватъ, не прочиталъ ея. Началъ и не могъ кончить... отъ скуки». У друзей опустились руки. Они поглядывали другъ на друга и не знали, вѣрить ли ушамъ своимъ. Но вотъ что̀ всего удивительнѣе: Державина зовутъ на обѣдъ—не ѣдетъ; на ужинъ, на балъ—не поспѣлъ и отговорился болѣзнію. Дмитріевъ, приглашенный въ тѣ же самые дома, узнаетъ о болѣзни Г. Р. и спѣшитъ навѣстить его и застаетъ растрепаннаго, въ шлафрокѣ, съ книгою въ рукахъ. «Вы не здоровы?» «Нѣтъ», отвѣчалъ стихотворецъ, развеселившись,—«я залѣнился, и эта книжка меня удержала дома; не могъ разстаться съ нею!» Отгадайте, какая это была книга? Ну, Пиндаръ, Анакреонъ, или проповѣдь Платонова, или что-нибудь новое о политикѣ? Совсѣмъ не то. Сокольничій уставъ, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ изданный!

Послѣ того позволено сказать: что̀ можетъ быть страннѣе и упрямѣе головы великаго человѣка! Этотъ анекдотъ меня поразилъ и плѣнилъ, разсказанный Дмитріевымъ, который говоритъ, какъ пишетъ, и пишетъ, также сладостно, остро и краснорѣчиво, какъ говоритъ.

Въ мирѣ надобно стряхнуть съ себя прахъ воинскій у алтаря музъ и пожертвовать граціямъ.

Всѣ почти безъ исключенія всѣ гишпанскіе стихотворцы были воины, и что всего удивительнѣе, посреди варварской войны Карла V, посреди опустошеній, пожаровъ Европы и костровъ инквизиціи они воспѣвали... эклоги. Нѣжныя мысли, страстныя мечтанія и любовь какъ-то сливаются очень натурально съ шумною, мятежною, дѣятельною жизнію воина. Горацій бросилъ щитъ свой при Филиппахъ. Тибуллъ былъ воинъ. Парни служилъ адъютантомъ. Сервантесъ потерялъ руку при Лепантѣ.

Время все разрушаетъ, и опустошенія его быстры, но коснуться человѣка, освѣщеннаго мудростію, не дерзаетъ. Ничто ему вредить не можетъ. Годы не изгладятъ, не ослабятъ его славы, и вѣкъ будущій, и всѣ грядущіе вѣки умножатъ, утвердятъ уваженіе къ мудрому (Сенека).

«C'est une chose immense que la sagesse; il lui faut un grand emplacement: le ciel et la terre, le passé, l'avenir, le périssable et l'éternel, le temps en un mot, sont les objets dont elle s'occupe» (Sénéque).

Изъ Лонгина.

Что лучше, совершенная ли посредственность безъ высокаго, или высокое съ нѣкоторыми несовершенствами? Сравненіе Димосѳена съ Гиперидомъ.

«Если судить о достоинствѣ писателей по числу, а не по качеству ихъ красотъ, то Гиперидъ, безъ сомнѣнія, долженъ быть предпочтенъ Димосѳену. Ибо онъ больше его какъ гармоніи, такъ и другихъ ораторскихъ совершенствъ имѣетъ, и потомъ въ превосходномъ степени, подобно атлету, называемому Пентатломъ, который хотя на всѣхъ сраженіяхъ другими атлетами побѣждается, однако превосходитъ всѣхъ тѣхъ, кои подобно ему занимаются всѣми пятью подвигами. Ибо Гиперидъ подражалъ всѣмъ Димосѳеновымъ красотамъ, кромѣ сочиненія словъ; сверхъ того, онъ присвоилъ себѣ совершенства и пріятности

Лизіевы, смягчается, гдѣ потребна простота и откровенность, и не говоритъ вездѣ, какъ Димосоенъ, съ единогласіемъ, живописуетъ нравы съ какою-то умѣренною и пріятною сладостію; его вѣжливость безподобна, насмѣшки — самыя тонкія и благородныя; удивительное искусство въ употребленіи ироніи; шутки его благопристойны и не вынуждены, какъ то бываетъ у худыхъ подражателей аттическому слогу, но изъ самаго предмета родятся. Съ какимъ искусствомъ отражаетъ онъ дѣлаемыя ему возраженія! Сколько въ немъ забавнаго и комическаго! И все сіе растворено такимъ скромнымъ острословіемъ, все приправлено такою непринужденною пріятностью! Сверхъ того, онъ рожденъ къ возбужденію жалости, обиленъ въ баснословныхъ повѣствованіяхъ, гибокъ въ отступленіяхъ и переходахъ къ своему предмету, когда ему вздумается, — что̀ видѣть можно изъ его отступленія о Латонѣ, преисполненнаго красотъ стихотворческихъ. Его надгробное слово съ такою пышностію написано, что я не знаю, можетъ ли кто другой такъ написать.

«Что жъ касается до Димосоена, онъ не умѣетъ такъ хорошо изображать нравы; не обиленъ, не гибокъ, не способенъ къ пышности и лишенъ всѣхъ почти вышесказанныхъ совершенствъ. Притомъ, когда усиливается быть забавнымъ и шутливымъ, то, не возбуждая въ другихъ смѣха, самъ лишь смѣшнымъ дѣлается, и чѣмъ больше старается приближиться къ пріятности, тѣмъ далѣе отъ нея отходитъ. Однако какъ, по мнѣнію моему, Гиперидовы красоты, коихъ въ немъ весьма великое множество, не имѣютъ въ себѣ ничего величественнаго и родились изъ сердца, не согрѣтаго жаромъ вдохновенія,—то посему онѣ вялы и оставляютъ въ слушателѣ какую-то пустоту; ибо кто при чтеніи Гиперида приходитъ въ восторгъ? Напротивъ, Димосоенъ, совокупивъ въ себѣ всѣ качества оратора, по истинѣ рожденнаго къ высокому, и усовершa наукою сей тонъ величія, сіи одушевленныя страсти, сію плодовитость, ловкость, оборотливость, быстроту и, что всего важнѣе, жаръ и силу, къ коимъ никто еще не могъ приближиться, всѣми сими качествами, сими

отъ Бога полученными дарами, коихъ никакъ нельзя назвать человѣческими, побѣждаетъ всѣхъ вѣковъ ораторовъ и, къ униженію тѣхъ совершенствъ, которыхъ онъ не имѣетъ, ослѣпляетъ ихъ своими молніями и оглушаетъ громами. И подлинно, легче смотрѣть открытыми глазами на ниспадающіе съ неба перуны, нежели не быть тронуту и поражену сильными, повсюду пылающими въ его твореніяхъ страстями».

* *
*

О Платонѣ и Лизіѣ.

«Что жь касается до Платона и Лизія, между ними есть еще, какъ сказано мною, другая разность. Ибо Платонъ превосходитъ Лизія не токмо величествомъ, но и множествомъ красотъ своихъ. Сверхъ сего, Лизій больше изобилуетъ пороками, нежели сколько, въ сравненіи съ Платономъ, лишенъ красотъ. Зачѣмъ же сіи божественные писатели старались только о высокомъ въ своихъ сочиненіяхъ, а точность и во всемъ исправность презирали? Кромѣ многаго, причиною сему и то, что природа—(слушайте со вниманіемъ, писатели, это мѣсто очень интересно во всѣхъ отношеніяхъ!) — не сочла человѣка за низкое и презрѣнное животное, но, даровавъ ему жизнь, вывела его въ свѣтъ, какъ бы на великое позорище, дабы онъ былъ зрителемъ всего на немъ происходящаго и подвижникомъ, жаждущимъ славы, и для того при самомъ рожденіи вліяла въ душу его неодолимую страсть ко всему великому и божественному. Отсюда происходитъ, что для обширности ума человѣческаго не довольно цѣлаго міра; мысли наши часто прелетаютъ предѣлы, все сотворенное оканчивающіе. Почему, если кто со всѣхъ сторонъ обозритъ жизнь нашу и примѣтитъ, сколько величественное и превосходное во всѣхъ вещахъ имѣетъ преимущества предъ блистательнымъ и прекраснымъ, тотъ вдругъ увидитъ, къ чему человѣкъ рожденъ. По таковому врожденному побужденію мы не маленькимъ рѣчкамъ удивляемся, хотя бы онѣ были чисты, прозрачны и годны къ нашему употребленію, но Нилу, Дунаю, Рейну, а еще го-

разно болѣе Океану. Равнымъ образомъ не удивляемся огоньку, нами зажженному, какъ бы онъ ни былъ ясенъ, но изумляемся свѣтилами небесными, не смотря на то, что они часто помрачаются, и ничего не находимъ удивительнѣе оныхъ жерлъ Этны, которая часто изъ нѣдръ своихъ извергаетъ камни, скалы, иногда изливаетъ сѣрныя рѣки и огненные потоки. Изъ всего сего слѣдуетъ, что полезное людямъ и даже нужное мы легко пріобрѣтаемъ, а величественному и чрезвычайному только удивляемся».

* *
*

Переводъ Мартынова, который вообще ясенъ, чистъ, точенъ и довольно красивъ. Онъ обогатилъ имъ нашу словесность, столь бѣдную переводами классиковъ. Я благодаренъ ему: онъ доставилъ мнѣ нѣсколько пріятныхъ минутъ въ единообразной скукѣ деревенской.

Еще одна странность Державина. Когда появились его оды, то появились и критики. Чѣмъ болѣе хвалителей, тѣмъ болѣе и враговъ; это дѣло обыкновенное. Между прочими г. Пеплюевъ отзывался о Державинѣ съ презрѣніемъ, не только отрицалъ ему въ талантѣ, но утверждалъ рѣшительно, что Державинъ, котораго онъ лично не зналъ, долженъ быть величайшій невѣжда, человѣкъ тупой и тому подобное. Пересказываютъ Державину: онъ вспыхнулъ. На другой день поэтъ отправляется къ г. Пеплюеву. «Не удивляйтесь, что меня видите. Вы меня бранили, какъ поэта; прошу васъ, познакомьтесь со мною, можетъ быть, найдете во мнѣ хорошую сторону, найдете, что я не такъ глупъ, не такой невѣжда, какъ полагаете; можетъ быть, смѣю ласкать себя надеждою, и полюбите меня». Представьте себѣ удивленіе хозяина! Онъ и жена приглашаютъ Гавріила Романовича обѣдать, подчиваютъ, угощаютъ, не знаютъ, что сказать ему, гдѣ посадить его. Державинъ продолжаетъ ѣздить въ домъ и остается навсегда знакомымъ, даже пріятелемъ [1]).

---

[1]) На внутренней сторонѣ нижней доски переплета записной книжки отмѣчено: Принятъ въ общество любителей словесности Московское 1817; весною того же года — въ Казанское; въ Арзамасъ — 1816, подъ именемъ Ахилла сына, Пелеева.



ИЗБРАННЫЯ ПИСЬМА.

I. Къ роднымъ.

1.—27-го октября 1812 г. Нижній-Новгородъ. Любезный батюшка! [1]) Вы, конечно, изволите безпокоиться обо мнѣ во время моего путешествія въ Москву, изъ которой я благополучно пріѣхалъ въ Нижній-Новгородъ, гдѣ съ нетерпѣніемъ ожидаю писемъ вашихъ. Отсюда я отправляюсь или въ деревню, или въ Петербургъ, не медля по полученіи денегъ, ибо здѣсь дѣлать нечего. Городъ малъ и весь наводненъ Москвою. Печальныя времена! Но мы, любезный батюшка, какъ граждане и какъ люди, вѣрующіе въ Бога, надежды не должны терять. Зла много, потеря частныхъ людей несчетна, цѣлыя семейства разорены, но все еще не потеряно: у насъ есть милліоны людей и желѣзо. Никто не желаетъ мира. Всѣ желаютъ войны, истребленія враговъ. Я совершенно спокоенъ на счетъ васъ, любезный батюшка: вашъ край въ безопасности. Итакъ, поручая себя въ милости ваши, цѣлую руки ваши и, прося родительскаго благословенія, остаюсь по смерть преданный вамъ сынъ Конст. Батюшк.

2.—10-го ноября 1813 г. Веймаръ. Нѣсколько разъ принимался я писать къ тебѣ, любезный другъ и сестра [2]), но все напрасно, потому что мы были въ безпрестанномъ движеніи отъ Теплица къ Лейпцику, гдѣ было жестокое сраженіе, и потомъ

[1]) Николай Львовичъ Батюшковъ.

[2]) Александра Николаевна Батюшкова, вторая сестра поэта, дѣвица.

отъ Лейпцига къ Веймару. Генералъ Раевскій былъ раненъ очень тяжело подъ Лейпцигомъ, но теперь, слава Богу, ему получше, и я надѣюсь, что въ скоромъ времени онъ будетъ совершенно здоровъ. Меня Богъ помиловалъ: ни я, ни лошадь моя не были ни разу задѣты среди самаго сильнаго огня, въ которомъ когда-либо въ жизни моей я находился. Но во время Лейпцигскаго сраженія я потерялъ добраго пріятеля Петина. Онъ убитъ пулею на повалъ, и сія потеря меня до сихъ поръ разстроиваетъ. Мы теперь въ Веймарѣ, болѣе трехъ недѣль живемъ праздно, между тѣмъ какъ генералъ лѣчится. Здѣсь были обѣ великія княгини — Марія Павловна и Екатерина Павловна, и мы обѣимъ имѣли счастіе представляться. Главная квартира въ Франкфуртѣ на Майнѣ, куда и мы скоро поѣдемъ. Конечно, любезный другъ, ты не будешь требовать отъ меня описанія всего похода, который я тебѣ разскажу у камина, когда возвращусь благополучно къ вамъ, любезные друзья, что̀ не такъ-то скоро будетъ! Французы разбиты, но миръ еще не близокъ, а до тѣхъ поръ я не могу оставить службы. Что касается до меня лично, любезный другъ, то я ежедневно благодарю Провидѣніе: первое — за то, что оно меня сохраняетъ для тебя, второе — за то, что я служу при генералѣ, который дѣлаетъ честь русскому войску, котораго уважаетъ государь и всѣ подчиненные любятъ. Онъ ко мнѣ всегда равно благосклоненъ и представилъ меня за первыя два дѣла къ Владиміру съ бантомъ, за Лейпцигъ къ Аннѣ на шею. Если получу сіи знаки отличія, то буду съ избыткомъ награжденъ; если и не получу ихъ, то мнѣ будетъ утѣшно вспоминать, что я находился при храбромъ Раевскомъ и заслужилъ его вниманіе. Онъ недавно произведенъ въ генералъ-аншефы. Будь же спокойна на мой счетъ, милый другъ. Провидѣніе — нашъ покровитель. Оно спасало насъ отъ бѣдъ и злополучій, оно насъ научило терпѣнію, оно и теперь насъ не покинетъ: ни тебя, ни милую Вареньку [1]), которой отъ всей души

[1]) Варвара Николаевна Батюшкова, младшая четвертая сестра поэта, впослѣдствіи за мужемъ за Аркадіемъ Аполлоновичемъ Соколовымъ.

желаю добраго мужа. Не упускай случая сдѣлать ея счастіе и обрадуй меня при возвращеніи въ отчизну. Обними милую Лизавету Николаевну и малютокъ ея. Поблагодари брата [1]) за его дружбу и скажи ему, что среди шуму военнаго, среди безпокойной жизни, всегда и вездѣ я благодарилъ Бога за то, что бѣдная Лиза имѣетъ въ немъ защитника, и вы также, милые друзья мои. Что̀ скажу о дѣлахъ домашнихъ? Ни слова. Оброкъ, если будетъ, поберегите для моего возврата: тогда я буду имѣть въ немъ большую нужду, а теперь пробиваюсь кое-какъ жалованьемъ. Деньги пересылать въ армію весьма затруднительно. Я весь обносился бѣльемъ. Приготовь мнѣ дюжину рубашекъ домашняго тонкаго полотна съ батистомъ, 12 паръ платковъ, побольше простынь, чулокъ и проч., и если можно, щегольской халатъ на ватѣ, въ которомъ я буду отдыхать отъ трудовъ военныхъ. Но это все для возвращенія. Что̀ дѣлаетъ домъ нашъ? Если новаго не начали строить, то построй для меня флигель, но опрятный, а работниковъ возьми въ деревняхъ моихъ. Обей бумажками и убери по возможности. Это все для тебя пригодится. Теперь надобно вамъ сдѣлать строгій выговоръ. Со дня моего отъѣзда ни одного письма отъ васъ не имѣю и даже не смѣю думать о вашемъ молчаніи. Конечно, письма потерялись или не дошли. Знаешь ли мою новую страсть? Нѣмецкій языкъ. Я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по нѣмецки и читаю все нѣмецкія книги; не удивляйся тому. Веймаръ есть отчизна Гете, сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда; здѣсь прекрасная библіотека, театръ и англійскій садъ, въ которомъ часто гуляю, ибо снѣгу здѣсь почти нѣтъ во всю зиму, а на Рейнѣ еще менѣе. Жаль, что у меня мало денегъ; здѣсь всѣ товары, какъ-то: ситцы, сукно и проч., дешевы, но купить не на что и нельзя везти. Говорятъ, что Никита [2]) здѣсь въ арміи. Дай Богъ, чтобъ онъ былъ живъ и здоровъ и утѣ-

[1]) Павелъ Алексѣевичъ Шипиловъ, мужъ третьей сестры поэта, Елизаветы Николаевны.

[2]) Никита Михайловичъ Муравьевъ.

шалъ мать свою и сдѣлался достойнымъ сыномъ достойнѣйшаго изъ людей. Еще разъ обнимаю тебя и сестеръ, и брата и прошу любить и помнить вашего друга. Константинъ.

Кончилъ 15-го ноября.

3.—(Апрѣль — май 1814 г. Парижъ). Любезный батюшка! Благодаря Всевышнему, мы кончили войну побѣдами въ Парижѣ, откуда я пишу къ вамъ. Я не стану разсказывать вамъ, любезный батюшка, всѣхъ походовъ и сраженій нашихъ, предоставляя сіе первому свиданію, которое, надѣюсь, будетъ въ скоромъ времени, ибо я уже получилъ отправленіе въ Петербургъ. Если обстоятельства позволятъ, то я поѣду моремъ черезъ Англію, но къ концу іюля надѣюсь рѣшительно быть въ Петербургѣ. Теперь, желая обрадовать родительское сердце ваше, скажу вамъ, что я, славу Богу, здоровъ и молитвами вашими изъ всѣхъ опасностей вышелъ невредимъ. Получилъ Анну, два раза представленъ къ Владиміру и къ переводу въ гвардію, что̀ будетъ мнѣ весьма выгодно и для штатской службы, если я принужденъ буду оставить военную.

Вотъ, любезный батюшка, что̀ могу сказать теперь о себѣ. Газеты увѣдомили васъ о подвигахъ нашихъ: они неимовѣрны. Мы вступили въ Парижъ, какъ избавители, какъ герои. Я имѣлъ счастіе быть свидѣтелемъ въѣзда государева и не могу описать вамъ этой величественной и трогательной картины. Такимъ образомъ русскіе воины награждены за всѣ труды, и сія награда лестнѣе всѣхъ.

Я теперь покойно живу въ Парижѣ и разсматриваю все, что̀ онъ имѣетъ рѣдкаго, удивительнаго. Наполеонъ оставилъ вездѣ слѣды свои. Здѣсь на всякомъ шагу мы видимъ памятники, воздвигнутые ему въ честь, и смѣясь вспоминаемъ, что герой теперь заключенъ на маленькій островъ. На дняхъ я имѣлъ счастіе видѣть королевскую фамилію, которая заставитъ себя любить. Мѣсто тирана заступили добрые и честные люди. Вы читали нѣсколько описаній Парижа; вы знаете, что Парижъ

есть удивительный городъ; но я смѣло увѣряю васъ, что Петербургъ гораздо красивѣе Парижа, что здѣсь хотя климатъ и теплѣе, но не лучше кіевскаго, однимъ словомъ—что я не желалъ бы провести мой вѣкъ въ столицѣ французской, а во Франціи еще и менѣе того.

Теперь, любезный батюшка, вы не будете требовать отъ меня подробнаго разсказа всѣмъ походамъ и трудамъ, перенесеннымъ нами во Франціи. Сія война можетъ только сравниться съ русскою. Но мы теперь покойны, и всѣ трудности, и все горе забыто на вѣки.

Я ожидаю нетерпѣливо счастливаго времени, когда увижу и обниму васъ. Мысленно обнимаю милаго братца и сестрицу и цѣлую родительскія руки ваши, прошу вашего благословенія и молитвъ вашихъ; онѣ меня поддерживали въ опасностяхъ; онѣ меня не оставятъ и на возвратномъ пути моемъ въ отечество. Вашъ преданный сынъ Константинъ Батюшковъ.

II. Къ Н. И. Гнѣдичу.

1.—19-го марта (1807 г.) Рига. Я получилъ, любезный Николай, твое письмо и порадовался душевно о томъ, что ты меня не позабылъ и любишь, какъ прежде. Ты знаешь, что я чудакъ и не люблю въ глаза льстить; но теперь разлука даетъ мнѣ право сказать тебѣ, что одинъ у меня другъ, и истина сія запечатлѣна въ моемъ сердцѣ на вѣки. Доказательство тому, что я тебя люблю, какъ брата, есть то, что къ тебѣ пишу, одолѣвъ и самую лѣнь, и болѣзнь. Я въ Ригѣ остался за болѣзнію на нѣсколько дней, хотя уже полкъ и очень впереди. Но теперь легче, и поѣду завтра на курьерскихъ догонять дружину. Пиши ко мнѣ, а письма отсылай къ сестрѣ Александрѣ чрезъ купца Ивана Алексѣева. Одно утѣшеніе—говорить съ тобою, хотя на бумагѣ. Да пиши не на листѣ, а на трехъ, не въ одинъ присѣстъ, а во многіе. Всякое слово

для меня дорого въ разлукѣ. Вы, петербургскіе баловни, и не чувствуете цѣны писемъ. Закоснѣли въ грязи. Я теперь въ Ригѣ, царствѣ табака и чудаковъ: Нѣмцевъ иначе называть и не можно. Если меня любишь, то выполни мою просьбу: принеси на жертву какую-нибудь трагедію Шиллера. Я Нѣмцевъ болѣе еще возненавидѣлъ: ни души, ни ума у этихъ тварей нѣтъ. Но Богъ съ ними! Поговоримъ лучше о другомъ. Мнѣ очень нравится военное ремесло. Что̀ будетъ впередъ, Богъ вѣсть. Брани меня, а я штатскую службу ненавижу, чернила надоѣли; а стихи все люблю, хотя они меня не любятъ, и вопреки тебѣ буду у тебя просить стиховъ. Поклонись Меценату-Капнисту. Да скажи ему, что я не только Тасса съ собою не взялъ, но даже нѣтъ ни одного полустишія. А сраженіе опишу вѣрно мѣрою отца Тредіаковскаго и прямо буду безсмертенъ.

Вообрази себѣ меня ѣдущаго на рыжакѣ по чистымъ полямъ, и я счастливѣе всѣхъ королей, ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что разкричишься и съ словомъ:

О, доблесть дивная, о, подвиги геройски!

прямо на бокъ и съ лошади долой. Но это не бѣда! Лучше упасть съ Буцефала, нежели падать, подобно Боброву, съ Пегаса.

Вотъ тебѣ стихи:

По чести мудрено въ саняхъ или верхомъ,
Когда кричатъ: «маршъ, маршъ, слушай» кругомъ,
Писать къ тебѣ, мой другъ, посланья...
Нѣтъ, музы, убоясь со мной свиданья,
Частенько въ Петербургъ иль Богъ знаетъ куда
Изволили сокрыться,
А мнѣ безъ нихъ бѣда!
Кто волкомъ выть привыкъ, тому не разучиться
По волчьи и ходить, и лаять завсегда.
Частенько, погрузясь въ священну думу,
Не слыша барабановъ шуму
И крику рѣзкаго осанистыхъ стрѣлковъ,
Я крылья придаю моей ужасной клячѣ
И — прямо на Парнассъ! Или иначе,
Не говоря красивыхъ словъ,
Очутится предъ мной печальная картина:

Гдѣ вѣтръ со всѣхъ сторонъ въ разбиты окны дуетъ,
И гдѣ любовницу нахмурясь котъ цѣлуетъ,
Тамъ Финна бѣднаго сума
Съ усталыхъ плечъ валится;
Несчастный къ уголку садится
И, слезы утеревъ раздраннымъ рукавомъ,
Догладываетъ хлѣбъ мякинной и голодной...
Несчастный сынъ страны холодной,
Онъ съ голодомъ, войной и Русскими знакомъ!

Вотъ тебѣ стихи!

Государь только откушалъ въ Ригѣ и поѣхалъ далѣе. Здѣшняя уморительная нѣмецкая гвардія встрѣчала его верхомъ. Я этого не видалъ, но видѣлъ сихъ героевъ. Они занимаютъ гауптвахты по всему городу. Карикатуры, какихъ и Брейткопфъ самъ нарисовать не можетъ! Я, увидя ихъ, чуть не умеръ со смѣху. Одѣты очень богато и важничаютъ... Уроды!

Поклонись отъ меня Караулову и попроси, чтобъ писалъ. Лаптевичъ, если не умеръ отъ недуговъ, то вѣрно также что-нибудь намараетъ. Скажи этимъ с—амъ, что я ихъ люблю, хотя они ни м. ч. не стоятъ оба.

Что ты дѣлаешь на Исакіевской площади? Да миръ ниспустится на твою сѣнь! Да съ миромъ пребудутъ твои лары и пенаты, и всѣ домашніе боги, и вся утварь, отъ Гомера до у—ка! Да томная твоя Мальвина, подобно облаку утреннему, ежечасно кропитъ помостъ храма твоего чистѣйшею росою (т. е. ...тъ), и да ты самъ, бардъ именитый, піеши чай спокойно съ твоей подругою и обо мнѣ, страннике, мыслію въ часы вечерней священной меланхоліи печально веселитеся и проч.

Постарайся самъ увидѣть сестрицъ и попросить, чтобъ чаще ко мнѣ писали. Да и ты меня не забывай. Что твой Гомеръ? Что Костровъ? Что греческій языкъ? Напиши мнѣ объ этомъ. Также играютъ ли Донскаго? Что противная партія? Что Озеровъ? Что Капнистъ? Это знать очень интересно.

Мы идемъ, какъ говорятъ, прямо лбомъ на Французовъ. Дай Богъ поскорѣе! Хоть походъ и веселъ, но тяжелъ, особливо въ моей должности. Какъ собака на всѣ стороны рвусь.

Пожалуйста, не забывай меня и люби, какъ друга. Ни время, ни разстояніе, ни разлука не загладятъ въ душѣ моей чувства дружбы, которое буду къ тебѣ питать. Можетъ быть, нашелъ или найдешь людей, которые будутъ краснѣе говорить, но вѣрно не найдешь никого, кто бы такъ любилъ тебя, какъ я. Прощай. Кланяйся своей подругѣ и всѣмъ знакомымъ. Теперь спать хочется. Ужиналъ мало: 10 яицъ, да курицу скушать изволилъ.

Константинъ Батюшковъ.

2.—(Іюнь 1807 г. Рига). Любезный другъ! Я живъ. Какимъ образомъ — Богу извѣстно. Раненъ тяжело въ ногу на вылетъ пулею въ верхнюю часть ляшки и въ задъ. Рана глубиною въ 2 четверти, но не опасна, ибо кость, какъ говорятъ, не тронута, а какъ? — опять не знаю. Я въ Ригѣ. Что могъ вытерпѣть дорогою, лежа на телегѣ, того и понять не могу. Нашъ баталіонъ сильно потерпѣлъ. Всѣ офицеры ранены, одинъ убитъ. Стрѣлки были удивительно храбры, даже до остервенѣнія. Кто бы это могъ думать? Но Богъ съ ними и съ войной! Что ты ко мнѣ не пишешь? Забылъ, братъ, меня совсѣмъ, а я тебя всегда любилъ: ни время, ни труды, ни биваки тебя не изгладили изъ моей памяти. Пиши, Николай, только не огорчай меня дурными извѣстіями. У меня, какъ у модной дамы, нервы стали раздражительны. Крови какъ изъ быка вышло. Послѣ трудовъ, голоду, ужасной боли (и притомъ ни гроша денегъ) пріѣзжаю я въ Ригу, и что жъ? Меня принимаютъ въ прекрасныхъ покояхъ, кормятъ, поятъ изъ прекрасныхъ рукъ: я на розахъ! Благодарность не велитъ писать. Довольно, я счастливъ и не желаю Питера. Говорятъ мои эскулапы, что цѣлый годъ буду хромать. Признаюсь, что на костыляхъ я крайне забавенъ. Хрущовъ поѣхалъ домой: онъ легко задѣтъ. Ахъ. Николай война даетъ цѣну вещамъ! Сколько разъ, измоченный дождемъ, голодный, на сырой землѣ, я завидовалъ хорошей постели, а теперь — не сытому хвалить обѣдъ! Я пью изъ чаши радостей

и наслаждаюсь. Пришли, братъ, своихъ стиховъ ради своей дружбы; надѣюсь. что не откажешь: я оживу. Да если можно какую-нибудь русскую новую книгу въ стихахъ, да Капниста. На колѣняхъ прошу тебя, ты бездѣлицу за это заплатишь.

Адресуй прямо въ Ригу. Пріѣзжай ко мнѣ, Николай, на три дня, и мы бы вмѣстѣ въ Питеръ, когда мое здоровье позволитъ. Я бы тебѣ могъ прислать и денегъ на дорогу. Городъ прекрасный. И мы бы съ тобою обнялись. А? Подумай, да сдѣлай! Усталъ марать. Прощай, ожидаю отвѣта на цѣлой дести.

Вмѣсто имени:



3. — 19-го сентября 1809 г. (Деревня). Я радуюсь, что письмо мое тебя утѣшило. Могло ли произвесть иное дѣйствіе на сердце, способное раздѣлять въ полнотѣ чувство дружества? Могъ ли бы я тебя любить, еслибъ душа твоя не отзывалась согласно на голосъ моей дружбы? Чѣмъ болѣе живу, тѣмъ болѣе люблю тебя; всѣ даже маловажныя происшествія связываютъ тѣснѣе союзъ дружества. Оно ростетъ съ годами, ибо мы гораздо болѣе привязаны другъ къ другу теперь, нежели назадъ тому годъ и болѣе. Любовь совсѣмъ не такъ: эта горячка любви, эти восторги, упояющіе душу, изчезаютъ. Гдѣ истинная любовь? Нѣтъ ея! Я вѣрю одной воздыхательной, петраркизму, то-есть, живущей въ душѣ поэтовъ, и болѣе никакой. Въ дружбѣ моей девизъ — истина и снисхожденіе. Истину должно говорить другу, но столь же осторожно, какъ и самолюбивой женщинѣ; снисходительному должно быть всегда. Ради сего послѣдняго пункта и въ силу этого условія, я могу болтать до устали,— не правда ли?

Я твоей загадки не понимаю, да и не силюсь понять. Ты хочешь заняться Гомеромъ, и совѣтую. Разстанься, удались отъ писателей. Повѣрь мнѣ, это нужно. Я знаю этихъ людей: они вблизи гораздо болѣе завидуютъ. Хорошо съ ними водиться тому, кто ищетъ одной извѣстности, а не славы. Ты въ первой не имѣешь нужды, а послѣднюю ничѣмъ пріобрѣсть нельзя, какъ трудами. Позволишь ли дать совѣтъ? Перечитывая твой переводъ, я болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что излишній славянизмъ не нуженъ, а тебѣ будетъ и пагубенъ. Стихи твои, и это забывать тебѣ никогда не должно, будутъ читать женщины, а съ ними худо говорить непонятнымъ языкомъ. Притомъ, кажется, что славянскіе слова и обороты вовсе не нужны въ иныхъ мѣстахъ: ты самъ это чувствовалъ. Но и здѣсь соблюсти середину — подвигъ во истину трудный! Кто хочетъ писать, чтобъ быть читаннымъ, тотъ пиши внятно, какъ Капнистъ, вѣрнѣйшій образецъ въ слогѣ, я не говорю — переводчику Иліады. Повѣрь мнѣ, что еслибъ Костровъ жилъ въ свѣтѣ, то не осмѣлился бы написать спицѣ для колесницѣ, а свѣтъ или еще зна-

чительнѣе слово—urbanité—не послѣдняя для тебя выгода; и я думаю, что вечеръ, проведенный у Самариной или съ умными людьми, наставитъ болѣе въ искусствѣ писать, нежели чтеніе нашихъ варваровъ. Я слогъ ихъ сравниваю съ рѣкой, въ которую нельзя погрузиться, не омочивъ себя. Мнѣ кажется, что гораздо полезнѣе чтеніе Библіи, нежели всѣхъ нашихъ академическихъ сочиненій, ибо въ первой есть поэзія, а Кондильякъ сказалъ: «On peut raisonner sans s'éclairer, mais on ne peut pas remuer mon âme d'une manière nouvelle ou agréable, qu'aussitôt je ne sente le beau». Вотъ преимущество стихотворнаго языка. Я не знаю, поймешь ли меня, но мнѣ кажется, что лучше прочесть страницу стихотворной прозы изъ Мароы Посадницы, нежели Шишкова холодныя творенія.

Подумай, можетъ быть, я сказалъ правду. Какъ мнѣ Беницкаго жаль! Я читалъ нынѣ Умнаго и дурака въ Таліи. Онъ какъ предвидѣлъ конецъ свой. Все, что ни написано, сильно, даже ужасно, слишкомъ сильно напитано желчью. Живъ ли то онъ?

Увѣдомь меня, какъ Семенова приняла рѣчь мою за Архія? Я теперь перевожу отъ скуки Тибулла въ стихи, Тасса въ прозу и перемарываю старые грѣхи. Много прибавилъ и, что важнѣе—все переписалъ. Я бы послалъ тебѣ что-нибудь, но берегу до случая, когда могу все отправить вмѣстѣ; хочу велѣть переписать копіи три. Если время будетъ, то пришлю и съ этимъ письмомъ. Въ Цвѣтникѣ и губить нечего. Отправь кресты, Бога ради, отправь. . Я, можетъ быть, поѣду вскорѣ въ Москву. Хорошо бы и тебѣ туда заглянуть, а? Какая Аглая у Самариной? Не Шаликова ли журнала обчесавшаяся муза? Англичанка не сдѣлала ли развязку романа немного поспѣшно? Жаль, что я не успѣлъ для нея застрѣлиться холостымъ выстрѣломъ. Напрасно говоришь, что я пишу на какого-то издателя Лукницкаго. Я этихъословъ плетьми сѣчь не хочу. Пришли книги, объ которыхъ писалъ прежде, да пиши поболѣе объ дурачествахъ. Еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ скучно! Я теперь-то чувствую, что дарованію нужно побужденіе и ободреніе; бѣда,

если самолюбіе заснетъ, а у меня вздремало. Я становлюсь въ тягость себѣ и ни къ чему не способенъ. Не знаю, въ прокъ ли то раннія несчастія и опытность. Бѣда, когда разсудка не прибавятъ, а сердце высушатъ. Я пилъ горести, пью и буду пить. Сегодня читалъ я, что Богъ сотворилъ человѣка, и размыслилъ (смотри Моисеевы книги въ началѣ). И впрямь, гдѣ счастіе? Я его иногда нахожу въ краткихъ напряженіяхъ души и тѣла, ибо тѣло отъ души разлучать не должно, но тѣмъ болѣе отъ напряженія органы изнемогаютъ, и горесть тутъ какъ тутъ. Книги, Бога ради, пришли: Цвѣтникъ, Державина и Драматическій Вѣстникъ.

7.—(Кончено и послано 1-го ноября 1809 г. Деревня). Г-жа Севинье, любезная, прекрасная Севинье говоритъ, что еслибъ она прожила только двѣсти лѣтъ, не болѣе, то сдѣлалась бы совершенною женщиною. Если я проживу еще десять лѣтъ, то сойду съ ума. Право, жить скучно; ничто не утѣшаетъ. Время летитъ то скоро, то тихо; зла болѣе, нежели добра; глупости болѣе, нежели ума; да что и въ умѣ?... Въ домѣ у меня такъ тихо; собака дремлетъ у ногъ моихъ, глядя на огонь въ печкѣ; сестра въ другихъ комнатахъ перечитываетъ, я думаю, старыя письма... Я сто разъ бралъ книгу, и книга падала изъ рукъ. Мнѣ не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что дѣлать? Развѣ поговорить съ тобою?

Я подумалъ о томъ, что писалъ къ тебѣ въ послѣднемъ письмѣ, и невольно засмѣялся. Какъ иногда человѣкъ бываетъ глупъ!

1-е дурачество: я сравнилъ себя съ Дмитріевымъ, назначилъ себѣ мѣсто ступенью ниже его!... Бога ради, не напечатай этого! Да и не читай никому!... 2-е дурачество: говорилъ тебѣ о какой-то миссіи... Не во снѣ ли я?... Надѣюсь, что ты это все прочитаешь хладнокровно, пожмешь плечами, положишь въ ящикъ, замкнешь, и дѣлу квитъ. Но кто, мой другъ, всегда бывалъ въ полномъ разумѣ! И что это разумъ? Что онъ такое? Не сынъ ли, не братъ ли, лучше сказать, тѣла нашего? Право, что плели

метафизики—похоже на паутину, гдѣ мы, бѣдныя мухи, увязаемъ то ногой, то крыломъ, тогда какъ можемъ благополучно и мимо, то-есть, и не разсуждать объ этомъ. Послушай Власьевны въ Сбитеньщикѣ:

Ѳадей. Власьевна, отчего коли спишь, хотя глаза зажмурены, а видишь?
Власьевна. Это не видишь, а думаешь.
Ѳадей. А что такое думать?
Власьевна. Я и сама не знаю.

Я и самъ не знаю—безподобное слово! И впрямь, что мы знаемъ? Ничего. Вотъ какъ мысли мои улетаютъ одна отъ другой. Говорилъ объ одномъ, окончилъ другимъ. Не мудрено, мой другъ. Въ этой безмолвной тишинѣ голова не голова. Однакожь обстоятельства не позволяютъ выѣхать. Я бы могъ, правда, ѣхать, напримѣръ, въ Вологду, но что̀ тамъ дѣлать? Здѣсь я по крайней мѣрѣ наединѣ съ сестрой Александрой (Варенька гоститъ у сестры), по крайней мѣрѣ съ книгами, въ тихой пріятной горницѣ, и я иногда веселъ, веселъ, какъ царь. Недавно читалъ Державина: Описаніе Потемкинскаго праздника. Тишина, безмолвіе ночи, сильное устремленіе мыслей, пораженное воображеніе, все это произвело чудесное дѣйствіе. Я вдругъ увидѣлъ передъ собою людей, толпу людей, свѣчки, апельсины, бриліанты, царицу, Потемкина, рыбъ, и Богъ знаетъ чего не увидѣлъ: такъ былъ пораженъ мною прочитаннымъ. Внѣ себя побѣжалъ къ сестрѣ... «Что съ тобой?»... Оно, они!... «Перекрестись, голубчикъ!»... Тутъ-то я насилу опомнился. Но это описаніе сильно врѣзалось въ мою память. Какіе стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманіемъ: ничѣмъ, никогда я такъ пораженъ не былъ!

Я надѣюсь, что ты уменъ и не прочиталъ моего послѣдняго письма Аннѣ Петровнѣ [1]). Но если ты совершенно, по симпатіи со мной, потерялъ разсудокъ? Хорошо, что ей, а не другому, ибо

Molti consigli delle donne sono
Meglio improvviso che a pensarvi usciti;

[1]) Квашнина-Самарина.

Chè questo è speciale, e proprio dono
Fra tanti, e tanti lor dal ciel largiti.

Ariosto.

Если не поймешь, хотя не трудно понять твоей высокопарной латыни, то бѣды нѣтъ. Я писалъ къ Капнисту — нѣтъ отвѣта; писалъ къ Алексѣю Николаевичу [1]) — нѣтъ отвѣта; нынѣ писалъ къ Пнинымъ — сердце говоритъ будетъ отвѣтъ. Крыловъ родился чудакомъ. Но этотъ человѣкъ загадка, и великая!... Играть и не проигрываться, скупость умѣть соединить съ дарованіями и рѣдкими, ибо еслибъ онъ болѣе трудился, болѣе занимался... Но я боюсь разсуждать, чтобъ опять не завраться. Гоняются ли за тобой утренніе шмели? Мнѣ пришла чудная мысль. Еслибъ, когда я у тебя жилъ, по утру пришелъ юноша къ Милому Генію, и тебя бы не было на ту пору дома, то я такъ бы отбрилъ голубчика... «Не вы ли тотъ великій духъ, который сочинилъ эпитафію на смерть статскаго совѣтника?» Я отвѣчаю: «Я!»... «Позвольте мнѣ, пораженному явными чертами генія, простираться, если возможно, до вашей занимательности»... Я отвѣчаю все за тебя, какъ Скотининъ на перекличкѣ: «Я!» «Вотъ, милостивый государь, моя трагедія... Кто болѣе вашего, кто справедливѣе васъ оцѣнитъ слабый, мерцающій лучъ неопытнаго генія?...» «Я!» Тутъ онъ мнѣ начинаетъ читать: читаетъ, а я зѣваю. Наконецъ, есть всему конецъ, и трагедіямъ также: ты входишь... и я указываю на переводчика Гомера и Танкреда.

Вотъ канва, по которой вышить можно что̀ хочешь. Я не знаю, какъ у тебя достаетъ терпѣнія слушать этотъ весь вздоръ? Но не слушать, наживешь враговъ такихъ, которые тебя свѣчой станутъ жечь... Кстати спрошу тебя: что̀ Шаховской написалъ хорошаго? Вотъ еще чудакъ не изъ послѣднихъ. Какъ онъ меня выхвалялъ въ глаза! Такъ что стыдно было за него. Какъ онъ меня, я чай, бранитъ за глаза! Такъ что стыдно за него. Честь Кодру-Жихареву! Не стыдно дѣлаться Панаромъ-воде-

[1]) Оленинъ.

вильщикомъ? Въ его лѣта. дворянину, съ состояніемъ! Онъ точно съ дарованіями: это меня бѣситъ. Измайловъ плететъ, а не пишетъ. Безъ смака вовсе. Однакожь его проза вообще хороша и чиста. Что Беницкій? Продлите ему, боги, вѣку! Но онъ уже успѣлъ написать много хорошаго...

Пусть мигомъ догоритъ
Его блестящая лампада;
Въ послѣдній часъ его безсмертье озаритъ:
Безсмертье—пылкихъ душъ надежда и награда!

Я еще могу писать стихи, пишу кое-какъ. Но къ чести своей могу сказать. что пишу не иначе, какъ когда ядъ пса метроманіи подѣйствуетъ, а не во всякое время. Я болѣнъ этой болѣзнью, какъ Филоктетъ раною, то-есть. временемъ. Что у васъ новаго въ Питерѣ? Что дѣлаетъ Полозовъ? Онъ не пишетъ ни слова. Что̀ Катенинъ нанизываетъ на конецъ строкъ? Я въ его лѣта низалъ не риѳмы, а что-то покрасивѣе, а нынѣ... пятьдесятъ мнѣ било... а нынѣ, а нынѣ...

А нынѣ мнѣ Эротъ сказалъ:
«Бѣдняга, много ты писалъ
«Безъ устали перомъ гусинымъ.
«Смотри, завяло какъ оно!
«Не долго притупить одно!
Вотъ на̀, пиши теперь куринымъ».

Пишу, да не пишетъ, а все гнется.

Красавицъ я пѣвалъ довольно
И такъ, и сякъ, на всякій ладъ,
Да нынѣ что-то не въ попадъ.
Хочу запѣть—анъ, пѣть ужъ больно.
«Что ты, голубчикъ, такъ охрипъ?»
Къ гортани мой языкъ прилипъ.

Вотъ мой отвѣтъ. Можно ли такъ состарѣться въ 22 года! Непозволительно!

Какъ тебѣ понравилось Видѣніе? Можешь сжечь, если не годится. Этакіе стихи слишкомъ легко писать, и чести большой не приносятъ. Инымъ больно досталось. Бобровъ вѣрно тебя разсмѣшитъ. Онъ тутъ у мѣста. Славенофила вычеркни. да и все, какъ говорю, можешь предать огню и мечу.

Къ кому здѣсь прибѣгнуть музѣ? Я съ тѣхъ поръ, какъ съ тобою разстался, никому даже и полустишія, не только своего, но и чужаго не прочиталъ? Съ какими людьми живу?...

> Deux nobles campagnards, grands lecteurs de romans,
> Qui m'ont dit tout Cyrus dans leurs longs complimens...

Вотъ мои сосѣди! Прошу веселиться!

Нѣтъ, не возможно читать русской исторіи хладнокровно, то-есть, съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все напрасно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ, читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги Половцевъ, Татаръ, Литвы и проч., и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человѣкъ. Нѣтъ середины! Великій, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; мелкій, ибо занимаешься пустяками. Жанъ-Жакъ говоритъ:... «Car ne vous laissez pas éblouir par ceux qui disent, que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas même être lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou négociateur». Какая истина! Да Писареву до этого дѣла нѣтъ. Онъ пишетъ себѣ, что такой-то царь, такой-то князь игралъ на скомонѣхъ, былъ лицомъ бѣлъ, сѣкъ рынду батогами и пр.! Есть ли тутъ малѣйшее дарованіе? Не трудъ ли это, достойный Тредіаковскаго... и академіи наградою?... Притомъ отъ одного слова руское, некстати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ... Скажу тебѣ еще, что я читалъ отъ великаго досуга и метафизику. Многое не понялъ, а что̀ понялъ, тѣмъ недоволенъ. Напримѣръ, сочинитель Системы Природы похожъ на живописца, который всѣ краски смѣшалъ въ одно и послѣ, кажется, говоритъ: «Отличи, коль можешь, бѣлое отъ чернаго, красное отъ синяго!» Наука тщетная и пустая! Это Дедаловъ лабиринтъ, въ которомъ быть надобно, но не иначе, какъ съ нитью, то-есть.

съ разсудкомъ. Жаль, что эта нить тонка и гнила. Сей же самый сочинитель въ концѣ книги, разрушивъ все, смѣшавъ все, призываетъ природу и дѣлаетъ ее всему началомъ. Итакъ, любезный другъ, не возможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, какъ хочешь, все одно; но оно существуетъ, то-есть, существуетъ Богъ. А отъ сего все заключить можно. Я знаю твои мысли, ты знаешь мои, и потому мимоходомъ это тебѣ сказалъ.

Не знаю, читаешь ли ты Анахарсиса? Божественная книга. Не выпускай ея изъ рукъ, ибо она не только быть можетъ путеводителемъ къ храму древности или изящнаго, но исполнена здравой философіи.

У меня мало книгъ, потому-то я одну и ту же перечитываю много разъ, потому-то, какъ скупой или любовникъ, говорю объ нихъ съ удовольствіемъ, зная, что тебѣ этимъ наскучить не можно.

Писаревъ еще написалъ что-то, именно: Правила для актеровъ. Я изъ рецензіи вижу, что это вздоръ, даже въ эпиграфѣ ошибка противъ языка, непростительная члену академіи. Меня убиваетъ самолюбіе этихъ людей. Еслибъ они хотя языкомъ занимались, еслибъ хотя умѣли цѣнить дарованія чужія... Но что̀ я говорю? На это надобенъ умъ, а у нихъ этого-то и недостаетъ.

Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками и, что̀ еще болѣе, цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь,—итакъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы, не любятъ или не умѣютъ любить Русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести жизнь на жертву отечеству... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ Вѣстникъ свой Русскимъ, какъ будто пишетъ въ Китаѣ для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ ты-

сичи, жужжатъ, нашептываютъ: руское, руское, руское... а я потерялъ вовсе терпѣніе!

Я посмѣялся твоему толкованію любви. Боюсь, чтобъ ты не учредилъ судъ любви, который существовалъ въ Провансѣ, къ концѣ одиннадцатаго столѣтія. Тамъ эти полезныя задачи разрѣшали всячески и все по латыни. Красавицы слушали съ удовольствіемъ ученыхъ трубадуровъ, которые такъ хитро умѣли угадывать тайные сгибы ихъ сердецъ. Но насъ никто слушать не будетъ: такъ останемся всякій въ своемъ расколѣ. Притомъ же всякій любитъ какъ умѣетъ, ибо страсть любви есть Протей. Она принимаетъ разные виды, соображаясь съ сердцемъ любовника. Любовь есть... но

Je me sauve à la nage, et j'aborde où je puis.

Прощай, до свиданія. Конст. Бат.

3.—(Средина февраля 1810 г. Москва). Я пишу тебѣ, любезный другъ, въ скучномъ расположеніи. Съ тѣхъ поръ, какъ я въ Москвѣ, не былъ еще ни на одномъ балѣ. Сегодня ужасный маскерадъ у г. Грибоѣдова, вся Москва будетъ, а у меня билетъ покойно пролежитъ на столикѣ, ибо я не поѣду. Ты на Муравьева вооружаешься. Загляни еще въ его оду и увидишь прекрасные стихи, напримѣръ: «Солонька дѣдовска одна». Впрочемъ, если уступаю оду, то не уступлю дочери. Она... повѣришь ли, голова у меня не на мѣстѣ. Я не влюбленъ, а еслибъ еще.... Ну, да полно! Знаешь ты, я изъ семьи Скотининыхъ: что̀ въ голову залѣзетъ, такъ тутъ и сидитъ. Радищевъ пишетъ къ тебѣ. Онъ милъ, какъ ангелъ. Посылаю тебѣ, мой другъ, маленькую пьеску, которую взялъ у Парни, то-есть, завоевалъ. Идея оригинальная. Кажется, переводомъ не испортилъ, впрочемъ ты судья! Въ ней какое-то особливое нѣчто меланхолическое, что мнѣ нравится, что-то мистическое, a proposito. Я гулялъ по бульвару и вижу карету; въ каретѣ барыня и баринъ, на барынѣ салопъ, на баринѣ шуба, и на мѣсто галстуха желтая шаль. «Стой!» И карета «стой». Лезетъ изъ колымаги баринъ.

Замѣть, я былъ съ маленькимъ Муравьевымъ. Кто же лѣзетъ? Карамзинъ! Тутъ я былъ ясно убѣжденъ, что онъ не настушекъ, а взрослый малый, худой, блѣдный какъ тѣнь. Онъ меня очень зоветъ къ себѣ; я буду еще на этой недѣлѣ и опишу тебѣ все, что̀ увижу и услышу.

Благодарю тебя за обѣщаніе писать къ Гагарину. Богъ поможетъ, а пока я горе мыкаю. Право, жаловаться боюсь, а умираю то отъ новыхъ ѣдкихъ огорченій, то отъ какого-то бездѣйствія душевнаго, отъ какой-то ни къ чему непривязанности. Я здѣсь очень уединенъ. Въ карты вовсе не играю. Вижу стѣны да людей. Москва есть море для меня; ни одного дома, кромѣ своего, ни одного угла, гдѣ бы я могъ отвести душу душой. Петинъ одинъ меня утѣшаетъ: истинно добрый малый. Я съ нимъ болтаю, сидя у камина, и время кое-какъ утекаетъ. Нѣтъ, я вовсе не для свѣта сотворенъ премудрымъ Діемъ! Эти условія, проклятыя приличности, эта суетность, этотъ холодъ и къ дарованію, и къ уму, это уравненіе сына Фебова съ сыномъ откупщика или выб.....мъ счастія, это меня бѣситъ! Повѣришь ли? Я вовсе сталъ не тотъ, что̀ былъ назадъ три года. «Не столько я благополученъ» и не столько злополученъ. Годы унесли счастіе, этотъ минутный восторгъ, эту молнію; унесли, правда; но они же унесли безразсудіе, но они научили людямъ давать цѣну истинную. Поцѣлуй Семенову за меня, какъ Иксіонъ сквозь облако Юнону. И то хорошо! Лучше безплодной мечты. Пиши скорѣе. Я на первой недѣлѣ поста хочу ѣхать въ Тверь. Но сперва отпиши, какъ взяться за Гагарина, какъ и что̀ дѣлать? К. Б.

Прочитай Парни Самариной. Это въ ея родѣ: любовь мистико-платоническая.

6.—17-го (марта 1810 г. Москва). Любезный мой Николай! Виноватъ передъ тобою не я, а болѣзнь моя, которая мѣшала мнѣ къ тебѣ писать, милый другъ мой. Я не шутя былъ очень боленъ нервическимъ припадкомъ въ головѣ. Странная болѣзнь! Лѣкаря называютъ ее: le tic douloureux или болѣ-

ненное біеніе въ вискахъ, упаси Богъ отъ этакаго мученья, упаси Богъ! Вотъ почему я не былъ и въ Твери, даже и вовсе отдумалъ. Что-то все не клеится. Однако же благодарю истинно твоей дѣятельной дружбѣ или лучше — ни слова. Положи руку на сердце, вотъ лучшая награда, когда служишь другу.

Итакъ, я и въ Тверь не поѣхалъ! Что дѣлать! Знать таковы судьбы! Однако же Тасса моего хочу послать туда прямо къ Гагарину. Что будетъ, того не миновать. Знаю, что самому бы лучше, да нельзя. Впрочемъ, я такой вѣры, что счастіе въ пору и невзначай приходитъ, и что всѣ разсчеты бываютъ иногда ничтожны.

Спасибо за Иліаду. Я ее читалъ Жуковскому, который предпочитаетъ переводъ твой Кострову. И я самъ его же мнѣнія. Нѣкоторыя замѣчанія, сдѣланныя мною, сообщу на первой почтѣ. Повѣрь мнѣ, мой другъ, что Жуковскій — истинно съ дарованіемъ, милъ и любезенъ, и добръ. У него сердце на ладони. Ты говоришь объ умѣ? И это есть, повѣрь мнѣ. Я съ нимъ вижусь часто и всегда съ новымъ удовольствіемъ. Кстати, скажу тебѣ, что я бываю у Карамзина и принятъ у него, кажется, на хорошей ногѣ: всѣхъ замѣчаній, сдѣланныхъ мною, не сообщу, а скажу тебѣ, что я видѣлъ автора Мароы упоеннаго, избалованнаго безпрестаннымъ куреніемъ, и болѣе ни слова.

Я кончу письмо, почта ѣдетъ. Прощай. Чудно, что Ермолаева нѣтъ до сихъ поръ. К. Б.

7. — (Октябрь-ноябрь 1810 г. Деревня). Я вижу, любезный другъ, что съ тобою нужна логика и діалектика самая тонкая, и для того боюсь, чтобъ ты не прицѣпился снова къ моимъ словамъ. Ты мнѣ упрекаешь лѣностью! Ты, который лежишь отъ утра до ночи или дѣлаешь одно только, что̀ тебѣ пріятно, ты, которому желудокъ дороже и самой славы, ты, который пишешь къ другу своему одни отвѣты лаконическіе на длинныя его письма, однимъ словомъ, ты, Гнѣдичъ, — между тѣмъ какъ я, несчастный (ни слова не хочу прибавить), между тѣмъ какъ я

сижу одинъ въ четырехъ стѣнахъ, въ самомъ скучномъ уединеніи, въ такой тишинѣ, что каждое біеніе маятника карманныхъ часовъ повторяется ясно и звучно въ моемъ услышаніи, между тѣмъ какъ и надежды не имѣю отсюда выѣхать! Нѣтъ, лучше пожелай мнѣ той твердости духа, которой я часто не имѣю, будучи (вина боговъ!) чувствителенъ къ огорченіямъ, а радостей, клянусь тебѣ небомъ, давно не знаю. Вотъ мое положеніе. Я люблю тебя, а кого люблю, того не огорчаю дальнымъ и безплоднымъ разсказомъ, да и къ чему тебѣ плакать? У тебя и безъ того болятъ глаза, и на мои длинныя рѣсницы часто, очень часто навертываются слезы, которыя никто, кромѣ Бога, не видитъ.

Что̀ мнѣ дѣлать? Что̀ начать? Я хочу отписать снова къ Оленину; онъ мнѣ пусть откажетъ; его отказъ легче снести, нежели другаго, оттого что я его люблю, оттого что ему многимъ, очень многимъ одолженъ! И еще разъ, и въ послѣдній, буду проситься въ чужіе края. На это у меня сто причинъ. А у васъ въ Питерѣ служить не намѣренъ. И на это есть милліонъ причинъ сильныхъ, важныхъ.

Повѣришь ли? Я здѣсь живу 4 мѣсяца, и въ эти четыре мѣсяца почти никуда не выѣзжалъ. Отчего? Я вздумалъ, что мнѣ надобно писать въ прозѣ, если я хочу быть полезенъ по службѣ, и давай писать—и написалъ груды, и еще бы писалъ, несчастный! И я могъ думать, что у насъ дарованіе безъ интригъ, безъ ползанья, безъ какой-то разсчетливости можетъ быть полезно! И я могъ еще дѣлать на воздухѣ за̀мки и ловить дымъ! Нынѣ, бросивъ все, я читаю Монтаня, который иныхъ учитъ жить, а другихъ ждать смерти. А ты мнѣ совѣтуешь переводить Тасса—въ этомъ состояніи? Я не знаю, но и этотъ Тассъ меня огорчаетъ. Послушаемъ Лагарпа, въ похвальномъ его словѣ Колардо: «Son âme (l'âme de Colardeau) semblait se ranimer un moment pour la gloire et la reconnaissance, mais ce dernier rayon allait bientôt s'éteindre dans la tombe.... Il avait traduit quelques chants du Tasse. Y avait-il une fatalité attachée à ce nom?» Я

знаю цѣну твоимъ похваламъ и знаю то, что дружба не можетъ тебя ослѣпить до того, чтобъ хвалить дурное. Но знаю и то, что мой Тазъ или Тассъ не такъ хорошъ, какъ думаешь. Но если онъ и хорошъ, то какая мнѣ отъ него польза? Лучше ли пойдутъ мои дѣла (о которыхъ мнѣ не только говорить, но и слышать гадко), болѣе или менѣе я буду счастливъ? Или мы живемъ въ вѣкѣ Людовика, въ которомъ для славы можно было претерпѣть несчастіе, можно было страдать и забывать свое страданіе?

Къ несчастію, я не враль и не геній и для того прошу тебя оставить моего Тасса въ покоѣ, котораго я вѣрно бы сжегъ, еслибъ зналъ, что у меня одного онъ находится. Впрочемъ, я радъ, что тебѣ понравились мои стихи въ Вѣстникѣ. Они давно были написаны: это очень видно.

Сказать ли тебѣ анекдотъ? Ник. Наз. Муравьевъ, человѣкъ очень честный, и про котораго я вѣрно не скажу ничего худаго, ибо онъ этого не стоитъ, наконецъ, Николай Назарьевичъ, негодуя на меня за то, что я не хотѣлъ ничего писать въ канцеляріи (мнѣ было 17 лѣтъ), сказалъ это покойному Михаилу Никитичу [1], а чтобъ подтвердить на дѣлѣ слова свои и доказать, что я лѣнивецъ, принесъ ему мое посланіе къ тебѣ, у котораго были въ заглавіи стихи изъ Парни всѣмъ извѣстные:

Le ciel, qui voulait mon bonheur
Avait mis au fond de mon cœur
La paresse et l'insouciance—и проч.

Что сдѣлалъ Михаилъ Никитичъ? Засмѣялся и оставилъ стихи у себя. Quid rides? Fabula de te narratur! Вотъ и твоя исторія. И впрямь, что̀ значитъ моя лѣнь? Лѣнь человѣка, который цѣлыя ночи просиживаетъ за книгами, пишетъ, читаетъ или разсуждаетъ! Нѣтъ, говорилъ Мирабо, а Мирабо зналъ, что̀ говорилъ, — еслибъ я строилъ мельницы, пивоварни, продавалъ, обманывалъ и недовѣдывалъ, то вѣрно бъ прослылъ честнымъ и притомъ дѣятельнымъ человѣкомъ. Не думай, чтобъ я Мирабо

[1]) Муравьевъ.

слова взялъ за правило: я его читалъ назадъ тому два года и привожу изъ памяти. Впрочемъ, у меня покои довольно теплы, для общества есть три собаки, аппетитъ изрядный и на мѣсто термометра серебряный рубль, который остался отъ шведскаго похода: съ этимъ не умрешь съ голоду, а если сойдешь съ ума, то это бездѣлка! Ахъ, обстоятельства, обстоятельства, вы дѣлаете великихъ людей!

Но я не хочу походить на старую даму, а ты не докторъ, слѣдственно, и полно говорить о себѣ. Львова вышла замужъ за Львова. Я этого все не понимаю! Леонидъ [1]) ко мнѣ пишетъ очень забавно, а объ этомъ ни слова. Да помилуй, у Ѳедора Петровича 10 человѣкъ дѣтей! Чудеса! Мое письмо очень скучно, затѣмъ-то я прилагаю у сего письмо князя Вяземскаго, которое тебя вѣрно насмѣшитъ. Но пришли его обратно, ибо оно мнѣ нужно. О Жуковскомъ ничего не знаю. Я съ нимъ жилъ три недѣли у Карамзина и на другой или третій день уѣхалъ въ деревню. Онъ въ Бѣлевѣ, вѣрно боленъ или пишетъ. Пришли что-нибудь въ Вѣстникъ, а къ нему писать буду. Да еще тебѣ упрекъ. Миръ праху Беницкаго! Былъ уменъ, да умеръ! А тебѣ не стыдно ли не написать ни строчки въ его похвалу, не стихами, а прозою? Зачѣмъ не извѣстить людей, что жилъ нѣкто Беницкій и написалъ На другой день? Зачѣмъ не помѣстить это біографическое извѣстіе не въ журналъ фабриканта Измайлова, а въ Вѣстникъ? Пробудись, Брутъ! Что такое намаралъ еще Шихматовъ? Я читалъ Каченовскаго рецензію въ журналѣ, а его поэмы не видалъ, да и видѣть не хочу. Попроси Измайлова, чтобъ онъ мнѣ прислалъ Цвѣтникъ: я его не получалъ съ апрѣля или мая, а онъ хорошъ для деревни. Пришли, сжалься, какихъ-нибудь книгъ и еще бумаги почтовой, рублей на пять: писать не на чемъ. Прощай.

Что я за писатель писемъ! И что̀ писать къ Баранову, и какая тутъ политика? Охъ, вы люди! Или у меня ни ума, ни разсудка нѣтъ, а вы перемудрили, ученые! Чѣмъ ты занятъ?

[1]) Леонидъ Николаевичъ Львовъ.

Переводишь ли Гомера? А я его нынѣ перечитываю и завидую тебѣ, завидую тому, что у тебя есть вѣчная пища! Бога ради пиши побольше объ Иванѣ Матвѣевичѣ[1]), что̀ онъ дѣлаетъ, и какъ? Я этого человѣка люблю, потому что онъ, кажется, меня любитъ. Вяземскаго письмо очень забавно. Не правда ли? Поклонись Полозову и скажи ему отъ меня: Богъ съ вами! Поклонись Самариной: я душой свѣтлѣю, когда ее вспоминаю. А Пиловы неблагодарные. Не видишь ли Петина? Вотъ добрый другъ!

8. — (Конецъ апрѣля 1811 г. Москва). Виноватъ передъ тобой, милый мой Николай, что замедлилъ отвѣтомъ, но этому была законная причина. Мнѣ хотѣлось послать тебѣ сочиненія Михаила Никитича, и этого не могу до сихъ поръ сдѣлать, потому что университетъ, спѣша потихоньку, задерживаетъ экземпляры. Ты можешь быть увѣренъ, что я тотчасъ по полученіи книгъ оныя тебѣ вышлю. Но Собраніе стихотвореній Жуковскаго ты можешь купить въ Питерѣ: у меня теперь нѣтъ лишнихъ денегъ, вотъ почему тебѣ и не посылаю; въ слѣдующихъ томахъ, которыхъ уже я видѣлъ корректуру, помѣщенъ Перуанецъ, твое посланіе ко мнѣ и переводъ изъ Потеряннаго рая точно въ такомъ видѣ, какъ были напечатаны и прежде.

Ты удивляешься, что Жуковскій, будучи со мной знакомъ, ничего моего не помѣстилъ. Я его люблю, какъ и прежде, потому что онъ имѣетъ большія дарованія, умъ и самую добрую, благородную душу. Въ первомъ томѣ помѣщена одна пѣсня къ Мальвинѣ, нѣкогда напечатанная въ Лицеѣ у Мартынова, и которую я вовсе забылъ. Во второмъ и третьемъ нѣтъ ничего, да и быть не можетъ, потому что я ни басенъ, ни сказокъ, ни одъ никогда не писывалъ. Въ четвертомъ будетъ моя элегія изъ Тибулла, а въ пятомъ Мечта, (которую я снова всю передѣлалъ и мирты послалъ къ чорту), Воспоминанія, Счастливецъ и другія бездѣлки.

[1]) Муравьевъ-Апостолъ.

Но что̀ могу сказать тебѣ о моемъ пріѣздѣ въ Питеръ? Когда увижусь съ тобой? Когда возобновлю прежніе споры? Когда, сидя за трубкою у чайнаго столика, станемъ мы питать воображеніе мечтами, а красноокую твою Мальвину крошками сухарей? Когда пожму твою руку и скажу: другъ мой, десять лѣтъ какъ тебя знаю, въ эти десять лѣтъ много воды уплыло, многое перемѣнилось, мы не столь счастливы, какъ были, ибо потеряли и свѣжесть чувствъ, и сердца наши, способныя къ любви, ретивыя сердца наши до дыръ истаскали; но въ эти десять лѣтъ мы узнали на опытѣ, что дружба можетъ существовать въ этомъ земноводномъ, подлунномъ мірѣ, въ которомъ много зла и мало добра; мы узнали, что счастіе неразлучно съ благороднымъ сердцемъ, съ доброю совѣстью, съ просвѣщеннымъ умомъ, узнали, и... и... и... слава Богу!

Державинъ написалъ письмо къ Тургеневу, въ которомъ онъ разбранилъ Жуковскаго и осрамилъ себя. Онъ сердится за то, что его сочиненія перепечатываютъ, и между прочимъ говоритъ, что Жуковскій его ограбилъ, ибо его книги не расходятся, а Жуковскій на счетъ денегъ такая же живая прорѣха, какъ ты и какъ я. Вотъ люди! Поди, узнай ихъ! А какъ станутъ говорить о благородствѣ, о чувствахъ, о любви къ ближнему, такъ хоть бы кому!

Кстати объ изданіи Жуковскаго. Скажу тебѣ, что его здѣсь бранятъ безъ милосердія. Но согласись со мною: если выбирать истинно хорошее, то нельзя собрать и одного тома. Если хотѣть дать понятіе о состояніи нашей словесности, то какъ дѣлать иначе? Печатать и Шаликова, и Долгорукова, и другихъ. Впрочемъ, эти книги суть истинный подарокъ любителямъ свѣтскимъ и намъ, писателямъ, какъ для справокъ, такъ и для чтенія. Лучшая сатира на Шишкова, какую кто-либо могъ сдѣлать, находится въ этомъ собраніи, то-есть, его стихи, его собственные стихи, которые ниже всего посредственнаго.

Посылаю тебѣ стихи князя Вяземскаго на Шаликова, который хотѣлъ ѣхать въ Парижъ. Они очень остры и забавны.

Въ этомъ родѣ у насъ ничего нѣтъ смѣшнѣе [1]). Пиши ко мнѣ почаще и не забывай, что я тебя люблю и въ прозѣ, и въ стихахъ. Бат.

Опиши мнѣ засѣданіе лицея. Говорятъ, у васъ чудеса за чудесами. Голицынъ написалъ книгу о русской словесности и разбранилъ Карамзина и Шишкова. Вотъ истинный бѣсъ и никого видно не боится. Другой Голицынъ сочинилъ русскую книгу для постниковъ.

P. S. Не удивляйся тому, что на той страницѣ комплиментъ мнѣ написанъ не моей рукой. Это писалъ князь Вяземскій, который пришелъ, выхватилъ у меня письмо и намаралъ то, что видишь. Михаила Никитича сочиненія я тебѣ посылаю: они готовы, и съ портретомъ.

9. 29-го мая (1811 г.). Фили, на Москвѣ-рѣкѣ, отъ городу въ 4-хъ верстахъ. Дача у Катерины Ѳедоровны. Я пишу тебѣ изъ подмосковной, куда переѣхали наши, и гдѣ я останусь, конечно, не долго. Въ Петербургъ буду и нѣтъ. Буду, если получу деньги, въ противномъ случаѣ — къ себѣ въ деревню. Крайне жалѣю, любезный Николай, что Полозовъ набредилъ, а я поступилъ истинно осторожно, не писавъ объ этомъ ни слова къ Алексѣю Николаевичу. Но растолкуй мнѣ: отчего это не случилось? Что помѣшало, и потеряна ли вовсе надежда? Я на тебя сердитъ: пишешь о томъ, о семъ, а о себѣ ни слова, а ты не знаешь, что... что... я тебя люблю. Не согласенъ въ разсужденіи Шишкова. Ты говоришь, что онъ уменъ. Богъ съ нимъ! Иные смѣялись, читая его слово, говоренное въ Бесѣдѣ, а я плакалъ. Вотъ образецъ нашего жалкаго просвѣщенія! Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармоніи въ періодахъ: une stérile abondance de mots, и все тутъ, а о ходѣ и планѣ не скажу ни слова. Это академическая рѣчь? Гдѣ мы?... Далѣе: человѣку, желающему преподавать съ ученою важностію законы

[1]) Приписка князя П. А. Вяземскаго: «Кромѣ однакожъ Леты вашей, чувствительный государь Константинъ Николаевичъ».

вкуса, этому человѣку переводить съ италіянскаго Крѣпость, сочиненіе какого-нибудь макаронщика, сочиненіе, достойное Острова Любви, и наконецъ, подписать свое имя!... Нѣтъ, это ни мало не смѣшно, а жалко. Послѣ этого твой умница напечаталъ съ великими похвалами Станевича казанью, въ которой нѣтъ ни смысла, ниже языка... И этотъ человѣкъ, и эти людіе бранятъ Карамзина за мелкія ошибки и строки, написанныя въ его молодости, но въ которыхъ дышетъ дарованіе! И эти люди хотятъ сдѣлать революцію въ словесности не образцовыми произведеніями, нѣтъ, а системою новою, глупою! И я чтобъ ихъ хвалилъ!... Но подожди; и у насъ будетъ бесѣда: Кутузовъ, Мерзляковъ, Каченовскій, Антонскій со всѣмъ причетомъ московскихъ профессоровъ, которые, какъ извѣстно, по скромности

(Il est facile, il est beau pourtant
D'être modeste lorsque l'on est grand)

скрываютъ имена свои отъ прозорливой публики, ничего не пишутъ и писать не въ состояніи, но все бранятъ и, не имѣя понятія о Исторіи Карамзина, бранятъ ее безъ пощады. Ложные пророки! Всѣ эти господа составятъ общество à l'instar петербургскаго. Планъ ужь готовъ. Ты говоришь, что въ Москвѣ нѣтъ людей! А Карамзинъ, а Нелединскій?... У послѣдняго я недавно обѣдалъ и просидѣлъ до 9 часовъ вечера. Онъ читалъ свои стихи — время летѣло! Счастливый Шоліо и Анакреонъ нашего времени, Нелединскій лѣнивъ не потому, что лѣнь стихотворна, а потому, что лѣность—его душа. Нѣга древнихъ, эта милая небрежность, дышетъ [1]) въ его стихахъ. Онъ много перевелъ изъ Пирона, но какъ перевелъ! Превзошелъ его! Что нужды до рода, я удивляюсь дарованію.

Теперь посылаю тебѣ Пушкина сатиру, которую прочитай Алексѣю Николаевичу. Объ этомъ меня просилъ Пушкинъ. Стихи прекрасны. Вообще ходъ піесы и характеры выдержаны отъ начала до конца.

[1]) Галлицизмъ, не показывай Шишкову! Б.

«Панкратьевна, садись! Цѣлуй меня, Варюшка!
«Дай пуншу! Пей, дьячекъ!»... И началась пирушка!

Вотъ стихи! Какая быстрота! Какое движеніе! И это написала вялая муза Василія Львовича! Здѣсь остряки говорятъ, что онъ исполненъ своего предмета, il est plein de son sujet, то-есть.... Какъ бы то ни было, въ этой сатирѣ много поэзіи. Хочешь ли того, что̀ Мармонтель называетъ въ своей поэтикѣ delicatesse?

Свѣтъ въ черепкѣ погасъ, и близокъ былъ сундукъ...

Это прелестно; но это все не понравится гг. бесѣдчикамъ, корые отговорятъ:

Но къ чорту умъ и вкусъ! Пишите въ добрый часъ!

Прощай, мой другъ! На долго ли — не знаю. Прощай! Я тебя люблю. Еще разъ прощай! Конст. Б.

Иванъ Матвѣевичъ Муравьевъ проситъ у меня стиховъ для прочтенія въ Бесѣдѣ. Напиши мнѣ на отрѣзъ, посылать или нѣтъ. А?

19. (Получено въ Петербургѣ 20-го іюля 1811 г. Череповецъ). Любезный Николай, я пишу къ тебѣ изъ моей деревни, куда пріѣхалъ третьяго дни. На долго ли—не знаю. Но теперь рѣшительно сказать могу, что отсюда я болѣе не поѣду въ Москву, которая мнѣ очень наскучила. Въ послѣднее время я пустился въ большой свѣтъ: видѣлъ все, что̀ есть лучшаго, избраннаго, блестящаго; видѣлъ и ничего не увидѣлъ, ибо вертѣлся отъ утра до ночи, искалъ чего-то и ничего не находилъ. Любезный другъ, не суди меня слишкомъ строго: не всякій воленъ дѣлать то, что̀ хочетъ. Я бы давно былъ въ Питерѣ, еслибъ на то была возможность; теперь же, учредивъ нѣкоторыя дѣла, непремѣнно вырвусь изъ объятій скучной лѣни и праздности, душевной и тѣлесной, и явлюсь къ тебѣ когда-нибудь въ видѣ стариннаго твоего друга, прижму тебя такъ сильно, что ты меня узнаешь по этому порыву. Однимъ словомъ, я рѣшился ѣхать въ Питеръ на службу царскую. Теперь вопросъ:

буду ли счастливъ, получу ли мѣсто, кто мнѣ будетъ покровительствовать? Признаюсь тебѣ, я желалъ бы имѣть мѣсто при Библіотекѣ, но не имѣю никакого права на оное. Я пріѣду, мой любезный Николай, пріѣду, и дай Богъ, чтобъ ты не раскаялся о томъ, что меня вызвалъ изъ Москвы. Ты говоришь, что люди, всѣ безъ исключенія, не могутъ назваться ниже добрыми, ниже умными. О, я это давно знаю на опытѣ! Но что̀ изъ этого слѣдуетъ? Что люди на насъ похожи: итакъ. Богъ съ ними! Но люди—люди! И я на вѣку моемъ былъ обманутъ, но я пользовался благотвореніемъ однихъ, дружбою, однимъ словомъ—всѣми чувствами сердечной привязанности, которыя заставляютъ дорожить жизнію.

Ты правъ: сатира Пушкина есть произведеніе изящное, оригинальное, а онъ самъ еще оригинальнѣе своей сатиры. Вяземскій, общій нашъ пріятель, говоритъ про него, что онъ такъ глупъ, что собственныхъ своихъ стиховъ не понимаетъ. Онъ глупъ и остеръ, золъ и добродушенъ, веселъ и тяжелъ, однимъ словомъ, Пушкинъ есть живая антитеза. Скажи мнѣ, какъ примутъ его стихи ликеане? Что̀ мнѣ сказать о московскомъ пантеонѣ? У насъ съ тобою одна участь, мой милый другъ: меня предлагали въ члены, и нѣкіи мужи отказали. Признаюсь тебѣ, я желалъ бы быть членомъ какого-нибудь общества, затѣмъ что это пробудило бы мою лѣность, ужасную лѣность, которою я и самъ начинаю гнушаться. Но ни московскіе, ни питерскіе собратія не могутъ имѣть сильнаго вліянія на мой духъ: и тѣ, и другіе вялы, и тѣ, и другіе слѣпотствуютъ во мглѣ.

Я радъ тому, что ты бываешь у Строганова. Впрочемъ, cela ne mène à rien такого человѣка, каковъ ты и я. Les gens riches sont des gueux à qui l'on fait l'aumône — не тѣмъ, такъ другимъ образомъ, не деньгами, такъ умомъ, любезностью, веселостію; наконецъ, они скупы на все. Филимоновъ—точно добрый малый. Что онъ зажился въ столицѣ? У него жена милая женщина и ожидаетъ его съ нетерпѣніемъ. Пушкинъ ѣдетъ въ Петербургъ; возобнови съ нимъ знакомство: онъ тебя любитъ.

Я постараюсь быть и самъ въ скоромъ времени. Я тебѣ ничего не писалъ о гимнѣ Венерѣ. Твои стихи мнѣ понравились, они имѣютъ сладость, которая прилична Венерѣ Филометѣ; но мѣра мнѣ не нравится: это перебитый шестистопный стихъ. Гекзаметръ, какимъ писалъ Мерзляковъ, Тредіаковскій въ Тилемахидѣ, имѣетъ болѣе сладости и правильности. Зефиры тиховѣйны—прекрасно.

Что ты дѣлаешь съ своимъ Гомеромъ? Пришли мнѣ что-нибудь. Я здѣсь на досугѣ и радъ буду читать и перечитывать. Я ничего не дамъ въ лицей. Богъ съ нимъ! Кажется мнѣ, я сдѣлаю осторожно, ибо меня у васъ въ Питерѣ не любятъ. Въ Москвѣ былъ Маринъ, стихотворецъ-офицеръ, который читалъ намъ: 1-е) сатиру, 2-е) сатиру, 3-е) Меропу, 4-е) посланія. Я съ нимъ ужиналъ часто у Вяземскаго. Онъ не пьетъ шампанскаго, а пишетъ стихи. Радищевъ все толстѣетъ. Карусель былъ очень богатъ и довольно неинтересенъ.

Еще разъ: пришли мнѣ своего Гомера, а я привезу его съ собою. Съ будущей почтой напишу тебѣ письмо подлиннѣе и пришлю мою элегію изъ Тибулла. Ты мнѣ скажешь свое мнѣніе. Что дѣлаетъ Филинъ? Я ему пришлю непремѣнно что-нибудь—скажи ему, а теперь истинно ему помочь не въ состояніи. Напрасно онъ меня не послушалъ и не пріѣхалъ въ Москву. Прощай, любезный другъ, пришли мнѣ какихъ-нибудь книгъ или новостей. Пришли вторую часть Бесѣды, чѣмъ меня много одолжишь. Vale et potemus! К. Б.

11. (Августъ 1811 г. Черновицы). Болѣе двухъ мѣсяцевъ, любезный другъ, какъ не получаю отъ тебя ни строки. Что значитъ твое молчаніе? Ты боленъ? Но Полозовъ не дремлетъ: онъ иногда за тебя пишетъ. Что съ тобою сдѣлалось? Я бы долженъ начать съ упрековъ, но ихъ въ сторону. Конечно, забыть друга своего въ деревнѣ, не писать къ нему ни строчки, тогда какъ онъ всего болѣе имѣетъ нужду въ письмахъ—что я говорю?—въ одной строчкѣ отъ своего Гомера, есть дѣло безсовѣстное. Но еще разъ, Богъ съ тобою!

Я теперь сижу одинъ въ моемъ домикѣ, скученъ и грустенъ, и буду сидѣть до осени, можетъ быть, до зимы, то-есть, пока не соберу тысячи четыре денегъ, pour faire tête à la fortune, и тогда полечу къ тебѣ на крыльяхъ надежды, которыя теперь немного полиняли.

Что̀ ни говори, любезный другъ, а я имѣю маленькую философію, маленькую опытность, маленькій умъ, маленькое сердчишко и весьма маленькій кошелекъ. Я покоряюсь обстоятельствамъ, плыву противъ воды, но до сихъ поръ, съ помощію моего добраго генія, ни весла, ни руля не покинулъ. Я часто унываю духомъ, но не совсѣмъ, а это оправдываетъ мое маленькое.... mon infiniment petit (вспомни Декарта), которое сто̀итъ уваженія честныхъ людей. Я заврался, но ты меня понимаешь, что̀ тебѣ дѣлаетъ большую честь. Я заврался, но знаешь ли отчего? Оттого, что пустился въ философію. Это со мной обыкновенно бываетъ по осени.

Я читаю теперь Сенъ-Ламберта и бываю доволенъ, какъ ребенокъ. Сенъ-Ламбертъ — добрый человѣкъ; съ нимъ весело бесѣдовать, по крайней мѣрѣ лучше, нежели съ Шатобріаномъ, который — признаюсь тебѣ — прошлаго года зачернилъ мнѣ воображеніе духами, Мильтоновыми бѣсами, адомъ и Богъ вѣсть чѣмъ. Онъ къ моей лихорадкѣ прибавилъ своей ипохондріи и, можетъ быть, испортилъ и голову, и слогъ мой: я уже готовъ былъ писать поэму въ прозѣ, трагедію въ прозѣ, мадригалы въ прозѣ, эпиграммы въ прозѣ, въ прозѣ поэтической. Не читай Шатобріана!

Но что̀ дѣлаютъ ваши Славяне? Бываешь ли ты во пиру во Бесѣдѣ? Нынѣ осень на дворѣ, и пчелы сбираются въ улей, и въ вашемъ ульѣ дымъ коромысломъ. Одинъ читаетъ; другой говоритъ: изрядно; третій хвастаетъ; четвертый хвалитъ себя и Шишкова, ибо Шишковъ воплотился. Что̀ дѣлаетъ Орфей Орфеичъ? [1]) Что дѣлаетъ Шаховской? Что̀ дѣлаютъ всѣ, и въ этомъ числѣ Бунина, съ которой я помирился? Она написала О сча-

[1]) Державинъ.

стіи. Предметъ обширный и важный, слишкомъ важный для дамы. Въ ея поэмѣ нѣтъ философіи (а предметъ философическій), нѣтъ связи въ планѣ, много чего нѣтъ, но за то есть прекрасные стихи. Прочитай конецъ третьей пѣсни, описаніе сельскаго жителя. Это все прелестно. Стихи текутъ сами собою, картина въ цѣломъ выдержана, и краски живы и нѣжны. Позвольте мнѣ, милостивая государыня, имѣть счастье попѣловать вашу ручку! Клянусь Фебомъ и Шишковымъ, что вы имѣете дарованіе!

Я ничего не пишу, все бросилъ. Стихи къ чорту! Это не бѣда; но вотъ что бѣда, мой другъ: вмѣстѣ съ способностью писать я потерялъ способность наслаждаться, становлюсь скученъ и лѣнивъ, даже немного мизантропъ. Часто, сложа руки, гляжу передъ собою и не вижу ничего, а смотрю, а на что смотрю? На муху, которая летаетъ туда и сюда. Я —мечтатель? О, совсѣмъ нѣтъ! Я скучаю и, подобно тебѣ, часто, очень часто говорю: люди всѣ большіе скоты, и азъ есмь человѣкъ.... окончи самъ фразу. Гдѣ счастье? Гдѣ наслажденіе? Гдѣ покой? Гдѣ чистое сердечное сладострастіе, въ которомъ сердце мое любило погружаться? Все, все улетѣло, изчезло вмѣстѣ съ пѣснями Шоліо, съ сладостными мечтаніями Тибулла и милаго Грессета, съ воздушными гуріями Анакреона. Все изчезло! И вотъ передо мной лежитъ на столѣ третій томъ Esprit de l'histoire, par Ferrand, который доказываетъ, что люди рѣжутъ другъ друга за тѣмъ, чтобъ основывать государства, а государства сами собою разрушаются отъ времени, и люди опять должны себя рѣзать и будутъ рѣзать, и изъ народнаго правленія всегда родится монархическое, и монархій нѣтъ вѣчныхъ, и республики несчастнѣе монархій, и вездѣ зло, а наука политики есть наука утѣшительная, поучительная, назидательная, и исторіи должно учиться и размышлять.... и еще Богъ знаетъ что такое! Я закрываю книгу. Пусть читаютъ сіи кровавые экстракты тѣ, у которыхъ нѣтъ ни сердца, ни души.

Теперь берусь за Локка. Онъ говоритъ мнѣ: для счастія

своего ищи, ищи истины. Но гдѣ она? Былъ ли онъ самъ меня счастливѣе? Гоббесъ боялся чертей, а самъ писалъ противъ безтѣлесныхъ тварей. Такъ, мой Николай, науки не могутъ питать сердца. Онѣ развлекаютъ его на время, какъ игрушки голодныхъ дѣтей, а сердце все проситъ любви: она — его пища, его блаженство; и мое блаженство — ты знаешь это — улетѣло на крыльяхъ мечты. Есть ли у меня желанія? Есть ли надежда? Я часто себя спрашиваю, и отвѣчаю: нѣтъ!

Вотъ длинная казанья. Но о чемъ говорить? Здѣсь новостей нѣтъ и не бывало. Новости у васъ; итакъ, пришли мнѣ ихъ поболѣе, но самыхъ пріятныхъ, самыхъ веселыхъ: иначе я тебѣ разшевелю всю мою ипохондрію. Прочитай мое письмо за чаемъ, прочитай наединѣ, вздохни, улыбнись и скажи: я люблю его по прежнему. Прости, мой любезный Николай, пиши почаще и пришли мнѣ что-нибудь почитать. Нѣтъ ли Крылова? Я и бездѣлкѣ буду радъ, а за Крылова скажу спасибо. Константинъ Батюшковъ. Въ Череповецъ.

12.—7-го ноября (1811 г. Деревня). Я получилъ, любезный Николай, твое меланхолическое письмо, твои меланхолическіе стихи и твой турецкій табакъ и всѣмъ тремя весьма доволенъ. Такъ, любезный мой другъ, я живу въ деревнѣ, и въ какой деревнѣ! Гдѣ ни души христіанской нѣтъ.—Но зачѣмъ живешь ты въ деревнѣ? Ты влюбленъ? Въ кого, смѣю васъ спросить? Въ скуку? Долженъ ли я клясться и Стиксомъ, и всѣми божествами, что я здѣсь живу по неволѣ. Да, по неволѣ! Я имѣю обязанности, имѣю сестеръ; къ тому же столько хлопотъ домашнихъ, столько неудовольствій, что вопреки здравому разсудку, вопреки себѣ и людямъ долженъ о с о б и т ь с я, какъ говоритъ сіятельный морякъ и піита Шихматовъ. Если же позволятъ обстоятельства, то буду въ Питеръ, буду съ тобою и буду счастливъ, хотя и не надолго. Вся моя надежда на Оленина; я знаю его на опытѣ, знаю, что онъ готовъ служить всякому, а меня онъ, кажется, и любитъ; но что̀ онъ для меня въ силахъ сдѣлать?

дать мнѣ мѣсто. Какое? Нѣтъ, я не такъ дешево продамъ свободу, милую свободу, которая составляетъ все мое богатство. Тысяча рублей жалованья для меня не важны: я и безъ хлопотъ могу достать болѣе, трудясь около крестьянъ или около книжныхъ лавокъ. Называй меня чѣмъ хочешь, мечтателемъ, сумасшедшимъ и хуже еще, а я все буду напѣвать свое: дипломатика! Я готовъ Ѣхать въ Америку, въ Стокгольмъ, въ Испанію, куда хочешь, только туда, гдѣ могу быть полезенъ, а служить у министровъ или въ канцеляріяхъ между челяди, ханжей и подъячихъ не буду; нѣтъ, твой другъ не сотворенъ

Раставщикомъ кавыкъ и строчныхъ препинаній.

Онъ былъ нѣкогда солдатомъ, хотя и весьма миролюбивымъ; онъ нюхалъ порохъ, хотя и не геройскимъ носомъ; но какъ бы то ни было, онъ вездѣ и всегда помнилъ своего Горація и независимость предпочтетъ всему, кромѣ благодарности, кромѣ ея святыхъ обязанностей, ибо онъ не можетъ откупиться отъ нея краснорѣчіемъ, какъ этотъ чудакъ, который родился въ Женевѣ и умеръ въ Эрменонвилѣ, какъ Жанъ-Жакъ! Что же касается до любви, то она улетѣла, измѣнница, и никогда не заглянетъ къ человѣку, который началъ разсуждать и мыслить, который разочарованъ и людьми, и несчастіями, который на женщинъ смотритъ, какъ на куколъ, одаренныхъ языкомъ и еще язычкомъ, и болѣе ничѣмъ. Я ихъ узналъ, мой другъ: у нихъ въ сердцѣ ледъ, а въ головахъ дымъ. Мало, хотя и есть такія, мало путныхъ.

Я тибуллю, это правда, но такъ, по воспоминаніямъ, не иначе. Вотъ и вся моя исповѣдь. Я не влюбленъ.

Я клялся болѣ не любить
И клятвы вѣрно не нарушу:
Велишь мнѣ правду говорить?
И я уже не много трушу.

Я влюбленъ самъ въ себя. Я сдѣлался или хочу сдѣлаться совершеннымъ янькою, то-есть, эгоистомъ. Пожелай мнѣ счастливаго успѣха. Спасибо за описаніе моихъ успѣховъ. Къ нимъ

нельзя быть нечувствительнымъ; они суть мечта, но всегда пріятная для сердца. Называй славу, какъ хочешь, а слава есть волшебница весьма волшебная.

Мечта понравилась, но конечно, не всѣмъ. Этотъ родъ стиховъ не можно назвать общимъ. Притомъ же въ ней много ошибокъ, а плану вовсе нѣтъ. Жуковскій ее называетъ арлекиномъ, весьма милымъ: я съ нимъ согласенъ. Она напечатана съ поправками, но я ее и еще разъ переправилъ. Увидишь самъ каково.

Посылаю и тебѣ твои стихи. Я замѣтилъ кое-что и намекнулъ поправки. Есть прекрасныя мѣста. Конецъ очень хорошъ, и вся піеса хороша, только должно почистить.

Это почистить напоминаетъ мнѣ анекдотъ, который я слышалъ отъ Карамзина. Покойникъ Херасковъ, сей водяной Гомеръ, любилъ давать совѣты молодымъ стихотворцамъ и, прощаясь съ ними, всегда говорилъ, приподнявъ колпакъ: «Чистите, ради Бога, чистите, чистите! Въ этомъ вся и сила. Чистите! О, чистите, какъ можно болѣе чистите, сударь! Чистите, чистите, чистите!» Начало поправь:

Ты будешь чело мое мрачить бременя.

Бременя—мнѣ не нравится; и этотъ стихъ холоденъ, ибо дѣло не о челѣ, а о сердцѣ, о душѣ, о сердечныхъ чувствахъ. Есть ошибки противъ мѣры, отъ того что ты короткія слова ставишь вмѣстѣ съ долгими: отъ этого родится негладкость. Исправь и это. И ради Бога пришли мнѣ эту піесу. Она мнѣ по сердцу и очень хорошо написана. Прибавь еще la mélancolie de Laharpe, вотъ она и будетъ кстати въ описаніи сладостной мечты. Подражай смѣло. Здѣсь она personnifiée. Всѣ стихи прекрасны и достойны перевода. Боже мой, чѣмъ Капнистъ занимается? Добро бы свое выдумывалъ! А то старыя бредни выпускаетъ на свѣтъ, бредни дураковъ Шведовъ, упсальскихъ профессоровъ, бредни Бальи астронома, бредни этимологистовъ, которымъ насмѣялся Вольтеръ до сыта, бредни людей сумасшедшихъ, бредни безполезныя, которыя не питаютъ ни ума, ни сердца, бредни головы

аль гуде! Не лучше ли было заниматься критикой русской исторіи или словесности, изобличеніемъ Шишкова, начертаніемъ жизни Ломоносова, жизни, которую можно написать столь хорошо перу краснорѣчивому? О, жалкій умъ человѣческій! Прости!

13. 27-го ноября—5-го декабря 1811 г. (Деревня). Сію минуту получилъ я твое письмо и сію минуту отвѣчаю, пока сердце мое не заснуло, пока я могу еще на тебя сердиться. Выслушай и отвѣчай!

Если я говорилъ, что независимость, свобода и все, что̀ тебѣ угодно, подобное свободѣ и независимости, суть блага, суть добро, то изъ этого не слѣдуетъ выводить, что Батюшковъ сходитъ съ ума и читаетъ своего Горація, Балдуса, Скриверіуса и Матаназія съ Метафрастикомъ, печатнаго и рукописаннаго въ Lipsia или въ Лейденѣ, или гдѣ тебѣ угодно. А изъ этого слѣдуетъ именно то, что Батюшковъ, живучи одинъ въ скучной деревнѣ, гдѣ, благодаря судьбѣ, онъ, кромѣ своего Якова да пары кобелей, никого не видитъ, не слышитъ и не увидитъ, и не услышитъ; Батюшковъ не хочетъ и не долженъ, зная себя столько, сколько человѣкъ себя можетъ знать, не долженъ, говорю я, промѣнять своего мѣста на мѣсто канцлера, архіерея или камергера; ибо теперь Батюшковъ, такъ какъ ты его видишь, скучаетъ и имѣетъ право скучать, ибо въ 25 лѣтъ погребать себя никому непріятно. Но тогда, перемѣня свое мѣсто на другое, несвойственное, неприличное, господинъ Батюшковъ былъ бы вдвое несчастнѣе и, что всего хуже, вдвое глупѣе, несноснѣе для себя, для другихъ и для самого Гнѣдича. Еще разъ, и да будетъ это въ послѣдній, разувѣрь себя на мой счетъ и не дѣлай заключеній, вредныхъ дружбѣ, оскорбительныхъ моему сердцу, ибо я всегда думалъ и думаю, что мечтатели, если и могутъ имѣть пламенную голову, сильное воображеніе, умъ, все, что тебѣ угодно, за то не имѣютъ души, и въ сердцѣ ихъ холодно, какъ теперь на дворѣ; а я чувствую, мой другъ, что у меня есть сердце всякій разъ, когда помышляю о тебѣ и о людяхъ, мнѣ любезныхъ. Еще разъ повтори

себѣ, что Батюшковъ пріѣхалъ бы въ Петербургъ, еслибъ его дѣла не задерживали въ деревнѣ, еслибъ имѣлъ въ карманѣ болѣе денегъ, нежели имѣетъ, еслибъ зналъ, что получитъ мѣсто и выгодное, и спокойное—да, спокойное, гдѣ бы онъ могъ ничего не дѣлать и не кланяться подъячимъ, людямъ ничтожнымъ, — онъ бы пріѣхалъ; а если не ѣдетъ, то это значитъ то, что судьба не позволяетъ... и проч. Но нѣтъ, ты свое бредишь и всегда, что хуже всего, не своей головой, ибо у тебя умъ великъ или малъ, но благодаря Бога, здоровъ, а бываетъ боленъ тогда только, когда страсть или другіе умы, умищи и умишки сведутъ съ истиннаго пути. Ихъ сужденіемъ я не дорожу, ихъ совѣтовъ не хочу, ихъ сожалѣнія не требую, ибо они для меня... только что забавны; но тебѣ, мой другъ, тебѣ стыдно меня обижать заключеніями странными и оскорбительными. Если я тебѣ не открывалъ моихъ чудесныхъ обстоятельствъ, то это истинно потому, что ты мнѣ пособить не можешь: въ слезахъ твоихъ я нужды не имѣю, но въ утѣшеніи имѣю нужду. Мы други, и я смѣю тебя назвать такъ, мы други не съ тѣмъ, чтобъ плакать вмѣстѣ, когда одинъ за тысячу миріаметровъ отъ другаго, не съ тѣмъ, чтобъ писать обоюдно плачевныя элегіи или обыкновенщину, но съ тѣмъ—и это ты на опытѣ доказываешь, когда не заразишься постороннимъ чадомъ,—съ тѣмъ, говорю я, чтобъ мѣняться чувствами, умами, душами, чтобъ проходить вмѣстѣ чрезъ бездны жизни, ведомые славою и опираясь на якорь надежды. При имени славы ты вѣрно не засмѣешься; а если засмѣешься, то загляни въ свое собственное сердце. Я писалъ о независимости въ стихахъ, о свободѣ въ стихахъ; на судьбу мою никому, кромѣ тебя, не жаловался, и то въ прозѣ; а служить изъ тысячи рублей жалованья титулярнымъ совѣтникомъ, служить и готовиться къ экзамену, подобно Митрофану, твердя «Азъ же есмь червь, а не человѣкъ... поношеніе человѣковъ», повторять зады и набивать себѣ голову римскимъ кодексомъ, поэтическими подробностями изъ Зябловскаго, аксіомами изъ Эвклида, служить писцомъ, скрибомъ въ столицѣ, гдѣ можно пить, гдѣ я пилъ изъ чаши наслажденій и горестей ра-

десть и печаль, но всегда оставался на моемъ мѣстѣ, — нѣтъ, нѣтъ, это все свыше меня и свыше тебя!

Что ты дѣлалъ въ жизни своей? Кому ты продалъ свою свободу? Никому. И я это докажу тебѣ въ двухъ словахъ. Въ департаментѣ ты могъ получить болѣе, нежели получаешь нынѣ. Служа въ пыли и прахѣ, переписывая, выписывая, исписывая кругомъ цѣлыя дести, кланяясь на лѣво, а потомъ на право, ходя ужомъ и жабой, ты былъ бы теперь человѣкъ, но ты не хотѣлъ потерять свободы и предпочелъ деньгамъ нищету и Гомера. Въ департаментѣ ты бы могъ быть коллежскимъ совѣтникомъ, получить крестъ, пенсіонъ, все, что угодно, потому что у тебя есть умъ и способности, но ты не хотѣлъ потерять независимости и остался бы титулярнымъ совѣтникомъ до скончанія вѣка, еслибъ не рука благодѣтельнаго генія, не рука великой княгини дала тебѣ чинъ и пенсіонъ, званіе честнаго человѣка и кусокъ насущнаго хлѣба. Чѣмъ же ты хвастаешь передо мною? Какой-то опытностію! Гнѣдичь, Гнѣдичь! Эту опытность— къ несчастію моему—и я пріобрѣлъ, эту опытность, и скучную, и едва ли не пустую. Я привыкъ смотрѣть на людей и на вещи съ надлежащей точки: меня тому научили и годы, и люди, и несчастія. Les malheurs m'ont mis au rang des sages, говоритъ мудрецъ. Я не философъ, но по крайней мѣрѣ имѣю драхму разсудка, а я враль въ твоихъ глазахъ, потому что мелю вздоръ на рифмахъ, враль, потому что говорю то, что мыслю, враль, потому что тебя въ томъ увѣрили умные люди, которые мастера давать совѣты, когда ихъ не просятъ, мастера сожалѣть и злословить. Пріятель нашъ Беницкій, который имѣлъ умъ и сердце, сказалъ:

> Вездѣ встрѣчаются быки
> И — поученья.

Ты помнишь эту басню? И онъ сказалъ правду! Но дѣло не о томъ: мнѣ обидно, любезный другъ, не столько душѣ моей, ибо она всегда согласна съ твоею, сколько моему самолюбію,— обидно то, что ты разговариваешь со мною точно такъ, какъ съ

ребенкомъ или постникомъ, который отъ изможденія плоти видитъ духовъ, des anges violets, слышитъ, подобно Пиѳагору, пѣніе и гармоническіе гласы планетъ небесныхъ, а не видитъ, не слышитъ того, что его окружаетъ. Брось, кинь навсегда эту привычку! Другъ твой не сумасшедшій, не мечтатель, но чудакъ (la faute en est aux dieux qui m'ont fait si drôle), но чудакъ съ разсудкомъ. Я говорю о путешествіи: ты пожимаешь плечами. Но я тебя въ свою очередь спрошу: Батюшковъ былъ въ Пруссіи, потомъ въ Швеціи; онъ былъ тамъ самъ, по своей охотѣ, тогда, когда все ему препятствовало; почему жь Батюшкову не быть въ Италіи? «Это смѣшно», говорилъ мнѣ Барановъ въ бытность мою въ Москвѣ. Смѣшно? А я докажу, что нѣтъ! Если Фортуну можно умилостивить, если въ сильномъ желаніи тлѣется искра исполненія, если я буду здоровъ и живъ, то я могу быть при миссіи, гдѣ могу быть полезенъ. И еще скажу тебѣ, что когда бы обстоятельства позволяли, и курсъ денежный унизился, то Батюшковъ былъ бы на свои деньги въ чужихъ краяхъ, куда онъ хочетъ ѣхать за тѣмъ, чтобъ наслаждаться жизнію, учиться, зѣвать; но это все одни если, и то правда, но если сбыточныя. А если небо упадетъ, говоритъ пословица, то перепелокъ передавитъ, если... если...

Но ты сбираешься въ Москву? Зачѣмъ? Подумай хорошенько! А для меня не оставайся въ Питерѣ, хоть твой отъѣздъ и будетъ мнѣ непріятенъ и весьма непріятенъ. Сію минуту принесли мнѣ денегъ. Если еще столько, да еще столько, то я поѣду въ Питеръ; прибавь къ тому еще одно если... Что же до Москвы касается, то я ее люблю, какъ душу; но тамъ — вотъ тебѣ и мой совѣтъ — онъ похожъ на совѣтъ того Гасконца, который говорилъ архитекторамъ парижскимъ: «Cadedis, messieurs, если вы будете строить мостъ (le Pont-Neuf) вдоль рѣки, то никогда не успѣете, а я вамъ совѣтую строить поперекъ»,—мой совѣтъ: имѣть больше денегъ; въ Москвѣ все дорого; нужна, необходима карета четверней и проч., тогда будешь человѣкъ! А безъ того не ѣзди, мой другъ; дождись меня, дождись моихъ замѣчаній на

Гомера и на твою бѣдную голову; дождись моихъ тараній и Аріоста, который теперь почиваетъ весьма спокойно. Но нѣтъ, поѣзжай въ Москву, если требуетъ долгъ и твоя польза, но ради Бога не связывайся съ вралями: они мнѣ надоѣли пуще всего.

Еще одно замѣчаніе на твое письмо: «Я имѣю неотъемлемую свободу судить, что̀ мнѣ прилично и не прилично, и дѣйствовать такимъ образомъ». Эту фразу подари Каченовскому: онъ тебя поблагодаритъ. Онъ, имѣя не-отъ-ем-ле-му-ю свободу судить, изволитъ забавляться на счетъ Мольера, Вольтера и всѣхъ умныхъ Французовъ весьма забавнымъ и глупымъ образомъ. Тамъ гдѣ онъ не умничаетъ, онъ сносенъ; тамъ, гдѣ онъ начнетъ умничать, онъ дѣлается педантомъ, совершенною оптою. Но дѣло не о томъ: по силѣ неотъемлемой свободы мыслить и замѣчать, и дѣйствовать, пиши ко мнѣ почаще, не отговариваясь ни лѣнью, ни дѣлами, ни болѣзнію. Твоихъ писемъ я дожидаюсь съ нетерпѣніемъ: это единственное средство съ тобою говорить, и было бы слишкомъ безчеловѣчно лишать меня твоей бесѣды за лѣнью, за дѣлами и за болѣзнію.

Не видалъ ли ты Пушкина? Онъ написалъ посланіе къ Дашкову, Измайловъ — басни, сказки, видѣнія и проч., а ты мнѣ этого не присылаешь. Еще повторю тебѣ: пиши побольше, пиши о себѣ, о другихъ; но мнѣ не надобно такихъ истинъ, какова эта: «Я живу въ Петербургѣ, ты живешь въ деревнѣ по свободнымъ обязанностямъ». Что я живу въ деревнѣ, это я знаю; что ты въ Петербургѣ, и это чувствую; но что̀ значатъ свободныя обязанности? «О, логика, нѣтъ безъ тебя спасенія!» говоритъ Синекдохосъ. Замѣть, что ты это сказалъ весьма серьезно.

Открылась ли Бесѣда? Что̀ дѣлаютъ ваши пѣтухи? Зачѣмъ хочешь печатать въ Бесѣдѣ? По крайней мѣрѣ я не совѣтую: надобно имѣть характеръ и золота въ навозъ не бросать, истинно въ навозъ, ибо, кромѣ Горація Муравьева и Крылова басенъ, тамъ ничего путнаго я не видѣлъ. Львова стихи похожи на Шаликова и напоминаютъ мнѣ Le ruisseau amant de la

prairie, сонетъ Фонтенелевъ. надъ которымъ со смѣху надсѣдался Вольтеръ. Ни слогу, ни мыслей, ни стиховъ! Все площадное, вялое! У Шишкова мысли жидкія, а слогъ черствый. А Штаневичъ? Бездна премудрости! Совершенный Шатобріанъ, но безъ ума, безъ воображенія! Нѣтъ, я имъ слуга покорный! Вѣстникъ Европы худъ или хорошъ, а все лучше ихъ мараній. Не печатай въ Бесѣдѣ, не стыди себя! Бога ради поправь стихи въ Унынія по моимъ замѣчаніямъ, и все будетъ прелестно.

Ни утро веселостью, ни день красотами
Не радуютъ чувства его; онъ умеръ душой и проч.

Прекрасно! Замѣть, что послѣ цезуры въ этомъ размѣрѣ стиховъ надобно. чтобъ ударенія были весьма вѣрны: безъ того все будетъ дурно.

Но очи отверзтыя зрятъ одръ токмо хладный....
Какъ съ блѣдныхъ ланитъ его слезъ токи струясь....
Равно удаляющась [1]) въ тѣнь дебрей безмолвныхъ....

Здѣсь ударенія глухи. и потому стихи неплавны. скачутъ, непріятны. Послѣ цезуры должно ставить длинныя слова, и стихи будутъ плавнѣе, напримѣръ:

При дѣвахъ ласкающихъ, въ бесѣдѣ съ друзьями,

или по крайней мѣрѣ, чтобъ слоги были плавны и одинъ другаго не съѣдали, и потому стихъ вышеписанный:

Какъ съ блѣдныхъ ланитъ его слезъ токи струясь

не такъ худъ, хотя слова и короткія послѣ цезуры, а все лучше поставить одно длинное. Впрочемъ, все хорошо. И стихи изъ Лагарпа прекрасны. Еще разъ переправь. не полѣнись, а мои замѣчанія справедливы.

Пришли мнѣ замѣчанія на Мечту: я ожидаю ихъ съ нетерпѣніемъ, ибо имѣю въ нихъ нужду.

Ноября 27-го дня 1811 г.

Всѣ писатели, начиная отъ Аристотеля до Каченовскаго, безпрестанно твердили: Наблюдайте точность въ словахъ, точность.

[1]) Я не люблю этихъ глухихъ усѣкновеній. Еслибъ удаляясь, то было бы лучше... Вотъ бездѣлки, но важныя для уха. Б.

точность, точность! Не пишите на мѣсто домъ — громъ, на мѣсто печь — мечь и такъ далѣе. А ты, любезный Николай, пишешь не краснѣя, что мнѣ скоро тридцать лѣтъ. Ошибся, ошибся, ошибся шестью годами, ибо 24 ни на какомъ языкѣ не составляютъ 30. Гдѣ же точность? Я, съ моей стороны не упущу изъ рукъ эти шесть лѣтъ и, подобно Александру Македонскому, надѣлаю много чудесъ въ обширномъ полѣ.... нашей словесности. Я въ теченіе этихъ шести лѣтъ прочитаю всего Аріоста, переведу изъ него нѣсколько страницъ и, въ заключеніе, ровно въ тридцать лѣтъ, скажу вмѣстѣ съ моимъ поэтомъ:

Se a perder s'a la libertà, non stimo
Il più ricco capel, ch'in Roma sia,

ибо и въ тридцать лѣтъ я буду тотъ же, что теперь, то-есть, лѣнтяй, шалунъ, чудакъ, безпечный баловень, маратель стиховъ, но не читатель ихъ; буду тотъ же Батюшковъ, который любитъ друзей своихъ, влюбляется отъ скуки, играетъ въ карты отъ нечего дѣлать, дурачится какъ повѣса, задумывается какъ датскій щенокъ, споритъ со всякимъ, но ни съ кѣмъ не дерется, ненавидитъ Славянъ и мученика Жоффруа, тибуллитъ на досугѣ и учится древней географіи, затѣмъ, чтобъ не позабыть, что Римъ на Теверѣ, который течетъ отъ сѣвера къ югу; и въ тридцать лѣтъ онъ будетъ все тотъ же, съ тою только разницею, что онъ называетъ тебя другомъ десять лѣтъ, а тогда къ этимъ десяти прибавитъ еще пять, но больше любить тебя, больше чувствовать къ тебѣ и дружества, и привязанности, кажется, дѣло несбыточное. Прощай!

(5-го декабря 1811 г.).

Вотъ длинное письмо скажешь ты! Не удивляйся! Завтра ты именинникъ, и надобно тебя поздравить: вотъ зачѣмъ я еще долженъ прибавить цѣлый листъ. Итакъ, поздравляю тебя, мой милый другъ, будь счастливъ, веселъ, уменъ, люби меня, стихи и вино, вино — отраду нашу, по словамъ твоего предшественника Кострова. Но что ты всегда будешь любить стихи, вино и меня, твоего друга....

Сей старецъ, что всегда летаетъ,
Всегда приходитъ, отъѣзжаетъ,
Вездѣ живетъ—и здѣсь и тамъ,
Съ собою водитъ дни и вѣки,
Съѣдаетъ горы, сушитъ рѣки
И нову жизнь даетъ мірамъ,
Сей старецъ, смертныхъ злое бремя,
Желанный всѣми, страшный всѣмъ,
Крылатый, легкій, словомъ — время,
Да будетъ въ дружествѣ твоемъ
Всегда порукой неизмѣнной
И, пробѣгая глупый свѣтъ,
На дружбы жертвенникъ священный
Любовь и счастье занесетъ!

Вотъ мое желаніе: оно одинаково и въ прозѣ, и въ стихахъ. Я тебѣ позволяю въ мои именины написать ко мнѣ столько же стиховъ и выпить за мое здоровье бутылку.... воды, такъ какъ я это торжественно сдѣлаю завтра при двухъ благородныхъ свидѣтеляхъ, при двухъ друзьяхъ моихъ, при двухъ.... курчавыхъ собакахъ.

Я вчера получилъ собраніе стиховъ Жуковскаго. Какъ мои стихи—Воспоминаніе исковеркано! Иные стихи пропущены, и риѳмы торчатъ однѣ! Впрочемъ, я этимъ изданіемъ доволенъ, доволенъ твоимъ Перувіанцомъ, доволенъ Воейковымъ — Посланіемъ о благородствѣ, доволенъ Пушкинымъ, доволенъ Кантемиромъ и Петровымъ, а дряни все-таки цѣлое море! Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русскій языкъ и на нашихъ писателей, которые съ нимъ немилосердно поступаютъ. И языкъ-то по себѣ плоховатъ, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за ы? Что за щ? Что за ш, шій, щій, при, тры? О, варвары! А писатели? Но Богъ съ ними! Извини, что я сержусь на русскій народъ и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго что слово, то блаженство. Прощай!

Альцеста и Поликсена Мерзлякова прекрасны. Это ему дѣлаетъ честь. Есть мѣста прелестныя и невольно исторгаютъ слезы.

На канунѣ твоихъ именинъ.

17. — 29-го декабря 1811 г. Деревня). Eheu, fugaces время, мой милый Николай, а твой Овидій все еще въ своихъ Томахъ, заваленъ книгами и снѣгомъ! Когда же онъ будетъ въ Питеръ, и того не знаетъ, а знаетъ то, что ты его забылъ и не пишешь къ нему ни строки, лѣнишься, бездѣйствуешь. (Браво, брависсимо, Батюшковъ! И ты выдумалъ слово: бездѣйствуешь! Без — дѣй — ству — ешь... каково? То-есть, дѣйствуешь безъ, то-есть, какъ будто не дѣйствуешь. Понимаете ли? Лишенъ дѣйствія, ослабленъ, изнеможенъ, олѣнивенъ, чуждъ заботъ, находится въ инерціи, недвижимъ, ниже головою, ниже перстами и потому бездѣйственъ, не пишетъ къ своему другу и спитъ). Теперь вы понимаете, что не писать ко мнѣ, или писать рѣдко, есть то же.... что бездѣйствовать. Я, напротивъ того, перевелъ вчерась листа три изъ Аріоста, посягнулъ на него въ первый разъ въ моей жизни и — признаюсь тебѣ — съ вожделѣннѣйшими чувствами. . . . . его музу (какова Акадія???) Шутки въ сторону: я теперь въ лунѣ съ моимъ поэтомъ, въ лунѣ и пишу прекрасные стихи. Прочитай 34-ю пѣснь Орланда и меня тамъ увидишь. Если лѣнь и бездѣйствіе (здѣсь они олицетворены) не вырвутъ пера изъ рукъ моихъ, если я буду въ бодромъ и веселомъ духѣ, если.... то ты увидишь цѣлую пѣснь изъ Аріоста, котораго еще никто не переводилъ стихами, который умѣетъ соединять эпическій тонъ съ шутливымъ, забавное съ важнымъ, легкое съ глубокомысленнымъ, тѣни съ свѣтомъ, который умѣетъ васъ растрогать даже до слезъ, самъ съ вами плачетъ и сѣтуетъ и въ одну минуту и надъ вами, и надъ собою смѣется. Возьмите душу Виргилія, воображеніе Тасса, умъ Гомера, остроуміе Вольтера, добродушіе Лафонтена, гибкость Овидія: вотъ Аріостъ! И Батюшковъ, сидя въ своемъ углу, съ головной болью, съ красными отъ чтенія глазами, съ длинной трубкой, Батюшковъ, окруженный скучными предметами, не имѣющій ничего въ свѣтѣ, кромѣ твоей дружбы, Батюшковъ вздумалъ переводить Аріоста!

Увы, мы носимъ всѣ дурачества оковы,
И всѣ терять готовы

Разсудокъ, бренный даръ Небеснаго Отца!
Тотъ губитъ умъ въ любви, средь нѣги и забавы,
Тотъ рыская въ поляхъ за дымомъ ратной славы,
Тотъ ползая въ пыли предъ сильнымъ богачомъ,
Тотъ по морю летя за тирскимъ багряцомъ,
Тотъ золота искавъ въ алхиміи чудесной,
Тотъ плавая умомъ во области небесной,
Тотъ съ кистію въ рукахъ, тотъ съ млатомъ иль съ рѣзцомъ.
Астрономы въ звѣздахъ, софисты за словами,
А жалкіе пѣвцы за жалкими стихами:
Дурачься смертныхъ родъ, въ лунѣ разсудокъ твой!
(Аріостъ, пѣснь XXXIV).

Вотъ тебѣ обращикъ и моего дурачества: стихи изъ Аріоста. Впрочемъ, засмѣйся въ глаза тому, кто скажетъ тебѣ, что въ моемъ переводѣ далеко отступлено отъ подлинника. Аріоста одинъ только Шишковъ въ состояніи переводить слово въ слово, строка въ строку, око за око, зубъ за зубъ, какъ говоритъ Евангеліе. Я пропускалъ индѣ цѣлыми октавами и мои резоны шепну тебѣ на ухо, когда увижусь съ тобою. А теперь скажу мимоходомъ, что у нашего Аріоста св. Іоаннъ приводитъ Астольфа къ патріархамъ, которые обѣдаютъ съ ними райскими плодами, кормятъ лошадь рыцаря овсомъ! Астольфъ съ апостоломъ садится въ колесницу, въ ту самую, которая была послана за пророкомъ Ильей. Св. Іоаннъ апостолъ говоритъ Астольфу, что онъ любитъ писателей, потому что и самъ былъ того же ремесла. Это все мило и весьма забавно у стихотворца, потому что онъ объ этомъ говоритъ не тѣмъ тономъ, какимъ говаривалъ Вольтеръ въ своей Дѣвкѣ, но съ удивительнымъ, однимъ словомъ — съ Лафонтеновымъ добродушіемъ, весьма серьезно, иногда съ жаромъ, иногда улыбаясь однимъ глазомъ; но у насъ это вовсе не годится, а если мнѣ не вѣришь, то загляни въ цензурный комитетъ. Переводить ли?

Я читалъ много прекраснаго въ Вѣстникѣ. Милонова стихи изъ Томсона и переводъ Горація Beatus ille дѣлаютъ ему много чести. Въ немъ будетъ путь: онъ рачитъ о слогѣ, выбираетъ слова, не гоняется за славенизмами и, какъ видно, боится читателя. Добрый знакъ! Разсужденіе Каченовскаго о проповѣд-

шивахъ написано холодно, но рачительно, слогомъ чистымъ, съ критическимъ умомъ, и есть одна изъ его capo d'opera. Разсматриваніе Шлецера и Глинки, въ которомъ сей послѣдній выведенъ на чистую воду, можно прочитать съ удовольствіемъ.

Знай, лѣнивецъ, что еслибъ я не имѣлъ нужды съ тобой поговорить объ Аріостѣ, то ты не получилъ бы отъ меня ниже полсловечка. Прости! К. Б.

Достань себѣ Аріоста и прочитай Астольфово путешествіе въ луну, и скажи мнѣ свои мысли.

Вяземскій зоветъ меня въ Москву вотъ такимъ образомъ:

Шихматовъ пишетъ непонятно
И рыломъ возмутилъ Неву,
Хвостовъ—писака неопрятной...
Все такъ, а пріѣзжай въ Москву!
Шишковъ въ разсудокъ, въ музъ бодаетъ
И, въ королевича Бову
Влюбясь, Вольтера проклинаетъ...
Все такъ, а пріѣзжай въ Москву!
Барашекъ по полю разсѣя,
Ѣстъ съ ними Шаликовъ траву:
Невзоровъ толстъ, въ навозѣ прѣя...
Все такъ, а пріѣзжай въ Москву!

Это забавно!

Прислать ли еще замѣчаній на Гомера?

15.—Въ день отъѣзда И. А. Оленина (октябрь 1812 г. Нижній Новгородъ). Я получилъ твое письмо вчера и, въ ожиданіи почты, напишу тебѣ нѣсколько строкъ. Письмо твое меня опечалило и успокоило вмѣстѣ. Слава Богу, ты живъ и здоровъ, а для нынѣшняго времени и за это надобно благодарить небо. Мы живемъ теперь въ трехъ комнатахъ, мы, то-есть, Катерина Ѳедоровна [1]) съ тремя дѣтьми, Иванъ Матвѣевичъ, И. М. Дружининъ, Англичанинъ Евенсъ, котораго мы спасли отъ Французовъ, двѣ иностранки, я грѣшный, да шесть собакъ. Нѣтъ угла, гдѣ бы можно было поворотиться, а ты знаешь, мой другъ, какъ я люблю

[1]) Муравьева, вдова Михаила Никитича.

быть одинъ самъ съ собою. Нѣтъ, я никогда такъ грустенъ и скученъ не бывалъ! Чего мнѣ недостаетъ? Не знаю. Меня любятъ не только люди, съ которыми живу, но даже и Москвичи. Здѣсь Карамзины, Пушкины, здѣсь Архаровы, Апраксины, однимъ словомъ, вся Москва; но здѣсь для меня душевнаго спокойствія нѣтъ и, конечно, не будетъ. Ужасныя происшествія нашего времени, происшествія, случившіяся какъ нарочно передъ моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всѣхъ видахъ, на всѣхъ людей, такъ меня поразило, что я на силу могу собраться съ мыслями и часто спрашиваю себя: гдѣ я? что я? Не думай, любезный другъ, чтобы я по старому предался моему воображенію, нѣтъ, я вижу, разсуждаю и страдаю.

Отъ Твери до Москвы и отъ Москвы до Нижняго я видѣлъ, видѣлъ цѣлыя семейства всѣхъ состояній, всѣхъ возрастовъ въ самомъ жалкомъ положеніи; я видѣлъ то, чего ни въ Пруссіи, ни въ Швеціи видѣть не могъ: переселеніе цѣлыхъ губерній! Видѣлъ нищету, отчаяніе, пожары, голодъ, всѣ ужасы войны и съ трепетомъ взиралъ на землю, на небо и на себя. Нѣтъ, я слишкомъ живо чувствую раны, нанесенныя любезному нашему отечеству, чтобъ минуту быть покойнымъ. Ужасные поступки Вандаловъ или Французовъ въ Москвѣ и въ ея окрестностяхъ, поступки, безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ. Ахъ, мой милый, любезный другъ, зачѣмъ мы не живемъ въ счастливѣйшія времена! Зачѣмъ мы не отжили прежде общей погибели! Но оставимъ эту неистощимую матерію и поговоримъ о дѣлѣ.

Если Блудовъ еще не уѣхалъ, то съѣзди къ нему отъ меня и, пожелавъ ему всякаго счастія отъ моего имени,—ибо я его люблю и уважаю какъ человѣка добраго, честнаго и умнаго, три рѣдкія качества въ наше время. — попроси его, чтобъ онъ тебѣ вручилъ книгу съ моими стихами или копію съ нихъ, которую ты оставишь у себя до счастливѣйшихъ временъ. Если небесами суждено тебѣ пережить меня, то ты будешь имѣть

право на мое маранье: оно по крайней мѣрѣ будетъ драгоцѣнно для тебя, ибо напомнитъ тебѣ о человѣкѣ, который любилъ тебя десять лѣтъ, какъ друга, какъ брата. Намъ не худо дѣлать завѣщанія, особенно мнѣ. Попроси Блудова, чтобы онъ меня не забывалъ въ каменномъ Стокгольмѣ; скажи ему, что добрые люди

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt,

что гдѣ бы онъ ни былъ, нигдѣ, ни въ какой землѣ, не найдетъ столько добрыхъ людей, сколько въ нашемъ отечествѣ. Сѣверину пожелай отъ меня счастливаго пути и скажи ему, что я ему завидую отъ всей души. Узнай и увѣдомь меня, куда поѣхалъ добрый мой знакомецъ Салтыковъ, котораго ты у меня видалъ? Поклонись Тургеневу: я его люблю какъ душу, и Жихарева обними. Какъ я жалѣю о тебѣ, любезный другъ! Зная твою душу и сердце, наклонное къ задумчивости, зная по опыту, что одному трудно переносить горе и бѣдствія, всякій разъ съ новымъ и съ живымъ соболѣзнованіемъ помышляю о тебѣ, о твоемъ одиночествѣ. Когда мы увидимся? И что за свиданіе! Вездѣ плачь и слезы! Объ Олениныхъ я и думать не могу безъ содраганія. Ихъ потеря невозвратима, но Петръ [1]) будетъ живъ и, кажется мнѣ, совершенно здоровъ. Дай Богъ! По крайней мѣрѣ и это утѣшеніе. Я люблю и почитаю Оленина болѣе, нежели когда-нибудь. Напомни обо мнѣ Крылову и Ермолаеву. Что сдѣлалось съ Библіотекою? Ходишь ли ты въ нее по прежнему?

Еслибъ было время и охота, я описалъ бы тебѣ нашъ городъ, чудный и прелестный по своему положенію, чудный по вмѣненію Москвы. Здѣсь все необыкновенно. Это обломокъ огромный столицы. При имени Москвы, при одномъ названіи нашей доброй, гостепріимной, бѣлокаменной Москвы, сердце мое трепещетъ, и тысяча воспоминаній, одно другаго горестнѣе, волнуются въ моей головѣ. Мщенія, мщенія! Варвары, Вандалы! И этотъ народъ извергов осмѣлился говорить о свободѣ, о философіи, о человѣколюбіи! И мы до того были ослѣплены, что подражали имъ, какъ обезьяны! Хорошо и они намъ заплатили!

[1]) Петръ Алексѣевичъ Оленинъ, сынъ Алексѣя Николаевича.

Можно умереть съ досады при одномъ разсказѣ о ихъ неистовыхъ поступкахъ. Но я еще не хочу умирать, итакъ, ни слова. Но скажу тебѣ мимоходомъ, что Алексѣй Николаевичъ совершенно правъ; онъ говорилъ назадъ тому три года, что нѣтъ народа, нѣтъ людей, подобныхъ этимъ уродамъ, что всѣ ихъ книги достойны костра, а я прибавлю: ихъ головы—гильотины.

Я началъ это письмо назадъ тому шесть дней и не могъ кончить. Пріѣхалъ Вильямсъ съ твоимъ письмомъ, на которое я и духу отвѣчать не имѣю, кромѣ восклицанія: О, слава Богу, что ты здоровъ! Оленинъ тебя обрадуетъ: ему гораздо лучше, память его слаба, но отъ слабости тѣлесной, то-есть, всего тѣла, а не отъ мозгу, хотя ударъ и былъ въ голову. Но и это со временемъ пройдетъ, безъ всякаго сомнѣнія. Приласкай его и за меня. Онъ весьма добрый малый и можетъ быть утѣшеніемъ своихъ родителей. Теперь, какъ опасность миновалась, можно сказать, что Петръ пріѣхалъ издалече, то-есть, изъ царства мертвыхъ.

Я получилъ деньги изъ деревни, но писемъ не имѣю: вотъ почему еще не могу рѣшиться ни на что. Завтра ожидаю писемъ и отправлюсь въ Петербургъ, или въ армію, да въ армію, гдѣ проведу всю зиму. Судьбѣ—располагать мною, тебѣ—меня любить во всѣхъ состояніяхъ и, если можно, извинять передъ здравымъ разсудкомъ, но не передъ дружествомъ. Извинять меня передъ Алексѣемъ Николаевичемъ не должно: онъ знаетъ лучше другаго цѣнить людей, которые изъ доброй воли подвергаютъ себя пулямъ, и конечно, на меня не разсердится, что я оставлю Библіотеку; а если и выйду въ отставку по окончаніи кампаніи (что̀ я сдѣлаю непремѣнно), то не лишитъ меня и тогда своего покровительства. Бога ради, увѣдомь меня, получилъ ли онъ мои письма; у доброй и почтенной Лизаветы Марковны [1]) поцѣлуй ручку. Но я еще не совсѣмъ рѣшился ѣхать въ армію: ожидаю писемъ. Муравьевъ тебя велѣлъ обнять. Тебѣ кланяется Филимоновъ: онъ правитель канцеляріи у графа Толстаго. Ермолаеву и Кры-

[1]) Супруга А. Н. Оленина.

лову поклонись пониже. Пошли къ моему дядѣ Батюшкову спросить о его здоровьѣ и сказать ему отъ меня поклонъ, и что я здоровъ, живу въ Нижнемъ. Пошли къ князю Трубецкому, что служитъ у Дмитріева, и попроси его отдать тебѣ 40 рублей, которые онъ мнѣ долженъ; прибавь еще своихъ 60 и отдай сто за квартиру, гдѣ я жилъ, а мебели возьми къ себѣ или отдай ихъ Жихареву, если у тебя мѣста нѣтъ. Бога ради, сдѣлай это не замедля. На кушанье мальчику я тебѣ пришлю по первой почтѣ. Бога ради, спроси у Блудова мою тетрадь и мои книги, а если онъ въ Швеціи, то напиши къ нему и туда черезъ Жихарева, который, будучи знакомъ съ иностранной коллегіей, перешлетъ твое письмо. Поклонись отъ меня Абраму Ильичу [1]) и узнай, здоровъ ли Гриша? [2]) Съѣзди его посмотрѣть и самъ. Жихарева поцѣлуй въ лобъ и въ правое плечо, да посовѣтуй умереть отъ объяденія: смерть во истину славная въ то время, какъ всѣ умираютъ съ голоду! Улиссъ многотерпящій кланяется Мальвинѣ: онъ нашелъ здѣсь Калипсу и превратился въ свинью, иначе —онъ очень поглупѣлъ.

Не забудь моей просьбы о квартирѣ и о Блудовѣ и пиши, ни мало не замедля, въ Нижній; твое письмо меня застанетъ, но адресуй его на имя Катерины Өедоровны на всякій случай. Когда Сѣверинъ отправится въ Лузитанію?

16.—(Сентябрь—октябрь 1813 г. Теплицъ). Надобно имѣть желѣзную голову и всевозможную добрую волю, чтобъ писать теперь въ моемъ положеніи къ тебѣ, милый другъ. Послѣ путешествія самаго безпокойнаго и скучнаго на Вильну, Варшаву, потомъ Силезію, Бригъ и Глацъ, прибылъ я въ прекрасный городъ Прагу, гдѣ нашелъ князя Гагарина весьма кстати, ибо дорогой проѣхавъ всѣ деньги,—а мнѣ прогоновъ дано было только до Рейхенбаха,—находился я въ горестномъ положеніи. Князь Гагаринъ помогъ мнѣ самымъ великодушнымъ

[1]) Гревенсъ, мужъ старшей сестры поэта.

[2]) Григорій Абрамовичъ Гревенсъ.

образомъ, за что я ему буду вѣчно благодаренъ. Онъ предложилъ мнѣ до 100 червонныхъ, я взялъ 30 и кое-какъ доплылъ до главной квартиры подъ Дрезденъ, гдѣ сдалъ мои депеши исправно. Наконецъ явился я къ главнокомандующему и былъ отъ него отправленъ къ генералу Раевскому. Онъ меня принялъ ласково и велѣлъ остаться при себѣ; я нахожусь теперь при его особѣ и въ сраженіяхъ отправляю должность адъютанта. Успѣлъ быть въ двухъ дѣлахъ: въ авангардномъ сраженіи подъ Доной, въ виду Дрездена, гдѣ чуть не попалъ въ плѣнъ, наскакавъ нечаянно на французскую кавалерію, но Богъ помиловалъ; потомъ близъ Теплица въ сильной перепалкѣ. Говорятъ, что я представленъ къ Владиміру, но объ этомъ еще ни слова не говори, пока не получу. Не знаю, заслужилъ ли я этотъ крестъ, но знаю то, что заслужить награжденіе при храбромъ Раевскомъ лестно и пріятно. Отгадай, кого я здѣсь нашелъ? Старыхъ пріятелей: Бориса Княжнина, Писарева и добраго, честнаго и храбраго Дамаса. Они всѣ въ 3-мъ гренадерскомъ корпусѣ, которымъ командуетъ генералъ Раевскій, и я ихъ всякій день вижу. Писаревъ не перемѣнился. Все веселъ по старому и храбръ по старому. Генералъ меня посылалъ къ нему съ приказаніемъ во время сраженія, и я любовался, глядя на него. Скажу тебѣ въ добавокъ, что мы въ безпрестанномъ движеніи, но теперь остановились лагеремъ въ виду Теплица, на полѣ славы и побѣды, усѣянномъ трупами жалкихъ Французовъ, жалкихъ потому, что на нихъ только кожа да кости. Какая разница нашъ лагерь! Нельзя равнодушно смотрѣть на три сильные народа, которые соединились въ первый разъ для славнаго дѣла, въ виду своихъ государей, и какихъ государей! Нашъ императоръ и король Прусскій нерѣдко бываютъ подъ пулями и ядрами. Я самъ имѣлъ счастіе видѣть великаго князя подъ ружейными выстрѣлами. Таковые примѣры могутъ одушевить мертвое войско, а наша армія дышетъ славою. Пруссаки чудеса дѣлаютъ. Однимъ словомъ, ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляютъ меня жалѣть о Петербургѣ, и я вѣчно буду

благодаренъ Бахметеву за то, что онъ мнѣ доставилъ случай быть здѣсь. Обними за меня Дашкова и попроси его меня не забывать. Поклонись бѣсу Жихареву, Никольскому и всѣмъ добрымъ друзьямъ и пріятелямъ. Тургеневу напомни обо мнѣ: онъ часто забываетъ. Николаю и Сергѣю [1]) поклонъ.

17. (30-го октября 1813 г. Веймаръ). Отъ тебя, отъ родныхъ, отъ друзей ни строки не получилъ я со дня моего отъѣзда изъ Россіи. Нѣтъ, я не могу и думать, что вы меня забыли. Письма пропадаютъ или еще не дошли, что всего вѣроятнѣе, по слѣдующимъ причинамъ: съ самаго Теплица мы въ сраженіи, а теперь главная квартира отъ насъ миль за 20. Я начну мой разсказъ по порядку, какъ слѣдуетъ. Слушай и заглядывай на карту.

Оставя Богемію, мы вошли въ Саксонію черезъ Маріенбергъ, Тшопау, Хемницъ, прекрасный городъ, гдѣ прохлаждались нѣсколько часовъ, какъ Аннибалъ въ Капуѣ; потомъ остановились въ Борнѣ. Непріятель шелъ прямой дорогой къ Лейпцику, и мы туда подвинулись. Кавалерія дралась до насъ за день. Наконецъ 4-го числа въ 9 часовъ утра началось жаркое дѣло. Съ самаго утра я былъ на конѣ. Генералъ осматривалъ посты и выстрѣлы фланкеровъ изъ любопытства, разъѣзжалъ нѣсколько часовъ сряду подъ ядрами, подъ пулями въ прусской цѣпи, и я былъ невольнымъ свидѣтелемъ ужаснѣйшаго сраженія. Въ полдень одна гренадерская дивизія послана на лѣвый флангъ. Раевскій принялъ команду. Огонь ужасный! Ядра и гранаты сыпались, какъ градъ. Иныя минуты напоминали Бородино. Часу въ 3-мъ начали свистать пули. Мы находились противъ густой цѣпи непріятеля, и я снова имѣлъ счастіе быть свидѣтелемъ храбрости нашихъ гренадеровъ. Самъ Раевскій въ восхищеніи отъ Писарева, и я признаюсь тебѣ, что хладнокровнѣе и веселѣе его никого въ дѣлѣ не видалъ. Хвала его товари-

[1]) Николай и Сергѣй Ивановичи Тургеневы, младшіе братья вышеупомянутаго Александра.

щамъ Дамасу и Левину, и другимъ! У Писарева прострѣлена шляпа и двѣ сильныя контузіи въ ногу; не смотря на это, онъ остался въ дѣлѣ до конца. Признаюсь тебѣ, что для меня были ужасныя минуты, особливо тѣ, когда генералъ посылалъ меня съ приказаніями то въ ту, то въ другую сторону, то къ Пруссакамъ, то къ Австрійцамъ, и я разъѣзжалъ одинъ по грудамъ тѣлъ убитыхъ и умирающихъ. Не подумай, чтобъ это была риторическая фигура. Ужаснѣе сего поля сраженія я въ жизни моей не видалъ и долго не увижу. При концѣ дня генералъ сказалъ мнѣ: «Я раненъ, я раненъ!» и съ этимъ словомъ наклонился на лошадь. Я осмотрѣлъ грудь и ужаснулся, увидя кровь. Я почитаю, я люблю Раевскаго. Лишиться его — это ужасно! И въ какую минуту! Я поскакалъ за лѣкаремъ. Въ ближней деревнѣ его перевязали и нашли — чудное дѣло! — что пуля, ударомъ пробивъ шинель на клеенкѣ и мундиръ, не могла пронзить фуфайки на ваткѣ. Не менѣе того рана глубока, и кровь безпрестанно струилась. Мы возвратились на квартиру и отдохнули. 5-го числа, вопреки совѣтовъ доктора, генералъ сѣлъ на коня и поѣхалъ по батареи. Этотъ день въ лагерѣ было спокойно. Все поле сраженія удержано нами и усѣяно мертвыми тѣлами. Ужасный и незабвенный для меня день! Первый гвардейскій егерь сказалъ мнѣ, что Петинъ убитъ. Петинъ, добрый, милый товарищъ трехъ походовъ, истинный другъ, прекрасный молодой человѣкъ, скажу болѣе: рѣдкій юноша. Эта вѣсть меня разстроила совершенно и на долго. На лѣвой рукѣ отъ батарей, вдали была кирка. Тамъ погребенъ Петинъ, тамъ поклонился я свѣжей могилѣ и просилъ со слезами пастора, чтобъ онъ поберегъ прахъ моего товарища. Мать его умретъ съ тоски. 6-го числа Французы отступили къ Лейпцику. Генералъ съ утра былъ на конѣ, но на сей разъ онъ былъ счастливѣе. Ядра свистали надъ головой, и все мимо. Дѣло часъ отъ часу становилось жарчѣе. Колонны наши подвигались торжественно къ городу. По всему можно было угадать разстройство и нерѣшимость Наполеоновскихъ войскъ. Какая ужасная и великолѣпная

картина! Вдали Лейпцигъ съ высокими башнями, кругомъ его гремятъ три сильныя арміи: Шварценберга, гдѣ находились и мы, Бенигсена — на право, а за Лейпцигомъ — наслѣднаго принца. И всѣ три арміи, какъ одушевленныя предчувствіемъ побѣды, въ чудесномъ устройствѣ, тѣснили непріятеля къ Лейпцигу. Онъ былъ окруженъ, разбитъ, бѣжалъ. Ты знаешь послѣдствія сихъ сраженій. Мы побѣдили совершенно.

И Русскій въ полѣ сталъ, хваля и славя Бога!

7-го числа поутру рано генералъ послалъ меня въ Бернадотову армію навѣдаться о сынѣ. Я объѣхалъ весь Лейпцигъ кругомъ и видѣлъ всѣ военные ужасы. Еще свѣжее поле сраженія, и какое поле! Слишкомъ на пятнадцать верстъ кругомъ, на каждомъ шагу грудами лежали трупы человѣковъ, убитыя лошади, разбитые ящики и лафеты. Кучи ядеръ и гренадъ и вопли умирающихъ.

Ce sont là jeux de prince.

Въ эту поѣздку со мной былъ странный случай. Я ѣхалъ съ казакомъ, какъ обыкновенно. Миновавъ нашу армію и примкнувъ къ Бениксоновой, я пустился далѣе—къ принцу. Вотъ подъѣзжаю къ деревнѣ (Бениксонова армія уже кончилась): проѣзжаю деревню, лѣсъ и вижу нѣсколько батальоновъ пѣхоты; ружья сомкнуты въ козлы, кругомъ огни. Мнѣ показалось, что это Пруссаки; я—къ нимъ. «Гдѣ проѣхать въ шведскую армію?» «Не знаю», отвѣчалъ мнѣ офицеръ во французскомъ мундирѣ,— «здѣсь вы не проѣдете». «Но какое это войско?» спросилъ я, показавъ на окружающихъ меня солдатъ, которые вокругъ меня толпились и пожирали глазами незнакомца. «Мы—Саксонцы». «Саксонцы!» Боже мой! Саксонцы, подумалъ я, блѣднѣя, какъ нѣкто надъ святцами, такъ я заѣхалъ самъ въ плѣнъ! И, не говоря ни слова, поворотилъ коня назадъ, размышляя: если поскачу, то они дадутъ по мнѣ залпъ, и тогда прощай, Гнѣдичъ!

И птички для меня въ послѣднее пропѣли.

Ѣду лучше шагомъ,—авось они меня примутъ за Баварца, за Италіянца, хуже — за Француза, если хотятъ, только не за

Русскаго. Сказано—сдѣлано. «Что съ вашимъ благородіемъ сдѣлалось, какъ платъ поблѣднѣли», сказалъ мнѣ мой казакъ, — «ужли это непріятель?» «Молчи, уродъ!» отвѣчалъ я ему на ухо. Отъѣхалъ нѣсколько шаговъ и встрѣтилъ австрійскаго офицера. «Ради всѣхъ моравскихъ, семигорскихъ, богемскихъ, венгерскихъ и кроатскихъ чудотворцевъ, скажите мнѣ, что это за войско, какіе Саксонцы, гдѣ я, и куда вы ѣдете?»... «Бассамтарата тарара!» вскричалъ мой Венгръ. «Это Саксы, что вчера передались съ пушками и съ конями». Я отдохнулъ. Какъ гора съ плечъ! Воротился назадъ, пожелалъ новымъ товарищамъ доброе утро и хохоталъ съ ними во все горло, разсказывая мою ошибку и запивая ихъ водкою мой страхъ и отчаянія. Въ этотъ день, объѣхавъ кругомъ со всѣхъ сторонъ многоученый и многострадальный Лейпцикъ, я не успѣлъ въ немъ побывать ни на минуту, не успѣлъ взглянуть на жилище Тургеневыхъ и, погоняя лошадь то шпорой, то хлыстомъ, дотащился до генерала, который все слѣдовалъ за войскомъ, не желая никакъ разстаться съ своими гренадерами, которые его обожаютъ. Подъѣзжая къ Наумбургу, ему сдѣлалось хуже, на другой день еще хуже: къ ранѣ присоединилась горячка. Боль усилилась, и онъ остановился въ деревнѣ, неподалеко маленькаго городка Камбурга, гдѣ лежалъ семь дней. Я былъ въ отчаяніи и умиралъ со скуки въ скучной деревнѣ. Наконецъ, мы перенесли генерала въ Веймаръ, и ему стало легче, хотя рана и не думаетъ заживать. Кости безпрестанно отдѣляются, но лѣкарь говоритъ, что онъ будетъ здоровъ. Дай Богъ! Этотъ человѣкъ нуженъ для отечества. Слушай далѣе!

Мы теперь въ Веймарѣ дней съ десять; живемъ покойно, но скучно. Общества нѣтъ. Нѣмцы любятъ Русскихъ, только не мой хозяинъ, который меня отравляетъ ежедневно дурнымъ супомъ и вареными яблоками. Этому помочь не возможно; ни у меня, ни у товарищей нѣтъ ни копѣйки денегъ, въ ожиданіи жалованья. Въ отчизнѣ Гёте, Виланда и другихъ ученыхъ я скитаюсь, какъ Скиоъ. Бываю въ театрѣ изрѣдка. Зала недурна,

но бѣдно освѣщена. Въ ней играютъ комедіи, драмы, оперы и трагедіи, послѣднія—очень недурно, къ моему удивленію. Донъ-Карлосъ мнѣ очень понравился, и я примирился съ Шиллеромъ. Характеръ Донъ-Карлоса и королевы прекрасны. О комедіи и оперѣ ни слова. Драмы играются рѣдко, по причинѣ дороговизны кофея и съѣстныхъ припасовъ; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтракомъ въ первомъ дѣйствіи и кончится ужиномъ. Здѣсь лучше всего мнѣ нравится дворецъ герцога и англійскій садъ, въ которомъ я часто гуляю, не смотря на дурную погоду. Здѣсь Гёте мечталъ о Вертерѣ, о нѣжной Шарлоттѣ; здѣсь Виландъ обдумывалъ планъ Оберона и леталъ мыслію въ области воображенія; подъ сими вязами и кипарисами великіе творцы Германіи любили отдыхать отъ трудовъ своихъ; подъ сими вязами наши офицеры бѣгаютъ теперь за дѣвками. Всему есть время. Гёте я видѣлъ мелькомъ въ театрѣ. Ты знаешь мою новую страсть къ нѣмецкой литературѣ. Я схожу съ ума на Фоссовой Луизѣ; надобно читать ее въ оригиналѣ и здѣсь, въ Германіи. Книги вообще дороги, особливо для насъ, бѣдняковъ, хотя здѣсь фабрика книгъ. Третьяго дня пріѣхала въ Веймаръ великая княгиня Марья Павловна. Я былъ ей представленъ съ малымъ числомъ русскихъ офицеровъ, здѣсь находящихся. Она со всѣми говорила и очаровала насъ своею привѣтливостію, и къ общему удивленію — на русскомъ языкѣ, на которомъ она изъясняется лучше, нежели наши великолѣпныя петербургскія дамы.

Вчера прибыла сюда великая княгиня Екатерина Павловна, и мы были ей представлены. Мое имя, не знаю почему, извѣстно ея высочеству, и я имѣлъ счастіе говорить съ нею о егерскомъ полку, въ которомъ она всѣхъ офицеровъ помнитъ. Князь Гагаринъ насъ представлялъ. Я ему обрадовался какъ знакомому и провелъ съ нимъ утро у Раевскаго. Въ свободное ему время постараюсь съ нимъ увидѣться и поговорить о тебѣ и о петербургскихъ знакомыхъ.

Вотъ, мой другъ, нѣсколько строкъ изъ моей Одиссеи, ко-

торая скучна и непріятна въ иное время, въ другое—довольно забавна. Когда придетъ желанный миръ, и мы снова засядемъ съ тобою у камина, раскуримъ наши трубки, нальемъ по чашкѣ чаю (а онъ теперь намъ въ диковину) и станемъ разсказывать о томъ, о семъ, и не безъ шума? Тогда-то буду я подобенъ Улиссу, видѣвшему страны отдаленныя и народы чуждые, но я буду еще плодовитѣе царя Итакскаго и не пропущу ни одного приключенія, ни одного обѣда, ни одного дурнаго ночлега: я все перескажу! Въ ожиданіи сего счастливаго времени, для отдыха, ѣздимъ мы въ Эрфуртъ любоваться бомбардированіемъ города Пруссаками, храбрыми Пруссаками, пьемъ жидкій кофе съ жидкимъ молокомъ, обѣдаемъ въ трактирѣ по праздникамъ, перевязываемъ генерала ежедневно, ходимъ зѣвать одинъ къ другому, бранимся и споримъ о фуражѣ, зѣваемъ, глядя на проходящихъ мимо солдатъ и плѣнныхъ Французовъ, и щупаемъ кухарокъ отъ скуки. День тащится за днемъ, время проходитъ, и часъ свиданія рано ли, поздно ли настанетъ.

Я представленъ къ Аннѣ за послѣднія дѣла и къ Владиміру—за первыя. Получу ли ихъ—Богъ знаетъ, а если получу, то буду награжденъ съ избыткомъ. Вотъ все, что имѣю сказать о себѣ интереснаго. Напомни обо мнѣ Лизаветѣ Марковнѣ и Алексѣю Николаевичу и всѣмъ его дѣтямъ, и домашнимъ. Не забудь поклониться Тургеневымъ, Дашкову, Крылову, Жихареву, Ермолаеву и всѣмъ, кто обо мнѣ еще помнитъ. Еще нѣсколько словъ: Муромцовъ далъ мнѣ письма для пересылки ихъ въ Петербургъ: одно изъ нихъ—шлемоносному Жихареву. Они оба состарѣлись у меня въ записной книжкѣ. Отправь это письмо къ сестрѣ и адресуй мнѣ отвѣтъ прямо на имя его высокопревосходительства Николая Николаевича Раевскаго, для врученія Батюшкову, ибо я надѣюсь, что ты мнѣ будешь писать обо всемъ обстоятельно; я требую этого отъ твоей дружбы. Дай себя еще разъ обнять и пожелать тебѣ мира душевнаго, счастливыхъ гекзаметровъ и счастливаго успѣха въ любви къ прелестнѣйшей изъ женщинъ, которой ты, конечно, достоинъ.

P. S. Я надѣюсь, что ты не напечатаешь моего письма въ Вѣстникѣ или въ Сынѣ Отечества, по примѣру друзей, которые въ перепискѣ съ военными; а эти военные на досугѣ выхваляютъ своихъ генераловъ, ихъ великіе подвиги и пр. и пр. и пр., или, по примѣру Писарева, который извѣщаетъ публику о своихъ дѣлахъ сухимъ слогомъ. Но я все ему прощаю за его примѣрную неустрашимость. А не могу простить нашимъ журналистамъ ихъ вранья, отъ котораго я боленъ сдѣлался здѣсь въ Веймарѣ. Гагаринъ мнѣ подарилъ нѣсколько нумеровъ Сына Отечества и Вѣстника Европы. Одинъ другаго лучше!

Замѣть, что мое письмо было написано назадъ тому съ недѣлю, но я не имѣлъ времени его кончить.

Пришли мнѣ нѣсколько страницъ изъ Гомера, если ты перевелъ что-нибудь новое, но только гекзаметрами. Нѣмцы меня къ нимъ совершенно пріучили. Скажи Крылову, что ему стыдно лѣниться: и въ арміи его басни всѣ читаютъ наизусть. Я часто ихъ слышалъ на бивакахъ съ новымъ удовольствіемъ. Вамъ надобно пріучать насъ къ языку русскому, вамъ должно прославлять наши подвиги, и между тѣмъ какъ наши воины срываютъ пальмы побѣды, вамъ надобно приготовлять имъ чистѣйшее удовольствіе ума и сердца. Конечно, и у насъ есть отличныя дарованія: великій Хвостовъ, маленькій и большой Львовы, Гераковъ, Шаликовъ, Грузинцовъ, Висковатовъ и пр., но я ими всечто-то не очень доволенъ. Впрочемъ, на всѣ вкусы не угодишь: одному—одно, другому—другое.

Дай Поллуксу коней, дай Кастору бойцовъ!

Между тѣмъ прости, до свиданія, дай себя обнять. Еще разъ поклонись Дашкову. Отправь письмо къ батюшкѣ съ письмомъ къ сестрѣ; она его перешлетъ.

18.—16-го—28-го генваря 1814 г. Département du Haut-Rhin или Старая Альзасъ, у крѣпости Бефора, деревня Fontaine, на канунѣ новаго года, то-есть, 31-го декабря стараго стиля. Итакъ, мой милый другъ, мы перешли за Рейнъ, мы во Фран-

ціи. Вотъ какъ это случилось: въ виду Базеля и горъ, его окружающихъ, въ виду крѣпости Гюнинга мы построили мостъ, отслужили молебенъ со всѣмъ корпусомъ гренадеръ, закричали ура! и перешли за Рейнъ. Я нѣсколько разъ оборачивался назадъ и дружественно прощался съ Германіей, которую мы оставляли, можетъ быть, и на долго, съ жадностію смотрѣлъ на предметы, меня окружающіе, и нѣсколько разъ повторялъ съ товарищами: наконецъ, мы во Франціи! Эти слова: мы во Франціи — возбуждаютъ въ моей головѣ тысячу мыслей, которыхъ результатъ есть тотъ, что я горжусь моей родиной въ землѣ ея безразсудныхъ враговъ. Въ этой сторонѣ Альзаса жители говорятъ по французски. Вообрази себѣ ихъ удивленіе. Они думали, по невѣжеству—разумѣется, что Русскіе ихъ будутъ жечь, грабить, рѣзать. а Русскіе, напротивъ того, соблюдаютъ строгій порядокъ и обращаются съ ними ласково и дружелюбно. За то и они угощаютъ насъ, какъ можно лучше. Мой хозяинъ, жена его, дѣти подчиваютъ виномъ, салатомъ, яблоками и часто говорятъ, трепля по плечу: «Vous êtes de braves gens, messieurs?» Хозяйка, старуха лѣтъ шестидесяти, спрашивала меня въ день моего прибытія: «Mais les Russes, monsieur, sont-ils chrétiens comme nous autres?» Этотъ вопросъ можно сдѣлать имъ, но я промолчалъ. Впрочемъ, я не могу надивиться ихъ живости, скорымъ и умнымъ отвѣтамъ, скажу болѣе—ихъ учтивости и добродушію. Надобно видѣть, съ какимъ любопытствомъ они смотрятъ на нашихъ гренадеръ, а особливо на казаковъ, какъ замѣчаютъ ихъ малѣйшія движенія, ихъ разговоры. Все такъ, любезный другъ, но сердце не лежитъ у меня къ этой сторонѣ: революція, всемірная война, пожаръ Москвы и опустошенія Россіи меня навсегда поссорили съ отчизной Генриха IV, великаго Расина и Монтаня.

Въ послѣдній разъ я писалъ къ тебѣ изъ Веймара, гдѣ лѣчился мой генералъ. Изъ Веймара мы поѣхали на Франкфуртъ, Мангеймъ, Карлсруэ, Фрейбургъ и Базель. Я видѣлъ Швабію, садъ Германіи, къ несчастію—зимой; видѣлъ въ Гейдельбергѣ

славныя развалины имперскаго замка, въ Швецингенѣ — очаровательный садъ; видѣлъ вездѣ промышленность, землю изобильную, красивую, часто находилъ добрыхъ людей, но не могъ наслаждаться моимъ путешествіемъ, ибо мы ѣхали по почтѣ и весьма скоро. Однимъ словомъ, большую часть Германіи я видѣлъ во снѣ. Но не во снѣ, а на яву нашелъ въ Фрейбургѣ, гдѣ была главная квартира императоровъ, Николая Тургенева, съ которымъ провелъ нѣсколько пріятныхъ дней. Теперь мы стоимъ въ окрестностяхъ Бельфора или Бефора, значительной крѣпости, которую содержимъ въ блокадѣ, ожидая повелѣнія идти впередъ.

Я получилъ твои письма, на которыя отвѣчать тебѣ обстоятельно не могу; только скажу тебѣ, что я на тебя прогнѣвался за то, что меня называешь баловнемъ. Я — баловень? Но чей? Конечно, не фортуны, которая меня ничѣмъ не утѣшала, кромѣ дружбы, и за то ей благодаренъ. Многое оставляю на сердцѣ, которое и тебѣ, мой любезный Николай, не совсѣмъ извѣстно; скажу тебѣ только, что я всегда былъ игрою быстроногой фортуны или, лучше сказать, моей пустой головы, въ которой могутъ помѣститься всевозможныя человѣческія дурачества, начиная отъ риѳмъ и кончая самолюбіемъ.

До сихъ поръ я доволенъ моимъ состояніемъ и не промѣняю его на другое. Мой генералъ меня любитъ, я его уважаю, какъ героя и какъ добрѣйшаго изъ людей. Если буду живъ и буду служить, то буду награжденъ, конечно, но я не почестей, не крестовъ желаю:

Покою, мой Капнистъ, покою,

котораго не нашелъ Горацій въ прохладномъ Тибурѣ, и ты на кожаномъ диванѣ съ своей Мальвиной. Чего тебѣ недостаетъ?

Если я успѣю написать къ сестрамъ, то не пропущу случая. Пришли мнѣ Анненскій крестъ, хорошей работы и хорошаго золота, съ лентою, небольшой величины; если не найдешь красиваго, то закажи, не пожалѣй денегъ. Ты ихъ получишь отъ сестры, которую увѣдомь. Если мнѣ денегъ не посылали, то и

не надобно. До сихъ поръ я жилъ однимъ жалованьемъ и не очень нуждался; лошади есть и хорошія, слѣдственно, и надобностей большихъ нѣтъ. Еще купи Владимірскій крестъ: я къ нему представленъ за Теплицъ и, можетъ быть, получу. Здѣсь этого не сыщешь, а при генералѣ неловко не носить крестовъ. Не забудь и георгіевскихъ лентъ для медали. Болѣе просить не о чемъ.

Поблагодари Алексѣя Николаевича за пересылку писемъ. Поцѣлуй ручку у Лизаветы Марковны. Напиши мнѣ хоть два слова о Петрѣ, и что у нихъ дѣлается въ домѣ. Что дѣлаетъ Катерина Ѳедоровна? Съ самаго отъѣзда отъ нея не имѣю извѣстія. Обними за меня Дашкова и Жихарева: шлемъ на главѣ его и вѣтеръ въ головѣ. Что дѣлаетъ Иванъ Матвѣевичъ и Иванъ Андреевичъ?[1]) Еще разъ поздравляю тебя съ наступленіемъ новаго года, при концѣ котораго желаю сидѣть съ тобою у камина, въ виду Гомера, твоего пената, и болтать безпечно о прошедшемъ. Надѣюсь, что ты сохранишь меня въ своей памяти и въ сердцѣ. Кромѣ тебя, любезный другъ, и сестры Александры Николаевны, я много людей имѣю близкихъ къ моему сердцу, но вы оба еще ближе.

Кончая мое маранье, я сижу въ теплой избѣ и курю табакъ. На дворѣ мятель и снѣгу по колѣно: это напоминаетъ Россію и нѣсколько пріятныхъ минутъ въ моей жизни. Передо мною русскій чай, который наливаетъ Яковъ.

Замѣчаніе: Яковъ еще сталъ глупѣе и безтолковѣе отъ рейнвейна и киршвассера, которыми опивается. О, матушка Россія! Когда увидимъ тебя?

Rendez moi nos frimas!

Мы еще сдѣлали нѣсколько переходовъ и стоимъ около Лангръ.

19. — 27-го марта 1814 г., Jouissi-sur-Seine, въ окрестностяхъ Парижа. Я получилъ твое длинное посланіе, мой добрый

[1]) Крыловъ.

и любезный Николай, на походѣ отъ Арсиса къ Meaux. И письму, и Оленину очень обрадовался. Оленинъ, слава Богу, здоровъ, а ты меня, мой милый товарищъ, не забываешь! Теперь выслушай мои похожденія по порядку. О военныхъ и политическихъ чудесахъ я буду говорить мимоходомъ: на то есть газеты; я буду говорить съ тобой о себѣ, пока не устанетъ рука моя.

Я былъ въ Сире, въ замкѣ славной маркизы дю-Шатле, въ гостяхъ у Дамаса и Писарева. Писаревъ жилъ въ той самой комнатѣ, гдѣ проказникъ фернейскій писалъ Альзиру и пр. Вообрази себѣ его восхищеніе! Но и въ Сире революція изгладила всѣ слѣды пребыванія маркизы и Вольтера, кромѣ нѣкоторыхъ надписей на дверяхъ большой галлереи; напримѣръ: Asile des beaux-arts и пр. существуютъ до сихъ поръ; амура изъ анѳологіи нѣтъ давно. Въ залѣ, гдѣ мы обѣдали, висѣли знамена нашихъ гренадеръ, и мы по русски привѣтствовали тѣни сирейской нимфы и ея любовника, то-есть, большимъ стаканомъ вина.

Въ корпусную квартиру я возвратился поздно; тамъ узналъ я новое назначеніе Раевскаго. Онъ долженъ былъ немедленно ѣхать въ Pont-sur-Seine и принять команду у Витгенштейна. Мы проѣхали черезъ Шомонъ на Троа. По дорогѣ скучной и разоренной на каждомъ шагѣ встрѣчали развалины и мертвыя тѣла. Замѣть, что отъ Нанжиса къ Троа и далѣе я проѣзжалъ четыре раза, если не болѣе. Наконецъ, въ Pont-sur-Seine, гдѣ замокъ премудрой Летиціи, матери всадника Робеспіера, генералъ принялъ начальство надъ арміей Витгенштейна. Прощай вовсе, покой! На другой день мы дрались между Нанжисомъ и Провинсъ. На третій, слѣдуя общему движенію, отступили и опять по дорогѣ къ Троа. Оттуда пошли на Арсисъ, гдѣ было сраженіе жестокое, но непродолжительное, послѣ котораго Наполеонъ пропалъ со всей арміей. Онъ пошелъ отрѣзывать намъ дорогу отъ Швейцаріи, а мы, пожелавъ ему добраго пути, двинулись на Парижъ всѣми силами отъ города Витри. На пути мы встрѣтили нѣсколько корпусовъ, прикрывавшихъ столицу, и подъ Fer-Champenoise ихъ проглотили. Зрѣлище чудесное! Вообрази себѣ тучу кавалеріи,

которая съ обѣихъ сторонъ на чистомъ полѣ врѣзывается въ пѣхоту, а пѣхота густой колонной, скорыми шагами, отступаетъ безъ выстрѣловъ, пуская изрѣдка батальный огонь. Подъ вечеръ сдѣлалась травля Французовъ. Пушки, знамена, генералы, все досталось побѣдителю. Но и здѣсь Французы дрались, какъ львы. Въ Трипоръ мы переправились черезъ Марну, прошли черезъ Meaux, большой городъ, и очутились въ окрестностяхъ Парижа, передъ лѣсомъ Bondy, гдѣ встрѣтили непріятеля. Лѣсъ былъ очищенъ артиллеріей и стрѣлками въ нѣсколько часовъ, и мы ночевали въ Noisy передъ столицей. Съ утромъ началось дѣло. Наша армія заняла Romainville, о которомъ, кажется, упоминаетъ Делиль, и Montreuil, прекрасную деревню, въ виду самой столицы. Съ высоты Монтреля я увидѣлъ Парижъ, покрытый густымъ туманомъ, безконечный рядъ зданій, надъ которыми господствуетъ Notre-Dame съ высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало отъ радости! Сколько воспоминаній! Здѣсь ворота Трона, влѣво Венсенъ, тамъ высоты Монмартра, куда устремлено движеніе нашихъ войскъ. Но ружейная пальба часъ отъ часу становилась сильнѣе и сильнѣе. Мы подвигались впередъ съ большимъ урономъ черезъ Баньолетъ къ Бельвилю, предмѣстію Парижа. Всѣ высоты заняты артиллеріею; еще минута, и Парижъ засыпанъ ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера съ переговорами, и пушки замолчали. Раненые русскіе офицеры проходили мимо насъ и поздравляли съ побѣдою. «Слава Богу! Мы увидѣли Парижъ съ шпагою въ рукахъ! Мы отмстили за Москву!» повторяли солдаты, перевязывая раны свои. Мы оставили высоту L'Epine; солнце было на закатѣ, по той сторонѣ Парижа; кругомъ раздавалось ура побѣдителей и на правой сторонѣ нѣсколько пушечныхъ ударовъ, которые черезъ нѣсколько минутъ замолчали. Мы еще разъ взглянули на столицу Франціи, проѣзжая чрезъ Монтрель, и возвратились въ Noisy отдыхать, только не на розахъ: деревня была разорена.

На другой день поутру генералъ поѣхалъ къ государю въ Bondy. Тамъ мы нашли посольство de la bonne ville de Paris;

вслѣдъ за нимъ великолѣпный герцогъ Виченцскій. Переговоры кончились, и государь, король Прусскій, Шварценбергъ, Барклай, съ многочисленною свитою, поскакали въ Парижъ. По обѣимъ сторонамъ дороги стояла гвардія. Ура гремѣло со всѣхъ сторонъ. Чувство, съ которымъ побѣдители въѣзжали въ Парижъ, неизъяснимо.

Наконецъ, мы въ Парижѣ. Теперь вообрази себѣ море народа на улицахъ. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара, все, все покрыто людьми обоихъ половъ. Все машетъ руками, киваетъ головой, все въ конвульзіи, все кричитъ: «Vive Alexandre, vivent les Russes! Vive Guillaume, vive l'empereur d'Autriche! Vive Louis, vive le roi, vive la paix!» Кричитъ, нѣтъ, воетъ, реветъ. «Montrez nous le beau, le magnanime Alexandre!» «Messieurs, le voilà en habit vert, avec le roi de Prusse». «Vous êtes bien obligeant, mon officier», и держа меня за стремя, кричитъ: «Vive Alexandre, à bas le tyran!» «Ah, qu'ils sont beaux, ces Russes! Mais, monsieur, on vous prendrait pour un Français». «Много чести, милостивый государь, я право этого не стою!» «Mais c'est que vous n'avez pas d'accent», и послѣ того: «Vive Alexandre, vivent les Russes, les héros du Nord!»

Государь, среди волнъ народа, остановился у полей Елисейскихъ. Мимо его прошли войска въ совершенномъ устройствѣ. Народъ былъ въ восхищеніи, а мой казакъ, кивая головою, говорилъ мнѣ: «Ваше благородіе, они съ ума сошли». «Давно!» отвѣчалъ я, помирая со смѣху. Но у меня голова закружилась отъ шуму. Я сошелъ съ лошади, и народъ обступилъ и меня, и лошадь, началъ разсматривать и меня, и лошадь. Въ числѣ народа были и порядочные люди, и прекрасныя женщины, которые въ запуски дѣлали мнѣ странные вопросы: отчего у меня бѣлокурые волосы, отчего они длинны? «Въ Парижѣ ихъ носятъ короче. Артистъ Dulong васъ обстрижетъ по модѣ». «И такъ хорошо», говорили женщины. «Посмотри, у него кольцо на рукѣ. Видно и въ Россіи носятъ кольца. Мундиръ очень простъ! C'est le bon genre! Какая длинная лошадь! Степная, вѣрно степ-

ная, cheval du désert! Посторонитесь господа, артиллерія! Какія длинныя пушки, длиннѣе нашихъ. Ah, bon Dieu, quel Calmok!» И послѣ того: «Vive le roi, la paix! Mais avouez, mon officier, que Paris est bien beau?» «Какіе у него бѣлые волосы!» «Отъ снѣгу», сказалъ старикъ, пожимая плечами. Не знаю, отъ тепла или отъ снѣгу, подумалъ я; но вы, друзья мои, давно разсорились съ здравымъ разсудкомъ.

Замѣть, что въ толпѣ были лица ужасныя, физіономіи страшныя, которыя живо напоминаютъ Маратовъ и Дантоновъ, въ лохмотьяхъ, въ большихъ колпакахъ и шляпахъ, и возлѣ нихъ прекрасныя дѣти, прелестнѣйшія женщины.

Мы поворотили влѣво къ place Vandôme, гдѣ толпа часъ отъ часу становилась сильнѣе. На этой площади поставленъ монументъ большой арміи. Славная Троянова колонна! Я ее увидѣлъ въ первый разъ, и въ какую минуту! Народъ, окруживъ ее со всѣхъ сторонъ, кричалъ безпрестанно: «A bas le tyran!» Одинъ смѣльчакъ взлѣзъ наверхъ и надѣлъ веревку на ноги Наполеона, котораго бронзовая статуя вѣнчаетъ столбъ. «Надѣнь на шею тирану», кричалъ народъ. «Зачѣмъ вы это дѣлаете?» «Высоко залѣзъ!» отвѣчали мнѣ. «Хорошо, прекрасно! Теперь тяните внизъ: мы его въ дребезги разобьемъ, а барельефы останутся. Мы кровью ихъ купили, кровью гренадеръ нашихъ. Пусть ими любуются потомки наши!» Но въ первый день не могли сломать мѣднаго Наполеона: мы поставили часоваго у колонны. На доскѣ внизу я прочиталъ: Napolio, Imp. Aug. monumentum и проч. Суета суетъ! Суета, мой другъ! Изъ рукъ его выпали и мечъ, и побѣда! И та самая чернь, которая привѣтствовала побѣдителя на сей площади, та же самая чернь и вѣтреная, и неблагодарная, часто неблагодарная, накинула веревку на голову Napolio Imp. Aug., и тотъ самый неистовый, который кричалъ нѣсколько лѣтъ назадъ тому: «Задавите короля кишками поповъ», тотъ самый неистовый кричитъ теперь: «Русскіе, спасители наши, дайте намъ Бурбоновъ! Низложите тирана! Что намъ въ побѣдахъ? Торговлю, торговлю!»

О, чудесный народъ парижскій, народъ, достойный сожалѣнія и смѣха! Отъ шума у меня голова кружилась безпрестанно: что же будетъ въ Пале-рояль, гдѣ ожидаетъ меня обѣдъ и товарищи? Мимо Французскаго театра пробрался я къ Пале-рояль, въ средоточіе шума, бѣганія, дѣвокъ, новостей, роскоши, нищеты, разврата. Кто не видѣлъ Пале-рояль, тотъ не можетъ имѣть о немъ понятія. Въ лучшемъ кофейномъ домѣ или, вѣрнѣе, ресторацiи, у славнаго Very, мы ѣли устрицы и запивали ихъ шампанскимъ за здравіе нашего государя, добраго царя нашего. Отдохнувъ немного, мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштановъ и проч. Ночь меня застала посреди Пале-рояля. Теперь новыя явленія: нимфы радости, которыхъ безстыдство превышаетъ все. Не офицеры за ними бѣгали, а онѣ за офицерами. Это продолжалось до полуночи, при шумѣ народной толпы, при звукѣ рюмокъ въ ближнихъ кофейныхъ домахъ и при звукѣ арфъ и скрыпокъ.... Все кружилось, пока

Свѣтъ въ черепкѣ погасъ, и близокъ сталъ сундукъ.

О, Пушкинъ, Пушкинъ!

Въ день пріѣзда моего я ночевалъ въ Hôtel de Suède и заснулъ мертвымъ сномъ, какимъ спятъ послѣ безпрестанныхъ маршей и сраженій. На другой день по утру увидѣлъ снова Парижъ или ряды улицъ, покрытыхъ безчисленнымъ народомъ, но отчета себѣ ни въ чемъ отдать не могу. Необыкновенная усталость послѣ трудовъ военныхъ, о которыхъ вы, сидни, и понятія не имѣете, тому причиною. Скажу тебѣ, что я видѣлъ Сену съ ея широкими и, по большей части, безобразными мостами; видѣлъ Тюльери, Тріумфальныя врата, Лувръ, Notre-Dame и множество улицъ, и только, ибо всего на всего я пробылъ въ Парижѣ только 20 часовъ, изъ которыхъ надобно вычесть ночь. Я видѣлъ Парижъ сквозь сонъ или во снѣ. Ибо не сонъ ли мы видѣли по совѣсти? Не во снѣ ли и теперь слышимъ, что Наполеонъ отказался отъ короны, что онъ бѣжитъ и пр. и пр. и пр.? Мудрено, мудрено жить на свѣтѣ, милый другъ! Но въ заключеніе скажу тебѣ, что мы прошли съ корпусомъ черезъ Аустер-

лицкій мостъ, мимо Jardin des plantes. въ заставу des Deux Moulins по дорогѣ Bois de Boulogne, гдѣ стоитъ лагеремъ полинявшій императоръ съ остатками неустрашимыхъ, и остановились въ замкѣ Jouissy, принадлежащемъ почетному парижскому жителю. Этотъ замокъ на берегу Сены, окруженъ садами и принадлежалъ нѣкогда любовницѣ Людовика XIV. Еще до сихъ поръ видны остатки и слѣды древняго великолѣпія. Съ террасы, примыкающей къ дому, видна Сена. Пріятные луга и рощи, и загородные дворцы маршаловъ Наполеона, которые мало по малу, одинъ за другимъ, возвращаются въ Парижъ, кто инкогнито, а кто и съ цѣлымъ корпусомъ. Новости, происшествія важнѣйшія тѣснятся одно за другимъ. Я часто, какъ Ѳома невѣрный, щупаю голову и спрашиваю: Боже мой, я ли это? Удивляюсь часто бездѣлкѣ и вскорѣ не удивлюсь важнѣйшему происшествію. Еще вчера мы встрѣтили и проводили въ Парижъ корпусъ Мармона и съ артиллеріей, и съ кавалеріей, и съ орлами! Всѣ ожидаютъ мира. Дай Богъ! Мы всѣ желаемъ того. Выстрѣлы надоѣли, а болѣе всего плачъ и жалобы несчастныхъ жителей, которые вовсе разорены по большимъ дорогамъ.

Остался пеплъ одинъ въ наслѣдство сиротѣ.

Завтра я отправлюсь въ Парижъ, если получу деньги, и прибавлю нѣсколько строкъ къ письму. Всего болѣе желаю увидѣть театръ и славнаго Тальма, который, какъ говоритъ Шатобріанъ, училъ Наполеона, какъ сидѣть на тронѣ съ приличною важностію императору великаго народа. La grande nation! Le grand homme! Le grand siècle! Все пустыя слова, мой другъ, которыми пугали насъ наши гувернеры.

20.—10-го іюля (1815 г.). Каменецъ-Подольскій. Языкъ до Кіева доведетъ. а изъ Кіева не такъ далеко до Волыни, а съ Волыни на Подоль и наконецъ въ Каменецъ, откуда я пишу къ тебѣ, мой милый другъ,

Съ усталой отъ заботъ и праздности душою.

которую ни труды, ни перемѣна мѣста, ни перемѣна заботъ не могутъ вылѣчить отъ скуки, весьма извинительной, ибо я проѣхалъ черезъ Москву около трехъ тысячъ верстъ, если не болѣе, зачѣмъ? Чтобъ отдалиться отъ друзей. Наконецъ я здѣсь, къ удивленію моего генерала, который принялъ меня весьма ласково, меня и другаго адъютанта, Давыдова, котораго полиція московская выгнала изъ Москвы, какъ меня—петербургская. Но Каменецъ и безъ насъ существовалъ. Я это предвидѣлъ, предчувствовалъ. Теперь я не имѣю скорой или близкой надежды увидѣться съ тобою и выцарапать тебѣ послѣдній твой глазъ, который дальновиднѣе моихъ обоихъ, за то, что ты меня вовсе забылъ: ни слова ни писалъ въ деревню, гдѣ я находился между страха и надежды, но въ совершенной неизвѣстности, куда ѣхать, зачѣмъ и какъ, гдѣ былъ очень боленъ, откуда я поѣхалъ съ лихорадкою, которая меня и здѣсь не покидаетъ, и здѣсь, въ отчизнѣ зефировъ и цвѣтовъ, Жидовъ и старыхъ польскихъ усовъ. Итакъ, до случая удаляю надежду, до времени покоряюсь святому Провидѣнію, которое бросаетъ меня изъ края въ край, меня, маленькаго Улисса или Телемака, который умоляетъ тебя, божественнаго Демодока, писать къ нему почаще, ибо, право, жизнь не жизнь безъ друзей. Ужь я ни слова не говорю о томъ, что ты ко мнѣ не писалъ о моихъ дѣлахъ. Право, не хорошо меня мучить, меня, измученнаго. И что у тебя за лѣность? Пишешь къ каждому пономарю въ Малороссіи, а не пишешь къ другу, который тебя любитъ, конечно, болѣе, нежели кто-нибудь на свѣтѣ: и ты это знаешь. Пиши ко мнѣ хотя для того, что я въ отчизнѣ галушекъ, варениковъ, воловъ, мазанокъ, усовъ и чуповъ. Вотъ мое право, если другія всѣ утрачены для твоего сердца, которое, отъ постоянно спокойной жизни и отъ разсчетовъ твоего ума, превратится въ камень, чего не дай Богъ и для меня, и для словесности, которая на тебя считаетъ, ибо тогда музы отвратятъ лице свое отъ твоего лица, и ты будешь засѣдать въ Бесѣдѣ и скука съ тобою одесную, а Славяне — ошую. Но этого не

будетъ. Пиши, люби меня и люби посильнѣе; право, я нужду имѣю въ твоей дружбѣ; или друзья намъ только милы бываютъ вблизи и въ счастіи? Прости!

Если вы меня всѣ забыли, то-есть. Гнѣдичъ и Николай Ивановичъ, то я умру новымъ родомъ смерти: тридцать верстъ отъ насъ карантинъ: выпрошу позволеніе отправиться туда, зачумѣю, и поминай какъ звали! Но я думаю, что обыкновенная чума не дѣйствуетъ на тѣхъ, къ которымъ привита чума стихотворная. Вотъ новая бѣда! Сдѣлай одолженіе, милый другъ, пиши ко мнѣ, проси Катерину Ѳедоровну, чтобы и она писала. Почта отходитъ точно: мнѣ болѣе писать не можно.

21.—Четвергъ (начало сентября 1816 г. Москва). Письмо твое, первое съ разсѣяннымъ превосходительствомъ, второе съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ, я получилъ, милый другъ. Кокошкинъ вручилъ мнѣ отрывокъ изъ Иліады, которымъ займусь немедленно. Я прочиталъ его: кажется, поправлять нечего, развѣ безделки. Когда будетъ чтеніе у насъ—не знаю; я боленъ и лежу въ постелѣ. Черезъ силу ѣзжу по солнцу верхомъ и конца не вижу моему невольному пребыванію въ Москвѣ. Напрасно ты думаешь, что я отказываюсь отъ твоего предложенія, имѣя въ виду болѣе. Конечно, въ теченіе двухъ или трехъ лѣтъ могу сбыть все изданіе и выручить капиталъ на капиталъ, но имѣть хлопоты, безпрестанно торговаться съ книгопродавцами, жить для корректуры въ столицѣ мнѣ не возможно. Итакъ, на твое предложеніе отвѣчаю со всѣмъ чистосердечіемъ, что оно мнѣ пріятно по многимъ причинамъ, и если ты на мои кондиціи согласишься, то и дѣло по рукамъ. Вотъ онѣ: За двѣ книги, толщиною или числомъ страницъ съ сочиненія М. Н. Муравьева, я прошу двѣ тысячи рублей. Тысячу рублей прислать мнѣ немедленно. У меня томъ прозы готовъ, переписанъ и переплетенъ. Приступить къ печати, не ожидая стиховъ. Томъ стиховъ непосредственно за симъ печатать. Если ты согласишься на мое условіе, то я все велю переписывать и доставлю въ началѣ ок-

тября. Имъ займусь сильно и многое исправлю. Лету не печатать; за то будутъ новыя піесы, какъ то: Ромео и Юлія, и другія бездѣлки. Другую тысячу заплатить мнѣ шесть мѣсяцевъ по напечатаніи втораго тома. Это тебя не разстроитъ и мнѣ будетъ выгодно. Я берусь доставить заглавный виньетъ для обоихъ томовъ. Печатать отнюдь не по подпискѣ: я на это никакъ не соглашусь. Могу поручиться, что здѣсь въ Москвѣ въ первый годъ книгопродавцы возьмутъ 300 или 400 экземпляровъ. По крайней мѣрѣ увѣряетъ Каченовскій. Въ Петербургѣ столько же выйдетъ въ два года. Я могъ бы печатать здѣсь. Мнѣ даютъ деньги на бумагу, но не хочется одолжаться и жить въ Москвѣ. Дѣла требуютъ моего присутствія въ деревнѣ, одна болѣзнь удерживаетъ. Дмитріевъ уговаривалъ продать здѣшнимъ книгопродавцамъ, но я боюсь ихъ, какъ огня. Они изуродуютъ изданіе и на мѣсто завода, напечатаютъ два, какъ обыкновенно.

Томъ прозы будетъ интересенъ. Первая піеса: рѣчь, говоренная мною въ московскомъ собраніи о словесности. Вторая: Вечеръ у Антіоха Кантемира, то-есть, разговоръ его съ Монтескье, гдѣ я послѣдняго немного поцарапалъ. О Данте, Петраркѣ, Тассѣ, Аріостѣ. Финляндія. Похвала сну. О морали. О сочиненіяхъ Муравьева. Письмо объ академіи, переправленное (надобно спросить у Оленина, можно ли его печатать? Канва его, а шелки мои). Замокъ Сирей. О госпожѣ дю-Шатле. О поэтѣ. О Ломоносовѣ характерѣ личномъ, и проч., и проч.

Стихи раздѣляю на книги: 1-я—элегіи, 2-я—смѣсь, романсы, посланія, эпиграммы и проч. Я подписываю имя, слѣдственно, постараюсь сдѣлать лучше, все, что могу! Титулъ: Опыты въ стихахъ и прозѣ К. Б. Если издатель захочетъ сдѣлать предисловіе или замѣчанія, то можетъ, подписавъ имя свое. Однимъ словомъ, надѣюсь, что моя книга будетъ книга, если не прекрасная, то не совершенно бездѣльная. Дай мнѣ рѣшительный отвѣтъ. Пришли всю тысячу. Мнѣ деньги очень нужны. Я бо-

ленъ и проживаюсь на лѣкарствѣ. Если ты понесешь убытокъ, то я отвѣчаю. Но этого предполагать не можно. На печать полагаю двѣ тысячи; этого достаточно; мнѣ двѣ тысячи, итого четыре. Двѣ части продавать по десяти рублей, итого за тысячу экземпляровъ десять тысячъ р. На коммиссію положимъ двѣ тысячи: слѣдственно, четыре очистятся. Вотъ что̀ мнѣ говорилъ Каченовскій, печататель чужихъ сочиненій. Онъ мнѣ и самъ предлагалъ свои услуги, но я отказался, и главное — потому, что ты по дружбѣ это лучше сдѣлаешь, и потому, что въ Москвѣ уродуютъ книги. Мнѣ ты учинишь одолженіе. Безъ тебя не рѣшусь печатать. Ты знаешь мою лѣнь и нерѣшимость. Но прошу только печатать безъ шуму и грому. Обѣ книги вдругъ выпустить. Жуковскому хвалители повредили. Гречь объявитъ въ Сынѣ Отечества, Каченовскій—здѣсь. Я ручаюсь за него: вымолвитъ доброе словечко. Богъ поможетъ: и я авторъ! Книги раскупятъ, а тамъ—пусть критикуютъ.

Дай же рѣшительный отвѣтъ, то-есть, скажи: мнѣ не надобно, или скажи: пришли томъ прозы, а я вышлю деньги къ концу сентября. Вотъ на что прошу отвѣчать немедленно. Посовѣтуйся съ знающими людьми. Мнѣ сдѣлаешь истинное одолженіе, истинное, говорю: избавишь отъ хлопотъ и подаришь мнѣ двѣ тысячи. Ожидаю: да или нѣтъ. Но ни слова въ моемъ условіи не перемѣню: я обдумалъ все на досугѣ. Согласенъ ли? Прости, будь здоровъ, пиши экзаметры и не вѣрь никому. Тебя сбиваютъ съ пути. Переведи нѣсколько отрывковъ изъ Одиссеи. Тамъ можешь блеснуть экзаметромъ. Удивляюсь, что ты за нее не возьмешься давно. Что нужды, что не сряду. Пиши и люби меня.

Ивановъ умеръ. Онъ настрадался. Жаль его больно!

Еще прошу: никому ни провозглашай, что я намѣренъ печатать, и начавъ печатать, молчи, пока все не выдетъ. Уткинъ вѣрно не откажется отъ виньетовъ. Я ихъ тебѣ представлю, когда все будетъ готово. Берусь за это самъ, на свой счетъ и отчетъ.

22. 28-го и 29-го октября (1816 г. Москва). Столько и столько надобно писать къ тебѣ, милый другъ, что я право не знаю, съ чего начать. С. И. Муравьевъ былъ здѣсь. Онъ скажетъ тебѣ, что Ипполитъ [1]) оставался у меня на рукахъ, сдѣлался боленъ, выздоровѣлъ. Я ходилъ за нимъ въ болѣзни, время пролетало, я ничего не дѣлалъ. Виноватъ ли я? Конечно нѣтъ. Поспѣшу вознаградить утраченное время. Начинаю отвѣчать на письмо твое:

О другъ мой, сколь важна услуга мнѣ твоя,
Лишь чувствовать могу, сказать не въ силахъ я!

Получилъ деньги. Грекъ мнѣ вручилъ. Киріелейсонъ! При семъ провождаю условіе. Копія мнѣ не нужна. Кантемира пришлю черезъ недѣлю. Эта статья довольно длинна. Для Путешествія въ Сирей не будетъ нужна статья о Шатле. Право довольно. Если могу сладить съ Данте, и если нужно будетъ, вышлю. Книга будетъ толста, если не напечатаешь большой форматъ отъ чего Боже избави! Надобно дамскую книжку: поменѣе и потолще. Начни, Бога ради, печатать прозою. Дай мнѣ время справиться со стихами. Ихъ будетъ менѣе, чѣмъ прозы, но за то ихъ и печатать рѣже. Вѣрь мнѣ, что я теперь не на розахъ. Бьюсь, какъ рыба объ ледъ, съ чужими хлопотами и свои забываю. Стихамъ не могу сказать: Vade sed incultus. Надобно кое-что поправить. Кстати о поправкахъ. Въ прозѣ исправь эпитетъ: славный Мерзляковъ: напиши знаменитый, если хочешь, или добрый. Статью Ломоносова характеръ печатай по Вѣстнику кромѣ мѣста о Шуваловѣ, которое печатай по рукописи. Все исправляй, какъ хочешь, не переписываясь со мною. Это слишкомъ затруднительно и безполезно.

Сегодня получилъ Танкреда. Благодарю отъ всей души! Примусь за него и когда-нибудь возвращу тебѣ съ замѣчаніями. Переводъ въ иныхъ мѣстахъ превосходенъ. Я это и прежде тебѣ говорилъ. Портретъ прелестенъ. Кокошкину вручилъ эк-

[1]) Ипполитъ Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ, братъ вышеупомянутаго Сергѣя.

земпляръ. Съ нимъ условлюсь и отпишу тебѣ о продажѣ. Каченовскій благодаритъ и провозгласитъ. Я нарочно въ дождь и грязь, ѣздилъ въ его келью парнасскую. Общество приняло экземпляръ съ достодолжною признательностью и возвѣстило ее въ полномъ собраніи сего дня (28-го октября) чрезъ уста Антонскаго, отца и покровителя. Гекзаметры читалъ Яковлевъ, и прекрасно! Они понравились взрослымъ людямъ; впрочемъ, у насъ дѣти-малютки! Басни Крылова разсмѣшили. Все прекрасно! Ты себѣ вообразить не можешь, что у насъ за собраніе, составленное изъ прозы, стишковъ дѣтскихъ, чаю, оржаду, дѣтей и дядекъ! Бѣдная словесность, бѣдный университетъ! Я повторяю сказанное: въ Бесѣдѣ питерской—варварство, у насъ—ребячество. Не сказывай этого никому.

Еще разъ повторяю: прозу не печатай вмѣстѣ съ стихами, а сперва. Можно выпустить вмѣстѣ. Займусь перепискою стиховъ. Вышлю тебѣ сперва книгу элегій, потомъ смѣсь, посланія и проч., а тамъ сказку съ поправками, если успѣю. Не могу изъяснить тебѣ моей признательности. Конечно, изданіе будетъ исправно въ рукахъ твоихъ. Мнѣ не тягостно быть тебѣ благодарнымъ, а пріятно. Сожалѣю только, что болѣзнь, хлопоты и время не позволили сдѣлать лучше, исправнѣе, интереснѣе моей книги. Каченовскій говорилъ мнѣ, что изданіе сойдетъ; онъ предлагалъ даже подобныя деньги, но я все страшусь за тебя и повторяю: не пеняй! Я буду въ отчаяніи, если не удастся.

Каченовскій читалъ разсужденіе о славянскихъ діалектахъ. Я не критикъ, я невѣжда, но кажется, онъ рѣжетъ истину. Онъ утверждаетъ, что Библія писана на сербскомъ діалектѣ; то же, думаю, говоритъ и Карамзинъ. А славенскій языкъ вовсе изчезъ; онъ чистый и не существовалъ, можетъ быть, ибо подъ именемъ Славенъ мы разумѣли всѣ поколѣнія славенскія, говорившія разными нарѣчіями, весьма отличными одно отъ другаго. Онъ разбудитъ славенофиловъ. Если правду говоритъ Каченовскій, то каковъ Шишковъ съ партіей! Они влюблены были въ Дульцинею, которая никогда не существо-

вала. Варвары, они изказили языкъ нашъ славенщизною! Нѣтъ, никогда я не имѣлъ такой ненависти къ этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, какъ теперь! Чѣмъ болѣе вникаю въ языкъ нашъ, чѣмъ болѣе пишу и размышляю, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что языкъ нашъ не терпитъ славенизмовъ, что верхъ искусства — похищать древнія слова и давать имъ мѣсто въ нашемъ языкѣ, котораго граматика, синтаксисъ, однимъ словомъ, все противно сербскому нарѣчію. Когда переведутъ Священное Писаніе на языкъ человѣческій? Дай Боже! Желаю этого!

Вотъ другая новость: Петровъ, сынъ Петрова, исказителя Энеиды, но великаго лирика, Петровъ-сынъ перевелъ Иліаду эксаметрами всю и отправился съ нею въ Питеръ. Мало по малу разбери ее. Твои враги обрадуются случаю, но Фебъ тебя пріосѣнитъ, тебя, любителя Гомера. Съ нѣкоторыхъ поръ на Парнасѣ все кабала и кабалы,

Des protégés si des, des protecteurs si bêtes!

Ты мнѣ ничего не говоришь о виньетѣ.

Кантемира вышлю съ первою почтою; если прозы недостанетъ, то у меня есть статья: Характеръ искательный, но сатирическая, а я съ нѣкотораго времени отвращеніе имѣю отъ сатиры, и переписывать ее охоты нѣтъ. Прилагаю при семъ условіе. Мнѣ не надобно копіи.

23.—(Конецъ февраля—начало марта 1817 г. Деревня). Я не безъ резону полагаю, что томъ прозы будетъ жидокъ. Онъ долженъ быть увѣсистъ, тѣмъ болѣе, что томъ стиховъ по милости Феба худощавъ. Ergo, посылаю тебѣ милую Гризельду и милую Моровую Заразу изъ Боккачіо. И то, и другое можешь помѣстить между прозою или въ концѣ, если печатаніе кончилось. Что нужды? Сказка интересна: она и отрывокъ о заразѣ — capo d'opera италіянской литературы. Перечитай ихъ съ кѣмъ-нибудь знающимъ языкъ италіянскій и что хочешь поправь. Но я, вопреки Олину, переводилъ не очень рабски и не

очень вольно. Мнѣ хотѣлось угадать манеру Боккачіо. Тебѣ судить, а не мнѣ! Если же напечатать не согласишься, то пришли назадъ, не держа ни минуты: я выдралъ изъ книги. Но лучше напечатай мою Гризельдушку и Заразу, если выдержитъ ученый критическій карантинъ. Гризельда придастъ интересу: будетъ что-нибудь и для дамъ. Это не шутка! Все одна словесность инымъ суха покажется.

Будешь ли доволенъ стихами? Размѣщай ихъ, какъ хочешь, но печатай безъ толкованій и замѣчаній. Бога ради, и безъ похвалъ! Не уморите меня. Эпиграмму:

Какъ страненъ здѣсь судебъ уставъ

и проч. выбрось. Другую оставь на Шихматова, но назови ее: Совѣтъ эпическому стихотворцу. Басню Сонъ Могольца, Книги и журналистъ и еще кое-что выкинь. На мѣсто этого я пришлю черезъ недѣли три Умирающаго Тасса, элегія, стиховъ въ 200; ее помѣстить можно будетъ въ концѣ: итакъ, она печатанія не задержитъ. Если Гезіодъ тебѣ полюбился, то поставь въ заглавіи: «Посвящено А. Н. О., любителю древности», но имени ни его, ни чьихъ нигдѣ не выставляй. Я не охотникъ до этого. Вотъ почему я и спрашивалъ у тебя, сердится ли Оленинъ на меня, или нѣтъ? Я хотѣлъ сдѣлать это приписаніе, посылая книгу, но полагая, что онъ на меня дуется, остановился. Я къ нему писалъ: онъ ни слова не отвѣчалъ, а я писалъ не белиберду, а о моей отставкѣ; могъ ли я полагать, что онъ или забылъ меня, или гнѣвается? Но тебѣ спрашивать у него было неприлично. Я самъ знаю, что ему не за что на меня гнѣваться: я не подалъ поводу, но люди умные нерѣдко дурачатся, аки азъ грѣшный. Итакъ, если это не будетъ ему противно, надпиши: малый знакъ моей признательности, но все что-нибудь! На тебя полагаюсь въ этомъ: какъ заблаго разсудишь. Итакъ, ты видишь, что я остороженъ, милъ и уменъ, какъ ангелъ.

Спасибо за форматъ. Прекрасно, что и говорить! Domine, non sum dignus! Пришли виньетки: это меня утѣшитъ. Но Гречь...

люблю его, а скажу: палачъ! Онъ такъ терзаетъ нашу прозу и стихи, что любо и дорого. Нѣтъ № Сына безъ ошибокъ, и какихъ ошибокъ! Если онъ начнетъ меня такъ уродовать, я ему... Но укротимъ волны и вихри моего гнѣва и станемъ говорить о дѣлѣ.

Получилъ ли Уткинъ 200? Ты ни слова! Получилъ ли ты 1720 Дамасу? Ты ни слова! Теперь я тебя за горло. Милый другъ, отдай ради Неба 1000 въ ломбардъ къ 10-му мая, въ счетъ моего долга (2500), чѣмъ меня истинно обяжешь. У меня ни гроша. Заплатилъ кучу долговъ, а самъ остался при Боккачіо и при шпанской мушкѣ, которая у меня закрываетъ весь затылокъ и мѣшаетъ не только трудиться, но даже писать къ тебѣ это письмо. Осталось только попѣвать:

Nel cuor più non mi sento...

Итакъ, успокой меня на счетъ ломбарда, не заставь проплясать казачка. Я и то разбитъ на всѣ четыре ноги, какъ лошадь, которую я продалъ въ Парижѣ.

Замѣчаніе. Исправь самъ и проси Греча исправлять ошибки противъ смысла и языка. Иногда перестановка одного слова, какъ говоритъ безсмертный Олинъ Квинтильяновичъ, весьма значительна. И у кого нѣтъ этихъ ошибокъ? Даже у самого Олина пробиваются кой-гдѣ (Пироги горячи, оладьи, горохъ съ масломъ!). Умора, право умора, вашъ Олинъ! Хочетъ мыслить, силится, силится — запоръ, нейдетъ! Читатель, суди самъ! (Зри Сынъ Отечества).

Я далъ слово Сергѣю Глинкѣ прислать ему Переходъ черезъ Рейнъ. Перепиши и пошли ему отъ моего имени. Бога ради, сдѣлай это. Онъ будетъ въ правѣ гнѣваться, а ты читалъ Горація и знаешь, каковъ гнѣвъ стихотворца. Притомъ Глинку надобно поддерживать. Если есть глупые стихи, выпиши ихъ: я постараюсь поправить... Но лучше бы такъ. Проза надоѣла, а стихи ей-ей огадили. Кончу Тасса, уморю его и писать ничего не стану, кромѣ писемъ къ друзьямъ: это мой настоящій родъ. На силу догадался. Перемѣни въ статьѣ Ломоносовъ

повѣренія дружества. Это очень плохо! Вообще не худо иногда справляться съ Вѣстникомъ, а всего чаще съ разсудкомъ. Избавьте меня, о. Гречъ. о, Гнѣдичъ. отъ глупостей! Право, и безъ моихъ у насъ много на Парнассѣ! Не давно прочиталъ Монтаня у Японцевъ, то-есть. Головнина записки. Вотъ человѣкъ, вотъ проза! А мое. вижу самъ, пустоцвѣтъ! Все завянетъ и скоро полиняетъ. Что дѣлать! Если бы война не убила моего здоровья. то чувствую, что написалъ бы что-нибудь получше. Но какъ писать? Здѣсь мушка на затылкѣ, передо мной хина, впереди ломбардъ, сзади три войны съ биваками! Какое время! Бѣдные таланты! Выростешь умомъ, такъ воображеніе завянетъ. Счастливы тѣ, которые познали причину вещей и могутъ воскликнуть отъ глубины сердца: Пироги горячи. оладьи. горохъ съ масломъ!

Ивану Матвѣевичу не пишу. Онъ, полагаю, все въ Питерѣ, и ему, конечно, не до насъ, забытыхъ рокомъ. Но какъ я радъ, не могу тебѣ изъяснить. Эта вѣсть меня оживила. Я почувствовалъ, какъ люблю его въ полной мѣрѣ, и радовался этому чувству.

Вотъ проспектусъ переводовъ:

I-й ТОМЪ.

Похвала Италіи, изъ m-me Stael.
О жизни Данте и его поэмѣ.
Олиндъ и Софронія.
Гризельда.
Бѣшенство Орланда. | Путешествіе въ луну. } Это составитъ нѣчто цѣлое.
Альчина.
Зараза.
Письмо Бернарда Тасса о воспитаніи дѣтей.
Примѣръ дружества. Изъ Боккачіо, сказка.
Что-нибудь изъ Петрарки.

Сокращенныя выписки изъ критиковъ — Женгене, Sismondi, Bouterweck и проч.

II-й ТОМЪ.

Объ италіянскомъ языкѣ вообще.
Взглядъ на словесность италіянскую.
Данте. | Петрарка. | Боккачіо.
Аріостъ.
Тассъ.
Другіе стихотворцы перваго періода.
Заключеніе.

Если бы Гречъ согласился дать двѣ тысячи за это? У него типографія: вотъ почему я съ этимъ предложеніемъ выступаю. Въ концѣ года могу представить оба тома. Но безъ денегъ. для одного удовольствія, переводить время. бумагу и здоровье—

слуга покорный! Дай рѣшительный отвѣтъ. Не то Жуковскому отдамъ все. Онъ у меня проситъ. Взгляни на этотъ реестръ и увидишь, легко ли переводить это. Кажется, было бы интересно и публикѣ нашей. Но еще разъ, безъ денегъ не примусь за работу. Дайте тысячу впередъ за первый томъ, а другую подожду до января будущаго 1818 года. Скажите: да или нѣтъ. Если да, то выпишу какого-нибудь переписчика и заплачу ему рублей триста. Самому не можно: стара стала и глупа стала. Въ противномъ случаѣ, могу провести время, какъ благородный человѣкъ, напримѣръ, могу ничего не дѣлать, какъ маркизъ Г. Приходитъ весна: болѣзни и цвѣты. Мнѣ не скучно будетъ. Два дни пролежу въ постели, а день стану поливать левкои и садить капусту, а вы останетесь безъ италіянскихъ переводовъ, вы, сводники парнасскіе, вы, великій Гречъ и великій Гнѣдичъ!

Кстати объ Италіи. Скажите мнѣ: Шаховской principe и principe Koslovsky не сойдутся ли на развалинахъ Рима? Вотъ двѣ классическія каррикатуры въ землѣ классической. Я радъ, что Шаховской будетъ писать въ карантинѣ. Не могу вспомнить о немъ безъ смѣха, а право, люблю его, какъ душу! Но не мнѣ бы смѣяться! Я самъ подставилъ спину! Чувствую, вижу, но не смѣю сказать, какъ страшно печатать! Это или воскреситъ меня, или убьетъ вовсе мою охоту писать. Я не боюсь критики, но боюсь несправедливости, признаюсь тебѣ, даже боюсь холоднаго презрѣнія. Ты знаешь меня, бѣгалъ ли я за похвалами? Но знаешь меня: люблю славу. И теперь, полуразрушенный, далъ бы всю жизнь мою съ тѣмъ, чтобы написать что-нибудь путное! Впрочемъ, неужели мнѣ суждено быть неудачливымъ во всемъ?

Гдѣ Жуковскій? Если онъ у васъ, то попроси его взглянуть на стихи и что можно поправить. Правь самъ и всѣмъ давай исправлять. Всѣмъ? Не много ли это? Охъ, страшно! Меня печатаютъ! Вѣрь мнѣ, что если бъ еще къ этому я увидѣлъ въ заглавіи свой портретъ, то умеръ бы съ досады! Вотъ до чего додурачился! Нѣтъ! И Хвостовъ не начиналъ такимъ образомъ, пиша Ржевскій!

Я, какъ блудный сынъ, просился опять въ Библіотеку. Если это нельзя, то проси Тургенева приписать меня куда-нибудь. Боюсь, чтобы меня не выбрали въ смотрители магазиновъ соляныхъ. Не забудь, что эта соль не аттическая.

Еще повторяю: выкинь эпиграмму и всѣ басни. Что въ нихъ? Высылай своего Омира. Я пришлю замѣчанія, но впередъ дѣлаю одно: твоя піеса похожа на древнюю камею. Ея не продашь на толкучемъ рынкѣ, а знатоки знаютъ цѣну. Вѣрь мнѣ, она прелестна, но все-таки стою на томъ. что сказалъ: начало длинновато и не связано съ концомъ. Самый метръ портитъ единство. Я правъ, по совѣсти правъ! Здѣсь сужу по чувствамъ, безъ предубѣжденій. Но піеса прекрасна. Это лучшее наше произведеніе въ новомъ родѣ. Вѣрь мнѣ и не вѣрь несправедливымъ сужденіямъ.

Коль слушать всѣ...

Ты знаешь басню?...

Успокой мою душу. Получилъ ли стихи, деньги и теперь Гризельду, а? Что вы глухи? Не откликаетесь!

Благодари Греча за Обозрѣніе словесности. Право, прекрасно. У насъ такъ не писали до него: свободно. благородно и много истины. Жаль только, что онъ на Каченовскаго нападаетъ въ журналѣ своемъ. Впрочемъ, бранитесь. друзья мои, мы будемъ слушать.

Скажи мнѣ: сколько экземпляровъ мнѣ уступить можешь? Я намѣренъ около шести раздать въ Петербургѣ и назначу кому впередъ.

Ты печаталъ Омеръ въ прозѣ; пусть такъ, но въ стихахъ оставь Омиръ! не то будетъ пестрота, а рифма требуетъ иръ, или если хочешь, поставь: или, чтобы меня въ журналахъ не бранили!

Здорова ли Катерина Ѳедоровна? Увѣдомь. Бога ради! — Жаль. что мѣста нѣтъ. а я ужъ дописался до обморока. Прости. Охъ!

25. — (Май 1817 г. Деревня). Я послалъ тебѣ Умирающаго Тасса, а сестрица послала тебѣ чулки; не знаю, что болѣе тебѣ понравится и что прочнѣе, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдутъ: я въ этомъ увѣренъ. Благодарю за пріятный часокъ, который провелъ, читая и перечитывая твое Письмо о статуѣ Кановы. Оно такъ живо представило мнѣ статую, что я былъ въ восхищеніи очень сладостномъ, словно, какъ будто она была передо мною. Завидую тебѣ: ты видишь, наслаждаешься и отдаешь себѣ отчетъ въ наслажденіяхъ своихъ. Итакъ, наслаждайся и пиши! Не теряй времени! А я, по словамъ Горація, облекаюсь въ мою добродѣтель, сижу, свищу и грущу. Батюшкины дѣла (будь сказано между нами) такъ плохи, такъ безобразны, что я и сестра, мой вѣрный товарищъ въ горести, съ ума сходимъ. И есть отъ чего. А ты требуешь стиховъ. Быть въ стихахъ не умѣю, а другіе писаться не будутъ. Вотъ мѣсяцъ, что я и прозы не пишу, а сижу поджавъ руки, и смотрю на сумрачное небо. Благодари Уварова за предложеніе. Умѣю чувствовать снисхожденіе и попечительность его о талантахъ въ землѣ клюквы и брусники. Но я не могу рѣшиться взять мѣсто, и что̀ мнѣ въ двухъ тысячахъ? Корпѣть надъ экстрактами! Потерять послѣднія искры таланта и время, и малое здоровье! Человѣку, который три войны подставлялъ лобъ подъ пули, сидѣть надъ нумерами изъ-за двухъ тысячъ и пить по каплѣ всѣ непріятности канцелярской службы?... Изъ-за двухъ тысячъ!!! Но скажу рѣшительно: если обстоятельства занесутъ меня въ Петербургъ, то мѣсто, если можетъ быть такое, не много свойственное, приличное моимъ занятіямъ и охотѣ къ словесности, было бы пріятно. Но это все буки. А я просилъ записать меня куда-нибудь, чтобы я могъ избѣжать дворянскихъ выборовъ и хлопотъ, сопряженныхъ съ ними: вотъ о чемъ я просилъ, и ты меня не понялъ или не хотѣлъ понять. Впрочемъ — воля Божія! — ничего не хочу, и мнѣ все надоѣло. Жить дома и садить капусту я умѣю, но у меня нѣтъ ни дома, ни капусты: я живу у сестеръ въ гостяхъ, и домашнія дѣла меня замучили, не только меня — и ихъ. Вотъ каково, братъ, да-

вать совѣты за тысячу верстъ! Бога ради, не серди меня совѣтами и не будь похожъ на vulgari amici, которые, какъ у Крылова, говорятъ:

Возьми, чѣмъ ихъ топить....

Но поговоримъ лучше о книгѣ. Печатай ее какъ угодно, но стиховъ по рукамъ не давай до напечатанія: боюсь, чтобы не вышелъ пустоцвѣтъ. Еще прошу и очень серьезно, переводовъ и дряни не печатай: не срами пріятеля. Если что-нибудь вырву изъ головы или, лучше сказать, изъ рукъ упрямицы-фортуны, то доставлю въ смѣсь. Гдѣ мои за̀мки на воздухѣ? Я хотѣлъ-было приняться за поэму. Она давно въ головѣ. Я, какъ курица, ищу мѣста снести яйцо, и найду ли, полно? Видно умереть мнѣ беременнымъ Рурикомъ моимъ. Для него надобно здоровье, надобны книги, надобны карты географическія, надобны свѣдѣнія, надобно, надобно, надобно, надобно.... и болѣе твоего таланта, скажешь ты. Все такъ, но онъ сидитъ у меня въ головѣ и въ сердцѣ, а не лѣзетъ: это мученіе! Бездѣлки мнѣ самому надоѣли, а малое здоровье заставляетъ писать бездѣлки. Кстати о нихъ. Что скажешь о Тассѣ? Утѣшь меня: похвали его и, если хочешь, прочитай Уварову, ему одному. Желалъ бы знать его впечатлѣніе на умъ столь образованный. А мнѣ эта бездѣлка разстроила было нервы: такъ ее писалъ усердно. Благодарю Дмитрія Ивановича [1]) за его трудъ. Онъ мнѣ отомщаетъ за шутку самымъ благороднымъ образомъ, но за то я люблю и уважаю его. Прости. Пожелай мнѣ здоровья и терпѣнія, двухъ близнецовъ неразлучныхъ, которые на меня прогнѣвались съ давняго времени, а я желаю тебѣ счастія и новыхъ наслажденій моральныхъ и физическихъ. Б.

Мая—какого мая! У насъ снѣгъ на дворѣ.

Если Гречъ не уѣхалъ къ Нѣмцамъ, то попроси его привезти мнѣ оттуда Виландовъ комментаріи на Горація, Катулла, и Проперція; хорошій переводъ нѣмецкій, и переводъ элегій Овидія.

[1]) Языковъ.

Не можешь ли прямо выписать чрезъ книгопродавцевъ? У меня деньги готовы, а ты дай что-нибудь въ задатокъ. Да еще у русскихъ нельзя ли достать Славянскія сказки Новикова, Древнія русскія стихотворенія, изданія Ключарева, если не ошибаюсь. Къ этому пришли Бову Королевича, Петръ золотые ключи, Ивашку бѣлую рубашку и всю эту дрянь. Авось когда-нибудь и за это возьмусь. Не шутя, пришли это, только все вдругъ.

25. (Начало іюля 1817 г. Деревня). У меня и было: полуразрушенный онъ, а не ужъ; я описался. Подъ небомъ Италіи моей, именно моей. У Монти, у Петрарка я это живьемъ взялъ, quel benedetto моей! Вообще Италіянцы, говоря объ Италіи, прибавляютъ моя. Они любятъ ее, какъ любовницу. Если это ошибка противъ языка, то беру на совѣсть. Выкинь Эрату, если хочешь. Но скажи Вяземскому, что Фортуна не есть счастіе, а существо, располагающее зломъ и добромъ, нѣчто похожее на судьбу. Ссылаюсь на прекрасную аллегорію Данте въ Чистилищѣ его, на оду Горація, на статью Сенеки къ Луцилію и, если онъ хочетъ — на Ноэлевъ лексиконъ de la Fable, который вѣрно у него передъ глазами, ибо онъ ничего, кромѣ лексиконовъ, не читаетъ, даже и стиховъ своихъ не перечитываетъ. Изрытыя пучины и громъ не умолкалъ — оставь. Это слова самого Тасса въ одной его канцонѣ; онъ зналъ, что говорилъ о себѣ. Челюсти временъ — дурно. Нельзя ли: изъ кладезей временъ? Можно предположить времена различныя, то-есть, различныя эпохи, слѣдственно, и кладези, и времена во множественномъ. Впрочемъ, воля ваша. Мнѣ это все наскучило. Возитесь, какъ хотите. Да у меня и списка нѣтъ: черное тотчасъ изодралъ въ клочки, а память мою знаешь.

Когда выйдутъ книги, удѣли изъ моихъ три экземпляра: 1) въ Москву, въ университетское общество губителей словесности, 2) въ Казанское общество рубителей словесности, котораго я имѣю честь быть членомъ, и одинъ экземпляръ Дмитріеву. Надпиши

ему: отъ автора издатель. Не худо бы тебѣ и самому приписать словечко, отправляя книгу. Я ему обязанъ: въ бытность въ Москвѣ онъ навѣщалъ меня больнаго очень часто и подарилъ мнѣ свою книгу. Другимъ пріятелямъ не могу подносить по пирогу: не въ моей печи ихъ пекутъ. Они и сами добудутъ. Да если хочешь, Жуковскому экземпляръ, изъ моихъ. Онъ мнѣ прислалъ свою книгу. Вяземскій купитъ. А впрочемъ и самъ прошу никому не давать. А мнѣ пришли нѣсколько штукъ покраснѣе переплетенныхъ, ну, хоть одну, да сестрамъ по одной. Не бось! Я не падокъ на свое. Деньги, когда получишь по довѣренности, пришли ко мнѣ: я, ахти, какъ нуждаюсь! Недавно 2650 отослалъ въ ломбардъ и теперь сижу на нуляхъ. Спасибо за сказки. Но 30 рублей — право дорого! Овидій всего нужнѣе. Овидій въ Скиѳіи: вотъ предметъ для элегіи, счастливѣе самого Тасса. Но кстати о Тассѣ. Шепнулъ бы ты Оленину, чтобы онъ задалъ этотъ сюжетъ для Академіи. Умирающій Тассъ—истинно богатый предметъ для живописи. Не говори только, что это моя мысль: припишутъ моему самолюбію. Нѣтъ, это совсѣмъ иное! Я желалъ бы соорудить памятникъ моему полуденному человѣку, моему Тассу. Боюсь только одного: если Егоровъ станетъ писать, то еще до смертныхъ судорогъ и конвульсій вывихнетъ ему либо руку, либо ногу; такое изъ него сдѣлаетъ рафаэлеско, какъ изъ истязанія своего, что̀, помнишь, висѣло въ академіи (къ стыду ея!), а Шебуевъ намажетъ ему кирпичемъ лобъ. Другіе, полагаю, не лучше отваляютъ. И я смѣшенъ, по совѣсти. Не похожъ ли я на слѣпаго нищаго, который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу на волынкѣ или балалайкѣ? Виртуозъ—Тассъ, арфа—языкъ Италіи его, нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій языкъ, что̀ ни говори! Я радъ, что онъ попался въ руки Олину: онъ ему задастъ ломку. Какъ онъ Оссіана переводитъ! И такъ, и сякъ ломаетъ, только дребезги летятъ. Кто такой Панаевъ? Совершенно пастушеское имя и очень напоминаетъ мнѣ медъ, патоку, молоко, творогъ, Шаликова и тминъ,

спрыснутыи водой. Но не мнѣ бы гулять на счетъ другихъ. Вотъ и мои стишки. Такъ, это сущая бездѣлка! Посланье къ Никитѣ Муравьеву, которое, если стоитъ того, помѣсти въ книгѣ, въ приличномъ оному мѣстѣ, а за то выкинь мою басню, либо какую-нибудь другую глупость; это по крайней мѣрѣ посвѣжѣе. Я это маралъ истинно для того, чтобы не отстать отъ механизма стиховъ, что̀ для нашего брата кропателя не шутка. Но если вздумаешь, напечатай, а Муравьеву не показывай, доколѣ не выйдетъ книга: мнѣ хочется ему сдѣлать маленькій сюрпризъ. Вотъ какими мелочами я занимаюсь, я, тридцати-лѣтній ребенокъ; но что дѣлать? Мѣшаютъ приняться за что-нибудь поважнѣе. Кто писалъ статьи изъ Череповца на Воейкова? Вѣрно Иванъ Матвѣевичъ? Ему теперь сполагоря шутить и на меня грѣхи свои сваливать. Пришли мнѣ немедленно отпечатанные листки стиховъ. Поправляй, марай и дѣлай что̀ хочешь. Просилъ тебя, просилъ Жуковскаго, писалъ къ нему нарочно; прошу всѣхъ добрыхъ людей, но еще прошу тебя: не затѣвай подписки. Лучше вдругъ явиться на бѣлый свѣтъ изъ-подъ твоего крылышка. Ахъ, страшно! Лучше бы на батарею полѣзъ, выслушалъ бы всего Расина Хвостова и всего новорожденнаго Оссіана, нежели вдругъ, при всемъ Израилѣ, растянуться въ лавкахъ Глазунова, Матушкина, Бабушкина, Душина, Свѣшникова, и потомъ — бухъ!... въ знакомые подвалы,

Гдѣ игры первыхъ лѣтъ, невинны мадригалы и пр.

А вотъ моя участь!

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas!

Всего мнѣ будетъ грустнѣе лежать возлѣ Писемъ къ графинѣ, возлѣ Шаликова Путешествія въ полуденную Россію и тому подобныхъ сладостныхъ пряностей. Пусть я захраплю лучше на басняхъ Хвостова, и въ изголовьяхъ у меня будутъ его посланія, жесткія, аки камни. Прости.

Не плачу я, а сердцу очень больно

(стихъ Катенина). Еще разъ прошу писать и отвѣчать. Я разорился на письма. Когда кончимъ это печатаніе! Послѣдняя статья, и аминь. Сегодня не успѣю кончить посланія.

Какъ понравились тебѣ поправки Домосѣда? Что сказалъ Крыловъ? Ничего! Слѣдственно, онъ меня ни любитъ, ни уважаетъ. Если критикуетъ, то любитъ по крайней мѣрѣ.

26. Май 1819 г. Неаполь. Благодарю тебя за нѣсколько строкъ, коими ты наградилъ меня въ письмѣ Никиты. Не благодарю за упреки. По сю пору не писалъ къ тебѣ, но виноватъ ли я? Ты живешь на мѣстѣ, пишешь, когда вздумаешь, и отдаешь письмо въ вѣрныя руки, а я долженъ искать оказіи. Въ Неаполѣ еще сручнѣе, а дорогою? Когда писать? Кому вручить письмо? Вотъ тебѣ предисловіе. Далѣе: не спрашивай у меня описанія Италіи. Это библіотека, музей древностей, земля, исполненная протекшаго, земля удивительная, загадка непонятная. Никакой писатель, ниже Шаховской, не объяснитъ впечатлѣній Рима. Чудесный, единственный городъ въ мірѣ, онъ есть кладбище вселенной. И вся Италія, мой другъ, столько же похожа на Европу, какъ Россія на Японію. Неаполь—истинно очаровательный по мѣстоположенію своему и совершенно отличный отъ городовъ верхней Италіи. Весь городъ на улицѣ, шумъ ужасный, волны народа. Не буду описывать тебѣ, гдѣ я былъ, но готовъ сказать, гдѣ не былъ. Не видалъ гробницы Виргиліевой: не достоинъ! Былъ разъ въ Студіо: я не Дюпати и не Винкельманъ. Не видалъ Собачьей пещеры. И чѣмъ любоваться тутъ, скажите, добрые люди? Много и не видалъ, но за то два раза лазилъ на Везувій и всѣ камни знаю наизусть въ Помпеи. Чудесное, неизъяснимое зрѣлище, краснорѣчивый прахъ! Вотъ все, что могу сказать тебѣ на сей разъ. Новостей не спрашивай; у насъ все по старому: и солнце, и люди. Но ваши новости для меня драгоцѣнны. Увѣдомь меня хоть разъ, что ты подѣлываешь, что пишешь и какъ устроилъ себя? Оставила ли тебѣ пенсію великая княгиня? Какая внезапная потеря и для тебѣ, и для всѣхъ умныхъ и добрыхъ людей!

Поговоримъ теперь о дѣлахъ нашихъ. Продаются ли книги, и совѣтуешь ли приготовить новое изданіе, исправленное? Не

примусь за него прежде совершеннаго истребленія перваго. Прибавлю, исправлю. Только не ожидай, чтобы я написалъ что-нибудь объ Италіи. Безъ меня много писано. Пришли мнѣ книги Броневскаго и Свиньина. Любопытно прочитать ихъ на полѣ сраженія: но полно, здѣсь ли они писали? Часто путешественники пишутъ воротясь домa. Одинъ Глинка писывалъ на походѣ: обними его за меня очень крѣпко и скажи, что его люблю и вѣчно помнить буду. Здѣсь съ Кушелевымъ, который жилъ о стѣну со мною, мы часто говорили о нашемъ миломъ русскомъ офицерѣ. Греко-россійскому Крылову бью челомъ и прошу его оптолюбивую милость прислать мнѣ новое изданіе басенъ. Скажи Поздняку, что я воспользуюсь первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы переслать ему виды Неаполя. Пришлю ихъ съ музыкою для княгини Гагариной въ Москву, которой ты доставишь черезъ Жилблаза. Увидишь Шиллинга, скажи ему, что онъ забылъ меня, что ему должно быть немного совѣстно. Оленинымъ кланяйся. Петръ здѣсь. Видимся часто. Онъ ѣдетъ въ Марсель, кажется здоровъ и бодръ. Русскихъ туча. Пріѣздъ императора былъ поводомъ къ баламъ, концертамъ и гуляньямъ. Мы часто въ мундиры облекаемся. Я радъ глядѣть на людей; дома, особливо одному, по вечерамъ грустно и скучно. Одно удовольствіе—прогулка и этотъ Везувій, который весь въ огнѣ по ночамъ. Прости, милый другъ! Увѣдомь меня, какъ ведетъ себя Алеша [1]), и заставь его написать ко мнѣ длинное и чистосердечное письмо. Будь здоровъ и счастливъ, мнѣ пожелай здоровья, особенно груди моей, которую съѣдаетъ воздухъ неаполитанскій; но пусть съѣдаетъ лучше онъ и африканскій вѣтеръ, нежели ваши морозы и сырая погода петербургская. Кончу мое маранье, до перваго удобнаго случая. Будь счастливъ. Salve. Попроси сестру, чтобы не оставила Естифея, который мнѣ служилъ изрядно. Пришли мнѣ новостей, Бога ради: стиховъ, икры и прозы, и кусочекъ Сына Отечества. Я голоденъ и жажденъ.

Жаль мнѣ бѣднаго Пушкина! Не бывать ему хорошимъ офи-

[1]) Алексѣй Алексѣевичъ Оленинъ, третій сынъ Алексѣя Николаевича.

церомъ, а однимъ хорошимъ поэтомъ менѣе. Потеря ужасная для поэзіи: Perche? Скажи, Бога ради.

27. — $\frac{\text{21-го іюля}}{\text{3-го августа}}$ 1821 г. (Теплицъ). Если бы меня закидали эпиграммами при появленіи моей книги, если бы явно напали на нее, даже на меня лично, то я, какъ авторъ, какъ гражданинъ, не столько бы былъ въ правѣ негодовать. Негодую, ибо вижу систему зла и способъ вредить вѣрный, ибо онъ подъ личиною.

Теперь приступлю къ моей просьбѣ. При семъ найдешь объявленіе, которое немедленно прошу напечатать во всѣхъ журналахъ. Но я нахожусь въ службѣ и не могу, и не долженъ ничего дѣлать, даже какъ авторъ, безъ согласія начальства. Прошу тебя, любезный и почтенный другъ, узнать сперва черезъ людей вѣрныхъ, найдутъ ли приличными всѣ выраженія моего объявленія. Даю тебѣ право вычеркнуть, уничтожить лишнее, но прибавлять ничего не долженъ.

Мое свиданіе съ Блудовымъ было коротко. Храни Богъ тебя и думать, чтобы онъ водилъ моимъ перомъ! Мною руководствовать трудно. До него было написано объявленіе. Я его не благодарилъ даже за копье, которое онъ переломилъ въ честь моихъ бѣдныхъ шести стишковъ. Признателенъ къ тѣмъ, кои заступаются за честь мою, къ тому, кто

Sait de l'homme d'honneur distinguer le poête.

Но что могу заключить о бѣдномъ Гречѣ, о добромъ Гречѣ? Какъ ему не совѣстно? Воейковъ знаетъ одну чернильницу, но музы отвратили отъ него лицо. Въ злѣ нѣтъ остроумія. Наносить вредъ и писать пріятно — дѣло невозможное. Я уважалъ его талантъ, но...

Скажи имъ, что мой прадѣдъ былъ не Анакреонъ, а бригадиръ при Петрѣ Первомъ, человѣкъ нрава крутаго и твердый духомъ. Я родился не на берегахъ Двины, и Плетаевъ, мой Плутархъ, кажется, самъ не изъ Аѳинъ. Плетаевы у насъ сдѣлаютъ Абдеру. Скажи, Бога ради, зачѣмъ не пишетъ онъ біо-

графіи Державина? Онъ перевелъ Анакреона, слѣдственно, онъ—прелюбодѣй; онъ славилъ вино, слѣдственно—пьяница; онъ хвалилъ борцовъ и кулачные бои, ergo—буянъ; онъ написалъ оду Богъ, ergo—безбожникъ. Такой способъ очень легокъ. Фундаментъ прочный, и всякое дѣло мастера боится. А у насъ ли не мастера на Парнассѣ!

Доколѣ во мнѣ есть искра жизни, не буду безмолвнымъ Пасквиномъ или Марфоріемъ. Вступаюсь за честь мою и тебѣ даю всѣ способы оправдать меня предъ публикой. Богъ съ нимъ, съ Плетаевымъ! Не желаю ему, ниже сынамъ отечества, никакого зла. Дай Богъ, чтобы журналъ ихъ процвѣталъ и карманъ тучнѣлъ. Живу далеко отъ сплетенъ, служу царю, а не парнасскимъ страстямъ.

Изъ письма моего прочитай что заблагоразсудишь людямъ разноперымъ. Каждому свое. Поручаю его Василію Дмитріевичу Олсуфьеву, который тебѣ отдастъ его въ руки или доставитъ черезъ вѣрнаго человѣка. Онъ человѣкъ умный, разсудительный и добрый; знакомство съ нимъ будетъ тебѣ пріятно. Прости, любезный! Не отвѣчай на это письмо, но сдѣлай по немъ, въ его смыслѣ, и какъ можно выгоднѣе для меня во всѣхъ отношеніяхъ. Когда увидимся—Богъ знаетъ; но Онъ же знаетъ, сколько я тебя люблю и достоинъ твоей дружбы. Константинъ Батюшковъ.

Извини мое маранье: пишу ночью и усталъ до смерти.

Гг. издателямъ Сына Отечества и другихъ русскихъ журналовъ.

Іюля 21-го ст. стиля
Августа 3-го н. ст. 1821 г. Чужie краи. Прошу васъ покорнѣйше извѣстить вашихъ читателей, что я не принималъ, не принимаю и не буду принимать ни малѣйшаго участія въ изданіи журнала Сынъ Отечества. Равномѣрно прошу объявить, что стихи, подъ названіемъ: Къ друзьямъ изъ Рима, и другіе, могущіе быть или писанные, или печатные подъ моимъ именемъ, не мои, кромѣ эпитафіи, безъ моего позволенія помѣщенной въ Сынѣ

Отечества. Дабы впредь избѣжать и тѣни подозрѣнія, объявляю, что я, въ бытность мою въ чужихъ краяхъ, ничего не писалъ и ничего не буду печатать съ моимъ именемъ. Оставляю поле словесности не безъ признательности къ тѣмъ соотечественникамъ, кои, единственно въ надеждѣ лучшаго, удостоили ободрить мои слабыя начинанія. Обѣщаю даже не читать критики на мою книгу: она мнѣ безполезна, ибо я совершенно и, вѣроятно, навсегда покинулъ перо автора. Константинъ Батюшковъ.

28. — $\frac{26\text{-го}}{14\text{-го}}$ августа 1821 г. Теплица. Около двухъ лѣтъ я не писалъ къ тебѣ и почти не писалъ къ роднымъ по многимъ причинамъ, изъ коихъ отдаленіе было главною. И отъ тебя писемъ вовсе не имѣлъ. Но это обоюдное молчаніе, безъ сомнѣнія, не измѣнило ни тебя, ни меня, и ты не осудишь меня за то, что прерываю его просьбою. Объяснюсь ниже. Сперва долженъ тебѣ сказать, что было къ ней поводомъ.

Книга моя, которой ты былъ издателемъ въ 1816 году, есть почти твое дитя. Со времени ея появленія въ свѣтъ, я въ бытность мою въ Россіи ничего не писалъ. Отправляясь въ Неаполь, я далъ себѣ слово оставить литературу, по крайней мѣрѣ въ отношеніи публики, и сдержалъ его. Знаю мой талантъ, знаю мои силы и никогда, благодаря Бога, не ослѣпленъ былъ ни самонадѣяніемъ, ни самолюбіемъ, ниже успѣхами. Знаю нашу словесность и всѣхъ ея дѣйствующихъ лицъ и масокъ. На счетъ первыхъ не имѣлъ ни пристрастій личныхъ, ниже предразсудковъ. Повторяю: успѣхъ мой былъ въ 1816 году. Тогда всѣ журналисты, не исключая ни одного, осыпали меня похвалами— не заслуженными, безъ сомнѣнія, но они хвалили. Прошло шесть лѣтъ. Не было примѣра ни въ какой словесности, чтобы по истеченіи шести лѣтъ снова начали хвалить живаго автора, который въ стихахъ, можетъ быть, имѣетъ одно достоинство— въ выраженіи, въ прозѣ—одно приличіе слога и ясность: заслуга, въ другихъ земляхъ маловажная и у насъ самихъ не

достойная похвалъ энтузіастическихъ. Полагаясь на шестилѣтнее молчаніе, полагалъ, что моя книга, распроданная, заглохла, забыта. Случилось иначе.

Гг. издатели Сына Отечества (какое названіе для журнала!) объявили, что я буду украшать ихъ изданіе моими стихами. Напечатали, безъ моего вѣдома, эпитафію, написанную мною по просьбѣ матери. Назову лицо: по просьбѣ покойной г-жи Малышевой, женщины, которую я любилъ и уважалъ, и которая, можетъ быть, не захотѣла бы видѣть въ печати, въ журналѣ, стихи, напоминающіе ей о потери дочери. Я, по крайней мѣрѣ, не осмѣлился бы напечатать этой бездѣлки безъ ея позволенія. Наконецъ, какой-то Плетаевъ написалъ подъ моимъ именемъ посланіе изъ Рима къ моимъ друзьямъ (къ какимъ спрашиваю, знаетъ ли онъ ихъ?), и издатели Сына Отечества помѣстили его въ своемъ журналѣ (см. Сынъ Отечества, 1821 г., часть 68, стр. 35).

Эту замысловатость я узналъ въ Теплицѣ шесть мѣсяцевъ спустя отъ трехъ Русскихъ, узналъ съ истиннымъ, глубокимъ негодованіемъ. Можно обмануть публику, но меня — трудно: честолюбіе зорко.

Дѣлаю два предположенія: 1-е совершенно въ пользу Плетаева. Онъ написалъ сіи стихи—скажутъ мнѣ тѣ, кои захотятъ надо мною издѣваться,—изъ усердія къ вамъ, и въ доказательство покажутъ мнѣ еще надпись къ моему портрету, имъ недавно сплетенную. Онъ писалъ ее какъ будто отъ лица Віона, Мимнерма, Мосха, Тибулла... Но сіи господа умерли назадъ тому около двухъ тысячъ лѣтъ, иные — болѣе! А писать отъ лица живаго, писать къ друзьямъ (если есть друзья), къ людямъ живымъ... Напрасно привожу на память всѣ случаи иностранныхъ литературъ: подобнаго не знаю. Нѣтъ ничего глупѣе и злѣе. Вижу ясно злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство! Вотъ мое 2-е предположеніе, и отъ него не отступаюсь. Какое недоброжелательство отъ человѣка, вамъ лично незнакомаго? Не знаю: но оно явно и гласно. Чѣмъ могъ за-

служить его?... Если г. Плетаевъ накропалъ стихи подъ моимъ именемъ, то зачѣмъ было издателямъ Сына Отечества печатать ихъ? Нѣтъ, не нахожу выраженій для моего негодованія: оно умретъ въ моемъ сердцѣ, когда я умру. Но ударъ нанесенъ. Вотъ слѣдствіе: я отнынѣ писать ничего не буду и сдержу слово. Можетъ быть, во мнѣ была искра таланта; можетъ быть, я могъ бы со временемъ написать что-нибудь достойное публики, скажу съ позволительною гордостію, достойное и меня, ибо мнѣ 33 года, и шесть лѣтъ молчанія меня сдѣлали не безсмысленнѣе, но зрѣлѣе. Сдѣлалось иначе. Буду безчестнымъ человѣкомъ, если когда что-нибудь напечатаю съ моимъ именемъ. Этого мало: обруганный хвалами, рѣшился не возвращаться въ Россію, ибо страшусь людей, которые, не взирая на то, что я проливалъ мою кровь на полѣ чести, что и теперь служу мною обожаемому монарху, вредятъ мнѣ заочно, столь недостойнымъ и низкимъ средствомъ.

III. Къ А. Н. Оленину.

1. —11-го мая 1807 года. Шавли. Вы вѣрно удивитесь, когда прочитаете вмѣсто Тельша Шавли; но человѣкъ предпринимаетъ, а Богъ располагаетъ. Пришедъ въ Митаву, мнѣ сказали, что теперь ужь войска не идутъ на Тельшъ, а на Шавли, потому что дорога прямая очень дурна, о чемъ я взялъ отъ губернатора бумагу для своего оправданія и пошелъ на Шавли; имѣвъ же повелѣніе отъ его сіятельства идтить на Тельшъ, пойду туда отсюда, хотя и сдѣлаетъ это крюку около 70 верстъ. Но я боюсь остаться въ Шавли ожидать приказанія, какъ выходить за границу. Признаюсь вамъ, что̀ я бы очень хотѣлъ остаться здѣсь, чтобъ имѣть другую дорогу съ Тверскимъ батальономъ, который я вездѣ нагоняю, за что̀ Елагинъ сердится. Благодаря Бога, больныхъ у меня противъ другихъ полковъ очень мало; боюсь теперь, чтобъ не случилось

чего. Здѣсь частенько прячутъ въ землю и Жидовъ, и Поляковъ. Ну, ужь пришелъ въ землю: ни хлѣба, ни лошадей! Принуждены посылать по деревнямъ своихъ офицеровъ. Не знаю, какъ пойду дальше. По обѣимъ сторонамъ дороги мостовая изъ лошадей, и всему, какъ кажется, причина — худое росписаніе г. губернатора, ибо не даютъ съ другихъ уѣздовъ, а все съ одного. Вчера, читая газеты, увидѣлъ, что Димитрій уже въ продажѣ. Нельзя ли прикомандировать Донскаго на Вислу, чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменнымъ:

Языки, вѣдайте, великъ россійскій Богъ!

Вы не повѣрите, съ какимъ удовольствіемъ читалъ я приказъ, отданный государемъ по прибытіи его къ арміи. Великъ россійскій Богъ! Здѣсь есть раненые наши Русскіе: никто не дастъ имъ никогда ничего; здѣсь есть три лакея Бернадота: они вездѣ приняты, и ихъ содержатъ, какъ офицеровъ. Прошу эту посылку рѣшить куда вся сумма! Часто вспоминаю я наши бесѣды, и какъ мы критиковали съ вами проклятый музскій народъ! !!!!! Грусть меня давитъ: скорѣе бы къ арміи! Не забуду объ Хрущовѣ. Не могу понять, что отъ васъ нѣтъ писемъ ни въ Ригу, ни въ Митаву. Вы меня забыли. Не лѣнитесь, хоть строчку, такъ я и доволенъ. Поклонитесь барынѣ и всему вашему семейству, Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому. Напомните, что есть же одинъ поэтъ,

которато судьбы премѣны
Заставили забыть источникъ Иппокрены,
Не лиру въ руки брать, но саблю и ружье,
Не перушки чинить, но чистить лишь копье;
Заставили, принявъ солдатскій видъ суровой,
Идтить нахмурившись прескучною дорогой,
Дорогой, гдѣ языкъ похожъ на крикъ звѣрей,
Дорогой грязною, что къ горести моей
Не приведетъ меня во храмъ безсмертны славы,
А можетъ быть, въ корчму, стоящу близъ воротъ

Кончу письмо мое, сказавъ изъ Самозванца Димитрія:

Завидна участь мнѣ людей и самыхъ нижнихъ!
И нищій въ бѣдности спокоенъ иногда,
А я здѣсь царствую и мучуся всегда.

Что ваши эскадроны? Я говорю объ офицерахъ. Стрѣлки безподобные. Право, могу показать баталіонъ государю. Чтò ни скажи, все сдѣлаютъ съ точностію.

2. — 24-го марта 1809. Зимнія квартиры. Надендаль. Милостивый государь Алексѣй Николаевичъ! Votre cher et féal Батюшковъ на силу сыскалъ случай отвѣчать à son suzerain seigneur съ курьеромъ, который летитъ изъ крѣпкихъ снѣговъ Або въ тающіе снѣга Ингерманландіи,—ибо у насъ зима, а у васъ давно не ѣздятъ на саняхъ. Какъ бы то ни было, спѣшу сказать вашему превосходительству, что получилъ письмо ваше, которому, какъ ребенокъ, обрадовался. Оно пришло въ то время, когда намъ былъ сказанъ походъ на Аландскій архипелагъ. Я плакалъ съ радости, видя изъ письма вашего, сколько вы мною интересоваться изволите. Теперь есть случай излить въ обильныхъ словахъ мою благодарность; но я объ этомъ ни слова. Довольно напомнить вашему превосходительству о томъ, чтò вы для меня собственно сдѣлали, а мнѣ помнить осталось, чтò вы просиживали у меня умирающаго цѣлые вечера, искали случая предупреждать мои желанія, когда оныя могли клониться къ моему благу, и въ то время, когда я былъ оставленъ всѣми, приняли me peregrino errante подъ свою защиту... и все изъ одной любви къ человѣчеству. Простите мнѣ сіе напоминовеніе: оно изъ сердца вырвалось.

Теперь скажу вамъ о себѣ, что я обитаю славный градъ Надендаль, принадлежавшій доселѣ трекоронному гербу скандинавскому. Иначе сказать, мы живемъ въ мѣстечкѣ, въ 13 верстахъ отъ Або. О Петербургѣ мы забыли и думать. Здѣсь такъ холодно, что у времени крылья примерзли. Ужасное единообразіе. Скука стелется по снѣгамъ, а безъ затѣй сказать, такъ грустно въ сей дикой, безплодной пустынѣ безъ книгъ, безъ общества и часто безъ вина, что мы середы съ воскресеньемъ различить не умѣемъ: и для того прошу васъ покорнѣйше приказать купить мнѣ Тасса (котораго я имѣлъ несчастіе потерять) и Петрарка, чѣмъ меня чувствительнѣйше одолжить изволите.

Я видѣлъ на островахъ Н. А. Вельяминова, котораго болѣзнь очень перемѣнила. Онъ мнѣ обрадовался, какъ Египтянинъ Озириду. По словамъ его, квартировать будетъ въ маленькомъ городкѣ Кристинѣ, отъ Або въ 300 верстахъ.

Вы намъ пишете о m-lle George. Зачѣмъ прельщать и мучить насъ? Однако мы такъ привыкли къ здѣшнему краю, что я на Святой намѣренъ идти въ Абовскій театръ. Вообразите себѣ сарай à jour, актеровъ таковыхъ точно, какъ Лесажъ описываетъ, обмакивающихъ по утрамъ на мѣсто завтрака кропики хлѣба въ колодецъ, и въ семъ-то палладіумѣ играли благородную драму... Довольно вамъ сказать, что героиня оной есть дѣвка на содержаніи. И теперь прошу васъ прельщать насъ Питеромъ!

Вручителю письма сего поручено привезти и отвѣтъ, если вы меня онымъ удостоите. За симъ, поручая васъ великому «генію временъ», касаясь праху ногъ вашихъ, имѣю честь быть вашего превосходительства покорнѣйшій слуга Конст. Батюшковъ.

Цѣлую сто разъ ручки милостивой государыни Елисаветы Марковны и прошу ее не забывать Чухонца, который ее никогда почитать и любить не перестанетъ.

3. — 4-го іюня (1817 г. Москва). Очень благодаритъ васъ Батюшковъ за пріятное письмо ваше и приглашеніе въ столицу. Я и самъ было сбирался, но дѣла и хлопоты совершенно антипоэтическія меня остановили. Не нахожу словъ благодарить васъ за вниманіе, которое изволите обращать на мое крошечное здоровьице. Для поправленія его намѣревался было съѣздить на Кавказъ или въ Тавриду; все было готово: коляска, чемоданъ и Путешествіе сладкаго Шаликова въ карманѣ, но опять хлопоты меня за полу; я остался, а время улетѣло. Это все и здороваго можетъ взбѣсить; посудите же, каково больному? Но недовольно ли говорить о болѣзняхъ здоровымъ людямъ? Порадуемся лучше съ ними, и вмѣстѣ со всѣми умными, просвѣщенными и здоровыми разсудкомъ людьми: наконецъ, у насъ президентъ въ академіи художествъ, президентъ,

Который безъ педантства,
Безъ пузы барской и безъ чванства,
Заботъ неся житейскихъ грузъ
И должностей разнообразныхъ бремя,
Еще находитъ время
Въ снѣгахъ отечества лелѣять знобкихъ музъ,
Лишь для добра живетъ и дышетъ,
И къ симъ прибавьте чудеса:
Какъ Менгсъ—рисуетъ самъ,
Какъ Винкельманъ краснорѣчивый—пишетъ.

Прошу не принимать это за poison qu'on prépare à la cour d'Etrurie, то-есть, за лесть. Я такъ загрубѣлъ на берегахъ Шексны и желѣзной Уломы, гдѣ нѣкогда володѣлъ варваръ Синеусъ, что не въ состояніи ничего сказать лестнаго, не въ силахъ ничего написать, кромѣ простой, самой голой истины. Покорнѣйше прошу напомнить обо мнѣ и засвидѣтельствовать душевное почитаніе Лизаветѣ Марковнѣ и семейству вашему. Надѣюсь—если опять не обманусь въ надеждѣ моей—въ скоромъ времени лично повторить предъ вами, что, tenen doal fin'il mio usato costume, я васъ люблю, почитаю и до послѣдняго дыханія, которое очень коротко становится въ груди моей, буду вамъ преданъ. Кон. Б.

4.—17-го іюля 1818 г. Одесса. Я пишу къ вашему превосходительству изъ Одессы, куда я прибылъ около 10-го іюля. Отъ Москвы до Кременчука дорога была ужасная: грязь по ступицу, совершенно малороссійская. Отдохнувъ въ Николаевѣ, я отправился въ Ильинское, помѣстье Кушелева-Безбородки, то-есть, въ древнюю Ольвію, и осмотрѣлъ любопытные остатки или могилу сего города. У меня было письмо къ эконому помѣстья отъ графа Александра Григорьевича Безбородки и отца его графа Григорія Кушелева. Если встрѣтитесь съ ними, милостивый государь Алексѣй Николаевичъ, то поблагодарите за меня. Письма ихъ доставили мнѣ способъ осмотрѣть Ольвію и окрестности. Я снялъ планъ съ развалинъ или, лучше сказать, съ урочища и видъ съ Буга. Рисовать я не мастеръ, но сіи виды для меня будутъ полезны: они пояснятъ мое описаніе, если когда-нибудь вздумается мнѣ привесть въ порядокъ мои записки, которымъ

желаю успѣха, то-есть, вашего одобренія, столь лестнаго моему сердцу и самолюбію. Для васъ сохранилъ урну, найденную въ развалинахъ рыбакомъ. Вотъ ея исторія: Одинъ изъ рыбаковъ селенія рылъ яму и заступомъ ударилъ по черепицѣ; продолжалъ рыть и вынулъ изъ земли большой сосудъ, покрытый. Полагая, что въ немъ монеты, разбилъ его. Въ первомъ сосудѣ былъ прахъ на днѣ и другой сосудъ, во второмъ третій. Всѣ три грубой работы и глины. Сей послѣдній доставлю вамъ на память обо мнѣ. Въ немъ управитель Ильинскаго подносилъ вино рабочимъ людямъ; лучше же ему быть въ кабинетѣ вашемъ. Но такіе сосуды здѣсь не рѣдкость: ихъ находятъ повсюду, даже въ поляхъ, гдѣ, конечно, Римляне стояли лагеремъ. Притомъ сохраню для васъ двѣ медали: одну изъ нихъ подарилъ мнѣ г. Бларамбергъ, у котораго прекрасное, единственное въ своемъ родѣ собраніе медалей, обломковъ и статуй. Вы его знаете: онъ шуринъ г. Розенкампфа. Здѣсь въ Одессѣ я пользуюсь его благосклонностію и кабинетомъ. Жаль, что онъ не публикуетъ его. Въ Ольвіи открыли трубу, которая болѣе двухъ тысячъ лѣтъ лежала въ землѣ. Она служила водопроводомъ, и странное дѣло: изъ нея еще струится вода въ Бугъ. Адмиралъ Грейгъ присылалъ изъ Николаева чиновника осмотрѣть ея форму, мѣру и положеніе. Одно колѣно сей трубы я взялъ съ собою и постараюсь привезть; не угодно ли вамъ будетъ поставить ее въ Библіотеку или въ вашъ кабинетъ? Медалей я не покупалъ по двумъ причинамъ: первое потому, что не смѣлъ покупать и оскорбить чрезъ то хозяевъ помѣстья, которые, можетъ быть, дорожатъ ими; второе—потому, что боялся ошибиться и заплатить дороже по невѣдѣнію цѣнъ и самаго достоинства медалей. Разрѣшите мнѣ, покупать ли для Библіотеки вещи, и какую сумму можете употребить на покупку оныхъ? Переписка въ такомъ случаѣ, безъ уполномочія, затруднитъ меня: вамъ извѣстно, что слѣпой случай доставляетъ дешевыя и драгоцѣнныя вещи: его-то упускать и не должно. Впрочемъ, не думайте, чтобы потребны были великія суммы. У

антикваріевъ покупать не должно, но у жителей. Бога ради, разрѣшите мнѣ сей вопросъ, ибо я намѣренъ ѣхать въ Крымъ, гдѣ жатва обильная. Здѣшнее купанье мнѣ недостаточно. Лѣкаря посылаютъ въ Евпаторію; сентябрь желаю употребить на развалины и, если угодно будетъ судьбѣ, весь октябрь. Я невѣжда, но усерденъ; если усердіе можетъ отчасти замѣнить науку, то я привезу вамъ что-нибудь изъ Крыму. Будучи въ Ольвіи, я сожалѣлъ, что вы, милостивый государь, не посѣтили сего края: берега Чернаго моря—берега, исполненные воспоминаній, и каждый шагъ важенъ для любителя исторіи и отечества. Здѣсь жили Греки, здѣсь бились Суворовъ и Святославъ. Жалѣю, что А. И. Ермолаевъ не доѣхалъ до сихъ мѣстъ: вотъ поприще, достойное его обширныхъ и точныхъ свѣдѣній! Онъ бы здѣсь расхаживалъ, какъ дома. Одна Ольвія достойна бы была его вниманія. Поляки ее безпрестанно посѣщаютъ и обираютъ. Лучшее все вывезено, но мѣсто, священное мѣсто любопытно. Греки умѣли выбирать мѣста для колоній своихъ, и роскошные соотечественники Аспазіи могли не жалѣть здѣсь о берегахъ своего Милета. Изъ мертвой Ольвіи я пріѣхалъ въ лучшій изъ городовъ нашихъ, въ Одессу, гдѣ нашелъ графа Сенъ-При, который недавно послалъ вамъ любопытныя рукописи для Библіотеки. Онъ меня давно знаетъ и любитъ; но если вы поблагодарите его за меня, за его ко мнѣ ласки и гостепріимство, то чувствительно обяжете. Графу Ланжерону вручилъ письмо князя Голицына, и я надѣюсь имѣть фирманы въ Крымъ. Здѣсь И. М. Муравьевъ и княгиня Зинаида Волконская: пріѣхали для моря. Простите, кончу мое маранье, ибо знаю, что время дороже вамъ древностей и моего болтанья. Цѣлую ручку у милостивой государыни Лизаветы Марковны; всѣмъ домашнимъ мое почитаніе и поклонъ. Алексѣю Алексѣевичу совѣтую учиться по гречески и ѣхать въ Крымъ. Ивану Андреевичу прошу обо мнѣ напомнить, а лѣнивому Гнѣдичу сказать, что я къ нему писать буду. Здоровъ ли Сергѣй Семеновичъ? [1]) На

[1]) Уваровъ.

будущей почтѣ я писать и къ нему собираюсь; прошу покорнѣйше сказать ему, что я сохранилъ въ памяти его благосклонное дружество, и увѣрить его въ моей вѣчной признательности. Гдѣ находится графъ Румянцовъ, и какъ писать къ нему? Если удостоите меня отвѣтомъ, то покорнѣйше прошу адресовать на мое имя, въ канцелярію графа Ланжерона; отсюда перешлютъ исправно письмо ваше, которому я обрадуюсь болѣе, нежели медалямъ Пантикапеи и такъ-называемой могилѣ Митридатовой. Преданный вашъ слуга Константинъ Батюшковъ.

С. И. Муравьевъ выѣхалъ вчера въ Петербургъ. Я не успѣлъ писать съ нимъ и пишу съ почтою; ему прошу поклониться и сказать: «Papa, taci!» при первомъ свиданіи. Это шуточка изъ италіянской оперы, которая здѣсь процвѣтаетъ вмѣстѣ съ пшеницею, Ришельевскимъ лицеемъ и торговлею. Племянникъ вашъ здоровъ; я вчера видѣлъ почтеннаго Николя, который имъ очень доволенъ. Лицей въ цвѣтущемъ состояніи, и дѣти здѣсь счастливы: они въ хорошихъ рукахъ. Дай Богъ здоровья аббату, который изготовитъ полезныхъ людей для государства: онъ неусыпенъ, и метода его прекрасная.

3. Февраль 1819 г. Римъ. Не требуйте отъ меня описанія моего путешествія, еще менѣе описанія Рима. Около двухъ недѣль, какъ я здѣсь, почтеннѣйшій Алексѣй Николаевичъ, но на силу могу собраться написать къ вамъ нѣсколько строкъ. Сперва бродилъ, какъ угорѣлый: спѣшилъ все увидѣть, все проглотить, ибо полагалъ, что пробуду немного дней. Но лихорадкѣ угодно было остановить меня, и я остался еще на недѣлю. Въ три недѣли что можно здѣсь осмотрѣть? Назначаю мѣста для будущаго пріѣзда. Сочиняю планъ на мѣстѣ и, когда будетъ угодно судьбѣ привести меня сюда въ другой или третій разъ, что-нибудь напишу, не говорю — достойное Рима или васъ, но несовершенно меня недостойное. Хвалить древность, восхищаться св. Петромъ, ругать и злословить Италіянцевъ такъ легко, что даже и совѣстно. Скажу только, что одна прогулка въ Римѣ,

одинъ взглядъ на Форумъ, въ который я по уши влюбился, заплатятъ съ избыткомъ за всѣ безпокойства долгаго пути. Я всегда чувствовалъ мое невѣжество, всегда имѣлъ внутреннее сознаніе моихъ малыхъ способностей, дурнаго воспитанія, слабыхъ познаній, но здѣсь ужаснулся. Одинъ Римъ можетъ вылѣчить на вѣки отъ суетности самолюбія. Римъ—книга: кто прочитаетъ ее? Римъ похожъ на сіи гіероглифы, которыми исписаны его обелиски: можно угадать нѣчто, всего не прочитаешь. Простите мнѣ это маленькое предисловіе: безъ него нельзя было отвѣчать на задачи ваши.

Видѣлся съ художниками. Доложите графу Николаю Петровичу, [1]) что вручилъ его письмо Кановѣ и поклонился статуѣ Мира въ его мастерской. Она—ея лучшее украшеніе. Долго я говорилъ съ Кановою о графѣ Румянцовѣ, и мы оба отъ чистаго сердца пожелали ему долгоденствія и благоденствія. Воспитанникъ его подаетъ хорошую надежду; онъ, по словамъ Кипренскаго, очень трудится, рисуетъ безпрестанно и желаетъ заплатить успѣхами дань должной признательности почтенному покровителю. Другіе воспитанники Академіи ведутъ себя отлично хорошо и меня, кажется, полюбили. Я ласкаю ихъ, первое—потому, что они соотечественники, а вторoе—потому, что люблю художества и васъ. Щедрину заказываю картину: видъ съ паперти Жана Латранскаго. Если ему удастся что-нибудь сдѣлать хорошее, то это дастъ ему нѣкоторую извѣстность въ Римѣ, особенно между Русскими, а меня нѣсколько червонцевъ не разорятъ. Съ княземъ Гагаринымъ я говорилъ о нихъ: разсуждалъ и такъ, и этакъ. Скажу вамъ рѣшительно, что плата, имъ положенная, такъ мала, такъ ничтожна, что едва они могутъ содержать себя на приличной ногѣ. Здѣсь лакей, камердинеръ получаетъ болѣе. Художникъ не долженъ быть въ изобиліи, но и нищета ему опасна. Имъ не на что купить гипсу и не чѣмъ платить за натуру и модели. Дороговизна ужасная! Англичане наводнили Тоскану, Римъ и Неаполь; въ послѣднемъ еще дороже. Но и здѣсь втрое дороже на-

[1]) Румянцовъ.

шего, если живешь въ трактирѣ, а домомъ едва ли не въ полтора или два раза. Кипренскій вамъ это засвидѣтельствуетъ. Число четырехъ пенсіонеръ столь мало, что нельзя и ожидать Академіи великихъ успѣховъ отъ четырехъ молодыхъ людей. Болѣзни, обстоятельства, тысяча причинъ могутъ совратить ихъ съ пути или похитить отъ художествъ. Что̀ я говорю, есть сущая правда. Желательно имѣть болѣе десяти въ Римѣ. Изъ десяти два, три могутъ удасться. Россія имѣетъ нужду въ хорошихъ артистахъ, нужду необходимую, особенно въ архитекторахъ, и я отъ чистаго сердца желаю, чтобы казна не пожалѣла денегъ. За ними нуженъ присмотръ; имъ нуженъ наставникъ, путеводитель. Если бы вы отрядили профессора, человѣка опытнаго, строгихъ нравовъ, хотя и не весьма искуснаго въ художествѣ, что нужды? Министерство ими занимается въ важныхъ случаяхъ; оно имъ покровительствуетъ, но присмотра не имѣетъ, ибо это не дѣло онаго. При наставникѣ поведеніе будетъ правильнѣе. Отъ большаго сотоварищества родится соревнованіе, лучшая пружина трудолюбія и успѣховъ. Вамъ доставятъ уставъ французской академіи. У ней не домъ, а дворецъ. Желательно, чтобы наши имѣли только домъ, кельи для ночлегу и хорошія мастерскія, присмотръ, пищу и эту беззаботливость, первое условіе артиста съ музою или музы съ артистомъ. Впрочемъ, я говорю то, что̀ чувствую, что̀ видѣлъ на мѣстѣ: издали все кажется иначе. Исполнилъ мой долгъ, увѣдомилъ васъ о томъ, что̀ здѣсь каждому извѣстно. Вы лучше знаете, что̀ возможно и чего нельзя сдѣлать. Моего письма никому не сообщайте, ибо я пишу только для васъ, съ обыкновеннымъ чистосердечіемъ и такъ, какъ мысли приходятъ въ голову. Италинскому вручилъ вашу книгу и письмо. Онъ самъ отвѣчать будетъ. Старецъ почтенный и добрый, уваженный всѣми. Онъ знаетъ Италію, какъ «Отче нашъ», но можно ли его обременить новымъ учрежденіемъ — не знаю. Если бы вздумалось что-нибудь основать въ Римѣ, то лучшее средство отправить чиновника изъ Петербурга съ хорошею инструкціею, сообразной съ французскою; отмѣны можно

сдѣлать на мѣстѣ. Учредя домъ и все нужное для принятія десяти (или болѣе) пенсіонеровъ, чиновникъ сей могъ бы ихъ ожидать въ Римѣ. Еще повторю: нуженъ добрый, заслуженный профессоръ, который бы умѣлъ постигнуть вполнѣ свою обязанность и наставленія ваши. Во Флоренціи есть слѣпки со всего музея, и мнѣ обѣщали доставить реестръ цѣнамъ и статуямъ, который сообщу вамъ. Англійскій дворъ и французскій, съ позволенія герцога Тосканскаго, взяли сіи слѣпки въ недавнемъ времени. Здѣсь я видѣлъ собраніе египетскихъ статуй для двора баварскаго: по совѣсти, онѣ жалки, и учиться надъ ними нечего. Могутъ быть интересны для антикваріи или для исторіи искусства, но для художника—ни мало. Формы варварскія! При избыткѣ другихъ статуй можно пожелать имѣть и сіи. Впрочемъ, не много пользы. Объ Аристидовой статуѣ дамъ отвѣтъ изъ Неаполя, также о древнемъ оружіи, въ Помпеѣ и Геркуланумѣ найденномъ, то-есть, объ рисункахъ оружія. Всѣ другія порученія касательно художествъ исполню со временемъ. Важнѣйшее кончилъ.

Забылъ сказать нѣсколько словъ о Кипренскомъ и Матвѣевѣ. Первый еще не писалъ Аполлона и едва ли писать его станетъ, развѣ изъ упрямства. Но онъ дѣлаетъ честь Россіи поведеніемъ и кистію: въ немъ-то надежда наша! Матвѣевъ заслуживаетъ наше уваженіе. Онъ человѣкъ старый и хворый, но въ картинахъ его есть живость и огонь древняго Адама. Сорокъ лѣтъ прожилъ онъ въ Римѣ и никакого понятія о Россіи не имѣетъ: часто говоритъ о ней, какъ о Китаѣ, но за то набилъ руку и пишетъ водопады тивольскіе часто мастерски. На все есть время: его слава здѣсь полиняла. Я безъ предразсудковъ и любуюсь его картинами: въ нихъ много хорошаго. Слава Богу, что Русскій человѣкъ такъ пишетъ! Слава Богу, что онъ заслужилъ вниманіе всѣхъ просвѣщенныхъ путешественниковъ и не умеръ съ голоду въ негостепріимной Италіи. Ему, говорятъ, назначенъ пенсіонъ государемъ. Душевно этому радуюсь, ибо Матвѣевъ скоро будетъ не въ состояніи снискивать пропитаніе трудами.

Торвальдсенъ гремитъ въ Римѣ. Его Меркурій прелестенъ. Каммучини пишетъ прекрасные портреты (не всегда) и всегда сѣрыя картины, но за то рисуетъ, какъ Егоровъ (и получше его), иногда сочиняетъ умно и съ живостію, достойной Римлянина. Basta! Ни слова больше объ искусствахъ! Не мнѣ судить о нихъ; умничать — не мое уже дѣло. Скажу вамъ только, что здѣсь полкъ Рафаэловъ. Всѣ Нѣмцы одѣлись Рафаэлами: отпустили себѣ волосы и надѣли черныя бархатныя шапки, черное полукафтанье и сандаліе. На Рафаэла не похожи, а съ головы на маймистовъ; что̀ всего хуже—рисовать не умѣютъ, ибо въ Германіи рисовать порядочно не учатъ. Подражаютъ здѣсь Гольбейну и Перужини, а въ скульптурѣ и архитектурѣ—среднимъ вѣкамъ. Зачѣмъ же было ѣхать въ Римъ? Чтобы ходить по Корсо въ Рафаэловомъ платьѣ, съ свиткомъ пергамена въ рукахъ. Иные изъ нихъ имѣютъ истинный талантъ и очень трудолюбивы; сіи послѣдніе ходятъ просто, какъ мы грѣшные. Но я сію минуту видѣлъ картины двухъ нѣмецкихъ художниковъ: повѣсть Іосифа, и примирился съ ними. Прекрасно! Кончу мое мараніе. Вы видите, что я, не глядя на развлеченіе и болѣзнь, отпѣлъ вамъ все, что̀ было на сердцѣ. Богъ вѣсть, за что̀ я прослылъ у васъ человѣкомъ неисправнымъ. Въ отечествѣ никто пророкомъ не бывалъ. Къ Катеринѣ Өедоровнѣ писалъ, еще буду писать по пріѣздѣ въ Неаполь. Всѣмъ знакомымъ усердно кланяюсь и цѣлую ручки у Лизаветы Марковны. Всему дому и Алексѣю Алексѣевичу бью челомъ. Гг. Крылову, Ермолаеву и Гнѣдичу усердное почтеніе. Послѣдній, надѣюсь, писать будетъ. Пришлите мнѣ русскихъ книгъ и новостей, г. президентъ Библіотеки, и скажите Сергѣю Семеновичу и Тургеневу, что я ихъ задушу письмами изъ отечества Тассова. Простите!

Здѣсь великій князь, ласковый къ Русскимъ, и котораго мы любимъ болѣе здѣшняго солнца. Спѣшу поздравить его и министра съ карнаваломъ, который начался дождемъ и кончится дракою и шумомъ. Мы здѣсь ходимъ посреди развалинъ и на развалинахъ. Самый карнавалъ есть развалина сатурналій. Но

эти праздники такъ мнѣ надоѣли отъ самой Венеціи, что я желалъ бы видѣть будни e l'alma tranquillita. Она у васъ вполнѣ въ Петербургѣ; пользуйтесь ею и не завидуйте нашему климату и чудесамъ искусства. Здѣсь зло ходитъ объ руку съ добромъ. Здѣсь все состарилось: и умъ, и сердце. и душа человѣческая. Но я не устану здѣсь васъ любить и почитать. Слышу выстрѣлы во всѣхъ улицахъ, залпъ за залпомъ. Шумъ ужасный! Не пугайтесь: карнавалъ. У насъ теперь на Руси катаются смирно съ горъ, играютъ въ бостонъ и танцуютъ. Здѣсь болѣе шуму, но не болѣе веселья для иностранцевъ. Но здѣсь Колисей, который мнѣ и во снѣ снится. Это лучшій комментарій на римскую исторію. Конст. Батюшковъ.

Великій князь заказываетъ картины Щедрину и работу Крылову и Гальбергу: это имъ по сердцу. Кипренскій подноситъ ему голову ангела, прелестную по истинѣ, лучшее его произведеніе!

IV. Къ князю П. А. Вяземскому.

1.—17-го октября 1811 г. (Деревня). Вѣрю, мой милый другъ, вѣрю, что ты вступаешь въ храмъ Гименея; вѣрю твоему счастію и проклинаю судьбу, которая меня лишаетъ удовольствія пропѣть эпиталаму, обнять тебя и выпить за здравіе кубокъ фалернскаго, въ который я готовъ погрузить всѣ мои печали и горести. протекшія и будущія, всѣ заботы, всѣ дурные стихи, однимъ словомъ, все, кромѣ чувствъ дружества, ибо все суета суетъ, мой милый другъ.... Но, увы! Я по неволѣ долженъ читать моего Горація и питаться надеждою, ибо настоящее и скучно, и глупо. Я живу въ лѣсахъ, засыпанъ снѣгомъ, окруженъ попами и раскольниками. заваленъ дѣлами и, вздыхая отъ глубины сердца, говорю, какъ Лафонтенова перепелка:

S'il dependait de moi, je passerais ma vie
En plus honnête compagnie.

Потомъ я долженъ ѣхать въ Питеръ: долженъ, ибо кля-

пусь тебѣ моимъ здравымъ разсудкомъ, что я бы предпочелъ всему Москву, въ которой живетъ Вяземскій, котораго я люблю, и который, можетъ быть, меня посылаетъ къ чорту. Сколько которыхъ! Извини! Я разучился писать.

Ты былъ боленъ! Конечно, отъ желудка? Береги себя и кушай меньше: умереть отъ обжорства — смерть, конечно, и славная, и завидная, но не въ твои лѣта, притомъ же и не теперь, когда могутъ плакать прелестные глаза объ тебѣ, мой баловень! Болѣзнь твоя прошла: ты женатъ. Я часто мысленно переношусь въ Москву, ищу тебя глазами, нахожу и въ радости взываю: Се ты, се ты, супругъ, семьянинъ, въ шлафрокѣ и въ колпакѣ, по утру за чайнымъ столикомъ, въ вечеру за бостономъ! Quantum mutatus ab illo! Я начинаю вѣрить вліянію кометы, и ты тому причиною. Все къ лучшему, дай руку! Будь счастливъ и прости! К. Б.

Если ты женатъ, мой любезный другъ, то поверги къ ногамъ княгини мое поздравленіе и цѣлый коробъ желаній о счастіи, желаній самыхъ усерднѣйшихъ, за которыя ты можешь ручаться головою; скажи ей — и ты не солжешь, — что этотъ чудакъ ни къ чему не годенъ, но онъ болѣе смѣшенъ, нежели глупъ, болѣе добръ, нежели глупъ; что этотъ чудакъ тебя любитъ, какъ брата; что ты его любишь, какъ самъ себя: vous pourrez en rabattre quelque chose, и потому-то онъ можетъ вопреки своимъ странностямъ казаться вамъ весьма любезнымъ. Вотъ что̀ ты скажешь княгинѣ, но гораздо краснорѣчивѣе, острѣе, однимъ словомъ — такъ, какъ говоритъ Василій Львовичъ, когда не заикается и не плюетъ.

2. — 1-го іюля 1812 г. (Петербургъ). Давно, очень давно я не получалъ отъ тебя писемъ, мой милый другъ. Что съ тобою сдѣлалось? Здоровъ ли ты? Или такъ занятъ политическими обстоятельствами, Нѣманомъ, Двиной, позиціей направо, позиціей налѣво, передовымъ войскомъ, задними магазинами, голодомъ, моромъ и всѣмъ снарядомъ смерти, что забылъ ма-

ленькаго Батюшкова, который пишетъ къ тебѣ съ Дмитріемъ Васильевичемъ Дашковымъ. Я завидую ему: онъ тебя увидитъ; онъ разскажетъ тебѣ всѣ здѣшнія новости, за которыя, по совѣсти, гроша давать не надобно: все одно и то же. Я еще разъ завидую московскимъ жителямъ, которые столь покойны въ наше печальное время, и я думаю, какъ басенная мышь, говорятъ, поджавши лапки:

Чѣмъ грѣшная могу помочь!

У насъ все не то! Кто глаза не спускаетъ съ карты, кто кропаетъ оду на будущія побѣды. Кто въ лѣсъ, кто по дрова! Но Богъ съ ними! Присылай сюда поскорѣе любезнаго Сѣверина, безъ котораго намъ сгрустилось: пора ему въ Питеръ. Что дѣлаетъ балладникъ? Говорятъ, что онъ написалъ стиховъ тысячи полторы, и одинъ другаго лучше! Вотъ кстати, говоря о нашемъ пѣвцѣ, Асмодѣю сказать можно: чѣмъ чортъ не шутитъ! Пришли мнѣ Жуковскаго стиховъ малую толику, да пиши почаще, мой милый и любезный князь. А впрочемъ, Богъ съ тобой! Кстати, поздравляю тебя съ прошедшими именинами, которыя ты провелъ въ своемъ загородномъ дворцѣ, конечно, весело. Еще разъ, прости и не забывай твоего Батюшкова.

3. — Іюль (первая половина) 1812 г. (Петербургъ). Я отъ тебя давно не имѣю писемъ, мой милый другъ, и начинаю думать, что ты меня забылъ. Вотъ болѣе недѣли, какъ я боленъ и не выхожу изъ комнаты. На досугѣ что дѣлать? Писать къ тебѣ. Сѣверинъ у меня бываетъ очень часто; я люблю его отъ всей души; съ нимъ-то мы говоримъ о тебѣ. и если онъ прерветъ матерію или начнетъ мнѣ разсказывать о Москвѣ, о Пушкинѣ, то я, подобно Анжеликѣ, съ глубокимъ вздохомъ, съ глазами, отуманенными тоскою, повторяю ему: «Parle moi de Médor, ou laisse moi rêver!» Такимъ-то образомъ проводимъ мы время, имѣя мало надеждъ, но много сладостныхъ воспоминаній. Въ числѣ надеждъ Сѣверина — военная служба; къ несчастію — не моя. Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетѣлъ

въ армію. Теперь стыдно сидѣть сиднемъ надъ книгою; мнѣ же не пріучаться къ войнѣ. Да кажется, и долгъ велитъ защищать отечество и государя намъ, молодымъ людямъ. Подожди! Можетъ быть, и я, и Сѣверинъ препояшемся мечами, если мнѣ позволитъ здоровье, а Сѣверину обстоятельства. Проворному не долго снаряжаться. Что затѣваетъ Пушкинъ? Онъ ни къ кому не пишетъ, всѣхъ позабылъ. Богъ съ нимъ! Я читалъ балладу Жуковскаго: она очень мнѣ понравилась и во сто разъ лучше его Дѣвъ, хотя въ Дѣвахъ болѣе поэзіи, но въ этой болѣе grâce, и ходъ гораздо лучше. Жаль впрочемъ, что онъ занимается такими бездѣлками: съ его воображеніемъ, съ его дарованіемъ и болѣе всего съ его искусствомъ можно взяться за предметъ важный, достойный его. Пришли мнѣ его посланіе ко мнѣ, сдѣлай одолженіе—пришли. Будь здоровъ, будь веселъ и пиши поприлежнѣе. Vale et me ama! Батюшковъ.

Сію минуту Милоновъ сказалъ мнѣ, что Грамматинъ ѣдетъ въ Москву. Я посылаю это письмо черезъ него.

5. — 3-го октября (1812 г. Нижній-Новгородъ). Я обрадовался твоему письму, какъ самому тебѣ. Отъ Карамзиныхъ узналъ, что ты поѣхалъ въ Вологду, и не могъ тому надивиться. Зачѣмъ не въ Нижній? Впрочемъ, все равно! Нѣтъ ни одного города, ни одного угла, гдѣ бы можно было найти спокойствіе. Такъ, мой милый, любезный другъ, я жалѣю о тебѣ отъ всей души; жалѣю о княгинѣ, принужденной тащиться изъ Москвы до Ярославля, до Вологды, чтобы родить въ какой-нибудь лачугѣ; радуюсь тому, что добрый геній тебя возвратилъ ей, конечно, на радость. При всякомъ несчастіи, съ тобой случившемся, я тебя болѣе и болѣе любилъ: Сѣверинъ тому свидѣтель. Но дѣло не о томъ. Ты меня зовешь въ Вологду, и я, конечно, пріѣхалъ бы, не замедля минутой, еслибъ была возможность, хотя Вологда и ссылка для меня одно и то же. Я въ этомъ городѣ бывалъ на короткое время и всегда съ новыми огорченіями возвращался. Но теперь увидѣться съ тобою и съ

роднымн для меня будетъ пріятно, если судьбы на это согласятся; въ противномъ случаѣ я рѣшился, и твердо рѣшился, отправиться въ армію, куда и долгъ призываетъ, и разсудокъ, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными произшествіями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылѣчатъ отъ грусти. Москвы нѣтъ! Потери невозвратныя! Гибель друзей, святыня, мирное убѣжище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ! Вотъ плоды просвѣщенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будетъ ему конецъ? На чемъ основать надежды? Чѣмъ наслаждаться? А жизнь безъ надежды, безъ наслажденій — не жизнь, а мученіе. Вотъ что меня влечетъ въ армію, гдѣ я буду жить физически и забуду на время собственныя горести и горести моихъ друзей.

Здѣсь я нашелъ всю Москву. Карамзина, которая тебя любитъ и любитъ и уважаетъ княгиню, жалѣетъ, что ты не здѣсь. Мужъ ея поѣхалъ на время въ Арзамасъ. Алексѣй Михайловичъ Пушкинъ плачетъ неутѣшно: онъ все потерялъ, кромѣ жены и дѣтей. Василій Пушкинъ забылъ въ Москвѣ книги и сына: книги сожжены, а сына вынесъ на рукахъ его слуга. Отъ печали Пушкинъ лишился памяти и на силу вчера могъ прочитать Архаровымъ басню о соловьѣ. Вотъ до чего онъ и мы дожили! У Архаровыхъ сбирается вся Москва или, лучше сказать, всѣ бѣдняки: кто безъ дома, кто безъ деревни, кто безъ куска хлѣба, и я хожу къ нимъ учиться физіономіямъ и терпѣнію. Вездѣ слышу вздохи, вижу слезы—и вездѣ глупость. Всѣ жалуются и бранятъ Французовъ по французски, а патріотизмъ заключается въ словахъ: point de paix! Истинно много, слишкомъ много зла подъ луною; я въ этомъ всегда былъ увѣренъ, а нынѣ сдѣлалъ новое замѣчаніе. Человѣкъ такъ сотворенъ, что ничего вполнѣ чувствовать не въ силахъ, даже самаго зла: потерю Москвы немногіе постигаютъ. Она, какъ солнце, ослѣпляетъ. Мы всѣ въ чаду. Какъ бы то ни было, мой милый, любезный другъ, такъ было угодно Провидѣнію!

Тебѣ же, какъ супругу и отцу семейства, потребна рѣшительность и великодушіе. Ты не все потерялъ, а научился многому. Одиссея твоя почти кончилась. Умъ былъ, а разсудокъ пришелъ. Не унывай и наслаждайся пока дружбою людей добрыхъ, въ числѣ которыхъ и я: ибо любить умѣю моихъ друзей, и въ горѣ они мнѣ дороже. Кстати о друзьяхъ: Жуковскій, иные говорятъ—въ арміи, другіе—въ Тулѣ. Дай Богъ, чтобы онъ былъ въ Тулѣ и поберегъ себя для счастливѣйшихъ временъ. Я еще надѣюсь читать его стихи; надѣюсь, что не все потеряно въ нашемъ отечествѣ, и дай Богъ умереть съ этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочиненія, дѣлай съ ними что хочешь; вотъ все, что могу оставить тебѣ. Можетъ быть, мы никогда не увидимся! Можетъ быть, штыкъ или пуля лишитъ тебя товарища веселыхъ дней юности... Но я пишу письмо, а не элегію; надѣюсь на Бога и вручаю себя Провидѣнію. Не забывай меня и люби, какъ прежде. Княгинѣ усердно кланяюсь и желаю ей счастливо родить сына, а не дочь. Константинъ Батюшковъ.

Познакомься съ моимъ зятемъ и полюби его: онъ добрый человѣкъ и меня любитъ, какъ брата. Засвидѣтельствуй мое почитаніе Юрію Александровичу [1]); мы думали здѣсь, что онъ поѣхалъ въ Казань. Пиши въ Нижній-Новгородъ и не пропусти почты: иначе письмо твое меня не застанетъ. Я рѣшился ѣхать въ Петербургъ къ должности, или въ армію, тотчасъ по полученіи денегъ. Я не пишу о подробностяхъ взятія Москвы варварами: слухи не всѣ вѣрны, да и къ чему растравлять ужасныя раны?

5. — 10-го іюня 1813 г. (Петербургъ). Я съ ума еще не сошелъ, милый другъ, но безпорядокъ моей головы примѣтенъ не одному тебѣ, и ты съ одной стороны правъ, очень правъ! Я поглупѣлъ и очень поглупѣлъ. Отъ чего? Богъ знаетъ. Не могу себѣ отдать отчету ни въ одной мысли, живу безпутно, убиваю время и для будущаго ни одной сладостной надежды не имѣю.

[1]) Нелединскій - Мелецкій.

Отъ чего это? Богъ знаетъ. Въ карты я не играю. Въ большомъ свѣтѣ бываю по крайней необходимости и въ ожиданіи моего генерала зѣваю, сплю, читаю Исторію Семилѣтней войны, прекрасный переводъ Гомера на италіянскомъ языкѣ, еще лучшій переводъ Лукреція славнымъ Маркетти, Маттисоновы стихи и Виландова Оберона; денегъ имѣю на мѣсяцъ и болѣе, имѣю двухъ-трехъ пріятелей, съ которыми часто говорю о тебѣ, хожу по вечерамъ къ одной любезной женщинѣ, которая меня прозвала сумасшедшимъ, чудакомъ, и зѣваю; сидя возлѣ нея, зѣваю, такъ, мой другъ, зѣваю въ ожиданіи моего генерала, который, надѣюсь, пошлетъ меня зѣвать на бивакп, если война еще продлится, и глупѣю, какъ старая меделянская собака глупѣетъ на привязи. Вотъ мое состояніе нравственное и физическое: оно, право, не завидно! Но ты не правъ съ другой стороны: я писалъ къ тебѣ въ Ярославль и послалъ даже замѣчанія на твое посланіе; получилъ ли ты мое письмо—не знаю. Между тѣмъ радуюсь сердечно, что ты оставилъ берега Волги и переселился на старое пепелище, по истинѣ пепелище! На берегахъ Москвы-рѣки нельзя быть совершенно счастливымъ, но можно найти болѣе пищи и для ума, и для сердца, особливо въ обществѣ почтеннаго семейства Карамзиныхъ, которыхъ судьба привела снова въ Москву, и послѣ какихъ потерь? Дай Богъ для славы нашего отечества, чтобъ Карамзинъ перенесъ съ твердостію, свойственной великой душѣ, его важную утрату — потерю единственнаго сына, прекраснаго малютки. Что же касается до нашего чудака, то я давно съ тобой на его счетъ согласенъ. На что умъ безъ добраго сердца, или лучше сказать, что за умъ безъ сердца? Прекрасный садъ, исполненный цвѣтовъ, но не согрѣтый, не освѣщенный лучами животворнаго солнца. Таковому уму, благодаря Бога, я никогда не завидовалъ, а я, какъ ребенокъ, завидую всему, чего не имѣю. Общество можно сравнить съ большимъ городомъ, людей — съ домами. Надобно жить въ своемъ домѣ, посѣщать нѣкоторые, заглядывать въ другіе, а мимо иныхъ домовъ проходить равнодушно. Не смѣйся моему сравненію. Оно

имѣетъ свою цѣну, но я дурно изъяснился, можетъ быть. Мы будемъ любоваться прекрасной архитектурой нѣкоторыхъ зданій, но сохрани насъ Богъ отъ того, чтобы перенести туда домашнихъ своихъ пенатовъ. Ты качаешь головою... Нѣтъ пути въ немъ, онъ право поглупѣлъ! Быть такъ! Я замолчу.

Жуковскаго Пѣвца государыня приказала напечатать на свой счетъ. Готовятъ виньеты. Дашкову поручилъ Дмитріевъ сдѣлать замѣчанія. Я радъ сердечно успѣхамъ нашего балладника: это его оживитъ. Но жалѣю, что онъ много печатаетъ въ Вѣстникѣ. Переводомъ Драйдена я не очень доволенъ; Пѣвецъ, романсъ—лучше всего. Пора ему взяться за что-нибудь поважнѣе и не тратить ума своего на бездѣлки; онѣ съ нѣкотораго времени для меня потеряли цѣну, можетъ быть—отъ того, что я сталъ менѣе чувствителенъ къ прелести поэзіи и болѣе лѣнивъ духомъ. Притомъ же нашъ пріятель имѣетъ имя въ словесности: онъ заслужилъ уваженіе просвѣщенныхъ людей, истинно просвѣщенныхъ, но славу надобно поддерживать трудами. Жаль, что онъ ничего путнаго не напишетъ прозою. Это его дѣло. Подстрекай его самолюбіе какъ можно болѣе, не давай ему заснуть въ Бѣлевѣ на балладахъ: вотъ подвигъ, достойный дружбы, достойный тебя! Я это говорю весьма серьезно. Пришли мнѣ свою балладу на зубокъ. Благодарю за басню: она очень хороша, кромѣ послѣднихъ двухъ стиховъ. Пришли все, что напишешь; я съ нетерпѣніемъ буду ожидать посланія къ княгинѣ, которой прошу сказать мое душевное почитаніе. Напомни обо мнѣ Катеринѣ Андреевнѣ [1]) и Карамзину, и всѣмъ знакомымъ. Видишь ли ты Пушкину? Что она дѣлаетъ на развалинахъ Москвы? Поклонись ей отъ меня. Къ моему генералу я писалъ недавно; получилъ ли онъ мое письмо—не знаю. Посылаю тебѣ, изъ благодарности за поправки, двѣ басни Крылова, которыя, можетъ быть, тебѣ еще неизвѣстны. Жуковскій не все счастливо поправилъ; иное испортилъ, а иное лучше сдѣлалъ и подалъ мнѣ новыя мысли. Прости, будь здоровъ и не забывай твоего Батюшкова.

[1]) Карамзина, супруга историка.

6. — 17-го мая 1814 г. Парижъ. Милый, добрый, любезный другъ, ты имѣешь право сердиться на меня за мое молчаніе; я имѣю маленькое право, но простимъ великодушно другъ другу лѣнь и беззаботливость нашу. Дай себя обнять, и все забыто. По крайней мѣрѣ я съ моей стороны съ удовольствіемъ живѣйшимъ беру перо, чтобъ напомнить о себѣ. И виноватъ ли я въ самомъ дѣлѣ? Съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ Петербургъ, и еще болѣе, съ тѣхъ поръ, какъ мы переступили за Рейнъ, ни одного дня истинно покойнаго не имѣлъ. Безпрестанные марши, бивакп, сраженія, ретирады, усталось душевная и тѣлесная, однимъ словомъ—вѣчное безпокойство: вотъ моя исторія. Замѣть однакоже, что при всякомъ отдыхѣ, я думалъ о тебѣ и о Россіи. Нѣтъ, милый мой Вяземскій, тѣсно связана жизнь наша, слишкомъ тѣсно, чтобъ когда-либо мы могли забыть другъ друга. Вотъ мое извиненіе: твое я выслушаю въ Москвѣ или на берегахъ Невы, гдѣ Богу угодно будетъ назначить намъ свиданіе, столь желанное мною! Ни слова теперь не скажу о Парижѣ. Два мѣсяца я живу здѣсь въ безпрерывномъ шумѣ и движеніи. На силу и теперь отдохнулъ во время моей болѣзни, которая меня передъ отъѣздомъ недѣлю продержала въ постели. Сѣверинъ меня часто посѣщалъ. Онъ сегодня отправился въ Лондонъ, куда и я намѣренъ ѣхать, если что важное не воспрепятствуетъ. Сѣверинъ—добрый, любезный молодой человѣкъ, я его еще болѣе здѣсь полюбилъ. Съ нимъ-то мы часто бесѣдовали о тебѣ и часто вспоминали старину, Москву, Жуковскаго и все, что было и любитъ сердце.

Теперь, разбирая бумаги, я нахожу записки мои; когда-нибудь мы ихъ переберемъ вмѣстѣ: онѣ тебѣ приписаны. Вотъ доказательство, что я тебя помнилъ и посреди шуму военнаго. Сожалѣю отъ всей души, что ничего не успѣлъ написать о Парижѣ. Здѣсь что̀ день, то эпоха. Но возможно ли было сообразить политическія происшествія, которыя тѣснились одно за другимъ? Можно ли было замѣчать мимоходомъ то, что принадлежитъ исторіи, переходить отъ Брюне къ Наполеону, ибо и тотъ, и другой меня интересовали одинаково, къ стыду моему? Прибавь

къ этому безпокойнѣйшую жизнь офицера въ хаосѣ парижскомъ, и ты, конечно, извинишь мою лѣность. Но еще разъ, и въ последній, я съ удовольствіемъ воображаю себѣ минуту нашего соединенія: мы выпишемъ Жуковскаго, Сѣверина, возобновимъ старинный кругъ знакомыхъ и на пеплѣ Москвы, въ объятіяхъ дружбы, найдемъ еще сладостную минуту, будемъ разсказывать наши подвиги, наши горести и притаясь гдѣ-нибудь въ углу, мы будемъ чашу ликовую передавать изъ рукъ въ руки... Вотъ мои желанія, мои надежды! Я забылъ, что океанъ раздѣляетъ насъ, и что, можетъ быть, не ранѣе августа я могу возвратиться въ Петербургъ. Эта мысль меня печалитъ: отдыхъ мнѣ нуженъ, а болѣе всего твое утѣшительное дружество.

Прости мнѣ, милый другъ, что я не буду говорить съ тобой ни о Пантеонѣ, ни о музеѣ: ты знаешь всѣ рѣдкости Парижа на перечетъ; ты знаешь подвиги наши по газетамъ и по одамъ графа Хлыстова. Съ тебя этого довольно. Я въ Парижъ въѣхалъ съ восхищеніемъ и оставляю его съ радостію. Еще разъ обнимаю тебя отъ всей души. Напомни обо мнѣ княгинѣ; напомни обо мнѣ почтенному семейству Карамзиныхъ; поздравь Николая Михайловича съ нашими побѣдами и съ новыми матеріалами для исторіи. Я желаю, чтобъ Богъ продлилъ ему жизни для описанія нынѣшнихъ происшествій; двойная выгода: у насъ будетъ прекрасная полная исторія, и Николай Михайловичъ [1]) будетъ жить болѣе вѣка. Сколько матеріаловъ!...

Прости, будь счастливъ и помни Батюшкова.

Это письмо отдай Пушкиной; обними за меня Василія Львовича [2]), скажи мой душевный поклонъ его сестрицѣ и Сонцеву и скажи Алексѣю Михайловичу [3]), что онъ— худой пророкъ; онъ это теперь и самъ чувствуетъ. Nul n'est prophète dans son pays.

7. — (Февраль 1816 г. Москва). Ты уѣхалъ, милый другъ, и я остался одинъ совершенно въ этой обширной Москвѣ, гдѣ,

[1]) Карамзинъ.

[2]) Пушкинъ, дядя поэта.

[3]) Пушкинъ.

кромѣ знакомыхъ, не имѣю ни друга, ни родственника. А ты пенялъ мнѣ, что скучаю! Въ одной рукѣ держу Монтаня, въ другой — Сенеку, укрѣпляюсь духомъ, и все напрасно! Не вижу конца и начинаю проклинать гадательное искусство Гиппократа моего, который, со всею доброю волею ничего изъ меня сдѣлать не можетъ, то-есть, ни совершенно больнаго, ни здороваго. Нарывъ все въ томъ же видѣ, и я сожалѣю, что не уговорилъ Скюдери припустить пьявицы. Теперь это средство поздно. Нога болитъ иногда по старому. Кашель проходитъ. Я пью и ѣмъ, и сплю, а впрочемъ.... очень нездоровъ. Здѣсь все по старому. Пушкины у меня бываютъ ежедневно, Толстой, Меншиковъ и Окуневъ. Соковнинъ дня три пропадалъ; вчера пріѣхалъ ко мнѣ пьяный, занялъ у меня сто рублей и отправился на болото, а потомъ на имянины къ Апраксину, который ему будетъ очень радъ. А я радъ, что онъ будетъ далѣе отъ насъ и ближе къ Алексѣю Михайловичу, который также у Апраксина. Вотъ все, что я знаю въ моей кельѣ про здѣшній свѣтъ. О книжномъ свѣтѣ знаю также мало. Вчера, по утру, читая La Gaule Poétique, я вздумалъ идти въ аттаку на Гаральда Смѣлаго, то-есть, перевелъ стиховъ съ двадцать, но такъ разгорячился, что нога заболѣла. Паръ поэтическій изчезъ, и я въ моемъ героѣ нашелъ маленькую перемѣну. Когда читалъ подвиги Скандинава,

То думалъ видѣть въ немъ героя
Въ великолѣпномъ шишакѣ,
Съ булатной саблею въ рукѣ
И въ латахъ древняго покроя.
Я думалъ: въ пламенныхъ очахъ
Сіять должно души спокойство,
Въ высокой поступи — геройство
И убѣжденье на устахъ.

Но, закрывъ книгу, я увидѣлъ совершенно противное. Прекрасный идеалъ изчезъ,

и предо мной
Явился вдругъ... Чухна простой:
До плечъ висящій волосъ
И грубый голосъ.
И весь герой—Чухна Чухной.

Этого мало преображенія. Герой началъ дѣйствовать: ходитъ и ѣсть, и пить. Кушалъ необыкновенно поэтическимъ образомъ:

Онъ началъ драть ногтями
Кусокъ баранины сырой,
Глоталъ ее, какъ звѣрь лѣсной,
И утирался волосами.

Я не говорилъ ни слова. У всякаго свой обычай. Гомеровы герои и наши Калмыки то же дѣлали на бивакахъ. Но вотъ что меня вывело изъ терпѣнія: передъ Чухонцемъ стоялъ черепъ убитаго врага, окованный серебромъ, и бадья съ виномъ. Представь себѣ, что онъ сдѣлалъ!

Онъ черепъ ухватилъ кровавыми перстами,
Налилъ въ него вина
И все хлестнулъ до дна...
Не шевельнувъ устами.

Я проснулся и далъ себѣ честное слово никогда не воспѣвать такихъ уродовъ и тебѣ не совѣтую.

Но что ты дѣлаешь, милый другъ? Занимаешься счетами и дѣлами? Желаю тебѣ успѣха. Пріѣзжай скорѣе ко мнѣ, пока я живъ и не умеръ съ тоски. Будь здоровъ, ѣшь стерляди доморощенныя и не забывай твоего друга, который тебя любитъ и жизнь любитъ для тебя единственно.

Среда.

Я пишу мало. Рука устала. Надобно еще писать и между прочимъ къ княгинѣ, которой угодно было вспомнить о больномъ на Басманной. Спѣшу отвѣчать на ея плоды риторическими цвѣтами, которые во сто разъ покажутся ей блѣднѣе моего лица.

8. — 4-го марта (1817 г. Деревня). И я, и братъ мой, и всѣ мои благодаримъ за стараніе твое, хотя безплодное. Я съ моей стороны исполнилъ долгъ мой; я не желалъ упустить случая быть полезнымъ хорошему родственнику, не желалъ упустить случая тебѣ дать поводъ къ доброму дѣлу, зная, что это для тебя праздникъ. Итакъ, смиряясь передъ судьбою, къ намъ всѣмъ довольно строгою, продолжаю отвѣчать на письма твои.

Благодарю Жуковскаго за предложеніе трудиться съ нимъ: это и лестно, и пріятно. Но скажи ему, что я печатаю самъ и стихи, и прозу въ Петербургѣ и потому теперь ничего не могу удѣлить отъ моего сокровища, а что впередъ будетъ—все его, въ стихахъ, разумѣется. По пріѣздѣ въ деревню я заплатилъ шесть тысячъ. Чахотка въ карманѣ. Въ виду—ни гроша почти на весь годъ, если не удадутся мнѣ нѣкоторые обороты. А жить надобно, какъ говоритъ Шатобріанъ. (Ей, ей, онъ это написалъ! Какова ситація?). Вотъ почему я долженъ взяться за работу, скучную, но полезную. Собираю италіянскіе переводы въ прозѣ, отборныя мѣста и хочу выдать двѣ книжки. Можетъ быть, продамъ ихъ за двѣ тысячи. Итакъ, ты ясно и самъ видишь, могу ли разсѣять мою работу въ періодическомъ изданіи? У меня книга готова. Взялъ контрибуцію съ Данте, съ Аріоста, съ Тасса, съ Маккіавеля и бѣднаго Боккачіо прижалъ къ стѣнѣ. Всѣмъ досталось! Доберусь и до новѣйшихъ. Чѣмъ болѣе вникаю въ италіянскую словесность, тѣмъ болѣе открываю сокровищъ истинно классическихъ, испытанныхъ вѣками. Не знаю только, хорошо ли это будетъ въ русской прозѣ: вотъ отъ чего нерѣдко у меня руки опускаются. Пишу около пятнадцати лѣтъ для русской публики (c'est tout dire), а отъ совѣсти отучиться не могу! Но я согласенъ съ тобою на счетъ Жуковскаго. Къ чему переводы нѣмецкіе? Добро—философовъ. Но ихъ-то у насъ читать и не будутъ. Что касается до литературы ихъ, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. (Не сказывай этого!). У нихъ все каряченье и судороги. Право, хорошаго немного. Недавно я бросилъ съ досады Іоганна Миллера. Говоря о вѣкѣ Екатерины, онъ говоритъ только о Минихѣ, потому что онъ былъ Нѣмецъ; глубокомыслія пучина, а гдѣ разсудокъ? Слогъ Жуковскаго украситъ и галиматью, но польза какая, то-есть, истинная польза? Удивляюсь ему. Не лучше ли посвятить лучшіе годы жизни чему-нибудь полезному, то-есть, таланту, чудесному таланту или, какъ ты говоришь, писать журналъ полезный, пріятный, философскій. Правда, для этого надобно ему

переродиться. У него голова вовсе не дѣятельная. Онъ все въ воображеніи. А для журнала такого, какъ ты предполагаешь, нуженъ спокойный духъ Адиссона, его взоръ, его опытность, и скажу болѣе, нужна вся Англія, то-есть, земля философіи практической, а въ нашей благословенной Россіи можно только упиваться виномъ и воображеніемъ: по крайней мѣрѣ до сихъ поръ такъ. Но полно мнѣ умничать. Поговоримъ о старостѣ, отъ котораго я получилъ письмецо въ маленькой прозѣ и въ маленькихъ стихахъ. Онъ все тотъ же, а мы старѣемся. Это меня бѣситъ. Я очень смѣялся Шаликову и Ильину. Съ какою коварною радостію воображалъ тебя за однимъ столомъ съ ними — за грѣхи, конечно. Жихареву мой поклонъ. Что дѣлаетъ онъ у васъ? Его бы въ члены: онъ не ударитъ лицомъ въ грязь. Поговоримъ о стихахъ. Сожалѣю крайне, что не могъ прислать Переходъ черезъ Рейнъ и Омира съ Гезіодомъ: переписывать не могу. Боль въ груди отрываетъ меня отъ письменнаго стола, и это пишу стоя. Какъ и стоя писать?... Нога болитъ. Лежа не могу, а писать хочется. Изобрѣтите новый способъ вы, люди умные! Недавно началъ элегію Умирающій Тассъ. Кажется мнѣ, лучшее мое произведеніе. Стиховъ полтораста готово. Теперь перо выпало изъ рукъ, и я ни съ мѣста. Эти переводы меня утомляютъ: прибавь къ этому кой-какое горе, отъ котораго нигдѣ не уйдешь. Все вредитъ стихамъ и груди моей. Богъ съ нею, только бы хорошо писалось! Но Тассъ... а вотъ что̀ Тассъ: Онъ умираетъ въ Римѣ. Кругомъ его друзья и монахи. Изъ окна видѣнъ весь Римъ и Тибръ, и Капитолій, куда папа и кардиналы несутъ вѣнецъ стихотворцу. Но онъ умираетъ и въ послѣдній желаетъ еще взглянуть на Римъ,

...на древнее Квиритовъ пепелище.

Солнце въ сіяніи потухаетъ за Римомъ и жизнь поэта... Вотъ сюжетъ. Пожелай, чтобы хорошо кончилъ. Перечиталъ все, что писано о несчастномъ Тассѣ, напитался Іерусалимомъ. Что будетъ — не знаю и когда кончу. Болѣзнь мучитъ иногда, а безпрестанное уединеніе и дурная погода, и усильные труды и по-

слѣднее здоровье уносятъ. Я часто сержусь, какъ Шаховской на развалинахъ Рима. Римъ и Шаховской! Онъ въ Капитоліи, онъ въ Колизеѣ, онъ у Везувія, онъ въ Баіи, онъ, онъ, онъ, вездѣ онъ! Я далъ бы сію минуту пять рублей за то, чтобы взглянуть на Шаховскаго въ то время, когда онъ проѣзжалъ воротами счастія. Зачѣмъ не повстрѣчался онъ съ Козловскимъ? Этого не доставало! Двѣ классическія каррикатуры въ классической землѣ. Посмотримъ, какова будетъ комедія его, писанная въ Римѣ. Но мнѣ, признаюсь тебѣ, понравилось его желаніе славы. Въ этихъ строкахъ виденъ поэтъ, что ни говори! И у него что-то въ животѣ шевелится.

Но скажи мнѣ, милый другъ, что дѣлаетъ твоя княгиня и скоро ли разрѣшится? Желаю душевно, чтобы ты и дѣти твои были здоровы. Поцѣлуй твою Машу и скажи ей, что дуракъ велѣлъ поцѣловать. Увѣдомь меня о Карамзиныхъ. Изъ Петербурга очень давно писемъ не имѣю и не знаю, здоровы ли они. Не знаю, почему все утро думалъ о Карамзинѣ. Желалъ бы прочитать его Исторію здѣсь въ тишинѣ: впечатлѣніе ея было бы живѣе на мой бѣдный умишко. Кстати о книгахъ. Пришли мнѣ Сисмонди. Я обратно перешлю. Онъ мнѣ очень нуженъ. Ты со мною поступаешь по варварски. Какъ не прислать Пѣвца Жуковскаго? И его бы возвратилъ немедленно. Мнѣ пишутъ, что Левушка покинулъ Бахметева, или онъ его. Нѣтъ ли Левушки [1]) въ Москвѣ, и когда этого Левушку произведутъ въ Львы Васильевичи? Скажи, что дѣлается на Парнассѣ, то-есть, въ лужѣ? Это, конечно, тебя мало занимаетъ. У васъ и безъ того много новостей, но признаюсь тебѣ, до нихъ небольшой охотникъ. Настоящее право не весело. Живи въ книгахъ, пока можно! Но здѣсь, просидѣвъ около трехъ мѣсяцевъ, начинаю грустить. Дорого бы далъ за одинъ часокъ, съ тобой проведенный. Я живу въ такомъ уединеніи, о какомъ ты понятія не имѣешь. У меня есть птичка, три горшка цвѣтовъ какихъ-то и горшокъ подъ постелью. Вотъ все мое добро. И право можно жить, если бы

[1]) Левъ Васильевичъ Давыдовъ.

здоровье не измѣняло. У меня книгъ много, задалъ себѣ работу, и весна съ цвѣтами на дворѣ. И умирая буду твердить: moriatur anima mea mortem philosophicorum, а ты посмѣиваешься надо мной!

Я очень боленъ,
Но собой доволенъ;
Я неволенъ,
Но мнѣ, музы,
Ваши узы
Такъ легки,
Какъ сіи стишки.

По нимъ ты можешь судить, какіе быстрые успѣхи дѣлаю въ поэзіи. Обнимаю тебя отъ всего сердца, тебя, мою любовницу. Спрашиваю себя: за что тебя любить? Прости. Будь веселъ и люби, и не забывай твоего пустынника, который морщится, говоря тебѣ прости: ибо съ тобою веселѣе калякать, нежели переводить длинные періоды Боккачіо и мрачный Адъ. Нарочно оставлю страницу; прибавлю еще что-нибудь. Почта уходитъ завтра.

Представь себѣ: Женгене умеръ, пишутъ въ газетахъ. Вѣришь ли? Это меня очень опечалило. Я ему много обязанъ и на томъ свѣтѣ, конечно, благодарить буду.

Еще прибавляю:

Запросъ Арзамасу.

Три Пушкина въ Москвѣ, и всѣ они—поэты.
Я полагаю, всѣ одни имѣютъ лѣты.
Талантомъ, можетъ быть, они и не равны;
Одинъ другаго больше пишетъ,
Одинъ живетъ съ женой, другой и безъ жены,
А третій объ женѣ и вѣсточки не слышитъ:
(Послѣдній—промежъ насъ я молвлю—страшный плутъ,
И прямо въ адъ ему дорога!)
Но дѣло не о томъ: скажите, ради Бога,
Котораго изъ нихъ Бобрищевымъ зовутъ?

Успокой мою душу. Я въ страшномъ недоумѣніи. Задай это Арзамасу на разрѣшеніе. Прочитай это Сонцеву и болѣ никому. Въ худой часъ Василій Львовичъ разсердится: у него бываютъ такія минуты, какъ и у меня грѣшнаго.

8.—23-го іюня (1817 г. Деревня). Спѣшу отвѣчать на письмо твое, которое меня истинно опечалило, милый другъ. Но радуюсь, что ты въ Москвѣ, и слѣдственно, княгиня спокойна,—ибо чего ей бояться, когда ты съ ней? И досадно, и скучно слушать все одну же исторію и по горло купаться въ глупости. Но мой совѣтъ—усмирить гнѣвъ твой и руководствоваться осторожностію и въ самой досадѣ и негодованіи сохранить благопристойность. Изъ твоего письма вижу твое нетерпѣніе. Это не похоже на умъ, милый другъ. Съ кѣмъ не бываетъ горя! Ни честь твоя, ни имя не могутъ оградить отъ безумца. Непріятность большая, согласенъ; но за то и тебѣ Провидѣніе дало разсудокъ; а ты, исполнивъ долгъ свой, продолжаешь горячиться и смотришь въ увеличительное стекло—на безумца. Терпѣніе! Это все пройдетъ мимо, а ты все останешься князь Вяземскій, владѣлецъ Астафьева и честный человѣкъ. Сожалѣю крайне, что я не съ тобою и не могу раздѣлить твоего безпокойства. Иногда одно слово, сказанное въ пору, полезно. Можетъ быть, я ошибаюсь, подавая тебѣ совѣты, и ты въ самомъ дѣлѣ осторожнѣе и спокойнѣе, нежели на письмѣ, но и ты ошибешься, если подумаешь, что я не трепещу за тебя. Дорого бы далъ за твое спокойствіе и еще разъ повторяю: благоразуміе все исправляетъ. Я болѣе сожалѣю о княгинѣ, нежели о тебѣ, ибо увѣренъ, что въ отсутствіи твоемъ ей было невесело имѣть въ виду нечаянное свиданіе съ растрепаннымъ пугалищемъ. Но и она, когда все пройдетъ—а что не проходитъ?—конечно, первая будетъ смѣяться надъ этимъ бѣшенымъ и надъ своими страхами. Напомни ей лучше обо мнѣ; скажи ей мое усердное почтеніе; о любви моей ни слова. Ее, конечно, тошнитъ отъ одного слова люблю, съ тѣхъ поръ какъ оно прошло черезъ уста блѣднаго и унылаго, безмолвнаго человѣка. Благодарю за извѣстія твои о Петербургѣ и радуюсь, что ты укралъ у Фортуны нѣсколько пріятныхъ минутъ и отдохнулъ съ людьми, ибо это, право, люди: Блудовъ, столь острый и образованный; Тургеневъ, у котораго доброты достанетъ на двухъ и какого-то аттицизма, весьма прі-

ятнаго и оригинальнаго, человѣкъ на десять; Сѣверинъ, дѣятельный и дѣльный въ такія нѣжныя лѣта; Орловъ, у котораго—рѣдкій случай!—умъ забрался въ тѣло достойное Фидіаса, и Жуковскій, исполненный счастливѣйшихъ качествъ ума и сердца, ходячій талантъ! Это люди! И Карамзинъ, право, человѣкъ необыкновенный, и какихъ не встрѣчаемъ въ обоихъ клубахъ Москвы и Петербурга, и который явился къ намъ изъ лучшаго вѣка, изъ лучшей земли: откуда—не знаю.

Плана не получалъ. Трудиться буду, если могу быть полезенъ и время, и здоровье, и обстоятельства позволятъ. Но... но... но... Ты видѣлъ первую часть моихъ Опытовъ. Жаль, что много ошибокъ: чего добраго припишутъ ихъ мнѣ! Но ихъ оговоримъ въ послѣдней части. Скажи мнѣ, каковъ Тассъ мой? Онъ у меня на сердцѣ. Я имъ доволенъ; доволенъ ли ты? Мнѣ нравится планъ и ходъ болѣе, нежели стихи; ты увидишь, что я говорю правду, когда прочитаешь его въ печати. C'est une pièce à effet. Прочитай ее Тончи, сдѣлай одолженіе. Если онъ похвалитъ, онъ, знатокъ италіянской литературы, то я буду внѣ себя отъ радости: онъ и Дмитріевъ. А уранги могутъ говорить, что̀ угодно. Скажи по совѣсти, какова моя проза: можно ли читать ее? Если просвѣщенные люди скажутъ: это пріятная книга, и слогъ красивъ, то я запрыгаю отъ радости. Самъ знаю, что есть ошибки противъ языка, слабости, повторенія и что-то ученическое и дѣтское: знаю и увѣренъ въ этомъ, но знаю и то, что если меня немного окуражитъ одобреніе знатоковъ, то я со временемъ сдѣлаю лучше. Пускай говорятъ, что̀ хотятъ, строгіе судьи и кумы славенофиловы! Не для нихъ пишу, и они не для меня; но не понравиться тебѣ и еще тремъ или четыремъ человѣкамъ въ Россіи больно, и лучше бросить перо въ огонь. Скоро я отправлюсь въ Петербургъ противъ желанія моего: приходитъ осень, я боленъ, лѣкарей здѣсь нѣтъ. Притомъ же и хлопоты меня выживаютъ. Что пишешь ты? Не пора ли и тебя въ клѣтку? Право, пора! Василій Львовичъ пусть одинъ порхаетъ по волѣ: отъ Аглаи въ Вѣстникъ и изъ Вѣстника въ Труды

любителей. Я посылаю къ Каченовскому кучу переводовъ. Увидишь ихъ въ Вѣстникѣ. C'est le chant du cygne. Хочу, если моя книга будетъ имѣть какой-нибудь успѣхъ, приняться за поэму Русалку и за словесность русскую. Хочется написать въ письмахъ маленькій курсъ для людей свѣтскихъ и познакомить ихъ съ собственнымъ богатствомъ. Въ деревнѣ не могу приняться за этотъ трудъ, требующій книгъ, совѣтовъ и здоровья, и одобрительной улыбки дружества. Спасибо! Ты правду говоришь, что меня надобно понелѣять. Я, какъ птица, въ сѣтяхъ у хлопотъ и боюсь оставить въ нихъ мои перья и талантъ мой. Провидѣніе, будь ко мнѣ помилостивѣе! Друзья, не переставайте любить меня! Прости, будь мудръ, аки мравій, аки змѣя и добръ, аки песъ!

Русалка.

Пѣснь 1-я. Добрыня и сынъ его, юный Озаръ, обреченный дочери Оскольдовой, спутники Оскольда, спѣшатъ настигнуть воинство его, идущее по Днѣпру въ окрестностяхъ Кіева, воевать Царьградъ. Радость молодаго Озара, въ первый разъ препоясаннаго мечемъ. Задумчивость Добрыни. Они сбиваются съ пути. Буря. Находятъ пристанище у старца, древняго волхва. Онъ предсказываетъ Добрынѣ славное потомство, если спасетъ сына своего отъ очарованій Лады, днѣпровской русалки. Нетерпѣніе Озара. Они настигаютъ воинство, расположенное на берегахъ Днѣпра, при шумныхъ порогахъ. Пиршество воинское. Пѣсни. Озаръ, утомленный трудами, засыпаетъ: ему является во снѣ Лада во всей красотѣ; встревоженный, просыпается, призываетъ на помощь имя невѣсты своей, но образъ Лады глубоко запечатлѣвается въ его сердцѣ.

Пѣснь 2-я. Задумчивый Озаръ послѣдуетъ войску. Добрыня разстается съ сыномъ и идетъ по повелѣнію Оскольда отражать племена Булгаровъ. Совѣты его сыну. Юноша клянется повиноваться ему. Между тѣмъ Лада, непріятельница волхва, желаетъ заманить въ свои сѣти его правнука. Является въ видѣ лани передъ войскомъ юноши: товарищи Оскольда покидаютъ ладьи, садятся на коней и скачутъ за ланью. Ихъ опережаетъ Озаръ. Онъ забываетъ совѣтъ волхва не переступать за цвѣточныя цѣпи въ лѣсу. Скачетъ за ланью. Преслѣдуетъ ее напрасно до самыхъ береговъ Днѣпра. Усталый, засыпаетъ. Русалки опутываютъ его цѣпями.

Пѣснь 3-я. Онъ просыпается въ царствѣ Лады. Кристальные чертоги ея. Описаніе жизни русалокъ. Веселость. Ихъ ночныя празднества и жертвы Лады. Любовь Лады. Озаръ счастливъ.

Пѣснь 4-я. Но войско возвращается съ побѣды. Озаръ слышитъ голоса товарищей, видитъ ихъ сквозь тонкую влагу. Его отчаяніе. Между тѣмъ Добрыня прибѣгаетъ къ волхву. Его чародѣйства. Они шествуютъ по Днѣпру ночью. Лунное сіяніе. Озаръ скрывается изъ рукъ Лады. Ея отчаяніе.

9.—13-го сентября 1817 г. Петербургъ. Благодарю тебя за письмо твое ко мнѣ, милый другъ, благодарю тебя милый Асмодей за Озерова и за удовольствіе, которое доставилъ намъ своею книгою. Слогъ быстрый, сильный, простой; простой—это всего милѣе! Я почти всѣмъ доволенъ. Съ нѣкоторыми сужденіями не согласенъ, но у всякаго свой вкусъ. Какъ бы то ни было, Вяземскій, который началъ мадригалами, вздумалъ—сдѣлалъ, то-есть, подарилъ насъ книгою, книгою, которая дѣлаетъ честь его уму и сердцу. Я съ моей стороны цѣлую его прямо въ лобъ и говорю ему: не останавливайся, впередъ, маршъ маршъ къ славѣ стезею труда и мыслей! Выбирай себѣ путь новый, достойный твоей музы, живой и остроумной дѣвчонки. У тебя не достаетъ только навыка для прозы. Иногда себя повторяешь; иногда періоды не довольно обработаны, и слова путаются. Итакъ, пиши только: все пріобрѣтешь, чего недостаетъ у тебя. Пиши! Я предрекаю Россіи писателя въ прозѣ. Пиши, учись, читай и люби свою славу, а не успѣхи. И для тебя авторство—стихія, разсѣянность и презрѣніе къ забавамъ ума и труда—смерть, смерть моральная! Не утрать въ свѣтѣ воображенія и сердца; безъ нихъ что въ умѣ? А они-то всего скорѣе линяютъ... Но я забылъ, что говорю съ тобою, и что ты бранишь меня за умничанье. Какая мнѣ нужда? Я все-таки свое повторять буду: трудись, гдѣ бы ты ни былъ въ Варшавѣ или въ Москвѣ, жертвуй граціямъ, жертвуй важнымъ музамъ, которыя тебѣ столь благосклонны. Ты спрашиваешь; что я для тебя стряпаю? Ничего. Спроси у Сѣверина: онъ лучше моего знаетъ. Надѣюсь на его дружбу. Если то, чего онъ желаетъ, не удастся, то полечу въ Тавриду лѣчить грудь мою и разсѣять тоску и болѣзнь на берегахъ Салгира, на высотахъ Чатырдага и на благовонныхъ долинахъ поморія. Въ ожиданіи сего пью лѣкарство и вижусь съ Жуковскимъ. На него весело глядѣть моему сердцу и грустно, когда подумаю о разлукѣ. Онъ на дняхъ ѣдетъ къ вамъ. Сѣверинъ мелькнулъ и изчезъ. Остается здѣсь Арфа. Душу ея можно срав-

нить съ Аретузою, которая, протекая посреди горькой стихіи, не утратила своей ясности и сладости природной: посреди шума и суеты всяческой Тургеневъ день ото дня милѣе становится. Блудовъ—ослѣпительный фейерверкъ ума. Въ Арзамасѣ весело. Говорятъ: станемъ трудиться, и никто ничего не дѣлаетъ. Плещеевъ смѣшитъ до надсаду. Карамзины здоровы. Поклонись гусю Вотъ я васъ, а еще лучше сдѣлаешь, если напомнишь обо мнѣ княгинѣ, которой я усердно и низко кланяюсь. Дай Богъ, чтобы всѣ твои и ты самъ были здоровы. Очень крѣпко обнимаю тебя, мой милый и добрый Вяземскій. Прости, пиши, пиши прозу и письма ко мнѣ. Стихи мои вышли. Читай ихъ и не брани меня; а лучше всего, люби меня, какъ я люблю тебя, то-есть, очень, очень. Скажи Сѣверину, что его принцесса здорова и, кажется, измѣнила ему для меня. Блудовъ называетъ ее очень забавно псомъ Рѣзваго Кота.

11.—9-го мая (1818 г. Петербургъ). Давно не писалъ къ тебѣ, милый другъ, и очень давно не имѣю отъ тебя писемъ, но знаю, что ты здоровъ, черезъ Карамзиныхъ. Я оставляю Петербургъ: ѣду въ Крымъ купаться въ Черномъ морѣ, въ виду храма Ифигеніи. Море лѣчитъ всѣ болѣзни, говоритъ Еврипидъ; вылѣчитъ ли меня—сомнѣваюсь. Какъ бы то ни было, намѣренъ провести шесть мѣсяцевъ въ Тавридѣ. Живи счастливо въ Польшѣ, гдѣ, конечно, найдешь людей достойныхъ и общество веселое, и занятія, достойныя твоего таланта. Ты славно заплатишь долгъ отечеству и имени своему. Буду радоваться всему хорошему, что̀ тебѣ не приключится. Напомни обо мнѣ княгинѣ, у которой цѣлую руку; желаю ей всего, что̀ тебѣ желаю. Не забывай пріятеля своего. Онъ отдыхаетъ мыслями при тебѣ и благодаритъ судьбу за твое дружество. На дняхъ увижу Жуковскаго, котораго, побранивъ за Немногихъ, буду хвалить за стихи на рожденіе великаго князя. Они, говорятъ, прекрасны и достойны его генія. Блудовъ уѣхалъ; Сѣверинъ здѣсь; Полетика отправился въ Америку; Тургеневъ пляшетъ

ю упаду или, лучше сказать, отдыхаетъ въ Москвѣ; братъ его весь въ дѣлахъ: Уваровъ говорилъ рѣчь, которую хвалятъ и бранятъ: въ ней много блистательнаго; Вигель потащился съ Блудовымъ. Вотъ исторія Арзамаса. Забылъ о Пушкинѣ молодомъ: онъ пишетъ прелестную поэму и зрѣетъ. Чтò ты пишешь? Чтò бы ни писалъ, мы все прочитаемъ съ радостію: ты наша надежда. Не покидай музу. Чтò безъ нея въ жизни? Пожалѣй обо мнѣ: я ничего не пишу и долго писать не буду, до временъ счастливѣйшихъ! Обнимаю усердно тебя, милый и безцѣнный другъ. Если вздумаешь писать, то адресуй письмо къ Карамзину: онъ будетъ знать о мѣстѣ моего пребыванія; ѣду къ нему, вручу ему это письмо и прощусь послѣ обѣда. Какъ ни скученъ Петербургъ, но тамъ, гдѣ живутъ Карамзины, Салтыковъ, Уваровъ, Тургеневъ, Сѣверинъ, можно найти веселыя минуты и отдохнуть умомъ и сердцемъ. Прости въ послѣдній разъ до Тавриды. Обними дѣтей, которыя меня знаютъ подъ именемъ дурака.

V. Къ В. А. Жуковскому.

1. — 26-го іюля 1810 г. (Деревня). На силу, любезный другъ, собрался я съ силами, на силу могу писать къ тебѣ. Я и теперь такъ боленъ, такъ слабъ, что ни мыслить, ни писать не могу. Однакоже дай собраться съ силами!... Я васъ оставилъ en impromptu, уѣхалъ какъ Эней, какъ Тезей, какъ Улиссъ отъ... (потому что присутствіе мое было необходимо здѣсь въ деревнѣ, потому что мнѣ стало грустно, очень грустно въ Москвѣ, потому что я боялся заслушаться васъ, чудаки мои). По прибытіи моемъ сюда, болѣзнь моя, tic douloureux, такъ усилилась, что я девятый день лежу въ постелѣ. Боль, кажется, уменьшилась, и я очень бы былъ неблагодаренъ тебѣ, любезный Василій Андреевичъ, еслибы не написалъ нѣсколько словъ: дружество твое мнѣ

будетъ всегда драгоцѣнно, и я могу смѣло надѣяться, что ты, великій чудакъ, могъ замѣтить въ короткое время мою къ тебѣ привязанность. Дай руку, и болѣе ни слова!

Музы, музочки не отстаютъ и отъ больнаго. Посылаю тебѣ опытъ въ прозѣ, который, если хочешь, напечатай, но экземпляръ мой непремѣнно возврати назадъ, ибо у меня все тутъ: и черное, и бѣлое. Поправь, что̀ найдешь поправить. Посылаю Мечту для Собранія. Да еще voilà des petits vers, то-есть, подражаніе (Вяземскій улыбнется), подражаніе Парни Le torrent, которое, если тебѣ очень понравится, то возьми въ Собраніе, или сожги на огнѣ. Въ немъ надобно кой-что поправить. Исправь, любезный мой Аристархъ! А это выраженіе: «Я къ тебѣ прикасался» оставь. Оно взято изъ Тибулла и, кажется, удачно. О прозѣ не говори Каченовскому, что я—ея сочинитель, ибо я этого не хочу, ибо я маралъ это отъ чистой души, ибо я не желаю, чтобы знали посторонніе моихъ мыслей и ересей.

Я живу очень скучно, любезный товарищъ, и часто думаю о тебѣ. Болѣзнь меня убиваетъ, къ этому же имѣю горести; и то, и другое меня очень разстроиваетъ. Шольё могъ писать прекрасные стихи, воспѣвать Лизу и мечтать подъ каштановыми деревьями Фонтенейскаго сада: онъ жилъ въ счастливое время. Подагра у него была въ ногахъ, а не въ головѣ; а у меня въ головѣ сильный ревматизмъ, который набрасываетъ тѣнь на всѣ предметы. Пожалѣй обо мнѣ! И не знаю, когда будетъ конецъ моимъ мученьямъ! Теперь я въ тѣ короткія минуты, въ которыя госпожа болѣзнь уходитъ изъ мозгу, читаю Монтаня и услаждаюсь. Я что-нибудь изъ него тебѣ пришлю. О стихахъ и думать нельзя съ моей болѣзнью.

Тебѣ, здоровый счастливецъ, тебѣ можно переселяться въ страну поэзіи, которая создана счастливымъ началомъ для услажденія нашихъ горестей: ты здоровъ, какъ быкъ. Пиши своего Володиміра и пришли кое-что сюда. Я долго здѣсь пробуду: стряхни лѣнь для дружбы. Письма твои мнѣ будутъ

утѣшеніемъ въ этой безмолвной, дикой пустынѣ, въ жилищѣ волковъ и поповъ. Поручаю тебя Фебу. Константинъ Батюшковъ.

Адресъ мой: въ Череповецъ, Новгородской губерніи.

Я къ Мечтѣ прибавилъ Горація: кажется, онъ у мѣста, et il fera bon contraste avec le scalde; я болѣе его трогать не намѣренъ. Если что̀ найдешь, поправь самъ. Прощай еще разъ. Если я буду здоровѣе, то напишу поумнѣе.

2. — 12-го апрѣля 1812 г. (Петербургъ). Любезный и милый другъ Василій Андреевичъ! Тому уже болѣе года, какъ я разстался съ тобою, а отъ тебя ни строчки не имѣю и, вѣрно, не могъ бы знать, живъ ли ты или умеръ, еслибъ Тургеневъ и Вяземскій меня не увѣрили, что ты и живъ, и здоровъ, и потихонечку поживаешь въ своемъ Бѣлевѣ, какъ мышь, удалившаяся отъ свѣта. Но гдѣ бы ты ни былъ, любезный другъ, Батюшковъ тебя вездѣ найдетъ, ибо онъ тебя любитъ и почитаетъ. Сколько происшествій со времени твоего печальнаго отъѣзда изъ Москвы! Вяземскій женился, какъ путный человѣкъ, но я не былъ свидѣтелемъ его чудесной женитьбы: я уже былъ въ деревнѣ и долго не могъ повѣрить сему послѣднему диву. Проживъ въ совершенномъ уединеніи шесть мѣсяцовъ, я пріѣхалъ въ Петербургъ, Богъ знаетъ за чѣмъ, и вотъ теперь здѣсь по маленьку поживаю, въ пріятной надеждѣ съ тобой увидѣться на берегахъ Невы, которые — признаться тебѣ — во сто разъ скучнѣе нашихъ московскихъ. Я умеръ бы отъ скуки, еслибъ не нашелъ здѣсь Блудова, Тургенева и Дашкова. Съ первымъ я познакомился очень коротко, и не мудрено: онъ тебя любитъ, какъ брата, какъ любовницу, а ты, мой любезный чудакъ, наговорилъ много добраго обо мнѣ, и Дмитрій Николаевичъ ужъ готовъ былъ меня полюбить. Съ нимъ очень весело. Онъ уменъ, какъ ты, но не столько милъ, признаться тебѣ: милѣе тебя нѣтъ ни одного смертнаго. Тургеневъ тебя ожидаетъ нетерпѣливо и въ ожиданіи твоего пріѣзда завтракаетъ преисправно. Этого человѣка я давно знаю и люблю, ибо онъ очень

любезенъ и уменъ, и веселъ, но все-таки не Жуковскій. Дашковъ имѣетъ большія свѣдѣнія и притомъ лѣнивъ, какъ и нашъ братъ, за что̀ ему спасибо, но и онъ все-таки не Жуковскій. Тебя мнѣ надобно! Пріѣзжай сюда, мой милый другъ! Мы тебя угостимъ и бифстексомъ, и Бесѣдой, которая ни въ чемъ не уступитъ московской богадѣльнѣ стихотворцевъ, учрежденной во славу бога Морфея и богини Галиматьи, которымъ наши любезные товарищи приносятъ богатыя и обильныя жертвы. Я радуюсь ихъ успѣхамъ безъ всякой зависти, въ полной надеждѣ, что они вылѣчатъ мою безсонницу, которой я подверженъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ писать стихи безъ твоего присмотра. Вотъ тебѣ образчикъ: посланіе къ Пенатамъ, которое подвергаю твоей строгой критикѣ. Прочти его и переправь то, что̀ замѣтишь; если и вся піеса не годится, скажи: я ее сожгу безъ всякаго замедленія; а если понравится, похвали: я имѣю нужду въ твоей похвалѣ, ибо ее цѣнить умѣю. Не полѣнись, мой милый другъ, пересмотрѣть и переправить ошибки и свои замѣчанія пришли поскорѣе: я хочу ее печатать. Прости, будь здоровъ, счастливъ и счастливѣе прошлогодняго. Не забывай меня, не забывай Батюшкова, который умѣетъ дорожить твоей дружбой.

P. S. И. И. Дмитріевъ часто о тебѣ вспоминаетъ. Кстати: что̀ ты дѣлаешь съ сочиненіями Михаила Никитича? Не стыдно ли такъ долго держать и ничего не сдѣлать?!!! Адресуй письмо къ Блудову, если мнѣ отвѣчать будешь, въ чемъ я не сомнѣваюсь.

3.—(Іюнь 1812 г. Петербургъ). Благодарю тебя, мой милый и любезный другъ, за твое письмо, въ которомъ я имѣлъ истинную нужду, первое—потому что я тебя люблю, а второе—потому что имѣю нужду въ твоей похвалѣ или брани. Твои отеческія наставленія—какъ писать стихи, я принимаю съ истинною благодарностью: признаюсь однакоже, что ими воспользоваться не могу. Я пишу мало и пишу довольно медленно; но останавливаться на всякомъ словѣ, на всякомъ стихѣ, перепи-

сывать, марать и скоблить... нѣтъ, мой милый другъ, это не стоитъ того: стихи не стоятъ того времени, которое погубишь за ними, а я знаю, какъ его употреблять съ пользою: у меня есть, благодаря Бога, вино, друзья, табакъ... Я весь переродился: боленъ, скученъ и такъ хилъ, такъ хилъ, что не переживу и моихъ стиховъ. Тогда поминай, какъ звали! Шутки въ сторону: я самъ на себя не похожъ, и между тѣмъ какъ ты съ друзьями, или музой, или съ нимфою, или съ чертями, которыхъ я люблю какъ душу съ тѣхъ поръ, какъ ты имъ посвятилъ свою лиру, между тѣмъ какъ ты наслаждаешься свободою, сельскимъ воздухомъ.

Tu jouis du printemps, du soleil, d'un beau jour,—

я сижу одинъ съ распухшею щекою, съ больнымъ желудкомъ и гнѣваюсь на погоду и на стихи, только не на свои, разумѣется, (ей Богу, ихъ никогда не читаю), а на чужіе, мой другъ, на стихи нашихъ Москвичей, которые часъ отъ часу болѣе и болѣе пресмыкаются, на стихи нашихъ невскихъ гусей, которые что̀ день, то ода, что̀ недѣля, то трагедія, что̀ мѣсяцъ, то поэма, и все такъ глупо и плоско... Я забылъ, что лѣкарь мнѣ не велѣлъ сердиться! Утѣшь насъ, мой милый другъ, пришли намъ своего Драйдена, который, конечно, доставитъ намъ нѣсколько пріятныхъ дней. Пришли намъ свое посланіе къ Плещееву, которое, говорятъ, прелестно. Пришли намъ свою балладу, которой мы станемъ восхищаться, какъ Спящими Дѣвами, какъ Людмилой; пришли намъ Бога ради все, что̀ имѣешь новаго, если не на похвалу, такъ на съѣденіе, и будь увѣренъ, что никто, кромѣ насъ, безъ твоего разрѣшенія, ни строки не увидитъ. Пришли мнѣ твое посланіе, которое я ожидаю съ нетерпѣніемъ, какъ свидѣтельство въ храмъ славы и безсмертія, и—что̀ всего лестнѣе для моего сердца—какъ свидѣтельство твоей дружбы къ бѣдному, хилому Батюшкову, который тебя любить умѣетъ. Я бы тебѣ поговорилъ поболѣе о Дм. Ник. Блудовѣ, еслибъ онъ этого письма не прочиталъ. Дашковъ тебѣ приписываетъ. О Тургеневѣ скажу тебѣ, что онъ очень разсѣянъ, занятъ дѣлами и—

подивись этому!—какою-то Лаурою: онъ влюбленъ не на шутку. Поблагодари его за меня, любезный Жуковскій. Тургеневъ мнѣ оказалъ много услугъ, и я очень, очень худо отвѣчаю на доброе мнѣніе, которое онъ обо мнѣ имѣетъ. Твоей дружбѣ я обязанъ его ко мнѣ добрымъ расположеніемъ. Еще разъ: если будешь писать къ нему, поблагодари его за меня и докажи ему собственнымъ примѣромъ, что поэтъ, чудакъ и лѣнтяй—одно и то же, чтобъ онъ не удивлялся моему поведенію и характеру, которые совершенно сообразны съ лѣнью и безпечностію, и докажи ему, что безъ лѣни я писалъ бы еще хуже или не писалъ бы ничего. Буди съ тобою сила Аполлонова и благословеніе дѣвъ парнасскихъ!

P. S. Напиши самъ письмо къ Ивану Матвѣевичу о твоемъ дѣлѣ. Я берусь за исполненіе твоей просьбы, но надобно, чтобъ ты самъ его попросилъ. Успокой меня, Катерину Ѳедоровну и свою совѣсть.

Прости, отшельникъ мой,
Бѣлева мирный житель!
Да будетъ Фебъ съ тобой,
Твой богъ и покровитель!
Будь счастливъ, нашъ Орфей,
Харитъ любимецъ скромной!
Какъ юный соловей
Въ глуши дубравы темной
Съ подругой дни ведетъ,
Съ подругой засыпаетъ—
Невидимый поэтъ,
Невидимо плѣняетъ
Пастушекъ, пастуховъ
И жителей пустынныхъ,—
Такъ ты, краса пѣвцовъ,
Среди забавъ невинныхъ
Въ отчизнѣ золотой
Прелестны гимны пой
Подъ сѣнію свободы,
Достойные природы
И юныя весны!
Тебѣ—одна лишь радость,
Мнѣ—горести даны!
Какъ сонъ проходитъ младость
И счастье прежнихъ дней!

Все сердцу измѣнило:
Здоровье легкокрыло
И другъ души моей.
Я сталъ подобенъ тѣни,
Къ смиренью сердецъ,
Сухъ, блѣденъ, какъ мертвецъ:
Дрожатъ мои колѣни,
И ноги ходуномъ;
Глаза потухли, впали,
Спина дугой къ землѣ,
И скорби начертали
Морщины на челѣ.
Вся, вся изчезла сила
И доблесть юныхъ лѣтъ.
Увы, мой другъ, и Лила
Меня не узнаетъ!
Кивая головою,
Мнѣ молвила она,
Какъ древле Громобою
Учтивый сатана:
«Усопшій, миръ съ тобою!
«Усопшій, миръ съ тобою!»
Ахъ, это ли одно
Мнѣ рокомъ суждено
За стары прегрѣшенья?...
Нѣтъ, новыя мученья,
Достойныя бѣсовъ:
Свои стихотворенья
Читаетъ мнѣ Хвостовъ,
И съ нимъ пѣвецъ досужій,
Его покорный бѣсъ,
Какъ онъ, на риѳмы дюжій,
Какъ онъ, головорѣзъ:
Поютъ и напѣваютъ
Съ ночи до бѣла дня,
Читаютъ мнѣ, читаютъ,
И до смерти меня
Убійцы зачитаютъ!

Прости, будь счастливъ и здоровъ; приготовь мнѣ эпитафію и не забудь въ ней сказать, что я любилъ тебя, какъ друга. Твой Батюшковъ.

Приписки А. И. Тургенева и Д. В. Дашкова.

Здравствуй, милый Жуковскій! Не сердись на меня за молчаніе и докажи это, написавъ ко мнѣ хоть нѣсколько строкъ. Не забудь пріѣхать обѣдать къ

намъ въ Петербургъ на 1812 году: бифштексъ, англійская горчица будутъ готовы! Присылай свои новыя сочиненія и люби твоего Тургенева. Я буду много писать къ тебѣ: теперь душа не на мѣстѣ. Любовь унесла надежду, надежду, мой сладкій удѣлъ. Я долженъ былъ отправить это письмо къ Дашкову и къ Блудову для приписанія, но боюсь, чтобъ онъ не задержалъ его. Братъ тебѣ кланяется. Онъ готовится въ министры финансовъ. Право, дѣльный малой. Будетъ прокъ!

И я любезному Василью Андреевичу свидѣтельствую мое искреннее почтеніе.

Дашковъ.

4. —30-го іюня 1813 г. (Петербургъ). Тургеневъ провелъ сегодня вечеръ у графа Строганова вмѣстѣ со мною и такъ занемогъ, что писать къ тебѣ, мой добрый Василій Андреевичъ, не въ силахъ, а писать есть о чемъ: слухъ носится, что тебѣ назначена Анна 2-го класса, и Тургеневъ тебя велѣлъ съ ней поздравить: онъ слышалъ отъ служащихъ при военномъ министрѣ о сей государевой милости. Дай обнять тебя, старый мой другъ! Дай раздѣлить съ тобою твою радость, радость, ибо пріятно получить то, что̀ заслужилъ; а ты, нашъ балладникъ, чудесъ надѣлалъ, если не шпагою, то лирой. Ты на полѣ Бородинскомъ pro patria подставилъ одну изъ лучшихъ головъ на сѣверѣ и доброе, прекрасное сердце. Слава Богу! Пули мимо пролетѣли: самъ Фебъ тебя спасъ. Будь же благодаренъ: пиши, и пиши болѣе, но что-нибудь поважнѣе, и менѣе печатай въ Вѣстникѣ: онъ не стоитъ твоихъ стиховъ, и тебѣ пора заняться предметомъ, достойнымъ твоего таланта. Вотъ совѣтъ человѣка, который и тебя, и дружбу твою уважаетъ, и тобой, какъ Русскій и какъ пріятель, гордится.

Еще два слова: сегодня Оленинъ, которому И. И. Дмитріевъ поручалъ нарисовать для Пѣвца виньеты, показывалъ мнѣ сдѣланные имъ рисунки. Они прекрасны, и ты ими будешь доволенъ. Жаль, что изданіе не прежде мѣсяца готово будетъ. На одномъ изъ виньетовъ изображенъ вдали станъ при лунномъ сіяніи и въ облакахъ тѣни Петра, Суворова и Святослава, геніевъ Россіи. Твои куплеты подали идею сего рисунка. Прости, еще разъ прости и не забывай твоего Батюшкова.

5. 3-го ноября 1814 г. (Петербургъ). Я часто сбирался писать къ тебѣ, мой милый другъ, и до сихъ поръ не знаю, что могло помѣшать. Къ несчастію моему, я уже давно въ Петербургѣ. Къ несчастію!... Развѣ ты не знаешь, что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ нѣкотораго времени, и что пріятелю твоему нуженъ осѣдлокъ, какъ говоритъ Шишковъ, пристанище, гдѣ онъ могъ бы собраться съ духомъ и силами душевными и тѣлесными, могъ бы дышать свободнѣе въ кругу такихъ людей, какъ ты, напримѣръ? И много ли мнѣ надобно? Цвѣты и убѣжище, какъ говоритъ терзатель Делиля, нашъ злой и добрый духъ, который прогуливается на землѣ въ видѣ Воейкова. Къ несчастію, ни цвѣтовъ, ни убѣжища! Однѣ заботы житейскія и горести душевныя, которыя лишаютъ меня всѣхъ силъ душевныхъ и способовъ быть полезнымъ себѣ и другимъ. Какъ мы перемѣнились съ онаго счастливаго времени, когда у Дѣвичьяго монастыря ты жилъ съ музами въ сладкой бесѣдѣ! Не знаю, былъ ли тогда счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни попеченій, ни предвидѣнія! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени. Я самъ крутился въ вихрѣ военномъ и, какъ слабое насѣкомое, какъ бабочка, утратилъ мои крылья. До Парижа я шелъ съ арміей, въ Лейпцигѣ потерялъ добраго Петина. Ты будешь всегда помнить этого молодаго человѣка: рѣдкая душа — и такъ рано погибнуть! Въ Парижъ я вошелъ съ мечемъ въ рукѣ. Славная минута! Она стоитъ цѣлой жизни. Два мѣсяца я кружился въ вихрѣ парижскомъ; но повѣришь ли? Посреди чудеснаго города, среди разсѣянія я былъ такъ грустенъ иногда, такъ недоволенъ собою — отъ усталости, конечно. Изъ Парижа въ Лондонъ, изъ Лондона въ Готенбургъ, въ Стокгольмъ. Тамъ нашелъ Блудова; съ нимъ въ Або и въ Петербургъ. Вотъ моя Одиссея, по истинѣ Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣяннымъ

по лицу земному. Каждаго изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ: кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фуріи, а меня — Скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно — въ гнѣвѣ своемъ, сдѣлалось моимъ мучителемъ. Я вижу его безполезность для общества и для себя. Что̀ въ немъ, мой милый другъ, и чѣмъ замѣню утраченное время? Дай мнѣ совѣтъ, научи меня, наставь меня: у тебя доброе сердце, умъ просвѣщенный; будь же моимъ вожатымъ! Скажи мнѣ, къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пустоту душевную; скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ! Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Херонеѣ; я не Плутархъ, къ несчастію, и не имѣю довольно философіи, чтобы заняться бездѣлками. Что̀ же дѣлать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствіе, тысячу надеждъ, тысячу очарованій и въ себѣ, и кругомъ себя, и твое дарованіе безцѣнное.

Если захочешь, можешь отвѣчать на мой бредъ. Теперь поговоримъ о дѣлѣ священномъ для тебя и для меня по многимъ причинамъ: списка сочиненій Муравьева я не получалъ, и съ кѣмъ ты послалъ — не знаю. Милый другъ, тебѣ дано порученіе по твоему произволу, и ты до сихъ поръ ничего не сдѣлалъ! Карамзинъ, занятый постоянно важнѣйшимъ дѣломъ, какое когда-либо занимало гражданина, нашелъ свободное время для исправленія рукописей Муравьева. Я не стану тебѣ дѣлать упрековъ, но долгомъ поставлю отъ лица общества просить тебя снова начать прерванный трудъ. Доставь мнѣ списокъ исправленный стиховъ по крайней мѣрѣ и съ вѣрной оказіей. Я беру на себя трудъ издателя. Доставь его въ скоромъ времени. Здѣсь я перебираю прозу. Вотъ мое единственное и сладостное занятіе для сердца и ума. Сколько воспоминаній! Перечитывая эти безцѣнныя рукописи, я дышу новымъ воздухомъ, бесѣдую съ новымъ человѣкомъ, и съ какимъ? Нѣтъ, никогда не повѣрю, чтобъ ты

лѣнь предпочелъ удовольствію заниматься и трудиться надъ остатками столь рѣдкаго дарованія, надъ прекраснымъ наслѣдствомъ нашимъ! Сдѣлай маленькое предисловіе, то, что̀ сдѣлалъ Николай Михайловичъ въ своемъ изданіи. «Жизнь» будетъ не нужна. Нѣсколько строкъ твоей прозы и твое имя—вотъ о чемъ прошу тебя, жестокій! Бога ради, пришли скорѣе все; иначе я и Блудовъ, мы утратимъ половину нашего уваженія къ тебѣ: любить тебя менѣе будемъ, если это возможно. Ты не похожъ на нашего пріятеля ***, который, на мѣсто замѣчаній на мое письмо о Муравьевѣ, прислалъ мнѣ кучу площадныхъ шутокъ, достойныхъ Пушкина. Я долгомъ, и священнымъ долгомъ, поставлю себѣ возвратить обществу сочиненія покойнаго Муравьева. Между бумагами я нашелъ Письма Емиліевы, составленныя изъ отрывковъ: ихъ-то я хочу напечатать. Я увѣренъ, что они будутъ полезны для молодости и пріятное чтеніе для ума просвѣщеннаго, для добраго сердца. Воейковъ, изъ пріязни ко мнѣ (я и не смѣю думать, чтобъ моя проза имѣла какое-нибудь достоинство), Воейковъ назначилъ нѣсколько моихъ піесъ и между ними письмо о Муравьевѣ. Ты имѣешь его. Замѣть то, что̀ тебѣ не понравится: ошибки противъ слога. Прибавь, если хочешь. Это письмо будетъ имѣть интересъ: я говорилъ о нашемъ Фенелонѣ съ чувствомъ; я зналъ его, сколько можно знать человѣка въ мои лѣта. Я обязанъ ему всѣмъ и тѣмъ, можетъ быть, что я умѣю любить Жуковскаго. Еще разъ повторяю: изъ двухъ книгъ Муравьева, Карамзинымъ изданныхъ, изъ стиховъ и прозы, которыхъ ты наберешь, изъ Писемъ Емилія, которыя я намѣренъ напечатать, мы составимъ нѣчто цѣлое. Катерина Өедоровна не пожалѣетъ денегъ на изданіе: она любитъ и гордится славою своего незабвеннаго друга. Вотъ будетъ книга рѣдкая у насъ въ Россіи! Это изданіе меня занимаетъ. Ты не разсѣешь, конечно, моей надежды. Лѣность твоя не можетъ быть извиненіемъ, когда дѣло идетъ о пользѣ общественной и о выгодахъ мертваго.

Тургеневъ сказывалъ мнѣ, что ты пишешь балладу. Зачѣмъ

не поэму? Зачѣмъ не переводишь ты Попа посланіе къ Абеляру? Чудакъ! Ты имѣешь все. чтобъ сдѣлать себѣ прочную славу, основанную на важномъ дѣлѣ. У тебя воображеніе Мильтона, нѣжность Петрарки... и ты пишешь баллады! Оставь бездѣлки намъ! Займись чѣмъ-нибудь достойнымъ твоего дарованія. Вотъ мое мнѣніе: оно чистосердечно. Пускай другіе кадятъ тебѣ; я лучше умѣю: я чувствую, наслаждаюсь, восхищаюсь твоимъ геніемъ и признаюсь, сожалѣю о томъ, что ты не избралъ медленнаго, но постояннаго и вѣрнаго пути къ славѣ. Къ славѣ! Она не пустое слово; она вѣрнѣе многихъ благъ бреннаго человѣчества. Когда-нибудь поговорю о моихъ мараньяхъ. Говорить о Муравьевѣ и потомъ о Жуковскомъ, и заключить собою—это противно вкусу и разсудку. Теперь прости, милый другъ! Помни меня, люби меня и пожалѣй о добромъ Батюшковѣ, который все утратилъ въ жизни, кромѣ способности любить друзей своихъ. Онъ никогда не забудетъ тебя; онъ гордится тобою. К. Б.

Не у тебя ли Муравьева Письма къ молодому человѣку объ исторіи?

6.—Августа, числа не знаю (1815 г.). Каменецъ. Благодарю тебя, милый другъ, за нѣсколько строкъ твоихъ изъ Петербурга и за твои совѣты изъ Москвы и Петербурга. Дружба твоя—для меня сокровище, особливо съ нѣкоторыхъ поръ. Я не сливаю поэта съ другомъ. Ты будешь совершенный поэтъ, если твои дарованія возвысятся до степени души твоей, доброй и прекрасной, и которая блистаетъ въ твоихъ стихахъ: вотъ почему я ихъ перечитываю всегда съ новымъ и живымъ удовольствіемъ, даже и теперь, когда поэзія утратила для меня всю прелесть. Радуюсь душевно, что вздумалъ издавать свои сочиненія: ты обогатишь Парнассъ и друзей. Ты много испыталъ, какъ я слышу и вижу изъ твоихъ писемъ, но все еще любишь славу, и люби ее! И мнѣ совѣтуешь броситься въ море поэзіи!... Я увѣренъ, что ты говоришь отъ сердца, и вотъ почему я скажу

себѣ, милый другъ, что обстоятельства и нѣсколько лѣтъ огорченій потушили во мнѣ страсть и жажду стиховъ. Можетъ быть, придутъ счастливѣйшія времена; тогда я буду писать, а въ ожиданіи ихъ читать твои прелестные стихи, читать и перечитывать, и твердить ихъ наизусть. Теперь я по горло въ прозѣ. Воображеніе поблѣднѣло, но не сердце, къ счастію, и я этому радуюсь. Оно еще способнѣе, нежели прежде, любить друзей и чувствовать все великое, изящное. Страданія его не убьютъ, милый другъ, а надежда быть тебя достойнымъ дастъ ему силу. Вотъ все, что̀ я скажу о себѣ. Когда-нибудь, въ сладостныхъ повѣреніяхъ дружбы, въ тихомъ углу твоемъ (въ Москвѣ или Петербургѣ, гдѣ случится), ты узнаешь болѣе. Но когда же будетъ это свиданіе дружбы? Тусклая надежда! Кстати о прозѣ напечатанной: Костогоровъ показывалъ мнѣ программу изданія прозы Воейкова. Профессоръ дерптскій, за неимѣніемъ лучшаго, вписалъ мои бездѣлки, бездѣлки по совѣсти, и которыя не стоятъ быть помѣщены въ изданіи его подъ громкимъ титуломъ Образцовыхъ Сочиненій!!! Я ихъ перечиталъ и въ этомъ увѣрился. Но если онъ заупрямится ихъ оставить, то напиши ко мнѣ, что̀ ты хочешь напечатать въ прозѣ: я пришлю исправленные списки, и особенно Финляндіи. Все сдѣлаю, что̀ могу, въ угоду великолѣпному дерптскому профессору, который ни въ какомъ мѣстѣ не забываетъ своихъ друзей. Поблагодари его за пріятное воспоминаніе о Батюшковѣ и спроси, какъ я хохоталъ въ Москвѣ, читая:

Сердце наше—кладязь мрачный,

и наконецъ:

Крокодилъ на днѣ лежитъ.

Скажи ему, что я... на Парнассѣ съ нимъ разсчитаюсь, но люблю его по прежнему, и не за что̀ сердиться! Есть за что̀ сердиться на Дашкова, который не довольно уважалъ меня и потому не показалъ мнѣ эту шутку. Теперь о дѣлѣ. Кончи Муравьева изданіе и покажи мнѣ часть стиховъ. Я желалъ бы, чтобы напечатали только достойное Михаила Никитича и издателя. И есть

что̀! Но это золото не для нашей публики: она еще слишкомъ молода и не можетъ чувствовать всю прелесть краснорѣчія и прекрасной души. Упрямое молчаніе объ этихъ книгахъ нашихъ журналистовъ не дѣлаетъ чести ни вкусу ихъ, ни уму; я прибавлю: ниже сердцу, ибо всѣ были обязаны менѣе или болѣе покойному Муравьеву, который не имѣетъ нужды въ ихъ похвалѣ. Послѣ Муравьева говорить о себѣ позволено съ другомъ. Я желалъ бы, чтобъ Жуковскій заглянулъ въ списокъ моихъ стиховъ у Блудова и съ нимъ замѣтилъ то, что̀ стоитъ печатанія, и то, что̀ предать огню-истребителю. У меня Брутово сердце для стихотворныхъ дѣтей моихъ: или слава, или смерть! Ты смѣешься, милый другъ! Но прости этому припадку честолюбія и согласись замѣтить кое-что, и притомъ скажи мнѣ, какъ думаешь о моей повѣсти: Странствователь и Домосѣдъ, которую у меня Мерзляковъ подцѣпилъ въ Москвѣ, напечаталъ, не дождавшись моихъ поправокъ, и предалъ забвенію съ риомами Анакреона-Олина и Пиндара-Шатрова? Скажи хоть словечко: писать ли мнѣ сказки, или не писать? Теперь я ничего не пишу, но впередъ? Ожидая твоего разрѣшенія, обнимаю тебя и Тургенева, и Блудова, которые меня забыли. Я ихъ не забуду, вопреки имъ, особливо послѣдняго. Весь твой окаменѣлый житель Каменца.

Приписка г-на Герке. Si vous vous ressouvenez d'une de vos anciennes connaissances Goerké, il saisit ce moment pour se rappeler à votre souvenir. Vous voyez, que pour faire parvenir son hommage à un élève d'Apollon, il a assez de modestie, pour se mettre sous les auspices d'un de ses dignes confrères. Adieu!

Видишь ли, какъ пишутъ у насъ въ Каменцѣ? Право, хоть куда!

Le seigneur de Батюшковъ a un accès de misanthropie: чтобъ всѣмъ было извѣстно. Если увидите Александра Ивановича Тургенева, то прошу засвидѣтельствовать ему мое почтеніе и сказать ему, что какъ я вмѣстѣ живу съ Константиномъ Николаевичемъ, то нельзя, чтобъ я не сдѣлался піитомъ и ораторомъ.

NB. Ораторъ—отъ слова орать, кричать (смотри 367 стр. Словаря Росс. Академіи).

7. — (Середина декабря 1815 г.). Каменецъ. Благодарю тебя, милый другъ, за письмо твое, унизанное столь мелкими буквами,

что я съ трудомъ его перечитываю. Вѣрь мнѣ, что по чувствамъ ты мнѣ родной, если не по таланту, что я достоинъ сего сердечнаго изліянія, сей откровенности, которая дышетъ въ твоемъ письмѣ. Во всемъ согласенъ съ тобою на счетъ поэзіи. Мы смотримъ на нее съ надлежащей точки, о которой толпа и понятія не имѣетъ. Большая часть людей принимаютъ за поэзію риѳмы, а не чувство, слова, а не образы. Богъ съ нею. Но, милый другъ, если ты имѣешь дарованіе небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сдѣлаешь того, что̀ Карамзинъ: онъ избралъ себѣ одно занятіе, одно поприще, куда уходитъ отъ страстей и огорченій: тайная земля для профановъ, истинное убѣжище для души чувствительной. Послѣдуй его примѣру. Ты имѣешь талантъ рѣдкій: избери же землю, достойную его, и приготовь для будущаго новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастіе любимцамъ прекраснаго. Что до меня касается, милый другъ, то я готовъ бы отказаться вовсе отъ музъ, если бы въ нихъ не находилъ еще нѣкотораго утѣшенія отъ душевной тоски. Четыре года шатаюсь по свѣту, живу одинъ съ собою, ибо съ кѣмъ мнѣ мѣняться чувствами? Ничего не желаю, кромѣ довольствія и спокойствія, но послѣдняго не найду, конечно. Испыталъ множество огорченій и износилъ душу до времени. Что̀ же тутъ остается для поэзіи, милый другъ? Весьма мало! Слабый лучъ того огня, который ты называешь въ письмѣ своемъ огнемъ весталокъ; но мы его не потушимъ! Я подалъ просьбу въ отставку: ѣду въ Москву и пробуду тамъ—долго ль, коротко ль, не знаю. Желаю съ тобой увидѣться на старыхъ пепелищахъ, которыя я люблю, какъ святыню. Кончи свои дѣла и пріѣзжай туда. Гранитные берега Невы не должны удерживать тебя. Что же касается до твоихъ плановъ въ Тавриду черезъ Кіевъ, если это не мечтаніе, а твердое намѣреніе, то я желаю тебѣ успѣха, но тебѣ сопутствовать не могу. Судьба велитъ иначе. «Какъ можно лгать?» ты пишешь. Вѣрю тебѣ и радуюсь, что Муравьева сочиненія не затеряны. Нахожу твое намѣреніе прекраснымъ и порядокъ матерій; не

полѣнись, милый другъ, сдѣлай маленькое предисловіе, а мое письмо, если находишь его достойнымъ, въ конецъ книги. Совѣтовалъ бы тебѣ посвятить все изданіе государю или испросить позволеніе его напечатать; но это сдѣлай отъ своего имени, переговоря съ Катериной Ѳедоровной. Для стиховъ я могъ бы быть полезенъ: я поправляю или, лучше сказать, угадываю мысли Михаила Никитича довольно удачно. А въ рукописи надобно многое перемѣнить и лучше печатать одно хорошее, достойное его и тебя, нежели все безъ разбору. Нѣсколько писемъ, неподражаемыхъ памятниковъ лучшаго сердца и прекраснѣйшей души, которая когда-либо посѣщала эту грязь, которую мы называемъ землею, нѣсколько писемъ не будутъ лишними. Все это для людей истинно образованныхъ, не для черни читателей. Сочиненія Муравьева, конечно бы, могли сіять и во французской словесности: мы слишкомъ молоды для такого рода чтенія. Но со временемъ будетъ иначе. Пересмотри и мое маранье въ жертву дружеству. Оно у Блудова переписано. Пересмотри съ нимъ наединѣ и замѣть, что̀ надобно выбросить. Когда-нибудь (въ лучшіе дни) я это напечатаю. Переправлять не буду, кромѣ глупостей, если найдутся. Я слишкомъ много переправляю. Это мой порокъ или добродѣтель? Говорятъ, что дарованіе изобрѣтаетъ, умъ поправляетъ: если это правда, то у меня болѣе ума, нежели дарованія, слѣдственно, и писать не надобно. Кстати объ умѣ. Что у васъ за шумъ? До твоего письма я ничего не зналъ обстоятельно. Пушкинъ и Асмодей писали ко мнѣ, что Аристофанъ написалъ Липецкія воды и тебя преобразилъ въ Ѳіалкина. Пушкинъ говоритъ мнѣ, что онъ вооружается эпиграммами. Прежде сего читалъ въ Сынѣ Отечества Письмо къ Аристофану и тотчасъ по слогу отгадалъ сочинителя. Вотъ все, что̀ я зналъ. Теперь узнаю, что Аристофанъ вывелъ на сцену тебя и друзей, что у васъ есть общество, и я пожалованъ въ Ахиллесы. Горжусь названіемъ, но Ахиллъ пребудетъ бездѣйственъ на чермныхъ и черныхъ корабляхъ:

Въ печали бо погибъ и духъ его, и крѣпость.

Нѣтъ! Ахиллъ пришлетъ вамъ свои маранья въ прозѣ, для изданія, изъ Москвы. Вотъ имъ реестръ: 1) Нѣчто о морали и религіи. 2) Италіянскіе стихотворцы: Аріостъ, Тассъ и Петрарка. 3) Путешествіе въ Сире. 4) Воспоминанія словесности и отрывокъ о Ломоносовѣ. 5) Двѣ аллегоріи. 6) Искательный характеръ. 7) О лучшихъ качествахъ сердца. Это все было намарано мною здѣсь отъ скуки, безъ книгъ и пособій; но можетъ быть, отъ того и мысли покажутся вамъ свѣжѣе. Пришлю все съ удовольствіемъ, но только марайте, что̀ не понравится. Костогоровъ показывалъ мнѣ реестръ книгамъ образцовымъ; въ нихъ помѣстилъ ты, опустошитель, мою Финляндію и Похвальное слово сну: не печатай ихъ, покуда я не вышлю исправленныя: у меня есть списокъ, но я хочу перечитать это въ Москвѣ. Имени подъ прозою не подписывай: довольно съ меня грѣховъ стихословныхъ.

Графъ Сенъ-При, здѣшній губернаторъ, просилъ меня сдѣлать надпись къ портрету его брата, убитаго во Франціи. Вотъ она. Напечатай ее въ стихахъ, если понравится. Этотъ герой достоинъ лучшей эпитафіи. Истинный герой, христіанинъ, котораго я зналъ и любилъ издавна!

Надпись къ портрету графа Сенъ-Приеста.

(Русскій генералъ-лейтенантъ).

Отъ родины его отторгнула судьбина,
Но лиліямъ царей онъ всюду вѣренъ былъ
И въ нашемъ станѣ воскресилъ
Баярда древній духъ и славу (доблесть) Дюгесклина.

Или:

Отъ родины его отторгнула судьбина,
По древнимъ лиліямъ онъ всюду вѣренъ былъ
И въ нашемъ станѣ воскресилъ
Баярда подвиги и доблесть Дюгесклина.

Какъ лучше? Спроси у Кассандры и у другихъ имрековъ. Поклонъ Арзамасцамъ отъ стараго гуся. Союзникъ намъ—время: оно сложетъ Аристофана съ его драматургіей. Не видалъ его

Водъ, не знаю его Абуфара; но если они похожи на нѣкоторыя другія штучки родителя, то не о чемъ много хлопотать. До сихъ поръ, кромѣ водевиля Казака, я ничего хорошаго не знаю, а написано много. Ожидаю еще поэму Гаральдъ Храбрый и новаго облегченія комедіями, операми, оперетами, драмами, водевилями: все вмѣстѣ прочитаю однимъ духомъ. Что дѣлаетъ Бесѣда? Я люблю ее какъ душу, аки бы самъ себя. Прости, милый другъ, обнимаю тебя отъ всей души, отъ всего сердца и до свиданья въ Москвѣ. К. Б.

Вяземскій-Асмодей увѣрилъ меня, что сказка моя никуда не годится. Кто правъ, кто виноватъ? Хочу написать другую и пришлю вамъ, если обстоятельства будутъ повеселѣе. Я здѣсь чуть не умеръ съ тоски и отъ лихорадки весьма продолжительной; хочу отправиться на Липецкія воды за безсмертіемъ. Не думайте, чтобъ это была шутка. Мой характеръ очень перемѣнился: я сдѣлался задумчивъ, безмолвенъ, тихъ до глупости и даже безпеченъ, чего со мною никогда не бывало; надобно лѣчиться.

Познакомься покороче съ Муравьевымъ, съ рѣдкимъ человѣкомъ: онъ живой портретъ отца своего во многихъ отношеніяхъ, по сердцу и уму. Жаль, если его страсть къ наукѣ погаснетъ въ службѣ: мы еще потеряемъ человѣка! Но это между нами.

8.—27-го сентября (1816 г. Москва). Письмо твое, милый другъ, Батюшковъ прочиталъ съ радостію неизъяснимою, съ восхищеніемъ. Ты любишь меня: это—главное, лучшее. Читая неумѣренныя похвалы себѣ, я положилъ съ Вяземскимъ, что ты спился съ кругу долой и писалъ письмо съ похмѣлья. Исторія Мещевскаго вывела насъ изъ заблужденія. Ты писалъ трезвый, нѣтъ сомнѣнія, но и друзья твои трезвы. Они положили, приговорили, что ты ошибся и, конечно, безъ намѣренія обратилъ похвалы, тебѣ и Вяземскому принадлежащія, на бѣднаго Батюшкова, который шестой мѣсяцъ чуть на ногахъ держится.

Все это прекрасно. Въ часы самолюбія повѣришь, въ часы унынія ободришься. Но зачѣмъ критика неправосудная? Когда я писалъ: безъ дружбы и любви, то божусь тебѣ, не обманывалъ ни тебя, ни себя, къ несчастію! Это вырвалось изъ сердца. Съ горестью признаюсь тебѣ, милый другъ, что за минутами веселья у меня бывали минуты отчаянія. Съ рожденія я имѣлъ на душѣ черное пятно, которое росло, росло съ лѣтами и чуть было не зачернило всю душу. Богъ и разсудокъ спасли. На долго ли—не знаю! Я разгулялся и въ доказательство печатаю томъ прозы, низкой прозы; потомъ—стихи. Все это бремя хочется сбыть съ рукъ и подвигаться впередъ, если здоровье и силы позволятъ. Потащусь за тобой и Вяземскимъ, который истинно мужаетъ, но всего, что̀ можетъ сдѣлать, не сдѣлаетъ. Жизнь его проза. Онъ весь разсѣяніе. Такой родъ жизни погубилъ у насъ Нелединскаго. Часто удивляюсь силѣ его головы, которая на канунѣ бала или на другой день находитъ ему счастливыя риѳмы и счастливѣйшіе стихи. Пробуди его честолюбіе. Доброе дѣло сдѣлаешь, и оно предлежитъ тебѣ: онъ тебя любитъ и боится. Я увѣренъ, что ты для него совѣсть во всей силѣ слова, совѣсть для стиховъ, совѣсть для жизни, ангелъ-хранитель. А ты спрашиваешь: за что̀ тебя любятъ? И кто же? Друзья твои, которые тебя знаютъ наизусть. Не имѣю права назвать себя другомъ твоимъ азъ многогрѣшный, но пріятелемъ назову смѣло, и пріятелемъ изъ первыхъ.

Вяземскій послалъ тебѣ мои элегіи. Бога ради, не читай ихъ никому и списковъ не давай, особливо Тургеневу. Есть на то важныя причины, и ты, конечно, уважишь просьбу друга. Я ихъ не напечатаю.

Когда увидимся? Гдѣ и какъ, не знаю. Мое здоровье вянетъ примѣтнымъ образомъ, изчезаю. Послѣдніе годы меня сразили. Ты здоровъ, милый другъ: работай для славы, для дружбы. Пиши стихи; подари насъ поэмою. Вѣрь, что тебѣ знаютъ цѣну въ Россіи. Будь выше судьбы своей и не забывай высокаго назначенія своего, не забывай и выгодъ жизни. Тургеневъ мо-

жетъ быть тебѣ полезенъ. Я предлагалъ ему уговаривать тебя издавать журналъ въ Петербургѣ. Если мое желаніе сбудется, то возьми меня въ сотрудники; все сдѣлаю, что̀ могу, что̀ буду въ силахъ сдѣлать. Кончу мое письмецо. Обнимаю тебя очень, очень крѣпко. Константинъ.

9. — Іюнь 1817 г. (Деревня). Я не писалъ къ тебѣ давно, милый и любезный другъ, и даже не отвѣчалъ тебѣ на послѣднее письмо твое. Теперь нужда заставляетъ писать. Гнѣдичъ издаетъ мои проказы. Если есть у тебя лишнее время, взгляни на стихи и поправь, и выкинь (это главное) все лишнее, на что̀, конечно, издатель мой согласится. Ты не повѣришь, какъ эта затѣя меня мучитъ: издаю заочно, а самъ въ хлопотахъ. До стиховъ ли? Будь же снисходителенъ, милый другъ, исполни мою просьбу. Если есть у тебя свободный часочекъ, то скажи мнѣ, что̀ понравилось тебѣ и что̀ не понравилось. Здѣсь въ лѣсу не у кого спрашивать; я начинаю страшиться за талантъ мой, не сбился ли онъ съ добраго пути? Понравился ли мой Тассъ? Я желалъ бы этого. Я писалъ его сгоряча, исполненный всѣмъ, что̀ прочиталъ объ этомъ великомъ человѣкѣ. А Рейнъ? А другія бездѣлки? Воскреси или убей меня. Неизвѣстность — хуже всего. Скажи мнѣ, чистосердечно скажи, доволенъ ли ты мною.

Теперь, сказавши что̀ было на умѣ, скажу что̀ на сердцѣ. Поздравляю тебя, мой милый балладникъ! Душевно радуюсь твоему счастію (я говорю: счастію, за неимѣніемъ другаго слова) и поздравляю вмѣстѣ и царя—онъ сдѣлалъ истинно прекрасное дѣло, и поздравляю себя и всѣхъ добрыхъ людей, ибо мы, конечно, будемъ имѣть отъ тебя что-нибудь новое, славное, достойное тебя. Я не писалъ къ тебѣ во время онаго: не зналъ— гдѣ ты. Теперь изъ письма Гнѣдича вижу, что ты въ Питерѣ. Вяземскій у васъ, и тебѣ, конечно, съ нимъ весело, а у меня слюнки текутъ. Ты мнѣ не сказалъ спасибо за надпись къ ясному лицу твоему, а я писалъ ее съ такимъ удовольствіемъ по заказу оптолюбца, нашего Каченовскаго. Право, ты въ долгу

передо мною: не прислалъ мнѣ своего Пѣвца на Кремлѣ, и я его до сихъ поръ и въ глаза не знаю, отъ Вяземскаго не могъ добиться. Теперь вы, конечно, въ вихрѣ. Когда Богъ приведетъ обнять Блудова? Скажи ему, и скажешь истину, что я его люблю, какъ душу. Гдѣ Дашковъ? Что дѣлаетъ ораторъ слабыхъ женъ и черножелтый Жихаревъ? Благодари Тургенева за Попову: онъ сдѣлалъ доброе дѣло за маленькіе стихи.

Что̀ скажешь о моей прозѣ? Съ ужасомъ дѣлаю этотъ вопросъ. Зачѣмъ я вздумалъ это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни: самые стихи, которые мнѣ стоили столько, меня мучатъ. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я велъ для стиховъ? Три войны, все на конѣ и въ мирѣ на большой дорогѣ. Спрашиваю себя: въ такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совѣсть отвѣчаетъ: нѣтъ. Такъ зачѣмъ же печатать? Бѣда, конечно, не велика: побранятъ и забудутъ. Но эта мысль для меня убійственна, убійственна, ибо я люблю славу и желалъ бы заслужить ее, вырвать изъ рукъ Фортуны, не великую славу, нѣтъ, а ту маленькую, которую доставляютъ намъ и бездѣлки, когда онѣ совершенны. Если Богъ позволитъ предпринять другое изданіе, то я все переправлю: можетъ быть, напишу что-нибудь новое. Мнѣ хотѣлось бы дать новое направленіе моей крохотной музѣ и область элегіи расширить. Къ несчастію моему, тутъ-то я и встрѣчусь съ тобой. Павловское и Греево кладбище!.. Они глаза колятъ!

Долго ли ты проживешь въ Питерѣ? Я сбирался въ Тавриду, на Кавказъ, и ни съ мѣста! Можетъ быть, буду въ Петербургѣ и желалъ бы знать, застану ли тебя. Мы съ тобой такъ давно не видались. Съ тѣхъ поръ мы такъ состарѣлись, что наше свиданіе въ сторону радость! право, интересно. И на автора Жуковскаго хотѣлось бы взглянуть, и на этого добраго пріятеля, которому я обязанъ лучшими вечерами въ жизни моей! Автора я тотчасъ въ сторону, а выложи мнѣ Василья, котораго я всегда любилъ. Я все тотъ же: меня ничто не ба-

ловало. Посмотрю на тебя! Во всѣхъ отношеніяхъ свиданіе съ тобою для меня урокъ и радость. Но когда?.... Что Вяземскій у васъ затѣваетъ? Я желалъ бы его видѣть въ службѣ или за дѣломъ, менѣе съ нами праздными (пусть и потеряю черезъ то!), а болѣе въ прихожей у честолюбія. Точно ли ѣдетъ онъ въ чужіе краи? Зачѣмъ, куда? Съ княгиней онъ или одинъ въ Петербургѣ? Пишетъ ко мнѣ пьяный: на силу письмо разберешь. Поцѣлуй его прямо въ лобъ. Я писалъ къ нему когда-то, что теперь согласенъ на предложеніе твое работать съ тобою. Все. что̀ есть у меня (много переводовъ въ прозѣ съ италіянскаго), все твое. Но увѣдомь меня, не полѣнись, что̀ ты затѣваешь, какого рода книгу, и какъ. и гдѣ. Я хотѣлъ было самъ издать, но болѣзнь не позволяетъ. Я все хвораю: то грудь, то нога. Это меня бѣситъ: ничего не могу сдѣлать совершеннаго; не въ силахъ кончить продолжительнаго дѣла. И для стиховъ надобно здоровье. Бывало, ночи на пролетъ просиживалъ, а нынѣ и часъ тягостенъ. Вотъ зачѣмъ я сбирался на воды и въ полуденную Россію. Зима убиваетъ меня. Будучи совершенно здоровъ, я мерзъ, какъ кочерыжка, во Франціи (Раевскій былъ тому свидѣтель); посуди самъ, каково здѣсь, въ Россіи, въ трескучіе морозы! Поѣдемъ въ Тавриду, туда, wo die Citronen blühn. Здѣсь, право, холодно во всѣхъ отношеніяхъ. Проведемъ нѣсколько мѣсяцевъ вмѣстѣ, на берегахъ Чернаго моря. Ты думаешь, я началъ бредить? Итакъ, замолчу. Кстати о холодѣ и снѣгѣ: скажи Вяземскому, что я началъ Первый снѣгъ, но онъ, конечно, растаетъ, передъ его снѣгомъ. Онъ пойметъ эту глупость. Напомни обо мнѣ Карамзинымъ. Скоро ли его Исторія? Если бы теперь попалась въ деревнѣ, какъ бы я прочиталъ ее! Въ городѣ впечатлѣніе будетъ слабѣе. Но за то въ городѣ ты видишь самого историка. Счастливые горожане! Вы не знаете цѣны своему счастію. Вы не чувствуете, какъ пріятно проводить ненастный вечеръ съ людьми, которые васъ понимаютъ, и которыхъ общество, право, милѣе цвѣтовъ и деревенскаго воздуха, особливо въ нѣкоторыя лѣта. Утѣшаю себя мыслію, что я жи-

валъ и хуже. Благодаря Провидѣнію, у меня бесѣдка въ саду, четыре опрятныя, веселыя комнаты и твой портретъ и Вяземскаго; съ балкона видъ прелестный: рѣка, лѣсъ, однимъ словомъ: прелесть..... для проходящихъ. А у васъ и пыль, и слякоть, и стукъ каретъ, и визгъ собакъ, и стихи Хвостова, и докучливые люди, и непріятныя вѣсти, и званые обѣды, и фамильные концерты, и зависть, и каламбуры, и нѣтъ даже Василья Львовича.

Прости, мой милый шутъ и другъ. Обнимаю тебя очень, очень крѣпко. Сегодня тебя болѣе всѣхъ люблю; завтра на кого-нибудь другаго обрушу мою любовь и дружбу, и стихи.

10.—1-го августа 1819 г. Искія. Начну письмо мое, по обыкновенію, упреками за то, что ты меня забылъ совершенно, милый другъ. Я пишу безпрестанно къ Тургеневу, пишу ко всѣмъ, иногда получаю (очень рѣдко) отвѣты, но къ досадѣ моей, отъ тебя не имѣю ни строки. Думаешь ли, милый другъ, легко быть забытымъ тобою? Самъ Тургеневъ пишетъ такъ мало и несвязно, что изъ іероглифовъ его я вижу одно желаніе сказать: я живъ, то-есть, будь здоровъ, какъ я, и потомъ Богъ съ тобою! Иногда онъ забываетъ примолвить что-нибудь о тебѣ, а пишетъ ко мнѣ въ Неаполь о дѣлахъ, для меня совершенно нелюбопытныхъ. Но сердце мое невольно радуется, когда имѣю отъ него извѣстіе, и день, въ который получу письмо изъ Россіи, есть лучшій изъ моихъ дней. Суди послѣ этого, хорошо ли тебѣ забывать меня? Увѣдомь меня о твоихъ занятіяхъ: что̀ началъ новаго, что̀ кончилъ? И отсюда я слѣдую за тобою, желая счастливаго пути твоему таланту; иди! Одна мольба: не упреди! Но ты иногда шагаешь исполиномъ и всѣхъ опережаешь, между тѣмъ какъ я здѣсь, милый другъ, въ страхѣ забыть языкъ отечественный, совершенно безъ книгъ русскихъ, и по нынѣшнему образу занятій моихъ не часто заглядываю въ двѣ или три книги русскія, которыя ненарокомъ взялъ съ собою. Вижу по всему, что могу умереть скорѣе членомъ англійскаго клуба, нежели русской Академіи, и что не заслужу мѣста

въ статьѣ біографіи Вѣстника Европы или Русскаго Вѣстника, ибо ничего не написалъ похвальнаго и достодолжнаго, и преподобнаго.

Надобно тебѣ сказать нѣсколько словъ о себѣ. Я не въ Неаполѣ, а на островѣ Искіи, въ виду Неаполя; купаюсь въ минеральныхъ водахъ, которыя сильнѣе Липецкихъ; пью минеральныя воды, дышу волканическимъ воздухомъ, питаюсь смоквами, пекусь на солнцѣ, прогуливаюсь подъ виноградными аллеями (или омеками) при вѣяніи африканскаго вѣтра, и что̀ всего лучше, наслаждаюсь великолѣпнѣйшимъ зрѣлищемъ въ мірѣ: предо мною въ отдаленіи Сорренто — колыбель того человѣка, которому я обязанъ лучшими наслажденіями въ жизни; потомъ Везувій, который ночью извергаетъ тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увѣнчанныя за̀мками; потомъ Кумы, гдѣ странствовалъ Эней, или Виргилій; Байя, теперь печальная, нѣкогда роскошная; Мизена, Пуццоли, и въ концѣ горизонта—гряды горъ, отдѣляющихъ Кампанію отъ Абруцо и Апуліи. Этимъ не ограниченъ видъ съ моей террасы: если обращу взоры къ сторонѣ сѣверной, то увижу Гаэту, вершины Террачины и весь берегъ, протягивающійся къ Риму и изчезающій въ синевѣ Тирренскаго моря. Съ горъ сего острова предо мною, какъ на ладони, островъ Прочида; къ югу—Капрея, гдѣ жилъ злой Тиверій (злой Тиверій: эпитетъ Шаликова); острова Вентонскіе къ сѣверу и островъ Понца, гдѣ, по словамъ антикваріевъ (не сказывай этого Капнисту), обитала Цирцея. Ночью небо покрывается удивительнымъ сіяніемъ; Млечный Путь здѣсь въ иномъ видѣ, несравненно яснѣе. Въ сторонѣ Рима изъ моря выходитъ страшная комета, о которой мы мало заботимся. Такія картины пристыдили бы твое воображеніе. Природа — великій поэтъ, и я радуюсь, что нахожу въ сердцѣ моемъ чувство для сихъ великихъ зрѣлищъ; къ несчастію, никогда не найду силъ выразить то, что̀ чувствую: для этого нуженъ вашъ талантъ. Но воспоминанія всякихъ родовъ даютъ несказанную прелесть сему краю и приносятъ даже болѣе удовольствія сердцу, нежели красоты видовъ.

Посреди сихъ чудесъ, удивись перемѣнѣ, которая во мнѣ сдѣлалась: я вовсе не могу писать стиховъ. Графъ Хвостовъ сказывалъ мнѣ однажды, что три года былъ въ такомъ положеніи; но за то могу сказать съ покойнымъ княземъ Борисомъ, что пишу на прозахъ довольно часто. Я никогда не былъ такъ прилеженъ. Къ несчастію, и я не могу говорить объ этомъ безъ внутренняго негодованія, здоровье мое ветшаетъ безпрестанно: ни солнце, ни воды минеральныя, ни самая строгая діэта, ничто его не можетъ исправить: оно, кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сихъ поръ очень рѣдко мучила, совершенно отказывается. Италія мнѣ не помогаетъ: здѣсь умираю отъ холоду,—что̀ же со мною будетъ на сѣверѣ? Не смѣю и думать о возвращеніи. По пріѣздѣ моемъ жарко принялся за языкъ италіянскій, на которомъ очень трудно говорить съ нѣкоторою пріятностію и правильностію намъ, иностранцамъ. Но это для меня было бы не безполезно, почти необходимо во всѣхъ отношеніяхъ; я хочу короче познакомиться съ этою землею, которая для меня во всѣхъ отношеніяхъ становится часъ отъ часу любопытнѣе. Для самой пользы службы надобно узнать языкъ земли, въ которой живешь. Вотъ почему все вниманіе устремилъ на языкъ италіянскій и вѣрно добьюсь если не говорить, то по крайней мѣрѣ писать на немъ. Между тѣмъ, чтобы не вовсе забыть своего (ибо по русски возможно сочинять исправно, какъ говоритъ Хвостовъ), я пишу мои записки о древностяхъ окрестностей Неаполя, которыя прочитаемъ когда-нибудь вмѣстѣ. Я ограничилъ себя, сколько могъ, одними древностями и первыми впечатлѣніями предметовъ; все, что̀ критика, изысканіе, оставляю, но не безъ чтенія. Иногда для одной строки надобно пробѣжать книгу, часто скучную и пустую. Впрочемъ, это все маранье; когда-нибудь послужитъ этотъ трудъ, ибо трудъ, я увѣренъ въ этомъ, никогда не потерянъ.

Итакъ, всѣ дни мои заняты совершенно. Въ обществѣ живу мало, даже мало въ него заглядываю, кромѣ того, которое обязанъ видѣть. Театръ для меня не существуетъ, и я въ Неаполѣ

не сдѣлался Неаполитанцемъ. Вотъ моя исторія, милый другъ. Если прибавить, что я совершенно доволенъ моею участью — безъ роскоши, но выше нужды, ничего не желаю въ мірѣ, имѣю или питаю, по крайней мѣрѣ, надежду возвратиться въ отечество, обнять васъ и быть еще полезнымъ гражданиномъ: это меня поддерживаетъ въ часы унынія. Здѣсь, на чужбинѣ, надобно имѣть нѣкоторую силу душевную, чтобы не унывать въ совершенномъ одиночествѣ. Друзей даетъ случай, ихъ даетъ время. Такихъ, какіе у меня на сѣверѣ, не найду, не наживу здѣсь. Впрочемъ, это и лучше. Какое удовольствіе, вставая по утру, сказать въ сердцѣ своемъ: я здѣсь всѣхъ люблю равно, то-есть, ни къ кому не привязанъ и ни за кого не страдаю. Я за то ближе къ моимъ книгамъ, которыхъ число увеличиваю часто по неволѣ. Прости, милый другъ, сіи подробности, которыя я стараюсь извинить передъ собою чувствомъ моей къ тебѣ дружбы и разлукою. Скажи Карамзинымъ (и себѣ), что я часто объ нихъ думаю и отдалъ бы все прекрасное за одинъ вечеръ, проведенный съ ними. Это письмо я поручаю М. Е. Храповицкому, почтенному и доброму человѣку, нѣкогда моему начальнику, котораго супруга беретъ на себя трудъ доставить изъ Флоренціи шляпу Катеринѣ Андреевнѣ. Она можетъ мнѣ заплатить за нее, если угодно, чаемъ и Сыномъ Отечества, или русскими книгами, изъ числа коихъ не исключаю Трудовъ русской Академіи. Ты вѣрно пишешь къ Дмитріеву; напомни ему обо мнѣ. Это дѣло еще поручаю твоей дружбѣ вмѣстѣ съ другими, а именно—увѣдомить меня о Сѣверинѣ, который не отвѣчалъ на мои многія письма. Я по совѣсти о немъ безпокоюсь: или онъ забылъ меня, разлюбилъ, или нездоровъ. Надѣюсь, что время если не вылѣчило (ибо время не лѣкарь великихъ несчастій), то по крайней мѣрѣ облегчило его грусть, и онъ вспомнилъ, что есть въ мірѣ сердца, ему преданныя. Скажи Н. И. Тургеневу, что я его душевно уважаю, и чтобъ онъ не думалъ, что я варваръ; скажи ему, что я купался въ Тибрѣ и ходилъ по форуму Рима, ни мало не краснѣя, что здѣсь я читаю Та-

цита и Жіакони. Александра Ивановича обнимаю отъ всей моей великой души: я знаю, что онъ любитъ во мнѣ все, даже и мое варварство, ибо онъ угадываетъ, что я не варваръ. Вяземскому скажи, что я не забуду его, какъ счастье моей жизни: онъ будетъ вѣчно въ моемъ сердцѣ, вмѣстѣ съ тобою, мой жукъ. Прошу тебя писать ко мнѣ: чего тебѣ стоитъ, когда ты имѣешь время писать ко всѣмъ фрейлинамъ, и еще время переводить какого-то базельскаго Пиндара на какіе-то пятистопные стихи, и со всѣмъ этимъ—писать еще, какъ Жуковскій! Будь здоровъ, мое сокровище! Не забывай меня въ землѣ льдовъ и снѣговъ, и добрыхъ людей: я помню тебя въ землѣ землетрясеній и въ свидѣтельство беру М. Е. Храповицкаго, которому завидую: онъ увидитъ отечество и тебя. Прости.

VI. Къ Е. Г. Пушкиной.

1. — 4-го марта 1813 г. Петербургъ. Я виноватъ передъ вами и спѣшу загладить мою вину длиннымъ посланіемъ. Сперва начну сначала, такъ какъ водилось въ старину. Оставя Нижній съ сокрушеннымъ сердцемъ, съ слезами на глазахъ, я пріѣхалъ въ Москву не ранѣе какъ двѣ недѣли спустя: на почтѣ лошадей не было. Въ Москвѣ я пробылъ три дня, не болѣе, и раза три покушался къ вамъ писать, но не могъ собраться съ духомъ. У меня передъ глазами были развалины, а въ сердцѣ новое, неизъяснимое чувство. Я благословилъ минуту моего выѣзда изъ Москвы, которая во всю дорогу бродила въ моей головѣ. Наконецъ, я отдохнулъ въ Петербургѣ и пишу къ вамъ съ холодной головою. Часто собираю всю мою память и повторяю чудесныя приключенія нашего времени и все, что̀ я видѣлъ, и все, что слышалъ и чувствовалъ въ теченіе нашего изгнанія. Между развалинъ, ужасовъ, нищеты, страха и всѣхъ золъ ловлю нѣсколько пріятныхъ воспоминаній и смѣло говорю самъ себѣ,

что я ими вамъ обязанъ. Вы улыбаетесь? Напрасно! Я хотѣлъ еще поговорить объ васъ, но разсудокъ остановилъ руку, разсудокъ, который меня не покидалъ и въ Нижнемъ.

Теперь еще два слова о себѣ. Здѣсь я нашелъ все старое, кромѣ скуки, съ которой я давно знакомъ. Всякую минуту ожидаю рѣшенія на мою просьбу, и все напрасно. Всякій день сожалѣю о Нижнемъ, а болѣе всего о Москвѣ, о прелестной Москвѣ: да прилипнетъ языкъ мой къ гортани моей, и да отсохнетъ десная моя если я тебя, о Іерусалиме, забуду! Но въ Москвѣ ничего не осталось, кромѣ развалинъ, и я боюсь для васъ и для вашего семейства. Бога ради, оставьте этотъ городъ и пріѣзжайте сюда; мы выпишемъ Василья Львовича и будемъ жить, какъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, на берегахъ Оки и Волги.

Я виноватъ передъ вами: былъ у вашего сына въ корпусѣ и тамъ получилъ въ отвѣтъ, что онъ перешелъ въ корпусъ дворянъ, но еще въ этомъ не успѣлъ побывать: меня засталъ кашель, который продержалъ дома. Чулки посылаю, они стоятъ 90 р. Скажите Алексѣю Михайловичу мой усерднѣйшій поклонъ и зовите его сюда. Мы читали его Страшный Судъ: онъ напечатанъ; поздравьте его съ хорошими стихами и съ прекраснымъ предметомъ! Не довольно ли на сей разъ? Обѣщалъ вамъ длинное посланіе... Но пусть лучше желаютъ моихъ писемъ такъ, какъ я желаю вашихъ. Желаю вамъ и счастія, и всѣхъ земныхъ радостей, и спокойствія, котораго никто не имѣетъ, и денегъ горы, и успѣха во всемъ, даже.... Ed a vostra signoria illustrissima bacio cordialmente le mani. К. Батюшк.

Не забудьте вашего обѣщанія! Вотъ мой адресъ: на Владимірской, въ домѣ Баташова, напротивъ Вшивой Биржи.

2. —30-го іюня 1813 г. (Петербургъ). Какъ вы несправедливы! Вы написали ко мнѣ одно лишнее письмо и тотчасъ заключили, что я васъ забылъ. Я виноватъ съ одной стороны, съ другой правъ. Вотъ мое оправданіе: вы всегда спокойны, для васъ нѣтъ сердечныхъ бурь; день придетъ тихо, и тихо из-

чезнетъ посреди людей, любезныхъ душѣ вашей. Со мною иначе: я часто кружусь въ вихрѣ—не день, но цѣлый мѣсяцъ, настежь отворяю двери всѣмъ страстямъ, всѣмъ желаніямъ; ищу радостей, бѣгу самого себя и страдаю, страдаю, какъ лишенный ума. Въ такія минуты могу ли писать къ вамъ? Скажите! Могу ли отдать вамъ отчетъ въ одной мысли, въ одномъ благородномъ чувствованіи? Нѣтъ, конечно, нѣтъ! И вотъ зачѣмъ не пишу къ вамъ. Но вы, вы должны писать: иначе вы будете несправедливы и прибавите невольно еще одно огорченіе или печальное воспоминаніе. Вы говорите о дружбѣ, какъ ангелъ. Знаете ли, что̀ я дурной человѣкъ? Мое перо на привязи; я боюсь говорить откровенно, когда дѣло идетъ обо мнѣ, и я таковъ со всѣми; а вы безпрестанно требуете откровенности. Какъ? Вы хотите, чтобъ я разсказалъ вамъ подробно все, что̀ я дѣлаю, что̀ думаю, и то, чего не дѣлаю и чего не думаю? Это дѣло невозможное. Но какъ отъ чистаго сердца сожалѣю, что васъ нѣтъ въ Петербургѣ! Я сильно чувствую утрату Москвы и Нижняго. Въ вашемъ прелестномъ для меня обществѣ я находилъ сладостныя, неизъяснимыя минуты и горжусь мыслію, что женщина какъ вы, съ добрымъ сердцемъ, съ просвѣщеннымъ умомъ и, можетъ быть, съ твердымъ, постояннымъ характеромъ, любила угадывать всѣ движенія моего сердца и часто была мною довольна. Здѣсь, напротивъ того, нѣтъ ни одного человѣка, который бы хотѣлъ заняться мною. (Вы слишкомъ меня и себя уважаете, чтобъ отнести это прямо на счетъ моего самолюбія). Точно нѣтъ никого, кто бъ могъ меня разумѣть. Къ этому прибавьте еще другія неудовольствія, и главное, вѣчную борьбу съ судьбою; она меня никогда не баловала, а я, я – большой баловень. Я самъ люблю себя ласкать: иначе бы мое самолюбіе заснуло, и тогда прощай все прекрасное, все великое, все достойное человѣка! По чести, я не очень счастливъ. Все въ жизни мнѣ удавалось, какъ въ военной службѣ. Что̀ я здѣсь дѣлаю? Зачѣмъ я потерялъ столько времени? Потерялъ цѣлую кампанію въ бездѣйствіи, въ безпрестанномъ ожиданіи! Но должно

повиноваться року и подъ часъ кричать съ Панглоссомъ: все къ лучшему!

Скажите мнѣ, гдѣ вы намѣрены провести лѣто и какъ? Вяземскій васъ видитъ часто. Я ему завидую въ этомъ. Онъ счастливъ, говорите вы, и послѣ себѣ не довѣряете. Я, напротивъ того, вѣрю его благополучію и желаю, чтобъ оно продлилось долѣе. Неудовольствія, которыя онъ навлекъ солью самъ, дали ему маленькую опытность, а безъ ней, какъ ночью безъ свѣчи, нельзя читать въ книгѣ жизни. Есть, правда, головы, для которыхъ опытность не существуетъ; изъ числа таковыхъ и моя, которую повергаю къ ногамъ вашимъ. Напомните обо мнѣ Алексѣю Михайловичу. Простите! Сохраните меня въ памяти вашей навсегда, если это возможно. Конечно, возможно! C'est dans le coeur des femmes qu'habitent les longs souvenirs, сказала m-me Stael. Дай Богъ, чтобъ она сказала правду, хотя одинъ разъ въ жизни.

Я цѣлый день бродилъ по дачамъ съ Тургеневымъ и такъ усталъ, что на силу кончилъ письмо. Меня ожидаетъ постеля и сонъ; пожелайте, чтобъ онъ былъ пріятенъ: и сны имѣютъ свою цѣну и прелесть. Простите! Засыпаю и еще думаю о васъ; это письмо я запечатаю завтра и все буду думать о васъ. Зачѣмъ же ваши упреки? Они несправедливы, признайтесь!

3.—3-го мая 1814 г. Парижъ. Какъ вамъ угодно, но вы не должны удивляться этому письму. Десять мѣсяцевъ я къ вамъ не писалъ и десять мѣсяцевъ не имѣю отъ васъ никакого извѣстія: это не резонъ, чтобъ не писать болѣе. Вы согласны на это? Сто разъ прошу у васъ прощенія, совершеннаго прощенія за мое молчаніе, если оно могло хотя немного оскорбить ваше самолюбіе; я готовъ броситься въ воду, если мое молчаніе нанесло хотя малѣйшій вредъ вашей ко мнѣ дружбѣ, и вы, конечно, въ этомъ увѣрены. Но представьте себѣ Батюшкова, который оставляетъ Петербургъ вдругъ, скачетъ двѣ тысячи верстъ, сломя голову, какъ говорятъ у насъ въ Россіи, пріѣз-

жаетъ въ главную квартиру подъ Дрезденъ, разъѣзжаетъ въ ней десять дней взадъ и впередъ подъ пушечными выстрѣлами, единственно за тѣмъ, чтобъ сдать какія-то депеши; наконецъ, сдаетъ ихъ, остается у Раевскаго, дѣлаетъ съ нимъ всю кампанію — и какую кампанію! — умираетъ со скуки на бивакахъ, умираетъ со скуки на квартирахъ, вступаетъ съ арміей въ Парижъ и въ Парижѣ, проведя два мѣсяца въ шумѣ и въ круженіи головы, дѣлясь между ресторатеровъ, спектаклей, парадовъ, встрѣчъ новыхъ королей и проч., беретъ перо, чтобъ напомнить вамъ, что онъ еще живъ, здоровъ и, не будучи вовсе избалованъ счастіемъ, долгомъ поставляетъ напомнить о себѣ друзьямъ своимъ. Вотъ часть моей Одиссеи. Остатокъ наполнитъ ваше богатое воображеніе, если захочетъ заняться мною. Теперь спрашиваю васъ, спрашиваю Алексѣя Михайловича, который вопреки нѣкоторымъ излучинамъ — пусть онъ помираетъ со смѣху — вопреки нѣкоторымъ излучинамъ, въ которыя вдается его умъ, имѣетъ много здраваго разсудка, спрашиваю у васъ обоихъ: не стою ли я совершеннаго извиненія? Итакъ, вы меня прощаете, и я снова имѣю право на дружество ваше, которое, конечно, во зло употреблять не буду. Впрочемъ, не спрашивайте, не требуйте у меня отчета въ моей жизни. Разсказы хороши только въ стихахъ, въ плачевныхъ трагедіяхъ или у камина. Еще болѣе: я вамъ ни слова не скажу о Парижѣ. Василій Львовичъ вамъ это все разсказалъ и лучше, и пространнѣе моего во время нашей эмиграціи или бѣгства. Газеты провозгласили вамъ наши побѣды, чудесныя по истинѣ, которымъ, разумѣется, супругъ вашъ на досугѣ далъ настоящій вѣсъ и цѣну. Я съ удовольствіемъ представляю себѣ счастливую минуту, когда мы будемъ смѣяться надъ прошедшими бѣдами. Сколько происшествій! Сколько чудесъ — начиная съ круглыхъ пироговъ у Анны Львовны до самаго вступленія нашего въ Парижъ! Къ чему и зачѣмъ всѣ людскіе расчеты? Признаюсь вамъ, у меня голова кружится, когда я начинаю расчитывать всю превратность этого года, который, конечно, возвратилъ на путь истинный многихъ и мно-

гихъ людей, а Василья Львовича утвердилъ паче мѣры въ премудрыхъ его правилахъ. Что̀ онъ дѣлаетъ? Гдѣ и какъ проводитъ время? Онъ вовсе забылъ насъ, бѣдныхъ странниковъ, или съ завистью считаетъ наши шаги у Бовилье, въ лицеѣ, въ Пале-рояль — прелестныя мѣста, которыя мы отдали бы всѣ за старый Кремль въ придачу со всею нашею славою, которая намъ становится немного въ тягость. Что̀ дѣлаютъ его сестрицы? Признаюсь вамъ, часто, очень часто, возвратясь въ мою комнату, я забываю и шумъ Парижа, и Дюшенуа, и проказы Брюнета, и красавицъ Тиволи, все забываю и мысленно переношусь въ Нижній, то на площадь, гдѣ между телегъ и колязокъ толпились московскіе франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульварѣ, то на патріотическій обѣдъ Архаровыхъ, гдѣ отъ псовой травли до подвиговъ Кутузова все дышало любовью къ отечеству, то на ужины Крюкова, гдѣ Василій Львовичъ, забывъ утрату книгъ, стиховъ и бѣлья, забывъ о Наполеонѣ, гордящемся на стѣнахъ древняго Кремля, отпускалъ каламбуры, достойные лучшихъ временъ Французской монархіи, и спорилъ до слезъ съ Муравьевымъ о преимуществѣ французской словесности, то на балы и маскерады, гдѣ наши красавицы, осыпавъ себя брилліантами и жемчугами, прыгали до перваго обморока въ кадриляхъ французскихъ, во французскихъ платьяхъ, болтая по французски Богъ знаетъ какъ, и проклинали враговъ нашихъ. Вотъ времена, признаюсь вамъ, о которыхъ я вспоминаю съ большимъ удовольствіемъ. Прибавьте къ этому Алексѣя Михайловича, который съ утра самаго искалъ кого-нибудь, чтобъ поспорить, и доказывалъ съ удивительнымъ краснорѣчіемъ, что бѣлое—черное, черное—бѣлое, который вздохнуть не давалъ Василью Львовичу и тѣснилъ его неотразимой логикой,—и вы будете имѣть понятіе объ удовольствіи, которое я нахожу, переносясь мысленно въ стѣны Нижняго. Такихъ чудесныхъ обстоятельствъ два раза въ жизни не бываетъ. Довольно и одного, чтобъ на вѣки остаться въ памяти. «Боже мой, я помню это все! Скажите мнѣ что-нибудь о Парижѣ!» Еще

разъ, и въ послѣдній: я не скажу ни слова. И съ чего начну мой разсказъ? Здѣсь что день, то происшествія, что день, то новыя проказы. Ни бумаги, ни терпѣнія у васъ и у меня на все сіе не достанетъ, но достанетъ, конечно, на то, чтобъ перечитать Мониторъ, Gazette de France, въ которыхъ, въ одномъ отношеніи, всѣ новости парижскія.

Мое письмо могло быть еще длиннѣе, но я далъ слово Сѣверину, котораго сію минуту ожидаю къ себѣ. Мы сговорились — прошу покорнѣйше прочитать это любителю Парижа Василью Львовичу — мы сговорились идти по бульвару до Сены, осмотрѣть всѣхъ фигляровъ и пр., не пропустить ни одной площадной панорамы, заходить во всѣ лубочные театры, начиная съ кабинета блохъ, такъ-называемаго les puces travailleuses, и кончая кабинетомъ des illusions parfaites, и все за нѣсколько копѣекъ! Потомъ, переправясь черезъ Аустерлицкій мостъ, мы обойдемъ Ботаническій садъ, бросимъ взглядъ на львовъ, тигровъ и пр., отдохнемъ подъ тѣми самыми липами, на той самой скамьѣ, гдѣ Бюффонъ нѣкогда любилъ покоиться. Простившись съ тѣнью великаго и вооружась изобильнымъ завтракомъ въ ближней ресторацiи, мы сядемъ въ кабріолетъ, который, какъ говорятъ здѣсь, жжетъ мостовую, и полетимъ въ музеумъ мимо великолѣпной набережной, мимо новой статуи Генриха IV, мимо Palais des arts. Мы пробѣжимъ музеумъ, мы не станемъ терять времени въ разсматриваніи картинъ и статуй: мы знаемъ, что передъ Аполлономъ, Венерою и Лаокоономъ надобно сказать: ахъ! повторить это восклицаніе передъ картинами Рафаеля, съ описаніемъ ихъ въ рукахъ, разумѣется, и оставя чудеса искусствъ, явимся къ 3-му часу на террасѣ Тюльерійскаго сада, гдѣ остроумнѣйшій народъ въ мірѣ стоитъ нѣсколько битыхъ часовъ передъ окнами замка, стоитъ разиня ротъ и изрѣдка, безъ всякаго энтузіазма, а такъ, отъ скуки кричитъ: «Vive le roi!» Въ 4 часа Бовилье или артистъ Вери ожидаютъ насъ съ лакомымъ обѣдомъ. Часъ позже всѣ мѣста заняты. При шумѣ разговорномъ мы проглотимъ нѣсколько дюжинъ устрицъ, осушимъ бутылку шам-

панскаго и пойдемъ пить кофе въ кофейный домъ, котораго всѣ углы знакомы нашему любителю Парижа; изъ café de Foy мы забѣжимъ во Французскій театръ, гдѣ Тальма, Дюшенуа, Жоржъ и пр. удивляютъ искусствомъ неподражаемымъ; не дослушая трагедіи, мы явимся у Брюнета въ Variétés, будемъ хохотать во все горло надъ остроумными его каламбурами. которые всякаго русскаго охотника могутъ привести въ отчаяніе, зайдемъ—это одинъ шагъ оттуда—къ Тортони, гдѣ всѣ красавицы парижскія кушаютъ мороженое и пуншъ, и.... Но я не хочу огорчать Пушкина: такого рода воспоминанія раздираютъ его сердце. Притомъ же я знаю: ses yeux sont ingrats et jaloux. Простите! Будьте счастливы и не забывайте Батюшкова, который если не потонетъ на возвратномъ пути своемъ черезъ Лондонъ, то пріѣдетъ вамъ разсказывать о чудесахъ парижскихъ. а болѣе всего о преданности своей къ особѣ вашей.

VII. Къ Д. В. Дашкову.

1.—9-го августа (1812 г. Петербургъ). Я долго ожидалъ писемъ отъ васъ, любезнѣйшій Дмитрій Васильевичъ, и наконецъ получилъ одно, которое меня совершенно успокоило. Вы жалуетесь на безпокойное путешествіе, на телеги и кибитки, которыя намъ, конечно, достались отъ Татаръ, а не хотите пожалѣть обо мнѣ. Я и самъ на дняхъ отправлюсь въ Москву и буду mutar ogn'ora di vettura, то-есть, поѣду на перекладныхъ по почтѣ. Тамъ-то вы найдете вашего покорнаго слугу въ домѣ К. Ѳ. Муравьевой. Еще разъ пожалѣйте обо мнѣ; я увижу и Каченовскаго, и Мерзлякова. и весь Парнассъ, весь сумасшедшій домъ. кромѣ нашего милаго, добраго и любезнаго Василья Львовича, который пишетъ мнѣ, что какой-то Веневъ, городъ. вовсе неизвѣстный на лицѣ земномъ, будетъ обладать его особою. Теперь поговорить ли о петербургскихъ знакомыхъ, на-

примѣръ, о Батыѣ, о Тамерланѣ, о Чингисханѣ-поэтѣ, который уничтожилъ Расина, Буало, Лафонтена и проч.? Сказать ли вамъ, что онъ написалъ оду на миръ съ Турками; ода, истинно ода, такого дня и года! Поговорить ли съ вами о нашемъ обществѣ, котораго члены всѣ подобны Гораціеву мудрецу или праведнику, всѣ спокойны и пишутъ при разрушеніи міровъ.

Гремитъ повсюду страшный громъ,
Горами къ небу вздуто море,
Стихіи яростныя въ спорѣ,
И тухнетъ дальній солнцевъ домъ,
И звѣзды падаютъ рядами.
Они покойны за столами,
Они покойны. Есть перо,
Бумага есть и—все добро!
Не видятъ и не слышутъ
И все перомъ гусинымъ пишутъ!

Пишутъ, и написали, и напечатали два нумера съ вашего отъѣзда, и бѣдному доброму или бодрому Лапушнику досталось по ушамъ. Вотъ и всѣ наши новости. Все идетъ по старому. Мы часто бываемъ, мы, то-есть, Сѣверинъ, Трубецкой и Батюшковъ, мы бываемъ у Д. Н. Блудова, который даетъ намъ ужины, гулянья на шлюпкѣ, верхомъ и пр., и мы ужинаемъ и катаемся, louant Dieu de toute chose, какъ мудрецъ Гаро въ Лафонтеновой баснѣ; не достаетъ васъ, любезнѣйшій Дмитрій Васильевичъ, и мы это чувствуемъ ежедневно; не достаетъ, по крайней мѣрѣ у меня, спокойствія душевнаго, и вотъ почему наши удовольствія не совершенно чисты. Но гдѣ они чисты? Развѣ въ домѣ сумасшедшихъ, или

За синимъ океаномъ
Вдали, въ мерцаніи багряномъ,

или Богъ знаетъ гдѣ! Я очень скучаю и надѣюсь только на войну: она разсѣетъ мою скуку, ибо шпага побѣдитъ тогу, и я надѣну мундиръ, и я поскачу маршировать, если... если будетъ это возможно. Но мы увидимся сперва въ Москвѣ, гдѣ я надѣюсь быть въ скоромъ времени; тамъ-то я готовъ возобновить съ докторомъ Каченовскимъ вашъ ученый споръ, если не испугаюсь его желѣзнаго самолюбія и коварно-презрительной

улыбки переводчика Иліады, Одиссеи, Энеиды и г-жи Дезульеръ, если не испугаюсь словообилію Иванова и калмыцкихъ глазъ Воейкова, и Жанъ-Жако-Мерсьеровскихъ порывовъ Глинки, который недавно получилъ Владимірскій крестъ, съ чѣмъ его отъ всей души поздравляю. Простите, любезнѣйшій Дмитрій Васильевичъ, любите меня столько, сколько я васъ люблю и уважаю, и вы меня очень любить будете; пишите чаще и адресуйте письма къ Сѣверину, который перешлетъ въ Москву, если оно меня здѣсь не застанетъ. Батюшковъ.

Кланяется вамъ М. А. Салтыковъ и его жена.

2.—25-го апрѣля 1814 г. Парижъ. Письмо ваше отъ 25-го января я получилъ на маршѣ изъ Витри-ле-Франсе къ Феръ-Шампенуазу и не могу вамъ описать удовольствія, съ какимъ я прочиталъ его, любезный другъ Дмитрій Васильевичъ! Сто разъ благодарю васъ за пріятное ваше посланіе къ полуварвару Батюшкову, покрытому военнымъ прахомъ, забывшему и музу, и ея служителей, но не забывшему друзей, въ числѣ которыхъ вы всегда жили въ моемъ сердцѣ. Столько и столько пріятныхъ минутъ, проведенныхъ съ вами на берегахъ невской наяды и въ шумѣ городскомъ, и въ уединенныхъ бесѣдахъ, гдѣ мы дѣлали другъ другу откровенія не о любимцахъ счастья, нѣтъ, а о дружбѣ нашей, о пламенной любви къ словесности, къ поэзіи и ко всему прекрасному и величественному, даютъ мнѣ право на ваше воспоминаніе. Въ жизни моей я былъ обманутъ во многомъ, кромѣ дружбы. Ею могу еще гордиться; она примиряетъ меня съ жизнію, часто печальною, и съ міромъ, который покрытъ развалинами, гробами и страшными воспоминаніями.

Теперь нѣсколько словъ о себѣ. Вы не будете требовать отъ меня цѣлой Одиссеи, то-есть, описанія моихъ походовъ и странствій: для этого недостанетъ у меня бумаги, а у васъ терпѣнія. Скажу вамъ просто: я въ Парижѣ! La messagère indifférente-молва извѣстила васъ давно о нашихъ побѣдахъ, чудесныхъ по истинѣ: это все давнымъ давно извѣстно и расположено въ ан-

глійскомъ клубѣ и въ газетахъ, и въ Сынѣ Отечества, и у Глинки, и въ оффиціальныхъ одахъ постояннаго Хлыстова; однимъ словомъ, это — старина для васъ, жителей мирнаго Питера. Но повѣрите ли? Мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ произшествіяхъ, мы едва ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ изчезъ, что Парижъ нашъ, что Людовикъ на тронѣ, и что сумасшедшіе соотечественники Монтескье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поютъ по улицамъ: «Vive Henri quatre, vive ce roi vaillant!» Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла Твоя, Господи!

Нѣтъ, любезный другъ, надо имѣть весьма здоровую голову, чтобъ понять всѣ дѣла сіи и чтобы слѣдовать за всѣми обстоятельствами... Я отъ этой работы отказываюсь, я, который часто не понималъ стиховъ Шихматова.

Скажу просто: я въ Парижѣ. Первые дни нашего здѣсь пребыванія были дни энтузіазма. Теперь мы покойнѣе. Бродить по бульвару, обѣдать у Beauvilliers, посѣщать театръ, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смѣяться во все горло проказамъ Брюнета, стоять въ изумленіи передъ Аполлономъ Бельведерскимъ, передъ картинами Рафаеля, въ великолѣпной галлереѣ музеума, зѣвать на площади Людовика XV или на Новомъ мосту, на поприщѣ народныхъ дурачествъ, гулять въ великолѣпномъ Тюльери, въ Ботаническомъ саду или въ окрестностяхъ Парижа, среди необозримой толпы парижскихъ гражданъ, жрицъ Венериныхъ, старыхъ роялистовъ, республиканцевъ, бонапартистовъ и проч. и пр. и пр., теперь мы все это дѣлаемъ и дѣлать можемъ, ибо мы отдохнули и тѣломъ, и душою. Замѣтьте, что мы имѣемъ важное преимущество надъ прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные. Я часто съ удовольствіемъ смотрю, какъ наши казаки безпечно проѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ

гренадеръ передъ Трояновой колоной или у рѣшетки Тюльери, передъ Arc de triomphe, гдѣ изображены и Ульмъ, и Аустерлицъ, и Фридландъ, и Іена. Еще съ большимъ удовольствіемъ смотрю на нашихъ воиновъ, гуляющихъ съ инвалидами на широкой площади, принадлежащей ихъ дому. Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ! Они должны быть благодарны нашему царю за спасеніе не только Парижа, но цѣлой Франціи, — и благодарны: это меня примиряетъ нѣсколько съ ними. Впрочемъ, этотъ народъ не заслуживаетъ уваженія, особливо народъ парижскій.

Я вижу отсюда, что Дмитрій Васильевичъ, читая мое письмо, киваетъ головою. «Богъ съ ними, что̀ мнѣ до народа французскаго! Зачѣмъ Батюшковъ не говоритъ мнѣ о литературѣ, о лицеѣ, о славныхъ ученыхъ мужахъ, объ остроумныхъ головахъ, о поэтахъ, однимъ словомъ—о людяхъ, которымъ я, живучи на берегахъ Ладожскаго озера и Невы, обязанъ сладостными минутами, которыхъ имя одно пробуждаетъ въ головѣ тысячу воспоминаній пріятныхъ, тысячу понятій?..» Извольте! Я скажу вамъ, вопервыхъ, что въ шумѣ военномъ я забылъ, что существовала академія изъ сорока членовъ, точно такъ какъ забылъ, что есть Бесѣда, академія русская и Палицынъ, гроза чтецовъ. Но разъ, перейдя за Королевскій мостъ, забрелъ я случайно къ Дидоту, любовался у него изданіемъ Лафонтена и Расина и, разговаривая съ его повѣреннымъ, узналъ ненарокомъ, что завтра, въ 3 часа по полудни, второй классъ института будетъ имѣть торжественное засѣданіе.

Вооружась билетомъ для прохода чрезъ врата учености въ сіе важное святилище музъ, я, вашъ маленькій Тибуллъ или, проще, капитанъ русской императорской службы, что̀ въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывшій кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, «живой воробей лучше мертваго льва»), я, вашъ пріятель, наступилъ на горло какому-то члену общества и вошелъ въ залу, пробираясь сквозь толпу любопытныхъ. «Вотъ, садитесь здѣсь, или станьте за моимъ та-

буретомъ», сказала мнѣ прекрасная женщина,—«здѣсь вы все увидите, все услышите». Я сталъ за табуретомъ и съ удовольствіемъ взглянулъ на залу и на блестящее собраніе отборной публики... парижской! Зала прекрасная: она построена крестообразно. Въ четырехъ нишахъ, составляющихъ углы ротонды, поставлены четыре статуи—произведеніе искусства французскихъ художниковъ, статуи великихъ людей: Сюлли, Монтескье, Боссюета и Фенелона. Отъ ротонды возвышается амфитеатръ, посвященный для зрителей, ротонда для членовъ и важныхъ посѣтителей. Члены сбирались мало по малу, и Французъ, мой сосѣдъ, называлъ ихъ: «Вотъ Сюаръ, вотъ Буфлеръ, вотъ Сикаръ, а это, съ красной лентой, старикъ Сегюръ! Вотъ Этьенъ, сочинитель хорошей комедіи, возлѣ него Пикаръ, любимый авторъ парижскій!» Съ ними были и другіе члены прочихъ классовъ института, которые имѣютъ право засѣдать въ торжественныхъ собраніяхъ. Ни Парни, ни Фонтаня я не видѣлъ. Шатобріана, кажется, не было. Наполеонъ не согласенъ былъ на принятіе его въ члены—за нѣсколько строкъ въ рѣчи автора Аталы противъ правленія или противъ его особы. За то и Шатобріанъ не пощадилъ его въ послѣднемъ сочиненіи, которое вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно. Наконецъ, при плескѣ публики, при безпрестанныхъ восклицаніяхъ: «Vive Alexandre, le magnanime Alexandre! Vive le roi de Prusse! Vive le général Sacken!» вошли наши герои.

Лакретель, секретарь академіи, читалъ имъ привѣтствіе. Я съ удовольствіемъ слушалъ его. Лакретель, какъ писатель, имѣетъ достоинства: вы, кажется, любите его Исторію революціи и Исторію послѣдняго вѣка. За симъ — снова рукоплесканія, снова восклицанія: «Да здравствуетъ императоръ!» и пр. Они замолкли, и г. Вильменъ, молодой человѣкъ 22-хъ лѣтъ, началъ читать снова привѣтствіе государю и просилъ публику выслушать разсужденіе О пользѣ и невыгодахъ критики, увѣнчанное институтомъ. Молчаніе глубокое. Всѣ слушали съ большимъ вниманіемъ длинную рѣчь молодаго профессора, весьма

хорошо написанную, какъ мнѣ показалось; часто аплодировали блестящимъ фразамъ и болѣе всего тому, что̀ имѣло какое-нибудь отношеніе къ нынѣшнимъ обстоятельствамъ. «Браво, г. Вильмень! Продолжайте!» говорили женщины. «Онъ мыслитъ, il pense», говорили мужчины, поправляя галстухъ съ обыкновенною важностію... и всѣ были довольны. «Какъ онъ молодъ!» шептали женщины.—«Какъ онъ молодъ! И два раза увѣнчанъ академіей! Въ первый разъ за похвальное слово Монтаню»... «Въ которомъ много глубокихъ мыслей», прибавилъ мужчина, мой сосѣдъ. «Не мудрено», продолжалъ другой,—«онъ говорилъ о Монтанѣ!»

По окончаніи рѣчи, президентъ обнялъ два раза молодаго профессора и провозгласилъ его побѣдителемъ при шумныхъ рукоплесканіяхъ публики. Государь и король Прусскій сказали ему нѣсколько учтивыхъ словъ: молодой авторъ былъ на розахъ.

Нынѣшній годъ была предложена къ увѣнчанію Смерть Баярда, но по слабости поэзіи не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предметъ назначенъ для будущаго года? Польза прививанія коровьей оспы! Это хоть бы нашей академіи выдумать! По этому, любезный другъ, можете судить о состояніи французской словесности. Ея не любилъ Наполеонъ. Математикъ во всякомъ случаѣ бралъ преимущество надъ членомъ втораго класса института, что̀ не мало послужило къ упадку академіи Французской. Правленіе должно лелѣять и баловать музъ: иначе онѣ будутъ безплодны. Слѣдуя обыкновенному теченію вещей, я думаю, что вѣкъ славы для французской словесности прошелъ и врядъ ли можетъ когданибудь воротиться. Впрочемъ, мирное отеческое правленіе будетъ во сто разъ благосклоннѣе для музъ судорожнаго тиранскаго правленія Корсиканца, который въ великолѣпныхъ памятникахъ парижскихъ доказалъ, что онъ не имѣетъ вкуса, и что

...музы отъ него чело свое сокрыли.

Теперь вы спросите у меня, что̀ мнѣ болѣе всего понравилось въ Парижѣ? Трудно рѣшить. Начну съ Аполлона Бельве-

дерскаго. Онъ выше описанія Винкельманова: это не мраморъ, богъ! Всѣ копіи этой безцѣнной статуи слабы, и кто не видалъ сего чуда искусства, тотъ не можетъ имѣть о немъ понятія. Чтобъ восхищаться имъ, не надо имѣть глубокихъ свѣдѣній въ искусствахъ: надобно чувствовать. Странное дѣло! Я видѣлъ простыхъ солдатъ, которые съ изумленіемъ смотрѣли на Аполлона. Такова сила генія! Я часто захожу въ музеумъ единственно за тѣмъ, чтобы взглянуть на Аполлона, и какъ отъ бесѣды мудраго мужа и милой, умной женщины, по словамъ нашего поэта, лучшимъ возвращаюсь. Ни слова о другихъ рѣдкостяхъ, ни слова о великолѣпной картинной галлереѣ, единственной въ своемъ родѣ, ни слова о рѣдкостяхъ парижскихъ, о театрахъ, о Дюшенуа, о Тальмѣ и проч. и пр. Я боюсь вамъ наскучить моими замѣчаніями. Но позвольте, мимоходомъ разумѣется, похвалить женщинъ. Нѣтъ, онѣ выше похвалъ, даже самыя прелестныя.

Предъ ними истощаетъ
Любовь златой колчанъ.
Все въ нихъ обворожаетъ:
Походка, легкій станъ,
Полунагія руки
И полный нѣги взоръ,
И устъ волшебны звуки,
И страстный разговоръ,—
Все въ нихъ очарованье!
А ножка... милый другъ,
Она— Харитъ созданье,
Киприднныхъ подругъ.
Для ножки сей, о, вѣчны боги,
Усѣйте розами дороги
Иль пухомъ лебедей!
Самъ Фидій передъ ней
Въ восторгѣ утопаетъ,
Поэтъ на небесахъ,
И труженикъ въ слезахъ
Молитву забываетъ!

Итакъ, мнѣ болѣе всего понравились ноги, прелестныя ноги прелестныхъ женщинъ въ мірѣ. De gustibus non disputandum. У англійскаго генерала недавно спрашивали французскіе маршалы,

что̀ ему болѣе всего понравилось въ Парижѣ? «Русскіе гренадеры», отвѣчалъ онъ. Пусть Сѣверинъ скажетъ вамъ теперь, что ему понравилось въ столицѣ міра. Сѣверинъ здѣсь; мы съ нимъ видимся каждый день, бродимъ по улицамъ и часто, очень часто вспоминаемъ о Дашковѣ. Я ему уступаю перо до перваго случая.

Теперь простите. Если Иванъ Ивановичъ [1]) въ Петербургѣ, то покорнѣйше прошу васъ засвидѣтельствовать ему мое почтеніе. Поклонитесь знакомымъ; обнимите Блудова и скажите ему, что Батюшковъ любитъ его и уважаетъ по старому. Тургеневу ни слова обо мнѣ:

Ему ли помнить насъ
На шумной сценѣ свѣта?
Онъ помнитъ лишь обѣда часъ
И часъ великій комитета!

Батюшковъ.

VIII. Къ Д. П. Сѣверину.

19-го іюня 1814 года. Готенбургъ. Исполняю мое обѣщаніе, любезный другъ, и пишу тебѣ изъ Готенбурга. Послѣ благополучнаго плаванія прибылъ я вчерашній день на пакетботѣ Альбіонѣ здоровъ и веселъ, но въ большой усталости отъ морскаго утомительнаго переѣзда. Усталость не помѣшаетъ разсказывать мои похожденія. Садись и слушай!

Оставя тебя посреди вихря лондонскаго, я сѣлъ съ великимъ Рафаэлемъ въ фіакръ и въ безпокойствѣ доѣхалъ до почтоваго двора, боясь, чтобы карета подъ надписью «въ Гаричъ» не ускакала безъ меня въ урочное время. Къ счастію, она была еще на дворѣ, и около нея рой почтовыхъ служителей, ожидающихъ почтенныхъ путешественниковъ. Дверцы отворены: я пожалъ

[1]) Дмитріевъ.

руку у твоего Италіянца, громкаго именемъ, но смиреннаго званіемъ, и со всей возможной важностію занялъ первое мѣсто, ибо я первый вошелъ въ карету. Другіе спутники мои, заплатившіе за проѣздъ дешевле, усѣлись на крышкѣ, на козлахъ, распустили огромные зонтики и начали, по обыкновенію всѣхъ земель, бранить кучера, который медлилъ ударить бичемъ и спокойно допивалъ кружку пива, разговаривая со служанкою трактира. Между тѣмъ какъ съ кровли каретной сыпались годдемы на кучера, дверцы отворились: двое мужчинъ сѣли возлѣ меня, и колымага тронулась. Къ счастію, то были Нѣмцы изъ Гамбурга, люди привѣтливые и добрые. Мы не успѣли выѣхать изъ предмѣстій Лондона, карета остановилась, и въ нее вошелъ новый спутникъ. Впослѣдствіи я узналъ, что товарищъ нашъ былъ родомъ Шведъ, а промысломъ — глупецъ, но оригиналъ удивительный, о которомъ я, въ качествѣ историка, буду говорить въ надлежащее время. Теперь я на большой дорогѣ, прощаюсь съ Лондономъ, котораго, можетъ быть, не увижу въ другой разъ. Карета летитъ по гладкой дорогѣ, между великолѣпныхъ липъ и дубовъ: Лондонъ изчезаетъ въ туманахъ. Въ Колчестръ, знаменитый устрицами, прибыли мы въ глухую полночь, а въ Гаричь — на разсвѣтѣ. Въ гостинницѣ толстаго Буля ожидалъ насъ завтракъ. Товарищи мои — Шведъ, два Гамбургца, нѣсколько Англичанъ и Шотландцевъ, всѣ въ глубокомъ молчаніи и съ важностію чудесною пили чай и поглядывали на море, въ ожиданіи попутнаго вѣтра. Таможенные приставы ожидали насъ. Окончя всѣ дѣла съ ними, честная компанія возвратилась къ Булю. Въ большой залѣ ожидали насъ новые товарищи, которые, узнавъ что я — Русскій, дружелюбно жали мою руку и предложили пить за здравіе императора. Портвейнъ и хересъ переходили изъ рукъ въ руки, и подъ вечеръ я былъ красенъ, какъ майскій день, но все въ глубокомъ молчаніи. Товарищи мои пили съ такою важностію, о которой мы, жители матерой земли, не имѣемъ понятія. Насъ было болѣе двѣнадцати, со всѣхъ четырехъ концевъ свѣта, и всѣ, казалось мнѣ, люди хорошо вос-

питанные, всѣ, кромѣ Шведа. Онъ часъ отъ часу болѣе отличался, желая играть роль жентельмана и коверкая англійскій языкъ немилосердымъ образомъ. Англичане улыбались, пожимали плечами и пили за его здоровье. Вѣтеръ былъ противный, и мы остались ночевать въ Гаричѣ. На другой день по утру, Шотландецъ, товарищъ мой изъ Лондона, высокій и статный молодой человѣкъ, вошелъ въ мою спальню и ласковымъ образомъ на какомъ-то языкѣ (который Англичане называютъ французскимъ) предложилъ мнѣ идти въ церковь. День былъ воскресный, и народъ толпился на паперти. Двери храма отворились: мы вошли съ толпою.

Простота служенія, умиленіе, съ которымъ всѣ молились въ молчаніи, изрѣдка прерываемомъ или протяжнымъ пѣніемъ, или важными звуками органа, сдѣлали въ душѣ моей впечатлѣніе глубокое и сладостное. Спокойныя ангельскія лица женщинъ, бѣлыя одежды ихъ, локоны, распущенные въ милой небрежности, рой прелестныхъ дѣтей, соединяющихъ юные гласа свои съ дрожащимъ голосомъ старцевъ, древнихъ мореходцевъ, посѣдѣвшихъ на бурной стихіи, окружающей Гаричь,—все вмѣстѣ образовало картину великолѣпную, и никогда религія и священные обряды ея не казались мнѣ столь плѣнительными! Самая церковь на берегу моря, въ пристани, откуда столько путешественниковъ пускаются въ края отдаленные міра и имѣютъ нужду въ Промыслѣ Небесномъ, сей храмъ съ готическою кровлею, съ гербами, съ простою каѳедрою, на которой почтенный старецъ изъясняетъ простыми словами глубокій смыслъ Евангелія, сей самый храмъ имѣетъ нѣчто особенное, нѣчто плѣнительное. Около двухъ часовъ я просидѣлъ съ моимъ Шотландцемъ; онъ молился съ большимъ усердіемъ, скажу болѣе—съ набожностію. Примѣру его слѣдовали всѣ молодые люди, и граждане мирные, и воины. Такъ, милый другъ, земля, въ которой все процвѣтаетъ, земля, такъ сказать, заваленная богатствами всего міра, иначе не можетъ поддержать себя, какъ совершеннымъ почитаніемъ нравовъ, законовъ гражданскихъ и божественныхъ. На нихъ-то основана свобода и бла-

годенствіе новаго Каргагена, сего чудеснаго острова, гдѣ роскошь и простота, власть короля и гражданина въ вѣчной борьбѣ, и потому въ совершенномъ равновѣсіи. Это смѣшеніе простоты и роскоши меня поразило всего болѣе въ отечествѣ Елисаветы и Адиссона. Въ сей день, незабвенный для моего сердца, одинъ изъ путешественниковъ, узнавъ, что я—Русскій, пригласилъ меня прогуливаться. Мы бродили по берегу морскому посреди благовонныхъ нажитей и лѣсовъ, осѣняющихъ окрестности Гарича. Толпы счастливыхъ поселянъ въ праздничныхъ платьяхъ прогуливались вдоль по дорогѣ или отдыхали на травѣ. Сквозь густую зелень орѣшника и древнихъ вязовъ выглядывали миловидныя хижины приморскихъ жителей, и солнце вечернее освѣщало картину великолѣпную. Меня все занимало, все плѣняло. Я пожиралъ глазами Англію и желалъ запечатлѣть въ памяти всѣ предметы, меня окружающіе. Сидя на камнѣ съ добрымъ Англичаниномъ—такія открытыя и добрыя физіономіи рѣдко встрѣчаются,—сидя съ нимъ въ дружественной бесѣдѣ, мы забыли, что время летѣло и солнце садилось. Онъ прощался на долго съ милымъ отечествомъ и говорилъ о немъ съ восхищеніемъ, съ радостными слезами. «Какъ не любить такую землю», повторялъ онъ, указывая на плѣнительныя окрестности;—«здѣсь я покидаю жену, дѣтей, родственниковъ, друзей и свободу». Британецъ пожалъ крѣпко мою руку, и мы возвратились въ гостинницу.

Слуга извѣщаетъ насъ, что попутный вѣтеръ позволяетъ судамъ выходить изъ гавани. Я затрепеталъ отъ радости. Прощаюсь съ товарищами, расплачиваюсь съ услужливымъ хозяиномъ, сажусь въ лодку и съ нея на желанный пакетботъ Альбіонъ, къ капитану Маію. Со мною два пассажира: проказникъ Шведъ и какой-то богатый Еврей изъ Лондона, великій щеголь и краснобай. Море заструилось; выходимъ изъ порта. Но вѣтеръ долго принуждаетъ насъ плавать около береговъ графства Суффолкъ, котораго маяковъ мы не теряемъ изъ виду во всю ночь. Признаюсь тебѣ, положеніе мое было незавидно: жить нѣсколько дней съ незнакомыми лицами, имѣть въ виду

морскую болѣзнь... Что̀ дѣлать! Надобно покориться судьбѣ. Я сѣлъ на палубу и любовался сребро-чешуйчатымъ моремъ, которое едва колебалось и отражало то маяки, то лучи мѣсяца, восходящаго изъ-за береговъ Британіи. Между тѣмъ Еврей разсказывалъ повѣсти, Шведъ болталъ о ковенгардскихъ прелестницахъ, о портныхъ, о лошадяхъ и о Норвегіи, которую парламентъ отдаетъ принцу. Поздно возвратился я въ каюту и спалъ мертвымъ сномъ, поруча себя Нептуну, наядамъ, Борею и Зефиру, Кастору и Поллуксу, покровителямъ странниковъ, и Венерѣ, которая родилась изъ пѣны морской, какъ извѣстно всякому. По утру я проснулся съ головною болью; къ вечеру стало хуже: я страдалъ. Вѣтеръ былъ противный, и ночь ужасная. Паруса хлопали, снасти трещали, волны плескали на палубу, и заботливый капитанъ безпрестанно повторялъ любимую поговорку: «Бѣдный Іорикъ, бѣдный Іорикъ!» На четвертый день свѣжій попутный вѣтеръ надувалъ паруса, и моя болѣзнь миновалась. Все ожило. Матросы пѣли, капитанъ шутилъ съ Евреемъ, но Шведъ часъ отъ часу становился несноснѣе и скучнѣе. Гдѣ укрыться отъ него? Я узналъ впослѣдствіи, что онъ сынъ богатаго купца, родомъ изъ Стокгольма, былъ посланъ въ Лондонъ учиться коммерціи, надѣлалъ тамъ долговъ и возвращается pian-pianino въ свое отечество. Его дурной нѣмецкій и французскій выговоръ приводили меня въ отчаяніе. При каждомъ движеніи судна онъ блѣднѣлъ. То ему казалось, что капитанъ выпилъ лишнюю рюмку, то компасъ не вѣренъ, то паруса не на мѣстѣ, и то не такъ, и это худо. Потомъ разсказы о Гайдъ-паркѣ, о биржѣ, о Платовѣ, о Веллингтонѣ; тамъ описаніе сокровищъ отца его, и все, и все, чего мнѣ слушать не хотѣлось! То онъ давалъ совѣты капитану, который отвѣчалъ ему годдемомъ, то онъ удилъ рыбу, которая не шла на уду, то онъ видѣлъ кита въ морѣ, мышь на палубѣ или синичку на воздухѣ. Онъ всѣмъ наскучилъ, и человѣколюбивый Еврей предложилъ намъ бросить его въ море, какъ философа Діагора, на съѣденіе морскимъ чудовищамъ.

Свободные часы я проводилъ на палубѣ въ сладостномъ очарованіи, читая Гомера и Тасса, вѣрныхъ спутниковъ воина. Часто, покидая книгу, я любовался открытымъ моремъ. Какъ прелестны сіи необозримыя, безконечныя волны! Какое неизъяснимое чувство родилось въ глубинѣ души моей! Какъ я дышалъ свободно! Какъ взоры и воображеніе мое летали съ одного конца горизонта на другой! На землѣ повсюду преграды: здѣсь ничто не останавливаетъ мечтателя, и всѣ тайныя надежды души расширяются посреди безбрежной влаги.

Fuggite son le terre e i lidi tutti;
De l'onda il ciel, del ciel l'onda è confine!

Въ седьмой день благополучнаго плаванія восходящее солнце застало меня у мачты. Восточный вѣтеръ освѣжалъ лице мое и развѣвалъ волосы. Никогда море не являлось мнѣ въ великолѣпнѣйшемъ видѣ. Болѣе тридцати судовъ колебались на лазоревой влагѣ: иные шли въ Ростокъ, другіе въ Англію; иные, подобно пирамидамъ, казались неподвижными, другіе, распустя паруса, какъ лебеди, тянулись длинною стаею и изчезали въ отдаленіи. Наконецъ, мы замѣтили въ морѣ одну неподвижную точку— высоты Мастранда, и я привѣтствовалъ родину Густава и Карла. Волны становились часъ отъ часу все тише и тише, изгладились, и я увидѣлъ новую торжественную картину: совершенное спокойствіе, глубокій сонъ бурной стихіи. Солнце, находясь въ зенитѣ своемъ, осыпало сіяніемъ гладкую синеву. Къ несчастію, долго ничѣмъ наслаждаться не можно. Тишина въ морѣ утомительнѣе бури для мореплавателя. Я пожелалъ вѣтра и сказалъ капитану:

...Tu, che condutti
N'hai.... in questo mar che non ha fine,
Di, s'altri mai qui giunse; e se più avante
Nel mondo ove corriamo have abitante.

Онъ отвѣчалъ мнѣ на грубомъ англійскомъ языкѣ, который въ устахъ мореходцевъ еще грубѣе становится, и божественные стихи любовника Элеоноры безъ отвѣта изчезли въ воздухѣ:

Быть можетъ, ихъ Ѳетида
Услышала на днѣ,
И, лотосомъ вѣнчанны,
Станицы нереидъ
Въ серебряныхъ пещерахъ
Склонили жадный слухъ
И сладостно вздохнули,
На урны преклонясь
Лилейною рукою;
Ихъ перси взволновались
Подъ тонкой пеленой...
И море заструилось,
И волны поднялись!

Свѣжій вѣтеръ началъ надувать паруса. Мы приближались къ утесамъ готическимъ. Ты помнишь гавань Готенбургскую и, можетъ быть, подобно мнѣ, съ нетерпѣніемъ проходилъ мимо архипелага, скалъ и утесовъ, живописныхъ издали, но утомительныхъ для мореплавателя. Наконецъ, мы въ Готенбургѣ; въ новой Англіи, по словамъ Арндта! Съ разсвѣтомъ являются къ намъ таможенные приставы, которые позволяютъ намъ вступить на берегъ шведскій. Капитанъ Майй со мною прощается и желаетъ счастливаго пути въ Россію. Шведъ спѣшитъ въ городъ и забываетъ второпяхъ свои чемоданы. Честный Еврей подаетъ мнѣ руку, и мы шествуемъ съ нашими пожитками въ гостинницу Зегерлинга, откуда я пишу къ тебѣ сіи строки дрожащею рукою. Письменный столикъ шатается, полъ подо мною колеблется: столь сильно впечатлѣніе морской качки, что и здѣсь, на сухомъ пути, оно не изчезаетъ.

Отдохнувъ немного, иду справляться, нѣтъ ли корабля въ Петербургъ; въ противномъ случаѣ принужденъ буду ѣхать въ Стокгольмъ. Къ несчастію, вчера былъ день воскресный, и всѣ банкиры и маклеры за городомъ, въ увеселительныхъ домахъ своихъ. Что дѣлать? Бродить по городу, который показался мнѣ и малъ, и бѣденъ, вопреки Арндту. Не мудрено: я—изъ Англіи! За воротами готенбургскими есть липовая аллея: единственное гулянье. Я прошелъ по ней нѣсколько разъ съ печальнымъ чувствомъ: липы шведскія такъ тощи и худы въ сравненіи съ липами Британіи! Холодными глазами смотрѣлъ я на окрестности

Готенбурга, довольно живописныя, на купцовъ и конторщиковъ, которые, со всею возможною важностію, прогуливаютъ себя, свои англійскіе фраки, женъ, дочерей и скуку. Женщины не блистаютъ красотою, и странный нарядъ ихъ не привлекателенъ.

На городовой площади собираются офицеры къ параду. Народъ съ большимъ удовольствіемъ смотрѣлъ на разводъ солдатъ въ круглыхъ шляпахъ и въ лохмотьяхъ, которыя сдѣлали бы честь австрійской арміи. Въ вечеру парадъ церковный, обрядъ искони установленный. Войско становится въ строй и поетъ псалмы и священные гимны, офицеры читаютъ молитвы. Такъ ведется въ шведской арміи со временъ Густава-Адольфа, набожнаго рыцаря и короля властолюбиваго. Итакъ, мой милый другъ, я снова на берегахъ Швеціи,

Въ землѣ тумановъ и дождей,
Гдѣ древле Скандинавы
Любили честь, простые нравы,
Вино, войну и звукъ мечей.
Отъ сихъ пещеръ и скалъ высокихъ,
Смѣясь волнамъ морей глубокихъ,
Они на бренныхъ челнокахъ
Несли врагамъ и казнь, и страхъ.
Здѣсь жертвы страшныя свершалися Одену,
Здѣсь кровью плѣнниковъ багрились алтари...
Но въ нравахъ я нашелъ большую перемѣну:
Теперь полночные цари
Курятъ табакъ и гложутъ сухари,
Газету Готскую читаютъ
И, сидя подъ окномъ съ супругами, зѣваютъ.

Эта земля не плѣнительна. Сладости Капуи или Парижа здѣсь неизвѣстны. Въ ней ничего нѣтъ пріятнаго, кромѣ живописныхъ горъ и воспоминаній.

Прости, милый товарищъ! Тебѣ не должно роптать на судьбу: ты въ землѣ красоты, здраваго смысла и свободы, ты счастливъ. Но я не завидую тебѣ, возвращаясь на дикій сѣверъ: я увижу родину и нѣсколько друзей, о коихъ я могу сказать съ Вольтеромъ:

Je les regretterais à la table des dieux.

IX. Къ Г-жѣ Петиной.

13-го ноября 1814 г. (Петербургъ). Милостивая государыня! Простите мнѣ великодушно, если моимъ письмомъ я растравлю глубокую и неисцѣлимую рану вашего сердца; но я знаю, что слезы матери, горестныя и вѣчныя, имѣютъ нѣкоторую сладость для сердца, исполненнаго вѣры и надежды на Бога, единственнаго утѣшителя въ печаляхъ.

Я имѣлъ счастіе быть извѣстенъ вамъ при жизни незабвеннаго вашего сына, съ которымъ я провелъ, въ бытность вашу въ Москвѣ, нѣсколько мѣсяцевъ, счастливѣйшихъ въ моей жизни. Незабвенный вашъ Иванъ Александровичъ былъ мой товарищъ на войнѣ и другъ мой. Время не изгладитъ его изъ моей памяти. Всѣ товарищи, всѣ офицеры, всѣ тѣ, которые знали его, жалѣютъ о преждевременной его кончинѣ. Мы уважали въ немъ рѣдкія его качества: неустрашимость въ опасности, постоянную кротость, любовь къ товарищамъ, снисхожденіе къ подчиненнымъ, добродушіе и откровенность въ обществѣ, свѣтлый умъ и прекрасную душу. Какъ ни горестна потеря такого друга для меня, она ничто въ сравненіи съ вашей. Одинъ Всевышній можетъ измѣрить ее въ сердцѣ матери; одинъ Всевышній въ силахъ подать вамъ твердость и упокоеніе.

Я былъ въ Лейпцигской битвѣ и на могилѣ Ивана Александровича, къ которой привелъ меня его камердинеръ. Отдавъ послѣдній долгъ моему другу и храброму полковнику, я потребовалъ пастора и просилъ его убѣдительно сохранить священные остатки русскаго воина. «Здѣсь», сказалъ я,—«будетъ воздвигнутъ памятникъ его родственниками и неутѣшною матерью». Онъ далъ мнѣ слово сохранить въ цѣлости драгоцѣнную могилу.

Теперь, милостивая государыня, возвращаясь въ мое отечество, я поставилъ себѣ священнымъ долгомъ сдѣлать вамъ слѣдующее предложеніе: воздвигнуть памятникъ надъ прахомъ вашего сына. И вотъ на сіе способъ: вы можете прислать при-

личную сумму, до тысячи рублей, если вамъ угодно, на имя Александра Ивановича Тургенева, директора департамента духовнаго, который, бывъ воспитанъ въ университетѣ съ сыномъ вашимъ и любя его какъ брата, беретъ на себя препроводить деньги въ Лейпцигъ къ своему знакомому, чтобъ заказать тамъ приличный монументъ. Вы можете быть увѣрены въ томъ, что порученіе ваше будетъ исполнено со всею возможною точностію и стараніемъ, и г. Тургеневъ отдастъ вамъ отчетъ по совершеніи онаго. Я беру на себя сдѣлать приличную надпись и заказать рисунокъ. Конечно, ни одинъ художникъ не откажется отъ столь прекраснаго занятія.

Сладостно и пріятно помыслить, что на полѣ славы и чести, на томъ полѣ, гдѣ Русскіе искупили цѣлый міръ отъ рабства и оковъ, на полѣ, запечатлѣнномъ нашею кровью, русскій путешественникъ найдетъ прекрасный памятникъ, который возвратитъ ему имя храбраго воина, его соотечественника, и почтитъ его память, драгоцѣнную для потомства! Я исполню то, что̀ обѣщался на могилѣ храбраго Петина, и счастливымъ назову себя, если вы не отринете мое предложеніе, усердіемъ и дружбою внушенное. Удостойте меня отвѣтомъ, милостивая государыня, и вѣрьте, что я пребуду навсегда съ чувствомъ глубочайшаго почитанія къ матери моего друга и товарища вашъ покорнѣйшій слуга Константинъ Батюшковъ.

Имя пастора той деревни, гдѣ погребено тѣло Ивана Александровича, у меня записано, но имя села потеряно. Камердинеръ его знаетъ, конечно. Впрочемъ, и по одному имени пастора можно будетъ отыскать могилу, тѣмъ болѣе, что тотъ, кому будетъ сдѣлано порученіе, ничего не упуститъ для исполненія его со всею возможною точностію. Мой адресъ: Конст. Никол. Батюшкову, въ жительствѣ Александра Ивановича Тургенева, въ департаментѣ его сіятельства князя А. Н. Голицына.

Х. Къ А. И. Тургеневу.

1.—(Октябрь—ноябрь 1814 г. Петербургъ). Вотъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, мои замѣчанія на стихи Жуковскаго. Не мое дѣло критиковать планъ, да и какая въ томъ польза? Онъ не изъ тѣхъ людей, которые перепpавляютъ. Ему и стихъ поправить трудно. Я могъ ошибаться, но если онъ со мной въ иныхъ случаяхъ будетъ согласенъ, то заклинаю его и музами, и здравымъ разсудкомъ не лѣниться исправлять: единственный способъ приблизиться къ совершенству.

Дерзнетъ ли свой листокъ онъ въ тотъ вплести вѣнецъ...

Ужасный стихъ! (Замѣчаніе: я стану только выписывать дурные стихи; моя критика не нужна, онъ самъ почувствуетъ ошибки: у него чутье поэтическое). Послѣ прекраснаго, исполненнаго жизни стиха:

И, радости полна, сама играетъ лира

слѣдуетъ:

Кто славы твоея опишетъ красоту?

Стихъ холодный, прозаическій. Пусть поэтъ описываетъ славу государя, увлеченный своимъ энтузіазмомъ, но никакъ не упоминаетъ о словѣ *описывать*. Пусть его переходы будутъ живы и пр. Жуковскій мастеръ этого дѣла. Пусть онъ начнетъ прямо съ слѣдующаго стиха:

Съ благоговѣніемъ, и проч.
А въ отдаленіи внимая, какъ державы
Дробила надъ главой земныхъ народовъ брань.

Брань, *которая дробитъ* державы надъ главой земныхъ народовъ! Я этого не понимаю и прошу истолковать.

Нѣтъ, выше бурь вѣнца ты ею возносился.

Не лучше ли: бурь *земныхъ*? Такъ я думаю; впрочемъ, могу ошибаться.

Цари, невнимательны и пр.
Подъ наклонившихся престоловъ царскихъ тѣнь,
Какъ въ неприступную для бурь и бѣдствій сѣнь,
Народы ликовать сбиралися толпами...

Эти стихи такъ спутаны, что въ нихъ и смыслъ теряется; притомъ замѣтьте: тѣнь наклонившихся престоловъ царскихъ, въ которую, какъ въ неприступную сѣнь, отъ бѣдствій и бурь стекаются народы. Что̀ это значитъ? Поправляй, поправляй, лѣнивецъ!

И первый лилій тронъ у Галловъ надъ главами
Разгрянулся въ куски и вспыхнулъ, какъ волканъ.

Тронъ разгрянулся надъ главой Галловъ, и какъ? въ куски. И что̀ же? Вспыхнулъ, какъ волканъ! Не хорошо! Потомъ: великанъ, который

Взорами на міръ ужасно засверкалъ,—

каррикатура и ничего не значитъ. Бонапарте надобно лучше и сильнѣе характеризовать.

Я не замѣчу:

На народы двинулъ рабства плѣнъ.

Если это выраженіе не вѣрно, то по крайней мѣрѣ имѣетъ силу и живость.

Тамъ все, и самъ Христовъ алтарь, кричало: брань!
Тамъ все изъ-подъ бича къ стопамъ тирана дань
На пользу буйственнымъ мечтамъ принесть спѣшило.

Мы закричимъ: Жуковскій, поправь и эти три стиха! Первый дуренъ, а другіе не хороши.

И мздой свою постель страданье выкупало

надобно поправить.

И юность ихъ (дѣтей) какъ на могилѣ цвѣтъ...

На могилѣ—ничего не значитъ. Не лучше ли:

И юность ихъ была минутный жизни цвѣтъ.
И хитростью подрытъ, измѣной потрясенъ,
Добитый громами, за трономъ падалъ тронъ,
И скоро, сдавленный губителя стопою,
Угасшій пепелъ ихъ покрылся мертвой мглою.

Я не стану дѣлать замѣчаній, онъ самъ догадается: мое дѣло обратить вниманіе на слабыя мѣста.

Рати, спѣшащія раздробить еще пріютъ свободы. Пріютъ свободы раздробить! Какія ошибки! Но какъ легко ихъ

поправить этому варвару Жуковскому! Впрочемъ, не худо бы сжать и все описаніе бѣдствій до стиха:

За сей могилою и пр.

Чѣмъ короче, тѣмъ сильнѣе.

Какъ ни слова не сказать о философахъ, которые приготовили зло! За то, сколько прекрасныхъ, божественныхъ стиховъ! Но я не стану хвалить. Критика нужнѣе.

Въ толпѣ прекрасныхъ стиховъ я долженъ замѣтить сей темный:

Пусть облечетъ во власть святой обрядъ вѣнчанья.

Вторая половина вся прелестна, и рука не подымется дѣлать замѣчанія. Здѣсь Жуковскій превзошелъ себя: его стихи—вѣрьте мнѣ!—безсмертные.

Cet oracle est plus sûr.

Если вы хотите сдѣлать великолѣпное изданіе, то вотъ мой совѣтъ: просите Алексѣя Николаевича нарисовать какую-нибудь мысль, а въ концѣ всего приличнѣе—его медаль на клятву всѣхъ состояній. Батюшковъ.

2.—12-го іюля (1818 г.). Одесса. Письмо ваше я получилъ въ Одессѣ или въ русской Италіи, почтеннѣйшій изъ людей и изъ человѣковъ. Все, что вы дѣлаете, прекрасно, и молю Провидѣніе, да увѣнчаетъ успѣхомъ благія начинанія. Напишите, свисните въ пору, и я очучусь у васъ, отъ береговъ Чернаго моря на берегахъ Невы, ибо во всякомъ случаѣ долженъ буду возвратиться къ вамъ: одной благодарности сердечной для того достаточно. Кромѣ отправленія (въ случаѣ удачи), мнѣ нужны будутъ наставленія и совѣты Сѣверина. Не шутка — надолго отправиться изъ родины! Надобно мнѣ и свои дѣла устроить, да и съ Жуковскимъ поспорить кой о чемъ. Отсюда я отправлюсь въ Крымъ на сихъ дняхъ, если купанье въ морѣ недостаточнымъ окажется. Но вы смѣло адресуйте письма ваши на мое имя въ Одессу, въ канцелярію графа Ланжерона. Правитель оной—мнѣ знакомый человѣкъ и отправитъ немедленно, а

если надпишите на пакетѣ нужное, то и еще скорѣе отправить. Въ Крыму все любопытно. Здѣсь недавно я бродилъ по развалинамъ Ольвіи: сколько воспоминаній! Если успѣю, то опишу сіи священные остатки, сію могилу города, и покажу вамъ въ Петербургѣ. Je ne vous ferai pas grâce d'une ligne. Я срисовалъ все, что̀ могъ и успѣлъ. Жалѣю, что нашъ Карамзинъ не былъ въ этомъ краю. Какая для него пища! Можно гулять съ мѣста на мѣсто съ однимъ Геродотомъ въ рукахъ. Я невѣжда, и мнѣ весело. Что̀ же должны чувствовать люди ученые на землѣ классической! Угадываю ихъ наслажденія.

Одесса — пріятный городъ. Море здѣсь какъ море и немного пріятнѣе ледянаго залива Финскаго. Здѣсь найдете всѣ націи и всего болѣе соотечественниковъ Тасса и Серра-Капріола. Азіятцевъ множество. Театръ лучше московскаго и едва ли не лучше петербургскаго. Здѣсь княгиня Зинаида [1]), у которой я просидѣлъ утро. Здѣсь Гуржеевъ; его еще не видѣлъ, но увижу: послушать его въ Одессѣ любопытно. Жаль, что нѣтъ здѣсь Николая Ивановича [2]) pour le mettre en train. По жара здѣсь, говорятъ, несносная отъ полудня до самаго вечера. Я не могу пожаловаться и часто, какъ Горацій, гуляю по солнцу; особенно люблю sulla placida marina la fresc'aura respirar, и Сенъ-При, у котораго живу, не можетъ надивиться способности моей гулять во всякое время — и утромъ, и въ зной, и ночью. Впрочемъ, нынѣшній годъ хуже прошлаго, и торговля скиоскою пшеницею идетъ плохо. Въ Италіи урожай, и всѣ здѣсь плачутъ: вотъ какъ трудно Провидѣнію угодить на всѣхъ! А мы, поэты, хотимъ всѣмъ и каждому понравиться, мы всѣ, начиная отъ Хвостова до Жуковскаго, котораго обнимаю отъ всего сердца. Онъ давнымъ давно у васъ и съ вами: завидую ему и вамъ. Иду утѣшиться въ Cantatrice Villane, которыхъ музыка прелестна. Завтра примусь за чтеніе и купанье.

[1]) Княгиня Зенаида Александровна Волконская.

[2]) Тургеневъ.

Простите, будьте здоровы, веселы и счастливы. Братцу вашему мое усерднѣйшее почтеніе. Благодарю его за извѣщеніе, очень благодарю! Весь вашъ и навсегда К. Б.

3.—30-го іюля 1818 г. Одесса. Вчера получилъ я ваше письмо, почтеннѣйшій Александръ Ивановичъ, письмо печальное и пріятное. На канунѣ услышалъ я о потерѣ нашего Сѣверина и, признаюсь вамъ, содрогнулся. Потомъ не хотѣлъ вѣрить: письмо ваше подтвердило печальное извѣстіе. Сѣверинъ очень несчастливъ. Жалѣю о почтенномъ Стурдзѣ, и особливо о матери! Все это семейство ходитъ по тернамъ, и я не могу безъ горестнаго чувства вспомнить о Сѣверинѣ и объ его худомъ здоровьѣ. Желаю ему твердости душевной. О себѣ скажу вамъ, что я уже занесъ было одну ногу въ Крымъ, послѣ завтра хотѣлъ отправиться въ Козловъ: письмо ваше остановило меня. Итакъ, судьба моя рѣшена, благодаря вамъ! Я увѣренъ, что вы счастливѣе меня, сдѣлавъ доброе дѣло. Для васъ это праздникъ, подарокъ Провидѣнія. Я благодарю Его не за Италію, но за дружбу вашу: быть вамъ обязаннымъ пріятно и сладостно. И это подарокъ Провидѣнія, которое начинаетъ быть ко мнѣ благосклоннѣе. На счетъ вашъ и больше, и лучше говорилъ я сію минуту съ человѣкомъ, который понималъ меня, графомъ Сенъ-При. На бумагѣ всего не напишешь, а если напишешь все, то будетъ дурно. Но при первомъ свиданіи обниму васъ крѣпко на крѣпко. Оно будетъ скоро: сердце влечетъ меня въ Петербургъ. Долженъ увидѣть васъ, виновника моего путешествія, увидѣть Катерину Ѳедоровну, которую почитаю моимъ Провидѣніемъ на землѣ. Напрасно усомнилась она въ моемъ пріѣздѣ. Какъ могу рѣшиться на дальній путь и долгую разлуку съ отечествомъ!... Странно сказать, а до сихъ поръ не чувствую большаго облегченія отъ купанья. Кстати о купаньѣ. Между тѣмъ какъ дружество пеклось о судьбѣ моей, я чуть не избавилъ его отъ хлопотъ: купавшись, чуть не потонулъ въ морѣ,—такъ зашелъ далеко и неосторожно во время сильной бури! Великое количество

соленой воды, которую проглотилъ при потопленіи моемъ, разстроило мою грудь. Три дня страдалъ. Теперь легче: голосъ дружбы вылѣчилъ меня совершенно. Поклонъ Жуковскому! Знаетъ ли онъ стихи Мейстера, оду его на побѣду Россіи? Послѣднія строки прелестны, и благодарность къ Россіи въ устахъ иностранца—дѣло, конечно, необыкновенное, тѣмъ болѣе, что стихи хороши. Вотъ они, если не знаете; вотъ они, если и знаете ихъ: хорошее можно всегда повторять.

Et toi, puissant pays, terre heureuse et chérie,
Asyle favorable et nouvelle patrie
Que m'accordent les dieux!
Profite des bienfaits que leur main te dispose,
Et jouis du bonheur sous la douce influence
D'un règne glorieux!
J'aime tes habitans, tes fleurs et tes rivages,
Et l'air que j'y réspire, et de tes bois sauvages
L'immense profondeur.
Je vais, je vais rentrer dans ces retraites sombres
Et, plein d'un doux transport, méditer sous leurs ombres
Ta gloire et mon bonheur!

И я утѣшаюсь мыслію, что изъ сихъ голыхъ степей, опаленныхъ солнцемъ, увижу сосны Петербурга, прелестную Неву и васъ съ Жуковскимъ; съ послѣднимъ бесѣдую, то-есть, перечитываю. Карамзина не выпускалъ изъ рукъ. Здѣсь было очень жарко, и италіянская опера прекрасная, слѣдственно, мнѣ было не худо.

4.—3-го августа (1818 г.). Одесса. Въ письмѣ вашемъ требуете вы, чтобы я сказалъ мое мнѣніе о лицеѣ. Скажу вамъ по совѣсти: лицей есть лучшее украшеніе Одессы, точно такъ какъ Одесса—лучшій городъ послѣ столицъ. Я видѣлъ дѣтей въ классахъ, за столомъ, видѣлъ ихъ спальни и не могъ налюбоваться порядкомъ, чистотою. Въ первый разъ видѣлъ я дѣтей, учащихся по новой методѣ, подъ руководствомъ молодаго человѣка, недавно пріѣхавшаго изъ Парижа. Николь увѣряетъ, что метода сія полезна. Но его собственная метода преподаванія латинскаго языка удивительна. Въ шесть мѣсяцевъ дѣти сдѣлали

успѣхи невѣроятные, дѣти, до сего едва умѣвшія читать по русски! Вообще метода преподаванія языковъ, основанная на сорокалѣтней опытности, должна быть совершенна. Въ вышнихъ классахъ есть воспитанники отличные; но сіи, по большей части, уже были приготовлены домашнимъ воспитаніемъ. Не стану хвалить Николя: вы его знаете; я видѣлъ его мало, но смотрѣлъ на него съ тѣмъ почтеніемъ, которое невольно вселяетъ человѣкъ, посѣдѣвшій въ добрѣ и трудахъ. Онъ безпрестанно на стражѣ: живетъ съ дѣтьми, обѣдаетъ съ ними; больница ихъ возлѣ его спальни. Я говорилъ съ родственниками дѣтей: всѣ просвѣщенные и добрые люди относятся о немъ съ благодарностію. Спросите у княгини С. Г. Волконской: ея дѣти тамъ, а голосъ матери всегда краснорѣчивъ и силенъ, и справедливъ, прибавляю. Я видѣлъ нѣкоторыхъ родственниковъ въ Москвѣ и привезъ ихъ письма къ дѣтямъ. Всѣ хвалили лицей и благодарили за него правительство и Провидѣніе; и для нихъ, по перепискѣ дѣтей, успѣхи ихъ были очевидны. Но аббатъ, слышу стороною и судя по письму вашему, имѣетъ недоброжелателей. Не удивляюсь ни мало: добро даромъ не дѣлается. Лицей имѣетъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ. Но за то, въ защиту — общественное мнѣніе или по крайней мѣрѣ доброе мнѣніе людей просвѣщенныхъ. Все, что̀ узнаю касательно лицея, сообщу вамъ изустно при первомъ свиданіи; теперь не могу удержаться и не сказать вамъ, что первое впечатлѣніе было мнѣ пріятно. Вы сами съ удовольствіемъ увидѣли бы дѣтей степныхъ, говорящихъ по латыни, готовящихъ себя въ пользу государства, здѣсь, въ землѣ новой и едва вышедшей изъ пеленъ. Самое имя Ришелье, благодѣтеля сего края, пріятно слуху истиннаго патріота и должно быть счастливымъ знаменованіемъ для сего училища. Дай Богъ, чтобы министерство просвѣщенія поддержало лучшее свое произведеніе и дало бы ему способы усовершенствоваться. Но произведеніе сіе дышетъ аббатомъ. Надобно быть здѣсь, чтобы удостовѣриться въ истинѣ моихъ словъ. Безъ страсти и безъ предразсудка объявилъ вамъ мое мнѣніе, осно-

ванное на внутреннемъ убѣжденіи, что лицею надобно пожелать здравія и долгоденствія для пользы и славы Россіи, для пользы и славы вашего министерства. Исполнилъ долгъ мой: сказалъ, что зналъ и какъ умѣлъ.

Не спрашиваю у васъ извѣстій о Сѣверинѣ, ибо не дождусь отвѣта. Страшусь за него: онъ — съ твердою душою, но здоровьемъ не герой, а надобно и здоровье, чтобъ перенесть несчастіе. Я знаю это по опыту. Къ графу Капо д'Истріи писать буду изъ Петербурга; сообщу вамъ письмо мое. Поклонитесь усердно всѣмъ нашимъ и не забывайте Батюшкова. Не забудете: ибо человѣкъ всегда съ удовольствіемъ вспоминаетъ о тѣхъ, которымъ былъ полезенъ. Обнимаю васъ и Жуковскаго, отъ всего сердца обнимаю. Простите!

Ожидаю сегодняшней почты, которая, можетъ быть, принесетъ мнѣ указъ объ опредѣленіи и письмо ваше, почтенный и любезный Александръ Ивановичъ. Получа ихъ, отправлюсь немедленно въ Петербургъ, черезъ Москву. Надѣюсь быть у васъ къ 1-му сентября, а если запоздаю, то по крайней мѣрѣ къ 10-му. Мнѣ совѣтуютъ отправиться отсюда: выиграю чрезъ то около 300 червонцевъ, увижу Грецію и прямо могу очутиться въ Неаполѣ. Но за то не увижу васъ и не прощусь съ Катериною Ѳедоровною! Итакъ, ожидаю вашего рѣшительнаго письма чтобъ идти за подорожною. Между тѣмъ купаюсь въ морѣ, читаю повѣсти Геродота о Черномъ морѣ и смотрю италіянскую оперу.

5.— (10-го сентября 1818 г. Москва). Письмо ваше отъ 3-го сентября получилъ сегодня, то-есть, 10-го. Благодарю васъ за увѣдомленіе, очень благодарю. Когда появится въ газетахъ? Приготовлю все. Я къ вамъ явлюсь къ концу сего мѣсяца, неся въ маленькомъ сердцѣ моемъ много признательности къ вамъ, доброму человѣку. Не въ Неаполѣ жить, а вамъ быть признательнымъ: вотъ мое сладострастіе. Скажите Вяземскому и еще другое сладострастіе: сдѣлаться достойнымъ дружбы достойныхъ людей.

Я знаю Италію, не побывавъ въ ней. Тамъ не найду сча-

стія: его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ. Ни зрѣлища чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественныя воспоминанія не замѣнятъ для меня васъ и тѣхъ, кого привыкъ любить. Привыкъ! Разумѣете меня? Но первое условіе—жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно. Вотъ почему желалъ Италіи и желаю. Умереть на батареѣ—прекрасно; но въ тридцать лѣтъ умереть въ постели—ужасно, и право мнѣ что-то не хочется. И потому-то спѣшу къ вамъ, чтобъ отъ васъ въ октябрѣ отправиться въ Вѣну. Надѣюсь, что мнѣ позволятъ ѣхать pian-pianino.

Въ ожиданіи лучшаго, слушать буду сегодня переводъ Мерзлякова, у котораго много пламенныхъ стиховъ и другаго прочаго. Ни слова не скажу о переводѣ, напечатанномъ въ Сынѣ Отечества. Я согласенъ съ мнѣніемъ Греча, изложеннымъ въ точкахъ. Поздравляю академію: преузорочно! «Часть открытыхъ пухлыхъ грудей!... Но хотя взору преграждаетъ путь, однако не можетъ остановить страстной мысли».... Страстная мысль—хорошо, но далѣе: «Мысль дерзаетъ сквозь чистоту одежды прокладываться въ укутанныя части»... Харчевенный слогъ! Лапотникъ! И какое мѣсто въ Тассѣ чудесное! Здѣсь-то Тассъ именно великъ слогомъ, ибо Армида его не достойна эпопеи: кокетка, развратная прелестница, но слогъ, ее укутавшій, даетъ ей прелесть неизъяснимую. Что̀ же она въ русскомъ переводѣ? Молчу, молчу, но право, иногда своимъ голосомъ скажешься. Воейковъ пишетъ гекзаметры безъ мѣры, Жуковскій (!?!?!?!)—пятистопные стихи безъ риѳмъ, онъ, который очаровалъ нашъ слухъ и душу, и сердце... Послѣ того мудрено ли, что въ академіи такъ переводятъ?

Читалъ и вылазку или набѣгъ Каченовскаго, набѣгъ на вкусъ, на умъ, на славу. Не гнѣвайтесь: Каченовскій дѣлаетъ свой долгъ, Карамзинъ—свой. Онъ пишетъ 9-ю часть Исторіи. Вотъ лучшій, краснорѣчивѣйшій отвѣтъ! Но Каченовскому я отпѣлъ что̀ думалъ: Того ли мы ожидали отъ васъ? Критики,

благоразумной критики, не пищи для Англійскаго клуба и московскихъ кружковъ. Укажите на ошибки Карамзина, уличите его, укажите на мѣста сомнительныя, взвѣсьте все сочиненіе на вѣсахъ разсудка. Хвалите отъ души все прекрасное, все величественное, безъ восклицаній, но какъ человѣкъ глубоко тронутый. А вы что̀ дѣлаете? Нѣтъ, вы не любите ни его славы, ни своей собственной, ни славы отечества... И мало писателей любятъ ее! Мы всѣ любимъ себя, свои стихи и прозу; за то и насъ не любятъ. Но я люблю васъ, любя свои стихи: вотъ мое достоинство. Обнимаю васъ, вашего почтеннаго братца, за которымъ гнался по Москвѣ въ день его выѣзда и не успѣлъ обнять. Обнимаю, обнимаю Жуковскаго, котораго браню и люблю, люблю и браню. Мерзлякову сегодня покажу письмо ваше. Бога ради, отвѣчайте мнѣ немедленно: «пріѣзжай». Адресъ мой: въ Череповцѣ, Новгородской губерніи. Намѣренъ послѣ завтра туда отправиться, и если получу письмо ваше, то немедленно пущусь въ Петербургъ. Будьте здоровы и счастливы и не читайте худой прозы и худыхъ стиховъ, кромѣ моихъ, разумѣется.

Бога ради отыщите мнѣ Келера. Николай Ивановичъ не могъ найти его безъ васъ, какъ ни старался. Келеръ мнѣ нуженъ. Я съ ума схожу на Ольвіи. Сверчокъ [1]) что̀ дѣлаетъ? Кончилъ ли свою поэму? Не худо бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ; потомство не отличитъ его отъ двухъ однофамильцевъ, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство. Князь А. Н. Голицынъ московскій промоталъ двадцать тысячъ душъ въ шесть мѣсяцевъ. Какъ не великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если.... Но да спасутъ его музы и молитвы наши! Напомните обо мнѣ Карамзинымъ и усердно особенно поклонитесь Катеринѣ Андреевнѣ. Везу ей гостинецъ: пусть угадаетъ какой! Что̀ дѣлаетъ Вяземскій? Вы о немъ ни слова не промолвили. Два письма вручите Гнѣдичу и Катеринѣ Ѳедоровнѣ.

[1]) А. С. Пушкинъ.

6.—24-го марта 1819 г. Неаполь. Точно такъ, какъ Тиверій, котораго островъ предъ моимъ окномъ, не зналъ съ чего начать посланіе свое къ сенату, — такъ я, въ волненіи различныхъ чувствъ, посреди заботъ и разсѣянія, посреди визитовъ и счетовъ, при безпрерывномъ крикѣ народа, покрывающаго набережную, при звукѣ цѣпей преступниковъ, при пѣніи полишпнелей, лазароновъ и прачекъ, не знаю, не умѣю, съ чего начать вамъ мое письмо. Примѣръ Тиверія соблазнителенъ! Начну строгимъ выговоромъ. Какъ можно забывать насъ, бѣдныхъ странниковъ? Обѣщали писать и вы, и всѣ друзья, и никто не сдержалъ даннаго слова. Долженъ полагать, что вы меня забыли. За то и вы не въ правѣ требовать отъ меня длиннаго посланія: некогда. Завтра ѣду въ Террачину, а сегодня надобно объѣхать весь городъ, который длиненъ и неопрятенъ.

Каждый день народъ волнами притекаетъ въ обширный театръ восхищаться музыкой Россини и усладительнымъ пѣніемъ своихъ сиренъ, между тѣмъ какъ Везувій, нашъ сосѣдъ, готовится къ изверженію; говорятъ, въ Портичи и въ окрестныхъ мѣстахъ колодцы начинаютъ высыхать: знакъ, по словамъ наблюдателей, что вулканъ станетъ работать. Прелестная земля! Здѣсь бываютъ землетрясенія, наводненія, изверженіе Везувія, съ горящей лавой и съ пепломъ; здѣсь бываютъ притомъ пожары, повальныя болѣзни, горячка. Цѣлыя горы скрываются и горы выходятъ изъ моря; другія вдругъ превращаются въ огнедышащія. Здѣсь отъ болотъ или испареній земли волканической воздухъ заражается и рождаетъ заразу: люди умираютъ, какъ мухи. Но за то здѣсь солнце вѣчное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздухъ, въ которомъ таится смерть, благовоненъ и сладокъ! Все имѣетъ свою выгодную сторону; Плиній погибаетъ подъ пепломъ, племянникъ описываетъ смерть дядюшки. На пеплѣ выростаетъ славный виноградъ и сочные овощи...

Не дали мнѣ кончить начатаго письма. Сію минуту воротился изъ Гаэты, гдѣ разстался съ великимъ княземъ [1]; съ нимъ

[1]) Великій князь Михаилъ Павловичъ.

было разставаться грустно, какъ съ Россіею. Мы его здѣсь видѣли ежедневно, окруженнаго своими; мы къ нему привыкли и сохранимъ навсегда въ памяти нашей его ласки и доброжелательство, мы, то-есть, двое или трое Русскихъ во всемъ Неаполѣ! Мои товарищи знаютъ весь городъ. Я никого не знаю и брожу по улицамъ, какъ въ лѣсу. Къ досадѣ моей, всѣ покидаютъ теперь Неаполь и спѣшатъ въ Римъ: графъ де-Бре, Серра-Капріола и всѣ Англичане, мои знакомые. Въ бытность великаго князя познакомился съ Лагарпомъ, который бодръ тѣломъ и духомъ. Онъ всходилъ на Везувій безъ помощи проводника и, къ стыду нашему, опередилъ молодежь. Обращеніе его столько же просто, сколько умъ тонокъ; онъ много знаетъ, ибо все помнитъ. Здѣсь я познакомился съ Капече-Латро, архіепископомъ Тарентскимъ, ученымъ мужемъ и почтеннымъ, который нѣкогда игралъ важную роль въ королевствѣ, который и безъ чиновъ, и безъ мѣста внушаетъ уваженіе и любовь: у него собраніе книгъ, медалей и картинъ. Скажите Уварову, чтобы онъ мнѣ доставилъ экземпляръ своихъ опытовъ о таинствахъ элевзинскихъ для сего почтеннаго старца: они будутъ въ хорошихъ рукахъ. А мнѣ, милостивый государь, пришлите чего-нибудь русскаго: новостей книжныхъ, стиховъ и прозы. Стыдно Жуковскому, если онъ меня забудетъ. Здѣсь я часто говорилъ о немъ съ графомъ де-Бре, который Неаполь покидаетъ со слезами на глазахъ: такія прелести имѣетъ сей городъ! О Неаполѣ говоритъ Тассъ въ письмѣ къ какому-то кардиналу, что Неаполь ничего, кромѣ любезнаго и веселаго, не производитъ. Не всегда весело! Не могу привыкнуть къ шуму на улицѣ, къ уединенію въ комнатѣ. Днемъ весело бродить по набережной, осѣненной померанцами въ цвѣту, но въ вечеру не худо посидѣть съ друзьями у добраго огня и говорить все, что̀ на сердцѣ. Въ нѣкоторыя лѣта это можетъ быть нуждою для образованнаго, мыслящаго существа. Какъ бы то ни было, надобно ко всему привыкать. Напомните обо мнѣ Карамзинымъ. Скажите имъ, что въ Баіи мы вспоминали ихъ съ графомъ де-Бре посреди розъ

и развалинъ. На прелестнѣйшемъ берегу, окруженный тысячами воспоминаній, я буду писать къ нимъ при первомъ удобномъ случаѣ. Просите Пушкина, именемъ Аріоста, выслать мнѣ свою поэму, исполненную красотъ и надежды, если онъ возлюбитъ славу паче разсѣянія. Карамзинъ говорилъ рѣчь въ Академіи; не пропляшетъ ли чего-нибудь и Свѣтлана? [1]) Что она поетъ теперь и на какой ладъ? Я получилъ отъ Дашкова письмо, въ которомъ онъ вздыхаетъ объ отечествѣ. Будьте же счастливы тамъ, друзья мои, и вѣрьте, что васъ люблю, люблю и буду любить. Для свадьбы принцессы и для пріѣзда императора [2]) готовятся здѣсь балы, праздники, гулянья. Здѣсь весна въ полномъ цвѣтѣ: миндальное дерево покрыто цвѣтами, розы отцвѣтаютъ, и апельсины зрѣлые падаютъ съ вѣтвей на землю, усѣянную цвѣтами; но я принимаю слабое участіе въ пирахъ людей и природы: живу съ книгами и думаю о васъ.

XI. Къ Е. Ѳ. Муравьевой.

1.—11-го августа 1815 г. Каменецъ. Вчерашняя почта была счастлива для меня. Я получилъ ваши письма отъ 6-го и 15-го іюня, письмо отъ сестрицы и наконецъ отъ Гнѣдича. Всѣ, слава Богу, здоровы, и мое безпокойство изчезло. Но никогда въ жизни моей я столько не страшился и не мучился въ безвѣстности. Слишкомъ два мѣсяца прошли, что ни отъ васъ, почтенная и милая тетушка, ни отъ сестрицъ не было писемъ. Два мѣсяца—два вѣка. Я хотѣлъ даже послать нарочнаго въ деревню. Генералъ предложилъ мнѣ на то унтеръ-офицера. Къ счастію, эта почта привезла мнѣ пріятнѣйшія извѣстія и избавила меня отъ убытка. Теперь я спокоенъ. Веселъ ли? Это не ваше дѣло, мое. Сто разъ цѣлую ручки ваши, милая те-

[1]) В. А. Жуковскій.
[2]) Императоръ Австрійскій Францъ II.

гушка, за извѣстіе о Никитѣ. Онъ, конечно, въ Парижѣ и наслаждается плодами искусствъ. Вы сами желали, чтобы онъ увидѣлъ этотъ городъ: вотъ случай прекрасный увидѣть его во время пребыванія государя и быть при немъ. Такія мысли могутъ отчасти облегчить ваше безпокойство, а надежда на Промыселъ, который видимымъ образомъ покровительствуетъ слабымъ и невиннымъ отъ мала до велика, лучшею опорою вашею. Не мало я безпокоился и за Никиту[1]). Вы себѣ представить не можете, какъ я его люблю и уважаю. Конечно, сбудутся мои надежды: изъ него будетъ человѣкъ, достойный своихъ родителей. Въ такихъ людяхъ имѣетъ нужду общество. Съ радостію я воображаю минуту вашего свиданія и желалъ бы ускорить ее цѣною моей жизни, которая только вами и дышетъ. Новые совѣты ваши и заботы о печальномъ странствователѣ меня тронули до слезъ. Я не достоинъ ихъ, и еще бы болѣе былъ не достоинъ, еслибъ убѣдился вашею снисходительною логикою. Вы меня критикуете жестоко и вездѣ видите противурѣчія. Виноватъ ли я, если мой разсудокъ воюетъ съ моимъ сердцемъ? Но дѣло о разсудкѣ: я правъ совершенно. Ни отсутствіе, ни время меня не измѣнили. Если Всевышній не отниметъ отъ меня руки Своей, то я все буду мыслить по старому, не пожертвую никѣмъ для собственныхъ выгодъ и остаюсь при старомъ моемъ письмѣ. Если Михайло Никитичъ любилъ меня, какъ ребенка, если онъ поручалъ меня вамъ, то онъ же не требуетъ ли отъ меня еще строже пожертвованій? Нѣтъ, не пожертвованій, но исполненія моего долга, по всей силѣ! Шестью тысячами жить не возможно въ столицѣ. Если бы и возможно было, то я не могу и долженъ огорчить батюшку и навлечь на себя его гнѣвъ. Я знаю, что онъ будетъ противиться моему намѣренію. Но и это въ сторону: важнѣйшее препятствіе въ томъ, что я не долженъ жертвовать тѣмъ, что̀ мнѣ всего дороже. Я не стою ея, не могу сдѣлать ее счастливою съ моимъ характеромъ и съ маленькимъ состояніемъ. Это—такая истина,

[1]) Никита Михайловичъ Муравьевъ, старшій сынъ М. Н. и Е. Ѳ. Муравьевыхъ.

которую ни вы, ни что на свѣтѣ не побѣдитъ, конечно. Всѣ обстоятельства противъ меня. Я долженъ покориться безъ роптанія волѣ святой Бога, которая меня испытуетъ. Не любить я не въ силахъ. И послѣднія строки ваши меня огорчили. Это путешествіе мнѣ не нравится, милая тетушка. Я желалъ бы видѣть или знать, что она [1]) въ Петербургѣ, съ добрыми людьми и близко васъ. Простите мнѣ мою суетную горесть. Съ вами, единственная женщина на свѣтѣ, съ вами только я чистосердеченъ, но и вамъ я боюсь открыть мое сердце. Право, очень грустно! Жить безъ надежды еще можно, но видѣть кругомъ себя однѣ слезы, видѣть, что все милое и драгоцѣнное сердцу страдаетъ, это—жестокое мученіе, которое и вы испытывали: вы любили! Я долженъ бы отвѣчать съ нѣкоторымъ порядкомъ на ваше письмо, но лучшій отвѣтъ—мое первое, которое я писалъ изъ деревни. Теперь скажу только то, что̀ вы сами знаете, что не имѣть отвращенія и любить—большая разница. Кто любитъ, тотъ гордъ. Что касается до службы, до выгодъ ея, то Богъ съ ними, съ ней! Для чего я буду теперь искать чиновъ, которыхъ я не уважаю, и денегъ, которыя меня не сдѣлаютъ счастливымъ? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить подъ одною кровлею въ нищетѣ, безъ надежды?.. Нѣтъ, не соглашусь на это, и согласился бы, еслибъ я только на себѣ основалъ мои наслажденія! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могутъ одни злыя сердца. Оставимъ это на произволъ судьбы. Жизнь не вѣчность, къ счастію нашему, и терпѣнію есть конецъ. Не знаю, будетъ ли конецъ моей разлукѣ съ вами. Я чувствую нужду быть при васъ и иногда отдалъ бы все, что̀ имѣю, за нѣсколько минутъ, за нѣсколько словъ вашихъ. Вовсе не знаю, что̀ со мною будетъ. Ни одного плана въ головѣ; живу день за день и говорю себѣ: я дѣлаю, что̀ должно. Если это не утѣшаетъ, то поддерживаетъ по крайней мѣрѣ. Меня здѣсь ничто не удерживаетъ: могу ѣхать, куда хочу, и остаться на мѣстѣ. Такъ цѣлые дни про-

[1]) Анна Ѳедоровна Фурманъ.

ходять, безъ книгъ, безъ общества. У васъ иначе: теперь Сашенька [1]) занимаетъ васъ и мысль о Никитѣ. Радуюсь, что вы на дачѣ, что Жуковскій возьмется кончить начатое дѣло, и благодарю васъ за Эмиліевы письма. Мнѣ больше не надобно экземпляровъ: и тѣ книги, которыя съ собою имѣю, мнѣ въ тягость: занимаютъ много мѣста, и читаю рѣдко; все перечиталъ, что̀ было со мною, а здѣсь ничего нельзя сыскать, кромѣ календаря. Я познакомился съ губернаторомъ, графомъ Сенъ-Пріестомъ: онъ человѣкъ честный и добрый, какъ мнѣ кажется. У него есть и книги: постараюсь воспользоваться. Разсѣянія никакого! Мы живемъ въ крѣпости, окружены горами и Жидами. Вотъ шесть недѣль, что я здѣсь, а ни одного слова ни съ одной женщиной не говорилъ. Вы можете судить, какое общество въ Каменцѣ. Кромѣ совѣтниковъ съ женами и съ дѣтьми, кромѣ должностныхъ людей и стряпчихъ, двухъ или трехъ гарнизонныхъ полковниковъ, безмолвныхъ офицеровъ и цѣлой толпы Жидовъ,—ни души. Есть театръ; посудите, каковъ онъ долженъ быть: когда идетъ дождь, то зрители вынимаютъ зонтики; вѣтеръ свищетъ во всѣхъ углахъ и съ прекрасными пьяными актерами и скрипкою оркестра производитъ гармонію особеннаго рода. Все играютъ трагедіи dans le grand style, рѣдко оперы. Вотъ вамъ Каменецъ, въ которомъ я сижу и думаю о васъ, милая и любезная тетушка. Всѣ мои радости и удовольствія въ воспоминаніи. Настоящее скучно, будущее Богу извѣстно, а протекшее — наше. Простите, любите меня хотя немного. Сашеньку обнимаю отъ всей души. Къ Николаю Ивановичу [2]) писать буду. Бога ради напомните Алексѣю Николаевичу [3]) обо мнѣ. Я желалъ бы рѣшиться на что-нибудь и рѣшусь, конечно, въ сентябрѣ, не дождавшись перевода въ гвардію, которое награжденіе я оставлю для полученія моимъ внукамъ.

[1]) Александръ Михайловичъ Муравьевъ, второй сынъ М. Н. и Е. Ѳ. Муравьевыхъ.

[2]) Гнѣдичъ.

[3]) Оленинъ.

если буду имѣть. Я исполнилъ мой долгъ во всей силѣ слова, теперь имѣю право выбирать, что̀ хочу: итакъ—отставку. Простите еще разъ, цѣлую ручки ваши. Константинъ.

2.—6-го августа (1816 г. Москва). Благодарю васъ за отдачу денегъ. Но не забудьте: кромѣ того, есть другой долгъ, и надобно внести проценты: сколько, по совѣсти не знаю. Боюсь просрочить. Прикажите справиться, Бога ради, и успокойте меня. Я все еще въ Москвѣ, цѣлый мѣсяцъ пролежалъ въ постелѣ. Теперь лучше, но все слабъ; хожу на силу и кашляю, и нога болитъ. Нилова и Самарина у меня были и очень меня обрадовали. Вяземскій уѣхалъ. Но здѣсь у меня много такъ называемыхъ пріятелей, которые не забываютъ больнаго. Вы видите, что я не совершенно жалокъ, а что голова моя здорова, то скажу рѣшительно. И вотъ доказательство: все, что̀ вы знаете, что̀ сами открыли, что̀ я вамъ писалъ, и что̀ вы писали про нѣкоторую особу [1]), прошу васъ забыть, какъ сонъ. Я три года мучился, долгъ исполнилъ и теперь хочу быть совершенно свободенъ. Письма мои сожгите, чтобы и слѣдовъ не осталось: прошу васъ объ этомъ. Съ вашими то же сдѣлаю, тамъ, гдѣ говорите о ней. Теперь дѣло кончено. Я даю вамъ честное слово, что я велъ себя въ этомъ дѣлѣ какъ честный человѣкъ, и совѣсть мнѣ ни въ чемъ не упрекаетъ. Разсудокъ упрекаетъ въ страсти и въ потерянномъ времени. Не себѣ, а Богу обязанъ, что онъ спасъ меня изъ пропасти. Когда-нибудь поговоримъ объ этомъ; зимою, можетъ быть. Приготовьте мнѣ комнату на зиму. Если Москва не привлечетъ меня, то я буду у васъ. Теперь, кромѣ васъ, ничего въ Петербургѣ не имѣю. Если Оленины за что-нибудь въ претензіи на меня, то они не правы. Не думаю, чтобы та особа меня любила; а если что-нибудь и было похожее, то я, конечно, забытъ скоро: прошло два года. Вотъ все, что̀ могу сказать о себѣ. Еще разъ, желаю съ вами увидѣться: при васъ только отдыхаю сердцемъ. Вы знаете, какъ мнѣ Петербургъ

[1]) Анна Ѳедоровна Фурманъ.

противенъ. Но для будущаго я плановъ не имѣю. Еслибъ была возможность имѣть мѣсто при миссіи въ Италіи, то я могъ бы на это пуститься; впрочемъ, воля Божія! Въ Петербургѣ жить не хочу и не буду.

Къ брату [1]) писать буду на будущей почтѣ. Я такъ еще слабъ, что малѣйшее усиліе мнѣ вредно, а Скюдери запрещаетъ. Николаю Ивановичу мой душевный поклонъ. Я виноватъ передъ нимъ: роздалъ его билеты и не могу собрать денегъ: все въ разныхъ рукахъ, и всѣ разъѣхались по дачамъ. Но я ручаюсь за эти деньги. Только что будетъ легче, соберу ихъ.

Пишите сюда; я еще недѣли три просижу дома. Теперь мнѣ споснѣе, сижу за книгами, весь въ книгахъ. Простите, цѣлую ручку вашу. Если можно достать англійской фланели, то пришлите мнѣ: нужный сдѣлаете подарокъ, аршинъ 6.

3.—13-го іюня (1818 г. Москва). Признаюсь въ моей слабости: письмо ваше и Александра Ивановича меня обрадовало. Онъ пишетъ такъ сладко, что я склонился всѣмъ сердцемъ, написалъ письмо къ государю и отправилъ: онъ, конечно, читалъ вамъ его. Не нахожу словъ благодарить его. Чѣмъ заслужилъ я стараніе друзей моихъ—не знаю. Но знаю, что я люблю ихъ: они меня примирили съ жизнію. Жуковскій совѣтовалъ остаться и ожидать здѣсь отвѣта, на что̀ я не согласился, ибо здоровье мое есть главное мое попеченіе. Еслибы это дѣло не удалось, и я пропустилъ лѣтніе дни, единственное время для купанья въ морѣ! Но если вы напишете: пріѣзжай, то я все брошу и прилечу изъ Одессы въ шесть дней. Иванъ Матвѣевичъ [2]) уже тамъ и ожидаетъ меня. Пишите ко мнѣ, Бога ради, и адресуйте прямо въ канцелярію его сіятельства графа Ланжерона. Черезъ двѣ или три недѣли желаю получить рѣшеніе судьбы моей, ибо если ничего не успѣемъ, то я совершу мое путешествіе по Крыму и стану отыскивать древности. Мое намѣреніе

[1]) Никита Михайловичъ Муравьевъ.

[2]) Муравьевъ-Апостолъ.

непоколебимо. Одна Италія можетъ оторвать меня отъ Тавриды, ибо она согласнѣе съ моими выгодами во всѣхъ отношеніяхъ: и для карману, и для здоровья, и для честолюбія. Прочитайте то, что̀ я писалъ къ Тургеневу, и если найдете что̀ пустое, то уничтожьте. Тургеневъ лучше моего знаетъ что̀ мнѣ выгодно и нужно. Съ Жуковскимъ я говорилъ о себѣ; онъ вамъ перескажетъ мои слова. Впрочемъ, поручаю себя вамъ во всемъ. Кредитивъ адресуйте въ Одессу золотомъ, то-есть, червонцами, чѣмъ меня очень обяжете. Можетъ быть, не воспользуюсь онымъ, если будутъ деньги. Судьбу маленькаго брата [1]) рѣшилъ: Петръ Михайловичъ [2]) нашелъ пансіонъ, по видимому, изрядный. Къ осени его привезутъ. Попросите отъ себя, любезная тетушка, Дружинина, чтобъ онъ не оставилъ брата: ваши слова дѣйствительнѣе моихъ. Онъ привыкъ уважать васъ. Милаго Сашу цѣлую. Если Гейденъ у васъ и возьмется за его воспитаніе, то можно васъ поздравить. Съ Эвенсомъ не могли сладить. Онъ нерѣшителенъ, но я все-таки сожалѣть не перестаю. Эвенсъ — рѣдкій человѣкъ, и Ипполитъ [3]) прекрасный молодой человѣкъ; его сообщество могло бы быть полезно брату по многимъ отношеніямъ, въ чемъ Никита согласенъ со мною. Не успѣете ли со временемъ перетянуть его къ себѣ? Иванъ Матвѣевичъ долженъ вамъ уступить его совершенно.

Оленинымъ мой душевный поклонъ. Карамзинымъ скажите, что я искалъ ихъ слѣдовъ въ Москвѣ, и каждый шагъ здѣсь напоминаетъ мнѣ о нихъ. Гнѣдичъ возвратится въ Петербургъ. Онъ веселъ и какъ ни въ чемъ не бывалъ; радуюсь этому душевно: въ 35 лѣтъ о пустякахъ стыдно сокрушаться. Простите, любезная тетушка. Поручаю вамъ благодарить Тургенева: вы краснорѣчивѣе меня. Скажите ему все, что̀ чувствуетъ мое сердце, исполненное къ нему чистѣйшей благодарности. Если увидитесь съ Уваровымъ, то напомните обо мнѣ и скажите, что изъ Одессы буду писать.

---

[1]) Помпей Николаевичъ Батюшковъ.

[2]) Дружининъ.

[3]) Ипполитъ Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ.

XII. Къ В. Л. Пушкину.

(Первая половина марта 1817 г. Деревня). Не виноватъ, не виноватъ нисколько передъ милымъ и почтеннымъ старостою, хотя и кажусь нѣсколько виновнымъ! Странствовалъ, пріѣхалъ домой и опять немедленно пустился странствовать; вотъ почему и не писалъ къ тебѣ, милый староста:

...кибитка—не Парнассъ!

Она тебѣ скажетъ, если спросишь ее: могъ ли я писать, окостенѣлый отъ холода. Теперь дома и пишу. Письмо начинается благодарностію за дружество твое; оно у меня все въ сердцѣ.

И какъ, скажите, не любить
Того, кто насъ любить умѣетъ,
Для дружества лишь хочетъ жить
И языкомъ боговъ до старости владѣетъ!

До старости? Не сердись; это для стиха вставка! Мнѣ музы и опытность шепчутъ на ухо:

Тотъ вѣчно молодъ, кто поетъ
Любовь, вино, Эрота,
И розы сладострастья жнетъ
Въ веселыхъ цвѣтникахъ Буфлера и Марота.
Пускай грозитъ ему подагра, кашель злой
И свора злыхъ заимодавцевъ:
Онъ все трудится день деньской
Для области книгопродавцевъ.
«Умретъ, забытъ!» Повѣрьте, нѣтъ!
Потомство все узнаетъ:
Чѣмъ жилъ и какъ, и гдѣ поэтъ,
Какъ умеръ, прахъ его гдѣ мирно истлѣваетъ.
И слава, вѣрьте мнѣ, спасетъ
Изъ алчныхъ челюстей забвенья
И въ храмъ безсмертія внесетъ
Его и жизнь, и сочиненья.

Ваши сочиненія принадлежатъ славѣ: въ этомъ никто не сомнѣвается:

Ты злаго Гашпара убилъ однимъ стихомъ
И пѣлъ на лирѣ гимнъ, Эротомъ вдохновенный.

Но жизнь? Повѣрьте, и жизнь ваша, милый Василій Львовичъ, жизнь, проведенная въ стихахъ и въ праздности, въ путешествіяхъ и въ домосидѣніи, въ мирѣ душевномъ и въ войнѣ съ славянофилами, не уйдетъ отъ потомства, и если у насъ будутъ лексиконы великихъ людей, стихотворцевъ и прозаистовъ, то я завѣщаю внукамъ искать ее подъ литерою П:

Пушкинъ В. Л., коллежскій ассесоръ, родился, и проч.

Чутьемъ поэзію любя
Стихами лепеталъ ты, знаю, въ колыбели;
Ты былъ младенцемъ, и тебя
Лелѣялъ весь Парнассъ, и музы гимны пѣли,
Качая колыбель усердною рукой:
«Расти, малютка золотой!
«Расти, сокровище безцѣнно!
«Ты нашъ, въ тебѣ запечатлѣнно
«Таланта вѣчное клеймо!
«Ничтожныхъ должностей свинцовое ярмо
«Твоей не тронетъ шеи:
«Эротовъ розы и лилеи,
«Счастливы Пафоса затѣи,
«Гулянья, завтраки и праздность безъ трудовъ,
«Жизнь безъ раскаянья, безъ мудрости плодовъ,
«Твои да будутъ вѣчно!
«Расти, расти, сердечной!
«Не будешь въ золотѣ ходить,
«Но будешь безъ труда на риѳмахъ говорить,
«Друзей любить
«И кофе жирный пить!»

Чего лучше? Предвѣщаніе музъ сбылось, какъ видите. Со мною будетъ иначе: ваши внуки не отыщутъ моего имени въ лексиконѣ славы. Много писалъ, и теперь, разсматривая старыя бумаги, вижу, что написалъ мало путнаго. Что̀ въ риѳмахъ, если въ нихъ мало счастливыхъ, и что̀ въ счастливыхъ стихахъ безъ счастія! Посудите сами! Живу одинъ въ снѣгахъ, и долго ль проживу —не знаю.

Меня преслѣдуетъ судьба,
Какъ будто я талантъ имѣю!
Она, извѣстно вамъ, слѣпа;
Но я въ глаза ей молвить смѣю:
«Оставь меня, я не поэтъ,

«Я не ученый, не профессоръ:
«Меня въ календарѣ въ числѣ счастливцевъ нѣтъ,
«Я . . . отставной ассессоръ!»

Но бросимъ въ сторону эту проклятую поэзію для насъ, самозванцевъ, и поговоримъ о дѣлѣ.

Душевно радуюсь счастію Жуковскаго; онъ стоитъ его. Фортуна упала не на пень и кочку, какъ говорилъ Державинъ. Что дѣлаетъ ***? Знаю вашъ отвѣтъ:

На свѣтъ и на стихи
Онъ злобой адской дышетъ;
Но въ свѣтѣ копитъ онъ грѣхи
И вѣчно рифмы пишетъ...

Простите— иногда счастливыя!

Числа по совѣсти не знаю,
Здѣсь время сковано стоитъ,
И скука только говоритъ:
«Пора напиться чаю,
«Пора вамъ кушать, спать пора,
«Пора въ саняхъ кататься...»
«Пора вамъ съ рифмами разстаться!»
Разсудокъ мнѣ твердитъ сегодня и вчера.

Это всего умнѣе. Итакъ, прощайте!

XIII. Къ С. С. Уварову.

Мая 1819 г. Неаполь. Спѣшу загладить мою вину, если можно молчаніе назвать виною. Часто принимался за перо, и самъ не знаю почему, отлагалъ. Но вчерашній день пробудилъ во мнѣ голосъ совѣсти и обезоружилъ лѣнь мою, которая готова была защищаться предъ вами ложью и дурными силлогизмами, достойными академіи, вы знаете какой. Я видѣлся съ графомъ Головкинымъ, который мнѣ сообщилъ отчасти письмо ваше, достойное васъ, почтеннѣйшій Сергѣй Семеновичъ. Мы читали его съ удовольствіемъ и поздравляли васъ душевно съ добрымъ началомъ. Кто васъ знаетъ — уважаетъ, но кто васъ

знаетъ коротко, какъ я, тотъ васъ любитъ. Сколько причинъ желать вамъ успѣха въ добромъ, въ святомъ дѣлѣ! И какъ не желать отъ искренняго сердца успѣховъ просвѣщенію Россіи, то-есть, половинѣ обитаемаго міра, которая безъ просвѣщенія не можетъ быть ни долго славна, ни долго счастлива. Ибо счастіе и слава не въ варварствѣ вопреки нѣкоторымъ слѣпымъ умамъ, фабрикантамъ фразъ и звѣздочетамъ. Такіе вольные слѣпцы водятся не у насъ однихъ, но повсюду. Напрасно наука ихъ кормитъ, одѣваетъ, защищаетъ отъ зла гражданскаго и отъ зла физическаго, они свое поютъ и будутъ пѣть; ихъ не просвѣтишь, не освѣтишь и не вылѣчишь. Благодаря Бога, не ими держится свѣтъ, и дѣла идутъ своимъ чередомъ. Добрый успѣваетъ дѣлать добро, и вы—тому примѣръ. За то вамъ Провидѣніе и посылаетъ счастіе, ибо я называю счастіемъ возможность основать университетъ въ столицѣ Петра. Помните ли сколько разъ я желалъ этого, и сколько разъ говорилъ объ этомъ? Желаніе мое сбылось совершенно, тѣмъ болѣе, что это дѣлается чрезъ васъ. Я не видалъ проекта, но читалъ рѣчь вашу во французскомъ журналѣ, читалъ съ истиннымъ удовольствіемъ. Безъ сомнѣнія, расширяя кругъ ученія, вы расширяете и кругъ просвѣщенія; чрезъ десять лѣтъ мы благословимъ труды и имя ваше, ибо чрезъ десять лѣтъ зрѣетъ и образуется поколѣніе. Новое въ Россіи почти всегда бываетъ лучше стараго, на перекоръ Горацію: мы не совсѣмъ хороши, но едва ли не лучше отцевъ нашихъ, а дѣти, можетъ быть, достойнѣе будутъ насъ. Если не современники, то по крайней мѣрѣ дѣти, внуки отдадутъ вамъ должную справедливость. Мужайтесь! Славно быть блюстителемъ просвѣщенія на обширнѣйшемъ поприщѣ въ мірѣ, въ столицѣ, на которую Европа смотритъ внимательными очами, въ городѣ, гдѣ жилъ Эйлеръ, Шуваловъ, Ломоносовъ, Муравьевъ. Желаю вамъ успѣха и надѣюсь блистательнаго; желаю, чтобы университетъ вашъ сдѣлался образцомъ для другихъ, вянущихъ безпрестанно, и которые мало по малу заростаютъ осокою, подобно храму Аонидъ, который я видѣлъ здѣсь недавно посреди

другихъ развалинъ. Я долженъ бы говорить вамъ о томъ, что̀ дѣлается здѣсь по части просвѣщенія; къ несчастію, мало знаю Неаполь: болѣзнь меня удерживаетъ дома и здѣсь не покидаетъ! Здѣсь была вручена его высочеству Михаилу Павловичу картина состоянія учебныхъ заведеній въ королевствѣ Обѣихъ Сицилій, бумага любопытная—для васъ по крайней мѣрѣ, и которую вамъ, надѣюсь, не откажется показать великій князь. Когда лучше и подробнѣе узнаю Неаполь, тогда увѣдомлю васъ, какъ идетъ здѣсь университетъ, нѣкогда знаменитый, и ученіе вообще. Но могу смѣло сказать, что искусства пошли назадъ, и даже самая музыка. Огромный, величественный Санъ-Карло—говорятъ знатоки—гробъ хорошей музыки. Здѣсь и дурную, и хорошую начинаютъ слушать съ нѣкоторымъ хладнокровіемъ. Сіе хладнокровіе мы распространяемъ на все и научаемся старѣться безъ славы и безъ наслажденій въ землѣ славы и чудесъ. Какая земля! Вѣрьте, она выше всѣхъ описаній—для того, кто любитъ исторію, природу и поэзію; для того даже, кто жаденъ къ грубымъ, чувственнымъ наслажденіямъ, земля сія—рай небесный. Но умъ, требующій пищи въ настоящемъ, умъ дѣятельный, здѣсь скоро завянетъ и погибнетъ; сердце, живущее дружбой, замретъ. Общество безплодно, пусто. Найдете дома такіе, какъ въ Парижѣ, у иностранцевъ, но живости, любезности французской не требуйте. Едва, едва найдешь человѣка, съ которымъ обмѣняешься мыслями. Отъ Европы мы отдѣлены морями и стѣною китайскою. M-me Staël сказала справедливо, что въ Террачинѣ кончится Европа. Въ среднемъ классѣ есть много умныхъ людей, особенно между адвокатами, ученыхъ, но они безъ каѳедры нѣмы, иностранцевъ не любятъ, и можетъ быть, справедливо. Въ общество я заглядываю, какъ въ маскерадъ: живу дома, съ книгами; посѣщаю Помпею и берега залива — наставительные, какъ книги; страшусь только забыть русскую грамоту, и потому не теряю надежды быть со временемъ членомъ академіи, вы догадаетесь какой. Кстати объ академіи: поздравляю любителей поэзіи, слѣдственно, и васъ съ прекрасными стихами Жу-

ковскаго на смерть королевы [1]). Они сильны, исполнены чувствительности, однимъ словомъ — достойны сей славной женщины, столь рано у насъ похищенной. достойны Жуковскаго и могутъ стать на ряду съ его лучшими произведеніями. Но—воля его!—можно пожелать болѣе изобрѣтенія и менѣе повтореній его же собственныхъ стиховъ. Какъ бы то ни было, поздравляю его, обнимаю и радуюсь его новому успѣху. Напомните обо мнѣ милостивой государынѣ Катеринѣ Алексѣевнѣ [2]), которую я никогда не забуду, ибо уважаю отъ всего сердца, отъ всей души. Она всегда была ко мнѣ благосклонна, за то и я сколько ей признателенъ. И васъ, почтеннѣйшій Сергѣй Семеновичъ, ношу въ моемъ сердцѣ со всѣмъ, что̀ я оставилъ любезнаго въ отечествѣ, которое, знаетъ Провидѣніе, когда увижу! Желаю вамъ счастія и семейству вашему: да музы спасутъ васъ и его отъ бѣдъ и горестей житейскихъ, музы, однѣ богини, которыя пережили весь Олимпъ и которыя никогда не состарѣются, пока живъ умъ человѣческій. Онѣ присутствуютъ въ домѣ вашемъ, съ вами, въ васъ. Ихъ молю, да сохранятъ васъ для друзей, для Россіи, если будете всегда трудиться для блага ея, для Россіи, слѣдственно, для всего человѣчества, часто опечаливаемаго глупостію и злодѣйствомъ. Нѣсколько строкъ вашихъ докажутъ, что вы меня не забыли: буду ожидать ихъ съ нетерпѣніемъ. Пришлите ихъ съ тѣмъ, что̀ написали новаго послѣ моего отсутствія, и съ книгою о Елейзисѣ, которую я обѣщалъ архіерею Капече-Латро, мужу ученому, учтивому и достойному вашей дружбы. Кончу, ибо нѣтъ болѣе мѣста. Весь листъ исписалъ кругомъ. Поручаю себя вашему дружеству и поручаю кланяться всѣмъ друзьямъ и знакомымъ. К. Б.

У насъ были праздники, гулянья, балы. Теперь всѣ разъѣзжаются. Завтра ѣдетъ, къ сожалѣнію моему, графъ Головкинъ.

---

[1]) Королева Виртембергская Екатерина Павловна.

[2]) Супруга Сергѣя Семеновича Уварова, рожденная графиня Разумовская.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

въ сочиненіяхъ Батюшкова.

Абеляръ—557.
Абуфаръ—563.
Августъ, императоръ римскій — 232, 274, 343.
Аврора—32, 76, 79, 82, 92, 109, 156.
Агатонъ—49, 87, 416.
Аглая—148, 170, 433.
Агнеса—220.
Агриппа—415.
Адимаръ—294.
Адиссонъ—538, 590.
Актеонъ—256, 257.
Алевій—379.
Александръ Македонскій — 343, 393, 399, 400, 464.
Александръ I, императоръ—65, 225, 243, 251, 252, 388, 424, 429, 481, 485, 486, 488, 508, 513, 515, 523, 584, 585.
Алексѣевъ, И.—427.
Алексѣй Михайловичъ, царь—198, 416.
Ализовъ—238, 239.
Алкей—169.
Алкивіадъ—85.
Алкидъ—27, 28.
Альбано—252.
Альдобрандини, кардиналъ—131.
Альзира—217, 484.
Альфонсъ, герцогъ Феррарскій—127, 130.
Альфьери—295, 302, 391.
Альцеста—465.
Альцина—288, 499.
Амальтея—55.
Амуръ—25, 58, 61, 77, 92, 169, 170, 264.
Анакреонъ—137, 297, 337, 339, 364, 416, 449, 454, 509, 510, 559.
Анаксагоръ—408.
Анастасевичъ, В. Г.—184.
Анахарсисъ—275, 379, 416, 439.
Андроникъ Комненъ—410.
Анжелика—288, 527.
Аннибалъ—474.
Ансильонъ—271.
Антигона—12.
Антипатръ Ѳессалійскій—149.
Анубисъ—86.
Аониды—133, 145, 619.
Аполлонъ—56, 58, 143, 153, 165, 166, 207, 238, 248, 307, 317, 523, 551, 555, 559, 578, 582, 585.
Апраксинъ, Ст. Ст.—535.
Апраксины—469.
Арашна, Арахна—27.
Аргантъ—293.
Аргусъ—152.
Аристархъ—547.
Аристидъ—523.
Аристиппъ—51.
Аристовулъ—399.
Аристотель—262, 463.
Аристофанъ—561, 562.
Аріостъ—144, 201, 265, 287, 289, 368, 374, 462, 464, 468, 492, 499, 537, 562, 609.
Арія—248.
Армида—57, 63, 236, 293, 295, 309, 341, 605.
Арндтъ, I.—593.
Артуръ—192.
Архаровы—469, 529, 577.
Архидамій—119.
Архія—433.
Асканій—127.
Асклепіадъ Самосскій—148.

Аделта—40.
Асмодей, см. Вяземскій, князь П. Андр.
Аспазія—519.
Астольфъ—359, 467, 468.
Атала—584.
Аталія—334.
Атридъ—54.
Аттикъ Помпоній—415.
Аттила—122, 224.
Ахиллесъ, Ахиллъ—54, 128, 380, 399, 420, 561, 562.
Аяксъ—248.

Бабушкинъ—506.
Бавкида—251.
Балдусъ—146, 178, 458.
Бальбусъ—247.
Бальи—457.
Барановъ, Дм. Ос. 445, 461.
Барковъ, И. С.—167.
Бартелеми—416.
Батте—397.
Батый—580.
Батюшкова, А. Н.—423—427, 435, 483, 508.
Батюшкова, В. Н.—424, 426, 435.
Батюшкова, Ю. Н.—427.
Батюшковъ, Н. Л.—423, 426, 427, 502.
Батюшковъ, Пав. Льв.—212.
Батюшковъ, П. Н.—427, 615.
Бахметевъ, Ал. Н.—474, 539, 609.
Беатрикса—302.
Безрифминъ—162, 163.
Беллона—38, 69, 264.
Бенигсенъ, гр. Л. Л.—476.
Бенницкій, А. П.—397, 433. 437, 445, 460.
Бернадотъ—476, 514.
Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ—395.
Бестужевъ-Рюминъ, графъ А. П.—311.
Бибрисъ—164.
Біонъ—54, 365, 512.
Бларамбергъ, Ив. Павл.—518.
Блудовъ, Дм. Ник.—469, 470, 472, 509. 530, 541, 545, 546, 548—550, 553, 554, 556, 559, 561, 566, 580, 587.
Блюхеръ—392.
Боало, Буало—166, 360, 396, 580.
Бобрищевъ-Пушкинъ, Ник-й—540.
Бобровъ, С. С.—166, 172, 397, 428, 437.
Бова королевичъ—468, 504.
Бовилье—577, 578.
Богдановичъ, И. Ѳ.—49, 58, 264, 296, 367, 396.
Бодуинъ, графъ—410.
Боккачіо—302, 496—499, 537, 540.
Болтинъ, И. Н.—396.
Борей—9, 375, 591.
Боссюэтъ—584.
Бре, де-, графъ Фр.-Габр.—608.
Брейткопфъ—429.
Броневскій, В. Б.—508.
Брутъ—304, 350, 415, 445, 559.
Брюне, Брюнетъ—533, 577, 579, 582.
Буле, Т.—373.
Бунина, А. П.—453.
Бурбоны—487.
Буринскій, З. А.—372.
Буттервекъ—397.
Буфлеръ—584, 616.
Бюффонъ—305, 310, 578.

Вадимъ—228.
Вакхъ—24, 26, 51, 148.
Валкиріи—192.
Валлеръ—365.
Вандикъ—146, 254.
Варнекъ—255, 256.
Вафринъ—253.
Велеурскій, графъ М. Ю.—38.
Веллингтонъ, герцогъ—591.
Вельяминовъ, Ив. А.—516.
Венера—32, 33, 55, 57, 77, 78, 152, 167, 239, 248, 252, 308, 309, 351, 452, 555, 578, 582, 586, 591.
Вери—488, 578.
Верниста—135, 193.
Вернъ—300, 301.
Вертеръ—425, 478.
Вигель, Фил. Фил.—546.
Вилландъ—289, 398, 425, 477, 478, 531.
Вильеттъ (де-) маркизъ—236.
Вильменъ—584, 585.
Вильямсъ—471.
Винкельманъ—239, 248, 259, 507, 517, 586.
Виргилій—127, 165, 169, 214, 222, 235, 265, 289, 300, 302, 347, 365, 372, 374, 383, 415, 466, 507, 569.
Виргинія—393—395.
Висковатовъ, Вас. Ив.—480.
Витгенштейнъ, графъ П. Х.—388, 390, 484.
Виченцкій, герцогъ—486.
Віонъ, см. Біонъ.
Владиміръ, в. князь—49, 225, 547.
Воверманъ—320.
Воейковъ, А. Ѳ.—367, 372, 397, 465, 506, 509, 554, 556, 558, 581, 605.
Волконская, княгиня Зин. Алекс.—519, 600.
Волконская, княгиня С. Гр.—603.
Вольтеръ—161, 175, 211, 213—219, 225, 235, 236, 239, 269, 304, 308, 313, 341, 387, 397, 398, 457, 463, 466—468, 484, 594.
Воронцовъ, графъ М. С.—392.
Востоковъ, А. Х.—397.

Вуазенонъ, аббатъ—348—362.
Вяземская, княгиня В. Ѳед.—526, 529, 530, 532, 545, 567.
Вяземская, княжна М. Петр.—539.
Вяземскіе—546.
Вяземскій, князь П. Андр.—43, 51, 397, 445—448, 452, 468, 504, 505, 525—548, 561, 563—568, 572, 604, 606, 613.

Гагарина, княгиня—508.
Гагаринъ, князь Гр. Ив.—521.
Гагаринъ, князь И. А.—441, 442, 472, 478, 480.
Гагедорнъ—365.
Галатея—341.
Гальбергъ, Сам. Ив.—525.
Гаральдъ Смѣлый—107—109, 192, 535, 562.
Гарпагонъ—84.
Гашпаръ—616.
Гваренги—244.
Гвидо-Рени—253.
Гвильемъ—294.
Геба—16, 116, 117, 166, 238.
Гедилъ—148.
Гезіодъ—114—119, 234, 497, 538.
Гейденъ—615.
Гекторъ—399.
Гела—71, 72, 108.
Гельвицій—271.
Генрихъ IV, король французскій—481, 529, 578, 582.
Гераклитъ—384, 407.
Гераковъ, Г. В.—480.
Гервей—184.
Герке, Хр. Ив.—559.
Геркулесъ—248, 253.
Германъ—120.
Гермогенъ—173.
Геродотъ—344, 600, 604.
Геснеръ—374.
Гете—398, 425, 477, 478.
Гизъ, герцогъ—236.
Гименей—25, 111, 525.
Гименъ—53.
Гиперидъ—417, 418.
Гипократъ—55, 535.
Гиппархій—379.
Гиршфельдъ—374.
Гіады—117.
Гіеронъ—379, 381.
Гіонъ, г-жа—201.
Глазуновъ—162, 172, 180, 506.
Глафира—170.
Гликерія, Глицерія—85, 137, 138.
Глинка, С. Н.—439, 468, 498, 508, 581, 582.
Глушицкій—165.
Глупонъ—162.
Гнѣдичъ, Н. Ив.—6, 8, 11, 146, 223, 397, 415, 427—512, 519, 524, 565, 606, 609, 612, 614, 615.
Гоа—200.
Гоббесъ—455.
Говардъ, Дж.—284.
Годофредъ, Готфредъ—128, 294.
Голенищевъ-Кутузовъ, П. Ив.—449.
Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, князь Мих. Ил.—65, 388, 577.
Голицынъ, князь Ал-дръ Ник., камергеръ—606.
Голицынъ, князь Ал-дръ Ник., министръ народнаго просвѣщенія—519, 596.
Голицынъ, князь Б. В.—448, 570.
Головкинъ, графъ Юр. А.—618, 621.
Головнинъ, В. М.—499.
Гольбейнъ—524.
Гомеръ—114—119, 217, 224, 229, 252, 261, 265, 289, 344, 358, 364, 368, 382, 401, 429, 432, 436, 446, 452, 457, 460, 462, 466, 468, 480, 483, 496, 501, 531, 536, 538, 554, 592, 600.
Горацій—37, 48, 113, 137, 222, 225, 237, 263, 274, 275, 304, 347, 349, 350, 359, 361, 365, 374, 393, 417, 456, 458, 459, 462, 467, 482, 498, 502—504, 525, 548, 580, 600, 619.
Грамматинъ, Ник. Ѳед.—528.
Граціи—36, 153, 417.
Гревенсъ, Абр. Иль.—472.
Гревенсъ, Гр. Абр.—472.
Грей—114, 566.
Грейгъ, С. А.—518.
Грессетъ—454.
Гречъ, Н. Ив.—493, 497—501, 503, 509, 605.
Грибоѣдовъ, Ал. Ѳ.—440.
Гризельда—496, 497, 499, 501.
Громобой—56, 552.
Грузинцовъ, Ал. Н.—480.
Гуаско—362.
Гуржеевъ, Ив.—600.
Густавъ-Адольфъ, король шведскій—592, 594.
Густавъ—171.

Давидъ—257.
Давидъ, царь іудейскій—302, 375.
Давыдовъ, Л. В.—389, 390, 490, 539, 540.
Даламберъ, д'Аламберъ—398.
Дамасъ, баронъ Р.—211, 473, 475, 481, 498.
Данаиды—78.
Даная—379.
Дантонъ—487, 582.
Дантъ—295, 302, 307, 365, 399, 465, 492, 494, 499, 504, 537.

Дарій, царь персидскій—343, 379.
Дафна—58.
Дашковъ, Дм. Вас.—62, 211, 397, 462, 474, 479, 480, 483, 527, 532, 548—550, 552, 553, 558, 566, 579—587.
Дегаль—438.
Дезульеръ, г-жа—581.
Декартъ—453.
Делиль—376, 554.
Делія—13, 14, 37, 75, 76, 78, 79, 103, 264, 298.
Демодокъ—190.
Демосѳенъ—85, 365, 417, 418.
Державинъ, Г. Р.—82, 217, 232, 264, 280, 305, 365, 392, 396—398, 405, 411, 416, 420, 434, 435, 447, 453, 510, 618.
Дидо—583.
Дидро, Дидеротъ—385.
Діагоръ—591.
Діана—115, 338.
Дій—441.
Діогенъ—85, 92, 391.
Діонисій Сиракузскій—343.
Дмитревскій, И. А.—253.
Дмитріевъ, Ив. Ив.—49, 82, 215, 345, 367, 396, 416, 434, 472, 492, 504, 532, 542, 549, 553, 571, 587.
Димитрій Самозванецъ—514.
Дмитрій Донской, в. кн.—5, 429, 514.
Добрыня—543.
Долгорукій, князь И. М.—447.
Долгорукій, князь Я. Ѳ.—284, 367.
Доратъ—236.
Дормидонтъ Тихинъ—346.
Драйденъ—532, 550.
Дружининъ, П. Мих.—468, 615.
Дульцинея—297, 495.
Душенька—49, 58, 169, 264.
Душинъ—506.
Дюгесклинъ—95, 562.
Дюкло—271.
Дюлонъ (Dulong)—486.
Дюпати—507.
Дюшенуа, К., г-жа—577, 579, 586.

Евенсъ—468, 615.
Егоровъ, А. Е.—249—251, 253, 505, 524.
Ежова, Е. И.—183.
Екатерина II, императрица—218, 246, 355, 368, 396, 397, 537.
Екатерина Павловна, вел. княгиня—251, 424, 478, 621.
Екимовъ, В. П.—256, 257.
Елагинъ, И. П.—396, 513.
Елисавета, королева англійская—590.
Елисавета Петровна, императрица—361, 397, 401.
Ермакъ—82.
Ермолаевъ, А. Ив.—442, 470, 471, 479, 519, 524.
Еропкинъ, П. Д.—284, 316.
Есаковъ, А. Е.—253.
Естифей—508.

Жанлисъ, г-жа—201, 217.
Женгене, Жингене—131, 266, 540.
Жильблазъ—508.
Жихаревъ, С. П.—436, 470, 472, 474, 479, 483, 538, 566.
Жіакони, П.—572.
Коржъ, г-жа—205, 516, 579.
Жофрень, г-жа—352.
Жоффруа—217, 464.
Жуковскій, Вас. Андр.—43, 50, 54, 114, 233, 254, 264, 367, 388, 396, 397, 442, 445—447, 457, 465, 493, 500, 505, 506, 527, 528, 530, 532—534, 537, 539, 542, 544—572, 597—600, 602, 604—606, 608, 612, 614, 615, 618, 620, 621.

Заира—215, 216, 219.
Захариса—365.
Захаровъ, А. Д.—243.
Захаровъ, И. С.—183.
Зафна—28, 29.
Зевесъ—20, 26, 116, 117, 149, 309, 374.
Зегертингъ—593.
Зиновія—341.
Зюльмиса—170.
Зябловскій, Евд. Ф.—459.

Ивановъ, О. О.—493.
Игорь, в. князь—225.
Идоменей—414, 415.
Изида—76, 84, 86.
Измайловъ, А. Е.—437, 445, 462.
Иксіонъ—78, 441.
Ильинъ, Ник. Ив.—538.
Илья Пророкъ—467.
Исмена—294.
Иснель—40, 192.
Ипполитъ—207, 208.
Италинскій, Андр. Як.—521.
Ифигенія—250, 545.

Іафетъ—395.
Іо—164.
Іоаннъ IV, царь—374, 375.
Іоаннъ, св.—467.
Іорикъ—591.
Іосифъ, патріархъ—524.

Кавелинъ, Д. А.—397.
Калипса—472.
Калхасъ—506.
Камбизъ, царь персидскій—379.
Камены—32, 115, 118.

Каммучини—524.
Камоэнсъ—262, 348.
Канова,—238, 502, 521.
Кантемиръ, князь Ант. Дм.—225, 268, 347—362, 396, 398, 465, 492, 494, 496.
Кантъ—398.
Капече-Латро—608, 621.
Капнистъ, В. В. —224, 367, 428, 429, 431, 432, 436, 457, 482, 514, 569.
Капо д'Истріа, графъ И. А.—604.
Карабановъ, П. М.—183.
Карамзина, Екат. Андр.—532, 571, 606.
Карамзинъ, Ник. Мих.—48, 144, 185, 223—225, 367, 392, 396, 397, 416, 441, 442, 445, 448, 449, 457, 495, 531, 532, 534, 539, 542, 546, 555, 556, 560, 567, 600, 605, 606, 609.
Карамзины — 469, 528, 529, 531, 534, 539, 545, 546, 556, 567, 571, 606, 608, 615.
Карауловъ, В.—429.
Карлосъ, донъ—478.
Карлъ Великій, императоръ—225.
Карлъ V, король испанскій—417.
Карлъ XII, король шведскій—592.
Кассандра—562.
Касти—32, 34.
Касторъ—480, 591.
Катенинъ, П. А.—437, 506.
Катонъ—343, 382, 409.
Катуллъ—263, 297, 302, 348, 365, 503.
Каченовскій, М. Т. — 397, 445, 449, 462, 463, 467, 492, 493, 495, 501, 543, 547, 565, 579, 580, 605.
Квашнина-Самарина, А. П.—433, 435, 441, 446, 613.
Квинтиліанъ—278.
Кейзерлингъ, баронъ—216.
Келеръ, Генр.—606.
Кипренскій, Ор. Ад.—146, 253, 254, 521—523, 525.
Киприда, см. Венера.
Кишотъ, донъ—57.
Клейстъ—392.
Клеопатра—206.
Климентъ VIII, папа—130.
Клитъ—83, 85, 93, 94, 393.
Клія—107.
Клопштокъ--368.
Клоринда—293.
Ключаревъ, Ѳ. П.—504.
Княжнинъ, Бор. Як.—473.
Княжнинъ, Я. Б.—245, 374, 396.
Кодръ—436.
Козловскій, князь П. Б.—500, 539
Кокошкина, Е. П.—53.
Кокошкинъ, Ѳ. Ѳ.—53, 491, 494.
Колардо—443.
Колонна—303, 304.
Колычевъ, Е.—397.
Кольбертъ—232.
Конде—335.
Кондильякъ—433.
Константини—131.
Константинъ, императоръ—289.
Константинъ Павловичъ, в. князь—225.
Коріоланъ—350, 365.
Корнель—359.
Корреджіо—238, 252.
Костогоровъ, Мих. Дм.—558, 562.
Костровъ, Е. И.—397, 429, 432, 442, 464.
Крезъ—35.
Кроликъ, архимандритъ—361.
Кромвелъ—343.
Кроссаръ—411, 412.
Крыловъ, Ив. Андр.—49, 146, 174, 175, 245, 367, 377, 378, 396, 398, 436, 455, 462, 470—472, 479, 480, 483, 495, 503, 507, 508, 514, 519, 524, 532.
Крыловъ, Мих. Гр.—525.
Крюковъ, Ал-дръ Сем.—577.
Ксантиппа—411.
Ксенія—12.
Кукъ—169.
Купидонъ—58.
Куракинъ, князь А. Б.—253.
Кургановъ, Н. Г.—173.
Куртель—257.
Курцій—284.
Кутонъ—582.
Кушелевъ-Безбородко, графъ А. Гр.—508, 517.
Кушелевъ-Безбородко, графъ Гр. Гр.—517.

Лабоеси—227.
Лагарпъ—313, 385, 457, 608.
Лагранжъ—414.
Лада—543.
Лаиса—150.
Лакретель—584.
Ланжеронъ, графъ А. Ѳед.—519, 520, 599, 614.
Ланской—392.
Лаокоонъ—248, 578.
Лаптевичъ—429.
Ларошфуко—271, 282, 410.
Лары—43, 50.
Ласъ-Казасъ—284, 285, 316.
Латона—418.
Лаура—29—31, 58, 296—301, 303, 305—308, 342, 551.
Лафаръ—339.
Лафонтенъ, Ж. — 264, 339, 344, 367, 398, 466, 467, 525, 580, 583.
Лебрюнъ—214.

Левинъ—475.
Левушка, см. Давыдовъ, Л. Вас.
Леда—395.
Лиза—547.
Лизета—34, 35, 176.
Лила, Лилета—45, 46, 53, 56, 60, 106, 552.
Лелій—303.
Ленотръ—213.
Леонидъ, царь спартанскій—284.
Леопренесъ—379.
Лесажъ—516.
Летиція Бонапарте—214, 484.
Ливія—21.
Лизіи—418, 419.
Локкъ—171, 454.
Ломоносовъ, М. В.—81, 82, 167, 180, 217, 229, 232, 266, 292, 310—314, 316, 333, 364, 366, 367, 369, 377, 396, 397, 401 407, 458, 492, 494, 498, 562, 619.,
Лонгинъ—417.
Лосенковъ—238.
Луиза—478.
Лукіанъ—399.
Лукиницкій, А. В.—433
Лукрецій—252, 407—409, 531.
Лукуллъ—339.
Луцилій—415, 504.
Львова, Е. Н.—445.
Львовъ, Л. Н.—445.
Львовъ, П. Ю.—184, 480.
Львовъ, Ө. П.—445, 462, 480.
Людмила—550.
Людовикъ—300.
Людовикъ XIV, король французскій—204, 224, 225, 313, 444, 489.
Людовикъ XV, король французскій—347, 582.
Людовикъ XVIII, король французскій—486, 582.

Мабли—277.
Магометъ—295, 375, 376.
Майковъ, В. И.—252, 396.
Май, капитанъ—590, 593.
Макаровъ, П. И.—397.
Маккавеи—124.
Маккіавель—537.
Малышева—157, 512.
Мальербъ—286.
Мандрикаръ—265.
Маратъ—187.
Марій—343.
Марія Павловна, вел. княгиня—421, 478.
Маркъ-Аврелій—247, 382.
Маринъ, С. Н.—452.
Мармонтель—313, 450.
Мармонъ, герцогъ—489.
Маро, Маротъ—365, 616.
Марсій—165.
Марсъ—11, 22, 24, 27, 555.
Мартосъ, И. П.—256.
Мартыновъ, И. И.—420, 446.
Марфорій—510.
Марфа Посадница—433, 442.
Масьё—281.
Матаназій—458.
Матвѣевъ, Өед. Мих.—523.
Маттисонъ—231, 531.
Матушкинъ—506.
Мегера—78, 175.
Медемъ, баронъ—389, 390.
Медичи—287.
Медоръ—288, 527.
Мейстеръ, Як. Генр.—602.
Меланія—170.
Мелеагръ Гадарскій—147.
Мелина—164.
Мелхиседекъ—160.
Мельпомена—5, 167, 221, 301, 333.
Мемнонъ—393.
Менгсъ, Р.—259, 517.
Менелай—248.
Меншиковъ, князь, А. Д.—241.
Мерзляковъ, А. Ө.—169, 367, 372, 374, 397, 449, 452, 465, 494, 559, 579, 606.
Меропа—452.
Мерсье—269, 581.
Месалла—75, 77, 263.
Метафрастикъ—458.
Меценатъ—274, 414.
Мещевскій, А.—563.
Мещерскій, князь, А. И.—398.
Миликтриса—170.
Миллеръ, І.—398, 537.
Милоновъ, Мих. Вас.—467, 528.
Милорадовичъ, графъ М. А.—388, 390.
Мильвуа—102, 119.
Мильтонъ—222, 453, 557.
Мимнермъ—512.
Минихъ, графъ Б.—537.
Миносъ—168, 173—175.
Мирабо—144.
Митридатъ, царь понтійскій—520.
Митрофанъ—159.
Михаилъ, императоръ византійскій—228.
Михаилъ Павловичъ, в. князь—253, 524, 525, 545, 607, 608, 620.
Мнемозина—115.
Моина—12.
Моисей—433.
Мольеръ—224, 301, 398, 462.
Меньшиковъ, князь Ал. Серг.—535.
Монбронъ—373.
Монтань—130, 227, 261, 272—274, 284, 320, 365, 386, 391, 443, 481, 499, 535, 547, 585.

Монтескьё — 218, 348—362, 409, 410, 492, 582, 584.
Монти—504.
Моро—316.
Морфей—9, 25, 338, 346, 549.
Мосхъ—365, 512.
Музы — 64, 101, 119, 141, 142, 237, 311, 417, 546, 547, 554, 581, 621.
Муравьева, Ек. Θед. — 448, 468, 472, 483, 491, 501, 524, 551, 556, 561, 579, 604, 606, 609—615.
Муравьевъ, А-дръ Мих.—612, 615.
Муравьевъ, Мих. Никит.—222—237, 297, 370, 372, 396, 440, 444, 446, 448, 462, 491, 492, 549, 555—561, 610, 612, 619.
Муравьевъ, Никита М.—139, 425, 441, 506, 507, 610, 612, 614, 615.
Муравьевъ, Ник. Наз.—444.
Муравьевъ-Апостолъ, Ив. Матв.—80, 222, 397, 446, 450, 468, 471, 483, 499, 506, 519, 551, 563, 577, 614, 615.
Муравьевъ-Апостолъ, Ипп. Ив.—494, 615.
Муравьевъ-Апостолъ, Серг. Ив.—494, 520.
Муромцовъ—479.
Мурилло—238.

Наполеонъ I—212, 214, 247, 412, 484, 487—489, 533, 582, 584, 585, 598.
Наяды—39, 591.
Невзоровъ, М. Ив.—468.
Нелединскій-Мелецкій, Юрій Ал.—49, 367, 397, 449, 530, 564.
Немезида—158, 298.
Неплюевъ—420.
Нептунъ—267, 591.
Неронъ, императоръ римскій—413.
Несторъ, царь аргосскій—256.
Нивагоръ—148.
Николай Павловичъ, в. князь—253.
Николаевъ, Н. П.—181.
Никольскій, П. А.—397.
Николь, аббатъ—520, 603.
Нилова, Праск. Мих.—613.
Ниловы—436, 446.
Нимфы—36, 39, 164.
Ніобея—218.
Новиковъ, Н. И.—397, 504.
Нотте, Жираръ—252.
Ноэль—504.
Ньютонъ, Ис.—252.

Оберонъ—478, 531.
Овидій—252, 263, 297, 300, 302, 365, 466, 503, 505.
Оденъ—71, 135, 192—194, 229, 594.
Одиссей—74; см. Улиссъ.
Озаръ—543.
Озеровъ, Вл. А. — 5, 245, 396, 429, 514, 544.
Озирисъ—86, 516.
Окуневъ, Гр. Ал.—535.
Оленина, Елиз. Марк.—471, 479, 483, 514, 516, 517, 519, 524.
Оленинъ, Ал-й. Ал.—508, 519, 524.
Оленинъ, Ал-й Н.—114, 436, 448, 449, 455, 470, 471, 479, 483, 484, 492, 497, 505, 513,—525, 553, 599, 612.
Оленинъ, П. Ал. — 468, 470, 471, 483, 508.
Оленины—146, 470, 479, 508, 514, 517, 519, 524, 613.
Олиндъ—499.
Олинъ, В. Н.—496, 498, 505, 559.
Олофернъ—206.
Олсуфьевъ, Вас. Дм.—510.
Ольга, в. княгиня—225.
Омаръ, калифъ—224.
Омеръ, Омиръ, см. Гомеръ.
Орландъ—289, 466, 499.
Орлова, графиня А. А.—199.
Орловскій, В.—220.
Орловъ, Мих. Θед.—542.
Орфей—6, 453, 551.
Оры - 117.
Оскаръ—133.
Оскольдъ—228, 229, 543.
Осляковъ—176.
Оссіанъ—505, 506.
Остенъ-Сакенъ, графъ Ф. В.—584.
Остерманъ, графъ А. И.—388.
Отелло—398

Павелъ—393, 395.
Павелъ Силенціарій—150—152.
Павелъ Эмилій—234.
Павзаній—379.
Палицынъ, А. А.—184, 583.
Паллисотъ—215.
Памфилъ—89—91, 186.
Панаевъ, Вл. Ив.—505.
Панглоссъ—575.
Панаръ—436.
Пандора—340.
Парки—10, 14, 52, 55, 75, 116, 128, 209, 273.
Парни Э.—3, 25, 28, 40, 41, 109, 132, 313, 417, 440, 441, 444, 547, 584.
Парменіонъ—343.
Паскаль—272.
Пасквинъ—510.
Педаретъ—235.
Пелей—420.
Пенаты—43, 50, 549.
Пентатлъ—417.

Перманцевъ—119.
Персій—349.
Перуджини—524.
Петина, г-жа—595.
Петинъ, Ив. А.—18, 321—332, 421, 446, 475, 554, 595, 596.
Петрарка—29, 30, 53, 131, 222, 261, 295—309, 365, 465, 492, 499, 504, 515, 557, 562.
Петровъ, В. П.—396, 416, 465, 496.
Петровъ, Я. В.—496.
Петръ Великій, императоръ—122, 159, 177, 198, 238, 240, 241, 244, 316, 333, 352, 353, 355—357, 360, 361, 395, 397, 403, 438, 509, 553, 619.
Петръ Пустынникъ—294.
Петусъ—248.
Пизарро—82.
Пикаръ—584.
Пиладъ—54.
Пильпай—49.
Пиндаръ—48, 81, 177, 234, 337, 416, 559, 572.
Пириѳой—54.
Писаревъ, А. А.—211, 218, 373, 389, 438, 439, 473—475, 480, 484.
Питтъ—339.
Пиѳагоръ—85, 87, 461.
Пиѳія—358.
Піериды—50, 81.
Платовъ, графъ—591.
Платонъ—49, 272, 382—384, 416, 419.
Плетаевъ (Плетневъ) П. Ал.—509, 510, 512, 513.
Плещеевъ, Ал. Ал.—545, 550.
Плиній младшій—607.
Плиній старшій—607.
Плутархъ—119, 234, 343, 347, 399, 509, 555.
Плутонъ—14, 175.
Пнинъ, И. П.—397.
Пожарскій, князь Д. Т.—173.
Позднякъ, Дм. Прок.—508.
Полетика, П. Ив.—545.
Поликсена—465.
Полиникъ—366.
Политковскій, Гавр. Гер.—184.
Полозовъ, А.—437, 418, 452.
Поллуксъ—86, 480, 591.
Помпадуръ, г-жа—216.
Попе—99, 214, 396, 557.
Попова, г-жа—112, 566.
Поповъ—112
Потемкинъ, князь Г. А.—435.
Потемкинъ, Я. А.—326.
Пракситель—351.
Пріамъ—117.
Прокоповичъ-Антонскій, Ант. Ант.—449, 495.
Прометей—414.
Проперцій—68, 297, 302, 365, 503.
Протей—215, 287, 440.
Психея, Псишея—167, 169.
Пуссенъ—250, 320.
Пушкина, Анна Льв.—534, 576.
Пушкина, Ел. Гр.—532, 534, 572—579.
Пушкинъ, Ал. Серг.—508, 546, 606, 609.
Пушкинъ, Ал-й Мих.—529, 534, 535, 540, 573, 575—577.
Пушкинъ, Вас. Льв.—154, 367, 397, 450, 451, 462, 465, 488, 526—529, 534, 540, 542, 556, 561, 568, 573, 576—579, 616—618.
Пушкины—469, 535, 540.

Радищевъ, Н. А.—452.
Радищевъ, А. Н.—373, 397, 440.
Раевскіе—388.
Раевскій, Ник. Ник.—330, 387—390, 412, 424, 473—479, 481—485, 532, 567, 576.
Расинъ—119, 171, 207, 208, 224, 250, 301, 313, 359, 368, 374, 438, 481, 506, 580, 582, 583.
Рафаель—238, 250, 252, 314—316, 318, 361, 524, 578, 582, 587.
Рахмановъ, П. А.—327.
Рене—404.
Ржевскій, Г. П.—500.
Ринальдъ—236, 293.
Рихманъ—313.
Рихтеръ—372.
Ришелье, герцогъ—603.
Ріензи—304, 305.
Роальдъ—73.
Робертъ, король неаполитанскій—296.
Робеспіеръ—305, 484, 582.
Роза, Сальваторъ—220, 238, 320.
Розенкампфъ, баронъ Густ. Анд.—518.
Ролленъ—179.
Ромео—492.
Россини—607.
Рубенсъ—250, 252.
Руисдаль—320.
Румянцовъ, графъ Ник. Петр.—256, 372, 520, 521.
Руссо, Ж.-Ж.—171, 265, 271, 276—278, 395, 456, 581.
Рюрикъ, в. князь—225, 229, 503.

Самарина, см. Квашнина-Самарина, А. П.
Салтыкова, Елиз. Франц.—581.
Салтыковъ, М. А.—470, 546, 581.
Сарданапалъ—339.
Сатурнъ—14, 75.
Сафо—164, 171, 172, 302, 365.
Сахарова, М. С.—245.

Свиньинъ, Пав. Петр.—508.
Свистовъ—57.
Свѣтлана—609.
Свѣшниковъ—506.
Святославъ, вел. князь—519, 553.
Севинье, г-жа—201, 434.
Сегюръ, графъ—584.
Селадонъ—27.
Сельважіа—302.
Семенова, Ек. Сем.—12, 245, 433, 441.
Семіанъ, г-жа—214, 217.
Сенека—300, 381—385, 409, 412—415, 417, 504, 535.
Сенъ-Ламбертъ—216, 217, 392, 410, 453.
Сенъ-При, графъ К. Франц.—562, 600, 601, 612.
Сенъ-При, графъ Эмм. Франц. — 95, 519, 562.
Сенъ-Симонъ, герцогъ—204.
Сербинъ—265.
Сервантесъ—297, 348, 417.
Сера-Капріола, князь Ант.-Мар.—600, 608.
Сизифъ—176.
Сикаръ —281, 584.
Силла—343.
Сильванны—39.
Сильфы—49.
Симонидъ—365, 379—381.
Симъ—395.
Синекдохосъ—462.
Синеусъ—228, 517.
Сисмонди—539.
Скриверіусъ—458.
Скотининъ—436, 440.
Скюдери, врачъ—535, 614.
Сладковскій, П.—333.
Соковнинъ, Серг. Мих.—535.
Соколовъ, Арк. Ап.—424.
Соколовъ—184.
Сократъ—303, 316, 385, 411.
Соломонъ, царь іудейскій—302, 583.
Сонцевъ Матв. Мих.,—534, 540.
Софоклъ—399.
Софронія—499.
Сталь, г-жа—499, 575, 620.
Станевичъ, Е. И.—184, 463.
Старожиловъ — 244, 245, 247, 249, 251—256.
Строгановъ, графъ А. С.—255, 372, 451.
Строгановъ, графъ П. А.—373, 553.
Стукодѣй—161.
Стурдза, Алекс. Скарл.—601.
Суворовъ, свѣтлѣйшій князь А. Вас.,—141, 162, 316, 343, 519, 553.
Сумароковъ, А. П. 167, 168, 245, 314, 366, 396.
Сумароковъ, П. П.—397.
Сципіонъ—159, 300, 304, 350.
Сѣверинъ, Дм. Петр.—470, 527, 528, 533, 534, 542, 544 — 546, 571, 578, 580, 581, 587, 599, 601.
Сюаръ, Ж.-Б.—584.
Сюлли, маркизъ—584.

Талія—224, 333, 433.
Тальма—489, 579, 582, 586.
Тамерланъ—580.
Танкредъ—293, 307, 308, 436, 494.
Танталъ—78.
Тассъ, Бернардъ—499.
Тассъ, Торквато—12, 125—131, 222, 253, 262, 266, 287, 289, 292, 293, 301, 302, 307—309, 348, 374, 375, 415, 428, 433, 442—444, 465, 466, 492, 497—499, 502—505, 515, 524, 537, 538, 542, 562, 565, 592, 600, 605, 608.
Тацитъ—350, 356, 571, 572.
Тезей—54, 207, 546.
Телемакъ—490.
Теріо—216.
Тибуллъ—13, 14, 22, 75—77, 79, 237, 263, 297, 298, 300, 302, 345, 365, 417, 433, 446, 452, 454, 512, 547 583.
Тиверій, императоръ римскій — 415, 569, 607.
Тизифонъ—78.
Тиртей—114.
Титъ Ливій—365.
Тифій—78.
Тиціанъ—252.
Толстой, графъ П. А.—471.
Толстой, графъ Ѳед. Ив.—724.
Томасъ—303.
Томонъ—243.
Томсонъ—467.
Тончи, Ник. Ив.—542.
Торвальдсенъ—524.
Торрисмондо—125.
Тортони—579.
Тредіаковскій, В. К.—168, 172—174, 179, 313, 314, 396, 428, 438, 452.
Трубецкой, князь Н. Ю.—349, 361.
Трубецкой, князь С. П.—472, 580.
Труворъ—228.
Тургеневъ, А-дръ Ив.—57, 111, 145, 447, 470, 474, 501, 524, 541, 545, 546, 548, 550—553, 556, 559, 564, 566, 568, 572, 575, 587, 596—609, 614, 615.
Тургеневъ, Ив. П.—234.
Тургеневъ, Н. Ив. — 474, 482, 546, 553, 571.
Тургеневъ. Серг. Ив.—474.
Тургеневы—477, 479.
Тучковъ, А. А.—326.
Тяниславъ—146.

Уварова, Екат. Ал.—621
Уваровъ, Серг. Сем.—142, 224, 322, 502, 503, 519, 524, 546, 608, 615, 618—621.
Улиссъ—472, 479, 490, 546; см. Одиссей.
Уткинъ, Н. И.—253, 493, 498.
Ушаковъ, С. Н.—392.

Фабій—388.
Фабрицій—305.
Фальконетъ—247.
Фаонъ—137, 164.
Фаржъ—208.
Фебъ—49, 54, 59, 80, 81, 83, 84, 95, 97, 98, 117, 127, 143, 162, 165—168, 441, 454, 496, 548, 551, 553.
Федра—207.
Федръ—49.
Фелица—217.
Фенелонъ—201, 232, 529, 556, 582, 584.
Ферранъ—454.
Фигнеръ—253, 254.
Фидіасъ, Фидій—542, 586.
Филалетъ—83, 85, 86, 88—91, 93, 94.
Филаретъ—177.
Филемонъ—251.
Филлида—32.
Филимоновъ, В. С.—471.
Филиппъ, слуга—452.
Филиса—161.
Филомела—102.
Фирсъ—177.
Флеранжъ—302.
Флора—113.
Фоксъ—339.
Фонтанъ—584.
Фонтенель—225, 350, 351, 359, 463.
Фонъ-Визинъ, Д. И.—168, 396, 397.
Фортуна—50, 83, 96, 130, 131, 235, 316, 318, 338, 461, 482, 504, 541, 566, 618.
Фоссъ—178.
Францискъ I, король французскій—365.
Францъ II, императоръ австрійскій—486, 508, 609.
Фридрихъ II Великій, король прусскій—213, 218.
Фридрихъ-Вильгельмъ II, король прусскій—486, 584, 585.
Фрина—92.
Фуріи—175, 555.
Фурманъ, Анна Өед.—611, 613.
Фіалкинъ—561.

Хамъ—395.
Хариты—49, 64, 117, 340, 551, 586.
Хвостовъ, графъ Дм. Ив.—183, 184, 186, 468, 480, 500, 506, 552, 568, 570.
Хемницеръ, И. И.—49, 167, 367, 396.
Херасковъ, М. М.—167, 369, 376, 396, 457.
Хинъ-Хилла—269.
Хлоя—21, 25, 27, 59, 170.
Хлыстовъ—534, 582.
Хмельницкій, Богданъ—320.
Храповицкій, Матв. Евгр.—571, 572.
Хрущовъ—430, 514.

Церера—23, 97, 118.
Цинтія—311.
Цирцея—64, 569.
Цитенъ—392.
Цицеронъ—223, 365, 382, 409, 413—415.

Чингизъ—236.
Чингисъ-ханъ—580.
Чяно—302.
Чинціо, кардиналъ—130, 131.

Шаликовъ, князь П. И.—153, 170, 433, 447, 462, 468, 480, 505, 506, 516, 538, 569.
Шарлотта—478.
Шатле, маркиза—211, 213—218, 484, 492, 494.
Шатобріанъ—215, 280, 385, 391, 453, 463, 489, 537, 584.
Шатровъ, Ник-й Мих.—559.
Шаховской, князь А. А.—183, 453, 500, 507, 514, 539.
Шварценбергъ, князь—392.
Шебуевъ, Вас. Кузьм.—505.
Шекспиръ—368, 398, 416.
Шереметевъ, графъ П. П.—241.
Шиллеръ, Фр.—74, 220, 231, 365, 398, 425, 428, 478.
Шиллингъ фонъ Канштадтъ, баронъ П. Л.—508.
Шипилова, Е. Н.—425, 426.
Шипиловъ, П. А.—425, 426.
Ширинскій-Шихматовъ, князь С. А.—480, 482, 445, 455, 468, 497, 582.
Шишковъ, А. С.—174, 181, 182, 186, 397, 433, 447—449, 453, 454, 458, 463, 467, 468, 495, 554.
Шлецеръ, Авг.—468.
Шоліо, Шолье—264, 339, 449, 454, 547.
Штелинъ—314.
Шуваловъ, графъ А. И.—313, 377.
Шуваловъ, И. И.—232, 313, 369, 372, 377, 494, 619.

Щедринъ, Сильв. Өедос.—521, 525.

Эвклидъ—459.
Эврипидъ—5, 208, 399, 545.
Эвры—132.

Эдипъ—366.
Эйлеръ, Л.—619.
Элеонора д'Эсте—129, 592.
Эмилій—372, 556, 612.
Эмпедоклъ—88. 408.
Эндиміонъ—338.
Эней—93, 255, 415, 546, 569.
Энкеладъ—78.
Эпидавръ—102.
Эпиктетъ—272, 381.
Эпикуръ—272, 413—415.
Эпименитъ—344, 353
Эрата—143, 504.
Эрмій—168.
Эрминія—293, 295, 307, 308, 338.
Эротъ—21, 49, 148, 152, 169, 437, 616, 617.
Этьенъ—584.

Ювеналъ—349, 350, 359, 393.
Юдиеъ—206.
Юлій Кесарь—248.
Юлія—492.
Юнгъ—171.
Юнона—248, 441.
Юпитеръ—77, 119, 248, 401.
Юстъ-Липсій—385.

Языковъ, Дм. Ив.—503.
Яковлевъ, Пл. Ст.—495.
Яковъ, слуга—483.
Янусъ—370.

Ѳадей—176, 435.
Ѳемистоклъ—379.
Ѳеокритъ—297, 365.
Ѳеофанъ Прокоповичъ—361.
Ѳетида—114.
Ѳукидидъ—145, 401.

ОПЕЧАТКИ.

Страницы:	Строки:	Напечатано:	Должно быть:
33	14 сверху	Паѳосу	Пафосу
35	11 »	Паѳоса	Пафоса
176	10 »	Ѳадѣй	Ѳадей
181	7 »	Николаевъ	Николевъ
209	11 снизу	нзъ	изъ
496	17 »	si des	si bas
541	1 сверху	8	9
544	1 »	9	10
